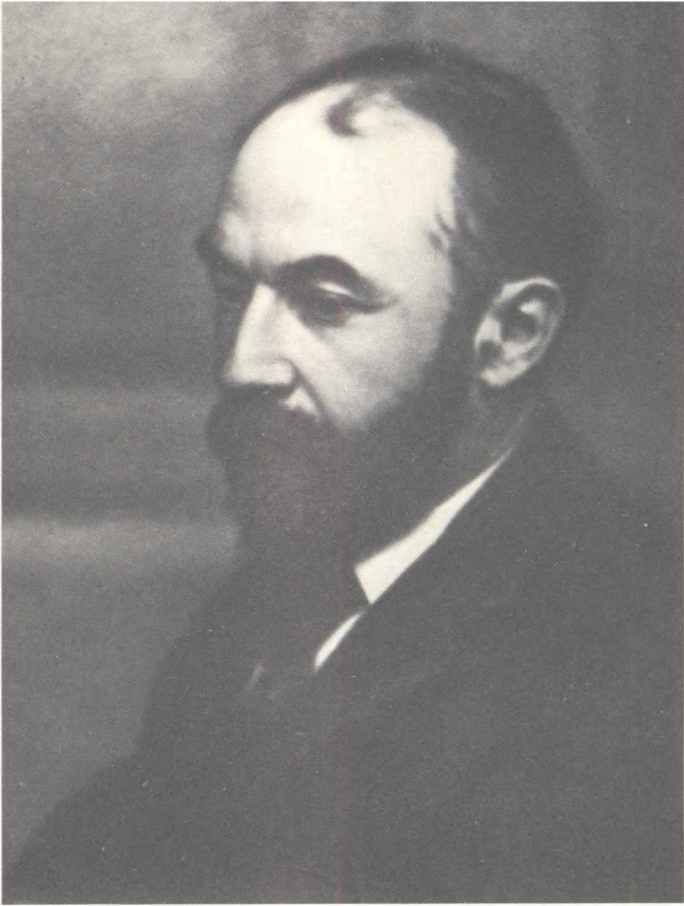


ТОМАС
ГАРДИ

1

ТОМАС
ГАРДИ

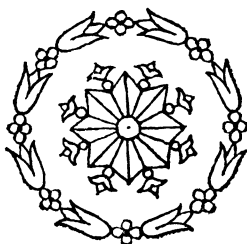




ТОМАС ГАРДИ
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМАС ГАРДИ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА •
1988

ТОМАС ГАРДИ
—❖—
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ТОМ
ПЕРВЫЙ

**ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА РОДИНУ**
•
МЭР КЭСТЕРБРИДЖА
**ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА
С ХАРАКТЕРОМ**

РОМАНЫ
**ПЕРЕВОДЫ
С АНГЛИЙСКОГО**



МОСКВА
•ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА•
1988

ББК 84.4Вл
Г20

Thomas Hardy

THE RETURN OF THE NATIVE

1878

THE LIFE AND DEATH OF THE MAYOR OF CASTERBRIDGE

A Story of a Man of Character

1886

Составление и вступительная статья

Н. ДЕДУРОВОЙ

Комментарии

Н. ДЕДУРОВОЙ, О. ХОЛМСКОЙ и ЕВГ. ЛАННА

Иллюстрации художника

Ю. ИГНАТЬЕВА

Оформление художника

Д. ШИМИЛИСА

Г $\frac{4703010100-411}{028(01)-88}$ 986-89

ISBN 5-280-00743-9 (Т. 1)
ISBN 5-280-00742-0

© Состав, вступ. статья, комментарии, иллюстрации, оформление. Издательство «Художественная литература», 1988 г.

ТОМАС ГАРДИ, ПРОЗАИК И ПОЭТ

Слава Томаса Гарди в нашей стране покоится, в первую очередь, на его великолепных романах. С тех пор как в русских журналах появились в 90-х годах прошлого столетия «Тесс наследница д'Обервиллей» и «Джуд неудачник» (так звучали тогда названия этих романов), внимание и критики и читателей занимали романы Гарди, которые понемногу, с паузами в десятилетия, начали выходить в свет. В середине нашего столетия, когда были опубликованы основные романы писателя, мы начали знакомиться и с его повестями и рассказами, однако поэзию, если не считать нескольких, не более десятка, стихотворений, вошедших в различные сборники и антологии, мы так и не знаем до сих пор.

Меж тем Гарди не меньший поэт, чем прозаик. Не случайно в Англии многие чтут его в первую очередь именно как стихотворца. В этом, правда, отчасти повинны яростные нападки английской критики, вызванные публикацией в конце прошлого века двух последних романов Гарди, в которых он поднял руку на святая святых викторианской Англии, и связанная с этим тенденция поднимать его поэзию за счет прозы. Как бы то ни было, но Гарди безусловно был замечательным поэтом, с именем которого связана целая эпоха в развитии английской поэзии. В настоящем издании читатели получат, наконец, возможность познакомиться не только с романами, повестями и рассказами Гарди, но и с достаточно представительной подборкой его стихотворений, которые он писал на протяжении всей своей долгой жизни.

Томас Гарди родился 2 июня 1840 года в небольшом селении Верхний Бокхэмpton в Стинсфордском приходе графства Дорсетшир. Крайний с востока дом в ряду из нескольких скромных жилищ, а поодаль несколько буков и других деревьев — так описывал он родной дом в своей автобиографии¹. Подобно своему старшему современнику Диккен-

¹ Последние десять с лишним лет жизни Гарди втайне работал над автобиографией. Она писалась от третьего лица и должна была выйти после смерти писателя под именем его второй жены Флоренс, помогавшей ему в работе. Так она и вышла в 1933 году под названием «Жизнеописание Томаса Гарди», введя всех в заблуждение относительно ее авторства. Флоренс Гарди подвергла автобиографию некоторой правке. Лишь значительно позже выяснились обстоятельства ее написания и был восстановлен первоначальный текст (1984 г.)

су, опубликовавшему в год рождения Гарди «Лавку древностей», пад которой лили слезы тысячи читателей в Англии и за океаном, Гарди рос в бедной семье. Впрочем, жизненный опыт будущего певца Дорсета, тесно связанный с сельскими юго-западными графствами, коренным образом отличался от опыта горожанина Диккенса, увидевшего в детстве и лондонские трущобы и долговую тюрьму Маршалси.

Гарди вели свой род от старинного норманнского рыцарского рода ле Гарди. Томас Гарди признавался, что всю жизнь мечтал восстановить старинное написание своего имени. Возможно, этому помешала врожденная скромность или любовь и уважение к «честной бедности» Томаса Гарди-первого и Томаса Гарди-второго, отца и деда писателя. Дед Гарди был свободным земледельцем; отец — строителем (сейчас мы назвали бы его мелким подрядчиком), воздвигшим не одно здание в родном графстве. Впрочем, он работал и собственными руками. В лучшие годы, когда заказов было много, он нанимал себе помощников, порой у него работало до двенадцати — пятнадцати человек, как сообщает об этом в автобиографии Гарди. Биографы Гарди, однако, изучавшие его детство и юность, склонны думать, что семья жила гораздо скромнее, чем признает писатель. Гарди были по-настоящему бедны, порой они едва сводили концы с концами. В трудные времена им приходилось также и работать в поле, так что тяжелый сельский труд был знаком будущему писателю не понаслышке.

Большая часть жизни Томаса Гарди-третьего, как нередко называет себя писатель, так же как и жизнь его отца и деда, была прожита в Дорсетшире или соседних с ним графствах сельской юго-западной части Англии. Этих отсталых аграрных районов в первой половине века еще не коснулось бурное развитие промышленности со всеми ее бедами, они не знали бесчеловечной и жестокой эксплуатации рабочих, вызвавшей к жизни чартистское движение, достигшее своего высшего напряжения в годы, когда Гарди был ребенком. В Дорсете и соседних с ним графствах еще сохранилась известная патриархальность в отношениях между землевладельцами, арендовавшими у них землю фермерами и работниками, которые эту землю возделывали. Фермеры еще работали вместе со своими работниками в поле, а последние еще не превратились окончательно в оторванных от земли аграрных рабочих, вынужденных скитаться по стране в поисках работы и безжалостно эксплуатируемых землевладельцами и фермерами нового, капиталистического типа. Процесс этот происходил на глазах у молодого Гарди, который наблюдал его с зоркостью постоянного социального художника. Две фермы, описанные им впоследствии в «Тэсс» — патриархальная Тэлботейс, где разворачивается пасторальный роман Тэсс с Энджелом Клэром, и бездушная, безличная Флинтком-Эш, где Тэсс превращена в бессловесную поденщицу, а позже, что и того страшнее, в механический придаток к машине, — два полюса развития аграрной Англии, запечатленные писателем.

Однако в детстве и юности Гарди патриархальный Дорсетшир еще был жив. Были живы и старые традиции — не только простота в отношениях между фермерами (и даже землевладельцами) и работниками, но и старые народные обычаи, праздники, ярмарки, свадьбы. Отец и дед Гарди играли по воскресеньям в церкви, отец — на виолончели,

дед — на скришке; не чурались они и деревенских праздников. Когда будущий писатель подросток, он также играл на свадьбах, крестинах, помолвках и многочисленных вечеринках, устраиваемых соседями. Отсюда у Гарди то замечательное знание деревенских обычаев, песен, традиций, всего того, что исследователи называют пародной, а иногда низовой культурой английской деревни, как и в старину, тесно связанной с природными циклами.

Когда Гарди кончил школу, было решено, что он пойдет по стопам отца. Шестнадцатилетний юноша поступил учеником к архитектору, жившему в близлежащем Дорчестере. По словам самого Гарди, он вел тогда весьма странный, если глядеть со стороны, образ жизни. День его был разделен на три части. Он вставал рано, в четыре-пять часов утра, и садился за книги. Он с жаром занимался в те годы самообразованием: поэзия, литература, история, философия, немецкий, французский, латынь, а позже и греческий. (Ему хотелось восполнить невозможность получить университетское образование.) Затем он завтракал и шел пешком в город, где целый день посвящал архитектуре. А вечером, прихватив с собой скрипку, он отправлялся с отцом в соседнюю деревушку, и случалось, не только играл, но и лихо отплясывал под звездным небом.

В годы, когда Гарди начал свою деятельность архитектора, многие архитекторы, бывшие вместе с тем и строителями, получали подряды на восстановление старых зданий, в особенности старых церквей и соборов. Впоследствии Гарди не без юмора вспоминал, что с его помощью было испорчено немало образчиков ранней готики. Первые печатные выступления Гарди связаны с его занятиями строительством и архитектурой. В 1863 году он опубликовал очерк «О применении цветного кирпича и терракоты в современной архитектуре», а в 1865 году в «Чемберс Журнал» появился его пронизанный юмором рассказ «Как я построил себе дом».

В 1862 году Гарди уехал в Лондон, где в течение пяти лет работал и изучал готическую архитектуру у известного архитектора Артура Елумфилда, посещая в то же время вечерние курсы при Кингс-Колледже. В 1863 году ему была присуждена медаль Института Британских архитекторов. Архитектурные занятия Гарди найдут свое отражение впоследствии в его прозе, в кратких, но точных и образных описаниях.

Свою первую жену Эмму Лавинию Гарди встретил в 1870 году благодаря архитектурному заказу. Молодой архитектор приехал в Корнуолл, где он должен был заняться реставрацией церкви в Сент-Джулиоте. Эмили была свояченицей пастора; роман их развивался во время становившихся все более частыми наездов молодого архитектора. Однако пожениться молодые люди смогли лишь спустя несколько лет, в 1874 году, когда Гарди смог оставить архитектуру и стал профессиональным литератором. Забегая вперед, скажем, что брак этот не был удачным. Последние годы жизни Эммы супруги жили врозь.

Литературная судьба молодого писателя развивалась пелегко. Летом 1868 года он закончил роман «Бедняк и дама». Рукопись романа была последовательно отклонена двумя крупными издателями — сперва Александром Макмилланом, а затем Чэпменом. Оба издателя оценили одаренность Гарди, но были смущены радикализмом романа, который сам

писатель впоследствии охарактеризовал так: «широкая драматическая сатира на помещиков и аристократов, на лондонское общество, вульгарность буржуазии, современное христианство, церковную реставрацию, политическую и частную мораль в целом». Чэпмен предложил молодому писателю встретиться с литературным консультантом фирмы, которым оказался Джордж Мередит, к тому времени уже известный писатель. Мередит посоветовал начинающему автору значительно смягчить обличительные инвективы, чтобы не давать рецензентам повода уничтожить его в самом начале его карьеры (в том, что роман в случае его выхода в свет подвергнется яростным нападкам, он ни минуты не сомневался), или, что было бы еще лучше, сочинить новый роман «с чисто художественной целью», придав ему увлекательный, «запутанный сюжет». Гарди уничтожил рукопись романа, однако отдельные его темы и сюжетные ходы, насколько можно судить, нашли свое развитие в более позднем творчестве писателя.

Роман «Отчаянные средства» был создан под влиянием совета Мередита. Он был для Гарди некой экспериментальной площадкой: по словам писателя, он в это время «нащупывал свой путь к овладению методом». Той же цели способствовали и продолжавшиеся занятия Гарди самообразованием. Недавно опубликованные два толстых тома «Литературных записных книжек» Гарди, куда на протяжении 60 лет он вносил свои мысли о прочитанном, поражают широтой диапазона. Естественные науки и философия, политическая экономика, история искусств и, конечно, литература. Он читал «Происхождение видов» и другие работы Дарвина, существенно повлиявшего на его мировоззрение, был хорошо знаком с работами Спенсера, Гексли, Шопенгауэра, с историческими и искусствоведческими сочинениями своего современника Уолтера Бейджхота, с «Современными художниками» Раскина. Среди романистов, которых Гарди изучает особенно внимательно — Свифт, Дефо, Филдинг, Джейн Остин, Теккерей, Диккенс; среди поэтов — Шелли, Байрон, Уордсворт, Крабб; великие трагики Греции. Такое интенсивное и углубленное чтение Гарди продолжал всю жизнь.

Роман «Отчаянные средства» имел успех, однако, завершив свой труд, молодой автор достаточно ясно понял, что это не его путь. Впоследствии Гарди сделает еще несколько попыток снискать себе имя и твердое положение в обществе романами с острым сюжетом. Несмотря на внешний успех этих произведений, они не отличались ни глубиной, ни оригинальностью. Сам Гарди это отлично видел.

Восхищаясь Теккереем, которого еще в юности Гарди провозгласил «величайшим романистом наших дней», дающим «совершенное и правдивое изображение современной жизни», Гарди выделяет «Ярмарку тщеславия» с ее бескомпромиссным реализмом, глубиной разоблачений, острым взглядом художника, подмечающим малейшую фальшь. Вместе с тем Гарди прекрасно понимал, что не может быть простым подражателем Теккерее. Значительно позже он напишет по поводу таких подражателей: «Литературные произведения людей из хороших семей, получивших безукоризненное воспитание, в основном касаются общественных условностей и приспособлений — искусственных форм жизни, слово они и есть основные факты жизни». Отдавая должное автору «Тома

Джонса», Гарди в то же время осуждает Филдинг за «аристократическое, даже феодальное отношение к крестьянству (например, взгляд на Молли как на «перяху», которую следует осмеять, а не как на простую девушку, которая, наподобие прекрасной Софьи, является достойным созданием Природы)». В этих словах звучит не только критика, но и определенная собственная программа, с четкостью сформулированная в зрелые годы, но достаточно ясная уже и в начале пути.

Гарди впервые находит себя в «коротком» романе (мы бы назвали его повестью) «Под деревом зеленым», опубликованном в 1872 году. Первоначально Гарди дал этому роману название «Меллстокский хор, или Сельские картинки в духе голландской школы», однако при публикации заменил его на первую строку песни из комедии Шекспира «Как вам это понравится», а позже восстановил первоначальное название в подзаголовке. Все три заглавия важны для понимания этого произведения. В него вошли семейные воспоминания и впечатления самого Гарди. По словам писателя, герои этого романа о старинном меллстокском хоре и его музыкантах «списаны с натуры». Сам меллстокский оркестр — это церковный оркестр Стиффорда, основанный дедом Гарди, который играл в нем до последнего дня своей жизни. Вместе с тем этот «короткий» роман — первое из произведений Гарди об уходящем патриархальном укладе, о «доброй старой Англии», уступающей напору новых, прагматических сил. Эти картины из жизни поселян, написанные поэтично и с юмором, были овеяны светлым романтическим чувством, и даже поражение меллстокских музыкантов в их борьбе представлено автором без горечи, хотя и не без грусти. В некоторых из рассказов, позже собранных в сборники «Уэссекские повести» (1888), «Благородные дамы» (1891), «Маленькие иронии жизни» (1894), «Изменившийся человек» (1913), Гарди также с любовью и юмором рисует элегические сцены безвозвратно ушедшего прошлого. Эта тема останется одной из ведущих в его творчестве, приобретает, разумеется, все большую глубину и поворачиваясь различными сторонами и аспектами.

Широкое и мощное изображение стихии народной жизни находим в лучших, так называемых «уэссекских романах» Гарди, не имеющих, пожалуй, себе в этом отношении равных в английской литературе XIX века. В «уэссекские романы», помимо «Меллстокского хора», вошли: «Вдали от безумствующей толпы» (1874), «Возвращение на родину» (1878), «Мэр Кэстербриджа» (1886), «В краю лесов» (1887), «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» (1891) и «Джуд Незаметный» (1896). В 1912 году, подготавливая полное собрание своей прозы, Гарди объединил их под названием «Романы характеров и обстоятельств», отделив их от циклов «Романы изобретательности и эксперимента» и «Романтические истории и фантазии».

В романе «Вдали от безумствующей толпы», как писал Гарди впоследствии, он «впервые рискнул упомянуть слово «Уэссекс», заимствовав его со страниц древней истории Англии, и придать ему значение якобы существующего ныне названия местности, входившей некогда в древнее англосаксонское королевство». Писатель отдавал себе отчет в том, что задуманный им цикл романов связан местом действия, и для создания этого единства хотел дать достаточно определенное представление о территории. «Поскольку я видел, что площади какого-нибудь

одного графства недостаточно для задуманного мною широкого полотна,— пишет он,— и мне по некоторым соображениям не хотелось давать вымышленных имен, я откопал это старинное название». «Уэссекс» Гарди — это юго-западные графства Англии; в первую очередь — родной Дорсетшир, а затем Девоншир, Беркшир и проч. «Укорененность» романов в локальном ландшафте нашла свое выражение в необычном графическом оформлении романов: когда они выходили отдельными книгами, Гарди снабжал их весьма тщательно зарисованными картами, в которых без особого труда прочитывалась местная география. Вместе с тем вымышленные названия — Кэстербридж, Кристминстер, Меллсток и др. — давали Гарди необходимую ему свободу действия, снимали с него обязательность фотографической точности ландшафта и топографии. Гораздо важнее топографической точности для Гарди была точность иного рода. На это указывает советский исследователь творчества Гарди М. В. Урнов. Под небом Уэссекса, пишет исследователь, еще действует система устойчивых связей и отношений, полупатриархальный уклад жизни, которые постепенно подтачиваются и рушатся под напором капиталистических отношений. Действительно, Гарди, создав свой Уэссекс, с удивительной точностью и выразительностью показал трагедию крушения старого уклада жизни в сельской Англии, показал не умозрительно и отвлеченно, а на конкретных человеческих судьбах.

В самом названии уэссекского цикла — «Романы характеров и обстоятельств» — заключено то общее, что объединяет эти произведения. В центре каждого — конфликт основного персонажа (характера) и обстоятельств, понимаемых широко, как социальная среда, корни, окружение.

Гарди придавал исключительное значение разработке центрального персонажа. Допуская в сюжете различные повороты и происшествия, которые могли на первый взгляд показаться странными и даже маловероятными (например, продажа жены в «Мэре Кэстербриджа»), он чрезвычайно тщательно выписывал характеры, стремясь придать им психологическую глубину и объемность. Заметим, кстати, что дикий эпизод с продажей жены заимствован, как ни чудовищно это может показаться, из реальной жизни. В своей автобиографии Гарди, всегда с интересом изучавший документы, бросающие свет на жизнь сельской Англии первой половины века, приводит полные тексты газетных сообщений о двух (двух!) различных случаях продажи жен. Конечно, писатель прекрасно понимал, что действительность нередко бывает дикий вымысел любого вымысла. Задача писателя, пишет он в дневнике, заключается в том, чтобы «достигнуть равновесия между необычным и обыденным, с тем чтобы, с одной стороны, придать повествованию интерес, а с другой — реальность». Последующие слова дневниковой записи читаются почти как литературный манифест: «В разрешении этой проблемы человеческую природу нельзя представлять неестественной... Необычность должна заключаться в событиях, но не в характерах; искусство же писателя заключается в том, чтобы в случае маловероятности событий замаскировать ее». Эти размышления писателя относятся в первую очередь к построению сюжета, всегда не без труда дававшегося ему. Что же касается центрального конфликта, то здесь Гарди выступает как зоркий социальный художник и реалист. Как бы ни были необычны некоторые

ситуации и повороты сюжета, за ними всегда ясно встает конкретная социально-историческая ситуация, определяющая суть конфликта.

В центре произведений уэссекского цикла — незаурядные личности, люди со своей ярко выраженной индивидуальностью. Клайм Ибрайт («Возвращение на родину»), Хенчард («Мэр Кэстербриджа»), Джайлс Уинтерборн («В краю лесов»), Тэсс («Тэсс из рода д'Эрбервиллей») и Джуд Фаули («Джуд Незаметный») — это все личности, которые именно в силу своей нестандартности, душевной или духовной одаренности оказываются зажатými в тиски социальными условиями их существования. Все они (за исключением лишь Клайма Ибрайта) принадлежат к самым низам общества и, что немаловажно, это люди труда. Стихия народной жизни таким образом получает в творчестве Гарди реальное воплощение не только в некоем «коллективном герое», но и в отдельных, талантливых и незаурядных личностях, представителях трудовых низов (сельская батрачка Тэсс, лесоруб Джайлс Уинтерборн, батрак Хенчард, поднявшийся до положения богатого торговца зерном и мэра и слова вернувшийся к батрачеству, каменотес Джуд). Демократизм Гарди, обратившегося в романах этого цикла к жизни трудового люда, отмечен глубокой любовью и уважением к его героям. Здесь нет и тени высокомерия или ложного чувства.

Конфликт уэссекских романов Гарди трагичен. Викторнианская критика, возмущенная тем, что Гарди отказался от общепризнанных канонов, обвиняла его в пессимизме. Гарди, больно переживавший это обвинение, не раз заявлял, что в своем восприятии мира он ближе к Софоклу, чем к тем поверхностным мыслителям, которых обычно называют пессимистами. В его дневниках немало размышлений о трагедии и трагичности человеческого существования. «Трагедия, — пишет он в конце ноября 1885 года. — Коротко о ней можно было бы сказать следующее: трагедия представляет такое положение вещей в жизни личности, при котором осуществление его естественного желания или цели неотвратимо влечет за собой катастрофу». А в мае того же года, во время одного из приездов в Лондон, он вслушивается в «рев города» и размышляет: «Из чего он состоит? Спешка, речь, смех, стоны, крики маленьких детей. Люди в этой трагедии смеются, поют, курят, выпивают и прочее, ухаживают за девушками в гостиницах и под открытым небом; и все они играют свои роли в трагедии. Некоторые из них в бриллиантах и перьях, другие — в лохмотьях. Все они пойманные птицы; разница лишь в размере клетки. И это тоже часть трагедии»... Клетка с птицей, которую приприсит в подарок дочери ушедший в добровольное изгнание Хенчард, приобретает в этой связи особый символический смысл.

Все же было бы неверно, как это часто делают многие английские критики, приписывать Гарди то понимание судьбы или, вернее, Рока, которое отмечало греческих трагиков. Конечно, в мировосприятии Гарди греческая трагедия сыграла свою роль. Тому множество доказательств в текстах произведений романиста. Обычно в этой связи цитируют заключительную фразу из «Тэсс»: «Правосудие» свершилось, и «глава бес- смертных» (по выражению Эсхила) закончил игру свою с Тэсс». Можно было бы привести немало других цитат и аллюзий из произведений Гарди. И дело не только в цитатах. Безусловно, концепция трагического

у Гарди сложилась под сильнейшим воздействием греческих трагиков. Это, в первую голову, сказывается на той трактовке случайности в причинной связи событий, которая ведет к конечной гибели героя. Однако для Гарди чрезвычайно важно и другое. Уже в «Мэре Кэстербриджа» он цитирует слова Новалиса: «Судьба — это характер». Судьба самого Хенчарда во многом определяется именно этим: его грубость, упрямство, недалекость, простота, неумение ладить с людьми, отсутствие финансовых способностей и проч. приводят его не только к финансовому банкротству, но и к полному жизненному краху. Таким же образом судьба Тэсс, «чистой женщины», дважды соблазненной ее соблазнителем и оставленной любимым ею мужем, во многом объясняется именно ее душевной чистотой, добротой, мягкостью, незащищенностью, неиспорченностью и проч. Во многом — но, конечно, не во всем. Случайность и характер для Гарди — два мощных рычага, приводимые в движение еще более мощными силами, и было бы ошибкой их игнорировать. Гарди, крупнейший критический реалист последней трети XIX века, укоренен в социальной действительности. Он как никто воссоздает и разоблачает те глубинные социальные процессы, которые шли в капиталистическом обществе тех лет. Отношения между обеспеченными и необеспеченными классами, механизмы подчинения и эксплуатации трудового люда, религия, мораль, отношения между полами, семья, образование — все эти важнейшие аспекты жизни викторианского общества он подверг разрушительному анализу и критике. Викторианцы, скрывавшие основные факты своего социального бытия за фасадом респектабельности, позитивизма и религиозности, не простили Гарди его разоблачений, провозгласив его безбожником и пессимистом. По мере нарастания разоблачительных тенденций в творчестве Гарди нарастали и нападки критиков, превратившиеся с публикацией «Тэсс» и особенно «Джуда» в настоящую травлю. Гарди больно ранила хула критиков, но тяжелее всего ему было то, что и в собратьях по перу он не встретил поддержки. Даже Суинберн, всегда относившийся к нему с величайшим почтением (ему принадлежало сравнение Гарди с Бальзаком), в письме писателю упрекал его в «жестокости» и звал вернуться в «английский рай» под деревом зеленым». После смерти Гарди в бумагах его были найдены свидетельства того, как болезненно переживал он позицию таких писателей, как Генри Джеймс и Г. К. Честертон. Конечно, оба эти писателя были по своим взглядам и художественным установкам бесконечно далеки от Гарди. Все же можно лишь сожалеть о том, что Г. К. Честертон позволил себе назвать крупнейшего реалиста конца века «деревенским безбожником, богохульствующим и степающим над деревенским дураком» и упрекал писателя в том, что он «ботанизирует на болоте» вместо того, чтобы «устремляться в небеса». Сейчас, конечно, нам нетрудно понять, почему трагическая история простого каменотеса Джуда Фаули, пришедшего к отрицанию церкви и основных институтов викторианского общества, столь разгневала католического автора парадоксальных эссе, сконструировавшего свою «старую добрую Англию», весьма далекую от той, которую создал Гарди. Все же грустно сознавать, что у него недоставало чувства меры и широты взглядов и что объективно он оказался в одном ряду с хулителями Гарди. («Все мы говорим, что

сравнения однопозны,— писал в одном из своих эссе Честертон.— По существу сравнения вообще применяются для более точного различения степеней и свойств... Когда от природы естественной мы переходим к природе человеческой, сравнение всегда отдает уничижением». Вспомним об этих словах писателя для того, чтобы подчеркнуть, что приводим все эти факты отнюдь не для уничижения, а исключительно для того, чтобы подчеркнуть всю глубину разлада Гарди с викторианским обществом. Пример Честертона, который, несмотря на свою парадоксальность, был, конечно, настоящим викторианцем, весьма наглядное тому доказательство.)

Чтобы покончить с вопросом о пессимизме Гарди, приведем слова А. Блока, сказанные им совсем по иному поводу, но имеющие самое непосредственное отношение к нашей теме. Блок говорит об обычном противопоставлении оптимизма и пессимизма. «Оптимизм вообще — простое и небогатое мирозерцание, обыкновенно исключаящее возможность взглянуть на мир как на целое. Его обыкновенное оправдание перед людьми и перед самим собою в том, что он противоположен пессимизму; но он никогда не совпадает также и с трагическим мирозерцанием, которое одно способно дать ключ к пониманию сложности мира». Гарди (из современников в этом его можно сравнить лишь с Батлером, чей роман «Путь всякой плоти» вышел посмертно лишь в 1903 году) в высшей степени обладал таким трагическим мирозерцанием, которое одно дает ключ к пониманию мира. В этом его величие и непреходящая ценность его романов.

«Джуд Незаметный» был последним романом Гарди. Возмущенный и уязвленный худой критиком, Гарди заявил, что оставляет прозу и отныне полностью посвящает себя поэзии. Он выразил горькую надежду, что в стихах сможет «более полно выразить идеи и чувства, которые противостоят твердому, как скала, инертному мнению».

Стихи Гарди писал на протяжении всей своей жизни. Сам он неоднократно называл поэзию своей «первой любовью», замечая, что лишь стечение жизненных обстоятельств заставило его обратиться к романистике. Читая его «Жизнеописание», куда он включил отрывки из дневников, с первых же страниц встречаешь записи, в которых он фиксирует не только время написания того или иного стихотворения, но и обстоятельства, вызвавшие его появление. И самые ранние, и самые поздние стихи Гарди отмечены тем же обращением к прошлому, что и его рассказы или романы. Стихи Гарди это и лирика, и своеобразная поэтическая летопись Дорсетшира, которому он оставался верен всю жизнь. Первое стихотворение, написанное юным поэтом, «Domicilium», — поэтическое описание родного селения, которое Гарди видит не только своими глазами, но и глазами своего отца, Томаса Гарди-второго, и деда, Томаса Гарди-первого. Стихотворение «Встреча в церкви», опубликованное с пометкой «Меллсток, около 1836 года», было навеяно рассказом его родителей о том, как они впервые увидели друг друга в Стинсфордской церкви, где отец Гарди в юности играл на виолончели. Гарди сопровождает эту запись с стихотворение собственноручным планом Стинсфордской церкви, где отмечает также и место каждого музыканта на хорах. В июньской же записи 1921 года мы читаем о том, как, приехав посмотреть постановку «Меллстокского хора» в Стэрминстер-Ньютон, где на-

чинающим писателем он прожил два счастливых года своей жизни, Гарди отправился вместе с Уолтером де ла Маром в Стинсфорд. Там он показал де ла Мару местное кладбище, хорошо знакомое ему с юных лет, и, рассказав о могилах покоящихся здесь прихожан, прочитал ему недавно написанное стихотворение «Голоса тех вещей, что растут на деревенском кладбище». Между первым и последним из названных здесь стихотворений пролегла почти вся жизнь писателя. Поэт не отделяет себя от тех, кто живет в Верхнем Бокхэмптоне и кто покоится на деревенском кладбище в Старминстер-Ньютоне; личность, род, родной приход и те места в родном Дорсете, где жил поэт в зрелые и поздние годы, соединены в его сознании; лирическое и эпическое начала слиты.

Вернуться к своей «первой любви» и полностью посвятить себя поэзии Гарди сумел лишь в самом конце XIX века. После 1898 года Гарди оставил прозу и посвятил себя исключительно поэзии. Причиной тому, как говорилось выше, были многочисленные нападки критики, вызванные публикацией его последних романов. К счастью, к этому времени Гарди был уже достаточно известен и материально обеспечен и мог оставить свое «ремесло» (так называл он прозу) и отдаться «искусству».

Гарди надеялся, что в поэзии он сможет свободнее выразить себя, чем в прозе. «Вероятно, в стихах,— писал он в автобиографии,— я смогу более полно выразить идеи и эмоции, которые противостоят твердому, как скала, инертному мнению... Если бы Галилей заявил о том, что земля вертится, в стихах, инквизиция, возможно, и оставила бы его в покое». Забегая несколько вперед, скажем, что надежды поэта оправдались лишь частично: его политическая и философская лирика раздражала викторианских критиков ничуть не меньше, чем проза.

Стихотворное наследие Гарди огромно: оно охватывает почти тысячу стихотворений, написанных в самых разнообразных жанрах. Большая часть их была написана в последние три десятилетия жизни поэта. Простое сравнение ранней и поздней поэзии Гарди без всяких сомнений свидетельствует о том, что именно в это время Гарди создал все свои лучшие стихотворения. В частности, общепризнанные шедевры любовной лирики Гарди были написаны в 1912—1913 годы, после известия о смерти первой жены, глубоко взволновавшего семидесятилетнего поэта. Такая сила поэтического импульса, не ослабнувшего с годами,— случай, достаточно редкий в истории поэзии.

Первый поэтический сборник Гарди «Уэссекские стихотворения» был опубликован в конце 1898 года. За ним вышли «Стихотворения о прошлом и настоящем» (1902), «Шутки времени» (1909), «Сатиры на случай» (1914), «Минуты озарений» (1917), «Поздняя и ранняя лирика» (1922), «Театр жизни» (1925), и «Зимние слова» (1928).

В английской поэзии XIX и XX веков Гарди занимает совершенно особое место. Он был современником многих поэтов, за творчеством которых следил с неослабеваемым интересом (многих из них он пережил). Среди них такие имена, как Теннисон, Уордсворт, Браунинг, Суинберн, Уолтер Патер, Киплинг, Хопкинс, Йейтс, Хаусмен, Паунд, Элиот, Лоуренс, Бриджес, Оуэн, Роберт Грейвз. У некоторых из них он чему-то учился (Теннисон, Уордсворт, Браунинг), другие, поэты молодого поко-

ления, чему-то учились у него (ранний Лоуренс, Грейвз). Однако и темы, и голос у Гарди свой, его не слутаешь ни с кем.

Обратившись к поэзии в середине XIX века, Гарди с особым вниманием читал Уордсворта, Браунинга и Теннисона. Ближе всего из этих поэтов-романтиков ему был Уордсворт с его пасторальной поэзией, оказавшей несомненное влияние на молодого поэта. Если рассматривать поэзию Гарди в плане литературной традиции, то следует назвать и имена Грея и Крэдда, элегическая и деревенская поэзия которых также получила свое продолжение и развитие в творчестве Гарди.

Не менее заметна в поэзии Гарди и другая традиция: традиция народной песни, баллады, гимна. Нельзя не упомянуть в этой связи и имя дорсетского филолога и поэта Уильяма Барнса, одного из первых учителей юного Гарди, чей сборник «Стихи о деревенской жизни, написанные на дорсетском диалекте» (1844) Гарди высоко ценил. Гарди был предан Барнсу и оплакал его кончину в 1886 году.

Воспринимая традиции литературной и народной поэзии, Гарди в то же время вносит в нее свою чрезвычайно личную ноту, которая сразу же обращает на себя внимание.

Стихотворения Гарди можно было бы, конечно весьма условно, разделить на три неравные части. В первую вошли бы стихи, посвященные Дорсету первой половины XIX века, каким его знал Гарди. Большею частью это сценки деревенской жизни или легенды. Это то прошлое, которое на протяжении всей жизни волновало его. Стихотворения, посвященные патриархальному Дорсету, Гарди писал всю жизнь; пожалуй, вначале их было несколько больше, чем в последние годы. О чем бы ни шла в них речь, мы слышим голос поэта, с любовью и грустью воссоздающий невозвратно ушедшее. Вот почему лишь очень немногие из этих стихотворений Гарди имеют исключительно эпический или драматический характер. К числу их можно было бы, вероятно, отнести такие, как «Пожар в брачную почву», в котором Гарди воссоздает старую дорсетширскую легенду (в подзаголовке сказано: «Из Уэссекской традиции»), или «Трагедия бродяжки» и «Органстка», имеющие хронологические пометы, относящие их соответственно к 20-м и 50-м годам XIX века, «К Лизби Браун», о которой Гарди вспоминает в автобиографии. В этих стихотворениях звучат голоса поселян XVIII и начала XIX века, сохраненные традицией или воссозданные поэтом. Иногда мы слышим один голос, иногда же Гарди оживляет прошлое в драматическом стихотворном диалоге. Исследователи видят в этой диалогичности влияние драматической музыки Браунинга. Конечно, исключить такого рода воздействие вовсе нельзя, но думается, что Гарди не нужно было обращаться за вдохновением к Браунингу, ибо сам он владел драматическим даром, чему свидетельством его проза.

Близко к этой группе стоят стихотворения, которые Гарди создал, работая над своими романами или рассказами. Это как бы выплеснувшиеся в поэзию характеры и ситуации, лирические монологи героев, которые продолжали жить в сознании своего творца и настоятельно требовали поэтического воплощения. «Молочница» могла бы быть написана об одной из подружек Тэсс. Стихотворение «Они сажали сосны» написано от лица Марти Саут; оно имеет подзаголовок, прямо отсылающий

читателя к роману «В краю лесов». В нем в поэтической форме рассказывается об одном из самых трогательных эпизодов романа; пропущенный через сознание самой Марти, эпизод этот приобретает тем большее значение. «Жалоба Тэсс», также написанная от первого лица, посвящена тому горькому времени, когда, оставленная своим мужем, Тэсс скорбит о своем одиночестве. Стихотворение «Играю ей» воспроизводит, также от первого лица, только на этот раз музыканта, те сцены народного веселья, которым сам Гарди не раз бывал свидетелем в юности. Он увековечил их и в своих рассказах и романах.

От первого лица написан и ряд антивоенных стихотворений Гарди.

Когда бы встретил я
Такого паренька,
Мы сели б рядом, как друзья,
За столик кабачка.
В сраженье, как солдат,
Его я повстречал
И, выпустив в него заряд,
Ухлопал наповал...

Эти строки из стихотворения «Человек, которого он убил» — прямая полемика с Киплингом и некоторыми другими поэтами-патриотами. В войне Гарди, свидетель двух войн, англо-бурской 1899—1902 годов и первой мировой войны, видит прежде всего солдата, простого труженника, которому приходится умирать за чуждые ему слова, лишённые человеческого содержания.

Да, я убил его
За то, что он мой враг,
Не правда ль — только и всего,
Ведь это ясно так.
Наверно, тяжело
Он без работы жил,
Как я, продавши барахло,
В солдаты поступил.
Да, такова война!
Тех убиваем мы,
Кому бы поднесли вина
Иль дали бы взаймы.

(Перевод М. Зенкевича)

В известном смысле антивоенные стихи Гарди перекликаются со стихами на военную тему А. Э. Хаусмена. Впрочем, между ними есть и различие: социально стихи Гарди более четко окрашены; стихи Хаусмена, поэта и филолога-античника, строже, «классичнее». Различие это, возможно, меньше ощущается в переводе, и все же оно, безусловно, есть. (Все это говорится отнюдь не для принижения Хаусмена, замечательного в своем роде поэта, а для того, чтобы яснее представить себе своеобразие Гарди как поэта.) Уже во втором сборнике поэзии Гарди, «Стихотворения о прошлом и настоящем», находим стихи, разоблачающие войну во всей ее жестокости и бесчеловечности. Написанные на материале англо-бурской войны, они выражают позицию писателя, не поддавшегося шовинистическому угару. Среди лучших стихотворений этого сборника —

«Барабанщик Ходж», многократно включаемый в наши дни в различные антологии, «Отъезд», «Отправка батареи» и др. Тема войны получает дальнейшее развитие и в других сборниках писателя, особенно в тех, которые были написаны во время мировой войны 1914—1918 годов. Стихи этого времени перекликаются со стихами так называемых «окопных» поэтов, которых Гарди высоко ценил (с одним из них — Зигфридом Сассуном — он поддерживал отношения после войны).

Самую большую группу в стихотворном наследии Гарди образует его лирика в строгом смысле слова, это наивысшее достижение поэта. Продолжая традицию Уордсворта, Гарди создает замечательные образцы лирической поэзии, посвященные природе и обыденным, каждодневным вещам. Зарисовки природы в его лирике всегда лаконичны и точны. Это не отчужденные описания тех или иных феноменов природы, смены времен года и связанных с ними событий, но поэтическая летопись эмоциональной жизни поэта, неразрывно слитой с природой. Для Гарди, как поэта, каждое проявление природной жизни одухотворено и тем самым связано с его духовной жизнью. Он не устает наблюдать за вечно меняющимся ликом природы. Лежа без сна, поэт видит, словно наяву, утреннюю звезду, светящую ровным светом на востоке, буки, каждая веточка которых отчетливо вырисовывается на небе, луг под белым покровом росы, светлеющее за темными деревьями кладбище («Бессонница»). Он воссоздает эту и подобные ей сцены с точностью и свежестью чувства, которые не имели себе равных в английской поэзии его времени. Вглядимся в такое стихотворение, например, как «Январская ночь» (1879). Тонкая звукопись передает и порывы ветра, и трепетанье листьев плюща, и шум дождя, и дребезжанье отсыревшей двери, и то неясное чувство тревоги, которое охватывает незазванных наблюдателей этой сцены.

Многие из лирических стихотворений Гарди посвящены вещам, лишенным, казалось бы, какой бы то ни было поэтичности и красоты. Таково стихотворение «Старая мебель», заставляющее вспомнить запись, сделанную 35-летним поэтом в дневнике, имеющую для него смысл поэтической декларации: «Область поэзии — находить красоту в некрасивом». Старые, дедовские вещи исполнены для него красотой: поэт видит на них отпечатки «рук поколений», которые придают им особый смысл и одухотворенность. Вообще говоря, для Гарди все, что становится объектом его поэтической музыки, исполнено внутренним смыслом, одухотворено — холмы и деревья, деревенские дома, старая мебель, переходящая от поколения к поколению, камни, животные, птицы.

Агностицизм Гарди далек от того, чтобы придавать всем этим окружающим его вещам религиозный смысл. Он не устает говорить о том, что на все вопросы о скрытом смысле окружающих вещей он может ответить лишь одно: «Мы не знаем». Эта фраза, заключающая стихотворение «Ночь в октябре», звучит как настойчивый лейтмотив поэзии Гарди. Для него важно другое: какова бы ни была разгадка тайны бытия, он остро, всем своим существом ощущает единство живой и неживой природы, их неразрывность, их слитость в одно органическое целое. Это ощущение, которым отмечены и лучшие страницы прозы Гарди (вспомним «Тэсс» или «В краю лесов»), пронизывает всю лирику Гарди.

Вершиной лирической поэзии Гарди критики единогласно признают

цикл стихов, посвященных первой жене Гарди, Эмме Лавинии, написанных после того, как Гарди узнал о ее смерти (она умерла 27 ноября 1912 года). Среди них — «Исчезновение», «Твоя последняя прогулка», «Голос», «После поездки», «Мыс Бини», «У замка Ботерел», «Призрачная всадница». К ним можно было бы присоединить такие стихотворения, как «Разлука», «Прощание на перроне» и др. Шестнадцать стихотворений, написанных Гарди после смерти жены, по мнению одного из английских исследователей стихотворного наследия Гарди, было бы вполне достаточно, чтобы обеспечить ему почетное место среди поэтов XX века. Чувство любви и невосполнимой утраты пронизывает эти лирические стихотворения, в которых ярко высвечены все основные события их совместной жизни. Многие из них в той или иной форме были запечатлены Гарди и в лирике предшествующих лет; он будет возвращаться к ним и позже. В своей лирике Гарди словно бы создает некий в высшей степени личный «миф», покоящийся на истории его любви. Именно это свойство лирики Гарди вызвало крайнее раздражение Т. С. Элиота, заметившего, что Гарди «пишет всегда о себе». Здесь не место рассматривать сложную историю взаимоотношений между Гарди и поэтами-модернистами. Заметим только, что Элиот выступал против пронзительной лиричности поэзии Гарди, которая была непримлема для модернизма, но которая составляла едва ли не самую сильную сторону Гарди-поэта.

Чтобы лучше оцепить специфику лирики Гарди, перечитаем любое из его стихотворений 1912—1913 годов. Гарди, вообще говоря, поэт неровный, в поэзии которого есть и взлеты, и падения, создает в эти годы цикл замечательных по своей силе и выразительности лирических стихотворений, посвященных его покойной жене Эмме. Это вершина лирики поэта. Возьмем хотя бы «Голос». Стихотворение открывается обращением к женщине, о которой тоскует поэт, где в одной фразе, произнесенной на длинном дыхании, поэт восстанавливает все фазы их любви от первого, безоблачного дня (первая строфа). Здесь нет ни одного случайного, «проходного» слова, ни одной лишней детали. Предельная лаконичность; сложный синтаксис, передающий неустойчивость отношений между поэтом и возлюбленной. Вторая строфа — картина прошлого: женщина все в том же голубом платье, в котором поэт увидел ее впервые, ждет подъезжающего поэта. Из дневника Эммы, отрывки из которого Гарди включил в свое «Жизнеописание», мы узнаем, что именно так она была одета, когда поэт говорил с ней впервые (он видел ее сначала в коричневом плаще, верхом на небольшой лошади, что тоже найдет свое выражение в его лирике). Третья строфа по форме представляет собой риторический вопрос: поэт спрашивает себя, не принимает ли он за голос ушедшей возлюбленной ветер, шелестящий туманом над мокрыми лугами. Выразительная звукопись двух последних строк создает пронзительное чувство тоски и смятения. Завершает стихотворение строка, возвращающая нас к первой строке и к основной теме, заявленной в ней. Такая замкнутая, «кольцевая», композиция (также, кстати сказать, весьма часто используемая в народных жанрах) не только придает всему стихотворению законченность, завершенность, но и подчеркнуто усиливает основную тему. Гарди использует простые, но мощные образные средства: поэтическое обращение, риторический вопрос, звукопись, повторы. Об-

ращает на себя внимание отсутствие метафор. Нет в стихотворении, если не считать нескольких скупо вкрапленных эпитетов, и других тропов. Голос зовущей женщины (1-я строфа) сменяется зрительным впечатлением (2-я строфа), в свою очередь уступающим место звуку, вернее звукам природных сил (3-я строфа, начало 4-й строфы), которые возвращают нас к первоначальному звуку, голосу женщины (завершение 4-й строфы).

Сравнивая это стихотворение с другими, видишь, как заданный в нем сюжет пополняется новыми подробностями, обрастает деталями, расширяется пространством и временем, превращается в некий «миф» лирической поэзии Гарди. «Призрачная всадница» возвращает нас к первому дню знакомства Гарди и Эммы Лавинии, а также их совместным прогулкам вдвоем. «У замка Ботерел» и «Мыс Бини» также связаны с первым, счастливым периодом их любви, тогда как в стихотворении «После поездки» и в других слышатся отзвуки иных, «изменившихся» дней. Но прошлое не умирает, не уходит в небытие. В каждом новом лирическом стихотворении Гарди оно снова и снова наполняется жизнью, пульсирует горячей кровью. Эта слитность прошлого и настоящего, их возрождаемость и составляет самую суть «мифологичности» лирики Гарди. Эмма мертва — и в то же время голос ее продолжает звать поэта; она навеки растаяла в бледном тумане — и в то же время стоит (и будет вечно стоять!) все в том же «первом» голубом платье, дожидаясь возвращения поэта. В последней строфе стихотворения «После поездки» поэт знает, что возлюбленная скоро должна будет исчезнуть, ибо день уже стучится в окно, и молит ее о новой встрече, в которой не сомневается, ибо он все тот же, каким был во дни счастья. На склоне дней Гарди записал в дневнике: «Относительность. То, что вещи и события всегда были, есть и будут (например, Эмма, мама и отец все так же живут в прошлом)». Сплав прошлого, настоящего и будущего, «просвечивающих» друг сквозь друга, одномоментность их существования и вечная повторяемость уже бывшего, которое продолжает жить для поэта, — такова основа «мифа» лирической поэзии Гарди.

Многие исследователи творчества Гарди видят в его лирике лишь своеобразный поэтический дневник, в который он заносил все, большие и малые происшествия своей жизни, свои наблюдения над природой, раздумья о смысле жизни. В какой-то мере это наблюдение верно. Конечно, творчество всякого лирического поэта, — а Гарди, если не говорить об эпической поэме «Династы» (1904—1908), был по преимуществу лирический, — так или иначе «дневниково». Поэтический импульс отталкивается от каких-то, пусть даже совсем мелких и незначительных событий жизни поэта (знаменитое ахматовское «Когда б вы знали, из какого сора...»). Однако, вырастая из этого «сора», лирика Гарди, как и лирика всякого большого поэта, перестает быть ему равной, приобретает иное, гораздо более широкое, обобщающее значение. Пороки сторонников биографического метода толкования поэзии в том, в частности, и заключаются, что они ставят знак равенства между «поводом» к стихотворению и самим произведением.

Поэзия Гарди традиционна по форме, он пишет рифмованным стихом, используя старые размеры. Однако, оставаясь в общих рамках традиции, Гарди развивает и продолжает ее. «Мы можем только, — сказал

Гарди молодому Роберту Грейвзу,— писать на старые темы в старых стилях, но пытаться это делать чуть лучше, чем наши предшественники». Своеобразие лирики и уэссекских стихов, ориентированных на народную поэзию, нашло свое отражение и в оригинальной ритмике и строфике Гарди. Гарди использует традиционные размеры, но широко разнообразит ритм и строфу, стремясь приблизить их к разговорной речи. Исследователи отмечали, что он не повторяется в своих метрах. Отдавая решительное предпочтение рифмованному стиху, Гарди весьма часто использует неполную или несовершенную рифму. В своем дневнике он отмечал, что «петочные размеры и рифмы, введенные кое-где, гораздо приятнее, чем правильные», сравнивая последние с потертыми монетами, слишком долго бывшими в обращении.

В 1919 году Гарди получил ко дню своего рождения подарок — «красиво переплетенный томик стихов сорока с лишним поэтов-современников, каждое собственноручно вписанное автором». Подошедший вплотную к своему последнему десятилетию поэт был глубоко тронут и, как рассказывает он в своем «Жизнеописании», написанном от третьего лица, «постановил себе ответить каждому письмом и исполнил свое намерение, хотя это и заняло у него немало времени, говоря, что если они дали себе труд написать ему стихи, он, конечно, может дать себе труд написать им письма. Едва ли не впервые он осознал, что мало-помалу, словно под мраком ночи, возникло мнение, что в современном мире поэзии он не последняя сила». Эти слова Гарди, говорящие о его необычайной скромности и непритязательности, подтверждаются свидетельством Дж. М. Барри, который хорошо знал Гарди. В своих воспоминаниях о Гарди Барри писал: «Впервые я встретил Гарди в клубе на Пикадилли, куда он пригласил меня пообедать. В таких клубах после обеда все идет в курительную комнату и час-другой горячо спорят о стиле. Гарди почти не принимал участия в споре, а то немного, что он сказал, не произвело ни на кого впечатления. Я подумал: «Как интересно, что единственный человек среди нас, у которого есть стиль, не может ничего сказать о стиле». Этот эпизод приобретает тем большее значение, если иметь в виду, что речь идет об одном из тех клубов, где собирался цвет английской литературы тех лет. И еще: «Он никогда не желал своей славы. Если бы он мог отделаться от своей поэзии, он с радостью отдал бы ее первому же нищему, который подошел бы к его двери».

Эти слова были сказаны уже после смерти Гарди, последовавшей 11 января 1928 года. Последние годы его жизни академическая, литературная и даже официальная Англия делала все, чтобы загладить обиды давних лет. Королевское литературное общество присуждает поэту золотую медаль, его избирают почетным доктором Оксфорда, Кембриджа, Сент-Эндрюса, а также Абердинского и Бристольского университетов, ему присуждают орден «За заслуги», один из высших орденов Великобритании. Прах Гарди был захоронен в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства, литературного пантеона Англии. Возможно, лучшей эпитафией Гарди могли бы быть слова того же Барри: «Гарди мог выглянуть в сумерки в окно и тут же увидеть нечто, до той поры скрытое от глаз человеческих». Мало кому дан этот великий дар.

Н. Демурова



ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА РОДИНУ

РОМАН

ПЕРЕВОД О.ХОЛМСКОЙ



ВСТУПЛЕНИЕ

Дата, к которой следует отнести описанные здесь события, это десятилетие между 1840 и 1850 годами. В это время старинный курорт, названный здесь Бедмутом, сохранял еще отблески того ореола веселья и аристократизма, которым был осенен в георгианскую эпоху, и мог безраздельно пленить романтическую душу и пылкое воображение одинокой обитательницы каких-нибудь более далеких от берега и глухих местностей.

Под общим именем Эгдонской пустоши, которое мы придали сумрачному краю, где разыгрывается действие романа, объединено не меньше десятка подобных же вересковых пустошей, носящих разные названия; они действительно едины по характеру и виду, хотя их первоначальное единство сейчас несколько замаскировано вторжением полос и клиньев с разным успехом возделанной земли или лесных насаждений.

Приятно помечтать о том, что где-то на этом обширном пространстве, юго-западная четверть которого здесь описана, находится и та вересковая степь, по которой некогда блуждал легендарный король Уэссекса — Лир.

Т. Г.

Июль 1895 года

Постскриптум

Чтобы уберечь от разочарования любителей посещать памятные в литературе места, считаю нужным добавить, что, хотя действие происходит в центральной и наиболее уединенной части всех этих пустошей, слитых, как сказано выше, в одну, некоторые топографические особенности, подобные здесь описанным, встречаются в действительности по ее краю, за много миль к западу от центра. Да и в других случаях мы нередко сблужали разбросанные по значительному пространству черты.

В ответ на многочисленные вопросы упомяну также, что имя героини — Юстасия — было именем жившей в царствование Генриха IV владелицы мэнора Оуэр-Монь, к каковому приходу относилась и часть той местности, которая в романе описана как Эгдонская пустошь.

Впервые этот роман был опубликован в трех томах в 1878 году.

Т. Г.

Апрель 1912 года



КНИГА
ПЕРВАЯ

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

ГЛАВА I

ЛИЦО, НА КОТОРОМ ВРЕМЯ ОСТАВЛЯЕТ МАЛО СЛЕДОВ

Ноябрьский день близился к сумеркам, и обширное пространство неогороженной и поросшей вереском и дроком земли, известное под названием Эгдонской пустоши, с каждой минутой становилось все темнее. Высоко над головой легкие беловатые облака сплошь закрывали небо, словно шатер, полом которого была вся бескрайняя вересковая степь.

Небо, затянутое этим бледным пологом, и земля, одетая более темной растительностью, разделялись на горизонте резкой пограничной чертой. И в силу этого контраста вересковая степь казалась достойнием ночи, водворившейся здесь еще раньше, чем наступил ее астрономический час; здесь внизу, уже сгущался ночной сумрак, тогда как в небе еще невозбранно царил день. Поглядев вверх, поселянин, занятый резкой дрока, склонен был бы продолжать работу; поглядев вниз, он решил бы, что пора увязывать свою вязанку и идти домой. Дальние окраины земли и небосвода, казалось, были разделом во времени не менее, чем разделом в мире вещественном. Лик вересковой пустоши одной своей окраской мог на полчаса приблизить вечер; и точно так же он властен был отдалить рассвет, опечалить полдень, загодя подать весть о едва лишь зарождающихся грозах и непроглядность безлунной ночи обратить в нечто вызывающее жуть и трепет.

Именно этот переломный час перед нисхождением в ночную темь был часом торжества Эгдонской пустоши, когда она облекалась в особую, одной ей присущую красоту — и тот, кто не видал ее в это время, не может утверждать, что сколько-нибудь ее понял. Ее лучше чувствуешь, когда она не слишком отчетливо видна; в сумерки и перед рассветом она сильнее воздействует на человека и свободнее раскрывает себя; тогда и только то-

гда она расскажет вам свою подлинную повесть. Об Эгдонской степи по справедливости можно было бы сказать, что она в близком родстве с ночью; и при первом же приближении ночи ясно проявлялось их взаимное тяготение. Все это тусклое пространство, с его буграми и впадинами, словно вздымалось и дружелюбно тянулось к вечерней мгле; вереск источал темноту так же быстро, как небеса ее роняли. И мрак воздуха, и мрак земли сливались в угрюмом братанье, встречая друг друга на полпути.

В этот час Эгдон вдруг оживал, исполняясь чуткого, настроенного вниманья. Когда все остальное никло и клонилось в сон, вересковая степь словно бы пробуждалась и начинала прислушиваться. Каждую ночь ее таинственная ширь, казалось, чего-то ждала; но уже столько веков ждала она все так же безучастно среди всех свершавшихся в мире переворотов, что поневоле думалось: она ждет единственного последнего переворота — конечного уничтожения.

Те, что любят ее, всегда вспоминают о ней с чувством какой-то умиротворяющей внутренней близости. Улыбчивые долины, цветущие поля и полные плодов сады не вызывают такого чувства, ибо согласуются только с жизнью более счастливой и более окрыленной надеждами, чем наша нынешняя. Из сочетания сумерек и ландшафта Эгдонской степи возникал образ торжественный без суровости, выразительный без показной яркости, властный в своем спокойствии, величавый в своей простоте. Те же свойства, которые фасаду тюрьмы нередко придают достоинство, какого мы не находим в фасаде дворца вдвое большего по размеру, сообщали этой вересковой пустоши величие, чуждое прославленным своей живописностью местам. Смеющиеся пейзажи хороши, когда жизнь нам улыбается, но что, если она нерадостна? Люди гораздо больше страдают от насмешки слишком веселого для их мыслей окружения, чем от гнета чрезмерно унылых окрестностей. Мрачный Эгдон обращался к более тонкому и реже встречающемуся чутью, к эмоциям, усвоенным позже, чем те, которые откликаются на общепризнанные виды красоты, на то, что называют очаровательным и прелестным.

Да и кто знает, не идет ли уже к закату безраздельное господство этого традиционного вида красоты? Не будет ли новой Темпейской долиной какая-нибудь безлюдная пустыня в дальних краях Севера? Мы все чаще находим нечто родственное себе в картинах природы, отмеченных угрюмостью, которая отталкивала людей, когда род человеческий был юным. И, может быть, близко время, если оно еще не наступило, когда только сдержанное величие степи, моря или горного кряжа будет вполне гармонировать с душевным строем наиболее мыслящих из нас. Так что в конце концов даже для рядового туриста такие места, как Исландия, станут тем, чем для него сейчас являются виноградники и миртовые сады Южной Европы, и он будет равнодушно оставлять в стороне Гейделберг и Баден на своем пути от альпийских вершин к песчаным дюнам Схевенингена.

Самый строгий аскет мог бы со спокойной совестью прогуливаться по Эгдонской пустоши; открывая душу таким влияниям, он оставался бы в пределах законных для него удовольствий. Ибо краски столь приглушенные и красоты столь смиренные, бесспорно, принадлежат каждому по праву рождения. Только в самые солнечные летние дни Эгдон озарялся каким-то слабым подобием веселья. Сила была и ему доступна, но источником этой силы бывал не блеск, а сумрак; и высшей своей точки она достигала во время зимних бурь, среди тьмы и туманов. Тогда Эгдон одушевлялся ответным чувством, ибо буря была его возлюбленной и ветер его другом. Тогда его населяли странные призраки; и мы вдруг узнавали в нем прообраз тех диких областей мрака, которые смутно ощущаем вокруг себя в полочных снах, где все грозит гибелью и понуждает к бегству. Проснувшись, мы уже никогда о них не думаем, пока такое зрелище, как зимний Эгдон, не воскресит их в памяти.

Но сейчас, в осеннюю пору, Эгдонская пустошь казалась вполне созвучной человеку. В ней не было ничего мертвенного, отпугивающего, уродливого, не было и ничего банального, вялого, обыденного; она была как человек, несправедливо обиженный и терпеливо сносящий пренебрежение; и вместе с тем какая-то грандиозность и таинственность была в ее смуглом однообразии. И так же, как человек, слишком долго живший вдали от людей, она несла на себе печать отъединения. У нее было одинокое лицо, говорившее о трагических возможностях.

Этот заброшенный, безвестный, темный край упоминается в Книге Страшного суда. Он описан там как дикая степь, поросшая вереском, дроком и терновником — «Бруария». Дальше дается ее длина и ширина в лигах, и хотя точная величина этой старинной меры не установлена, все же из приведенных цифр можно заключить, что площадь Эгдона за все это время не намного сократилась. «Турбария Бруария» — термин, означающий право резать вересковый торф — встречается в хартиях, относящихся к тамошнему округу. «Заросшая вереском и мхом» — говорит Лсланд об этой пустынной полосе земли.

Это уже ясные указания на характер ее тогдашнего ландшафта — достоверные свидетельства, способные удовлетворить исследователя. Каков Эгдон сейчас, таким он был всегда — непокорным и отверженным изгоем. Цивилизация была его врагом; и с тех самых пор, как на земле впервые появилась растительность, он всегда носил одну и ту же древнюю коричневатую одежду, естественный и неизменный покров определенной геологической формации. В его верности этому единственному одеянию как бы заключена сатира на человеческую склонность тщеславиться своими нарядами. На этих вересковых склонах человек в платье современного покроя и расцветки выглядит странно и нелепо. Там, где одежда земли так первобытна, и человека хочется видеть в самых древних и простых одеждах.

В этот промежуток между днем и ночью особенно хорошо было посидеть, прислонясь к терновому пню, в широкой котловине, занимающей середину Эгдонской пустоши. Отсюда взгляд не проникал дальше замыкающих кругозор гребней и скатов, и мысль, что все вокруг и под ногами с доисторических времен оставалось столь же неизменным, как звезды над головой, служила своего рода балластом для сознания, расколебленного волнами перемен и натиском неугомонной новизны. В этой от века нетронутой земле чувствуешь такое постоянство и такую древность, на какую даже море не может притязать. В самом деле, можно ли о каком-нибудь отдельном море сказать, что оно древнее? Солнце испаряло его, луна месила его, как тесто, оно обновлялось с каждым годом, с каждым днем, даже с каждым часом. Моря сменялись, поля сменялись, реки, деревни, люди сменялись, но Эгдон пребывал. Его горы были не настолько круты, чтобы подвергаться выветриванию, его низины не настолько плоски, чтобы на них могли отлагаться паводочные наносы. За исключением старой проезжей дороги и еще более старого кургана, о которых еще будет речь и которые за долговременное свое существование сами словно бы откристаллизовались и стали продуктом природы, все прочие, даже небольшие неровности почвы, были произведены здесь не киркой, плугом или лопатой и возникли не на памяти людской, но сохранялись издревле как доподлинные отпечатки пальцев последнего геологического переворота.

Упомянутая проезжая дорога пересекала сравнительно низменную часть Эгдона от одного края горизонта до другого. Местами она накладывалась на старинный проселок, отходивший где-то недалеко от Великого западного пути римлян, известного в истории как Виа-Икениана, или Айкенилд-стрит. Добавим еще, что в тот вечер, о котором пойдет рассказ, хотя сумрак и стирал уже менее резкие черты эгдонского ландшафта, белая лента дороги была видима почти так же ясно, как днем.

ГЛАВА II

НА СЦЕНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК И С НИМ ТРЕВОГИ

По дороге шел старик — белоголовый, как гора, согбенный в плечах и весь какой-то поблекший. На нем была клеепчатая шляпа, старый бушлат с якорями на медных пуговицах, башмаки. В руке он держал трость с серебряным набалдашником, которой пользовался, как настоящей третьей ногой, на каждом шагу тыча ею в землю, так что позади оставался частый пунктирный след. С первого же взгляда всякий признал бы в нем бывшего морского офицера.

Перед ним простиралась длинная томительная дорога, сухая, безлюдная, белая. Она ничем не отделялась по бокам от

примыкающего к ней вереска и прорезала всю эту обширную темную равнину, как узкий пробор на черноволосой голове, сужаясь постепенно и чуть загибаясь к далекому горизонту.

Старик часто всматривался в даль, как бы измеряя расстояние, которое ему еще предстояло пройти. Под конец он различил далеко впереди движущуюся точку, — очевидно, какой-то экипаж, ехавший в том же направлении, куда и старик держал свой путь. То был единственный атом жизни во всей этой темной, немой степи и только подчеркивал ее пустынность. Он двигался медленно, и старик мало-помалу нагонял его.

Приблизившись, он увидел, что это фургон, обыкновенный по форме, но совершенно необычный по цвету, так как весь он был зловеще-красный. Возница шел рядом, и он тоже, как и его фургон, весь был красный с головы до ног. Одна и та же густая краснота без всякой разницы в оттенках покрывала его одежду, шапку на голове, башмаки, лицо и руки. И это была не случайная, временно наложенная окраска — он был ею пропитан.

Старик понял, что это значит. Перед ним был охряник — разъездной торговец, снабжавший окрестных фермеров охрой для их овец. Представители этой быстро вымирающей в Уэссексе профессии занимают в современном сельском мире такое же место, какое за последнее столетие дронт занимал в мире животном. Любопытное и сейчас уже почти утерянное звено между отживающими формами быта и теми, что приходят им на смену.

Дряхлый моряк наконец поравнялся с ним и поздоровался. Охряник повернул голову и отвечал ему тем же, но как-то рассеянно и невесело. Он был молод, и, как ни портила его странная окраска, все же, взглядевшись в его лицо, никто бы не усомнился, что в естественном своем виде оно было красиво. Глаза его, так странно высматривавшие из багровой маски, сами по себе были очень хороши — пронзительные, как у хищной птицы, и синие, как осенний туман. Он не носил ни усов, ни бороды, и ничто не скрывало мягких очертаний его рта и подбородка. Губы у него были тонкие и сейчас крепко сжатые, словно он о чем-то неотступно думал, но в уголках иногда шевелилась затаенная улыбка. Одет он был в плотно облегающий плюсовый костюм хорошего покроя и отличного качества, не слишком поношенный, хотя и утративший свой первоначальный цвет от постоянного соприкосновения с краской. Эта удобная для работы и ловко сидящая одежда выгодно оттеняла его статную фигуру. Да и вообще что-то в его манерах и облике говорило о благосостоянии, — очевидно, для своего положения он был далеко не беден. И, глядя на него, всякий невольно задавал себе вопрос: зачем же было этому столь одаренному природой существу избирать занятие, при котором все его внешние достоинства оставались скрытыми?

Ответив на приветствие старика, он не обнаружил склонности продолжать разговор, и хотя старший путник не отставал,

видимо, наскучив одиночеством, оба теперь шли молча. Кругом нависла тишина — слышен был только свист ветра над рыжеватой травянистой порослью, скрип колес на дороге, шорох шагов обоих путников да топот копыт двух косматых лошадок, тащивших фургон. Это были низкорослые выносливые лошадки, помесь галовейской и экзетерской пород — в наших краях их называют вересковыми стригунами.

Время от времени охряник покидал своего спутника и, зайдя за фургон, заглядывал внутрь через маленькое оконце. Вид у него всегда был при этом тревожный и озабоченный. Потом он возвращался к старику, тот делал какое-нибудь замечание о погоде или состоянии пустоши, охряник отвечал все так же рассеянно, и снова оба умолкали. Они не испытывали неловкости от этого молчания; в таких пустынных местах случается, что путники после первых приветствий проходят бок о бок целые мили, не обмениваясь ни словом; простое соседство для них равносильно безмолвному разговору, потому что соседство это не вынужденное, как то часто бывает в городах; ему в любой момент может быть положен конец, и обоюдная готовность его сохранить уже сама по себе есть общение.

Эти двое, возможно, так и не заговорили бы до самого расставанья, если бы охряник не наведывался так часто в свой фургон. Когда он в пятый раз вернулся к старику, тот спросил:

— У вас там еще что-то есть, кроме товара?

— Да.

— Кто-то, за кем нужно присматривать?

— Да.

Невдолге после этого из фургона послышался слабый крик. Охряник поспешил к оконцу, заглянул и отошел.

— Ребенок у вас там, что ли?

— Нет, сэр. Женщина.

— Вон что! Чего же это она кричит?

— Да, видите, заснула она, а к езде непривычная, так и сон у нее беспокойный. Приснилось, наверно, что-нибудь.

— Молодая она?

— Да. Молодая.

— Сорок лет назад меня бы это заинтересовало. Может, она ваша жена?

— Жена! — с горечью сказал охряник. — Нет, она не для таких, как я. Но я не вижу, почему я должен вам про это рассказывать.

— Верно. Но почему бы и нет? Что я плохого могу сделать вам или ей?

Охряник долгим взглядом посмотрел в лицо старику.

— Что ж, сэр, — сказал он наконец, — я, правда, знал ее и раньше, хоть, может, лучше было бы не знать. Но она мне никто, и я ей никто, и она не была бы в моем фургоне, кабы там нашелся для нее экипаж получше.

— Где это, можно спросить?

— В Энглбери.

— А, я хорошо знаю этот городок. Что она там делала?

— Да ничего такого, чтобы нам ее пересуживать. В общем, устала она до смерти, да и нездоровится ей, от этого она такая беспокойная. Час назад задремала, авось теперь ей полегчает.

— И красивая девушка, наверно?

— Пожалуй, что и красивая.

Старик с любопытством поглядел на оконце и, не отрывая от него глаз, спросил:

— Можно мне взглянуть?

— Нет,— коротко ответил охряник.— Уже темнеет, вы все равно не увидите, да, кроме того, я и права не имею вам разрешать. Сейчас она, слава богу, крепко спит,— хорошо бы, до самого дома не проснулась.

— Да кто она такая? Из местных кто-нибудь?

— Не важно кто, сэр, простите.

— Уж не та ли девушка из Блумс-Энда, о которой у нас в последнее время столько говорили? Если так, то я ее знаю и догадываюсь, что случилось.

— И это тоже не важно... Извините, сэр, боюсь, теперь нам придется расстаться. Мои лошадки притомились, а ехать еще далеко, хочу дать им часок отдохнуть вон под тем пригорком.

Старший путник равнодушно кивнул, и охряник завернул лошадей и фургон в сторону от дороги, пожелав старику доброй ночи. Тот ответил ему таким же пожеланьем и продолжал свой путь.

Охряник долго смотрел ему вслед, пока фигура старика не превратилась в крохотное пятнышко и не растаяла в сгущавшейся вечерней мгле. Потом он достал сена из охапки, привязанной под фургоном, насыпал кучку перед лошадьми, а остальное положил возле фургона и сам уселся на эту подстилку, прислонясь к колесу. Из фургона слышалось теперь тихое, ровное дыханье. Это, по-видимому, его успокоило, и он стал раздумчиво оглядываться по сторонам, как бы соображая, какой следующий шаг ему предпринять.

В этот сумеречный час в эгдонских долинах только так и можно было что-нибудь делать — постепенно, обдуманно, шаг за шагом, потому что в самой пустоши в это время проявлялось что-то похожее на медлительное, осторожное, полное колебаний раздумье. Таково было свойство объемлющего ее в этот час покоя. Это не был абсолютный покой неподвижности, а только мнимый покой невероятно медленного движения. Здесь была здоровая жизнь, внешне сходная с оцепенением смерти, застылость пустыни и одновременно такая полнота сил, какая свойственна разве только цветущему лугу или даже лесу,— любопытнейшее в своем роде явление; и в тех, кто о нем думал, оно порождало ту утонченную внимательность, которая отличает обычно людей сдержанных и осторожных.

С того места, где сидел охряник, открывался широкий вид на уходившие вдаль склоны — почва постепенно, уступами и грядами, поднималась от уровня дороги к нагорью в глубине пустоши. Тут были увалы и лощины, гребни и отроги — они громоздились один за другим, и все завершалось высоким холмом, ясно рисовавшимся на еще светлом небе. Взгляд путника некоторое время блуждал по всем этим неровностям и наконец остановился на самой примечательной из них. Это был курган. Круглый и выпуклый, резко отделяясь от окружавшей его гладкой взлобины, он венчал собой самую высокую и самую одинокую вершину всего нагорья. Хотя снизу, из долины, он казался всего лишь бородавкой на челе Атланта, действительные его размеры были довольно велики. Он служил как бы полюсом и осью всего этого одетого вереском мира.

Отдыхавший путник, все еще глядя на курган, заметил вдруг, что на его вершине, до сих пор составлявшей наивысшую точку всего нагорья, возвышается еще что-то. Маленькая человеческая фигура венчала полукруглый бугор, как острие шлема. И такой древностью, таким далеким прошлым веяло здесь от всего окружающего, что одаренный фантазией наблюдатель, пожалуй, склонен был бы увидеть в этой фигуре одного из тех кельтов, которые возвели этот курган. Казалось, последний из их народа еще медлил там в раздумье, задержавшись на миг, перед тем как кануть в вечную почь вместе со всем своим племенем.

Он стоял там, этот неведомый человек, недвижимый, как холм у него под ногами. Над равниной возвышался холм, над холмом — курган, над курганом — эта фигура. А над ней — уже только то, что могло быть нанесено на небесную карту.

Такую совершенную, изящную и необходимую законченность придавала эта фигура темному нагромождению холмов, что казалось, именно она связывает их очертания воедино. Без нее это был бы купол без фонаря верхнего света, с ней архитектурные требования были удовлетворены. Во всем этом ландшафте была какая-то удивительная однородность. Долина, нагорье, курган и фигура на нем составляли неразрывное единство. Обратив взгляд на то или другое в отдельности, вы сразу понимали, что перед вами не целое, а всего лишь осколок.

Эта фигура так органично выростала из увещанного ею холмистого массива, что, шевельлись она, это показалось бы совершенно невероятным. Неподвижность была характернейшей чертой того стройного целого, в которое она входила как часть, и нарушение неподвижности в какой-либо из его частей, казалось, должно было тотчас же превратить его в хаос.

Однако именно это и произошло. Фигура заметно двинулась, переместилась в сторону на шаг либо два, повернулась. Словно чем-то вспугнутая, она соскользнула по правой закраине кургана, как дождевая капля по бутону, и исчезла. При движении отчетливее обрисовались ее контуры, и стало ясно, что это женщина.

Причина ее внезапного бегства тут же объяснилась. Едва она исчезла с правой стороны, как с левой возник на фоне неба темный силуэт человека с ношей на плечах. Он поднялся по склону и сложил свою ношу на вершине кургана. За ним появился другой, третий, четвертый, пятый, и вскоре весь курган был усеян фигурами с ношей на плечах.

Из этой пантомимы китайских теней можно было понять, что женщина, стоявшая здесь раньше, не имела отношения к тем, кто занял ее место, она даже избегала встречи с ними, и цель у нее, очевидно, была иная. Но эта исчезающая одинокая фигура больше говорила воображению, чем пришедшие ей на смену, она казалась более интересной и значительной, как будто таила в себе историю, которую стоило узнать, и новые пришельцы были тут всего лишь досадной помехой. Однако они остались и, судя по всему, расположились надолго, а та, кто до сих пор была царицей одиночества, видимо, пока что не собиралась вернуться.

ГЛАВА III

МЕСТНЫЙ ОБЫЧАЙ

Если бы наблюдавший все это путник находился возле самого кургана, он распознал бы в этих людях поселян — взрослых мужчин и мальчиков — из соседних деревень. Каждый, поднимаясь по склону, нес четыре больших вязанки дрока — две спереди, две сзади, что достигалось с помощью двух длинных, положенных на плечи палок, на заостренные концы которых и были наткнуты эти вязанки. Все это они тащили на себе добрую четверть мили, из дальней части пустоши, заросшей почти исключительно дроком.

За такими огромными вязанками человека даже не было видно, пока он не сбрасывал ношу, — казалось, идет куст на двух ногах. Двигались они гуськом, в том же порядке, как овцы в стаде, то есть старшие и более сильные впереди, те, что помоложе и послабее, — сзади.

Наконец, все вязанки были сложены, и на макушке кургана — он на много миль кругом был известен под прозвищем Дождевого кургана — выросла пирамида из дрока в тридцать футов окружностью. Теперь одни готовили спички и выбирали самые сухие пучки дрока, другие распутывали плети ежевики, которыми были скреплены вязанки. А кое-кто, пока шли эти приготовления, посматривал по сторонам, озирая обширное пространство, открывавшееся с этой высоты и уже тонувшее во мраке. В эгдонских долинах ничего не увидишь вокруг, кроме угрюмого лика самой пустоши, — здесь же кругозор был так широк, что охватывал и окрестные села, лежавшие за пределами

Эгда. Ничего в отдельности сейчас уже нельзя было разглядеть, но все вместе ощущалось как смутные, затаившиеся в темноте дали.

Пока мужчины и мальчики готовили костер, в тех уплотнениях тьмы, которыми обозначались эти дальние селения, произошла перемена. Там и сям стали вспыхивать маленькие красные солнца и хохолки света, пестря огнями темную равнину. То были костры в других приходах и деревнях, где люди тем же способом отмечали праздник. Одни костры, очень далекие и зажженные в сырых низинах, глухо просвечивали сквозь туман, так что видны были только расходящиеся веером бледные лучи, похожие на пук соломы; другие, близкие и яркие, кроваво рдели, как раны на черной шкуре. Были среди них Менады с багровыми от вина лицами и развевающимися волосами. Эти бросали отсветы на молчаливое лоно облаков и, озаряя разверстые в нем воздушные пещеры, превращали их в кипящие котлы. Во всей округе можно было насчитать до тридцати костров, и так же, как при плохом свете можно по положению стрелок на циферблате узнать час, хотя цифры и неразличимы, так и люди на холме по направлению и углу безошибочно определяли, в какой деревне горит костер, хоть самой деревни и не могли видеть.

Высокий огненный язык внезапно взвился над Дождевым курганом, и все, кто еще смотрел на дальние чужие костры, поспешили вернуться к тому, который был создан их собственными стараниями. Веселое пламя расписало золотом внутреннюю сторону этого людского круга, пополнившегося теперь еще новыми запоздалыми пришельцами, мужчинами и женщинами, и даже на темный вереск позади них набросило дрожащее сияние, которое редело и гасло там, где бока кургана закруглялись и уходили вниз. Стало видно, что курган представляет собой половинку шара, такую же аккуратную, как в тот день, когда его только что насыпали; сохранилась даже кольцевая канавка на том месте, откуда брали землю. Плуг никогда не тревожил этой скудной почвы. В ее негодности для фермера таилось ее богатство для историка. Ничто тут не было стерто, потому что не было ухожено.

Люди, озаренные пламенем костра, как будто стояли в каком-то верхнем ярусе мира, отдельном и независимом от темноты внизу. Со всех сторон их окружала бездна — так чудилось им оттого, что взгляд, привыкший к свету, не проникал в эти черные глубины. Иногда, правда, случалось, что взревшее с внезапной силой пламя забрасывало туда быстрые отблески, словно высылало разведчиков в неведомую страну, и тогда какой-нибудь куст на дальнем склоне, озерцо, участок белого песка на миг ответно вспыхивал таким же красноватым огнем, а затем снова все терялось во мраке. Тогда казалось, что вся эта нижняя бездна — это преддверие Ада, такое, каким узрел его в своих видениях божественный флорентиец, когда заглянул туда, склонившись над краем; и в бормотании ветра по ложи-

нам слышались жалобы и мольбы «могучих душ», обреченных вечно парить там в пустоте.

Эти мужчины и мальчики из соседней деревни словно бы вдруг нырнули в глубь столетий и вынесли оттуда какой-то завет седой древности, ибо то, что они сейчас делали, уже не раз вершилось в этот же час и на этом месте. Пепел от жертвенных огней древних бриттов еще лежал, чистый и нетронутый, под темным дерном кургана. Погребальные костры более поздних лет точно так же бросали отсветы на окрестные низины. Празднества в честь Тора и Одина пришли им на смену и отсиyli в положенное время. Теперь уж можно считать установленным, что в этих осенних кострах, одним из которых наслаждались сейчас поселяне, следует видеть прямое наследие друидических ритуалов и саксонских похоронных обрядов, а вовсе не воспоминание народа о Пороховом заговоре.

А кроме того, осепью всякого тянет разжечь костер. Это естественное побуждение человека в ту пору, когда во всей природе прозвучал уже сигнал гасить огни. Это бессознательное выражение его непокорства, стихийный бунт Прометея против слепой силы, повелевшей, чтобы каждый возврат зимы приписал непогоду, холодный мрак, страдания и смерть. Надвигается черный хаос, и скованные боги земли возглашают: «Да будет свет!»

Яркие блики и черные как сажа тени, падая на лица и одежду стоявших вокруг людей, придавали всей этой сцене чисто дюреровскую резкую выразительность. Но уловить подлинный склад каждого лица, так сказать, его постоянный нравственный облик, было невозможно, — быстрые языки пламени взвивались, кивали, разлетались в воздухе, пятна теней и хлопья света беспрестанно меняли место и форму. Все было неустойчиво — трепетно, как листва, и мимолетно, как молния. Впадины глазниц, только что глубокие и пустые, как в голом черепе, вдруг до краев наливались блеском; худая щека миг назад была темным провалом, теперь она сияла; изменчивый луч то углублял морщины, то совершенно их сглаживал. Ноздри казались черными колодцами, жилы на старческой шее — позолоченным лепным орнаментом, то, что по природе своей было лишено лоска, вдруг покрывалось глазурью, а блестящие предметы, например, серп для резки дрока в руках у одного из поселян, становились прозрачны, как стекло; глаза вспыхивали, словно фонарики. Те, кого природа наделила сколько-нибудь необычной внешностью, превращались в уродов, уроды — в чудовищ, ибо все было доведено до крайности.

Возможно поэтому, что лицо старика, которого веселый огонь тоже выманил на вершину, вовсе не состояло из одного только носа и подбородка, как это казалось. Он стоял у самого костра, нежась в тепле, словно у печки, и длинным пастушеским посохом подгробал в огонь разбросанные вокруг остатки хвороста. Иногда он поднимал глаза, измеряя высоту пламени и следя за полетом искр, которые тоже взвивались вверх в токе горячего

воздуха и уплывали в темноту. Яркий свет и оживляющее тепло мало-помалу привели его в веселое настроение, а потом и в восторг. С посохом в руке он принялся в одиночку выплясывать жигу, отчего гроздь медных печаток на цепочке, свисавшей из-под его жилета, сверкала и раскачивалась, как маятник. Он даже затянул песню — хлипким тоненьким голоском, похожим на жужжание пчелы в дымоходе.

Пойду я к королеве, граф,
Войду в ее покои
И исповедую ее,
И ты пойдешь со мною.

Надень монашеский наряд,
И я надену тоже,
И к королеве мы с тобой
Войдем, как люди божьи.

Но на втором куплете он задохнулся, и песня оборвалась. Это привлекло внимание плотного мужчины средних лет, который стоял у костра, прочно утвердившись на толстых ногах и крепко вжав в щеки опущенные книзу углы рта, словно желая отвести от себя малейшее подозрение в склонности к подобному же легкомыслию.

— Славная песня, дедушка Кентл, — проговорил он, обращаясь к морщинистому весельчаку, — да только не под силу твоим стариковским легким. Что, дед, небось хочется, чтоб тебе опять было три раза по шесть, как тогда, когда ты только учил эту песню?

— А? Чего? — отозвался дедушка Кентл, прекращая пляску.

— Я говорю, хотел бы ты снова стать молодым? А то нынче, похоже, в мехах у тебя дырка. Голосу-то уж нету!

— Зато уменье есть. Вот кабы не умел я спеть да сплясать, ну, тогда был бы я не моложе самого старого старика. А так я еще молодцом, а, Тимоти?

— Ну, а как наши новобрачные — там, в гостинице «Молчаливая женщина»? — осведомился его собеседник, указывая на тусклый огонек, светившийся в низине за большой дорогой, но на порядочном расстоянии от того места, где сейчас отдыхал охряник. — Правда ли, нет ли, что у них что-то не заладилось? Ты бы должен знать, ты же человек толковый.

— Хоть малость и гуляка? Есть такой грешок, всегда за мной водился. Да это беда небольшая, сосед Фейруэй, с годами пройдет.

— Я слышал, они хотели сегодня вернуться. Сейчас уж, наверно, дома. А дальше ничего не знаю.

— Так надо бы пойти их поздравить!

— И совсем это ни к чему.

— Да отчего же, пойдём! Я-то уж непременно пойду. Где веселье, там я первый!

Твоим приказам, мой король,
Я повинуюсь свято,
Но королева пред тобой
Ни в чем не виновата.

— Я вчера встретил миссис Ибрайт, невестину тетку, и она мне сказала, что ее сын, Клайм, приезжает домой на рождество. Ох, и дошлый парень этот Клайм! Ученый! Мне бы столько всего знать, сколько у него в голове припрятано! Ну, я поболтал с ней, шуточку отпустил одну-другую, как водится, а она посмотрела на меня и говорит: «Господи, говорит, на вид-то какой почтенный, а послушать — дурень!» Да мне-то что, я ей так и сказал, я, мол, твои слова ни во что не ставлю, вот тебе! Ловко я ее отбрил, а?

— По-моему, это она тебя отбрила, — сказал Фейруэй.

— Да что ты! — испуганно откликнулся дедушка Кентл, сразу потеряв весь свой апломб. — Это что ж, по-твоему, выходит, я такой и есть, как она сказала?..

— Выходит, что так. А Клайм, стало быть, из-за этой свадьбы и приезжает? Чтобы мать не осталась одна в доме?

— Ну да, ну да, из-за этого. Нет, а ты послушай, Тимоти! Я, правда, шутник, все знают, да ведь могу и по-серьезному разговаривать. Хочешь, все тебе расскажу про эту парочку? Вот послушай. Они, точно, сегодня утром в шесть часов в город поехали венчаться, и больше уж их никто не видал, да небось к вечеру воротились, и теперь уже мужчина и женщина, — то есть, тьфу! — муж и жена. Что, разве плохо я рассказал? И разве не видишь теперь, что миссис Ибрайт ошиблась?

— Да ладно уж, хорош! А я и не знал, что они опять за прежнее взялись — даром что мать ей запретила... И давно это у них сызнова пошло? Ты не знаешь, Хемффри?

— Да! Давно ли? — с важностью спросил дедушка Кентл, тоже поворачиваясь к Хемффри. — Отвечай-ка!

— А с тех самых пор, как ее мать, то бишь тетка, передумала и сказала, пусть, мол, уже выходит за него, коли ей охота, — отвечал Хемффри, не отрывая глаз от огня. Это был несколько мрачный молодой человек, очевидно промышлявший резкой дрока, потому что под мышкой у него был серп, на руках кожаные перчатки, а на ногах толстые краги, твердые, как медные поножи филистимлянина. — Оттого, наверно, они и решили обвенчаться в другом приходе. А то миссис Ибрайт столько тогда шуму наделала, в церкви-то во время оглашения, смешно было бы после этого тут же у нас свадьбу устраивать.

— А конечно, смешно, да и тем-то бедняжкам вроде как стыдно, — это я, впрочем, так, догадываюсь, а там кто их знает, — рассудительно заметил дедушка Кентл, все еще стараясь сохранить солидный вид и осанку.

— Да, я сам был в тот день в церкви, — сказал Фейруэй. — Чудно, а? Я ведь нечасто туда хожу.

— Где уж нам часто ходить,— с жаром подхватил дедушка Кентл.— Я все лето собирался, а теперь зима на носу, так уж вряд ли соберусь.

— Я три года не бывал,— сказал Хемфри.— По воскресеньям больно спать хочется, а идти далеко, да еще раздумываешься— ну, положим, я потружусь, схожу, так неужто за это меня допустят в царствие небесное, когда столько не допускают, ну и останешься дома и никуда не пойдешь.

— А я вот был,— с твердостью заявил Фейруэй,— и не только был, а еще и сидел на одной скамье с миссис Ибрайт. И хотите — верьте, хотите — нет, а у меня кровь застыла в жилах, когда я услышал, что она говорит. Да, прямо кровь застыла, вот как! Я же сидел с ней рядом.— Рассказчик оглядел присутствующих, теперь подошедших ближе, чтобы послушать, и еще плотнее, чем всегда, сжал губы, как бы подчеркивая этим строгую точность своего описания.

— Ах, страсти!.. — вздохнула какая-то женщина сзади.

— Только что пастор сказал: «Если есть возражения против этого брака, заявите»,— продолжал Фейруэй,— как вдруг встает женщина рядом со мной, у самого моего локтя. «Будь я проклят, коли это не миссис Ибрайт»,— говорю я себе. Да, соседи, даром что в храме божем, а именно так я сказал. Сами знаете, нет у меня такой повадки, чтобы клясться и ругаться, и которые тут есть женщины, пусть сейчас на меня не обижаются. Но что я сказал, то сказал, скрывать не хочу,—ведь если б я скрыл, это была бы ложь.

— Верно, верно, сосед Фейруэй.

— «Будь я проклят, коли это не миссис Ибрайт»,— говорю я себе,— повторил рассказчик, непреклонной строгостью лица и тона показывая, что повторение вызвано исключительно необходимостью, а отнюдь не желанием посягать на кощунственные слова.— И вдруг слышу, она говорит: «Я запрещаю этот брак!» — «Хорошо, мы с вами поговорим после службы»,— отвечает пастор, да так спокойно, совсем по-домашнему, будто и не священник, а простой человек, и святости в нем не больше, чем во мне или в вас. А она стоит,— ни кровинки в лице. Может, помните, в Уэзербери в церкви есть памятник — солдат сидит, ногу на ногу положил? Еще мальчишки у него нос отбили? Вот и она такая же была белая, когда сказала: «Я запрещаю этот брак!»

Слушатели прокашлялись и подбросили хвостинку в огонь,— не потому, что в том была надобность, но чтобы дать себе время извлечь мораль из этого рассказа.

— А я, как узнала, что им нельзя пожениться, так-то обрадовалась, словно мне шестипенсовик подарили,— слышался робкий голос. Это говорила Олли Дауден, бедная женщина, кормившаяся тем, что вязала на продажу веники и метлы из вереска. Она всегда была вежлива и с друзьями и с подругами,

признательная всему миру уже за одно то, что ей позволяли оставаться в живых.

— А теперь она все равно за него вышла, — сказал Хемффри.

— После того, как миссис Ибрайт передумала и дала согласие, — закончил Фейруэй с независимым видом, как будто его слова были не просто повторением того, что еще раньше сказал Хемффри, но плодом его собственных размышлений.

— Ну, пусть даже им стыдно, а я все ж таки не понимаю, почему было не сыграть свадьбу здесь, у нас, — сказала дебелия женщина, у которой корсет скрипел, словно новенькие ботинки, всякий раз, как она поворачивалась или наклонялась. — Плохое ли дело — собрать соседей да повеселиться, хоть об рождество, хоть на свадьбе. Другой бы рад был угождение людям сделать, а эти на-ка, все тайком да втихомолку. Не люблю таких скрытных.

— А я, хотите верьте, хотите нет, не люблю веселых свадеб, — веско заявил Тимоти Фейруэй, снова обводя строгим взглядом присутствующих. — И, признаться, не осуждаю Томазин Ибрайт и соседа Уайлдива за то, что они все тишком проделали. Ведь свадьба это что значит? То тебе жига, то рил, хочешь не хочешь, а становись в круг. А ногам-то оно накладно, когда тебе уже за сорок.

— Да уж на свадьбе не откажешься, надо же отплатить хозяевам за угощение!

— На святках пляши, потому что раз в году, на свадьбах пляши, потому что раз в жизни. Даже на крестинах, ежели по первому либо по второму ребенку, так и не нороят один-два рила всунуть. А сколько еще петь приходится!.. Нет, по мне, всего лучше хорошие похороны. Угощение не беднее, чем на свадьбе, а то и побогаче. А ногам покойнее. Посидеть за столом да потолковать об усопшем — это же не то что хорипайп отхватывать!

— А потанцевать на похоронах, значит, никак пельзя? Пожалуй, люди скажут, это, мол, уж, значит, чуток перестараться, как ты считаешь, Тимоти? — любознательно осведомился дедушка Кентл.

— Да, только там может степенный человек без опаски смотреть, как кувшин ходит вкруговую.

— Не понимаю все-таки, как Томазин Ибрайт на такую скаредность согласилась, — начала снова Сьюзен Нонсеч, дебелия толстуха, возвращаясь к своей прежней теме. — Ведь какая девушка хорошая, совсем как барышня, а свадьба — ну хуже, чем у голытьбы последней! Да и жених-то — разве бы ей такого надо? Только и есть в нем, что из себя пригляден.

— Э, нет, не скажи, он парень ловкий, а по учепости, пожалуй, самому Клайму Ибрайту не уступит. Не к тому его готовили, чтоб в трактире стоять за стойкой. Вы же знаете, он инженером был, да сбился с пути, так, чтобы с голоду не пропасть, и взял за себя эту гостиницу. Ученье впрок не пошло!

— Ох, это часто бывает, — вздохнула Олли, та смиренница, что вязала метлы. — А все ж таки учатся все, да и выучиваются. Посмотришь на иного, — раньше, хоть ты его режь, не сумел бы кружочка на бумаге вывести, а теперь, гляди-ка, уже фамилию свою подписывает, и перо у него не брызнет, даже, бывает, кляксы ни одной не посадит. Да что — стол даже ему не надобен, чтобы локти разложить и животом упереться, — так, стоя, и пишет!

— Это верно, — сказал Хемфри. — До чего народ стал полированный!

— Да хоть меня взять, — подхватил дедушка Кентл. — Пока не пошел я в ополчение в восемьсот четвертом году, не послужил в солдатах, так такой же был телепень, как вы все. А теперь меня хоть куда поверни, нигде не оплошаю!

— Да, кабы ты годился еще в женихи, — сказал Фейруэй, — так теперь-то сумел бы расписаться в церковной книге. Не то что наш Хемфри, он-то насчет грамоты по отцу пошел. Помню, Хем, когда я женился, только взял я перо, гляжу, строчкой выше крест наляпан — зда-аровый, руки в стороны, как у чучела, это твои родители как раз перед нами венчались, и отец, стало быть, свой знак поставил. Ох, и страшный был крест, черный, голенастый, ни дать ни взять твой батюшка. Не выдержал я, прыснул со смеху, хоть еле дышал от жары, — запарился я с этой свадьбой, а тут еще жена на руке виснет, а Джек Чангли с ребятами в окошко на нас таращатся, зубы скалят. Да тут же подумал я, что вот ведь они и недавно женились, а уже чуть не каждый день ругаются, а теперь я, дурак, в такую же кашу лезу, так, верите ли, в озноб кинуло!.. Да-а, это был денек!

— Уайлдвиг и годами постарше Томазин Ибрайт. А она к тому ж и собой хороша. Молодой девушке такому человеку на шею бросаться — это уж надо совсем дурой быть.

Эту тираду произнес недавно подошедший к костру торфяник; он держал на плече широкую сердцевидную лопату — обычное орудие торфореза, — и в отблесках от костра ее наостренный край сверкал, как серебряный лук.

— Сотня к нему прибежит, только бы кликнул, — проворчала толстуха.

— А ты, сосед, видал когда-нибудь мужчину, за которого бы ни одна женщина не пошла? — спросил Хемфри.

— Я? Нет, не видал, — ответил торфяник.

— Ни я, — сказал кто-то.

— Ни я, — сказал дедушка Кентл.

— А я вот видал, — изрек Тимоти Фейруэй, еще тверже упираясь ногой в землю. — Знавал я такого. Но только одного, заметьте. — Он громогласно прокашлялся, как будто опасался, что слова его могут не дойти до слушателей из-за неясности произношения. — Да, я знавал такого человека, — повторил он.

— И что же это было за чучело такое несчастное? Урод, что ли, какой или калека? — спросил торфяник.

— Зачем калека? Не слепой он был и не глухой или там немой. А кто таков, не скажу.

— У нас его знают? — спросила Олли.

— Навряд ли, — сказал Тимоти. — Да я имен не называю... Эй, там, ребятки! Подбросьте-ка еще сучьев в огонь!

— А чего это у Христиана Кентла зубы стучат? — спросил молодой паренек из дыма и колыхающихся теней по ту сторону костра. — Прозяб, Христиан?

Тонкий невнятный голос ответил:

— Да нет, я ничего.

— Иди сюда, Христиан, покажись. Я не знал, что ты здесь, — милостиво сказал Фейруэй, обращая сострадательный взгляд в ту сторону, откуда был слышен голос.

В ответ на это приглашение из дыма возник тощий, узкоплечий парень, с жидкими, бесцветными волосами, одетый словно бы не по росту, — из рукавов торчали длинные костлявые руки, из штанин такие же длинные и костлявые лодыжки. Он перешагнул сделал два шага вперед, потом — очень быстро — еще пять-шесть шагов, уже не по своей воле, а подтолкнутый кем-то сзади. Это был младший сын дедушки Кентла.

— Чего ты дрожишь, Христиан? — добродушно спросил торфяник.

— Я — этот человек.

— Какой?

— За которого ни одна женщина идти не хочет.

— Вот те на! — сказал Тимоти Фейруэй, выкатывая глаза, чтобы лучше обозреть всю длинную фигуру Христиана. Дедушка Кентл тоже уставился на сына, как курица на высиженного ею утенка.

— Да, это я. И я очень боюсь, — пролепетал Христиан. — Не повредит это мне, а? Я всегда говорю, что мне наплевать, боюсь даже, а на самом деле совсем мне не наплевать, иной раз такой страх нападет, не знаешь куда деваться.

— Ах, чтоб тебе, вот ведь чудно! — сказал Фейруэй. — Я же совсем не про тебя думал. Выходит, в наших краях еще один есть! Да зачем тебе было признаваться, Христиан?

— А что ж делать, коли оно так? Я же не виноват? — Он обратил к ним свои неестественно круглые глаза, обведенные, как на мишени, концентрическими кругами морщинок.

— Это-то конечно. А все ж таки радости мало, меня прямо мороз подрал по коже, когда ты про это сказал, — я думал, только один есть такой горемыка, а оказывается, двое! Плохо твое дело, Христиан. Да ты почему знаешь, что они бы за тебя не пошли?

— А я к ним сватался.

— Ишь ты! Вот бы уж не подумал, что у тебя хватит смелости. И что же последняя тебе сказала? Может, не так страшно, удастся еще ее уломать?

— «Убирайся прочь с глаз моих, дурак трухлявый»,— вот какие были ее слова.

— М-да! Не обнадежила! «Убирайся прочь с глаз моих, дурак трухлявый»,— это, брат, крепко сказано. Но и то еще ничего, тут только терпенье нужно, подождать, пока у нахалки у этой седой волос пробьется, тогда небось добрей станет. Сколько тебе лет, Христиан?

— Об осень, как картошку копали, тридцать один стукнуло.

— Не так чтобы очень молод. Но время еще есть.

— Это я с того дня считаю, когда меня крестили — там у них записано в большой книге, что в ризнице лежит. Но мать мне говорила, что от родов до крестин еще сколько-то времени прошло.

— А-а!

— А сколько, хоть убей, не помнит. Знает только, что в ту ночь луны не было.

— Луны не было — э, брат, это плохо! Слушайте, соседи, ведь плохо это для него, а?

— Плохо,— подтвердил дедушка Кентл, качая головой.

— Мать точно знает, что луны не было, нарочно справлялась у одной женщины, у которой календарь был. Всякий раз ее спрашивала, когда мальчика рожала, потому, слыхала, люди говорят: «Нет луны — нет жены»,— так хотела знать, какая доля мальцу выпадет. А что, мистер Фейруэй, как вы считаете, это верно, насчет луны-то?

— Да. «Нет луны — нет жены»,— это старая поговорка, мудрая. Кто родился в новолуние, тот, значит, к супружеству не сроден, так бобылем и помрет. Эх, Христиан, надо ж было тебе изо всего месяца в такой день нос наружу высунуть!

— А когда вы родились, луна, наверно, всю светила? — сказал Христиан, с завистливым восхищением глядя на Фейруэя.

— Да, уже не в первой была четверти,— небрежно уронил мистер Фейруэй.

— Я бы готов капли в рот не брать, на празднике урожая трезвым ходить, только бы не эта беда — что без луны родился,— продолжал Христиан тем же жалобным речитативом.— Люди надо мной смеются: «Какой, говорят, ты мужчина, роду своему без пользы»,— а оно вой ведь откуда идет!

— Да,— вздохнул присмиривший дедушка Кентл.— А все-таки его мать, когда он мальчишкой был, иной раз по целым часам плакала, глаз не осушала,— все боялась, вдруг он вырвится с годами и в солдаты пойдет.

— Э, да не помирают же от этого,— сказал Фейруэй.— Валухи тоже живут, сколько им положено, не одни бараны.

— Так, может, и я еще поживу? А по ночам, Тимоти, по ночам-то мне не опасно?

— Ты всю жизнь будешь один в постели лежать. А привиденья, известно, не тем являются, кто с женой в обнимку спит.

У нас, кстати сказать, будто бы недавно одно видели, очень странное!

— Ой, нет, нет, не надо, не говорите! А то я ночью вспомню, умру со страху! Да вы меня не послушаетесь, я знаю, расскажете, а мне потом сниться будет... А чем оно странное, Тимоти?.. Ой, нет, не говорите!

— Я сам не очень-то верю в привиденья. Но это, говорят, настоящее, без обману. Его мальчонка один видел.

— А какое же оно?.. Ой, нет, не надо...

— Красное. Призраки, они все больше белые, а этот словно в крови выкупался.

Христиан с шумом вдохнул воздух, отчего, впрочем, ничуть не расширилась его впалая грудь, а Хемфри спросил:

— Где его видели?

— Да тут же, на пустоши, только не где мы сейчас, а подалее. Да не стоит к ночи про это поминать. А что вы скажете, соседи,— продолжал Фейруэй более веселым тоном,— насчет того, чтобы нам всем пойти сейчас поздравить молодоженов? — Он с важностью оглядел слушателей, как будто эта идея принадлежала ему самому, а не дедушке Кентлу.— Уж раз люди поженились, надо радоваться, потому, ежели плакать, они все равно не разженятся. Песню им споем, как полагается. А потом, как ребята и женщины домой уйдут, можно и в трактир заглянуть — выпить за повобрачных и сплясать малость перед ихней дверью. Мне-то без надобности, я, сами знаете, непьющий, да хотелось бы молодую потешить, славная девушка, сколько раз мне из своих рук стаканчик подносила, еще когда с теткой жила в Блумс-Энде.

— А что ж! И заглянем! — вскричал дедушка Кентл, повернувшись с такой живостью, что медные его печатки взлетели в воздух.— У меня и то уж в горле пересохло, с утра капли во рту не было. А в «Молчаливой женщине» пивцо есть знатное, на прошлой неделе варили. Эх, погуляем, соседи, хоть бы и всю ночь напролет, завтра воскресенье, выспимся.

— Экой ты верченый, дедушка Кентл,— сказала толстуха,— старику вроде бы и не пристало!

— Ну и верченый, ну и что, а тебе завидно? Ты бы рада меня за печку загнать, чтобы сидел да охал! А я вот лучше им песню спою, «Веселых матросов» либо еще какую,— я, слава те господи, все могу, как есть молодец на все руки!

Король его через плечо
Окинул грозным взглядом:
«Не вышло бы тебе висеть
С разбойниками рядом».

— Да, так вот и сделаем,— сказал Фейруэй.— Споем им свадебную, и пусть себе живут-поживают! А про Клайма Ибрайта одно скажу — поздно спохватился. Коли не хотел, чтоб она за

Уайлдива выходила, так приезжал бы пораньше да сам на ней и женился.

— Да, может, он просто хочет у матери немножко пожить, чтобы не страшно ей было одной?

— А мне вот никогда страшно не бывает, даже самому чудно,— сказал дедушка Кентл.— Ночью я такой храбрый — что твой адмирал!

К этому времени костер уже начал гаснуть, топливо было не такое, чтобы долго поддерживать огонь. Остальные костры на всем обозримом с холма пространстве тоже заметно потускнели. По яркости, окраске и стойкости того или другого костра можно было судить о том, какой материал для него использован, а отсюда до некоторой степени и о характере растительности в тех местах. Светлое лучистое пламя, такое же, как на кургане, говорило о зарослях вереска и дрока, которые действительно и простирались на много миль в одну сторону. По другим направлениям пламя вспыхивало быстро и столь же быстро гасло, что служило указанием на самое легкое топливо — солому, сухую ботву, обычные отходы пашни и огорода. Самые стойкие огни, светившиеся ровно и спокойно, словно планета или круглый немигающий глаз, означали дерево — ореховые сучья, вязанки терна, а может быть, даже и толстые чурбаки. Эти были редки, и хотя сравнительно небольшие и не столь яркие, как трепетное и преходящее сияние вереска и соломы, теперь именно они побеждали в силу своей долговечности. Те уже гасли один за другим, эти оставались. Все такие костры горели далеко к северу на врезавшихся в небо вершинах, в краю густых роц и сажених лесов, где почва была иной, а вереск необычным и чуждым явлением.

Все, кроме одного: этот горел ближе всех и светлее всех, как луна среди звезд. Не с той стороны, где в долине тускло светилось маленькое окно, а в прямо противоположном направлении. Он горел так близко, что, несмотря на малую величину, яркостью превосходил все остальные.

Этот неподвижный огненный глаз давно уже привлекал внимание стоявших на кургане. А когда их собственный костер осел и померк, они еще чаще стали туда поглядывать. Уже и многие дровяные костры отгорели и растаяли в темной дали, а этот пылал по-прежнему.

— До чего же он близко, этот костер,— сказал Фейруэй.— Даже видно, как мальчишка кругом ходит.

— Я могу камень туда добросить,— сказал один из мальчиков.

— И я могу,— тотчас откликнулся дедушка Кентл.

— Э, нет, дети мои, не добросите. Оно только кажется близко, а на самом деле туда мили полторы,— сказал торфяник.

— Это у нас на пустоши, а все-таки не дрок горит,— добавил он.

— Колотые дрова, вот это что,— решил Тимоти Фейруэй.—

Только чистая лесина такое пламя дает. И горит это в Мистове, на горушке, что перед домом старого капитана. Чудак человек! У себя на усадьбе костер зажег, за своей насыпью и канавой, чтоб никто другой не попользовался, даже близко бы подойти не мог! А на что ему, старому, костер? Когда и ребятенка-то в доме нет, кого бы потешить?

— Капитан Вэй нынче куда-то далеко ходил, страх как уморился, — сказал дедушка Кентл, — вряд ли это он зажег.

— Да он бы и хороших дров пожалел, — вставила толстуха.

— Ну так, наверно, это его внучка, — сказал Фейруэй. — Хотя и ей-то зачем — не маленькая.

— А может, ей нравится, — сказала Сьюзен. — Она тоже такая, с причудами. Живет одна, ни с кем не знается.

— А красивая девушка, — заметил Хемфри, — особенно когда одно из своих городских платьев наденет.

— Это верно, — сказал Фейруэй. — Ну пускай себе палит свой костер, бог с ней. Наш-то, гляжу, совсем прогорел.

— И как сразу темно стало, — пролепетал Христиан, оглядываясь назад и еще больше округляя свои заячьи глаза. — Не пойти ли уж нам домой, а, соседи? На пустоши, я знаю, худого еще не случилось, а все-таки лучше бы домой... Ай, что это?

— Ничего больше, как ветер, — успокоил его торфяник.

— Я считаю, пятое ноября в городах еще можно вечером праздновать. А в такой глуши, как у нас, только бы днем.

— Да полно тебе, Христиан, подбодрись, будь мужчиной! Сьюзи, голубка, вот мы сейчас жигу с тобой спляшем, а, лапушка? Пока еще видно, какая ты у нас красотка, — даром что уж двадцать с лишком лет минуло с той поры, как твой муж, разбойник этакий, утащил тебя из-под самого моего носа.

Это было адресовано толстухе Сьюзен Нонсеч, и почти в то же мгновение перед глазами присутствующих промелькнула ее пышная фигура, увлекаемая словно вихрем, туда, где среди золы и пепла еще тлели угольки отгоревшего костра. Рука мистера Фейруэя обвила ее стан, прежде чем она успела понять его намерения, ноги ее оторвались от земли, и вот уже она кружилась по площадке в его мощных объятьях. Сьюзен была специально оснащена для производства шума, так как, помимо облекавшей ее скрипучей брони из китового уса, она зиму и лето, в дурную погоду и в хорошую, постоянно носила поверх башмаков деревянные патенки, чтобы не изнашивать обувь; и когда Фейруэй, вырвавшись на середину, завертел ее в танце, шелканье патенок, скрип корсета и ее собственные визгливые возгласы составили в целом весьма заметный для слуха концерт.

— Тресну вот тебя, непутевого, по башке! — восклицала она, в то время как ее патенки выбивали барабанную дробь по обгорелой земле, взметая искры. — И то уж я все ноги себе о колючки изодрала, а ты меня еще огнем по живому!

Внезапная веселость Тимоти Фейруэя оказалась заразной. Торфяник подхватил старушку Олли Дауден и хотя с мень-

шим азартом, но тоже заскакал с ней по площадке. Молодые парни не замедлили последовать примеру старших и расхватали девушек; старик Кентл со своей палкой, словно оживленный треножник, сновал туда-сюда среди остальных, и через полминуты на Дождевом кургане только и видно было, что мельканье темных фигур в кипящем облаке искр, взлетающих чуть не до пояса танцоров, только и слышно, что пронзительные крики женщин, хохот мужчин, скрип корсета и стукотня патеноек Сюэзен, одышливое «ху-ху-ху!» Олли Дауден да треньканье ветра по кустам дрока, составлявшее как бы припев к демоническому ритму, отбиваемому ногами танцующих. Один только Христиан стоял поодаль, беспокойно переминаясь с ноги на ногу и бормоча:

— Ох, не надо бы!.. Искры-то как летят! Ведь это же значит беса тешить!..

— Что это? — спросил вдруг один паренек, останавливаясь.

— Ой, где?.. — вскричал Христиан, поспешно присоединяясь к остальным.

Все танцоры замедлили темп.

— Да вот за тобой — там, внизу.

— За мной! — трепетно повторил Христиан и забормотал: — Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да хранят меня от болястей и ран, ангельский покров от сатанинских ков...

— Помолчи-ка. Что там такое? — сказал Фейруэй.

— Э-эй! — раздался оклик из темноты.

— Гей-гей! — отозвался Тимоти.

— Есть тут прямая дорога к миссис Ибрайт в Блумс-Энд? — донесся до них тот же голос, и, смутно видимая в полутьме, длинная тонкая фигура приблизилась к кургану.

— Может, нам бы домой побежать, соседи? — сказал Христиан. — Только не порознь, а всем вместе? А?

— Наберите там дроку, — сказал Фейруэй, — да зажгите — посмотреть, кто это.

Когда пламя вспыхнуло, из темноты выступил молодой человек в облегающем костюме и красный с головы до пят. — Есть тут прямая дорога к дому миссис Ибрайт? — повторил он.

— Да вон та тропка, где ты стоишь.

— Нет, такая, чтобы фургон и пара лошадей могли пройти.

— Проедешь и парой. Дорога, правда, плоха, да и круто, но ежели у тебя есть фонарь, так лошади найдут, куда копыто поставить. А где твоя повозка, сосед охряник? Высоко ли уже взобрались?

— Я оставил ее внизу, с полмили отсюда, а сам пошел проверить дорогу. Давно здесь не бывал, боялся в темноте заплутаться.

— Ничего, валяй, проберетесь, — сказал Фейруэй. — Ох, и страх же меня взял, когда я его увидел! — продолжал он, обращаясь ко всем вместе, в том числе и к охрянику. — Господи, думаю, что это за пугало такое огненное? Ты, друг, не обижайся,

я же не говорю, что ты и впрямь пугало, основа-то у тебя, всякому видать, хорошая, отделкой вот малость не вышел. Я к тому, что спервоначала больно уж мне чудно показалось — вроде как черта вдруг увидел либо красный этот призрак, про которого мальчишка рассказывал.

— А я еще хуже перепугалась,— сказала Сьюзен Нонсеч,— потому прошлой ночью я во сне мертвую голову видела.

— Ох, да уж и не говорите,— сказал Христиан.— Ему бы еще платок на голову, совсем бы дьявол с картинки про искушение.

— Ну что ж, спасибо, что показали дорогу,— проговорил, слегка улыбаясь, молодой охряник.— И спокойной ночи вам всем.

Он сошел с кургана и исчез в темноте.

— Где-то я встречал этого парня,— заметил Хемфри.— Но где, и когда, и как его звать, не помню.

Не прошло и пяти минут после ухода охряника, как новый путник приблизился к частично ожившему костру. То была всем известная и всеми уважаемая вдова, тоже местная жительница, но по манере держать себя отличавшаяся от простых поселян. На черном фоне убежавшего вдаль вереска лицо ее светилось ровной белизной без теней и полутонов, как античная камея.

Это была женщина средних лет, с правильными и несколько жесткими чертами лица, какие часто встречаются у тех, в ком острый, пронизательный ум преобладающее качество. Временами казалось, что она смотрит на все с высоты — как бы с некоей горы Нево, недоступной для окружающих. В ней была отчужденность, как будто одиночество, исходящее вересковой степью, все сосредоточилось в этом лице, так неожиданно возникшем из темных ее пределов. На поселян, столпившихся у костра, она смотрела с таким видом, словно очень мало считалась и с их присутствием, и с тем, что они могут подумать о ней, блуждающей в такой поздний час и по таким глухим местам; в этом беглом взгляде было косвенное признание, что в каком-то смысле они ей не ровня. Объяснялось это, вероятно, тем, что, хотя муж ее был мелким фермером, сама она родилась в семье священника и когда-то мечтала для себя не о таком будущем.

Люди с сильным характером, подобно планетам, движутся по орбитам, окруженные собственной атмосферой. И эта немолодая женщина, появившаяся теперь на сцене, умела в любом обществе задавать тон. С поселянами она обычно бывала сдержанной и немногословной, может быть, именно от сознания своего превосходства. Но сейчас, попав на свет, к людям, после одиноких блужданий в темноте, она склонна была к большей, чем всегда, общительности, что проявлялось не столько в ее словах, сколько в выражении лица.

— Ба, да это миссис Ибрайт,— сказал Фейрузэй.— Миссис Ибрайт, всего десять минут назад тут один человек спрашивал, как к вам проехать. Охряник.

- Что ему нужно? — спросила она.
- Не сказал.
- Продать, вероятно, что-нибудь хочет. Только что — не могу себе представить.
- А мы тут порадовались за вас, мэм,— сказал торфяник Сэмюэл.— Слышать, ваш сын Клайм на рождество приезжает? Вот он страх как любил костры разжигать!
- Да, кажется, приедет,— сказала она.
- Красивый небось парень теперь стал,— заметил Фейруэй.
- Он теперь взрослый мужчина,— спокойно ответила она.
- И не боязно вам, миссис, одной по пустоши ходить? — проговорил, выдвигаясь вперед, Христиан; до сих пор он держался поодаль.— Смотрите, не заблудитесь! Нехорошо ночью на Эгдоне, а сегодня еще и ветер как-то по-особому воет, ровно живой... Даже кто Эгдон хорошо знает, и то, бывало, вражья сила невесть куда заведет!
- Это ты, Христиан? — сказала миссис Ибрайт.— Что это ты вздумал от меня прятаться?
- Да я сразу-то вас не признал — темно, ну и оробел малость. Я же отроду этаким горюном — все чего-то худого жду, все беспокоюсь... Кабы знали вы, какая меня иной раз тоска берет, так подивились бы, что я до сих пор еще руки на себя не наложил.
- Ты, значит, не в отца пошел,— сказала миссис Ибрайт, поглядывая в сторону костра, где дедушка Кентл все еще выплясывал в одиночку среди искр.
- Эй, дед! — сказал Тимоти Фейруэй.— Не срами ты нас! Этаким старец почтенный — на восьмой десяток уже перевалило, а скачешь один, как маленький!
- Блажной старик,— удрученно сказал Христиан.— Все бы ему озоровать! Я б с ним, непутевым, и недели одной не прожил, было б только куда уйти!..
- Ты бы, дедушка, должен гостью пашу встретить, поприветствовать, как положено, ты же здесь всех старше,— укорила и метельщица Олли Дауден.— Этак бы куда пристойней!
- А и верно, конечно бы, должен,— покаянно вскричал дряхлый весельчак, останавливаясь.— Памяти у меня совсем нет, миссис Ибрайт, забываю, как все они на меня смотрят. Думаете, у меня веселье одно на уме? Э, нет, не всегда. Это тоже бремя не малое, когда все тебя вроде как за начальника почитают, я же чувствую.
- Мне очень жаль прерывать нашу беседу,— сказала миссис Ибрайт,— но я должна вас покинуть. Я шла через пустошь к своей племяннице, они с мужем хотели сегодня вернуться, но услышала голос Олли и поднялась сюда спросить, не собирается ли она домой. Тогда мы могли бы пойти вместе, нам по дороге.
- Да, да, мэм, я как раз хотела идти,— с готовностью откликнулась Олли.

— Так вы, наверно, встретите этого охрянника, про которого я говорил, — сказал Фейруэй. — Он только пошел за своим фургоном. И мы слышали, что ваша племянница с мужем, как поженятся, так сейчас и вернутся, и тоже вскорости пойдем туда спеть им песню на счастье.

— Очень вам благодарна, — сказала миссис Ибрайт.

— Но мы пойдем напрямик, через заросли, а вам в длинном платье нельзя, так вы уж нас не ждите.

— Хорошо. Ты готова, Олли?

— Да, мэм. А вон, глядите, и окошечко светится. Это у вашей племянницы. Вот так пойдем на огонек и с дороги не собьемся.

Она указала на тусклое пятнышко света в низине, на которое еще раньше указывал Фейруэй, и обе женщины стали спускаться с кургана.

ГЛАВА IV

ОСТАНОВКА НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

Вниз, вниз и опять вниз спускались они, с каждым шагом продвигаясь не столько вперед, сколько все ниже и ниже. Колючки дрока с шумом цеплялись за их юбки, папоротники задевали за шею, так как, хотя мертвые и усохшие, они все еще стояли выпрямившись, словно живые, — зимняя непогода еще не успела сломать их и прибить к земле. Многие, пожалуй, сочли бы, что неблагоразумно двум женщинам одним совершать этот ночной спуск в преисподнюю, но для Олли и миссис Ибрайт глухие тропы и лохматые заросли Эгдона были во все времена года привычным окружением; а что сейчас было темно, так ведь лицо друга и в темноте не внушает страха.

— Стало быть, Томазин вышла за него наконец, — сказала Олли, когда спуск стал менее крут и не приходилось уже думать о каждом шаге.

— Да, — медленно проговорила миссис Ибрайт. — Наконец.

— Скучать будете по ней, мэм, она же у вас как дочка родная жила.

— И то уж скучаю.

Олли не обладала тактом, который подсказал бы ей неуместность иных вопросов, но ее простодушие делало их безобидными. Ей невольно прощали то, чего не стерпели бы от другого. И миссис Ибрайт спокойно приняла эту попытку вновь коснуться наболевшего места.

— Подивилась же я, как услышала, что вы согласились, — продолжала Олли. — Прямо ушам своим не поверила.

— Я бы сама не поверила, если бы год назад мне кто-нибудь это сказал. Но видишь ли, Олли, тут есть многое и за и против. Я не сумела бы тебе объяснить, хоть бы и постаралась.

— Да я понимаю, обстоятельный он человек, вашей семье не под парю. Теперь вот трактир держит, разве это настоящее дело? Ну, правда, ученый, инженером, говорят, был, да сгубило его веселое житье.

— В общем, я решила, что лучше уж ей выйти, за кого она хочет.

— Ну да, влюбилась, бедняжка, что делать, сердцу не прикажешь. Все-то мы так. А он, что про него не говори, а все ж таки он и гостиницу содержит, и пустоши порядочный кусок распахал, и сборщики вереска на него работают, и обхождение у него, как у джентльмена. Да и что уж теперь-то — сделано, так сделано, назад не воротить.

— Не воротить, — подтвердила миссис Ибрайт. — А, вот и проселок. Теперь идти будет легче.

Больше они не говорили о замужестве Томазин и вскоре дошли до того места, где от проселка отделялась узкая тропа и где им предстояло расстаться. Олли на прощанье попросила свою спутницу напомнить Уайлдиву, что он обещал прислать ее больному мужу бутылку вина по случаю своей свадьбы, да так и не прислал, и повернула налево к своему дому, скрытому за отрогом холма, а миссис Ибрайт пошла проселком, который немного подалее впадал в большую дорогу возле гостиницы «Молчаливая женщина». Туда она и держала путь, рассчитывая найти там свою племянницу, уже вернувшуюся с мужем из Энглбери после венчанья.

Сперва она прошла мимо «Пашни Уайлдива» — так местные жители называли участок земли, некогда отвоеванный у вереска и ценой многолетних усилий подготовленный для посева. Тот, кто первый возымел эту идею, умер от непосильных трудов по расчиске, его преемник разорился на удобрения. Уайлдив пришел следом за ними, как Америго Веспуччи, и снискал славу, по праву принадлежащую тем, кто трудился здесь до него.

Когда миссис Ибрайт поравнялась с гостиницей и хотела уже войти, она вдруг заметила впереди на дороге — ярдов за двести — пару лошадей, фургон и шагающего рядом человека с фонарем в руке. Они двигались ей навстречу, и нетрудно было догадаться, что это и есть тот охряник, который ее разыскивал. Тогда, вместо того чтобы свернуть к гостинице, она пошла дальше по дороге.

Фургон приблизился, и человек с фонарем прошел бы мимо, не обратив на нее внимания, но она повернулась к нему и сказала:

— Не вы ли это недавно про меня спрашивали? Я миссис Ибрайт из Блумс-Энда.

Охряник вздрогнул и поднял палец. Он остановил лошадей и жестом показал, что просит ее отойти с ним в сторонку, что она и сделала, несколько удивленная.

— Вы, наверное, меня не знаете, мэм? — сказал он.



— Не знаю,— сказала она.— Ах нет, знаю! Вы молодой Венн — ваш отец держал где-то здесь молочную ферму?

— Да. А я немножко знаю вашу племянницу — мисс Тамзин. У меня есть для вас дурные вести.

— О ней?.. Но ведь она, как я понимаю, сейчас у себя дома с мужем? Они рассчитывали к вечеру вернуться — вон туда, в гостиницу?

— Там ее нет.

— Почему вы знаете?

— Потому что она здесь. В моем фургоне,— добавил он с запинкой.

— Господи! Какая еще новая беда стряслась? — проговорила миссис Ибрайт, закрывая глаза рукой.

— Не могу вам в точности объяснить, мэм. Знаю только, что когда я утром ехал по дороге — этак с милю от Энглбери,—

слышу вдруг, бежит кто-то за мной, стучит каблучками, как лань копытцами. Оглянулся — а это она, как смерть бледная. «Ах, говорит, Диггори Венн! Я так и думала, что это ты. Ты мне поможешь? У меня горе».

— Откуда она знает ваше имя? — недоверчиво спросила миссис Ибрайт.

— Да мы еще раньше встречались, когда я мальчишкой у отца жил, — после-то я взялся за это ремесло и уехал. Ну, она попросила ее подвезти — и вдруг упала без чувств. Я ее поднял и уложил в фургоне, там она и сейчас. Очень плакала, но ничего не сказала, только — что сегодня утром должна была венчаться. Я ее уговаривал поехать, да она не могла и под конец уснула.

— Я хочу сейчас же ее видеть, — воскликнула миссис Ибрайт, устремляясь к фургону.

Охряник поспешил вперед с фонарем и, войдя первым, помог миссис Ибрайт подняться. Сквозь растворенную дверцу она увидела в дальнем конце фургона импровизированное ложе, вокруг которого было развешено все, что в хозяйстве охряника могло служить занавесью, — очевидно, для того, чтобы предохранить от соприкосновения с краской. На узенькой койке лежала девушка, укрытая плащом. Она спала. Свет от фонаря упал на ее лицо.

Светлое, милое лицо — кроткое лицо деревенской девушки — покоилось в гнездышке из вьющихся каштановых волос. Не красавица в обычном смысле слова, но и не просто хорошенькая, она была где-то на полпути между той и другой. И хотя глаза ее были закрыты, легко было себе представить, как они просияют, открывшись, и станут средоточием всех разбросанных кругом отблесков. Основным тоном лица была радостная надежда, но сейчас поверх этой основы, как некое чужеродное вещество, лежал налет тревоги и печали. Печаль была столь недавней, что не успела отнять у этого лица юную свежесть и пока лишь облагораживала то, что в дальнейшем могла уничтожить. Алость губ не успела поблекнуть, наоборот, казалась еще ярче от отсутствия обычно соседствующего с ней, но менее прочного румянца щек. Временами губы ее приоткрывались с тихим ропотом невнятных слов. В ее прелести было что-то родственное мадригалу, — казалось, представлять людям она должна всегда в ореоле рифм и гармонии.

Одно, во всяком случае, было ясно — нескромно было бы разглядывать ее такую, как сейчас. Охряник, должно быть, это почувствовал, потому что, когда миссис Ибрайт склонилась над ней, он отвел глаза с деликатностью, очень его красивой. И спящая, наверно, это ощутила, потому что в следующий миг открыла глаза.

Губы ее дрогнули, в лице мелькнула радость, потом сомнение. Все ее мысли и обрывки мыслей обозначались с предельной четкостью в этой бегущей смене выражений; казалось, вся ее наивная, бесхитростная жизнь струится сквозь нее, откры-

тая взгляду, как прозрачный до дна ручей. Она мгновенно поняла, что произошло.

— Да, тетя, это я,— воскликнула она.— Я понимаю, вы испугались, вы не можете поверить... А все-таки это я, и вот как я вернулась домой!

— Тамзин, Тамзин! — вскричала миссис Ибрайт, нагибаясь и целуя ее.— Голубка моя!

Рыдания подступили к горлу девушки, но с неожиданной силой воли она их подавила. Прерывисто дыша, она приподнялась и села на койке.

— Я тоже не ожидала увидеть вас здесь... Где я сейчас, тетя?

— Почти уже дома, детка. В Эгдонской пизине. Что с тобой случилось?

— Сейчас расскажу. Значит, так близко, да? Ну так я выйду и пойду пешком. Пойдем домой по тропинке.

— Но этот добрый человек, который уже столько для тебя сделал, наверно, не откажется довести тебя до самого дома? — сказала миссис Ибрайт, оглядываясь на охряника. Он, когда девушка очнулась, спрыгнул с фургона и стоял теперь на дороге.

— Зачем спрашивать? Конечно, довезу,— сказал он.

— Он правда добрый,— тихо проговорила Томазин.— Мы когда-то были знакомы, а сегодня я увидела его и подумала, лучше уж поехать в его фургоне, чем с кем-нибудь чужим. Но теперь я хочу пешком. Диггори, останови, пожалуйста, лошадей.

Он посмотрел на нее с нежностью и грустью и, хотя неохотно, но все же взял лошадей под уздцы.

Тетка с племянницей вышли из фургона, и миссис Ибрайт сказала его владельцу:

— Теперь я вас вспомнила. Отчего вы бросили ферму, что отец вам оставил? Разве стоило менять занятие?

— Да уж так вышло,— ответил он и покосился на Томазин; та слегка покраснела.— Значит, сегодня я вам больше не нужен, мэм?

Миссис Ибрайт поглядела на темное небо, на холмы, на гаснущие костры, на освещенное окно в гостинице, к которой они тем временем приблизились.

— Очевидно, нет,— сказала она,— раз Томазин хочет идти пешком. Поднимемся по тропинке, а там уже и дом. Дорогу мы хорошо знаем.

Обменявшись еще несколькими словами, они расстались. Охряник двинулся дальше со своим фургоном, обе женщины смотрели ему вслед, стоя на дороге. Как только фургон отъехал так далеко, что голоса уже не могли его достигнуть, миссис Ибрайт повернулась к своей племяннице.

— Ну, Томазин,— сказала она строго,— что означает вся эта неприличная комедия?

ГЛАВА V

СЛОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Томазин, казалось, была потрясена такой внезапной переменной тона.

— Это значит...— чуть слышно пролепетала она,— да то самое и значит, о чем вы, наверно, уже догадались. Я... я не замужем. Простите, ради бога, тетя, что я так вас осрамила, но что я могла?..

— Меня? Ты лучше о себе подумай.

— Тут никто не виноват. Когда мы приехали, пастор отказался нас венчать, потому что в разрешении была неправильность.

— Какая неправильность?

— Не знаю. Мистер Уайлдвиг вам объяснит. Не думала я, когда уезжала, что так вернусь!..— Под покровом темноты она перестала наконец сдерживаться, и ее волнение нашло исход в безмолвных слезах: неслышимые и незримые, они покатались по ее щекам.

— Я бы сказала — поделом тебе, но, кажется, ты и правда не виновата,— продолжала миссис Ибрайт уже опять другим тоном: два противоположных чувства — жалость и гнев — лежали бок о бок в ее душе, и она отдавалась то одному, то другому без всякого перехода.— Вспомни, Томазин, не я затеяла этот брак. С самых первых дней, когда ты еще только начала увлекаться этим человеком, я предостерегала тебя, я говорила, что с ним ты не будешь счастлива. Я даже сделала то, на что не считала себя способной,— встала тогда в церкви и надолго дала кумушкам пищу для пересудов. Но раз уж я согласилась, то больше не намерена потворствовать твоим фантазиям. После сегодняшнего ты непременно должна выйти за него замуж.

— Да разве я не хочу? — сказала Томазин с тяжелым вздохом.— Даже ни минуточки так не думала. Ах, тетя, я понимаю, как это дурно, что я его полюбила, но не браните меня, не огорчайте меня еще больше! Ведь не могла же я у него остаться, правда? А куда мне было идти? У меня нет родного дома, кроме вашего. Он говорит, что через день либо два нам можно будет обвенчаться.

— Лучше бы он никогда тебя не видал!

— Хорошо! Пусть! Буду самая несчастная на свете, не стану с ним больше видаться! Не пойду за него, и все.

— Теперь уж поздно так рассуждать. Идем-ка со мной. Я зайду в гостиницу, посмотрю, не вернулся ли он. Уж я-то докопаюсь до истины! Пусть мистер Уайлдвиг не воображает, что можно играть такие шутки со мной или с кем-нибудь из моих близких!

— Да это совсем не то. Разрешение было неправильное, а другого в тот же день он не мог получить. Он сейчас же вам объяснит, только бы застать его дома.

— Почему он сам тебя не привез?

— Ах, это уж моя вина! — всхлинула Томазин. — Когда я узнала, что нам нельзя пожениться, я не захотела с ним ехать. И мне стало совсем худо... А потом я увидела Диггори Венна и очень обрадовалась — пусть, думаю, он меня отвезет. Сердитесь, тетя, сколько хотите, а лучше я не умею рассказать.

— Вот я сама во всем разберусь, — сказала миссис Ибрайт, и они свернули к гостинице, широко известной во всей округе под названием «Молчаливая женщина»; на вывеске над входом была намалевана дородная матрона, держащая собственную голову под мышкой, а под этим жутковатым изображением — надпись, хорошо знакомая посетителям гостиницы:

Коли жены молчат,
Пусть мужья не кричат.

Фасадом гостиница была обращена к пустоши и Дождевому кургану, чей темный массив, казалось, угрожал ей с неба. На двери красовалась потускневшая медная дощечка с несколько неожиданной надписью: «Мистер Уайлдвиг, инженер» — бесполезная, но свято хранимая реликвия тех времен, когда он начинал свою карьеру в технической конторе в Бедмуте, куда его устроили те, кто возлагал на него столько надежд и потерпел такое горькое разочарование. За домом был сад, а дальше тихая, но глубокая речка, составлявшая с этой стороны границу вересковой пустоши; за рекой простирались уже луга.

Но сейчас в густой тьме различить можно было только то, что вырисовывалось на небе. Речка выдавала себя лишь тихим плеском воды в ленивых водоворотах, которые она завивала там и сям на своем пути, пробираясь меж сухих и увенчанных султанами камышей, частоколом высившихся вдоль ее берегов. А об их присутствии можно было догадаться по шуршанью, похожему на молитвенный шепот, которое они издавали, когда терлись друг о друга на слабом ветру.

В гостинице светилось окно — то самое, на которое указывали собравшиеся на кургане поселяне; оно не было занавешено, но высокий подоконник мешал заглянуть в комнату. Видна была только огромная тень на потолке, в которой смутно угадывались очертания мужской фигуры.

— Похоже, он дома, — сказала миссис Ибрайт.

— Мне тоже идти с вами, тетя? — слабым голосом проговорила Томазин. — Я бы не хотела... Неудобно...

— Конечно, ты тоже должна зайти, пусть он тебя видит, тогда не посмеет придумывать ложные объяснения. Зайдем на минутку, а потом — домой.

Войдя в незапертый коридор, она постучала в ближнюю от входа дверь, растворила ее и заглянула внутрь.

Пламя свечи было заслонено от взгляда миссис Ибрайт спиной и плечами сидевшего у стола мужчины. Уайлдив — это был он — тотчас обернулся, встал и шагнул навстречу посетителям.

Это был совсем еще молодой человек, и если можно сказать, что человеческая внешность слагается из двух начал — формы и движения, то в нем именно второе прежде всего бросалось в глаза. Все его жесты отличались необычайным изяществом — то было пантомимическое выражение карьеры покорителя сердец. Потом уже вы замечали его более материальные черты: буйную шевелюру, низко нависшую надо лбом, отчего лоб приобретал те контуры — вытянутые кверху углы с выемкой между ними, — какие мы видим у ранних готических щитов, и гладкую, круглую, как колонна, шею. Нижняя часть его лица была более мягкого склада. Мужчина не нашел бы в его внешности ничего примечательного, женщина — ничего такого, что могло бы ее оттолкнуть.

Он разглядел силуэт девушки в коридоре и сказал:

— А, Томазин вернулась наконец домой! Как ты могла так бросить меня, милочка? — Потом добавил, повернувшись к миссис Ибрайт: — Никаких уговоров не хотела слушать. Заладила — уеду сейчас же, и уеду одна!

— Но что все это значит? — надменно спросила миссис Ибрайт.

— Садитесь, — сказал Уайлдив, подвигая женщинам стулья. — Глупая, конечно, ошибка, да ведь с кем не случилось. Разрешение было недействительным для Энглбери, оно годилось только для Бедмута, а я его не прочитал и не знал.

— Но разве вы не прожили, сколько полагается, в Энглбери?

— Нет, я жил в Бедмуте, только третьего дня вернулся, — я туда и собирался ее везти, но когда я за ней приехал, мы передумали и отправились в Энглбери, позабыв, что там нужно новое разрешение. А потом уже поздно было ехать в Бедмут.

— Я считаю, вы очень перед ней виноваты, — сказала миссис Ибрайт.

— Ах, нет, ведь это все из-за меня, — вступилась Томазин. — Я выбрала Энглбери, потому что там меня никто не знает.

— Я слишком хорошо понимаю, что я виноват, незачем напоминать мне об этом, — сухо сказал Уайлдив.

— Такие вещи даром не проходят, — снова заговорила миссис Ибрайт. — Это позор для меня и для моей семьи, и, когда это узнается, нам будет очень несладко. Как она завтра посмотрит в глаза своим подругам? Вы причинили нам большое зло, мне нелегко будет это простить. Это даже может повредить ее репутации.

— Чепуха, — сказал Уайлдив.

Пока они спорили, Томазин переводила глаза то на одного, то на другого. Теперь она сказала умоляюще:

— Тетя, позвольте мне пять минут поговорить с Дэймоном наедине. Ты согласен, Дэймон?

— Конечно, милочка,— сказал он,— если твоя тетя нас извинит.— Он провел ее в заднюю комнатку, оставив миссис Ибрайт у камина.

Как только дверь затворилась, Томазин сказала, обратив к нему бледное, заплаканное лицо:

— Дэймон, у меня сердце разрывается! Я совсем не хотела так расставаться с тобой в Энглбери — в гневе, с недобрыми словами, но я напугалась и сама не знала, что говорю. Я всеми силами старалась не показывать тете, как я сегодня намучилась — а ведь так трудно следить за своим лицом и голосом и улыбаться, как будто для меня это все пустяки,— но я старалась, а то она бы еще сильнее разгневалась. Я-то знаю, что ты не виноват, что бы там ни говорили.

— Она очень нелюбезна.

— Да,— пролепетала Томазин,— а теперь ты, может быть, и про меня это думаешь... Дэймон, что будет со мной?

— С тобой?

— Да. Те, кто тебя не любит, такое про тебя нашептывают, что и я минутами сомневаюсь... Мы ведь все-таки поженимся, да?

— Конечно. Надо только в понедельник поехать в Бедмут, и нас тотчас же обвенчают.

— Так поедem, ради бога!.. Ах, Дэймон, что я говорю... До чего ты меня довел! — Она закрыла лицо платочком.— Подумай, я сама прошу, чтобы ты на мне женился. А ведь по-настоящему это ты должен бы стоять передо мной на коленях и умолять меня, твою жестокую возлюбленную, не отвергать тебя, не разбивать тебе сердце... Мне часто мечталось что-то в этом роде — такое красивое и радостное, а как получилось непохоже!

— Да. Действительность никогда не бывает на это похожа.

— Мне-то, в конце концов, все равно, даже если мы и совсем не женимся,— добавила она с некоторым достоинством.— Да. Я и без тебя проживу. Но я беспокоюсь о тете. Она такая гордая, так дорожит честью семьи, она не вынесет, если все это огласится раньше... раньше, чем будет исправлено. И мой двоюродный брат Клайм — он тоже будет жестоко обижен.

— Значит, он очень неразумный человек. Правду сказать, вы все довольно-таки неразумная публика.

Щеки Томазин вспыхнули — и то не был румянец любви. Но каким бы мимолетным чувством ни была вызвана эта вспышка, она тут же угасла, и Томазин смиренно сказала:

— Я всегда стараюсь быть разумной, насколько могу. Меня только тревожит, что ты как будто получил наконец какую-то власть над тетей.

— По справедливости так и быть должно,— ответил Уайлдив.— Вспомни, чего я только не натерпелся, пока она не дала согласия. Взять хоть ее выходку в церкви — ведь это кровная обида для мужчины, когда девушке публично запрещают вступать с ним в брак! И двойная обида, если он, как я, слишком уж чувствителен и подвержен унынию и мрачным мыслям и еще невеста какой чертовщине. Этого я ей никогда не забуду. Был бы на моем месте другой человек — пожестче характером,— он бы, пожалуй, обрадовался случаю расквитаться с твоею теткой — взял бы вот сейчас да и оставил все, как есть!

Он говорил, а она задумчиво смотрела на него полными грусти глазами, и весь ее вид показывал, что не один только человек в этой комнате мог бы пожаловаться на излишек чувствительности. Он заметил это и как будто смутился.

— Ну, это я так, к слову,— поспешил он добавить.— Разве я могу порвать с тобой, Тамзи, милочка, я бы этого не перенес!

— Ну конечно! — воскликнула девушка, светлея.— Ты не выносишь, когда кого-нибудь мучают, даже насекомое, даже неприятных звуков не выносишь, даже дурных запахов, ты не мог бы долго причинять боль мне и моим близким!

— И не буду, поскольку от меня зависит.

— Дай мне руку на этом, Дэймон.

Он небрежно протянул ей руку.

— Черт! Это еще что? — вдруг воскликнул он.

До их слуха в этот миг донеслось многоголосное и не слишком стройное пенье — пели где-то близко, должно быть, перед домом. Два голоса особенно выделялись в силу своей необычности — очень низкий густой бас и хриплый дрожащий фальцет. Томазин узнала в этих певцах Тимоти Фейруэя и дедушку Кентла.

— Боже мой, что это? — сказала она, испуганно глядя на Уайлдива.— Неужели это они нам кошачий концерт устроили?..

— Да нет! Поздравлять пришли... Вот еще не было печали!

Он в раздражении заходил по комнате. А снаружи весело пели:

Сказал он: «Я счастлив, когда ты со мной.

Ответь, ты согласна ли быть мне женой?»

И вот уже слышен веселый трезвон.

И в церковь с невестой торопится Джон.

А после ее целовал, миловал,

«Нет лучше на свете, чем ты», — он сказал.

В комнату ворвалась миссис Ибрайт.

— Томазин, Томазин! — вскричала она, с негодованием глядя на Уайлдива.— Какой позор! Надо скорей уходить. Бежим!

Но путь через коридор был отрезан. В дверь соседней комнаты уже громко стучали. Уайлдив, подошедший было к окну, вернулся.

— Стойте! — повелительно сказал он, кладя руку на плечо

миссис Ибрайт.— Мы в осаде. Их там полсотни, когда не больше. Вы с Томазин оставайтесь здесь, а я пойду их встречу. Придется вам, хотя бы ради меня, подождать, пока они уйдут, чтоб казалось, что все в порядке. Ну, Тамзи, милочка, не устраивай сцен! Ты, я думаю, сама понимаешь, что после этого мы хочешь не хочешь, а должны жениться. Сидите спокойно, вот и все,— поменьше разговаривайте. А уж я с ними управлюсь. Ах, дураки проклятые!

Он усадил взволнованную девушку в кресло, прошел в переднюю комнату и распахнул дверь.

Тотчас из коридора ступил на порог дедушка Кентл, продолжая петь во весь голос, сообщая с теми, кто еще стоял перед домом.

Он вошел, рассеянно кивнул Уайлдиву — рот у него был разинут, лицо сморщено от усилий вывести финальную ноту — и, дотянув ее до конца, сказал с чувством:

— Привет новобрачным, и да благословит вас бог!

— Спасибо,— сухо ответил мрачный как туча Уайлдив.

По пятам за дедушкой вошли остальные — Фейрузэй, Христиан, торфяник Сэм, Хемфри и еще с десятка других. Все улыбались Уайлдиву, а также его столам и стульям, распространяя на них свое доброжелательство к хозяину.

— Эге, миссис Ибрайт раньше нас поспела,— сказал Фейрузэй, разглядев ее шляпу сквозь стеклянную перегородку, отделявшую залу, куда они все вошли, от задней комнаты, где сидели женщины.— Мы-то, мистер Уайлдив, прямоком пошли, а она по кружной тропке.

— А я и молодой женушки головку вижу,— подхватил дедушка Кентл, поглядев в том же направлении и узнав Томазин, сидевшую рядом с теткой в натянутой и неловкой позе.— Не обывкла еще на новом месте — ну ничего, времени впереди много!

Уайлдив ничего не ответил и, видимо сообразив, что чем раньше приступить к угощению, тем скорее они уйдут, достал глиняную бутылку, отчего все тотчас повеселели.

— А, вот это, наверно, питье так питье, первый сорт, сразу видно,— с растяжкой вымолвил дедушка Кентл как человек слишком благовоспитанный, чтобы выказывать нетерпение.

— Да,— отвечал Уайлдив.— Это старый мед. Надеюсь, вам понравится.

— Еще бы! — откликнулись гости с той радостной готовностью, которая появляется, когда требования вежливости совпадают с велением сердца.— Лучше старого меда на свете ничего нет.

— А, побей меня бог, конечно, нету,— подтвердил дедушка Кентл.— Одно в нем неладно — больно уж хмельной, нескоро прочухаешься. Ну да завтра воскресенье.

— Я раз выпил,— сказал Христиан,— так такой стал молодец, как солдат бравый!

— И теперь такой же будешь,— снисходительно заметил Уайлдвиг.— Как, джентльмены, в чарки вам наливать или в стаканы?

— Да коли вы не против, сэр, так лучше бы в кружку, а мы станем друг другу передавать. А то что его по каплям разбрызгивать!

— Ну их, стаканы,— сказал дедушка Кентл.— Скользкие, в руке не удержишь, и на угли нельзя поставить погреть... А без этого какой же вкус, а, верно я говорю, соседи?

— Верно, дедушка,— сказал Сэм, и мед пошел вкруговую.

— Так вот, значит, как,— начал Тимоти Фейруэй, чувствуя обязанность произнести нечто вроде похвального слова.— Теперь, стало быть, вы женатый человек, мистер Уайлдвиг. Хорошее дело! А уж супруга вам досталась,— прямо скажу, бральянт! Да,— продолжал он, обращаясь к дедушке Кентлу и возвышая голос, чтобы слышно было за перегородкой,— и покойный ее родитель,— тут Тимоти слегка наклонил голову в сторону задней комнаты, где сидели женщины,— честнейший был человек! Чуть услышит про какую-нибудь подлость, так, бывало, вскипит — беда!

— А это очень опасно? — спросил Христиан.

— А музыкант какой! — сказал Сэм.— С ним никто и тягаться не мог. Бывало, идет приходский оркестр в церковь, он впереди всех с кларнетом, и так дудит, словно во всю жизнь ни на чем другом не игрывал. А подойдут к церковным дверям, он сейчас бросит кларнет — и на хоры; ухватит виолончель и давай наяривать, словно век свой ни к чему, кроме виолончели, не притрагивался. Люди, кто в музыке толк знал, даже не верили: «Неужто, говорят, это тот самый, который только что так мастерски на кларнете играл? Быть этого не может!»

— Это и я помню,— сказал торфяник.— Сам дивился, как это один человек, а столько разного в голове держит и даже пальцев никогда не перепутает!

— А еще был случай в Кингсбери... — начал опять Фейруэй, как рудокоп, который готовился вскрыть новое ответвление все той же богатой залежи.

Уайлдвиг испустил вздох нестерпимой скуки и посмотрел на перегородку.

— Он туда часто хаживал по воскресеньям после обеда, дружок у него там был, Эндри Браун, тамошний кларнетист, тоже хороший человек, а музыкант так себе, пискляво как-то у него получалось...

— Бывало!

— И сосед Ибрайт частенько заменял его во время вечерней службы, чтоб тому можно было малость вздремнуть,— помогал, значит, ему по силе возможности, как всякий бы друг сделал...

— Ну да, как всякий бы сделал,— сказал дедушка Кентл; остальные более коротко, кивками, выразили согласие.

— И только, бывало, Эндри заснет, а сосед Ибрайт в его

кларнет дунет, как, глядишь, уж все головы к хорам поворачиваются,— слышат, значит, люди, что великая душа среди них проявилась. «Ага, говорят, это он, так я и думал!» А раз, помню,— в то воскресенье надумали они исполнять Сто тридцать третью кантату «К Лидии»,— она с виолончелью, и сосед Ибрайт свою принес — и когда дошли до этого стиха: «И влага дивная по бороде бежит и на одежды каплет», сосед Ибрайт до того разгорячился — как дернет по струнам, мало виолончель надвое не перепилил, аж все стекла в церкви задребезжали, точно в грозу. А пастор ихний, старик Уильямс, только — руки воздел, этак с размаху, словно на нем не стихарь был кружевной ради торжества, а просто рубашка,— как будто хотел сказать: «Ах, мне бы такого прихожанина!» Да куда там, в Кингсбери никто ему и в подметки не годился.

— И не страшно было, когда стекла задребезжали? — осведомился Христиан.

Никто ему не ответил — все сидели молча, в восхищенье от только что описанного кунштюка. И как уже не раз бывало с блестящими выступлениями, потрясавшими очевидцев, но нам известными лишь по рассказам — с пением Фаринелли перед принцессами, с знаменитой речью Шеридана в парламенте и многими другими,— то обстоятельство, что *tour de force*¹ покойного мистера Ибрайта был навсегда потерян для потомства, одевало его еще большей славой, которая, будь возможно сравненье, пожалуй, значительно бы уменьшилась.

— Кто бы подумал, что такой человек в цвете лет померет — неожиданно, негаданно! — сказал Хемфри.

— Да не так уж неожиданно — он месяца за два до того уже в гроб глядел. В те времена на Гринхиллской ярмарке женские бега устраивали, призы им выдавали — полотно на сорочку либо отрез на платье. И нынешняя моя супруга,— тогда она еще девчонка была, длинноногая да шустрая, только еще в года входила,— она тоже пошла. Потом вернулась, я и спрашиваю,— мы уже тогда начинали вместе гулять,— «Что, мол, ты выиграла, моя душенька?» А она говорит: «Я выиграла... платье»,— и покраснелась вся. Ну да, думаю, платье! Рубашонку небось ценой в одну крону,— так оно и оказалось. Теперь-то, как подумаю, чего только она мне иной раз не наговорит без единой краснинки в лице, так чудно даже, что тогда из-за такой малости застыдилась! Ну, а потом стала дальше рассказывать — я потому сейчас про это и вспомнил: «Ну, говорит, что я там ни выиграла — белое или с узорами, такое, чтоб всем на него глядеть или чтобы никому»,— вот как она тогда тонко со мной разговаривала, по всей деликатности! — «а лучше бы мне, говорит, ничего не выиграть, чем то увидеть, что я видела. Бедному мистеру Ибрайту так вдруг худо стало на ярмарке —

¹ Здесь: изощренное мастерство (*фр.*).

страсть! Пришлось ему домой ворочаться». И это уж он в последний раз из дому выходил.

— Да, всё, говорят, хворал, день ото дня хуже, а потом, слышим, помер.

— Очень он мучился, когда умирал? — спросил Христиан.

— Нет, тихо умер, как заснул. Он духом был спокоен. И господь ему даровал мирную кончину.

— А другие очень мучаются?.. Как вы считаете, мистер Фейруэй?

— Кто смерти не боится, тот не мучится.

— Я-то, слава богу, не боюсь,— с дрожью в голосе выговорил Христиан.— Вот не боюсь, и все, и очень хорошо, значит, и мучиться не буду... А если чуточку и забоюсь, так ведь невольно, за что ж мне мучиться? Ох, дал бы мне бог совсем не бояться!

Все сокрушенно помолчали, после чего Фейруэй, поглядев в не закрытое ставнями и занавешенное окно, сказал:

— А ведь жив еще этот костерчик — у капитана Вэя! Горит и горит, хоть бы что!

Все глаза обратились к окну, и никто не заметил, что Уайлдвиг тоже бросил туда украдкой быстрый виноватый взгляд. Далеко над погруженной во мрак долиной, справа от Дождевого кургана, действительно светился огонь, небольшой, но такой же ровный и стойкий, как и раньше.

— Его еще до нашего зажгли,— продолжал Фейруэй,— а теперь, смотрите, уж все костры погасли, а этому ничего не делается.

— Может, это неспроста,— пробормотал Христиан.

— Что значит — неспроста? — резко сказал Уайлдвиг.

Но Христиан, будучи в расстройстве чувств, не сумел ответить, и Тимоти пришел ему на помощь.

— Это он, сэр, про ту темноглазку, что там наверху живет,— говорят, она колдунья, только стыдно, по-моему, такую красивую молодую женщину зря порочить, ну, а причудница она, это верно, постоянно что-нибудь этакое чудное выдумывает, вот ему и взбрело в голову, что это она там колдует.

— А я бы с радостью взял ее в жены, кабы согласилась — пусть бы она своими глазищами надо мной колдовала,— отважно заявил дедушка Кентл.

— Ох, не надо так говорить, отец! — взмолился Христиан.

— Одно могу сказать,— кто на ней женится, у того будет в доме картинка, на что полюбоваться,— благодушно заметил Фейруэй, всласть отхлебнув из кружки и отставляя ее на стол.

— Да, и подруга жизни уж больно мудреная, вроде как омут глубокий,— добавил Сэм, берясь, в свою очередь, за кружку и допивая то малое, что в ней осталось.

— Ну, соседи, пожалуй, пора и по домам,— сказал Хемффри, обнаружив, что в кружке пусто.

— Ну еще одну песню-то им споем? — сказал дедушка Кентл. — У меня запевок в горле, что у соловушки, так и рвутся наружу!

— Спасибо, дедушка, — сказал Уайлдвиг. — Но сейчас мы уж не будем вас утруждать. Как-нибудь в другой раз, — когда я созову гостей.

— Э, так я десять новых песен разучу для такого случая! — вскричал дедушка Кентл. — И будьте покойны, мистер Уайлдвиг, я вам такой невежливости не сделаю, чтобы не прийти!

— Охотно верю, — отвечивал этот джентльмен.

Гости распрощались, пожелав напоследок хозяину долгой жизни и счастья в браке — со многими повторениями, заняввшими порядочно времени. Уайлдвиг проводил их до двери, за которой их поджидал непроглядно-черный, уходящий вдаль и ввысь простор вересковой степи — огромноеместище мрака, простиравшееся от самых их ног почти до зенита, где глаз впервые улавливал сколько-нибудь отчетливую форму — насуспенное чело Дождевого кургана. Они нырнули в эту густую темь и гуськом, следом за торфяником Сэмом, потянулись по своему бездорожному пути домой.

Когда парapanье дрока об их поножи перестало быть слышимым, Уайлдвиг вернулся в комнату, где оставил Томазин и ее тетку. Но женщин там не было.

Они могли покинуть дом только одним способом — через заднее окно; и это окно было распахнуто настежь.

Уайлдвиг усмехнулся про себя, постоял минуту в раздумье и лениво побрел в переднюю комнату. Здесь его взгляд упал на бутылку вина, стоявшую на камине.

— А! Старик Дауден! — пробормотал он и, подойдя к двери в кухню, крикнул: — Эй, кто там есть! Надо кое-что отнести старику Даудену.

Никто ему не ответил. Кухня была пуста, паренек, служивший у него в помощниках, давно ушел спать. Уайлдвиг вернулся в залу, взял бутылку и вышел из дому, заперев наружную дверь на ключ, так как в ту ночь в гостинице не было постояльцев. Едва он ступил на дорогу, как в глаза ему снова бросился маленький костер на Мистоверском холме.

— Все ждете, миледи? — пробормотал он.

Однако он не сразу направился туда; оставив холм слева, он, спотыкаясь, стал пробираться по изрезанному колеями проселку, который вскоре привел его к одинокому домику под откосом, различимому в темноте, как и все остальные жилища на Эгдоне в этот час, только по тусклому свету в верхнем окне, — очевидно, окне спальни. Это был дом Олли Дауден, вязальщицы метел, и Уайлдвиг вошел.

В нижней горнице было темным-темно: Уайлдвиг ощупью отыскал стол, поставил на него бутылку и минуту спустя уже снова был на пустоши. Повернувшись к северо-востоку, он стоял и смотрел на немеркнущий маленький огонь, видневшийся

где-то высоко над ним, хотя и не так высоко, как Дождевой курган.

Мы все слышали, что происходит, когда женщина размышляет,— и пословица эта приложима не к одним только женщинам, особенно когда в деле все-таки замешана женщина, да притом красивая. Уайлдив все стоял и стоял, вздыхая по временам в нерешимости, и наконец сказал про себя:

— Да, уж видно, не миновать к ней пойти!

И вместо того, чтобы повернуть к дому, он быстро зашагал по тропке, огибавшей Дождевой курган и поднимавшейся в гору — туда, где горел этот,— очевидно, что-то означавший для него,— огонь.

ГЛАВА VI

ФИГУРА НА ФОНЕ НЕБА

Когда все эгдонское сборище покинуло наконец свой отгоревший костер и на вершине вновь водворилась привычная для нее пустышность, с той стороны, где светился маленький костер, к кургану приблизилась укутанная женская фигура. Если бы охряник все еще следил за событиями на кургане, он узнал бы в ней ту женщину, которая раньше так странно стояла там и исчезла при появлении новых пришельцев. Она опять поднялась на самый взлобок, где красные угли угасшего костра блеснули ей навстречу, словно живые глаза в мертвом теле дня. И теперь она опять стояла неподвижно, объята со всех сторон огромным простором ночного неба, чья полупрозрачная тьма примерно так же относилась к густой черноте лежащей внизу пустоши, как грех прощительный к греху смертному.

Что мог бы сказать о ней тот, кто сейчас бы ее увидел? Что она высока ростом и стройна, что ее движенья изящны, как у воспитанной женщины, но и только, так как плечи ее и грудь утопали в складках шали, повязанной по старинке крест-накрест, а голова была окутана большим платком,— предосторожность далеко не лишняя в этот час и на этом месте. Она стояла, повернувшись спиной к северо-западу, но потому ли, что хотела защититься от ветра, дувшего с этой стороны и особенно резко на вершине, или потому, что ее интересовало что-то на юго-востоке, это пока оставалось неясным.

Столь же непонятна была и причина, в силу которой она стояла там так долго и так неподвижно, словно центральный стержень всего этого обведенного горизонтом круга. Ее необычайное упорство, явное одиночество и очевидное равнодушие ко всем, может быть, скрытым в темноте опасностям, говорило о полном отсутствии страха. А меж тем мрачность этих мест, ничуть не изменившихся с той давней поры, когда Цезарь, как говорят, каждый год спешил их покинуть до наступления осен-

него равноденствия, суровость ландшафта и погоды, заставлявшая путешественников с юга описывать наш остров как гомеровскую Киммерию,— все это, казалось бы, не должно было привлекать женщину.

Может быть, она прислушивалась к ветру? Он, правда, чем дальше в ночь, тем все больше набирал силу и все настойчивее вторгался в сознание. Он был как бы нарочно создан для этих мест, так же как эти места были как бы нарочно созданы для ночи. И в шуме ветра здесь, на вересковых склонах, было нечто особенное, чего больше нигде нельзя услышать. Порывы ветра налетали с северо-запада бесчисленными волнами, и когда такая ветровая волна проносилась мимо, в общем ее звучании ясно выделялись три тона: дискант, тенор и бас слышались в ней. Ударяясь о выступы и впадины бугристой почвы и отскакивая рикошетом, она рождала самые низкие ноты этого трехголосия. Одновременно возникал баритональный жужжащий гул в листве падубов. И, наконец, меньший по силе, более высокий по тону, трепетный подголосок силился вывести свою собственную приглушенную мелодию — это и был тот особый местный звук, о котором мы говорили. Жидкий и не столь заметный, как первых два, он, однако, производил наибольшее впечатление. В нем заключалось то, что можно назвать языковым своеобразием вересковой пустоши, так как нигде, кроме как здесь, нельзя было его услышать; этим, возможно, и объяснялась напряженная и неослабевающая внимательность стоявшей на холме женщины.

В жалобных напевах ноябрьских ветров этот звук больше всего был похож на полуиссякший человеческий голос, каким он еще сохраняется в горле девяностолетнего старца. Это был усталый шепот, сухой, как шелест бумаги, но так отчетливо касавшийся слуха, что привычный человек мог не хуже, чем осязанием, распознать, какая материальная мелочь его производит. То был совокушный результат игры ветра с какими-то бесконечно малыми элементами растений, но не со стеблями, былинками, плодами, колючками или листьями, не с лишайниками или мхами.

Этот шелест рождался в мумифицированных колокольчиках вереска, оставшихся от прошлого лета, когда-то пурпурных и нежных, но теперь отмытых до полной бесцветности сентябрьскими дождями и высушенных, как мертвая кожа, октябрьским солнцем. Каждый отдельный звук был так слаб, что только сочетание сотен таких звуков едва-едва нарушало молчание, а мириады их, приносимые ветром со всех окрестных склонов, достигали ушей женщины, как прерывистый чуть слышный лепет. И все же ни один из многих почных голосов не обладал такой властью приковывать внимание, не будил столько мыслей о его источнике. Слушатель словно охватывал внутренним зрением все эти неисчислимые множества — и так ясно видел, как ветер накидывается на каждую из этих крошечных труб,

врывается внутрь, обшаривает ее всю и снова вылетает наружу, как будто любой колокольчик был размером в кратер вулкана.

«Дух носился над ними». Эти слова невольно вставали в памяти чуткого слушателя, переводя его первое, фетишистское восприятие на более высокую ступень. Ибо чем пристальнее он вслушивался, тем чаще ему начинало казаться, что не голоса мертвых цветов доносятся с правого склона, или с левого, или с того, что впереди, но какой-то один голос, голос чего-то другого, звучит сразу со всех сторон, говоря что-то свое всеми этими крошечными языками.

Внезапно в эту стихийную ораторию ночи влился с кургана еще один звук, так естественно сочетавшийся со всеми остальными, что трудно было уловить, когда он возник и когда замер. Кручи, кусты, колокольчики вереска уже раньше нарушили молчание, а теперь наконец отозвалась и женщина; отклик ее был как бы еще одна фраза в их общей речи. Брошенный ветрам, он перевился с ними и вместе с ними унесся прочь.

Это был всего-навсего протяжный вздох, — может быть, ответ на что-то, творившееся в ее душе и заставившее ее прийти сюда. Этот прерывистый вздох говорил о внезапно наступившей душевной расслабленности, как будто, позволив его себе, она тем самым уже выпустила кормило из рук и покорилась чему-то, над чем ее сознание больше не имело власти. И, во всяком случае, он показывал, что до сих пор под ее внешним спокойствием таилось подавленное возбуждение, а не вялость или застой.

Далеко внизу, в долине, все еще тускло светилось окно гостиницы; и через несколько мгновений стало ясно, что вздох женщины был гораздо больше связан с этим окном — или с тем, что за ним скрывалось, — чем со всеми ее предыдущими действиями или с ее непосредственным окружением. Она подняла левую руку; в руке была подзорная труба. Она быстро ее раздвинула, — очевидно, это было для нее привычно, — и, подняв к глазам, направила на свет, исходивший из гостиничного окна.

При этом она слегка подняла лицо, и платок, которым была окутана ее голова, немного сдвинулся; на бледно-сером фоне туч обрисовался ее профиль. Если бы тени Сафо и миссис Сиддонс встали из могил и слились воедино, из их сочетания мог бы, пожалуй, возникнуть этот образ, непохожий ни на ту, ни на другую, но напоминавший обеих. Впрочем, это было чисто поверхностное сходство. Характер человека до некоторой степени уловим в лепке его лица, но полностью он раскрывается только в смене выражений. Это настолько справедливо, что почти во всех случаях игра черт, мелкие их движения, одним словом, то, что мы называем мимикой, помогает лучше понять человека, чем самая яркая и выразительная его жестикуляция. Так и здесь — ночь, обнимавшая эту женщину, не выдавала ее

тайн, так как мешала разглядеть наиболее подвижные части ее лица.

Наконец она перестала что-то высматривать, сложила подзорную трубу и обратилась к гаснущим углям. Они почти уже не давали света — лишь изредка, когда особенно резкий порыв ветра сдувал с них пепел, вспыхивало и тут же гасло розовое сияние, как мимолетный румянец на девичьем лице. Она нагнулась над их молчаливым кругом, выбрала головешку с не погасшим еще концом и отнесла ее туда, где раньше стояла.

Держа головешку у самой земли, она стала раздувать рдеющий красный уголь; наконец в слабых его отсветах обнаружился стоящий у ее ног небольшой предмет — песочные часы, которые она, очевидно, зачем-то принесла сюда, хотя у нее и были с собой обыкновенные часики. Она все еще раздувала уголь, пока не разглядела, что весь песок в часах пересыпался.

— О! — сказала она как бы с удивлением.

Мерцающий свет, разбуженный ее дыханьем, только на миг озарил ее лицо; безукоризненной формы губы и щека — вот все, что можно было увидеть, так как ее голова была закрыта платком. Она отбросила головешку и, держа песочные часы в руке, а сложенную подзорную трубу под мышкой, пошла прочь.

По гребню холма змеился чуть протоптанный след — по нему-то она теперь и шла. Те, кому он был хорошо известен, называли его тропой. Случайный гость в здешних местах не заметил бы его и днем, но местные жители легко находили его даже глубокой ночью. Секрет этого умения не сбиваться с таких едва намеченных троп, да еще при таком свете, когда и большую дорогу не разглядишь, заключается в чувстве осязания, которое с годами развивается в ногах у человека, привыкшего бродить ночью по нехоженным местам. Разница в прикосновении ноги к девственной траве или к искалеченным стеблям на чуть заметной тропке будет для него ощутима даже сквозь грубый сапог или башмак.

Женщина, одиноко шагавшая по этой тропе, не прислушивалась к мелодиям, которые ветер наигрывал на сухих колокольчиках вереска. Она не повернула головы — посмотреть на темную кучку каких-то животных, обратившихся в бегство, когда она проходила ложиной, где они паслись. Это были дикие пони, которых здесь называют вересковыми стригунами, — табунок голов в двадцать. Они бродили на свободе по всем долам и взгорьям Эгдона, но их было слишком мало, чтобы нарушить его пустышность.

Одинокая путница сейчас ничего не замечала: о ее рассеянности можно было судить по такому мелкому случаю. Тонкая плеть ежевики запуталась в ее подоле; вместо того чтобы отцепить ее и спешить дальше, она безвольно покорилась задержке и долго стояла не шевелясь. Потом начала выпутываться, но тоже как-то странно — поворачиваясь на месте и разматывая

захлестнувшую ее ноги колючую плеть. Она была в глубокой задумчивости.

Она направлялась туда, где все еще неугасимо горел маленький костер, в свое время привлечший внимание поселян на кургане и Уайлдива внизу, в долине. Слабые отблески от него уже падали на ее лицо. Вскоре стало видно, что костер горит не на ровном месте, а на чем-то вроде редана — на высоком стыке двух сходящихся под острым углом земляных насыпей, которые, очевидно, служили оградой. Перед насыпями тянулся ров, сухой везде, кроме того места, где горел костер, — тут был довольно большой пруд, обросший по краям бородой из вереска и камыша. В гладкой воде отражался в перевернутом виде костер.

По насыпям не было живых изгородей, только кое-где торчали голые стебли дрока с пучком листвы наверху, словно насаженные на колья головы на городском валу. Высокая белая мачта с рангоутными перекладинами и прочим морским такелажем вырисовывалась по временам на темных облаках, когда костер разгорался сильнее и до нее достигали его беглые отблески. Все вместе напоминало укрепление с разложенным на нем сигнальным огнем.

Людей нигде не было видно, но время от времени из-за вала высывалось что-то белое и тут же исчезало. Это была небольшая человеческая рука, подбрасывавшая топливо в огонь. Но она как будто существовала сама по себе, отдельно от тела, как та рука, что внесла смятение в душу Валтасара. Изредка по насыпи скатывался уголек и с шипением падал в воду.

По одну сторону пруда виднелись сложенные из земляных комьев грубые ступеньки, по которым можно было при желании подняться на насыпь, что женщина и сделала. Дальше, за валом, открывался невозделанный участок земли, вернее, заброшенная пашня; кое-где еще были заметны следы обработки, но вереск и папоротники уже прокрались сюда и постепенно вновь утверждали свое господство. Еще дальше был смутно виден неправильной формы дом, сад, надворные строения и за ними группа елей.

Молодая девушка — по легкому прыжку, которым она взяла насыпь, можно было судить о ее возрасте — не спустилась вниз, а пошла поверху к тому углу, где горел костер. И теперь обнаружилась причина его долговечности: топливом служили крепкие чурки, напильные из узловатых стволов терновника, которые по два и по три росли на соседних склонах. Кучка таких еще не использованных дров лежала во внутреннем углу меж двух насыпей, и оттуда поднялось к девушке худенькое мальчишеское лицо. Мальчик время от времени лениво подбрасывал колотые чурки в огонь; он, должно быть, уже давно этим занимался, потому что лицо у него было усталое.

— Слава богу, вы пришли, мисс Юстасия, — сказал он со вздохом облегчения. — А то я все один да один.

— Не выдумывай, пожалуйста. Я только пошла немного пройтись. Всего четверть часа отсутствовала.

— А мне показалось долго,— уныло протянул мальчуган.— И вы уже столько раз уходили!

— А я-то думала, тебе будет весело. Ты должен быть благодарен мне за то, что я устроила для тебя костер.

— Да я благодарен, только тут не с кем поиграть.

— Пока меня не было, никто не приходил?

— Только ваш дедушка. Вышел раз из дому, вас искал. Я сказал, вы пошли на холм посмотреть на другие костры.

— Молодец!

— Он, кажется, опять идет, мисс.

Со стороны дома в дальних отсветах костра показался старик — тот самый, который раньше нагнал охрянника на дороге. Он вопросительно поднял глаза к стоящей на валу девушке, и его зубы, все до одного целые, сверкнули, как фарфор, меж приоткрытых губ.

— Что ты домой не идешь, Юстасия? — сказал он.— Спать пора. Я уж два часа сижу, тебя дожидаясь, устал до смерти. И что за ребячество — столько времени баловаться с кострами, да еще такие дрова изводить! Мои драгоценные терновые корни — я нарочно отложил на рождество, а ты чуть не все сожгла!

— Я обещала Джонни костер, и он еще не хочет его тушить,— сказала девушка таким тоном, который ясно показывал, кому в этом доме принадлежит абсолютная власть.— Дедушка, ты иди, ложись. Я тоже скоро приду. Джонни, ты ведь любишь жечь костры, правда?

Мальчик посмотрел на нее исподлобья и нерешительно проговорил:

— Да мне уж что-то больше не хочется.

Старик уже повернул к дому и не слышал, что сказал мальчик. Как только седая голова деда скрылась в темноте, девушка воскликнула с досадой:

— Неблагодарный мальчишка, как ты смеешь мне противоречить! Никогда больше не будет тебе костра, если не станешь его сейчас поддерживать. Ну! Скажи, что ты рад сделать мне приятное, и не смей спорить!

Получив нагоняй, мальчик покорно сказал:

— Да, мисс,— и опять стал лениво ворошить угли.

— Побудь еще тут немного, и я дам тебе счастливую монетку,— уже мягче сказала Юстасия.— Подбрасывай по одному поленцу, а много сразу не надо. Я еще пойду пройдуся, но я буду все время к тебе возвращаться. А если ты услышишь, что лягушка прыгнула в пруд — ну, плеснулось, словно камень бросили,— так сейчас же беги и скажи мне. Потому что это предвещает дождь.

— Хорошо, Юстасия.

— Мисс Вэй, сэр!

— Мисс Вэ...стасия.

— Ладно уж. Подбрось-ка еще поленце.

Маленький раб вернулся к исполнению своих обязанностей. Он двигался не как живое существо, а скорее как автомат, гальванизированный капризной волей Юстасии,— словно та медная статуя, в которую, как говорят, Альберт Великий вдохнул ровно столько жизни, что она могла говорить, и ходить, и быть ему слугой.

Прежде чем возобновить свою прогулку, девушка постояла на насыпи, прислушиваясь. Холм, на котором стояла усадьба капитана, был столь же пустынен, как и Дождевой курган, но не так высок и более защищен от ветра еловой рощицей на запад. Вал, окружавший усадьбу и защищавший ее от вторжения внешнего мира, был сложен из толстых земляных глыб, выкопанных из рва и нарезанных квадратами. Наружной стороне вала был придан крутой уклон — полезная предосторожность там, где живые изгороди плохо растут из-за постоянных ветров, а камней для сооружения стен неоткуда взять. В остальном же это место было совершенно открытое и позволяло обозревать всю долину, спускавшуюся к реке за домом Уайлдива. Справа, высоко над долиной и гораздо ближе к усадьбе, чем гостиница «Молчаливая женщина», небо заслонял смутный абрис Дождевого кургана.

Внимательно оглядев голые склоны и пустые лоцины, Юстасия сделала нетерпеливое движение. С губ ее по временам срывались какие-то гневные слова, но слова перемежались вздохами, а вздохи внезапным настороженным молчанием. Спустившись со своей дозорной вышки, она опять стала прохаживаться по тропе в сторону Дождевого кургана, но не уходя далеко и то и дело возвращаясь.

За несколько минут она дважды появлялась у костра и каждый раз спрашивала:

— Что, не плеснулось еще в пруду?

— Нет, мисс Юстасия, — отвечал мальчик.

— Ну, — сказала она наконец, — скоро и я пойду спать и тогда дам тебе счастливую монетку и отпущу домой.

— Спасибо, мисс Юстасия, — вздохнул замученный кочегар. А Юстасия снова отошла от костра, но на этот раз не по направлению к Дождевому кургану. Она обогнула участок по насыпи, спустилась к калитке возле дома и некоторое время стояла там неподвижно, глядя издали на костер.

Прямо перед ней, шагах в пятидесяти, возвышался угол, образованный двумя насыпями, на котором горел костер. Внутри этого угла по-прежнему копошилась над кучей дров фигура мальчика, изредка выпрямляясь и подкладывая поленце в огонь. Девушка безучастно следила за всеми его движениями. Иногда он взбирался на насыпь и стоял возле костра. Налетал порыв ветра и отдувал дым, волосы мальчугана и концы его

фартучка — всё в одну сторону; потом ветер стихал, волосы и фартук повисали, а дым столбом поднимался к небу.

Вдруг мальчик встрепенулся. Он соскользнул с насыпи и пустился бегом к белой калитке.

— Что? — спросила Юстасия.

— Лягушка прыгнула в пруд — я слышал!

— Значит, сейчас пойдет дождь, и тебе надо бежать домой. Ты не будешь бояться? — Она говорила торопливо и слегка задыхаясь, как будто от слов мальчика сердце у нее перепрыгнуло в горло.

— Нет, если у меня будет с собой счастливая монетка.

— Вот она, держи. Ну беги! Да не туда. Через сад. Ни у одного мальчика во всем Эгдоне не было сегодня такого костра, как у тебя.

Мальчик, явно пресыщенный выпавшим на его долю счастьем, с готовностью устремился в темноту. Когда он скрылся, Юстасия, оставив подзорную трубу и песочные часы у калитки, быстро прошла в угол под насыпью.

Здесь, заслоненная валом, она стала ждать. Через минуту с пруда донесся плеск. Будь мальчик еще здесь, он сказал бы — вот еще одна лягушка прыгнула в пруд; но большинство людей распознали бы в этом звуке плеск от брошенного в воду камня. Юстасия поднялась на вал.

— Да-а? — сказала она и затаила дыхание.

Тотчас по ту сторону пруда на низко спускавшемся к долине небе мутно обозначилась темная мужская фигура. Мужчина обошел пруд и, одним прыжком вскочив на вал, остановился рядом с Юстасией. Она тихо рассмеялась — это был третий звук, вырвавшийся у нее за этот вечер. Первый — когда она стояла на кургане — выражал тревогу; второй — на насыпи — выражал нетерпенье; в этом — последнем — было ликующее торжество. Она молча радостными глазами смотрела на пришельца, словно на какое-то чудо, сотворенное ею самой из хаоса.

— Ну вот я пришел, — сказал мужчина; это был Уайлдив. — Чего ты от меня хочешь? Почему не можешь оставить меня в покое? Весь вечер я видел твой костер. — Он говорил не без волнения, но ровным голосом, как бы тщательно сохраняя равновесие между двумя влекущими его в разные стороны силами.

Встретив в своем возлюбленном такое неожиданное самообладание, девушка, видимо, тоже взяла себя в руки.

— Ну понятно, ты его видел, — проговорила она с нарочито ленивым спокойствием. — Почему бы и мне не разжечь костер на пятое ноября, как все тут делают?

— Я знал, что это для меня.

— Откуда ты мог знать? Мы с тобой словом не перемолвились с тех пор, как ты... как ты выбрал ее и стал ухаживать за ней, а меня бросил, словно и не говорил никогда, что я твоя жизнь и твоя душа — отныне и навеки!



— Юстасия! Разве я мог забыть, что прошлой осенью в этот же день и на этом месте ты зажгла точно такой же костер, как призыв ко мне прийти и повидаться с тобой? И если сегодня у капитана Вэя опять горит костер, так для чего, как не с той же целью?

— Да, да! Признаюсь! — воскликнула она глухо, с той дремотной страстью в голосе и манере, которая была ее отличительной чертой. — Но не разговаривай со мной так, Дэймон, а то ты и меня заставишь сказать что-нибудь, чего я не хочу говорить! Я отреклась от тебя, я дала клятву больше о тебе не думать, но сегодня я узнала эту новость и поняла, что ты мне верен!

— Что ты такое узнала? — с недоумением сказал Уайлдвиг.

— Что ты на ней не женился! — ликуя, вскричала она. — И я поняла, что ты все еще меня любишь и поэтому не мог... Дэймон, ты жестоко поступил со мной, и я сказала, что никогда тебя не прощу, — я даже сейчас не могу вполне тебя про-

стить,— ни одна женщина, у которой есть хоть капля гордости, этого не может.

— Знай я, что ты меня позвала только затем, чтобы упрекать, я бы не пришел.

— Но теперь мне все равно. Ты не женился на ней, ты вернулся ко мне, и я готова тебя простить!

— Кто тебе сказал, что я на ней не женился?

— Дедушка. Он сегодня ходил по своим делам и на обратном пути нагнал одного человека, и тот ему рассказал, что у них там, внизу, какая-то свадьба расстроилась. Дедушка подумал, уж не твоя ли, а я сразу поняла, что твоя.

— Кто-нибудь еще знает?

— Наверно, нет. Дэймон, теперь ты понимаешь, почему я зажгла мой сигнальный огонь? Разве я могла бы, если б думала, что ты уже стал ее мужем? Такое предположение оскорбительно для моей гордости.

Уайлдив промолчал: было ясно, что он именно это и предполагал.

— Нет, ты в самом деле думал, что я уже считала тебя женатым? — повторила она с жаром. — Вот как ты несправедлив ко мне! Честное слово, мне даже трудно себе представить, что ты мог такое про меня подумать!.. Дэймон, ты не стоишь моей любви — я это понимаю и все-таки люблю... Но все равно, пусть! Видно, и эту обиду придется снести от тебя. — И, видя, что он не пытается оправдаться, она добавила с тревогой: — Скажи — ведь правда ты был не в силах меня покинуть и теперь опять будешь любить меня по-прежнему?

— Ну понятно, а то зачем бы я пришел? — раздраженно ответил он. — Только это не большая заслуга с моей стороны — быть верным тебе после твоих любезных речей о моем ничтожестве: это я мог бы сказать сам о себе, а в твоих устах оно не очень-то деликатно. Да что поделаешь, сердце у меня слабое, это мое проклятие, вот и приходится так жить и выслушивать женские попреки. Это и довело меня до того, что я из инженеров стал трактирщиком, а до чего еще докачусь, не знаю! — Он мрачно смотрел на нее.

Она поймала его взгляд и, откинув шаль, так что свет от костра озарил ее лицо и шею, сказала с улыбкой:

— Во всех твоих путешествиях видал ты что-нибудь лучше?

Юстасия была не из тех, кто идет на риск, не имея уверенности в победе. Все еще глядя на нее, он сказал негромко:

— Нет. Не видал.

— Даже у Томазин Ибрайт?

— Томазин милая и простосердечная девушка.

— Что мне до нее! — воскликнула она, вдруг вспыхнув гневом. — Какое она имеет значение? Сейчас есть только ты и я, и больше ни о ком не надо думать. — И, глядя на него долгим взглядом, она продолжала уже спокойно, но с прежним таинственным жаром в голосе: — Неужели я должна исповедаться

тебе в том, что женщины всегда скрывают? Признаться, какой несчастной я чувствовала себя два часа назад, когда думала, что ты женился на ней?

— Прости, что я причинил тебе боль.

— А может, это не только из-за тебя,— сказала она с лукавой усмешкой.— На меня иногда находит. Должно быть, это у меня в крови.

— Ипохондрия.

— Или это оттого, что кругом все так мрачно. Когда я жила в Бедмуте, мне всегда было весело. О, счастливые, счастливые дни в Бедмуте! Но теперь и на Эгдоне станет веселее.

— Надеюсь,— хмуро ответил он.— Ты понимаешь, вечная моя возлюбленная, какие последствия будет иметь твой сегодняшний призыв? Я опять буду приходить к тебе на свиданья на Дождевой курган.

— Конечно.

— А ведь когда я шел сюда, я имел твердое намерение попрощаться с тобой раз и навсегда и больше уж никогда не видеться.

— Ты, кажется, считаешь, что я должна еще благодарить тебя за это? — сказала она, отворачиваясь; негодование проступило в ее чертах, как подспудное пламя.— Можешь приходить на курган, если тебе угодно, но меня там не будет; можешь звать меня, но я не услышу; и соблазнять меня своей страстью, но я тебе не предамся!

— Ты это и раньше говорила, душенька. Но такие, как ты, редко держат слово. Да и такие, как я, тоже.

— Вот что я получила за все свои старанья,— прошептала она с горечью.— И зачем только я пыталась тебя вернуть? Знаешь, Дэймон, иногда у меня в душе словно борются два чувства. Бывало, ты меня обидишь, а я потом успокоюсь и думаю: «Да что же это я держала в объятьях — человека или клочок тумана?» Ты хамелеон, Дэймон, и сейчас показываешь мне самую дурную окраску. Уходи, или я тебя возненавижу.

Он несколько секунд рассеянно смотрел в сторону Дождевого кургана, потом сказал таким тоном, как будто все это его очень мало трогало:

— Да, пойду уж домой. Так ты хочешь меня видеть?

— Если ты признаешься, что не женился на ней потому, что меня любишь больше.

— Это, пожалуй, была бы плохая политика,— сказал он с улыбкой.— Ты слишком бы ясно увидела пределы своей власти.

— Нет, ты скажи!

— Да ты же сама знаешь.

— Где она теперь?

— Не знаю. И вообще не хочу сейчас говорить о ней. Я не женился, я пришел, послушный твоему зову. Довольно с тебя и этого.

— А я зажгла костер просто потому, что мне было скучно и я подумала: все-таки это маленькое развлечение — восторжествовать над тобой, вызвать тебя из мертвых, как эндорская волшебница вызвала Самуила. Я решила, пусть он придет — и вот ты пришел! Я доказала свою власть. Полторы мили сюда да полторы обратно — три мили в темноте ради меня. Это ли не доказательство власти.

Он покачал головой.

— Я слишком хорошо знаю тебя, моя Юстасия, слишком хорошо! Нет ни одной нотки в твоем голосе, которая не была бы мне знакома. Это горячее сердечко не могло холодно сыграть со мной такую шутку. Я видел в сумерках какую-то женщину на Дождевом кургане. По-моему, я позвал тебя еще раньше, чем ты меня.

Угли былой страсти теперь уже явно разгорались в Уайлдиве. Он наклонился к ней, словно хотел прижаться лицом к ее щеке.

— О нет, — непримиримо сказала она, переходя на другую сторону угасшего костра. — Что это тебе вздумалось?

— Можно поцеловать твою руку?

— Нет.

— А пожать?

— Нет.

— Ну так я обойдусь без того и без другого и просто пожелаю тебе спокойной ночи. Прощай! Прощай!

Она не ответила, и с церемонным поклоном, достойным учителя танцев, он исчез в темноте за прудом — там, откуда и появился.

Юстасия вздохнула; и это не был легкий девичий вздох, он потряс ее всю, как лихорадочная дрожь. Когда луч разума, словно сноп электрического света, выявлял перед ней все несовершенства ее возлюбленного — что иногда бывало, — ее всякий раз пронизывала эта неудержимая дрожь. Но через мгновение свет угасал, и она снова любила. Понимала, что он играет с ней, и все же его любила. Она разбросала полуистлевшие головешки и немедленно ушла в дом. Не зажигая света, поднялась к себе в спальню. В темноте, пока она раздевалась, слышен был шелест сбрасываемой одежды и все такие же тяжелые вздохи. И когда она спустя десять минут уже лежала в постели, ее даже во сне по временам сотрясала дрожь.

ГЛАВА VII

ЦАРИЦА НОЧИ

Юстасия Вэй заключала в себе сырой материал божества. После небольшой подготовки она могла бы с честью занять место на Олимпе. В ней жили все страсти и стремления, какие по-

добают образцовой богине, то есть именно те, которые не внолле подобают образцовой женщине. Если бы можно было на время отдать землю и человечество ей во власть, если бы прялка, веретено и ножницы были вручены ей с правом распоряжаться ими, как она пожелает, мало кто заметил бы эту смену правительства. В мире все осталось бы по-старому: то же неравенство жребия — несчетные милости одному и пренебреженье другому, та же слепая щедрость вместо справедливости, те же вечные противоречья, то же беспричинное чередование ласк и ударов, которые мы и сейчас терпим.

Она была статная, с развитыми и чуть тяжеловатыми формами, с матовым, без румянца, лицом и на ощупь вся нежная, как облако. Волосы у нее были темные; казалось, мрака целой зимы не хватило бы, чтоб создать такую глубокую тень; и когда волосы падали ей на лоб, вспоминалось, как в сумерках ночная тьма скрадывает огни заката.

Нервы ее протягивались дальше, в эти густые пряди, и если она бывала раздражена, поглаживанием по голове ее всегда можно было успокоить. Когда ей расчесывали волосы, она тотчас затихала и сидела в оцепенении, как сфинкс. Если ей случалось идти вдоль одного из эгдонских обрывов и свисавшие ветви *Ulex europaeus*¹, своими шипами нередко сходные с гребнем, задевали ее по волосам, она отступала на несколько шагов назад и проходила под кустом вторично.

У нее были языческие глаза, полные ночных тайн, и мерцающий их свет, который то вспыхивал, то угасал, то снова вспыхивал, отчасти заслонялся тяжелыми веками и длинными ресницами, причем нижнее веко стояло гораздо выше, чем обычно у англичанок. Это позволяло ей незаметно для других отдаваться грезам, может быть, даже дремать, не закрывая глаз. Если допустить, что души людей это некая зримая субстанция, имеющая у каждого свою окраску, то душа Юстасии была, конечно, цвета пламени. Искры, всплывавшие по временам в ее темных зрачках, подтверждали это впечатление.

Губы ее, казалось, были созданы не столько для речи, как для трепета и поцелуев, а кое-кто, пожалуй бы, добавил: и для презрительной усмешки. В профиль их изгиб почти с геометрической точностью воспроизводил линию, известную в архитектуре как прямая сима, или гусек. Такой гибкий рисунок рта — явление исключительное на суровом Эгдоне, и, уж конечно, он не был завезен сюда из Шлезвига бандой саксонских пиратов, у которых губы смыкались, как две половинки сдобной булки. В нашем представлении он скорее связывается с югом, где таится иногда под землей на обломках забытых мраморных изваяний. Губы ее, хотя и полные, были так четко вылеплены, что каждый угол рта врезался в щеку, словно острие копья. Этот острый вырез углов рта притуплялся лишь в те минуты, когда

¹ Утесник (лат.).

на Юстасию вдруг накатывало уныние — одно из проявлений той ночной стороны чувств, которая ей, несмотря на ее молодость, была уже слишком хорошо знакома.

Ее облик пробуждал воспоминания о таких вещах, как темно-красные розы, рубины и тропическая полночь; ее настроения приводили на память логофагов и марш из «Аталии», ее движения — прилив и отлив морских волн, ее голос — звуки альта. В сумеречном свете и с несколько иначе уложенными волосами ее вполне можно было принять за одну из старших богинь Олимпа. Дайте ей полумесяц в косы, или старинный шлем на голову, или диадему из дрожащих на волосах капель росы — и перед вами предстанет Артемида, или Афиа Паллада, или Гера, — живой образ античности, не менее убедительный, чем те, которые уже снискали наше признание на многих знаменитых полотнах.

Но вся эта небесная повелительность, любовь, гнев, пыл сердца были ни к чему на слишком земном Эгдоне. Ее силам здесь был положен предел, и сознание этого предела извратило ее развитие. Эгдон стал ее Аидом, и с тех пор, как она поселилась здесь, она много впитала от его унылости, хотя в душе никогда с нею не мирилась. Этот затаенный бунт сказывался в ее наружности; темный блеск ее красоты был лишь отражением вонне бесплодного и задушенного внутреннего огня. Какая-то горделивая мрачность, как тень Тартара, осеняла ее лоб — и мрачность эта не была ни насильственной, ни притворной, ибо зрела в ней годами.

Это впечатление почти царственной величавости еще усиливалось оттого, что на голове она носила черную бархатную ленту, чтобы сдерживать буйное изобилие темных кудрей, отчасти затепявших ей лоб. «Ничто так не красит прекрасное лицо, как узкая перевязь на лбу», — говорит Рихтер. Другие девушки по соседству носили в волосах цветные ленты и навешивали на себя всевозможные металлические украшения, но когда Юстасии предлагали яркую ленту и металлические побрякушки, она только смеялась и уходила прочь.

Почему такая женщина жила на Эгдонской пустоши? Ее родиной был Бедмут, в те годы фешенебельный курорт. Отцом ее был капельмейстер одного из расквартированных там полков, родом грек с острова Корфу и отличный музыкант. Со своей будущей женой он познакомился во время ее приезда туда с отцом, морским капитаном и человеком из хорошей семьи. Вряд ли отец одобрял этот брак, ибо средства жениха были столь же несолидные, как и его занятие. Но капельмейстер пошел навстречу всем его желаниям: принял фамилию жены, навсегда поселился в Англии, очень заботился о воспитании ребенка, расходы на которое оплачивал дед, и, в общем, преуспевал, как лучший музыкант города, вплоть до смерти жены, после чего преуспевать перестал, начал пить и вскоре тоже умер. Дочь осталась на попечении дедушки. Капитан к этому време-

ни, сломав себе три ребра при кораблекрушении, уже водворился на своем обдуваемом всеми ветрами насесте на Эгдонской пустоши; место ему понравилось, во-первых, потому, что усадьбу можно было приобрести почти задаром, а во-вторых, потому, что от самых дверей дома в просветах меж холмов виднелась на горизонте голубая полоска, которую по традиции считали Ламаншем. Девушка с отвращением отнеслась к этой перемене; на Эгдоне она чувствовала себя изгнанницей, но что делать — приходилось здесь жить.

Вот как получилось, что в мозгу Юстасии сложился самый странный набор впечатлений, почерпнутых из прошлого и из настоящего и налагавшихся друг на друга. В этом мире образов, в котором она жила, отсутствовала перспектива, там не было промежуточных расстояний. Романтические воспоминания о солнечных прогулках по эспланаде, о военных оркестрах, офицерах и светских щеголях отпечатывались, как золотые буквы, на темных страницах окружавшего ее Эгдона. Самые причудливые идеи, какие могут родиться из беспорядочного переплетения курортного блеска с торжественной печалью вересковой пустоши, жили в ее душе. Не видя людей и жизни вокруг себя, она тем более украшала в воображении то, что видела раньше.

Откуда бралось в ней отличавшее ее горделивое достоинство? Не из тайного ли наследия Алкиноева рода? Отец ее происходил с Феакийского острова... Или от Фиц-Аланов и де Веров? У ее деда по материнской линии был двоюродный брат, пэр Англии... Вернее всего, то был дар небес, счастливое сочетание естественных законов. Да кроме того, за последние годы ей и не представлялось случая уронить свое достоинство, ибо она жила одна. Одиночество на вересковых склонах лучше всякого стража хранит от вульгарности. У нее было не больше шансов стать вульгарной, чем у диких пони, летучих мышей и змей, населявших Эгдон. А жизнь в узком кругу Бедмута могла бы совершенно ее принизить.

Единственный способ выглядеть царицей, когда нет ни царств, ни сердец, коими можно повелевать, это делать вид, что царства тобою утрачены, — и Юстасия делала это в совершенстве. В скромном коттедже капитана она держалась так, что видевшим ее начинали вспоминаться дворцы, в которых сама она никогда не бывала. Может быть, это ей удавалось потому, что она так часто бывала во дворце, более обширном, чем все созданные человеческими руками, — на открытых холмах Эгдона. И точно так же, как Эгдон в летнюю пору, она была живым воплощением парадоксальной формулы: «населенное одиночество». Внешне столь равнодушная, вялая, молчаливая, она на самом деле всегда была занята и полна жизни.

Быть любимой до безумия — таково было ее величайшее желание. В любви она видела единственный возбудитель, способный прогнать снедающую скуку ее одиноких дней. Она жа-

ждала любви, но скорее — той абстракции, которую мы называем страстной любовью, чем какого-либо конкретного возлюбленного.

Иногда в ее глазах можно было прочесть горький упрек, но он был обращен не к людям, а к созданиям ее собственной фантазии и больше всего к Судьбе, чье вмешательство, как ей смутно представлялось, повинно в том, что любовь лишь на миг дается в руки быстротекущей юности и что всякая любовь, которую она, Юстасия, сможет завоевать, неизбежно ускользнет от нее вместе со струйкой песка в песочных часах. Чем чаще она думала об этом, тем больше утверждалось в ней сознание жестокости такого миропорядка, постепенно подготавливая ее к своевольным поступкам и пренебрежению условностями, к решимости урвать год, неделю, даже час любви, где только можно и пока это еще можно! Но случай не приходил ей на помощь, и она пела без веселья, владела без радости и затмевала других, не испытывая торжества. Уединение еще больше разжигало ее мечту. На Эгдоне даже самые холодные и скудные поцелуи доставались дорого, как кусок хлеба в голодный год; а где ей было найти губы, достойные коснуться ее губ?

Верность ради самой верности не имела в ее глазах той цены, какую придает ей большинство женщин, но верность сердца, безраздельно захваченного страстью, она ценила высоко. Пусть будет яркая вспышка и затем мрак, — это лучше, чем тусклый огонек в фонаре, которого хватит на долгие годы. Об этом она догадкой знала много такого, чему большинство женщин научается лишь из опыта, ибо мысленно она уже бродила вокруг любви, пересчитывала ее башни, заглядывала в ее дворцы и пришла к выводу, что любовь — это весьма горькая радость. И все же она ее жаждала, как блуждающий в пустыне жаждет глотка хотя бы и солоноватой воды.

Она часто молилась — не в положенные для того часы, но, как искренне верующий, тогда, когда ей хотелось. Молитва ее всегда выливалась прямо из сердца и часто звучала так: «О, изгони из моего сердца этот ужасный мрак и одиночество, пошли мне откуда-нибудь великую любовь, иначе я умру!»

Ее героями были Вильгельм Завоеватель, Страффорд и Наполеон Бонапарт, какими они изображены в «Истории для молодых девиц», по которой их учили в пансионе, где она воспитывалась. Будь она матерью семейства, она дала бы сыновьям такие имена, как Саул или Сисара, но не Иаков и не Давид, — те не вызывали у нее восхищения. Изучая в школе Библию, она во многих битвах становилась на сторону филистимлян и задумывалась порой, был ли Понтий Пилат так же красив, как справедлив и честен?

Таким образом, в этой девушке замечалась известная дерзость ума, а если вспомнить, среди каких робких мыслителей она возрастала, то и оригинальность, в основе которой лежало инстинктивное отвращение ко всему шаблонному и общеприня-

тому. К праздникам она тоже относилась довольно своеобразно: подобно тому как лошади, выпущенные на луг, с особым удовольствием поглядывают на своих собратьев, потеющих в упряжи на большой дороге, так и Юстасии собственный отдых был сладок только среди чужих трудов. Поэтому она ненавидела воскресенья, эти дни всеобщего отдыха, и часто говорила, что они загонят ее в гроб. Вид эгдонских жителей, когда они в воскресном своем обличье, то есть в свежесмазанных салом башмаках, не зашнурованных доверху (особый воскресный шик!), засунув руки в карманы, расхаживали среди куч торфа и вязанок дрока, нарезанных за неделю, и задумчиво поталкивали их ногой, как будто самое назначение этих предметов было им неизвестно, нескананно угнетал Юстасию. Чтобы разогнать скуку, она принималась наводить порядок в шкафах, пабитых старыми морскими картами капитана и прочим хламом, напевая при этом баллады, которые эгдонцы обычно пели на своих субботних вечеринках. А вечером в субботу она иной раз пела псалмы, и если уж читала Библию, то всегда в будни, чтобы, по крайней мере, быть спокойной, что делает это не по обязанности.

Такие взгляды на жизнь были в какой-то мере естественным результатом воздействия окружения на ее натуру. Жить на вересковой пустоши, не вдумываясь в то, что она может тебе сказать, это почти то же, что выйти замуж за иностранца, не изучив его языка. Тонкие красоты Эгдона оставались непонятны Юстасии; она видела только его туманы. Окрестности, которые счастливую женщину сделали бы поэтом, страдающую женщину — набожной, а набожную — псалмопевцем и даже ветреницу заставили бы задуматься, в этой бунтарке порождали лишь мрачное уныние.

Юстасия давно поняла тщетность своих мечтаний о каком-то блестящем браке; однако, как ни сильны были волновавшие ее чувства, она отвергала более скромные союзы. Поэтому мы застаем ее в столь странном уединении. Потерять богоподобную уверенность в том, что мы можем делать все, что хотим, и не усвоить, взамен ее, мирного стремления делать то, что мы можем, — это признак сильного характера, и вообще-то говоря возражать тут нечего, ибо в этом сказывается гордый ум, который, даже потерпев разочарование, не идет на компромисс. Однако такая настроенность, полезная в философии, будучи претворена в действие, может стать опасной для общества. А в таком мире, где для женщины действовать — значит выйти замуж, где самое общество в значительной мере покоится на этих союзах рук и сердец, подобная опасность тем более возрастает.

Таким образом, мы видим нашу Юстасию — ибо не всегда и не во всем она была недостойна сочувствия — достигшей той степени просвещенности, когда человек сознает, что ничто не стоит труда; и с этим сознанием в душе она заполняла досужие



свои часы тем, что идеализировала Уайлдива, за отсутствием лучшего предмета. В этом был весь секрет его власти над ней — и она сама это понимала. Иногда ее гордость возмущалась, она даже хотела быть свободной. Но только одно могло свергнуть его с престола — пришествие нового, более достойного властителя.

В остальном же она очень страдала от душевной подавленности и, чтобы ее развеять, предпринимала долгие медленные прогулки, всякий раз беря с собой дедушкину подзорную трубу и бабушкины песочные часы — последние потому, что находила странное удовольствие в том, чтобы постоянно иметь перед глазами это материальное выражение неуклонного бега времени. Она редко строила планы, но если уж случалось, то в ее расчетах бывала скорее широкая стратегия полководца, чем те маленькие хитрости, которые принято называть женственными; впрочем, и она не хуже других женщин умела выра-

жаться с достойной дельфийских оракулов двусмысленностью, когда не хотела сказать прямо. На небесах она, вероятно, заняла бы место между Элоизой и Клеопатрой.

ГЛАВА VIII

КОГО НАХОДИШЬ ТАМ, ГДЕ, ГОВОРЯТ, НИКОГО НЕТ

Как только истомившийся мальчуган отошел от костра, он крепко зажал монету в ладони, словно черпая в том мужество, и пустился бежать. Бояться ему, в сущности, было нечего; в этой части Эгдона можно было спокойно отпустить ребенка одного домой. До дома его отца было меньше полумили; этот домишко и еще один, несколькими ярдами дальше, составляли часть крохотного поселка на Мистоверском холме; третьим и последним был дом капитана Вэя, стоявший повыше и в стороне, — самое одинокое из всех одиноких жилищ на этих скудно населенных склонах.

Он бежал, пока не задохнулся, потом, успокоившись, побрел шагом, напевая старческим голоском песню о моряке и его милой и о золоте, которое ему в конце концов досталось. Но вдруг мальчуган остановился: впереди из песчаного карьера под обрывом исходил свет, вздымалось облако пыли и доносились шлепающие звуки.

Только неожиданное и необычное пугало мальчика. Сухой голос вереска его не тревожил, так как был для него привычным. Хуже было с кустами терновника, встававшими кое-где на его пути, — очень уж зловеще они посвистывали, да еще был у них скверный обычай прикидываться в темноте то выскочившим из засады буйнопомешанным, то припавшим к земле великаном, то уродливым калеккой. Огней в ту ночь много горело кругом, однако этот был не такой, как все. И мальчик, скорее из осторожности, чем от страха, решил вернуться и попросить мисс Юстасию, чтобы она послала служанку проводить его домой.

Снова поднявшись по склону, он увидел, что костер на валу все еще горит, хотя и не так ярко, как раньше. Но у костра вместо одинокой фигуры Юстасии виднелись теперь двое, и второй был мужчина. Мальчик бесшумно прокрался вдоль насыпи к тому месту, где они стояли, не решаясь сразу потревожить такое блистательное существо, как мисс Юстасия, ради своих собственных ничтожных надобностей. Несколько минут он постоял, притаившись во рву и прислушиваясь, потом в смущении отступил и удалился так же бесшумно, как и пришел, — очевидно, не посмел отрывать Юстасию от разговора с Уайлдивом из страха навлечь на себя ее неудовольствие.

Бедный малыш был теперь, так сказать, между Сциллой и Харибдой — возможным гневом Юстасии и теми странными яв-

лениями, которые подстерегали его на пути мимо песчаного карьера. Помедлив еще немного, он решил из двух зол избрать меньшее и с глубоким вздохом снова стал спускаться по склону и дальше по той же тропе, по которой шел раньше.

В овраге уже не было света, пыльное облако тоже исчезло — он надеялся, что навсегда. Он зашагал увереннее, и больше ничто его не тревожило, пока в нескольких шагах от карьера он не услышал впереди легкий шум, заставивший его замереть на месте. Но испуг его был мимолетным, так как в этом звуке он почти тотчас же различил хрупанье двух лошадок, усердно щиплющих траву.

— Ишь ты, два стригуна тут пасутся, — сказал он вслух. — А раньше вроде никогда так близко не подходили.

Лошади стояли прямо на тропе, но это мальчика не смутило, — он с младенчества привык играть у самых лошадиных ног. Но, подойдя ближе, он с удивлением увидел, что эти дикие создания не убегают и что у обоих на ногах путы, а это значило, что они обьежены. Отсюда мальчик уже мог заглянуть внутрь карьера, который был выкопан в откосе холма, так что с другой стороны к нему вела ровная дорога. В глубине он различил темные очертания фургона, обращенного к нему задом. В фургоне горел свет, отбрасывая движущуюся тень на противоположную отвесную стену выемки.

Мальчик подумал, что набрел на заночевавших тут цыган, и хотя он их побаивался, все же это бродячее племя возбуждало в нем скорее любопытство, чем ужас. Ведь только глиняная стена толщиной в несколько дюймов отделяла его самого и его семью от такого же бродяжнического состояния. Он поднялся по склону, обогнул издали карьер и снова подошел к краю, надеясь сквозь открытую дверь фургона разглядеть того, чья тень так причудливо шевелилась на стене.

То, что он увидел, привело его в смятение. Возле маленькой печурки внутри фургона сидел человек, красный с головы до ног. Он штопал чулок, такой же красный, как и он сам, и, штопая, вдобавок курил трубку, мундштук и чашечка которой тоже были красные.

В этот миг одна из лошадок, пасшихся в темноте, явственно заремела своими путами. Встрепенувшись от этого звука, охряник отложил чулок, зажег фонарь, висевший рядом на стене, и вышел из фургона. Вставляя огарок, он поднял фонарь к лицу, сверлил его глаз и белые, как слоновая кость, зубы так странно сверкнули среди окружающей красноты, что сердце у мальчика замерло. Теперь он слишком хорошо понимал, на чье логово наткнулся. По Эгдону, случалось, бродили существа страшнее цыган, и охряник был одним из них.

— Ох, лучше бы уж цыгане! — пробормотал он.

Охряник тем временем, осмотрев лошадей, уже шел обратно. И перепуганный мальчуган в своем стремлении скрыться сам себя выдал. Над краем карьера ковров нависал слой верес-

кового дерна и торфа. Мальчик торопливо шагнул, неверная почва подалась, и он скатился по откосу из серого песка прямо к ногам страшилища.

Красный человек открыл фонарь и направил его на распростертого мальчугана.

— Кто ты такой? — спросил он.

— Джонни Нонсеч, мистер!

— Что ты тут делал?

— Ничего.

— За мной, что ли, подглядывал?

— Да, мистер.

— Что это тебе вздумалось?

— Я шел домой от мисс Вэй... Мы там костер жгли.

— Ушибся?

— Нет.

— Ну как же нет, вон у тебя рука в крови. Идем ко мне под навес, я тебя перевяжу.

— Позвольте, я поищу свою монетку?

— Откуда у тебя монетка?

— Мисс Вэй мне дала за то, что я поддерживал ее костер.

Монета быстро отыскалась, и охряник пошел к фургону; мальчик затаив дыхание плелся сзади.

Из сумки со швейными принадлежностями охряник достал тряпицу, оторвал от нее лоскут, красный, как все остальное, и принялся перевязывать ранку.

— У меня голова закружилась, можно я сяду? — сказал мальчик.

— Садись, садись, бедняжка. Немудрено, что и закружилась, ишь ведь как ободрался. Сядь вон на тот узел.

Охряник кончил перевязку, и мальчик сказал:

— Я уж пойду домой, мистер.

— А что ты меня так боишься? Ты знаешь, кто я?

Мальчик с великим страхом оглядел кроваво-красную фигуру и наконец выговорил:

— Да.

— Ну кто же я, по-твоему?

— Вы... сам охряник! — пролепетал он.

— Верно. Только я ведь не один такой. Вы, малыши, думаете, что есть одна-единственная кукушка, одна лисица, один великан, один черт и один охряник, а всего этого куда как много.

— Да-а?.. Так вы не запрячете меня в мешок и не увезете с собой? Говорят, охряник иногда так делает.

— Экой вздор! Охряник продает охру, только и всего. Видишь, вон мешки в задку в фургоне? Думаешь, там мальчишек напихано? Нет, только красной краски.

— А вы и родились таким красным?

— Нет, после стал. А брошу это ремесло и опять стану белым, как ты, ну, не сразу, может, через полгода; рань-

ше не выйдет, потому эта краска в кожу въедается, за один раз не отмоешь. Ну, теперь не будешь больше бояться охряников?

— Не буду. Уилли Орчард говорит, он здесь третьего дня красный призрак видел,— может, это вы были?

— Я был тут третьего дня.

— Это вы делали тут такой пыльный свет?

— Ну да, я выбивал мешки. Значит, это вы с мисс Вэй жгли костер там, на горке? Я видел. Славно горел. А на что ей так костер понадобился, что она тебе за него даже монету дала?

— Не знаю. Я уж умирался, хотел домой, а она не пускала, говорила, подкладывай, а сама все ходила взад-назад к Дождевому кургану.

— И долго она этак прохаживалась?

— Пока лягушка не прыгнула в пруд.

Охряник вдруг насторожился.

— Лягушка? — переспросил он.— В эту пору лягушки в пруд не прыгают.

— А вот и прыгнула, я сам слышал.

— Наверняка?

— Да. Она мне еще раньше сказала, что я услышу, и я услышал. Говорят, она очень хитрая и колдовать умеет, так, может, она приколдовала эту лягушку.

— А потом что было?

— Потом я пошел сюда, да испугался и побежал назад. Но ей ничего не сказал, потому что там был джентльмен, и они разговаривали, и я опять пошел сюда.

— Джентльмен?.. Вот как! И что же она ему говорила?

— Говорила, что он не женился на другой, потому что свою прежнюю любит больше, ну и еще что-то.

— А он ей что сказал?

— Сказал, что верно, он ее любит больше и опять будет приходить к ней по вечерам на Дождевой курган.

— А! — вскричал охряник и так ударил ладонью по стенке, что весь фургон затрясся.— Вот в чем дело-то!

Мальчик от испуга привскочил на своем узле.

— Не бойся, малыш,— ласково сказал охряник, сразу успокоившись.— Я и забыл, что ты здесь. Мы, охряники, чудной народ, иной раз на минуточку сходим с ума, но мы никого не обижаем. А она что ему сказала?

— Не помню, мистер охряник, можно я уже пойду домой?

— Иди, сынок, бог с тобой. Я тебя немножко провожу.

Он вывел мальчика из карьера на тропу, которая шла к его дому. Когда маленькая фигурка растворилась в темноте, охряник вернулся, снова сел у печурки и продолжал штопать чулок.

ГЛАВА IX

ЛЮБОВЬ УЧИТ СТРАТЕГИИ

Охряники старой школы стали теперь редкостью. После введения железных дорог уэссекские фермеры научились обходиться без этих мефистофелеподобных посредников и другими путями добывать яркую краску, которую так широко применяют пастухи, готовя своих овец к ярмарке. Да и те охряники, что еще уцелели, ведут уже не такой поэтический образ жизни, как в прежние времена, когда занятие этим ремеслом означало периодические паломничества к рудникам, где они запасались материалом, ночевки под открытым небом почти круглый год, кроме разве самых холодных зимних месяцев, и странствия по доброй сотне ферм, где они продавали свой товар; когда, несмотря на эту кочевую жизнь, охряник сохранял респектабельность, которую ему обеспечивал туго набитый кошелек.

Охра сообщает свой яркий колер всему, с чем соприкасается, и отмечает как бы каиновой печатью всякого, кто полчаса с ней возился.

В жизни каждого ребенка первая встреча с охряником была событием. Эта кроваво-красная фигура представляла ему как живое воплощение всех страшных снов, всех ужасов, когда-либо терзавших его юное сознание. «Вот охряник за тобой придет!» — так уэссекские матери много поколений подряд грозили непослушным детям. В начале нынешнего столетия охряника с успехом заменил Бонапарт, но когда с течением времени эта новая угроза выдохлась и потеряла силу, старая вновь обрела могущество. А теперь и охряник, вслед за Бонапартом, ушел в страну забытых пугал, и место их заняли более современные измышления.

Охряник жил, как цыган, но цыган он презирал. Он выручал примерно столько же, как разъезжие продавцы плетеных корзин и циновок, но не вступал с ними в общение. Он обычно происходил из более достаточной семьи и рос в лучших условиях, чем погонщики скота, с которыми постоянно сталкивался во время своих скитаний, но они только кивали ему при встрече. Товар у него был более ценный, чем у коробейников, но сами они так не думали и проходили мимо его фургона, не оглядываясь. Краска придавала ему столь неестественный вид, что владельцы каруселей и паноптикумов выглядели рядом с ним франтами, но он считал их дурным обществом и с ними не знался. Он постоянно находился среди этого оседлого и бродячего населения дорог, но к нему не принадлежал. Его занятие как бы отъединяло его от людей, и он почти всегда был один.

Многие утверждали, что в охряники идут злодеи, натворившие преступлений, за которые пострадали невинные; укрываясь от закона, они не могут укрыться от собственной совести и берутся за это ремесло во искупление своих грехов. А иначе

зачем бы они его выбрали? В данном случае такой вопрос был особенно уместен. Ибо охряник, появившийся в этот вечер на Эгдонской пустоши, представлял собой яркий пример бессмысленной жертвы: тут красота и привлекательность пошли на создание уродства, хотя для этой цели в равной мере годилось бы и безобразие. В сущности, единственной его отталкивающей чертой была окраска. Без нее это был бы очень приятный собой, славный деревенский парень. Наблюдатель, достаточно проницательный, пожалуй, склонился бы к мысли, отчасти справедливой, что он отказался от прежнего своего положения просто потому, что утратил к нему интерес. А приглядевшись внимательнее, вероятно, уяснил бы себе и основные черты его характера — добродушие и сметливость, живую и острую, но чужду лукавства.

Сейчас, штопая чулок, он сидел с посуровевшим от напряженной мысли лицом. Потом это выражение сменилось более мягким, и, наконец, лицо его осветилось грустной нежностью, как тогда, когда он в сумерках шел за своим фургоном по большой дороге. Вскоре игла его остановилась. Он отложил чулок, поднялся и снял с крючка в углу небольшой кожаный мешочек. В этом мешочке, вместе со всякой мелочью, хранился маленький плоский пакет в оберточной бумаге; края его были истертые и слипшиеся, — видно, его часто развертывали и снова бережно складывали. Охряник опять сел на свой трехногий табурет — один из тех, что употребляют при дойке коров, и единственное седалище в его фургоне, — вынул из пакета старое письмо, разглядел его. Когда-то это письмо было написано на белой бумаге, но она давно уже стала бледно-красной, и черные строчки выделялись на ней, как голые веточки зимней изгороди на алом закатном небе. В конце письма стояла дата — два года назад — и подпись: «Томазин Ибрайт». Вот что было в нем написано:

«Дорогой Диггори Венн! Вопрос, который ты мне задал, когда нагнал меня возле пруда, был для меня такой неожиданностью, что, боюсь, я не сумела толком ответить. Если бы тетя меня не встретила, я, конечно, сразу бы все объяснила, но тут уж не было времени. И с тех пор я все беспокоюсь; не хочу тебя огорчать, но, боюсь, придется, потому что сейчас я скажу совсем не то, что тебе тогда показалось. Диггори, я не могу выйти за тебя замуж и не могу позволить, чтобы ты называл меня своей милой. Право же, это нельзя, Диггори. Не сердись на меня и не горюй, мне больно думать, что я тебя огорчаю, потому что я тебя очень люблю и всегда считала тебя наравне с моим братом Клаймом. Причин, почему нам нельзя жениться, так много, что в письме не перечислишь. Когда ты пошел за мной, я никак не ожидала, что ты об этом заговоришь, потому что никогда не думала о тебе как о своем поклоннике. И не обижайся на меня за то, что я тогда засмеялась, не подумай, что

я смеялась над тобой,— нет, совсем не над тобой, а просто потому, что самая эта мысль — стать твоей женой — показалась мне такой нелепой. Главная причина, почему я не разрешаю тебе за мной ухаживать, это что я не чувствую к тебе того, что должна чувствовать женщина к человеку, за которого соглашается выйти замуж. Ты, может быть, думаешь, что у меня есть другой, но это неверно, никого у меня нет и никогда не было. Вторая причина — это моя тетя. Она бы все равно не согласилась, даже если б я хотела за тебя выйти. Она очень расположена к тебе, но прочит меня не за мелкого фермера, а за кого-нибудь повыше, учителя или адвоката. Надеюсь, ты не возненавидишь меня за то, что я пишу так откровенно, но иначе ты, пожалуй, опять стал бы искать встречи со мной, а нам лучше не видеться. Я всегда буду думать о тебе как о добром, хорошем человеке и желать тебе всякого благополучия. Посылаю тебе это письмо с дочуркой Джени Орчард. И остаюсь, Диггори,

твой верный друг *Томазин Ибрайт*.
Мистеру Венну, на молочную ферму».

С того давнего осеннего утра, когда пришло это письмо, Диггори и Томазин не виделись. За это время пропасть между ними еще углубилась; если раньше он был ей не ровня, то теперь тем более, хотя его достатки и сейчас были не так малы. Принимая во внимание, что траты его составляли только четверть доходов, его вполне можно было назвать зажиточным человеком.

Отвергнутых любовников так же тянет вдаль, как роящихся пчел; и новое занятие, которому Венн с горя предался, во многих отношениях пришлось ему по душе. Но бывая любовь нередко направляла его блуждания в сторону Эгдонской пустоши, хотя он никогда не пытался увидеть ту, которая его туда влекла. Ходить по тому же вереску, что она, быть вблизи от нее было его единственной заветной радостью.

Но происшествия последнего дня и маленькая услуга, которую ему довелось оказать ей в тяжелую для нее минуту, так его взволновали, что он поклялся отныне всеми силами охранять ее и защищать, вместо того чтобы, как до сих пор, вздыхать и держаться в отдалении. После всего случившегося он, конечно, не мог не усомниться в честных намерениях Уайлди-ва. Но она-то, по-видимому, все свои надежды сосредоточила на нем — так что ж, пусть будет счастлива по-своему, и он, Диггори, ей в этом поможет. Ему самому это сулило еще горшие страдания, но любовь охряника была великодушной.

Свой первый шаг в защиту интересов Томазин он предпринял на следующий день около семи часов вечера. Услышав от мальчика о тайном свидании Юстасии с Уайлдивом, он тотчас заключил, что она-то и была каким-то образом повинна в рас-

стройстве свадьбы. Ему не пришло в голову, что свой призывный сигнал она зажгла только под влиянием вестей, полученных от дедушки, что это была вспышка прежних чувств в покинутой любовнице. Он видел в ней не препятствие, существовавшее уже заранее, но активную силу, злоумышляющую против счастья Томазин.

Весь день ему очень хотелось узнать, что с Томазин, но он не решился постучать в дом, ставший для него чужим, тем более в такую неприятную для его обитателей минуту. Он занялся тем, что перевел своих пони и фургон на новую стоянку, к востоку от прежней, и выбрал для нее уголок, хорошо защищенный от дождя и ветра, из чего можно было заключить, что он рассчитывает пробыть здесь долго. Затем пошел пешком обратно по той же дороге, по которой приехал, а когда сумерки сгустились, свернул налево и вскоре уже стоял за кустом остролиста, всего шагах в двадцати от Дождевого кургана.

Он ждал, что они снова придут сюда, но ждал напрасно. В этот вечер никто, кроме него, не приближался к Дождевому кургану.

Это его не смутило. Он и раньше бывал в положении Тантала и принимал как закон, что некоторая доля разочарования всегда предшествует удаче; его бы скорее встревожило, если бы все удалось с первого раза.

Назавтра в тот же час он опять стоял на своем посту, но должоданные Юстасия и Уайлдив не появлялись.

Точно так же он поступал еще четыре ночи подряд, и все безуспешно. Но на пятую ночь, ровно через неделю после первого их свидания, он заметил тень женщины, проскользнувшую по окраине холма, и силуэт мужчины, поднимавшегося снизу, от дороги. Они сошлись в неглубоком ложке, окаймлявшем курган, — той выемке, откуда древние жители брали землю, насыпая свой могильник.

Возбуждаемый подозрением, что здесь куются козни против Томазин, охряник немедленно приступил к действиям. Он покинул свое укрытие и пополз вперед на четвереньках. Но когда он подкрался так близко, как только мог без риска быть обнаруженным, оказалось, что ветер относит голоса и разговора ему все-таки не слышно.

Возле него и всюду по склопу валялись нарезанные пласты дерна, которые Тимоти Фейрузэй должен был вывезти до снега. Иные были поставлены на ребро, другие перевернуты вверх изнанкой. Не вставая с земли, Диггори навалил на себя два ближайших, так что один прикрыл его плечи и голову, другой — спину и ноги. Теперь его и при дневном свете никто бы не разглядел; лежавшие на нем дернины вереском кверху имели вид обыкновенных кочек. Он снова пополз, и дерн полз вместе с ним. Возможно, в сумерках его и так бы не заметили, но сейчас он словно прокапывал себе ход под землей и подобрался почти вплотную к стоящим возле кургана.

— Хочешь посоветоваться со мной? — донесся до его слуха звучный и властный голос Юстасии. — Со мной?.. Это низость с твоей стороны. Не стану больше это терпеть! — Она заплакала. — Я любила тебя и не скрывала своих чувств, себе на беду, а теперь ты приходишь и так вот, холодно, говоришь, что хочешь посоветоваться со мной, не лучше ли тебе жениться на Томазин? Ну конечно, лучше. Женись на ней; она куда больше пара тебе, чем я.

— Ну ладно уж, ладно, — нетерпеливо ответил Уайлдвиг. — Надо все-таки смотреть правде в глаза. Пусть я во всем виноват, но сейчас ее положение гораздо хуже твоего. Я просто говорю тебе, что не знаю, как быть.

— Но ты не смеешь мне это говорить! Неужели ты не видишь, что только мучаешь меня?.. Это не деликатно, Дэймон; ты очень упал в моем мнении. Ты не сумел оценить мою любезность — любезность женщины, которая снизошла до тебя, хотя мечтала не о таком будущем. Но это вина Томазин. Она сманила тебя, так пусть же и страдает за это. Где она сейчас? И не надейся, что я ее пожалею, когда мне и себя не жаль. Если бы я умерла, сгинула бы совсем, то-то бы она обрадовалась!.. Где она, я спрашиваю?

— Она сейчас у тетки, заперлась в спальне и никого не хочет видеть.

— А по-моему, ты и сейчас ее не любишь! — с внезапным весельем воскликнула Юстасия. — Иначе не говорил бы о ней так равнодушно. А может, ты так же равнодушно говоришь с ней обо мне? Наверно! Но как ты вообще мог меня бросить? Этого я тебе никогда не прощу. Или нет, прощу, но с одним условием: что всякий раз, как ты вздумаешь меня покинуть, ты будешь опять возвращаться ко мне и каяться в своем поступке.

— Я вовсе не хочу тебя покидать.

— Но благодарности за это от меня не жди. Ненавижу, когда все идет гладко. Даже лучше, если ты будешь время от времени мне изменять. Любовь страшная скука, если любовник всегда верен. Стыдно так говорить, но ведь это правда! — У нее вырвался тихий смешок. — От одной мысли об этом меня уже тоска берет. Не предлагай мне спокойной любви, а то я тебя прогоню!

— Если б хоть Тамзи была не такой славной девочкой! — вздохнул Уайлдвиг. — Тогда я мог бы остаться верным тебе, не обижая хорошего человека. Все-таки я негодай и мизинца вашего не стою, ни твоего, ни Тамзиного!

— Но ты не должен жертвовать собой из какого-то чувства справедливости, — живо возразила Юстасия. — Если ты не любишь ее, самое милосердное — ее оставить. Для всех будет полезнее. Ну вот я сказала жестокую вещь. Когда ты со мной, всегда такого наговорю, что потом злюсь на себя.

Не отвечая, Уайлдвиг прошелся взад-вперед по вереску. Наступившее молчание было заполнено свистом ветра в острижен-

ном кусте терна, росшего чуть поодаль, неподатливые ветви которого были как бы решетом. Казалось, ночь поет похоронную песню сквозь сжатые зубы.

— С тех пор как мы виделись, мне уже приходило в голову, что, может быть, ты вовсе не из любви ко мне на ней не женился. Скажи мне, Дэймон; я постараюсь с этим примириться. Я тут была ни при чем?

— Ты требуешь, чтобы я сказал?

— Да, мне нужно знать. Я вижу, что слишком верила в свои силы.

— Ну, первой причиной было то, что разрешение на брак оказалось недействительным, а прежде, чем я успел выправить другое, она убежала. Пока что ты была ни при чем. А потом мне не понравилось, как ее тетка со мной разговаривала.

— Да, да! Я ни при чем, я ничто. Ты только играл со мной. Боже мой, да из чего же я сделана, я, Юстасия Вэй, если после этого еще думаю о тебе!

— Ну-ну, не надо так горячиться... Юстасия, помнишь, как мы бродили среди этих кустов прошлым летом, когда спадала жара и тень от холмов заполняла ложбины и укрывала нас от чужого взгляда?

Она помолчала, потом ответила:

— И как я смеялась над тобой за то, что ты осмелился поднять взор на меня. Но ты с лихвой отплатил мне за это.

— Да, ты жестоко обращалась со мной, пока я не нашел другую, получше. Это было моим спасеньем, Юстасия.

— Ты и сейчас думаешь, что она лучше?

— Как когда. Смотря по настроению. Чашки весов стоят так ровно, что пушинка может склонить либо ту, либо другую.

— И тебе все равно, приду я к кургану или не приду?

— Нет, не все равно, но не настолько, чтобы это нарушило мой покой,— лениво ответил Уайлдвиг.— Нет, дорогая, это все кончено. Я теперь вижу два цветка там, где раньше видел только один. А может, их три, или четыре, или еще больше, и все не хуже первого... Странная у меня судьба. Кто бы подумал, что со мной этакое приключится?

Она перебила его со сдержанной страстностью, которая могла равно вылиться и в любовь и в гнев:

— Но сейчас-то, сейчас ты меня любишь?

— Бог весть!

Юстасия продолжала с оттенком грусти:

— Отвечай, я хочу знать.

— И да и нет,— уже с явной издевкой ответил он.— То есть, опять-таки, как поглянется. Иногда ты мне кажешься слишком высокой, иногда чересчур ленивой, или слишком печальной, или чересчур смуглой, а суть-то одна: ты для меня уже не всё на свете, как это было раньше. Но мне, конечно, льстит знакомство с такой благородной дамой, и встречаться с тобой приятно, и миловаться сладко — почти по-прежнему.

Она долго молчала, отвернувшись, потом сказала — и в голосе ее была затаенная сила:

— Я ухожу — и вот моя дорога.

— Что ж, пожалуй, и я пойду с тобой.

— Да, потому что ты не можешь иначе, несмотря на все твои настроения и колебания, — ответила она с вызовом. — Что бы ты ни говорил, что бы ни делал, как бы ни старался порвать со мной, ты меня никогда не забудешь. Всю жизнь будешь меня любить. И с радостью бы на мне женился.

— Верно, — сказал Уайлдвиг. — Ах, Юстасия, какие странные мысли меня порой одолевают! Вот и сейчас тоже. Ты не видишь Эгдон, я знаю.

— Да, — глухо отозвалась она. — Это мой крест, моя мука и будет моей погибелью!

— Я тоже его ненавижу, — сказал Уайлдвиг. — Как унывно шумит ветер вокруг нас!

Она не ответила. И в самом деле, вся окрестная тьма была полна угрюмых, таинственных голосов. Сложные звучания доносились со всех сторон; казалось, можно было ухом увидеть все особенности соседних мест. Из темноты возникали слуховые картины; слышно было, где начинается вереск и где он кончается; где еще высятся прямые, жесткие стебли дрока и где они были недавно срезаны; в каком направлении лежит островок елей и далеко ли до лощины, где растут падубы. Ибо каждый элемент ландшафта имел свой голос, так же как свой цвет и форму.

— Боже, какая пустыня! — продолжал Уайлдвиг. — Что нам все эти живописные овраги и туманы, когда мы ничего другого не видели? Зачем мы тут остаемся? Слушай, поедешь со мной в Америку? У меня есть родня в Висконсине.

— Это надо обдумать.

— Кто может быть счастливым здесь, кроме диких птиц и пейзажистов? Ну как, поедешь?

— Дай мне время, — мягко сказала она, беря его за руку. — Америка так далеко. Ты проводишь меня немножко?

Говоря это, она отошла от подножья кургана, Уайлдвиг последовал за ней, и дальнейшего их разговора охряник уже не слышал.

Он сбросил дернины и встал. Над краем холма вычертились на небе две черных фигуры, потом исчезли — как будто Эгдон, словно гигантская улитка, выпустил два рога и снова их втянул.

Когда охряник вслед за тем спустился в долину и дальше, в тесный лог, где он запрятал свой фургон, его походка была далеко не такой бодрой, как можно было ожидать от легкого на ногу двадцатичетырехлетнего парня. Он был растревожен до боли. Ветер, овевавший его лицо, уносил с собой какие-то невнятные угрозы и обещания небесной кары.

Он вошел в фургон, где в печурке еще тлели угли. Не зажигая свечи, он опустил на свою трехногую скамейку и снова

стал перебирать в уме все, что только что видел и слышал. Наконец из груди его вырвался звук, который не был ни вздохом, ни рыданием, но еще больше, чем рыдание или вздох, говорил о мучительном беспокойстве.

— Тамзи моя! — горестно прошептал он. — Что тут можно сделать?.. Повидаюсь-ка я все-таки с этой Юстасией Вэй.

ГЛАВА X

БЕЗНАДЕЖНАЯ ПОПЫТКА

На следующее утро, когда солнце, с какой бы точки Эгдона на него ни поглядеть, стояло еще очень низко по сравнению с высотой Дождевого кургана, а все мелкие пригорки, испещрявшие более ровную часть пустоши, казались россыпью островов в Эгейском море тумана, охряник вышел из-под шатра ежевики в разлоге, где устроил себе пристанище, и стал взбираться по склонам МистOVERского холма.

Как ни пустынно на вид были эти косматые взгорья, множество любопытных круглых глаз всегда готовы были обратиться к путнику, проходившему здесь ясным зимним утром. В зарослях гнездились всевозможные породы пернатых, причем и такие, что где-нибудь в другом месте их появление вызвало бы сенсацию. Здесь жила дрофа, и всего несколько лет назад их, случалось, встречали на пустоши до двадцати сразу. Болотный лунь выглядывал из камышей за домом Уайлдива. Песчаный бегунок ежегодно посещал МистOVERский холм — птица столь редкая, что ее не больше десяти раз наблюдали в Англии; но какой-то варвар не знал покоя ни днем ни ночью, пока не застрелил этого африканского бродягу, и с тех пор песчаные бегунки остерегались показываться на Эгдонской пустоши.

Кто наблюдал этих перелетных гостей так близко, как сейчас Диггори, тот как бы вступал в непосредственное общение с неизвестными человеку областями. Прямо перед ним сидела дикая утка, только что прибывшая с родины северного ветра. Эта пичуга несла в себе целую сокровищницу северных былей. Ледовые обвалы, снежные бури, сверкающие сполохи, Полярная звезда в зените, Франклин под ногами, фантастическая картина для нас, — для нее была повседневностью. Но сейчас, поглядывая на Венна, она, казалось, думала, как и многие другие философы, что одна минута мирного довольства в настоящем стоит десяти дней грандиозных воспоминаний.

Венн проходил мимо всех этих тварей, направляясь к дому одинокой красавицы, которая жила среди них и их презирала. День был воскресный, но так как эгдонцы редко хаживали в церковь, кроме как на свадьбу или похороны, то это не составляло разницы. Диггори принял смелое решение повидаться с

мисс Вэй и то ли хитростью, то ли с бою поколебать ее положение как соперницы Томазин, в чем и проявил явный недостаток галантности, характерный для подавляющего большинства мужчин, от мужланов до королей. Фридрих Великий, воюя с очаровательной эрцгерцогиней, или Наполеон, утесняя прекрасную королеву Пруссии, выказывали не большую нечувствительность к разнице полов, чем сейчас Диггори, замышляя ниспровержение Юстасии.

Посещение капитанского дома всегда было целым предприятием для более скромных жителей Эгдона. Сам капитан мог при случае и посмеяться с вами и поболтать, но у него раз на раз не приходилось, и нельзя было сказать сегодня, как он встретит вас завтра. Юстасия всегда была замкнутой и держалась особняком. Кроме служанки, дочери одного из поселян, и паренька, который работал в саду и на конюшне, редко кто переступал их порог. Они были единственными аристократами во всей округе, если не считать Ибрайтов, и хотя сами далеко не богатые, не видели надобности выказывать дружелюбие ко всякому человеку, птице и зверю, как это делали их смиренные бедняки-соседи.

Когда охряник вошел в сад, капитан рассматривал в подзорную трубу синюю полоску на горизонте, и якорьки на его пуговицах поблескивали на солнце. Он узнал в Диггори своего вчерашнего попутчика, но, не упоминая об этом, сказал только:

— А, охряник! Пришел? Выпьешь стаканчик грога?

Венн отклонил эту любезность на том основании, что еще рано, и объяснил, что имеет дело к мисс Вэй. Капитан обмерил его взглядом от картуза до жилета и от жилета до краг и наконец пригласил зайти в дом.

Там ему сказали, что мисс Вэй сейчас видеть нельзя, и он приготовился ждать, усевшись в кухне на скамейке и свесив руки с картузом меж разведенных колен.

— Барышня, наверно, еще не встала? — спросил он погоду служанку.

— Да не совсем еще. В такой час не принято к дамам ходить.

— Ну так я выйду, — сказал Венн. — Если она захочет меня видеть, пусть пошлет сказать, и я сейчас же приду.

Он вышел из дому и стал бродить по прилежащему склону. Время шло, а его все не звали. Он уже было решил, что затея его не удалась, как вдруг увидел Юстасию, неторопливо, как бы гуляючи, идущую к нему. Мысль, что этакая курьезная фигура ищет свиданья с ней, показалась ей забавной и выманяла ее из дому.

Но с первого же взгляда на Диггори Венна она почувствовала, что и дело у него к ней не совсем обычное, и сам он не так прост, как ей думалось, — ибо он не корчился и не переступал с ноги на ногу и не выказывал ни одного из тех медких признаков смущения, которые невольно проскальзывают у деревенско-

го неотесы в присутствии женщины более высокого круга. Он спросил, можно ли с ней поговорить, она уронила в ответ:

— Хорошо, можете пойти со мной,— и продолжала прогулку.

Но уже через несколько шагов пронизательный охряник особразил, что не следовало ему держаться так независимо, и решил при первом же случае исправить ошибку.

— Я взял на себя смелость, мисс, прийти к вам, чтоб рассказать, какие до меня дошли слухи об одном человеке.

— Да-а? О каком человеке?

Он показал локтем на северо-восток — в сторону гостиницы.

Юстасия быстро повернулась к нему.

— Вы имеете в виду мистера Уайлдива?

— Да. Тут в одной семье из-за него неприятности, я и надумал вам сказать, потому что вы, я считаю, можете отвести от них беду.

— Я?.. Какую беду?

— Они пока это в секрете держат. Дело в том, что он, того и гляди, совсем откажется ~~жениться~~ жениться на Томазине Ибрайт.

Юстасия, хотя в ней и дрожала каждая жилка, сумела выдержать роль. Она холодно ответила:

— Я не хочу ничего об этом слышать, и вы не должны рассчитывать на мое вмешательство.

— Но одно-то словечко, мисс, еще выслушаете?

— Нет. Мне дела нет до этой свадьбы, а если бы и было, я не могу заставить мистера Уайлдива слушаться моих приказаний.

— А по-моему, вы могли бы, вы же единственная настоящая леди в наших краях,— с мудрой непрямотой ответил Венн.— Вот как сейчас обстоит дело. Мистер Уайлдив немедля бы женился на Томазине и все бы уладил, кабы не замешалась тут другая женщина. Как-то он с ней познакомился, и, кажется, они до сих пор встречаются на пустоши. Он на ней никогда не женится, но из-за нее может не жениться и на той, которая любит его всем сердцем. Ну, а если бы вы, мисс,— вы же имеете такое влияние на нашего брата мужчин,— если бы вы настояли, чтоб он эту другую оставил и поступил бы по-честному с вашей молоденькой соседкой Томазине, он бы, пожалуй, так и сделал, и не пришлось бы ей, бедной, так горевать.

— Ах, боже мой! — воскликнула Юстасия со смехом, открывшим ее губы, так что солнце заглянуло в них, как в чашечку тюльпана, и наполнило таким же пурпуровым огнем.— Право же, охряник, вы преувеличиваете мое влияние на мужчин. Будь у меня такая власть, я бы тотчас обратила ее на пользу кому-нибудь, кто мне друг, чем Томазине Ибрайт, насколько я знаю, никогда не была.

— Неужто вы правда не знаете, что она на вас прямо молится?

— Никогда об этом не слышала. Хотя мы живем всего в двух милях друг от друга, мне не случалось бывать в доме ее тетки.

По ее надменному тону Диггори понял, что его тактика пока что не имела успеха. Он мысленно вздохнул и решил выдвинуть свой второй довод.

— Ну, не будем об этом, но поверьте мне, мисс, есть в вас такая сила, что вы можете много добра сделать другой женщине.

Она потрясла головой.

— Ваша красота — закон для Уайлдива. Она закон для всех мужчин, какие вас видят. Они говорят: «Вот какая красивая идет, как ее звать-то? До чего хороша!» Куда лучше Томазин Ибрайт! — настаивал он, добавив про себя: «Прости мне, господи, эту ложь!» Она и в самом деле была лучше, но этого Диггори не видел. Красота Юстасии временами словно затаивалась, а у охрянника глаз был неискушенный. Сейчас, в зимней одежде, она походила на тигрового жука, который при слабом освещении кажется серым и неприметным, но под сильным лучом света вспыхивает ярчайшими красками.

Юстасия не удержалась от ответа, хотя и сознавала, что роняет этим свое достоинство.

— Есть много женщин красивее Томазин, — сказала она, — так что это не бог знает какой комплимент.

Венн молча стерпел обиду и продолжал:

— А он на женскую красоту зорек, вы его могли бы как лозинку завить, только бы захотели.

— Уж если она не смогла, бывая с ним постоянно, так где же мне, когда я живу здесь и с ним даже не вижу?

Охряник резко повернулся и глянул ей прямо в лицо.

— Мисс Вэй! — сказал он.

— Почему вы так это сказали — словно мне не верите? — Голос ее упал и дыханье пресеклось. — Еще смеете говорить со мной в таком тоне! — добавила она, сияясь надменно усмехнуться. — Что вам пришло в голову?

— Мисс Вэй, почему вы притворяетесь, будто не знаете этого человека? То есть я понимаю почему. Он ниже вас, и вам стыдно.

— Вы ошибаетесь. Что все это значит?

Охряник решил играть в открытую.

— Я вчера был возле Дождевого кургана и все слышал, — сказал он. — Женщина, что стала между Уайлдивом и Томазин, — это вы.

Для нее это было, как если бы вдруг развернулся занавес и она оказалась открыта всем взглядам в горьком своем унижении, как выставленная нагою напоказ жена Кандавля. Уже не было сил сдерживать трепет губ и подавить возглас изумления.

— Мне нездоровится, — торопливо проговорила она. — Нет, не то... Я не в настроении слушать вас. Оставьте меня.

— Мисс Вэй, я должен говорить, хоть, может, и сделаю вам больно. Я вот что хочу сказать. Кто тут ни виноват — она ли, вы ли, ей все-таки сейчас куда труднее, чем вам. Если вы бросите мистера Уайлдива, это будет для вас только выигрыш, потому что не пойдете же вы за него замуж? А ей так легко не выпутаться, — все ее осудят, если жених от нее сбежит. Вот я и прошу вас — не потому, что у нее прав больше, а потому, что ее положенне хуже, — уступите его ей.

— Нет, нет, ни за что! — пылко вскричала она, совсем забыв о своих недавних стараниях говорить с охрянником, как с низшим. — Какое неслыханное оскорбление! Все шло хорошо — и вдруг мне велят смириться, да еще перед таким ничтожеством! Очень мило, что вы ее защищаете, но разве не сама она виновата в своем несчастье? Выходит, я никому не смею выказать расположения, не спросясь сперва у кучки безграмотных мужиков? Она пыталась отбить его у меня, а теперь, когда справедливо за это наказана, подсылает вас просить за нее!

— Клянусь вам, — с жаром перебил ее Венн, — она ничего об этом не знает. Я сам, от себя, прошу вас с ним расстаться. Этак лучше будет и для нее и для вас. Люди станут нехорошее говорить, если узнают, что благородная барышня тайком встречается с человеком, который так избил другую женщину.

— Я ей зла не делала; он был моим, когда о ней еще и не помышлял. А потом вернулся ко мне, потому... потому, что меня любил больше!.. — выкрикнула она вне себя. — Но я теряю всякое самолюбие, оправдываясь перед вами... Чего я тут паговорила!..

— Я умею хранить тайны, — мягко сказал Венн. — Не бойтесь. Кроме меня, никто не знает о ваших свиданьях. Еще только одно — и я уйду. Вчера я слышал, вы как будто ему сказали, что вам противно здесь жить, что Эгдон для вас тюрьма?

— Сказала. Эти места довольно красивы, я знаю, есть какое-то обаяние, но я здесь как в тюрьме. И этот человек, о ком вы упоминали, он не спасает меня от этого чувства, хотя живет здесь. Я бы о нем и не думала, найдись тут кто-нибудь лучше.

Охрянник оживился; после этих слов его третий довод, который он пока что приберегал, уже не казался таким безнадежным.

— Ну вот, мисс, — начал он с запинкой, — мы теперь немножко открылись друг другу, и я скажу, что хотел вам предложить. С тех пор как я стал торговать охрой, мне много приходится разъезжать, как вам известно.

Она слегка наклонила голову и повернулась так, что перед глазами у нее была лежавшая глубоко внизу затопленная туманом долина.

— И во время моих разъездов я часто бываю возле Бедмута. Ну, а Бедмут чудесное место — прямо-таки чудесное, морская ширь блещет на солнце и дугой вдается в берег, и тысячи на-

рядных людей гуляют по эспланаде, оркестры играют, и морских офицеров там встретишь и сухопутных, и на каждые десять встречных девять в кого-нибудь влюблены.

— Знаю,— презрительно сказала она.— Я лучше вас знаю Бедмут. Я там родилась. А мой отец приехал из-за границы и был там военным музыкантом. Ах, боже мой! Бедмут!.. О, если б мне сейчас быть там!

Охряника поразила эта неожиданная вспышка скрытого огня.

— И ежели бы вы там очутились, мисс,— сказал он,— вы через неделю даже не думали бы об Уайлдиве — не больше чем об одном из стригунов, что вон там пасутся. Так вот, я могу это устроить.

— Как? — спросила Юстасия с жадным любопытством, вдруг сверкнувшим в ее обычно полусонных глазах.

— Мой дядя двадцать пять лет был доверенным лицом у одной богатой вдовы, у которой есть там отличный дом на самом берегу, окнами на море. Теперь она уже старая и хромая, и ей нужна молодая компаньонка, чтобы могла ей читать и петь, но она еще никого не нашла себе по душе, хотя помещала объявления в газетах и уже перепробовала с полдесятка. А вам она будет рада-радехонька, и мой дядя все устроит.

— Но там, может быть, работать придется?

— Да нет, настоящей работы никакой — так, почитать, поговорить... И потребуетесь вы ей только после Нового года.

— Я так и знала, что это работа,— сказала она, снова поникнув.

— Ну, иной раз, может, придется немножко похлопотать, сделать что-нибудь для ее развлечения... Бездельник, пожалуй, назовет это работой, но рабочий человек — игрой. Зато подумайте, какая у вас будет жизнь, мисс, сколько интересного увидите и замуж выйдете за джентльмена. Она велела дяде поискать какую-нибудь достойную барышню из усадьбы, городских она не любит.

— Ну да, это значит из кожи лезть, чтобы ей угодить. Нет, не поеду. О, если бы я могла жить в шумном городе, как прилично даме, быть сама себе госпожой, делать, что хочу,— за это я всю вторую половину жизни бы отдала. Пусть умру молодой, только бы так пожить!

— Помогите мне сделать Томазин счастливой, мисс, и у вас будет шанс,— еще раз попытался уговорить ее Венн.

— Шанс!.. Никакой это не шанс,— с презрением бросила она.— Да и что, в самом деле, может мне предложить такой бедняк, как вы? Я иду домой. И больше мне нечего сказать. А вам разве не нужно кормить лошадей, или штопать мешки, или искать покупателей на ваш товар, что вы тут попусту тратите время?

Венн не проронил больше ни слова, только отвернулся, чтобы она не увидела горечи разочарования на его лице, и, зало-

жив руки за спину, пошел прочь. Ясность ума и сила, которые он нашел в этой одинокой девушке, с первых же минут разговора поколебали в нем надежду на успех. Зная, как она молода и в какой глуши до сих пор жила, он ожидал встретить деревенскую простушку, для которой вполне годились бы его приманки. Но то, что могло соблазнить более слабых, только оттолкнуло Юстасию. А меж тем для жителей Эгдона Бедмут всегда был магическим словом. Этот растущий портовый городок и посещаемый королем курорт с минеральными источниками отображался в их уме как некая вершина цивилизации, непостижимым и пленительным образом совмещавшая в себе оживление и пышность Карфагена, неги Тарента, красоты и целительность Байи. Представление Юстасии об этом городе было не намного реальнее. Но она все же не согласилась пожертвовать своей независимостью ради того, чтобы туда поехать.

Когда Диггори Венн удалился, Юстасия подошла к насыпи и стала смотреть на лежащую внизу дикую и живописную долину — в ту сторону, откуда вставало солнце и где жил Уайлдив. Туман уже немного осел, и вершины деревьев и кустов чуть проглядывали вокруг его дома, как будто постепенно прокапывая себе ход наверх сквозь огромную белую паутину, закрывавшую их от дневного света. Воображение Юстасии явно влеклось туда — неопределенно и прихотливо, то завиваясь вокруг него, то снова развиваясь, но опять и опять возвращаясь к нему, как к единственной точке видимого ей мира, вокруг которой могли кристаллизоваться мечты. Человек, который вначале был для нее забавой и так и остался бы ее минутной прихотью, если бы вовремя ее не покинул, теперь снова стал для нее желанным. Его равнодушие оживило ее любовь. Ленивый ручеек ее чувств к Уайлдиву, запруженный руками Томазин, превратился в бурный поток. Когда-то она смеялась над Уайлдивом, но это было до того, как другая подарила его своей благосклонностью. Часто бывает, что капелька иронии, внесенная в положение, уже ставшее пресным, вновь сообщает ему остроту.

— Никогда его не отдам — никогда! — страстно воскликнула она.

Намек охряпика, что о ней может пойти дурная слава, не мог утратить Юстасию. Эта сторона вопроса ее заботила не больше, чем богиню нехватка белья. И это происходило не от врожденного бесстыдства, а просто оттого, что она жила до такой степени вдали от людей, что до нее не достигал натиск общественного мнения. Зеновию в глуши вряд ли интересовало, что говорят о ней в Риме. Во всем, что касалось общественной морали, Юстасия находилась еще в дикарском состоянии, хотя в области эмоций достигла большой утонченности. Она проникла в самые тайники чувства, но еще не ступала на порог условностей.

ГЛАВА XI

БЕСЧЕСТНОСТЬ ЧЕСТНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Охряник ушел от Юстасии, не имея уже почти никаких надежд устроить счастье Томазин, но на обратном пути к своему фургону, завидев издали миссис Ибрайт, медленно идущую по направлению к гостинице «Молчаливая женщина», он стал соблаговолить, что один ход, во всяком случае, оставался еще неиспользованным. Он пошел ей наперерез и, когда они сошлись на дороге, догадался по ее озабоченному лицу, что она направляется к Уайлдиву с тем же намерением, с каким сам он поутру шел к Юстасии.

Она не стала это отрицать.

— Ну, миссис Ибрайт,— сказал охряник,— вряд ли что из этого выйдет.

— Я и сама так думаю,— сказала она.— Но ничего больше не остается, как поставить перед ним вопрос ребром.

— Сперва я хотел бы сказать словечко,— с твердостью проговорил охряник.— Не один мистер Уайлдив сватался к Томазин,— так почему бы и другому сейчас не попытать счастья? Миссис Ибрайт, я буду счастлив жениться на вашей племяннице, уже два года, как в любой день с радостью бы это сделал. Ну вот я вам и открыл свою тайну, а до сих пор, я, кроме как ей самой, ни одной живой душе не говорил.

Миссис Ибрайт редко проявляла свои чувства вовне, но сейчас ее взгляд невольно приковался к необычной, хотя и складной, фигуре охряника.

— Не судите по виду,— сказал он, заметив ее взгляд.— Ремесло мое не так уж плохо, если говорить о деньгах, и достатки у меня, пожалуй, не меньше, чем у Уайлдива; нет ведь беднее, чем эти ученые неудачники. А если не нравится вам мой цвет, так я же не отроду таков и за дело это взялся из причуды; могу со временем и чем другим заняться.

— Я очень признательна вам за ваш интерес к моей племяннице, но боюсь, тут будут возражения. И главное — она любит этого человека.

— Это верно. Иначе я не стал бы делать то, что сделал сегодня.

— Да, если бы не это, то и волноваться было бы не из чего и вы не застали бы меня сегодня на пути к его дому. А что ответила Томазин, когда вы сказали ей о своих чувствах?

— Она написала, что вы меня не захотите — и еще разное.

— Она в какой-то мере права. Не принимайте это за обиду, просто я говорю то, что есть. Вы были добры к ней, мы это помним. Но раз она сама отказалась быть вашей женой, то это решает дело, независимо от моих желаний.

— Да. Но есть разница между тем, что было тогда и что теперь. Теперь она в горе, и я подумал, что если вы поговори-

те с ней обо мне и сами будете за меня, так, может, она и передумает и уж не будет тогда зависеть от Уайлдива, который играет то вперед, то назад и сам не знает, хочет он на ней жениться или нет.

Миссис Ибрайт покачала головой.

— Томазин считает — и я тоже, что она должна стать женой Уайлдива, если хочет сохранить доброе имя. Если они сейчас поженятся, все поверят, что свадьба расстроилась случайно. А если нет, это бросит на нее тень, — и, во всяком случае, выставит ее в смешном виде. Одним словом, если есть хоть какая-нибудь возможность, надо их поскорее женить.

— Полчаса назад я сам так думал. Но почему, в конце концов, это должно ей повредить — то, что они съездили в Энглбери и два-три часа провели там вместе? Всякий, кто знает, как она чиста, скажет, что это несправедливо. Я сам сегодня утром пытался устроить ее свадьбу с Уайлдивом, — да, мэм, я это сделал, — считал, это мой долг, раз она так его любит. Но, может, я был не прав. Так ли, сяк ли, из этого ничего не вышло. И теперь я предлагаю себя.

Миссис Ибрайт, по-видимому, не склонна была обсуждать этот вопрос.

— Боюсь, я должна идти, — сказала она. — Не вижу, что другое тут можно сделать.

И она пошла своим путем. Но хотя встреча с охрянником не повлияла на решение миссис Ибрайт поговорить с Уайлдивом, она очень повлияла на ход этого разговора. Миссис Ибрайт благодарила бога за то, что охрянник вложил ей в руки такое оружие.

Уайлдив был дома, когда она пришла. Он молча провел ее в гостиную и затворил дверь. Миссис Ибрайт начала так:

— Я сочла своим долгом сегодня побывать у вас. Мне сделано предложение, которое меня несколько удивило. Оно, конечно, очень взволнует Томазин, и я решила, что вам, во всяком случае, надо об этом сообщить.

— Да? Какое? — вежливо осведомился он.

— Это касается ее будущего. Вам, может быть, неизвестно, что есть еще другой человек, который давно уже выражал желание жениться на Томазин. До сих пор я его не поощряла, но по совести не могу дольше утаивать это от нее. Не хотелось бы поступать вам наперекор, но я должна быть честной по отношению к нему и к ней.

— Кто он такой? — изумленно спросил Уайлдив.

— Это человек, который был дольше влюблен в нее, чем она в вас. В первый раз он сделал ей предложение два года назад. Тогда она ему отказала.

— Так в чем же дело?

— Недавно он опять ее видел и теперь просит у меня позволения вновь обратиться к ней. Он думает, что во второй раз она ему не откажет.

— Как его имя?

Миссис Ибрайт отказалась удовлетворить его любопытство.

— Она к нему расположена,— добавила она,— и, во всяком случае, уважает его за постоянство. Мне кажется, сейчас она рада будет получить то, что раньше отвергала. Ее очень тяготит ее ложное положение.

— Она никогда не говорила мне об этом прежнем поклоннике.

— Самая кроткая женщина не так глупа, чтобы открыть все свои карты.

— Ну, если он ей нужен, так пускай его и берет.

— Это легко сказать, по вы не понимаете, в чем тут трудность. Он гораздо больше заинтересован в ней, чем она в нем, и прежде чем дать ему согласие, я хотела бы твердо договориться с вами, что вы не станете мешать этому браку, который, я считаю, для нее самое лучшее. Допустим, они будут обручены и все уже готово к свадьбе, а вы вдруг вздумаете возобновить свои искательства? Вряд ли вы снова ее завоюете, но горя ей причините немало.

— Ну конечно, я ничего подобного делать не стану,— ответил Уайлдвиг.— Но ведь они еще не обручены? Почему вы знаете, что Томазин примет его предложение?

— Этот вопрос я уже обдумала, и, по-моему, больше вероятный, что она его примет, если не сразу, то со временем. Я все-таки имею на нее кое-какое влияние. Характер у нее податливый, а я могу многое сказать в его пользу.

— А также мне во вред.

— Да уж можете быть уверены, что хвалить вас я не стану,— сухо ответила она.— А если это похоже на интриганство, то вспомните, в каком она сейчас положении и как дурно с ней обошлись. Устроить этот брак мне будет нетрудно — тут поможет ее собственное желание поскорее забыть нанесенную ей обиду; женская гордость в таких случаях может завести очень далеко. Может быть, придется немножко нажать, но я это сумею, лишь бы вы согласились сделать то единственное, что от вас требуется, а именно: сказать напрямик, что ей больше нечего мечтать о вас как о возможном супруге. Тогда в пику вам она пойдет за него.

— Миссис Ибрайт, я, право же, не могу сейчас ответить. Это так неожиданно!

— Ну, вот и выходит, что вы срываете все мои планы! Как это, однако, неудобно, что вы даже такой малостью не хотите помочь нашей семье — сказать откровенно, что вы не желаете иметь с нами ничего общего.

С минуту Уайлдвиг раздумывал.

— Признаться, я этого не ожидал,— проговорил он.— Конечно, я откажусь от нее, если вы этого хотите, если это необходимо. Но я надеялся быть ее мужем.

— Это мы уже слышали.

— Миссис Ибрайт, не будем ссориться. Дайте мне время. Я не хочу мешать ее счастью, если она может найти его в этом браке, но жаль, что вы мне не сказали раньше. Я напишу вам или зайду через день либо два. Это вас устроит?

— Да, — ответила она, — при условии, что вы пообещаете не встречаться с Томазин без моего ведома.

— Обещаю, — сказал он. На том кончилось их свиданье, и миссис Ибрайт отправилась домой как будто с тем же, с чем пришла.

Однако ее нехитрая стратегия возымела действие, хотя, как это часто бывает, в направлении совсем неожиданным и не предусмотренным в ее расчетах. Первым результатом было то, что в тот же вечер с наступлением темноты Уайлдвиг оказался на Мистоверском холме перед домом Юстасии.

В такой поздний час это одинокое жилище было плотно укрыто от холода и окружающей тьмы, — все шторы задернуты и ставни заперты. Как обычно, Уайлдвиг подал ей тайный знак, состоявший в том, что, взяв в руку немного гравия, он держал ее над щелью вверху ставни: песок с тихим шорохом, как от скребущейся мыши, просыпался между стеклом и ставнем. Так он давал ей знать о себе, не вызывая подозрений ее дедушки.

— Слышу; подожди меня, — ответил изнутри тихий голос Юстасии, из чего Уайлдвиг заключил, что сейчас она одна.

Он стал ждать, прохаживаясь, по своему обыкновению, вдоль насыпи и задерживаясь у пруда, ибо его гордая, хотя и податливая возлюбленная никогда не приглашала его в дом. Она не торопилась. Время шло, он уже начинал терять терпение. Минут через двадцать она показалась из-за угла дома и направилась к нему ленивой походкой, словно вышла только затем, чтобы подышать воздухом.

— Ты не стала бы так медлить, если б знала, зачем я пришел, — ворчливо сказал он. — Ну да уж ладно, ради тебя можно и подождать.

— А что такое? — спросила Юстасия. — Я не знала, что у тебя неприятности. Мне и самой не очень-то весело.

— Никаких неприятностей нет. Просто все так сошлось, что надо принимать решение.

— Какое решение? — переспросила она, насторожившись.

— А ты уже забыла, что я предлагал тебе в прошлый раз? Забрать тебя отсюда и вместе уехать за границу.

— Я не забыла. Но почему ты вдруг опять являешься с этим вопросом, когда обещал прийти только в субботу? Я считала, у меня будет время подумать.

— Да, но обстоятельства изменились.

— Объясни.

— Не хотелось бы объяснять, ты еще расстроишься.

— Но я должна знать, почему такая спешка.

— Это я от горячности чувств, дорогая Юстасия. Теперь для нас больше нет препятствий.

— Отчего же ты такой сердитый?

— Нисколько. Наоборот, я очень доволен. Все идет как пель-зя лучше. Миссис Ибрайт... Но что нам до нее!

— А, я так и знала, что дело в ней! Говори, я не люблю скрытных.

— Совсе не в ней. Она только просила меня отказаться от Томазин, потому что кто-то другой к ней присватался. Наглая особа; чуть я стал ей не нужен, сейчас же задрала нос! — Вся затаенная досада Уайлддива прорвалась в этом восклицании.

Юстасия долго молчала.

— Ты сейчас как чиповник, которого вдруг взяли да и уволили за непадобностью, — проговорила она наконец изменившимся голосом.

— Вроде того. Но я еще не видал Томазин.

— Вот ты и злишься. Не отрицай, Дэймон. Ты вне себя от этого неожиданного афронта.

— Ну и что?

— И теперь прибежал ко мне, потому что не можешь получить ее. Да, это, конечно, меняет положение. Я, значит, буду затычкой.

— Вспомни, пожалуйста, что это же самое я предлагал тебе еще в прошлый раз.

Юстасия снова погрузилась в какое-то оцепенелое молчанье. Страпное чувство все больше овладевало ею. Неужели правда, неужели так и есть, что весь ее интерес к Уайлддиву был порождён соперничеством — и ореол померк, и мечты погасли, едва стало известно, что соперница больше его не домогается? Вот наконец он принадлежит ей безраздельно, никто его не отпимет, Томазин он больше не нужен. Какая унизительная победа! Нет, нет, он вернул, потому что ее любит больше, а все же — она даже про себя, даже пельшшно не смела выговорить такое предательское суждение — все же какая цена этому человеку, если женщина, стоящая ниже ее, им не дорожит? Инстинкт, более или менее присущий всей одушевленной природе, — не желать того, что нежеланно другим, — достигал силы страсти в переутопченном эпикурейском сердце Юстасии. Неравенство их общественного положения, раньше никогда ее не трогавшее, вдруг стало ей до неприглядности очевидно — и впервые она почувствовала, что уронила себя, полюбив Уайлддива.

— Ну же, милая, ты согласна? — сказал Уайлддив.

— Будь еще это Лондон или хоть Бедмут, а то Америка, — вяло протянула она. — Ну, хорошо, я подумаю. Это слишком важно для меня, чтобы решать так, сразу... Ах, если бы я меньше ненавидела Эгдон — или тебя любила больше!..

— Спасибо за откровенность. Месяц назад ты любила меня так горячо, что всюду бы со мной поехала.

— А ты тогда любил Томазин.

— Да-а, пожалуй, в этом все дело, — сказал он почти с насмешкой. — Она и сейчас мне не противна.

— Вот именно. Только получить ее уже нельзя.

— Ну-ну, Юстасия, не надо шпилек, а то мы поссоримся. Если ты не согласишься ехать со мной и не решишь это очень быстро, я уеду один.

— Или еще попробуешь, не выйдет ли с Томазин. Дэймон, как странно, что ты одипаково мог жениться либо на мне, либо на пей, и теперь пришел ко мне только потому, что я... дешевле! Да, да, это правда. Было время, когда я возмутилась бы против такого человека, не помнила бы себя от гнева — но это все уже в прошлом.

— Дорогая, пу скажи, ты согласна! Уедем тайком в Бристоль, обвенчаемся и покинем навсегда эту поганую дыру, эту несчастную Англию. Скажи «да»!

— Я, кажется, на все готова, лишь бы отсюда уехать, — устало проговорила она, — но с тобой мне ехать не хочется. Дай мне еще время на размышление.

— Я тебе уже давал, — сказал Уайлдвиг. — Ну хорошо, еще неделю.

— Немножко больше, чтоб я уж могла сказать твердо. Тут так много надо принять в расчет. Нет, подумать только, Томазин хочет от тебя избавиться! Не могу это забыть.

— Брось, не думай об этом. Скажем, до следующего понедельника. Хорошо? Вечером в это же время я приду сюда.

— Лучше к Дождевому кургану. Тут слишком близко, дедушка может выйти.

— Спасибо, дорогая. В следующий понедельник точно в этот час буду у Дождевого кургана. А пока прощай.

— Прощай. Нет, нет, не трогай меня. Пока я не решила, довольно рукопожатия.

Юстасия смотрела ему вслед, пока темная фигура не скрылась из виду. Потом прижала руку ко лбу и тяжело вздохнула; а затем ее пышные романтические губы приоткрылись, повинуясь вполне прозаическому побуждению, — она зевнула. И тотчас рассердилась на себя за это свидетельство угасания страсти. Она не соглашалась сразу признать, что переоценивала Уайлдвигу, ибо увидеть сейчас его ничтожество значило исповедаться в прежней своей слепоте. Да и открытие, что до сих пор она была не чем иным, как собакой на сене, имело столь неприятный привкус, что в первый раз за все время ей стало стыдно.

Таким образом, дипломатия миссис Ибрайт принесла плоды, хотя и не совсем такие, как она ожидала. Ее хитрость повлияла на Уайлдвигу, но еще больше на Юстасию. Для этой гордой девушки ее возлюбленный теперь уже не был тем завлекательным мужчиной, из-за которого боролись многие женщины и которого сама она могла удержать, только борясь с ними. Он был излишком.

Она ушла домой с той особой печалью в душе, которой обычно сопровождается пробуждение рассудка в последние дни переоцененной и уже угасающей любви. Это не было горем в точном смысле слова, а все же сознание близкого, хотя еще не наступившего крушения мечты принадлежит к числу наиболее тягостных и вместе с тем наиболее любопытных этапов в развитии страсти между началом ее и концом.

Капитан уже вернулся и занят был тем, что переливал несколько галлонов принесенного с собой рома в квадратные бутылки, уставленные в его квадратном погребке. Когда эти домашние запасы истощались, капитан отправлялся в гостиницу «Молчаливая женщина» и там, стоя спиной к камину, со стаканом грога в руке, рассказывал местным жителям изумительные истории о том, как он целых семь лет прожил ниже ватерлинии своего корабля, и о прочих морских чудесах, а слушатели подобострастно внимали ему, одушевленные надеждой на кружку эля от рассказчика и потому не склонные выражать какие-либо сомнения в правдивости его рассказов.

Сейчас он только что пришел оттуда.

— Слыхала ты последнюю эгдонскую новость, Юстасия? — спросил он, не поднимая глаз от бутылок. — В гостинице об этом говорили как о деле государственной важности.

— Ничего не слышала, — ответила она.

— Молодой Клайм Ибрайт, как они его зовут, на будущей неделе вернется домой, хочет провести святки с матерью. Видный, наверно, парень теперь стал. Ты его помнишь?

— Никогда в глаза не видала.

— Да, верно. Ты перебралась сюда уже после его отъезда. Помню, способный был мальчик.

— Где же он жил все это время?

— Да, кажется, в этом вертепе суеты и тщеславия — в Париже.

КНИГА ВТОРАЯ

ПРИБЫТИЕ

ГЛАВА I

ПЕРВЫЕ ВЕСТИ О ПРИЕЗЖАЮЩЕМ

В это время года и несколько раньше, в ясные дни, на Мистерских склонах замечалось порой какое-то слабое движение, мимолетно нарушавшее величавый покой Эгдонской пустоши. Если сравнивать его с тем, что бывает в городе, в деревне или даже на ферме, оно показалось бы ничтожным — чем-то вроде всплывания пузырьков в стоячей воде или подрагивания мышц у крепко спящего человека. Но здесь, вдали от всяких сравнений, в этом уголке, обведенном грядой непоколебимых холмов, где даже случайный прохожий был уже редкостным зрелищем, где всякий мог без труда вообразить себя Адамом на первозданной земле, эти действия привлекали внимание каждой птицы в пределах видимости, каждого пресмыкающегося, еще не погруженного в зимнюю спячку, и заставляли всех окрестных кроликов привставать на бугорках и с безопасного расстояния любопытно поглядывать в ту сторону.

Действия эти состояли в том, что двое или трое поселян сносили в одно место и укладывали в поленницу те вязанки дрова, которые Хемфри успевал в предшествующие сухие дни заготовить для капитана. Поленница обычно воздвигалась за углом дома; сейчас Хемфри и Сэм ее выкладывали, а капитан надзирал, стоя возле.

Был теплый и тихий день, около трех часов, но казалось, что позже, так как солнце уже стояло низко; в этом году зимний солнцеворот подкрался так незаметно, что эгдонцы не отучились еще читать небесный циферблат по тем приметам, какие усвоили за лето. В течение многих дней и недель восход солнца все больше перемещался с северо-востока на юго-восток, а закат солнца сдвигался с северо-запада к юго-западу, но Эгдон почти не замечал этих перемен.

Юстасия была дома, в столовой, более похожей на кухню с каменным полом и огромным зияющим камином в углу. Воз-

дух спаружи был неподвижен, и пока она, подойдя зачем-то к камину, рассеянно медлила там в одиночестве, ей вдруг послышался, словно бы прямо из камина, звук переговаривающихся голосов. Она вошла в каминную нишу и, прислушиваясь, заглянула в неровный ствол старинного дымохода с его пещеристыми боковыми отводами, по которым долго слонялся дым на своем пути к квадратному кусочку неба на самом верху; бледный свет падал оттуда, чуть озаряя длинные лохмы сажы, драпировавшие дымоход, как водоросли драпируют подводную щель в утесе.

Она вспомнила: поленница находилась недалеко от печной трубы, и, стало быть, это были голоса рабочих.

Затем в разговор вступил ее дедушка.

— Совсем бы не надо ему уезжать из дому. Отец его ферму держал, и для него бы самое подходящее занятие. Не одобряю я этих повществ. Мой отец был моряк, и я вот моряк, а будь у меня сын, и он бы моряком был.

— Этот город, где он живет, Париж называется, — раздался голос Хемфри, — и, говорят, это то самое место, где они когда-то королю своему голову оттяпали. Моя покойная матушка часто про это рассказывала. «Хемми, — пачнет, бывало, — я тогда еще девушкой была и помню, гладила раз материны чепчики, как вдруг входит пастор и говорит: «Ну, Джейн, они отрубили голову своему королю, и что дальше будет, один бог знает».

— Многие из нас тоже скоро узнали, — усмехнулся капитан. — Я из-за этого, когда еще юнцом был, семь лет под водой прожил, в этом клятом лазарете на «Тирумфе», видел, как приносили к нам в кубрик людей с оторванными руками и ногами... Так, значит, молодой человек в Париже устроился? Заведующий в ювелирном магазине или что-то в этом роде?

— Да, сэр, в точности. Богатеющее дело, матушка говорила, — будто бы брильянтов у них там, как в королевском дворце.

— Я помню, как он уезжал, — сказал Сэм.

— Так разве плохое для парня занятие? — продолжал Хемфри. — Небось лучше брильянты продавать, чем тут у нас в земле копать.

— В этакій магазин, пожалуй, с тощим кошельком не зайдешь, — сказал Сэм.

— Еще бы, — откликнулся капитан. — Там, милый мой, можно ой-ой сколько денежек просадить, не будучи ни пьяницей, ни обжорой.

— Говорят тоже, Клайм Ибрайт до того книжки читать навострился, прямо дока по этой части стал, и пречудных, говорят, мыслей обо всем набрался. А все оттого, что рано в школу начал ходить, хоть и не ахти какая у нас была школа.

— Ага, чудных мыслей набрался! — подхватил капитан. — То-то и есть! Я всегда говорил, что от этого хождения в школу один вред. Учат всех мальчишек подряд, а потом озорники эти на каждых воротах, на каждой двери в амбар разные скверные

слова мелом пишут, женщине ипой раз от стыда мимо пройти нельзя. А не выучили бы их писать, так и не могли бы они всюду этакую пакость царапать. Их отцы не умели, и, слава богу, гораздо лучше тогда жилось.

— Так-то оно так, капитан, а ведь вот мисс Юстасия — у нее тоже небось в голове много такого, что она из книжек вычитала, больше, думаю, чем у кого другого в наших краях?

— Если б у мисс Юстасии было помепьше романтической чепухи в голове, так, может, тоже было бы лучше для нее, — коротко отвечал капитан и, повернувшись, отошел прочь.

— Слушай-ка, Сэм, — сказал Хемфри, когда старик удалился, — а ведь славная бы из них вышла парочка, из нее с Клаймом Ибрайт, а? Оба насчет всяких тонкостей понимают, и в книжках начитанны, и все об этом возвышенном думают — нарочно двух таких не подберешь. А Клайм Ибрайт и сам из хорошей семьи, не хуже капитанской. Отец его, правда, фермером был, зато мать, мы же все знаем, вроде как из благородных. Вот бы полюбовался я на них, когда бы они под венец шли!

— Да, прошлись бы под ручку, оба статные да складные, в самых своих лучших платьях, — красота! Клайм Ибрайт тоже, помню, хоть куда парень был.

— Да, очень мне хочется на него поглядеть после стольких лет. Кабы знать точно, когда он приедет, я бы не поленился три-четыре мили пройти — встретил бы его, помог бы чего пести. Только, боюсь, загордел он теперь. Говорят, он по-французски так и шпарит, быстрее, чем девчонка чернику ест. Ну, и, конечно, на нас, на здешних, пожалуй, и смотреть не захочет.

— В Бедмут он пароходом, что ли, приедет?

— В Бедмут пароходом, а как из Бедмута сюда — не знаю.

— И надо же, чтобы у них как раз сейчас беда эта приключилась — с сестрой его двоюродной, Томазин. Клайму Ибрайту это обидно будет. А мы-то еще какого дурака сваяляли — вздумали им в тот вечер свадебную петь! Ух, не хотел бы я, чтоб кого из моей родни этак на смех выставили. Для всей семьи срам.

— Да. У нее, бедняжки, небось и то уж все сердце изныло. Говорят, расхворалась даже, никуда не выходит. Теперь уж не увидишь ее, как она, бывало, бежит по вереску, щечки, как розы, красные.

— Я слышал, она сказала, что теперь уж ни за что не пойдет за Уайлдива, хоть бы он ее на коленях просил.

— Да-а? Это для меня новость.

Пока сборщики дрова так переговаривались, Юстасия все ниже склонялась лицом к очагу в глубокой задумчивости, бессознательно постукивая носком туфли по сухому торфу, тлеющему у ее ног.

Тема их разговора живо ее заинтересовала. Молодой и блестящий мужчина прибывал на Эгдонскую пустошь,—и откуда? — из самого несхожего с здешним мирком места, из Парижа! Все равно как если бы он спустился с неба. А еще удивительнее, что эти простые люди в мыслях уже сочетали ее с ним, как созданных друг для друга.

Эти пять минут подслушивания снабдили ее видениями на весь остаток дня. Такие внезапные перепады от душевной пустоты к яркой наполненности нередко свершаются именно так — неслышно и незаметно. Утром она бы сама не поверила, что еще до прихода ночи ее бесцветный внутренний мир может стать столь насыщенным жизнью, как капля воды под микроскопом, и это даже без появления хотя бы единого посетителя. Слова Сэма и Хемфри о гармонии между нею и прибывающим незнакомцем подействовали на ее воображение, как в «Замке праздности» магическая песнь барда, от которой мириады пленных образов восстали вдруг там, где раньше было немо и пусто.

Ушедшая в мечты, она забыла о времени. Когда внешний мир снова стал для нее ощутим, были уже сумерки. Все вязанки дрока были сложены в высокую поленницу; рабочие ушли. Юстасия поднялась к себе в спальню, намереваясь, как всегда в этот час, выйти на прогулку и уже решив про себя, что сегодня пойдет в сторону Блумс-Энда — усадьбы, где родился молодой Ибрайт и где сейчас жила его мать. Не все ли равно, где гулять, так почему бы ей не пойти туда? В девятнадцать лет место, которое так или иначе вплелось в твои грезы, кажется достойным паломничества. Поглядеть на палисад перед домом миссис Ибрайт уже представлялось Юстасии частью необходимого ритуала. Странно, что эта выдумка от безделья внезапно стала для нее каким-то многозначительным поступком.

Она надела шляпу и, выйдя из дому, спустилась с холма по склону, обращенному к Блумс-Энду; затем мили полторы шла по долине до того места, где зеленое ее дно начало расширяться и заросли дрока отступать все дальше в обе стороны от тропы, оттесняемые возрастающим плодородием почвы, пока от них не остались только маячившие кое-где одинокие кустики. Дальше, за неровным ковром зеленой травы, виднелись белые колья тына; они отмечали здесь границу вереска и на тусклой земле, которую окаймляли, выделялись столь же отчетливо, как белое кружево на черном бархате. За белым тыном был маленький сад, а за садом старый, неправильной формы, крытый соломой дом, фасадом обращенный к вересковой пустоши; из окон его просматривалась вся долина. Это и был тот безвестный глухой уголок, куда предстояло вернуться человеку, прошедшему последние годы в столице Франции — этом центре и водовороте светской жизни.

ГЛАВА II

В БЛУМС-ЭНДЕ ГОТОВЯТСЯ

Весь этот день в Блумс-Энде была суета — там готовились к встрече того человека, который так неожиданно стал предметом размышлений Юстасии. Уговоры тетки, а также чувство глубокой привязанности по отношению к двоюродному брату побудили Томазин принять участие в хлопотах с жаром, необычным для нее в эти самые печальные дни ее жизни. В тот час, когда Юстасия прислушивалась к разговору рабочих у поленницы, Томазин поднималась по стремянке на чердак над дровяным сараем, где хранились зимние яблоки, чтобы выбрать самые крупные и красивые для предстоящего праздника.

Чердак освещался полукруглым слуховым оконцем, через которое голуби пробирались к своим насиженным местечкам в этой наиболее высокой части надворных строений; и через то же окошко солнце бросало яркий желтый блик на фигуру девушки, когда она, стоя на коленях, погружала обнаженные по локоть руки в вороха мягкого коричневого папоротника, употребляемого эгдонцами, ввиду его изобилия на пустоши, для упаковки всякого рода припасов. Голуби без малейшего страха летали у нее над головой, а поодаль, над краем пола, виделось освещенное случайными отблесками лицо ее тетки, стоявшей на лесенке, заглядывая на чердак, куда сама не решалась подняться.

— Теперь еще немного коричных, Тамзин. Он когда-то очень их любил, не меньше, чем пепин.

Томазин повернулась и отгребла папоротник из другого угла, где хранились более нежные сорта и откуда ее обдало их густым ароматом. Прежде чем выбирать яблоки, она остановилась на минуту.

— Милый Клайм, как-то он теперь выглядит? — проговорила она, подняв голову к слуховому окну, и в прямом луче света так засияли ее каштановые волосы и прозрачная кожа, как будто солнце пронизывало ее пасквозь.

— Будь он тебе по-другому мил, — отозвалась миссис Ибрайт со своей лесенки, — вот тогда это была бы действительно радостная встреча.

— Какая польза, тетя, говорить о том, чего уж не изменишь?

— Есть польза, — уже с сердцем ответила ее тетка. — Не говорить — кричать надо о своих прошлых ошибках, чтобы другие девушки знали и остерегались.

Томазин снова склонилась над яблоками.

— Я, значит, должна служить острасткою для других, как воры, пьяницы и игроки, — тихо проговорила она. — Вот в какой компании я оказалась! А разве я на самом деле такая? Это же нелепость! Но почему, тетя, все так держат себя со мной, словно хотят, чтобы я в это поверила? Почему не судят обо мне по

моим поступкам? Ну посмотрите на меня сейчас, когда я тут стою на коленях и собираю яблоки,— похожа я на потерянную женщину?.. Дай бог, чтобы все честные девушки были так честны, как я! — добавила она с горячностью.

— Чужие не видят тебя, как я сейчас тебя вижу,— сказала миссис Ибрайт,— они судят по ложным слухам. Ах, глупая вся эта история, и моя тоже тут есть вина.

— Да, как легко сделать ошибку! — ответила Томазин. Губы у нее дрожали и глаза были так полны слез, что она еле могла различить яблоки среди папоротника, который продолжала усердно ворошить, чтобы скрыть волнение.

— Когда кончишь с яблоками,— сказала ее тетка, спускаясь с лесенки,— сходи вниз, и мы пойдем нарвем остролиста. Сейчас на пустоши никого нет, никто на тебя глазеть не будет. Надо достать веток с ягодками, а то Клайм не поверит, что мы готовились к его встрече.

Собрав яблоки, Томазин спустилась с чердака, и вдвоем с теткой они прошли сквозь белый тын на пустошь. Справа ясно и четко вырисовывались холмы, и, как часто бывает в солнечный зимний день, все видимое вглубь пространство игрою света делилось на несколько планов; самый воздух на разных расстояниях казался окрашенным по-разному; лучи, озарявшие ближний план, явственно струились поверх более дальних, шафрановый слой света накладывался на густо-синий, а за ними у самого края земли лежала укутанная в холодный серый свет даль.

Они дошли до того места, где росли остролисты; это была коническая впадина, так что верхушки деревьев еле возвышались над общим уровнем почвы. Томазин ступила в развилину одного куста, как уже не раз делала с той же целью в более счастливые дни, и принесенным с собой топориком стала обрубать густо усеянные ягодками ветви.

— Не поцарапай себе лицо,— сказала ее тетка; она стояла на краю впадины, глядя на девушку, угнездившуюся среди массы блестяще-зеленых и алых веток.— Пойдешь со мной вечером встречать его?

— Мне бы очень хотелось. А то выйдет, как будто я его забыла,— ответила Томазин, сбрасывая ветку наземь.— Правда, не так уж это важно; я принадлежу другому, этого уж ничем не искупишь. И я должна выйти за него, хотя бы из гордости.

— Боюсь...— начала миссис Ибрайт.

— Ну да, вы думаете: «Такая слабая девчонка, как она поставит мужчине жениться на пей, если он не хочет?» Но я вам одно скажу, тетя: мистер Уайлдив не распутник, как и я не потерянная женщина. Просто он такой... ну, резкий, что ли, и не хочет подольщаться к тем, кто его не любит.

— Томазин,— сдержанно сказала миссис Ибрайт, пристально глядя на племянницу,— ты что, думаешь обмануть меня этой защитой мистера Уайлдива?

— То есть как?

— Я давно подозреваю, что твоя любовь к нему сильно по-
блекла после того, как ты обнаружила, что он не такой святой,
каким тебе казался. И сейчас ты разыгрываешь передо мной
роль.

— Он хотел жепиться на мне, и я хочу выйти за него замуж.

— Нет, ты скажи прямо: согласилась бы ты сейчас стать
его женой, если бы не была уже связана с ним?

Томазин смотрела куда-то в гущу листвы, и вид у нее был
смущенный.

— Тетя,— сказала она наконец,— мне кажется, я имею пра-
во не отвечать на этот вопрос.

— Имеешь.

— Можете думать, что хотите. Но я ничем не показала вам,
что мои чувства к нему изменились, и впредь не покажу. И я
выйду за него и ни за кого другого.

— Подождать еще надо, чтобы он повторил предложение.
Думаю, он это сделает, потому что теперь кое-что узнал... то,
что я ему сказала. Я не спору, тебе, конечно, всего пристойнее
выйти за Уайлдива. Как я ни возражала против него раньше,
теперь я с тобой согласна. Это единственный выход из ложного
и крайне неприятного положения.

— Что вы ему сказали?

— Что он перебивает дорогу другому твоему поклоннику.

— Тетя,— проговорила Томазин, и глаза у нее округли-
лись.— Что это значит?

— Не волнуйся, я сделала, как мне велел долг. Пока боль-
ше ничего не могу добавить, но когда все кончится, я тебе
точно объясню, что я ему сказала и почему.

Томазин поневоле пришлось этим удовлетвориться.

— И вы пока сохраните все это в тайне от Клайма? — спра-
сила она погодя.

— Я же дала тебе слово. Да что толку! Он все равно узнает.
Посмотрит на тебя и сразу поймет, что что-то неладно.

Томазин повернулась и посмотрела с дерева на тетку.

— Послушайте теперь вы меня,— сказала она, и ее неж-
ный голос обрел вдруг твердость и силу, почерпнутую не из
телесного источника.— Не надо ничего ему говорить. Если он
сам узнает и решит, что я недостойна быть его сестрой,— пусть.
Но когда-то он любил меня, и мы не станем огорчать его раньше
времени рассказами о моей беде. Я знаю, все об этом кричат,
но ему сказать не посмеют, по крайней мере, в первые дни. То,
что мы родня, как раз и помешает слухам сразу дойти до него.
А если через неделю-другую я не буду уже в безопасности от
пасмешек — тогда и сама ему расскажу.

Она говорила так твердо, что тетка не стала больше возра-
жать. Она сказала только:

— По-настоящему надо было ему написать, еще когда ты
сбиралась замуж. Он не простит тебе такой скрытности.

— Простит, когда узнает, что я медлила потому, что боялась его огорчить, и, кроме того, я не знала, что он так скоро приедет. И, главное, тетя, я не хочу, чтобы из-за меня расстроился ваш праздник; вы хотели на рождество созвать гостей, пусть так и будет. Откладывать только хуже.

— Я и не собираюсь откладывать. Неужели ж мне признаться перед всем Эгдоном, что я потерпела поражение и стала игрушкой такого человека, как Уайлдив? Ну, кажется, у нас уже довольно ягод, отнесем-ка все это домой. Пока украсим дом да повесим омелу, пора уж будет идти его встречать.

Томазин слезла с дерева, стряхнула с волос и платья осыпавшиеся ягоды, и они с теткой пошли вниз по склону; каждая несла половину собранных веток. Было уже почти четыре часа, солнце покидало долину. Когда небо на западе стало красным, обе родственницы снова вышли из дому и углубились в вересковую пустошь, но уже в другом направлении, чем утром, держа путь к определенному месту на далекой большой дороге, по которой должен был возвращаться тот, кого они ждали.

ГЛАВА III

КАК МАЛЫЙ ЗВУК ПОРОДИЛ БОЛЬШУЮ МЕЧТУ

Юстасия стояла на пустоши у самого ее края и глядела в ту сторону, где находилась усадьба миссис Ибрайт. Ни звука, ни света, ни движения не исходило оттуда. Вечер был холодный, кругом темно и пусто. Она решила, что гость еще не прибыл, и, подождав минут десять — пятнадцать, повернула обратно.

Она не так еще далеко отошла, как вдруг впереди послышались голоса: по той же тропе ей навстречу шли люди и разговаривали. Вскоре на фоне неба стали видимы их головы. Встречные шли медленно, ни лиц, ни одежды нельзя было разглядеть в темноте, но судя по походке это не были поселяне. Она сошла с тропы, чтобы их пропустить. Трое: две женщины и мужчина; женские голоса она узнала: Томазин и миссис Ибрайт.

Они прошли мимо, но в ту минуту, когда поравнялись с ней, должно быть, заметили ее темный силуэт. Ибо мужской голос сказал:

— Доброй ночи!

Она пролепетала что-то в ответ, скользнула мимо них, потом обернулась. Секунду она не могла поверить, что случай неожиданно-негаданно пошел навстречу ее тайным помыслам — дал ей на миг соприкоснуться с душой того дома, который она ходила осматривать, с тем человеком, не будь которого ей и в голову бы не впало идти смотреть на этот дом.

Она сощурилась, сясь их разглядеть, но не смогла. Однако

душевная ее напряженность была столь велика, что слух как бы заменил ей зрение,— казалось, она стала видеть ушами. В иные минуты такое расширение способностей кажется возможным. Глухой доктор Китто, вероятно, был во власти подобной же иллюзии, когда утверждал, что сделал путем долгой тренировки свое тело настолько чувствительным к звуковым колебаниям, что уже воспринимал их всем телом не хуже, чем другие — ушами.

Она впитывала каждое слово, произнесенное собеседниками. Они говорили не о каких-нибудь секретах. То была обыкновенная живая болтовня родственников, долгое время бывших в разлуке — телом, если не душой. Но Юстасия слушала не слова; через минуту она уже не могла вспомнить, что было сказано. Она прислушивалась к одному-единственному голосу, мало принимавшему участия в разговоре, всего, может быть, на одну десятую по сравнению с другими,— голосу, пожелавшему ей «доброй ночи»! Он иногда говорил «да», иногда «нет», иногда спрашивал о каком-нибудь давнем жителе Эгдона. И однажды поразил ее замечанием о том, как приветливо и дружелюбно смотрят окрестные холмы.

Голоса отдалились, ослабели, угасли. Только это и было ей дано, а все остальное скрыто. Но никакое другое событие не могло бы так ее взволновать. Долгие предвечерние часы она провела в грезах, стараясь представить себе, каким обаятельным должен быть человек, прибывший сюда прямо из Парижа,— проникнутый его духом, знакомый со всеми его красотами. И этот человек только что приветствовал ее.

Как только смутные фигуры встречаемых растаяли вдали, оба женских голоса изгладились из памяти Юстасии; но мужской сохранился. Почему? Было ли в голосе сына миссис Ибрайт — потому что, конечно же, это был Клайм! — было ли в нем что-то необычайное по звуку? Нет, просто он был всеобъемлющим. Весь мир эмоций был доступен тому, кто произнес это «доброй ночи». Эту его особенность она уловила сразу; остальное дополнило воображение. Только одну загадку оно не помогло ей разгадать: каковы же должны быть вкусы и склонности человека, который в косматых взгорьях Эгдона увидел приветливость и дружелюбие?

В таких случаях, как этот, тысяча мыслей проносится в разгоряченной голове женщины; их можно проследить на ее лице, но эти изменения облика, хотя явные, очень невелики. Она просияла; вспомнив о лживости воображения, поникла; приободрилась; вспыхнула; опять охладела. Круговорот обличий, порожденный круговоротом видений, встававших перед ней.

Юстасия вошла к себе в дом; она была в приподнятом настроении. Капитан блаженствовал у камина; он разгребал кочережкой пепел, обнажая докрасна накалившую поверхность торфа, и багровое пламя озаряло каминную нишу, словно отблесками от кузнечного горна.

— Почему мы не знакомы с Ибрайтами? — сказала она, подходя и протягивая к теплу свои нежные руки. — Жалко. Они как будто вполне приличные люди.

— А шут его знает почему, — отвечал капитан. — Сам-то старик мне даже нравился, хоть и был колючий, как терновая изгородь. Да ты не стала бы к ним ходить, будь мы даже знакомы.

— Почему?

— На твой городской вкус, они чересчур деревенщина. Едят на кухне, пьют мед и бузинную наливку и пол для чистоты песком посыпают. Вполне разумный образ жизни, по-моему, но как бы ты на это посмотрела?

— Но ведь миссис Ибрайт, кажется, благовоспитанная особа? Говорят, дочь священника?

— Да. Но уж ей пришлось жить, как у мужа было заведено. А потом небось и сама привыкла. Ах да, помню, я чем-то ее оскорбил, сам того не желая, и с тех пор мы не виделись.

Ночь, которая за этим последовала, была для Юстасии так богата впечатлениями, что навсегда ей запомнилась. Ей привиделся сон — и вряд ли кого из известных в истории сновидцев, от Навуходносора до Свофгэмского лудильщика, посещал когда-либо сон более многозначительный; а уж обыкновенной девушке, вроде Юстасии, наверняка никогда не доводилось увидеть такой сложный, загадочный и волнующий сон. В нем было столько же разветвлений, как в Критском лабиринте, такая же переменчивость, как в северном сиянии, буйство красок, как в июньских цветниках, и многолюдье, как на коронации. Для царицы Шехеразеды такой сон, пожалуй, немногим бы отличался от действительности; девушка, побывавшая при всех дворах Европы, возможно, сочла бы его только занятым; но для Юстасии в ее скромной доле он был ослепительным и волшебным.

Однако постепенно в этой смене образов выделилась одна сцена, более связанная, где знакомые черты Эгдонской пустоши смутно проступали, как фон, за блеском и оживлением действия. Юстасия танцевала под чудную музыку рука об руку с рыцарем в серебряных латах, который сопутствовал ей и во всех предыдущих фантастических превращениях; забрало на его шлеме было опущено. Извивы танца приводили ее в восторг. Ласковый шепот касался ее слуха, ей было сладко, как в раю.

Внезапно они вдвоем выскользнули из круга танцующих, нырнули в одно из маленьких озер, разбросанных на пустоши, и, вынырнув где-то на глубине, очутились в высоком, переливчато сияющем гроте под арками из радуг.

— Это будет здесь, — сказал голос рядом с ней, и, когда она, краснея, подняла глаза, она увидела, что рыцарь снимает шлем, чтобы ее поцеловать. В тот же миг раздался оглушительный треск, и фигура в серебряных латах рассыпалась, как колода карт.

— Ах, я так и не видела его лица! — вскрикнула она.

Юстасия проснулась. Треск происходил оттого, что внизу служанка распахнула ставни и впустила дневной свет, сейчас уже почти достигший всей силы, какую ему отпускало это скряжливое время года.

— Ах, я так и не видела его лица! — повторила Юстасия. — А ведь это, конечно, был мистер Ибрайт!

Когда она немного успокоилась, ей стало ясно, что многие перипетии этого сна естественным образом возникли из ее собственных дум и мечтаний за прошлый день. Но самый сон от этого не утратил интереса, ибо послужил отличным топливом для зарождавшегося в ней огня. Она была сейчас в том переходном состоянии от равнодушия к любви, когда о женщине говорят, что она «начинает увлекаться». Такой момент бывает в истории всех великих страстей, и в то время они еще подвластны даже самой слабой воле.

Юстасия, столь пылкая по натуре, была уже наполовину влюблена в создание своей фантазии. И этот фантастический характер ее увлечения, хотя не свидетельствовал о высоком интеллекте, говорил все же о ее духовных силах. Будь у нее чуточку больше привычки владеть собой, она стала бы разбираться в своем чувстве и тем ослабила его и в конце концов свела на нет; будь в ней чуточку меньше гордости, возможно, она, жертвуя девической скромностью, стала бы скитаться вокруг Блумс-Энда, пока не увидела бы Клайма. Но Юстасия не сделала ни того, ни другого. Она поступила, как самая примерная девица в ее положении: стала дважды и трижды в день прогуливаться по эгдонским холмам и зорко поглядывать кругом, поджидая счастливого случая.

В первый раз ей не повезло — ее героя нигде не было видно.

Она пошла вторично и опять была единственным человеческим существом на холмах.

В третий раз был густой туман; она поглядывала по сторонам, но почти без надежды: если бы даже он прошел в двадцати шагах, она бы его не заметила.

В четвертый раз, едва она вышла, полил дождь, и она вернулась.

В пятый раз она вышла под вечер; погода была прекрасная, и она долго гуляла, подошла даже к самому склону долины, в которой лежал Блумс-Энд. Внизу в полумиле расстояния она видела белые колья ограды, но он не показался. Она вернулась домой, совсем упав духом и стыдясь своей слабости. И твердо решила больше не искать встречи с парижским гостем.

Но судьба, как известно, своенравна. И едва Юстасия приняла это решение, как ей подвернулся тот счастливый случай, в котором ей отказывали, пока она его искала.

ГЛАВА IV

ЮСТАСИЯ ПУСКАЕТСЯ НА АВАНТЮРУ

Вечером этого последнего дня, двадцать третьего декабря, Юстасия была дома одна. Предыдущий час она провела в большой горести, оплакивая только что дошедший до нее слух, что Клайм Ибрайт недолго прогостит у матери и на будущей неделе уедет. «Ну конечно,— говорила она себе,— человек привык к веселью столичного города, у него там большое дело на руках, так станет ли он надолго задерживаться в нашей глухомани?» Возможность за такой короткий срок повидаться лицом к лицу с обладателем столь взволновавшего ее голоса была маловероятной, разве что она стала бы, как малиновка, кружить возле дома его матери, что было бы и трудно и неприлично.

В таких случаях провинциальные девушки и парни прибегают к испытанному средству — посещению церкви. В обыкновенной деревне или маленьком городке всегда можно рассчитывать, что либо в первый день рождества, либо в ближайшее воскресенье любой местный уроженец, приехавший домой на праздники и не утративший еще, по старости или от скуки, желания и людей посмотреть, и себя показать, непременно появится где-нибудь на церковной скамье, сияя надеждой, смущением и новеньким костюмом. Так что собрание молящихся в рождественское утро представляет собой нечто вроде паноптикума мадам Тюссо — коллекцию всех знаменитостей, родившихся по соседству. Сюда может прокрасться покинутая любовница и тайком высмотреть, какие перемены произошли за год разлуки в забывшем ее возлюбленном; и украдкой бросая на него взгляды поверх молитвенника, мечтать, что былая верность вновь возродится в нем, когда новизна успеет ему надоест. И сравнительно недавняя местная жительница, вроде Юстасии, может прийти сюда и вдосталь разглядывать сына земли, покинувшего родные края до ее появления на сцене, и соображать, стоит ли завязать дружбу с его родителями, чтобы по-больше узнать о нем к следующему его приезду.

Но эти любовные хитрости были неосуществимы на Эгдоне. Здесь люди жили так разбросанно, что хотя и считались прихожанами местной церкви, но, в сущности, не принадлежали ни к одному приходу. Да и те, что наезжали сюда провести праздник со своими близкими, раз добравшись до этих одиноких жилищ, так уж и оставались там до самого отъезда, посиживая с друзьями у очага и попивая мед и другие подкрепительные напитки. Всюду кругом был дождь, снег, гололед, слякоть,— не было охоты тащиться за две-три мили в церковь и потом сидеть с мокрыми ногами, и в грязи от головы до пят рядом с другими, которые тоже были в какой-то мере соседями, но жили неподалеку от церкви и приходили туда чистенькие и сухие. Юстасия понимала, что вряд ли Клайм Ибрайт хоть раз выберется в

церковь за немногие дни своего отпуска, и было бы напрасной тратой сил гнать лошадь и кабриолет по отвратительной зимней дороге в надежде его увидеть.

Уже сгущались сумерки, и Юстасия сидела у огня в столовой или холле, как, может быть, правильнее было бы ее назвать; в это время года они обычно сиживали здесь, а не в гостиной, так как тут был огромный камин, в котором можно было жечь торф, а капитан предпочитал зимой именно этот вид топлива. Из всех предметов в комнате видимы были только те, что стояли на подоконнике, вырисовываясь на тусклом небе; это были: посередине — старинные песочные часы, а по бокам — две древние британские урны, откопанные в одном из соседних курганов и служившие цветочными горшками для двух кактусов с острыми, как бритва, листьями. В наружную дверь постучали. Служанки не было дома, равно как и дедушки. Пришелец подождал минуту, затем вошел и постучал уже в дверь столовой.

— Кто там? — спросила Юстасия.

— Простите, капитан Вэй, вы не позволите ли нам...

Юстасия встала и подошла к дверям.

— Почему вы так бесцеремонно входите! Надо было подождать.

— Капитан сказал, чтобы я входил, не спрашиваясь, — ответил приятный юношеский голос.

— Ах, так, — сказала Юстасия уже мягче. — А что тебе надо, Чарли?

— Да вот, не позволит ли ваш дедушка нам сегодня вечером в семь часов собраться у него в сарае — прорепетировать роли?

— О, значит, в этом году ты тоже участвуешь в святочном представлении?

— Да, мисс. Прежним-то капитан всегда разрешал...

— Я знаю. Ну что ж, можете воспользоваться нашим сараем, если хотите, — лениво согласилась Юстасия.

Выбор капитанского сарая для репетиции подсказывался прежде всего тем, что усадьба капитана находилась почти на самой середине пустоши. Молодые парни, составлявшие труппу, жили в разбросанных кругом домишках и ото всех до Мистовеера было примерно одинаковое расстояние. Да и самый сарай, просторный, как амбар, отлично подходил для их целей.

К святочным лицедействам и их участникам Юстасия относилась с величайшим презрением. Сами исполнители, хотя и не ставили свое искусство столь низко, однако большого энтузиазма не проявляли. Традиционное зрелище тем и разнится от всякого рода театральных «возрождений», что во втором случае все построено на увлеченности и энтузиазме участников, тогда как традиционное представление разыгрывается бесстрастно, почти механически, так что певольно задаешься вопросом, зачем же поддерживать этот обычай, если выполнять его так

поверхностно? Подобно Валааму и другим невольным пророкам, актеры произносят слова и делают жесты, какие полагаются им по роли, как бы под действием внутреннего принуждения, без участия собственной воли. Это отсутствие живого звука, пожалуй, и есть тот признак, по которому в наш век всяческого режиссура можно отличить окаменелый остаток подлинной старины от усердного ей подражания.

Исполнять должны были хорошо известную «Игру о святом Георгии», и все, кто не выступал сам, помогали в постановке, включая и женскую часть семьи. Без помощи сестер и возлюбленных как сшить костюмы? Но, с другой стороны, их участие имело и свои неудобства. Девушек нельзя было заставить уважать традицию в оформлении и украшении рыцарских доспехов, и они налепливали бархатные и шелковые петли и банты всюду, где им нравилось. Латный воротник, кольчужный нагрудник, шлем, кираса, перчатки, рукав — все это их женский глаз воспринимал лишь как некую поверхность, на которой можно укрепить развевающийся пучок ярких лоскутьев.

Допустим, у Джо, которому предстояло сражаться на стороне христиан, есть возлюбленная; у Джима, выступающего на стороне мусульман, тоже таковая имеется. И пока готовили костюмы, до подружки Джо доходил слух, что подружка Джима обшивает атласом подол его плаща, в дополнение к шелковым лентам забрала — его всегда делали из цветных полосок шириной в полдюйма, которые и свисали перед лицом рыцаря. Тогда подружка Джо немедленно принималась украшать атласными фестонами подол того плаща, который был у нее в руках, и, кроме того, прилаживала пучок лент к наплечнику. А подружка Джима, известаясь об этом и чтобы не отставать, нашивала банты и розетки всюду, где только возможно.

В результате Храбрый солдат христианской армии ничем не отличался по снаряжению от Турецкого рыцаря, и, что еще хуже, самого святого Георгия легко было спутать с его смертельным врагом — Сарацином. Сами же актеры, хотя втайне и огорчались таким смешением лиц, не смели, однако, обижать столь необходимых им помощниц, и все эти нововведения оставались в силе.

Был, правда, и предел этому стремлению к единообразию. Знахарь, или Доктор, сохранял свой облик в неприкосновенности: темная одежда, особой формы шляпа, бутылка микстуры, повешенная через плечо, — этого уж ни с кем не спутаешь. И то же можно сказать о традиционной фигуре Рождественского Деда с его огромной дубинкой; на эту роль избирали пожилого мужчину, который и сопровождал труппу как ее защитник и покровитель во время долгих ночных путешествий из одного прихода в другой, а также был ее казначеем.

Пробило семь часов — время, назначенное для репетиции — и вскоре Юстасия услышала голоса в деревянном сарае. Стремясь хоть немного развеять угнетавшее ее чувство безотрадно-

сти человеческой жизни, она зашла под навес, примыкавший к сараю; эта пристройка служила складом овощей, и здесь в глиняной стене было проделано для голубей небольшое отверстие, через которое можно было видеть внутренность сарая. Сейчас оттуда шел свет, и Юстасия, став на табуретку, заглянула внутрь.

На выступе стены горели три высокие свечи с фитилями из сердцевины камыша, и при их свете семь или восемь молодых парней расхаживали взад и вперед по сараю, декламируя роли и путая друг друга в усилиях навести порядок. Хемфри и Сэм, резчики дрова и торфа, присутствовали в качестве зрителей, равно как и Тимоти Фейруэй, который стоял, прислонившись к стене, и суфлировал актерам по памяти, пересыпая слова из роли критическими замечаниями и рассказами о тех славных днях, когда он и его сверстники сами были членами отборной эдгошской труппы.

— Ладно уж, лучше все равно не сделаете, — сказал он наконец. — Конечно, в наше время такую бы игру не приняли. Гарри, Сарацину, надо бы больше важности, и Джону незачем орать, так что аж глаза на лоб лезут. Ну, а в остальном ничего, сойдет. Костюмы-то у вас готовы?

— К понедельнику поспеют.

— Значит, в первый раз играть будете вечером в понедельник?

— Да. У миссис Ибрайт.

— У миссис Ибрайт? Что это ей вздумалось? Немолодая женщина, ей уж небось и надоесть успело.

— А она у себя вечеринку устраивает. В честь того, что ее сын Клайм после стольких лет на праздники домой приехал.

— Ах, да ведь и верно же, верно! Гостей созвала, я и сам к ней иду. Чуть не забыл, честное слово.

У Юстасии вытянулось лицо. Так. Вечеринка будет у Ибрайтов, а она, разумеется, в стороне. Она никогда не ходила на эти местные сборища, даже считала это низким для себя. Но если б ходила, вот был бы случай повидаться лицом к лицу с человеком, чье влияние пронизывало ее всю, словно летнее солнечное тепло. Усилить это влияние значило бы вновь испытать тревоги, которых она жаждала; отринуть его навсегда — это, пожалуй, помогло бы ей вернуть себе спокойствие; оставить все, как есть, было мученьем.

В сарае уже собирались уходить, и Юстасия вернулась к своему креслу у огня. Она погрузилась в задумчивость, но не надолго. Через несколько минут Чарли, тот юноша, что просил у нее разрешения воспользоваться сараем, прошел в кухню, чтобы повесить ключ на место. Юстасия услышала его шаги и, растворив дверь в коридор, сказала:

— Чарли, зайди сюда на минутку.

Это его удивило. Он вошел, смущаясь и краснея, ибо, как и многие другие, не был равнодушен к ее прелестям.

Она указала ему на стул у камина и сама села с другой стороны. По ее лицу было видно, что причина, побудившая ее звать юношу в дом, сейчас разъяснится.

— Какую роль ты исполняешь, Чарли? Кажется, Турецкого рыцаря? — спросила красавица, глядя на него поверх дыма, клубившегося над огнем.

— Да, мисс, Турецкого рыцаря, — робко ответил он.

— Большая это роль?

— Порядочная. Этак раз девять надо стихи читать.

— Можешь ты мне их сейчас прочитать? Я бы хотела послушать.

Глядя с улыбкой в огонь, юноша начал:

Вот я, Рыцарь турецкий, стою пред тобою,
В Турции выучен ратному бою,—

и продолжал читать реплику за репликой вплоть до последней сцены, в которой ему должно было пасть от руки святого Георгия.

Юстасия уже и до того раз или два слышала, как читали эту роль. Когда Чарли кончил, она начала точно теми же словами и продекламировала все от начала и до конца без единой запинки или искажения. Это было то же самое, и, однако, какая разница! В ее декламации была та законченность и мягкость, которая так поражает в картинах Рафаэля, когда видишь их после Перуджино, и, при одинаковости сюжета у обоих художников, более позднего мастера ставит неизмеримо выше его предшественников.

У Чарли глаза округлились от удивления.

— Ну и память же у вас! — сказал он восхищенно. — Я три недели зубрил!

— Я эти стихи раньше слышала, — скромно заметила она. — Так вот что, Чарли: хочешь сделать мне приятное?

— Все, что велите, мисс.

— Позволь мне один раз сыграть вместо тебя.

— Ой, мисс! Да как же вы?.. В женском платье?..

— Я могу достать мужское, — по крайней мере, все, что понадобится вдобавок к театральному костюму. Что я должна подарить тебе, чтобы ты одолжил мне костюм и позволил занять твое место на час или два в понедельник вечером — и никому никогда и словом не обмолвился о том, кто я и что я? Тебе, конечно, придется объяснить им, что ты не можешь играть в этот вечер и что кто-то другой — ну, скажем, двоюродный брат мисс Вэй — будет играть вместо тебя. Остальные никогда со мной не разговаривали, так что они меня не узнают, а если и узнают, мне все равно. Ну так что же тебе дать, чтобы ты согласился? Полкроны?

Юноша покачал головой.

— Шесть шиллингов?

Он опять покачал головой.

— Денег мне не надо, — сказал он, поглаживая ладонью набалдашник железной подставки для дров.

— А что же тебе надо, Чарли? — огорченно спросила Юстасия.

— Помните, мисс, что вы мне запретили в прошлый раз возле майского дерева? — тихо проговорил юноша, не поднимая глаз и все еще поглаживая набалдашник.

— Да, — уже с ноткой надменности отвечала Юстасия. — Ты хотел держать меня за руку, когда мы стояли в кругу, так, что ли?

— Полчаса этого самого, мисс, и я согласен.

Юстасия пристально поглядела на него. Он был тремя годами моложе ее, но, очевидно, из молодых, да ранний.

— Полчаса чего? — спросила она, хотя и сама уже догадалась.

— Поддержать вашу руку в моей.

Она помолчала.

— А если четверть часа? — сказала она.

— Хорошо, мисс Юстасия, только чтобы мне можно было потом ее поцеловать. Пусть четверть часа. И клянусь, я все сделаю, чтобы вы могли занять мое место и никто бы не узнал. Вы не бойтесь, что кто-нибудь вас по голосу признает?

— Это возможно. Но я возьму камешек в рот, будет не так похоже. Хорошо; когда принесешь костюм, меч и жезл, я позволю тебе поддержать мою руку. А теперь иди, сейчас ты мне больше не нужен.

Чарли ушел, и Юстасия почувствовала, что в ней снова пробуждается интерес к жизни. Было чего ждать, чего добиваться; была надежда его увидеть, да еще таким заманчиво дерзким способом.

— Ах, — сказала она себе, — цель, ради которой стоило бы жить, вот чего мне недостает!

В манерах Юстасии всегда была медлительность и даже как бы дремотность; ее страсти таились в глубине и отличались скорее силой, чем живостью. Но когда она наконец пробуждалась, она иной раз бывала способна на внезапные и стремительные поступки, которые на это краткое время придавали ей сходство с людьми, порывистыми по натуре.

К риску быть узнанной она относилась довольно равнодушно. Молодые парни, исполнители ролей, вряд ли хорошо ее знают. Насчет гостей, которые соберутся, у нее не было такой уверенности. Но, в конце концов, даже если узнают, тоже не страшно. Обнаружится самый факт, но не ее тайные побуждения. Решат, что это мимолетная прихоть девицы, о которой и без того известно, что она со странностями. А что она по глубоким причинам сделала то, что естественно делать в шутку, это никому и в голову не придет.

На другой день, чуть стало смеркаться, она уже караулила

возле сарая. Дедушка был дома, и ей нельзя было звать своего сообщника в комнаты.

Он возник на темном челе пустоши, словно муха на лице негра. Он нес узел с вещами и подошел, слегка запыхавшись от быстрой ходьбы.

— Я принес все, что нужно, — прошептал он, кладя свою пошу на порог. — А теперь, мисс Юстасия...

— ...ты хочешь получить плату. Она готова. Я от своих слов не отрекаюсь.

Она прислонилась к дверному косяку и протянула ему руку. Он взял эту руку в свои с бесконечной нежностью — так ребенок держит в ладонях пойманного воробышка.

— На ней перчатка!.. — сказал он укоризненно.

— Ну да, я гуляла, — откликнулась она.

— Но, мисс!..

— Да. Это, пожалуй, нечестно. — Она сняла перчатку и снова протянула ему руку.

Они стояли молча, минуту за минутой, глядя на темнеющие деревья, думая каждый о своем.

— Я бы не хотел все сразу, — благоговейно сказал Чарли после того, как шесть или восемь минут ласкал ее руку. — Возможно, я остальные минутки как-нибудь в другой раз?..

— Как хочешь, — равнодушно ответила Юстасия. — Только не позже, чем на этой неделе. А сейчас мне еще одно от тебя нужно: подожди, пока я переоденусь, и посмотри, правильно ли я все буду делать. Но сперва я должна заглянуть домой.

Она исчезла на минуту. Зайдя в дом, она увидела, что дедушка мирно дремлет в кресле.

— Ну, — сказала она, вернувшись, — погуляй в саду, а я тебя позову, когда буду готова.

Чарли бродил по дорожкам и ждал и вскоре услышал тихий свист. Он вернулся к дверям сарая.

— Это вы свистели, мисс Вэй?

— Да. Заходи, — донесся из темноты голос Юстасии. — Я не могу зажигать свет, пока дверь открыта, а то еще увидят. И заткни шапкой оконце в прачечную, если сумеешь найти его на ощупь.

Он сделал, как ему было велено, Юстасия зажгла свечи и предстала перед ним в мужском обличье, блистая яркой одеждой и вооруженная с головы до ног. Может быть, она и смуглялась на миг под его жадным взглядом, но краска стыда, если таковая появилась на ее лице, не была видна за свисавшими со шлема цветными лентами, которые в этих костюмах имитировали рыцарское забрало.

— Все почти впору, — сказала она, глядя вниз, на свои ноги в белых брюках. — Только рукава камзола — или как там он у вас называется — чуточку длинны. А штанины я могу подвернуть. Ну теперь смотри внимательно.

И Юстасия принялась декламировать свою роль, сопровож-



дая наиболее воинственные фразы ударами меча по жезлу или копьё в традиционной манере этих представлений и с важностью расхаживая взад и вперед. Чарли был восхищен и добавил только несколько очень мягких критических замечаний, ибо прикосновение руки Юстасии еще не отвеялось от его ладоней.

— Теперь насчет того, как объяснить твоё отсутствие, — сказала она. — Где вы встречаетесь завтра, перед тем как идти к миссис Ибрайт?

— Мы хотели встретиться здесь, мисс, если вам удобно. Ровно в восемь, чтобы попасть туда к девяти.

— Хорошо. Ты, конечно, совсем не должен показываться. Я войду с опозданием на пять минут, уже одетая, и скажу им, что ты не можешь прийти. Я решила, что лучше всего будет, если я тебя куда-нибудь вечером пошлю, чтобы у тебя была настоящая причина. Оба наших пони часто убегают в луга — вот ты и пойдешь завтра вечером посмотри, не удрали ли они опять. Остальное я все улажу. А теперь можешь уходить.

— Хорошо, мисс. Но мне хотелось бы еще одну минутку того, что мне следует, если вы не против.

Юстасия, как и раньше, протянула ему руку.

— Одна минута,— отсчитала она и продолжала считать, пока их не набралось семь или восемь. Тогда она отняла руку и отступила на несколько шагов, вдруг опять став для него чужой и далекой. Выполнив договор, она снова воздвигла между ними преграду, непроницаемую, как стена.

— Как, уже все?.. А я не хотел все сразу,— сказал он со вздохом.

— Ты получил сполна,— возразила она, отворачиваясь.

— Да, мисс. Ну что ж, значит, так. Пойду теперь домой.

ГЛАВА V

В ЛУННОМ СВЕТЕ

На следующий вечер исполнители, собравшись в том же сарае, поджидали Турецкого рыцаря.

— Двадцать минут девятого по «Молчаливой женщине», а Чарли все нет.

— Десять минут по Блумс-Энду.

— Без десяти восемь по часам дедушки Кентла.

— Без пяти по капитанским.

На Эгдоне не существовало единого времени. Час дня там определялся по-разному, в зависимости от того, какого счета придерживался данный хутор или деревушка; некоторые из этих исчислений имели общий корень, но впоследствии раскололись, другие с самого начала были независимы друг от друга: Западный Эгдон считал время по часам Блумс-Энда, восточный — по тем, что висели в гостинице «Молчаливая женщина». Часы дедушки Кентла в былые годы имели много приверженцев, но с тех пор, как он состарился, вера в них поколебалась. Святочные лицедеи пришли из разных мест, каждый со своим представлением о времени; поэтому, в порядке компромисса, решено было еще подождать.

Юстасия наблюдала за собравшимися сквозь дырку для голубей; найдя момент подходящим, она вышла из-под навеса и смело дернула за кольцо на дверях сарая. Дедушка к этому времени уже засел у «Молчаливой женщины».

— А вот и Чарли — наконец-то! Что ты так опаздываешь, Чарли?

— Это не Чарли,— проговорил Турецкий рыцарь из-под своего забрала.— Я двоюродный брат мисс Вэй и решил любопытства ради занять его место. Чарли послали в луга отыскивать наших сбежавших пони, я и согласился сыграть вместо него, потому что уже ясно было, что он вовремя не поспеет. Я знаю роль не хуже его.

Ее легкая походка, стройная фигура и полная достоинства манера держаться внушили актерам мысль, что они, пожалуй,

только выиграют от этой замены, если, конечно, новый приходец способен сыграть как следует.

— Что ж, это ничего, только справишься ли? Уж больно ты молод,— сказал святой Георгий. Голос Юстасии показался ему куда более юным и нежным, чем у Чарли.

— Говорю вам, я знаю все до последнего слова,— решительно отвечала Юстасия. Смелость — это все, что ей было нужно, чтобы выйти победительницей, и она вооружилась смелостью.— Не канительтесь, ребята, давайте репетировать. И посмотрим, найдете ли вы у меня хоть одну ошибку.

Пьесу наскоро прорепетировали, и все пришли в восторг от нового рыцаря. В половине девятого погасили свечи и двинулись через пустошь по направлению к дому миссис Ибрайт в Блумс-Энде.

К вечеру слегка подморозило, на вереске лежал иней, и луна, хотя и неполная, окутывала светлым и таинственным сиянием фантастические фигуры актеров, чьи перья и банты шелестели на ходу, как осенние листья. Путь их на этот раз лежал не мимо Дождевого кургана, а низом, по долине, так что эта древняя возвышенность оставалась немного восточнее. По дну долины тянулась зеленая полоса шириною шагов в десять, и блестящие инея на стеблях травы, казалось, перебежали вперед вместе с тенями идущих. Справа и слева кучились заросли дрока и вереска, как всегда непроглядно темные,— жалкий полумесяц был бессилен посеребрить такую черноту.

После получаса ходьбы и разговоров они достигли того места в долине, где травяная лента расширялась и подходила к фасаду дома. Завидев его, Юстасия, на которую во время этого ночного перехода в компании молодых парней не раз уже нападали сомнения, вновь ощутила радость от того, что затеянная ею авантюра все же осуществилась. Что ж, она ведь сделала это, чтобы повидать человека, который как будто имел власть освободить ее душу от смертельного гнета. Что такое Уайлдив? Он привлекателен, да, но ей неровня. А сейчас она, может быть, увидит более подходящего для себя героя.

По мере приближения к дому становилось все яснее, что там всюду идет веселье. Протяжные басовитые звуки серпента, излюбленного духового инструмента тех времен, дальше проникали в пустошь, чем жиденький дискант скрипки, и сперва актеры слышали только их да изредка особенно громкий топот какого-нибудь рьяного танцора. Когда они подошли еще ближе, эти разрозненные звуки объединились в бойкий плясовой мотив — «Капризы Нэнси».

Он там, конечно. Кто та, с кем он сейчас танцует? Быть может, в эту самую минуту какая-то неведомая женщина, гораздо ниже Юстасии по уму и обаянию, решает его судьбу с помощью этого самого тонкого из всех соблазнов. Танцевать с мужчиной — значит за один час сосредоточить на нем обстрел, который по правилам должен бы растянуться на целый год оса-

ды. Перейти к ухаживанию, минуя знакомство, и к браку, минуя все этапы ухаживания,— такое сжатие сроков доступно лишь тем, кто идет кратчайшей дорогой. О, она все узнает; она будет зорко следить за всеми и поймет, свободно ли еще его сердце.

Наша предприимчивая девица прошла следом за другими через калитку в белом палисаде и остановилась перед открытой галерейкой, тянувшейся вдоль дома. Сверху он, словно толстой коркой, был накрыт соломенной крышей, низко свисавшей меж верхних окон; фасад дома, ярко освещенный луной, когда-то был белым, но теперь густые плети разросшегося пираканта затемняли большую его часть.

Тотчас обнаружилось, что танцы происходят прямо за входной дверью, без всяких промежуточных помещений. Слышно было, как шелестят об нее юбки, как танцоры задевают за нее локтями и даже иной раз ударяются об нее плечом. Юстасия, хотя и жила всего в двух милях от дома миссис Ибрайт, никогда не бывала внутри этого причудливого старинного жилища. Знакомство капитана Вэя с Ибрайтами всегда было самым поверхностное, так как капитан впервые появился в здешних краях и купил давно пустовавший дом на Мистоверском холме незадолго до кончины мужа миссис Ибрайт, а после смерти старика и отъезда сына порвалась и та дружба, которая за это короткое время успела завязаться.

— Значит, там за дверью нет коридора? — спросила Юстасия, когда они все уже стояли в галерее.

— Нету,— ответил юноша, который исполнял роль Сарацина.— Дверь открывается прямо в большую комнату, где они сейчас пляшут.

— Так что нельзя отворить, не помешав танцам?

— То-то и оно. Придется нам здесь подождать, пока кончат, потому черный ход они на ночь всегда запирают.

— Теперь уж недолго,— сказал Рождественский Дед.

Но это предположение не оправдалось. Снова музыканты доиграли один танец и тут же без передышки начали другой, да с таким пылом и жаром, как будто только что взяли за свои инструменты. На сей раз это был тот кругообразный мотив без начала, развития и заключения, который из всех танцев, хранимых в памяти вдохновенного скрипача, пожалуй, лучше всего передает идею бесконечности — знаменитый «Сон дьявола». О стремительном движении танцоров, увлекаемых бурей звуков, немые свидетели, стоявшие спаружи в лунном свете, могли судить по тому, как часто грохали в дверь носки и каблуки, когда хоровод кружился особенно быстро.

Первые пять минут слушать было довольно занятно, но пять минут превратились в десять, потом в пятнадцать, а никаких предвестий конца не замечалось в этом весьма бодром «Спе». Удары в дверь, смех и топот ничуть не ослабевали, и удоволь-

ствие от ожидания под открытым небом значительно уменьшилось.

— Зачем миссис Ибрайт устраивает такие вечеринки? — спросила Юстасия, несколько удивленная простецким характером веселья.

— Да у нее не всегда так, бывает и по-благородному. А сегодня решила всех соседей созвать без разбора, и простых поселян, и рабочих, — пусть, мол, повеселятся по-своему, а потом она их хорошим ужином угостит. И сама с сыном за всеми ухаживает.

— Понятно, — сказала Юстасия.

— Ну, вроде конец, — сказал святой Георгий, который стоял, приложив ухо к двери. — Сейчас к этому углу парень с девушкой прибились, и, слышу, он ей говорит: «Ах, как жалко, конечно наше блаженство, душенька».

— Слава богу, — отозвался Турецкий рыцарь, топая ногами и снова беря в руки прислоненный к стене жезл. Она была в более тонких башмаках, чем ее спутники-мужчины, и ноги у нее отсырели и застыли.

— Ой, нет, еще не конец, — сказал Храбрый солдат, глядя в замочную скважину; музыканты уже опять играли новый зажигательный мотив. — Дедушка Кентл стоит в этом углу и ждет своей очереди.

— Ничего, это рил для шести человек, скоро кончат, — утешил Доктор.

— Да почему бы нам не войти, хоть пляшут, хоть нет? Они же сами нас позвали, — сказал Сарацин.

— Ни в коем случае, — властно сказала Юстасия, быстро расхаживая между домом и калиткой, чтобы согреться. — Вломиться во время танца, помешать гостям — это невежливо.

— Вот еще командир выискался, — проворчал Доктор. — Думает, он важная птица, оттого что чуточку больше учился, чем мы.

— Иди ты — знаешь куда! — отрезала Юстасия.

Трое или четверо парней в это время перешептывались, потом один обратился к ней.

— Можно вас спросить? — сказал он мягко. — Ведь вы мисс Вэй? Да? Нам думается, что это так.

— Можете думать, что вам угодно, — с расстановкой проговорила Юстасия. — Но порядочный мужчина не станет распускать сплетни про девушку.

— Мы никому не скажем, мисс. Честное слово.

— Спасибо, — ответила она.

Тут скрипки пронзительно взвизгнули на финальной ноте, а серпент издал напоследок такой густой рев, что крыша едва не взлетела на воздух. Когда по наступившей в доме сравнительной тишине актеры заключили, что танцующие сели отдохнуть, Рождественский Дед выступил вперед, поднял щеколду и просунул голову в дверь.

— А, комедианты, комедианты пришли! — вскричали разом несколько гостей. — Очистить место для комедиантов!

Тогда согбенный Рождественский Дед окончательно протиснулся в комнату; помахивая своей огромной дубинкой и жестами указывая, где быть публике, а где сцене, он в бойких стихах уведомил собравшихся, что вот он, Рождественский Дед, прибыл, — рады не рады, а принимайте, — и закончил свою речь так:

Место нам, место для представления,
Здесь сейчас будет кровавое сражение,
Нынче на святках, как и в старые года,
О святом Георгии пойдет у нас игра.

Гости тем временем рассаживались в одном конце комнаты, скрипач подтягивал струну, серпентист прочищал амбушюр. Наконец игра началась.

Первым вошел Храбрый солдат, выступающий на стороне святого Георгия:

— Вот я, Храбрый солдат, по прозвищу Рубака, — начал он и закончил свою речь тем, что бросил вызов неверным, после чего полагалось явиться Юстасии в роли Турецкого рыцаря. До сих пор она, вместе с другими еще не занятыми актерами дожидалась в лунном свете, заливавшем галерею. Теперь без промедления и без всяких видимых признаков робости она вошла и заговорила:

Вот я — Рыцарь турецкий — стою пред тобою,
В Турции выучен ратному бою.
Лучше смиришь, не то голову с плеч
Срежет тебе мой сверкающий меч!

Декламируя, она высоко держала голову и старалась говорить как можно грубее, — под покровом лат и шлема она чувствовала себя в безопасности. Но необходимость все время следить за собой, чтобы не сделать промаха, новизна обстановки, мерцание свечей, свисающие на глаза ленты забрала — все это мешало ей сколько-нибудь ясно разглядеть присутствующих. По ту сторону стола, на котором стояли свечи, маячили какие-то лица — вот и все, что она увидела.

Меж тем Джим Старкс, он же Храбрый солдат, выступил вперед и, сверкая глазами на Турка, произнес:

Еще увидим, кто из нас двух смирится.
Обнажай-ка меч и давай биться!

И они стали биться: и Храбрый солдат очень эффектно пал от поразительно слабого удара Юстасии — Джим Старкс в своем артистическом рвении грохнулся со всего роста о каменный пол с такой силой, что только чудом не вывихнул себе плечо. Затем после нескольких и довольно-таки слабо прозвучавших реплик Турецкого рыцаря и его похвальбы, что он точно

так же разгромит святого Георгия и всю его рать, на сцену торжественно вступил сам святой Георгий, победоносно размахивая мечом:

Вот я, святой Георгий, великий воин,
Веры Христовой защитник и покровитель,
Злого дракона, грозу Египта, в бою я сразил
И тем сердце красавицы Сабры, царской дочери, покорил.
Кто из смертных столь дерзостно мнит о себе,
Что равняться со мною задумал в борьбе?

Это был тот самый юноша, который первым узнал Юстасию, и теперь, когда она, в облике Турка, отвечала ему с надлежащим вызовом и тотчас вступила в бой, он всеми силами старался как можно деликатнее действовать мечом. Будучи ранен, рыцарь упал на одно колено, согласно ремарке. Тотчас появился Доктор и восстановил его силы, дав ему отпить из своей бутылки, и бой возобновился, причем Турок слабел постепенно, пока не испустил дух,— одним словом, его умирание в этой старинной драме было столь же затяжным, как, по слухам, и у его тезки в наши дни.

Это ступенчатое склонение к земле и было отчасти причиной, почему Юстасия решила, что роль Турецкого рыцаря, хотя не самая короткая, будет для нее наиболее подходящей. Внезапный переход из вертикального положения в горизонтальное, как у других участников сражения, которые валились наземь, как бревна, для девушки был бы неизящен и неприличен. Гораздо удобнее было умирать, как полагалось Турку,— мало-помалу и с расстановкой.

Теперь Юстасия была среди убитых, однако не лежала плашмя на полу, как другие, ибо изловчилась скончаться в полусидячем положении, прислонясь спиной к футляру стоячих часов, так что голова ее достаточно возвышалась над полом. Игра продолжалась с участием святого Георгия, Сарацина, Доктора и Рождественского Деда, и Юстасия, больше не занятая в пьесе, впервые могла спокойно оглядеть комнату и поискать среди зрителей того, кто ее сюда привлек.

ГЛАВА VI

ОНИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В комнате еще раньше все было переставлено для танцев — большой дубовый стол был отодвинут к камину и загораживал его, словно бруствер. По обоим концам стола, позади него и в каминной нише сидели гости, многие еще раскрасневшись и запыхавшись после пляски; среди них Юстасия бегло отметила несколько знакомых лиц — это были зажиточные хозяева из мест за пределами Эгдонской пустоши. Как она и ожидала, Томазин нигде не было видно, и Юстасия вспомнила, что, когда они под-

ходили к дому, в одном из верхних окон горел свет,— очевидно, в комнате Томазин. Со стула в глубине ниши торчал нос, подбородок, руки, колени и носки сапог, а когда она вгляделась, эти разрозненные элементы объединились в фигуру дедушки Кентла; он помогал иногда миссис Ибрайт в саду и поэтому оказался в числе приглашенных. Из торфяной Этны у его ног поднимался дым, вился по дымооборотам, ударялся о ящик с солью и исчезал среди подвешенной для копчения грудинки. Но тут нечто иное приковало к себе взгляд Юстасии. По другую сторону камина стоял служивший вместо дивана большой деревянный ларь с высокой спинкой — необходимое дополнение к этим старинным каминам, где огонь горит так открыто, что только очень сильная тяга может унести дым в трубу. По отношению к огромной пещеристой нише камина он выполнял ту же роль, что восточный заслон из деревьев в открытой ветрам усадьбе или высокая северная стена в саду. Снаружи от ларя свечи оплывают, пряди волос развеваются, молодые женщины дрожат и старики чихают. Зато внутри — рай. Ни единое дуновение не колеблет воздух, спины так же согреты, как и лица, и в этом благодатном тепле песни и затейливые рассказы о старине рождаются из уст сидящих столь же естественно, как спелые дыни на своих плетях в парнике.

Но не те, кто сидел там, интересовали Юстасию. На исчернанкоричневом мореном дереве спинки с необыкновенной четкостью вырисовывалось лицо. Кто-то стоял, прислонясь к наружному концу ларя,— да, Клемент Ибрайт, или Клайм, как его здесь звали; Юстасия сразу поняла, что это он и никто другой. Эта озаренная отблесками свечей голова на темном фоне была словно небольшая — фута в два — картина Рембрандта, выполненная в самой подчеркнутой его манере. И странная притягательность этого лица сказывалась в том, что, хотя вся фигура стоявшего была видна, взгляд ваш невольно обращался только к его лицу.

Для людей пожилых это было лицо молодого человека, но юноше даже странным показалось бы говорить тут о молодости. Ибо это было одно из тех лиц, видя которые меньше думаешь о прожитых человеком годах, чем о накопленном им опыте. Число лет могло служить точной характеристикой Иареда, Малелеила и остальных наших допотопных праотцев, но возраст современного человека измеряется интенсивностью его внутренней истории.

Лицо это было хорошо, даже превосходно, вылеплено. Но сознание уже начало использовать его как памятные таблички, на которых владелец записывает все свои пристрастия, по мере того как они возникают и развиваются. Уже ясно было, что еще зримая в нем красота вскоре будет безжалостно изглодана ее нахлебником — мыслью, хотя эта разрушительница могла бы с таким же успехом вскармливаться в оболочке более грубой, где нечему было вредить. Если бы небеса охранили Ибрайта от уто-

мительной привычки к размышлению, люди говорили бы о нем — «красавец». Если бы мозг его созрел в окладе черт более жестких, о нем сказали бы — «мыслитель». Но здесь внутренняя напряженность подтачивала внешнее совершенство, и люди говорили, что вид у него какой-то странный.

Те, что вначале любовались им, кончали тем, что вчитывались в него, как в книгу. Ибо на лице его было немало четких записей. Хотя еще не изможденное мыслью, оно уже носило на себе знаки, говорившие о попытках осмыслить окружающее, — знаки, которые мы передко находим на человеке после четырех или пяти лет его самостоятельных усилий, следующих за мирным периодом ученичества. По нему было видно, что мысль есть недуг тела, он был как бы косвенным доказательством того, что идеальная телесная красота несовместима с утонченностью чувств и полным осознанием заключенных в самой природе противоречий.

Духовный свет в человеке тоже ведь питается маслом жизни, как и физическая наша натура, и печальные следствия двойного спроса на один и тот же запас уже были на нем заметны.

Есть люди, при встрече с которыми философ жалеет, что мыслитель создан из брэнной материи, а художник — что этой брэнной материи приходится мыслить. Встретясь им Ибрайт, взглядишь они в него попристальнее, оба — и философ и художник, — без сомнения, стали бы, каждый со своей точки зрения, горько оплакивать эту взаимозависимость тела и духа, разрушительную и для того и для другого.

Что же касается выражения его лица, то в нем было видно, как врожденная веселость борется против угнетения извне — и не всегда успешно. Оно выражало одиночество, но и еще нечто большее. Как обычно у даровитых натур, божество, позорно закованное в тюрьму человеческой плоти, сверкало в нем как луч.

Все это как-то странно подействовало на Юстасию. В том взвинченном состоянии, в каком она была уже и до этого, даже человек самой ординарной внешности произвел бы на нее впечатление. Но сейчас, глядя на Ибрайта, она испытывала смущение и робость.

Представление кончилось: Сарацину отрубили голову, святой Георгий одержал победу. Никаких восторгов по этому поводу никто не выказал, как не стали бы их выказывать по поводу того, что осенью в лесу бывают грибы, а весной подснежники. Зрители отнеслись к пьесе с такой же флегмой, как и сами актеры. Это было развлечение; которому полагалось предаваться каждый год на святках, — и говорить тут было не о чем.

Комедианты спели заунывную песнь, которой заканчивается пьеса и во время которой все убитые безмолвно и зловеще встают на ноги, словно призраки наполеоновских солдат на Полночном параде. После чего дверь растворилась, и на пороге появился Фейруэй в сопровождении Христиана и еще одного поселя-

нина. Они дожидались снаружи, пока кончится пьеса, так же как актеры недавно дожидались окончания танцев.

— Заходите, заходите,— сказала миссис Ибрайт, и Клайм поспешил навстречу новым гостям.— Что это вы так поздно? Дедушка Кентл давно уж здесь, мы думали, вы вместе придете, вы же все там рядом живете.

— Да я бы и раньше пришел,— сказал Фейруэй и остановился, отыскивая на потолочной балке гвоздик, чтобы повесить шляпу, но, обнаружив, что тот, на который он привык ее вешать, уже занят пучком омель, а все гвозди на стене — ветками остролиста, он в конце концов приладил свой головной убор в неустойчивом равновесии одним краем на ящик из-под свечей, а другим на верхушку стоячих часов.

— Я бы и раньше пришел, сударыня,— успокоившись, продолжал он,— да ведь знаю я, как тесно бывает в доме на вечеринках, ну и подумал, лучше уж погожу, пока у вас малость утрясется.

— И я тоже так подумал, миссис Ибрайт,— с важностью проговорил Христиан,— но отца разве удержишь, убежал из дому еще засветло. Я ему говорил, неприлично, мол, старику так рано приходиться, да ему слова что горох об стену.

— А что ж мне — половину пропустить, что ли? Нет уж, где веселье, туда я стрелой лечу! — бодро откликнулся дедушка Кентл из каминной ниши.

Фейруэй тем временем изучающе оглядывал Ибрайта.

— Вот хотите верить, хотите нет,— произнес он, обращаясь ко всем в комнате,— а я бы в жизнь не узнал этого джентльмена, кабы встретил его где-нибудь не у него в доме,— до чего же он изменился!

— Вы тоже изменились, Тимоти, и притом к лучшему,— ответил Ибрайт, окидывая взглядом плотную фигуру Фейруэя.

— А я? А я, мистер Ибрайт? Я тоже изменился к лучшему? Посмотрите и на меня! — воскликнул дедушка Кентл, выходя из ниши и останавливаясь в полуфуте от глаз Клайма для большего удобства обозрения.

— Посмотрим, посмотрим,— сказал Фейруэй и, взяв свечу, стал водить ею перед лицом дедушки Кентла, а тот, сияя улыбкой и отблесками свечи, молодцевато выпячивал грудь и поводил плечами.

— Вы очень мало изменились,— сказал Ибрайт.

— Помолодел немножко, вот и вся его перемена,— авторитетно заключил Фейруэй.

— Ну это не моя заслуга, гордиться нечем,— ухмыльнулся обрадованный старец.— А пофрантить люблю, это верно, в этом винюсь. Отроду был таков, все знают. Но с вами, мистер Клайм, мне, понятное дело, не равняться!

— Да и никому из нас,— баском, словно про себя, промолвил Хемфри.

— Нет, правда, другого такого молодца у нас и не видано,—

сказал дедушка Кентл.— Вот разве только я, когда в солдатах служил — уэссекскими красавцами нас тогда прозвали за то, что уж очень были щеголеваты... Да и то рядом с ним, не-ет, не поставишь! Но в восемьсот четвертом году многие говорили, что во всем Южном Уэссексе не сыскать такого храброго солдата, как я,— заметили, значит, как я мчался со всем отрядом по ихней главной улице мимо магазинных витрин в тот день, когда мы удирали из Бедмута, потому что прошел слух, будто Бонапартишка высадился за мысом... Эх, и картинка я был тогда — стройный как тополь, с кремневым ружьем, в гетрах, ташка у бедра, воротник под самые уши, а все снаряжение — ремни, португеза, ранец — так-то начищено, блестит, как семь звезд Большой Медведицы!.. Да, соседи, посмотрели бы вы на меня в восемьсот четвертом!

— Статью мистер Клайм в материнский род удался,— сказал Тимоти.— Я хорошо знал ее братьев. Таких длинных гробов ни для кого во всем Уэссексе не делали, да и то, говорят, покойному Джорджу колени малость согнуть пришлось.

— Гробы? Где? — спросил Христиан, подходя ближе.— Опять кто-нибудь привиденье видел, мистер Фейруэй?

— Нет, нет. Что тебе все мерещится, Христиан? Будь мужчиной,— укоризненно сказал Тимоти.

— Да я что, я ничего,— сказал Христиан.— Я только вспомнил, прошлой ночью смотрю, а моя тень вроде на гроб похожа... Это какая примета, соседи, когда твоя тень на гроб похожа? Очень плохая? Или ничего? Можно и не бояться?

— Еще чего — бояться? — презрительно сказал дедушка Кентл.— Я вот, окромя Бонапарта, никогда и никого не боялся, а то какой бы я был солдат? Да, очень жалко, что вы не видели меня в восемьсот четвертом!

К этому времени комедианты собрались уже уходить, но миссис Ибрайт пригласила их присесть и поужинать. От имени всех Рождественский Дед с благодарностью принял приглашение.

Юстасия была рада возможности побыть еще немного в доме. Холод морозной ночи, поджидавший их снаружи, сейчас казался ей вдвойне ледяным. Но и пребывание в доме имело свои неудобства. Так как в большой комнате не хватало места, скамью для актеров поставили наискось в растворенных дверях буфетной, там они уселись рядком, оставаясь, таким образом, в пределах залы. Миссис Ибрайт что-то сказала сыну, и он направился к ним через всю комнату, попутно задев головой свисавший с потолка пучок омель; он принес им угощение — жаркое и хлеб, пирог, сладкое печенье, мед и буквичное вино. Комедианты сняли шляпы и принялись есть и пить.

— Но хоть кусочек-то вы скушаете? — сказал Клайм Турецкому рыцарю, стоя перед этим воином с подносом в руках. Юстасия еще раньше отказалась и сидела по-прежнему в шляпе, только глаза ее блестели сквозь закрывавшие лицо ленты.

— Спасибо, нет, — отвечала она.

— Он у нас совсем еще молоденький, — добродушно пояснил Сарацин, — вы уж его извините. Он не из наших прежних, сегодня играл потому, что другой не мог прийти.

— Но что-нибудь скушать он может? — настаивал Клайм. — Хоть стаканчик меду выпейте или вина.

— И правда, выпей-ка, — сказал Сарацин. — Теплей будет домой идти.

Юстасия не могла есть, не открыв лица, но пить можно было и в шлеме. Стакан был принят из рук Клайма и исчез под лентами.

Во время этого короткого разговора Юстасия дрожала от страха, как бы не раскрылся весь ее хитроумный маскарад, но одновременно испытывала какую-то боязливую радость. Внимание, оказанное ей — но вместе с тем и не ей, а какому-то воображаемому лицу, — тем единственным мужчиной, которого она готова была боготворить, до крайности усложнило ее чувства. Она уже любила его, отчасти потому, что он был непохож на других, отчасти потому, что заранее решила в него влюбиться, а больше всего потому, что ей так нужно было любить кого-нибудь после ее разочарования в Уайлдиве. С ней произошло то же, что было со вторым лордом Литтлтоном, да, говорят, и с некоторыми другими: увидев во сне, что умрут в определенный день, они так поддались расстроенному воображению, что и в самом деле умерли в этот день. Стоит девушке допустить мысль, что ей суждено влюбиться в кого-то, встреченного в такой-то час и в таком-то месте, и можно считать, что это уже совершилось.

Может быть, в эту минуту что-то открыло Ибрайту пол этого существа, закованного в футляр маскардного наряда? Может быть, он ощутил, как велика ее сила чувствовать и пробуждать чувство в других и насколько ее внутренний мир обширнее, чем у ее товарищей по труппе? Когда переодетая Царица любви предстала перед Энеем, небесное благоухание сопровождало ее и открыло Энею ее природу. Если волнение земной женщины способно породить подобную же таинственную эманацию, Ибрайт сейчас должен был ее почувствовать. Он окинул Юстасию долгим пытливым взглядом, а затем погрузился в задумчивость, словно уже отвлекшись от того, что только что видел. Но это длилось одно мгновенье, он отошел, а Юстасия стала прихлебывать вино, едва ли сознавая, какой напиток она пьет. Человек, которому она предредила отдать свое сердце, прошел в угол буфетной.

Как сказано, актеры сидели на скамье, которая одним концом выходила в большую комнату, а другим — в маленькую, служившую буфетной. Юстасия, частью из робости, села на самом кончике, так что могла видеть и полную гостей зальцу и полутемную внутренность буфетной. Когда Клайм прошел в глубь буфетной, ее взгляд последовал за ним в царивший там полумрак. Там была дверь, и только Клайм потянулся к щекол-

де, как вдруг кто-то растворил дверь с наружной стороны, и свет пролился в комнату.

Это была Томазин со свечой в руке, озабоченная, бледная и хорошенькая. Ибрайт, казалось, был рад ее видеть и ласково сжал ее руку.

— Вот и хорошо, Тамзи,— сказал он с живостью, как будто ощутившись и вновь становясь самим собой.— Ты все-таки решила сойти. Я очень рад.

— Тсс! Нет, нет,— быстро сказала она.— Я только хотела поговорить с тобой.

— Но почему же не побыть с нами?

— Не могу. То есть мне не хочется. Я не совсем здорова. Да мы ведь еще долго будем вместе, раз ты останешься на все праздники.

— Без тебя не так весело. Тебе правда неможется?

— Немножко, милый мой брат, вот здесь,— ответила она, шутливо приложив руку к сердцу.

— А! Наверно, маме следовало пригласить еще кого-то, о ком она забыла?

— Вот уж нет! Просто я сошла, чтобы спросить тебя...

Тут он следом за нею переступил порог, дверь отворилась, и больше ни Юстасия, ни сидевший рядом с ней комедиант, единственные свидетели этой сцены, ничего не видели и не слышали.

Юстасию обдало жаром. Она тотчас догадалась, что Клайму, пробывшему дома всего два-три дня, не успели еще рассказать про Томазин и Уайлдива, и он, видя, что она живет дома, как и прежде, естественно, ничего не подозревал. Юстасия мгновенно и яростно возревновала его к Томазин. Может быть, сейчас Томазин еще и питает нежные чувства к другому, но долго ли это продлится, если она будет сидеть тут взаперти с этим двоюродным братом, таким интересным и столько повидавшим? Кто знает, какое чувство очень скоро возникнет между ними при постоянном общении и отсутствии отвлекающих предметов? Ребяческая любовь Клайма к ней, надо думать, уже остыла, но легко может разгореться вновь.

Юстасия оказалась в плену у собственных хитростей. Какая обида — быть так одетой, когда другая сияет во всей красе! Знай она, какое значение будет иметь для нее эта встреча, она бы горы своротила, лишь бы появиться здесь в естественном своем виде. Прелесть ее лица скрыта, обаяние ее чувства бесильно, чары ее кокетства лишены власти — ничего не оставлено ей, только голос,— жалкая участь нимфы Эхо! «Никто здесь меня не уважает»,— думала она, забывая, что, приняв на себя мужское обличье, она должна была ожидать, что и обходиться с ней будут, как с мужчиной. Так обостренны были ее чувства в этот момент, что невниманье к ней, естественное и созданное ею самой, она воспринимала как горькую обиду.

Женщины многого добивались в актерском платье. Не говоря

уже о таких, как прекрасная собой исполнительница роли Полли Пичем в начале прошлого столетия и другая, столь же взысканная судьбой, исполнительница роли Лидии Лэнгвиш в начале нынешнего века, которым досталась не только любовь, но еще и герцогские короны в придачу, — не говоря уже об этих счастливицах, великое множество их более скромных сестер по профессии умело завоевать любовь почти всюду, где им хотелось. Но Турецкому рыцарю всякую попытку достичь того же возбраняли эти болтающиеся ленты, которые она не могла откинуть со своего лица.

Ибрайт вернулся в комнату уже без своей кухни. В двух-трех шагах от Юстасии он вдруг остановился, словно пораженный какой-то мыслью. Он пристально разглядывал злополучного Турецкого рыцаря. Юстасия в замешательстве отвела глаза; сколько еще будет продолжаться это мученье! Помедлив несколько секунд, Ибрайт прошел дальше.

Иные чрезмерно пылкие натуры бывают склонны, потерпев поражение в любви, сразу ронять оружие из рук. Противоречивые чувства — любовь, страх, стыд — повергли Юстасию в полное расстройство. Только одного она сейчас хотела — бежать. Остальные комедианты, по-видимому, не торопились уходить; щепнув сидевшему с ней рядом пареньку, что она подождет их возле дома, она насколько можно незаметнее отошла к двери, растворила ее и выскользнула наружу.

Тишина и пустынность ночи успокоили ее. Она прошла вперед, к палисаду, и облокотилась на него, глядя на луну. Она недолго простояла так; дверь из дома снова отворилась. Думая, что это остальные комедианты, Юстасия обернулась; но нет, это Клайм Ибрайт вышел так же украдкой, как и она, и тихонько затворил за собой дверь.

Он приблизился и стал рядом с ней.

— Меня преследует одна странная мысль, — проговорил он, — и я хотел бы задать вам вопрос. Скажите, ведь вы женщина? Или я ошибаюсь?

— Да, я женщина.

Взгляд его с любопытством остановился на ней.

— И что же — девушки теперь часто выступают в этих святочных представлениях? Раньше они этого не делали.

— И теперь не делают.

— А вы почему же сделали?

— Ради сильных ощущений и чтобы стряхнуть гнет.

— Что вас угнетало?

— Жизнь.

— Ну на это многие могли бы пожаловаться, но приходится терпеть.

— Да.

Долгое молчание.

— И были у вас сильные ощущения? — спросил наконец Клайм.

— Вот сейчас, пожалуй.
— Вы встревожены тем, что вас узнали?
— Да. Хотя и предвидела такую возможность.
— Я бы с радостью пригласил вас на нашу вечеринку, если б знал, что вы хотите прийти. Я не был раньше с вами знаком — еще когда жил здесь?
— Никогда.
— Давайте вернемся в дом, и гостите у нас, сколько вам захочется.
— Нет. Я боюсь, как бы меня еще и другие не узнали.
— Ну, я вас, во всяком случае, не выдам. — Он помолчал, потом прибавил мягко: — Не буду вам навязываться. Оригинальная у нас вышла встреча, и я не стану спрашивать, почему образованной девушке вздумалось играть такую роль.
Она не стала объяснять, на что он, казалось, надеялся, и, пожелав ей доброй ночи, он обошел кругом дома и там, на за-дах, расхаживал еще некоторое время, прежде чем вернуться в комнаты.

Юстасия, согретая теперь внутренним огнем, не в силах была дожидаться своих товарищей. Она откинула ленты с лица, растворила калитку и пошла напрямик через пустошь. Она не спешила. Дедушка ее в этот час всегда уже был в постели, ибо она так часто прогуливалась по холмам в лунные ночи, что он давно перестал примечать, когда она приходит и уходит, и, развлекаясь на свой лад, не мешал ей делать то же. А ее сейчас занимал вопрос куда более важный, чем своевременное возвращение домой. Если у Ибрайта есть хоть капля любопытства; он, конечно, узнает, кто она. Ну а что дальше? Сперва Юстасия ликовала, счастливая таким окончанием своей рискованной затеи, хотя, вспоминая все, минутами смущалась и краснела. Но затем эта мысль: «Что дальше?» — стала возвращаться все чаще, замораживая ее радость. В самом деле, какая польза от ее подвига? Семье Ибрайтов она по-прежнему чужая. Романтический ореол, которым она столь неразумно окружила этого человека, может обернуться для нее бедой. Как это она позволила себе так влюбиться в совершенно незнакомого человека? А тут еще Томазин — последняя капля горечи, переполнившая чашу, — Томазин, которая день за днем будет постоянно с ним, в такой воспламеняющей близости... Ибо теперь Юстасия узнала, что, вопреки ее первым предположениям, Клайм не собирается скоро уезжать.

Она уже подошла к калитке на Мистоверском холме, но прежде чем ее отворить, еще раз повернулась лицом к пустоши. Дождевой курган высился над холмами, а над Дождевым курганом высоко в небе стояла луна. Морозный воздух был нем и недвижим. Эта картина напомнила Юстасии о том, что она на-чисто забыла: именно в этот вечер в восемь часов она должна была встретиться с Уайлдивом возле Дождевого кургана и дать ему окончательный ответ на его предложение бежать с ним.

Она сама назначила этот вечер и этот час. Он, наверно, пришел, ждал там на холоде и очень огорчился.

— Ну и ладно; это ему не повредит,— безмятежно сказала она. Уайлдвиг теперь был лишен лучей, как солнце, если смотреть сквозь закопченное стекло, и она с легкостью могла так говорить о нем.

Она все стояла в глубокой задумчивости, и нежная улыбка и голос Томазин, когда она говорила со своим двоюродным братом, вновь всплыли в ее памяти.

— Ах, если б она была уже замужем за Дэймоном! — проговорила Юстасия.— И была бы, не вмешайся я! А! Если б я только знала — если б я только знала!..

Юстасия еще раз подняла свои глубокие сумрачные глаза к лунному свету и, вздохнув своим особенным трагическим вздохом, столь похожим на содрогание, вошла под тень крыши. В сарае она сбросила театральный наряд, аккуратно его свернула, тихо растворила дверь в дом и поднялась к себе в спальню.

ГЛАВА VII

СОЮЗ МЕЖДУ КРАСАВИЦЕЙ И ПУГАЛОМ

Старый капитан по большей части не проявлял никакого интереса к экскурсиям своей внучки, и она былавольна как птица ходить, куда и когда ей угодно. Но на этот раз ему вздумалось почему-то спросить за завтраком, где это она вчера пропадала так поздно.

— Всего лишь в поисках приключений, дедушка,— отвечала Юстасия, глядя в окно, с той дремотной ленью в голосе и манерах, за которой обнаруживалось столько силы, когда наступал решительный момент.

— В поисках приключений!.. Можно подумать, ты один из тех повес, с которыми я в двадцать лет водил компанию.

— Тут так одиноко.

— И очень хорошо. А то, живи я в городе, у меня бы все время уходило на то, чтоб за тобой присматривать. Но вчера-то уж, во всяком случае, пора было быть дома, когда я вернулся из «Молчаливой женщины».

— Не стану скрывать, что́ я делала. Мне хотелось чего-то нового, и я пошла с комедиантами. Я играла у них Турецкого рыцаря.

— Нет, правда? Ха-ха!.. Ну и ну! Не ожидал от тебя, Юстасия.

— Это было мое первое выступление на сцене и, уж конечно, будет последним. Ну вот я вам сказала, но помните — это секрет!

— Ну, ясно. Нет, в самом деле, так-таки взяла и... Ха-ха-ха!

Ах, черт, как бы это мне понравилось лет сорок тому назад! Но больше чтоб этого не было, сударыня. Хочешь день и ночь гулять по пустоши — пожалуйста, мне, по крайней мере, меньше надоедать будешь, но в брюках больше не изволь щеголять. Слышишь?

— Не беспокойтесь обо мне, дедушка.

На том их разговор прекратился, ибо меры воздействия, применяемые к Юстасии, никогда не превышали по строгости описанный диалог, и если они хоть сколько-нибудь утверждали ее на стезе добродетели, то можно считать, что нравственное воспитание внучки обходилось капитану не дорого. Но мысли Юстасии вскоре отвлеклись от ее собственной особы, и полная страстной и неизъяснимой заботы о человеке, для которого сама она не была даже именем, она устремилась в просторы рыжекоричневых осенних холмов, не находя покоя, как Агасфер. Она была в полумиле от дома, как вдруг увидела впереди в лощинке какую-то мрачноватую красноту — тусклую и злоеющую, как горящий на солнце огонь, — и справедливо заключила, что это указывает на присутствие Диггори Венна.

За последний месяц, когда фермеры, желавшие пополнить свой запас охры, спрашивали, где можно найти Венна, им отвечали: «На Эгдонский пустоши». День за днем этот ответ оставался неизменным. Но так как Эгдон был населен торфорезами и сборщиками вереска, а не овцами и пастухами, — склоны, по которым кочевали эти последние, все лежали к северу или к западу от Эгдона, — то было не совсем понятно, чего ради он расположился здесь станом, как Израиль в пустыне Сип. Место было центральное и в некоторых отношениях удобное, но, уж конечно, не продажа охры была на уме у Диггори, осевшего здесь так надолго, да еще в такое позднее время года, когда его товарищи по ремеслу все уже перебираются на зимние квартиры.

Юстасия в задумчивости смотрела на приближавшуюся к ней одинокую фигуру. Уайлдив сказал ей при последнем их свидании, что миссис Ибрайт упоминала о Венне как об еще одном соискателе руки Томазин, готовом с радостью занять место Уайлдива в качестве ее жениха. Что ж, отчего бы и нет — у него прекрасная фигура, лицо молодое и даже красивое по складу, взгляд живой, судя по всему он очень неглуп и положение свое легко может изменить к лучшему, стоит ему захотеть. Но при всех его достоинствах сомнительно, чтобы Томазин согласилась принять этого изгоя, когда рядом у нее такой двоюродный брат, как Клайм Ибрайт, да и Уайлдив не совсем еще к ней равнодушен. Юстасии нетрудно было догадаться, что бедная миссис Ибрайт выдвинула этого нового претендента лишь для того, чтобы оживить пыл другого. Но теперь она была на стороне Ибрайтов, и желания тетки Томазин совпадали с ее собственными.

— Доброе утро, мисс, — сказал охряник, снимая свою заячью шапку; он, видимо, не помнил на нее зла за все, что произошло в последнюю их встречу.

— Доброе утро, охряник,— ответила она, едва достаивая поднять к нему свои затененные густыми ресницами глаза.— Я не знала, что вы так близко. И фургон ваш тоже тут?

Охряник показал локтем на небольшую лощину, в которой красноствольные кусты ежевики так разрослись вверх и вширь, что заполняли ее всю, словно лесная чаща. Ежевика, хотя и немилосердная, когда к ней прикасаешься, бывает добрым другом для тех, кому ранней зимой нужней кров, так как из всех кустов и деревьев она последней сбрасывает листву. Среди путаных клубков и кружевных узоров ежевичных ветвей проглядывала крыша и труба фургона.

— Все еще остаетесь в этих местах? — уже с бóльшим интересом спросила она.

— Да, у меня здесь дело.

— Но вряд ли связанное с продажей охры?

— Никакого отношения к этому не имеет.

— Оно имеет отношение к мисс Ибрайт?

Ее лицо как будто предлагало ему вооруженный мир, и он ответил, не скрываясь:

— Да, это из-за нее.

— Ну да, вы ведь скоро на ней женитесь?

Вени покраснел так, что и под налетом охры это было заметно.

— Не смейтесь надо мной, мисс Вэй,— сказал он.

— Значит, это неправда?

— Конечно, неправда.

Теперь Юстасия окончательно убедилась, что для миссис Ибрайт охряник был всего лишь средством на крайний случай, а сам он, по-видимому, даже не подозревал об отведенной ему жалкой роли.

— А мне почему-то так казалось,— проговорила она равнодушно и хотела уже идти, как вдруг, поглядев направо, она увидела слишком хорошо знакомую мужскую фигуру, пробиравшуюся по извивам тропы, которая должна была вывести его на пригорок, где стояла Юстасия. Сейчас, на повороте тропинки, он был к ним спиной. Она быстро оглянулась: был только один способ ускользнуть от встречи с ним. Повернувшись к Венну, она сказала:

— Вы не разрешите мне отдохнуть несколько минут в вашем фургоне? На обочине сейчас сыро сидеть.

— Сделайте одолжение, мисс. Сейчас освобожу вам местечко.

Следом за ним она обогнула ежевичную заросль, за которой притаился его дом на колесах; Вени поднялся по лесенке и поставил у самой двери свою трехногую табуретку.

— Лучшего ничего не могу вам предложить,— сказал он, спускаясь из фургона, и, выйдя из зарослей, снова задымил трубой, расхаживая взад-вперед по тропе.

Юстасия одним прыжком очутилась в фургоне и присела на табуретку; теперь ее нельзя было увидеть с дороги. Скоро она услышала шорох еще других шагов, кроме шагов охряника, потом не слишком дружелюбное: «Добрый день», — произнесенное обоими мужчинами, когда они разминулись на тропе, потом затихающий шелест шагов одного из них. Она выглянула сколько могла дальше из двери и увидела удаляющуюся спину и плечи — и неизвестно почему душу ей вдруг резнуло горем. Это было то болезненное чувство, которым разлюбившее сердце, если в нем есть хоть капля великодушия, всегда отзывается на неожиданную встречу с некогда любимым и потом отвергнутым.

Когда Юстасия вышла из зарослей с намерением продолжать путь, охряник подошел к ней.

— Это мистер Уайлдив сейчас тут проходил, мисс, — сказал он медленно, явно ожидая, что она будет раздосадована тем, что как раз в это время была скрыта от людских глаз.

— Да, я видела, как он поднимался по холму, — ответила Юстасия. — А почему вы мне это говорите?

Это был смелый вопрос, если вспомнить, что охряник знал о ее прежних чувствах к Уайлдиву, но Юстасия не привыкла, чтобы ее судили; ее отчужденная манера держаться обычно замыкала уста тех, кого она не считала себе равными.

— Я рад, что вы можете спрашивать об этом, — без обиняков ответил охряник. — И, кстати сказать, оно сходится с тем, что я видел вчера вечером.

— А... что вы видели? — Ей хотелось уйти, но хотелось и узнать.

— Мистер Уайлдив вчера долго ждал одну молодую девушку, а она так и не пришла.

— Вы, по-видимому, тоже долго ждали?

— Да, я всегда там жду. Я был рад, что у него не вышло. Сегодня он опять туда придет.

— И опять ничего не выйдет. Сказать вам правду, эта молодая девушка не только не хочет мешать свадьбе Томазин и мистера Уайлдива, но даже готова всячески ей содействовать.

Это признание до крайности удивило Венна, но он ничем этого не показал. Мы легко проявляем удивление, когда услышанное всего на шаг отстоит от ожидаемого, но невольно настораживаемся, когда оно знаменует какой-то совсем новый поворот пути.

— Вот как, мисс, — сказал он.

— Откуда вы знаете, что мистер Уайлдив сегодня опять придет к Дождевому кургану?

— Я слышал, как он буркнул это себе под нос. Он был очень сердит.

На мгновение обычная сдержанность изменила Юстасии; она подняла к Венну свои глубокие темные глаза и взволнованно проговорила:

— Сама не знаю, что мне делать. Не хочется быть с ним грубой, но я не хочу больше его видеть. А у меня есть несколько вещей, которые надо ему вернуть.

— Когда б вы согласились послать их ему со мной, ну и записочку, что, мол, между вами все кончено и не надо больше никаких объяснений, так я передам и никто не узнает. Тут уж надо прямо говорить, по-честному.

— Хорошо, — сказала Юстасия. — Подойдем поближе к моему дому, и я вам их вынесу.

Она пошла вперед, и так как тропка была ниточно-тонким пробором в косматых кудрях вереска, охряник шел за ней сзади след в след. Она издали увидела, что капитан стоит на насыпи, оглядывая горизонт в подзорную трубу, и, велев Венну подождать, одна зашла в дом.

Через десять минут она вернулась с пакетиком и запиской: передав их ему, она спросила:

— Почему вы так охотно беретесь за мое поручение?

— Неужели нужно об этом спрашивать?

— Вы, вероятно, думаете, что этим как-то помогаете Томазин. Вы по-прежнему стремитесь устроить ее свадьбу с Уайлдивом?

Венн выказал некоторые признаки волнения.

— Я бы лучше сам на ней женился, — глухо проговорил он. — Но раз она не может быть счастлива без него, что ж, я выполню свой долг, как прилично мужчине, — помогу ей добыть то, что ей нужно для счастья.

Юстасия с любопытством посмотрела на этого чудака, высказывавшего столь необычные мысли. Какая странная любовь, совершенно свободная от себялюбия, которое часто составляет основной элемент страсти, а иногда и все, что в ней есть от любви! Бескорыстие охряника до такой степени заслуживало уважения, что уже его не вызывало, ибо становилось непонятным; и Юстасия решила, что подобные чувства просто нелепы.

— Вот когда мы наконец оба хотим одного, — сказала она.

— Да, — мрачно отвечал Венн. — Но кабы вы, мисс, сказали мне, почему вы вдруг ее пожалели, у меня бы полегчало на сердце. А то больно уж это неожиданно и на прежнее не похоже.

Юстасия как будто несколько смутилась.

— Этого я не могу вам сказать, — холодно проговорила она.

Венн больше ни о чем ее не спрашивал. Он положил письмо в карман и, поклонившись, ушел.

В тот же вечер, когда Дождевой курган снова слился с ночью, Уайлдив поднимался по длинному откосу, ведущему к его подножью. Когда он был уже у самого кургана, позади него словно из-под земли выросла темная фигура. Это был посланец Юстасии. Он хлопнул Уайлдива по плечу. Нервически настроенный молодой трактирщик и бывший инженер подскочил, как сатана от прикосновения копыя Итуриэля.

— Свиданье всегда бывает в восемь часов на этом месте,— сказал Венн.— И вот мы здесь — все трое.

— Трое?..— переспросил Уайлдив и быстро огляделся.

— Да. Вы, я и она. Вот она.— Он поднял вверх и показал Уайлдиву письмо и пакет.

Уайлдив взял их, недоумевая.

— Не совсем понимаю, что все это значит,— сказал он.— Откуда вы тут взялись? Это, наверно, какое-то недоразумение.

— Прочитайте и поймете. Вот вам фонарик.— Охряник высек огонь, зажег отрезок сальной свечки длиной в дюйм и заслонил ее от ветра своей шапкой.

— Кто вы такой? — сказал Уайлдив; при свете огарка он разглядел в своем собеседнике какую-то смутную красноту.— А, вы охряник, и это вас я сегодня видел на холме... вы тот самый человек, который...

— Прочитайте, пожалуйста, письмо.

— Кабы вы не от этой пришли, а от другой, так было бы понятнее,— проворчал Уайлдив, вскрывая письмо и начиная читать. Лицо его стало серьезным.

«Мистеру Уайлдиву.

После некоторого размышления я решила раз и навсегда, что нам больше незачем видеться. Чем дольше я об этом думаю, тем тверже убеждаюсь в том, что нашему знакомству надо положить конец. Если бы все эти два года вы были мне верны, у вас было бы сейчас право считать меня бессердечной. Но рассудите спокойно, сколько я перенесла, когда вы меня покинули, как я покорно, без всяких попыток вмешательства, терпела, когда вы стали ухаживать за другой,— я думаю, вы согласитесь, что теперь, когда вы вернулись ко мне, я имею право поступить так, как мне подсказывает чувство. А по отношению к вам оно изменилось, и, может быть, это дурно с моей стороны, но едва ли вам пристало корить меня за это, если вспомнить, как вы бросили меня ради Томазин.

Все вещички, которые вы подарили мне в ранние дни нашей дружбы, вам вернет податель сего письма. Их, собственно, следовало вернуть вам, еще когда я только услышала о вашей помолвке с Томазин.

Юстасия».

К тому времени, когда Уайлдив добрался до подписи, недоумение, с которым он начал читать письмо, перешло в горькую обиду.

— В дураках меня оставили и так и этак,— раздраженно сказал он.— Вам известно, что тут написано?

Охряник принялся напевать себе под нос какой-то мотивчик.

— Что вы, ответить не можете? — с сердцем спросил Уайлдив.

— Там-там-грам-тарам,— пропел охряник.

Уайлдвиг стоял молча, глядя в землю у ног Венна, и далеко не сразу поднял глаза к его освещенной огарком голове и лицу.

— Ха! Что ж, пожалуй, я это заслужил,— проговорил он наконец, обращаясь не столько к Венну, сколько к самому себе.— Играл с обеими, вот и доигрался. Но самое удивительное — это то, что вы согласились действовать против собственного интереса,— взялись вот передать это мне:

— Против моего интереса?

— Конечно. Ведь не в ваших же интересах подталкивать меня, чтобы я опять стал ухаживать за Томазин, когда она уже приняла ваше предложение или как там это у вас было. Миссис Ибрайт сказала мне, что вы на ней женитесь. Разве это неправда?

— Боже мой! Я уже слышал об этом, да не поверил. Когда она вам говорила?

Уайлдвиг принялся напевать себе под нос, как только что делал Венн.

— Я и сейчас не верю! — вскричал Венн.

— Рам-там-тарарам,— пропел Уайлдвиг.

— О, господи! Как он умеет подражать! — с презрением сказал Венн.— Ну, я это все выясню. Прямо к ней пойду.

Диггори удалился решительными шагами, провожаемый взглядом Уайлдвиги, полным самой ядовитой насмешки, как будто охряник был не больше чем возмечтавший о себе нищий поденщик. Когда он исчез из виду, Уайлдвиг тоже сошел по откосу и погрузился в налитую тьмой долину.

Потерять обеих женщин, когда он, казалось, безраздельно владел сердцем каждой,— эта мысль была для него невыносима. Взять реванш он мог только с помощью Томазин; и когда он станет ее мужем, тут-то, думал он, придет для Юстасии долгое и горькое раскаяние. Не удивительно, что Уайлдвиг, не осведомленный о появлении на заднем плане нового действующего лица, полагал, что Юстасия разыгрывает роль. Для того чтобы увидеть в этом письме нечто большее, чем следствие какой-то мимолетной вспышки, поверить, что она в самом деле уступает сопернице своего возлюбленного, для этого надо было заранее знать о совершившемся в ней перевороте. Как было догадаться, что алчность новой страсти сделала ее великодушной, что, помогаясь брата, она готова была одарить сестру, что, жаждая присвоить, она соглашалась отдать?

Полный решимости немедленно жениться и тем растерзать сердце гордой девушки, Уайлдвиг шел своим путем.

Тем временем Диггори Венн вернулся к фургону и стоял, задумчиво глядя в печурку. Новые возможности открывались перед ним. Но как бы благоприятно ни взирала миссис Ибрайт на него как на возможного жениха своей племянницы, одно условие было необходимо, чтобы угодить самой Томазин, а именно: отказаться от своего нынешнего бродячего образа жизни. В этом Диггори не видел никакой трудности.

Он не в силах был ждать утра, чтобы повидаться с Томазин и уточнить свои планы, и тотчас приступил к свершению своего туалета. Из закрытого ящика он достал новый костюм, и, когда через двадцать минут стоял перед фонарем, он уже ничем не напоминал охряника, кроме только цвета лица, яркую красноту которого нельзя было отмыть за один день. Закрыв дверь и навесив на нее замок, Диггори направился через пустошь к Блумс-Энду.

Он уже достиг белого палисада и положил руку на калитку, как вдруг дверь дома быстро растворилась и столь же быстро захлопнулась. Женский силуэт проскользнул в дом. В то же время мужчина, очевидно стоявший с нею на галерейке, пошел прочь от дома и через минуту оказался лицом к лицу с Венном. Это опять был Уайлдив.

— Однако! Вы времени не теряли,— саркастически заметил Диггори.

— А вы кое-что проморгали, как сейчас убедитесь,— отвечал Уайлдив.— Я просил ее быть моей и получил согласие. Спокойной ночи, охряник! — И с тем Уайлдив запагал дальше.

Сердце у Венна упало, и все надежды сникли, хотя и раньше они не воспаряли особенно высоко. С четверть часа он простоял в нерешимости, опираясь на палисад. Потом прошел по дорожке к дому, постучал и спросил миссис Ибрайт.

Вместо того чтобы предложить ему войти, она сама вышла на галерейку. Минут десять или больше между ними шел вполголоса разговор, сдержанный и неторопливый. Затем миссис Ибрайт вернулась в дом, а Венн меланхолично побрел обратно по пустоши. Добравшись до своего фургона, он зажег фонарь и с неподвижным лицом тотчас же принялся стаскивать с себя парадную одежду, пока через несколько минут не возник вновь как закоснелый и неисправимый охряник,— каким он всегда был раньше.

ГЛАВА VIII

В НЕЖНОМ СЕРДЦЕ ОБРЕТАЕТСЯ ТВЕРДОСТЬ

В этот вечер в комнатах Блумс-Энда, хотя комфортабельных и уютных, было как-то слишком уж тихо. Клайма Ибрайт не было дома. После рождественской вечеринки он уехал на несколько дней погостить у своего приятеля, жившего в десяти милях от Эгдона.

Смутная тень, которая, как видел Диггори Венн, рассталась с Уайлдивом в галерейке и быстро проскользнула в дом, была, конечно, не кто иная, как Томазин. В комнате она сбросила плащ, в который кое-как закуталась, когда выходила, и подошла к свету — туда, где миссис Ибрайт сидела за своим рабочим столиком, придвинутым с внутренней стороны к ларю, так что он частью вдавался в каминную нишу.

— Мне не нравится, Тамзин, что ты ходишь в темноте одна, — сдержанно заметила ее тетка, не поднимая глаз от работы.

— Я только за дверью постояла.

— Да-а? — протянула миссис Ибрайт, удивленная переменной в голосе Томазин, и внимательно на нее посмотрела. На щеках Томазин играл румянец более яркий, чем даже до ее злоключений, глаза блестели.

— Это он стучал, — сказала она...

— Я так и думала.

— Он хочет, чтобы мы немедленно поженились.

— Вот как! Торопится? — Миссис Ибрайт обратила на племянницу испытующий взор. — Почему мистер Уайлджив не зашел?

— Не захотел. Он говорит, вы ему не друг. Он хочет, чтобы венчаться послезавтра, очень скромно и в его приходской церкви, а не в нашей.

— А! А ты что на это сказала?

— Я согласилась, — с твердостью ответила Томазин. — Я теперь практическая женщина. В чувства больше не верю. А за него я бы все равно вышла, какие бы условия он ни поставил... после этого письма от Клайма.

На рабочей корзинке миссис Ибрайт лежало письмо; при последних словах Томазин она снова развернула его и перечитала, наверно, не меньше чем в десятый раз за этот день:

«Что это за нелепая история, которую тут рассказывают про Томазин и мистера Уайлджива? Я счел бы эту сплетню крайне оскорбительной для нас, если бы хоть на волос в нее поверил. Как могла родиться такая нездоровая выдумка? Недаром говорят, что надо уехать в чужие края, чтобы узнать, что дома делается; со мной, по-видимому, именно так и вышло. Я, конечно, всюду говорю, что это неправда, но очень неприятно выслушивать подобные кривотолки, и хотелось бы знать, что все-таки послужило для них поводом. Не могу себе представить, чтобы такая девушка, как Томазин, могла попасть в столь унижительное для себя и для нас положение — быть отвергнутой женихом в самый день свадьбы! Что она сделала?»

— Да, — с грустью сказала миссис Ибрайт, откладывая письмо. — Если у тебя не отпала охота выходить за него замуж, что ж, выходи. И если мистер Уайлджив хочет, чтобы все было как можно проще, пусть так и будет. Я тут уж ничего не могу. Теперь все в твоих руках. Моя опека над тобой кончилась, когда ты покинула этот дом, чтобы ехать с ним в Энглбери. — Она продолжала почти с горечью: — Мне даже хочется спросить: почему ты вообще советуешься со мной? Если бы ты вышла за него, ни слова мне не сказав, я бы и то не могла на тебя сердиться — просто потому, бедняжка, что лучшего тебе нечего сделать.

— Не говорите так, не лишайте меня мужества.

— Ты права. Не буду.



— Я не защищаю его, тетя. Я не настолько слепа, чтобы считать его совершенством. Раньше когда-то считала, а теперь уж нет. Но я знаю, что мне делать, и вы знаете, что я это знаю. И надеюсь на лучшее.

— И я тоже, и будем так и дальше,— сказала миссис Ибрайт, вставая и целуя ее.— Значит, венчанье, если оно состоится, будет утром того дня, когда Клайм вернется домой?

— Да. Я решила, что надо все закончить до его приезда. Тогда вы сможете смело смотреть ему в лицо и я тоже. Уже не важно будет, что мы раньше что-то от него скрывали.

Миссис Ибрайт задумчиво кивнула, потом сказала:

— Хочешь, чтобы я была твоей посаженной матерью? Я готова сопровождать тебя в церковь, я бы и в прошлый раз поехала, если б ты захотела. Я считаю, раз я тогда публично запретила ваш брак, так теперь хоть это должна для тебя сделать.

— Да нет, пожалуй, не надо,— смущенно, но твердо сказала Томазин.— Я уверена, вам обоим будет неприятно. Пусть уж будут одни чужие, а моих родных никого не надо. Так лучше. Я не хочу делать ничего такого, что может сколько-нибудь задеть вашу гордость, а если вы придете после всего, что было, я буду все время тревожиться. Я ведь, в конце концов, только ваша племянница, не обязательно вам еще и дальше печься обо мне.

— Да, он-таки взял над нами верх,— сказала ее тетка.— Мне, право, кажется, что он и играл-то с тобой больше всего мне в отместку за то, что я вначале была против него.

— Нет, нет, тетя,— тихо отозвалась Томазин.

Больше они об этом не говорили. Вскоре затем постучал Диггори Венн, и миссис Ибрайт, вернувшись после разговора с ним на галерейке, небрежно заметила:

— Еще один приходил к тебе свататься.

— Что-о?

— Да, этот чудаковатый молодой человек, Венн.

— Что — он просил у вас позволения объясниться со мной?

— Да. Я сказала, что он опоздал.

Томазин долго в молчании смотрела на пламя свечи.

— Бедный Диггори! — сказала она наконец и обратилась к другим занятиям.

Следующий день прошел в хлопотах и приготовлениях — занятиях чисто механических, которым обе женщины с готовностью предавались, чтобы не думать об эмоциональной стороне происходящего. Сызнова собрали для Томазин кое-какую одежду и разные предметы домашнего обихода; то и дело обменивались замечаниями о каких-нибудь хозяйственных мелочах — все для того, чтобы заглушить невольные опасения касательно будущего Томазин как жены Уайлдива.

Пришло назначенное утро. С Уайлдивом было договорено, что он встретится с Томазин в церкви, чтобы избавить ее от докучного любопытства соседей, которое, конечно бы, разгорелось, если бы их увидели направляющимися в церковь вместе, как это принято в деревне.

Тетка и племянница обе стояли в спальне, где невеста обряжалась к венцу. Солнце, заглядывая в окно, бросало зеркальные блики на волосы Томазин, которые она всегда носила заплетенными в косы. Косы она плела по особому календарному расписанию — чем значительнее день, тем больше прядей в косе. В обыкновенные будние дни плелась коса из трех прядей, по воскресеньям из четырех, в дни празднеств и гуляний — игр вокруг майского дерева и тому подобное — из пяти. И она уже давно сказала, что когда будет выходить замуж, то косы сплетет из семи прядей. Сегодня они были сплетены из семи.

— Я надену мое голубое шелковое платье,— сказала Томазин.— Как-никак это день моей свадьбы, хоть, может, он и не очень веселый. То есть не то чтобы он сам по себе был невесе-

лый,— поспешила поправиться она,— а просто потому, что перед этим были такие большие огорчения и беспокойства.

Миссис Ибрайт сдержала вздох.

— Жаль мне, что Клайма нет дома. Но, конечно, ты потому и выбрала это время, что он сейчас в отъезде.

— Отчасти. Я знаю, что нехорошо поступила, не признавшись ему сразу. Но так как это было сделано, чтобы не огорчать его, я решила уж довести дело до конца и рассказать ему, когда все уладится.

— Вот какая ты практичная маленькая женщина,— улыбаясь, сказала миссис Ибрайт.— Я часто мечтала, что ты и он... ну да что об этом говорить. О! Уже девять часов,— прервала она себя, услышав донесшееся снизу шипенье и затем бой часов.

— Я договорилась с Дэймоном, что выйду в девять,— сказала Томазин, спеша к двери.

Миссис Ибрайт пошла за ней. Когда Томазин ступила на дорожку, ведущую от двери дома к калитке, миссис Ибрайт, жалостно посмотрев на нее, проговорила:

— Как не хочется отпускать тебя одну!

— Это необходимо,— ответила Томазин.

— Во всяком случае,— добавила ее тетка с насильственной веселостью,— я зайду к тебе сегодня же вечером и принесу свадебный пирог. И если Клайм к тому времени вернется, то, может, и он придет. Я хочу показать мистеру Уайлдиву, что не питаю к нему недобрых чувств. Забудем прошлое. Ну, благослови тебя господь! Не верю я в эти старые приметы, а все ж таки сделаю.— Она кинула туфлю вслед удаляющейся девушке. Та обернулась, улыбнулась и пошла дальше.

Но через несколько шагов она опять остановилась и повернула головку.

— Вы меня звали, тетя? — спросила она дрожащим голосом.— Прощайте!

При виде осунувшегося, мокрого от слез лица тетки она вдруг, повинувшись внезапному порыву чувств, побежала назад, а та торопливо шагнула вперед, и они опять обнялись.

— О, Тамзи! — пробормотала старшая, плача.— Как мне не хочется тебя отпускать!

— А я... а мне...— начала Томазин, тоже заливаясь слезами. Но она овладела с собой, снова сказала: — Прощайте! — и пошла дальше.

Миссис Ибрайт долго смотрела, как маленькая фигурка пробиралась по тропке среди колючих кустов дрока, как, уходя вдаль по долине, она становилась все меньше и меньше — крохотное бледно-голубое пятнышко среди огромных буро-коричневых просторов — одинокая и не защищенная ничем, кроме силы своей надежды.

Но того, что больше всего грозило бедой, нельзя было увидеть в раскинувшемся перед глазами миссис Ибрайт ландшафте, ибо это был мужчина, дожидавшийся в церквях.

Томазин так выбрала час венчанья, чтобы избежать встречи с Клаймом, который должен был вернуться утром. Признаться, что часть услышанного им справедлива, было бы очень тяжело, пока нынешнее ее унижительное положение не было исправлено. Только после вторичного и более успешного путешествия к алтарю она могла поднять голову и спокойно утверждать, что первая неудача была чистой случайностью.

После ее ухода прошло не более получаса, как вдруг по дороге с противоположной стороны приблизился Клайм Ибрайт и вошел в дом.

— Я сегодня очень рано завтракал,— сказал он, поздоровавшись с матерью.— И теперь, пожалуй, не прочь еще закусить.

Они сели за стол, и тотчас Клайм заговорил тихим, взволнованным голосом, видимо предполагая, что Томазин еще не сходила вниз из своей спальни.

— Что это рассказывают про Томазин и мистера Уайлдива?

— Многие в этом правда,— сдержанно ответила миссис Ибрайт.— Но теперь, надеюсь, уже все улажено.— Она посмотрела на часы.

— Правда?.. Многие правда?..

— Да. Томазин сегодня ушла к нему.

Клайм оттолкнул от себя тарелку.

— Ах, значит, был какой-то скандал? Вот почему Томазин такая... Не от этого ли она и захворала?

— Да. Но скандала никакого не было. Просто неприятная случайность. Я все тебе расскажу, Клайм. Но ты не сердись, а выслушай, и ты согласишься, что мы сделали как лучше.

До своего приезда из Парижа Клайм знал только, что у Томазин с Уайлдивом было взаимное увлечение, которое миссис Ибрайт вначале не одобряла, но потом под влиянием уговоров Томазин стала видеть в более благоприятном свете. Узнав теперь все обстоятельства, он очень удивился и встревожился.

— И она решила закончить все, пока тебя нет, чтобы избежать объяснений, которые могут быть тяжелы для вас обоих,— закончила миссис Ибрайт.— Поэтому она сейчас и ушла к нему — венчанье назначено на сегодняшнее утро.

— Но я не понимаю,— сказал Ибрайт, вставая.— Это так непохоже на нее. Я еще могу понять, что вам не хотелось писать мне после ее столь неудачного возвращения домой. Но почему вы мне раньше не написали, когда они еще только собирались пожениться — ну, в первый-то раз?

— Я тогда была сердита на нее. Она мне казалась такой упрямой! И когда я увидела, что ты ничего не значишь для нее, я поклялась, что и она будет значить для тебя не больше. В конце концов, она мне только племянница; я сказала ей — можешь выходить замуж, меня это не касается, и Клайма из-за этого я беспокоить не стану.

— Это не значило — беспокоить меня. Мама, вы поступили неправильно.

— Я боялась, что это помешает твоей работе,— вдруг ты из-за этого откажешься от места или еще как-нибудь повредишь своему будущему, поэтому я промолчала. Конечно, если бы они тогда обвенчались как полагается, я бы тебе сейчас же написала.

— Вот мы тут сидим, а в это самое время Тамзин, может быть, выходит замуж!

— Да. Разве что опять что-нибудь случится, как в первый раз. Это возможно, потому что жених тот же самый.

— Да, и, наверно, так и будет. Ну разве можно было ее отпускать? А если этот Уайлдив в самом деле дурной человек?

— Так он не придет, и она опять вернется домой.

— Мама, вам следовало поглубже во все это вникнуть.

— Ах, к чему так говорить,— нетерпеливо и с болью ответила его мать.— Ты не знаешь, Клайм, как трудно нам пришлось. Ты не знаешь, как унижительно такое положение для женщины. Не знаешь, сколько бессонных ночей мы провели, какими, порой даже недобрыми, словами мы обменивались после этого несчастного пятого ноября. Не хотела бы я еще раз пережить подобные семь недель. Тамзин не выходила из дому, да и мне стыдно было смотреть людям в глаза. А теперь ты осуждаешь меня за то, что я позволила ей сделать единственное, чем можно было это исправить.

— Нет,— медленно проговорил он.— В общем я вас не осуждаю. Но поймите, какая это для меня неожиданность. Только что я ровно ничего не знал, и вдруг мне говорят, что Тамзин вот уже сейчас выходит замуж. Ну что ж, вероятно, это лучшее, что можно было сделать. А знаете, мама,— продолжал он через минуту, видимо что-то припомнив и оживляясь от этих воспоминаний,— знаете, ведь я сам когда-то был влюблен в Тамзи. Право! Думал о ней как о своей возлюбленной. Чудной народ — мальчишки! И когда я теперь приехал и увидел ее,— она была такая ласковая, гораздо нежнее, чем всегда,— мне опять все это так живо вспомнилось. Особенно в тот вечер, когда у нас были гости, а ей нездоровилось. Мы тогда все-таки устроили вечеринку,— пожалуй, это было жестоко по отношению к ней?

— Да нет, это не важно. Я давно договорилась со всеми, что устрою вечерок, когда ты приедешь, и не стоило напускать больше мрака, чем необходимо. Запереться в доме и рассказать тебе о Тамзиных бедах — это была бы невеселая встреча.

Клайм сидел, задумавшись.

— Может, лучше было бы не устраивать вечеринки,— сказал он затем,— еще и по другим причинам. Но об этом я вам после расскажу. А сейчас надо думать о Тамзине.

Оба помолчали.

— Вот что,— начал снова Ибрайт, и в голосе его были нотки, говорившие о том, что прежние чувства не вовсе в нем уснули,— я считаю, что нехорошо с нашей стороны, что мы отпустили ее одну и в такую минуту возле нее нет никого из нас, чтобы

поддержать ее и о ней позаботиться. Она ничем себя не опозорила и ничего не сделала, чтобы это заслужить. Достаточно плохо, что свадьба такая спешная и убогая, а тут еще и мы совсем от нее отстранились. Честное слово, это безобразие. Я пойду туда.

— Теперь уж, наверно, кончено, — сказала со вздохом его мать. — Разве что они опоздали или он опять...

— Ну что ж, хоть на выходе из церкви их встречу. И знаете, мама, мне все-таки очень не нравится, что вы держали меня в неведении. Я, право, готов пожелать, чтобы он и на этот раз не пришел.

— И вконец погубил ее репутацию?

— Э, вздор какой. От этого Тамзин не погибнет.

Он взял шляпу и поспешно вышел из дому. Миссис Ибрайт продолжала сидеть у стола с горестным видом и в глубокой задумчивости. Но она недолго оставалась одна. Всего через несколько минут Клайм вернулся; за ним шел Диггори Венн.

— Оказывается, я все-таки опоздал, — сказал Клайм.

— Ну, вышла она замуж? — спросила миссис Ибрайт, обращая к охрянику лицо, в котором сейчас читалась странная смесь противоборствующих желаний.

Венн поклонился.

— Да, мэм.

— Как странно это звучит, — отозвался Клайм.

— И он не подвел ее на этот раз? — сказала миссис Ибрайт.

— Нет. И теперь больше нет пятна на ее имени. Я видел, что вас нет в церкви, так поторопился прийти вам сказать.

— А как вы там очутились? Откуда узнали? — спросила миссис Ибрайт.

— А я как раз был в тех местах и видел, как они вошли в церковь, — сказал охряник. — Он встретил ее у дверей, точно, минута в минуту. Я даже не ожидал от него. — Он не добавил, что очутился в тех местах далеко не случайно, так как, после возобновления Уайлдивом своих прав на Томазин, Диггори с дотошностью, составлявшей отличительную черту его характера, решил досмотреть этот эпизод до конца.

— А кто еще там был? — спросила миссис Ибрайт.

— Да почти никого. Я стал в сторонке, и она меня не заметила. — Охряник говорил глухим голосом и смотрел куда-то в сад.

— А кто был за посаженую мать?

— Мисс Вэй.

— Вот удивительно! Мисс Вэй! Это, вероятно, за честь надо считать.

— Кто такая мисс Вэй? — спросил Клайм.

— Дочь капитана Вэя с Мистоверского холма.

— Очень гордая девица из Бедмута, — сказала миссис Ибрайт. — Я таких не слишком-то жалую. Тут про нее говорят, что она колдунья, — ну это, понятное дело, вздор.

Охряник промолчал и о своем знакомстве с этой интересной особой, и о том, что она оказалась в церкви только потому, что он не поленился сходить за ней, согласно обещанию, которое дал ей еще раньше,— когда узнал о готовящемся браке. Он только сказал, продолжая свой рассказ:

— Я сидел на кладбищенской стене и увидел, как они подошли — один с одной стороны, другая с другой. А мисс Вэй гуляла там и разглядывала надгробья. Когда они вошли в церковь, я тоже пошел к дверям,— захотелось посмотреть, я ведь так хорошо ее знал. Башмаки я снял, чтобы не стучали, и поднялся на хоры. Оттуда я увидел, что пастор и причетник оба уже на месте.

— А почему мисс Вэй вообще в это затесалась, если она только гуляла по кладбищу?

— Да потому, что другого никого не было. Она как раз передо мной зашла в церковь, только не на хоры. Пастор, прежде чем начать, огляделся кругом, и, так как она одна была в церкви, он поманил ее, и она подошла к алтарной ограде. А потом, когда надо было расписываться в книге, она подняла вуаль и подписалась, и Тамзин, кажется, благодарил ее за любезность.— Охряник говорил медленно и даже как-то рассеянно, ибо в его воспоминании всплыло в эту минуту, как изменился в лице Уайлдвиг, когда Юстасия подняла надежно скрывавший ее черты густой вуаль и спокойно посмотрела ему прямо в глаза.— И тогда,— печально закончил Диггори,— я ушел, потому что ее история как Тамзин Ибрайт была кончена.

— Я хотела пойти,— покаянно проговорила миссис Ибрайт.— Но она сказала — не надо.

— Да это не важно,— сказал охряник.— Дело наконец сделано, как было задумано с самого начала, и дай ей бог счастья. А теперь позвольте с вами распрощаться.

Он надел свой картуз и вышел.

С этой минуты и на много месяцев вперед никто уж больше не видел охряника ни на Эгдонской пустоши, ни где-либо по соседству. Он исчез, словно растаял. В лощинке, где среди зарослей ежевики стоял его фургон, на другое же утро было пусто, и даже следа его пребывания не оставалось, кроме нескольких соломинок да легкой красноты на траве, которую смыло первым же ливнем.

В рассказе Диггори о венчанье, в общем вполне правильном, отсутствовала одна мелкая, но многозначительная подробность, которая ускользнула от него потому, что он находился слишком далеко от алтаря. Пока Томазин дрожащей рукой подписывала в книге свое имя, Уайлдвиг бросил на Юстасию взгляд, ясно говоривший: «Вот когда я наказал тебя,— помучайся!» Она ответила очень тихо—и он даже не подозревал, насколько искренне: «Вы ошибаетесь; я получаю истинное удовольствие от того, что вижу ее вашей женой».



КНИГА
ТРЕТЬЯ

ОКОЛДОВАН

ГЛАВА I

МОЙ УМ ЕСТЬ ЦАРСТВО ДЛЯ МЕНЯ

В лице Клайма Ибрайта смутно угадывался типический облик человека будущего. Если для нас настанет еще пора классического искусства, тогдашние Фидии будут создавать именно такие лица. Взгляд на жизнь как на что-то, с чем приходится мириться, сменивший прежнее упоение бытием, столь заметное в ранних цивилизациях, взгляд этот в конце концов, вероятно, так глубоко внедрил в самое существо передовых народов, что его отражение в их внешности станет новой отправной точкой для изобразительного искусства. Уже сейчас многие чувствуют, что человек, который живет так, что не изменяется ни единая линия его черт, который не ставит где-нибудь на себе метку духовных сомнений и тревог, слишком далек от современной восприимчивости, чтобы его можно было считать современным человеком. Великолепные физически мужчины — слава человеческого рода, когда он был юным, — теперь уже почти анахронизм; и почем знать, быть может, физически великолепные женщины рано или поздно тоже станут анахронизмом.

Суть, по-видимому, в том, что долгий ряд разрушающих иллюзии столетий в корне подорвал эллинскую — или как еще ее назвать — идею жизни. То, о чем греки смутно догадывались, мы теперь знаем точно; то, что их Эсхилы постигали мощью своего воображения, наши дети чувствуют инстинктивно. Старомодные восторги перед мудрым устройством мира становятся все менее возможны по мере того, как мы обнаруживаем изъяны в естественных законах и видим иной раз, в какую маету повергнут человек их действием.

Облик, воплощающий в себе идеалы, основанные на этом новом восприятии мира, будет, вероятно, сроден облику Ибрайта. Его лицо приковывало внимание не как картина, а как страница текста — не тем, каким оно было, а тем, о чем оно рассказы-

вало. Черты его были привлекательны как символы,— так звуки, сами по себе обыденные, становятся приятны в речи, и формы, сами по себе простые, становятся интересны в письме.

Еще мальчиком он подавал надежды; все от него чего-то ждали. Чего именно, было неясно. Либо он мог как-то необыкновенно преуспеть, либо столь же необыкновенно осрамиться. Одно можно было сказать с уверенностью — он не останется мирно прозябать в тех же условиях, в каких родился.

Поэтому всякий раз, как какой-нибудь добрый эгдонец случайно в разговоре упоминал его имя, собеседник тотчас же откликался: «А, Клайм Ибрайт! Что он теперь делает?» А уж если первое, что спрашивают о человеке, — это «что он делает?», значит, чувствуют, что его не застанешь, как многих из нас, за тем, что он не делает ничего особенного. Было, значит, у всех неопределенное ощущение, что он уже вторгся в какую-то непривычную для них область, то ли хорошую, то ли дурную. Причем все вслух благочестиво надеялись, что он добьется успеха, а втайне веровали, что он наломает дров. Пять-шесть зажиточных фермеров, которым случалось на обратном пути с рынка заезжать в своих таратайках к «Молчаливой женщине», хотя сами и не эгдонцы, однако очень любили поговорить на эту тему. Да и как им было не затронуть ее, пока они отдыхали, посасывая свои длинные чубуки и поглядывая в окно на вересковые склоны? В отроческие свои годы Клайм был так тесно вплетен в жизнь вересковой пустоши, что почти невозможно было глядеть на нее и не вспомнить о нем. И вот рассказы возобновлялись: если Клайм сейчас где-то там приобретает богатство и известность, тем лучше для него; если ему суждено быть трагической фигурой, тем лучше для рассказа.

Надо сказать, что Ибрайт приобрел известность, и даже непомерно большую, еще раньше, чем уехал из дому. «Плохо, когда твоя слава опережает твои возможности», — сказал испанский иезуит Грациан. В шесть лет Клайм загадал библейскую загадку: «О ком из мужчин известно, что он первый на земле стал носить брюки?» — и весь Эгдон рукоплескал ему. В семь лет он написал «Битву при Ватерлоо» соком черной смородины и пылью тигровых лилий, за неимением акварели. И благодаря этому к двенадцати годам он уже, по крайней мере, на две мили кругом прослыл художником и ученым.

Но если слава человека распространилась на три или четыре тысячи ярдов, а слава других ему подобных за то же время всего на шестьсот или восемьсот ярдов, то уж, значит, в нем что-то есть! Возможно, конечно, что слава Клайма, как и слава Гомера, кое в чем зависела от случайных обстоятельств, но так или иначе, а славен он был.

Он вырос, и ему помогли стать на ноги. Судьба, эта охотница до шуток, сделавшая Клайва в начале его жизни писцом, Гэя — торговцем льняными товарами, Китса — врачом и еще тысячи других чем-нибудь столь же мало для них подходящим,

этого мечтательного и аскетического сына вересковых просторов присадила к ремеслу, в котором все заботы и помышления были связаны с нарочитыми символами тщеславия и потворства своим страстям.

Подробности этого выбора профессий излагать не стоит. Когда умер отец Клайма, один соседний помещик согласился по доброте душевной помочь юноше, и помощь его выразилась в том, что Клайма послали в Бедмут. Он не хотел туда ехать, но ничего другого не наклеывалось. Оттуда он попал в Лондон, а затем вскорости в Париж, где и оставался до сих пор.

Так как все привыкли чего-то ожидать от него, то не успел он прожить двух недель дома, как по всей пустоши стали любопытствовать, почему он сидит тут так долго. Обычный срок праздничного отпуска кончился, а он все не уезжал. В утро первого воскресенья после венчанья Томазин во время стрижки перед домом Фейруэя этот вопрос был подвергнут подробному обсуждению. Все местные цирюльные операции всегда происходили в этот час и в этот день; засим следовало в полдень великое воскресное мытье, а часом позже облачение в праздничные одежды. Так что на Эгдоне, собственно, воскресенье началось не раньше обеденного часа, да и то выглядело оно несколько помытым.

Эту воскресную стрижку всегда производил Фейруэй; очередная жертва сидела, спяв куртку, на чурбаке перед домом, а соседи, стоя вокруг, судачили о том о сем, лениво наблюдая, как после каждого щелчка ножниц ветер подхватывает ключья волос, взвивает их кверху и разносит на все четыре стороны. Зимой и летом обстановка оставалась одна и та же; только если ветер бывал уж очень безжалостен, чурбак передвигали на несколько футов за угол дома.

Пожаловаться на холод, пока сидишь там под открытым небом без шапки и куртки, а Фейруэй между двумя ударами ножниц рассказывает разные истории из жизни, значило бы сразу заявить, что ты не мужчина. Вздрогнуть, вскрикнуть или шевельнуть хотя бы единым мускулом лица при небольших тычках кончиками ножниц под ухом или царапанье гребнем по шее было бы грубейшим нарушением хороших манер, тем более что Фейруэй делал все это бесплатно. И если у кого-нибудь под вечер в воскресенье замечались на голове или по соседству кровоточащие ранки и ссадины, то объяснение: «Да это я сегодня стригся», — считалось вполне удовлетворительным.

Разговор о Клайме Ибрайте зашел после того, как его самого увидели не спеша идущим вдаль по вереску.

— Ежели человек в другом месте хорошо зарабатывает, — сказал Фейруэй, — так не станет он тут ни с того ни сего третью неделю околачиваться. Стало быть, что-то он задумал, вот увидите.

— Ну, у нас тут брильянтами не расторгнешься, — сказал Сэм.

— А зачем он два тяжелых ящика с собой привез, коли оставаться тут не хочет? Хотя что он тут делать собирается — это один бог ведает.

Подробно развить эту тему им не удалось, так как Ибрайт приблизился и, заметив кучку чающих стрижки, свернул к ним. Он подошел вплотную, критически оглядел их лица и сказал без всяких вступлений:

— Хотите, братцы, угадаю, о чем вы сейчас говорили?

— А что ж, попробуйте, — сказал Сэм.

— Обо мне.

— Вот уж чего бы никогда себе не позволил — при других, то есть, обстоятельствах, — проговорил Фейруэй тоном неподкупной честности, — но раз вы сами сказали, так признаюсь, верно, сейчас только мы про вас говорили. Дивились, с чего это вы здесь время зря проводите, когда в своем деле, в торговле-то безделками, вы такой важный человек стали, на весь мир известный? Вот про это мы и говорили, и это истинная правда.

— Я вам объясню, — сказал Ибрайт с неожиданной серьезностью. — Это даже хорошо, что представился случай. Я приехал домой потому, что здесь могу быть несколько менее бесполезен, чем где-либо в другом месте. Но я только недавно это понял. Когда я впервые уехал из дому, я считал, что наши места не стоят, чтобы о них заботиться. Наша здешняя жизнь казалась мне достойной презрения. Мазать сапоги салом, а не ваксой, выбивать платье прутком, а не чистить щеткой, — что может быть смешнее? — говорил я тогда.

— Так, так, верно!..

— Нет, нет, совсем не так, вы ошибаетесь.

— Простите, мы думали, вы это взаправду...

— Ну вот. Но со временем на меня все чаще стало находить уныние. Я видел, что стараюсь быть похожим на людей, с которыми у меня нет ничего общего. Я пытался отказаться от одного образа жизни ради другого, который ничем не лучше той жизни, какую я раньше вел. Просто он другой.

— Ох, да. Совсем другой, — отозвался Фейруэй.

— Да, Париж, наверно, заманчивое местечко, — сказал Хемфри. — Магазинные окна все в огнях, трубы, барабаны... А мы тут всё под открытым небом — дождь ли, снег ли...

— Но вы опять меня не совсем поняли, — огорчился Клайм. — Я уже сказал, все это меня очень удручало. Но еще не так, как потом стало удручать другое, — а именно: я наконец уразумел, что мое ремесло — это самое праздное, суетное, недостойное занятие, к какому только можно приставить человека. Тогда я решил — брошу-ка я его и постараюсь найти для себя какое-нибудь разумное дело среди тех людей, которых я лучше всего знаю и которым могу принести больше всего пользы. Я приехал домой, и вот как я думаю осуществить свое решение: открою школу где-нибудь поближе к Эгдону, так, чтобы я мог приходить сюда пешком и вести еще вечерние занятия в

доме моей матери с теми, кто пожелает. Но сперва придется мне самому подзаняться, чтобы как следует подготовиться. А теперь, соседи, мне пора идти.

И Клайм продолжал свой путь по вереску.

— Да ни в жизнь он этого не сделает, — сказал Фейруэй. — Через месяц-другой научится по-иному на эти дела смотреть.

— Доброе сердце у этого молодого человека, — сказал другой. — Но, по мне, лучше бы он своим делом занимался.

ГЛАВА II

ЕГО РЕШЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ СПОРЫ

Ибрайт любил своих ближних. Он был убежден, что главное, в чем нуждается большинство людей, — это знание, причем такое знание, которое приносит мудрость, а не недостаток. Он хотел возвысить общество за счет индивидов, а не индивида за счет общества. Более того, он готов был сам стать первой жертвой на этом пути.

При переходе от буколической жизни к жизни интеллектуальной бывает по меньшей мере две промежуточные стадии, а часто и гораздо больше, и одной из этих стадий почти наверняка будет продвижение по общественной лестнице. Трудно себе представить, чтобы буколическая безмятежность могла расшевелиться сразу до чисто интеллектуальных целей, не пройдя сперва через достижение материальных благ как переходную ступень.

Местная особенность Ибрайта заключалась в том, что, стремясь к высокому мышлению, он одновременно не хотел отрываться от простой, в некоторых отношениях даже дикой и скудной жизни и братства с простолюдинами.

Он был своего рода Иоанном Крестителем, но проповедовал не покаяние, а облагораживание человека. Духовно он жил уже в будущем своего края, иначе говоря — он был наравне с мыслителями своего времени, проживавшими в главных европейских городах. Тут он многим был обязан своей жизни в Париже, где он ознакомился с этическими учениями, популярными в те дни.

Именно это относительно передовое развитие было причиной того, что обстоятельства складывались для Ибрайта скорее несчастливо. Сельский мир еще не созрел для него. Свое время следует опережать только частично; быть целиком в авангарде неблагоприятно для славы. Если бы воинственный сын Филиппа был настолько впереди своего времени, что попытался бы создать новую цивилизацию без кровопролития, он был бы вдвойне богоподобным героем, каким казался своим современникам, но никто не слышал бы об Александре.

Чтобы это опережение времени не вредило славе, нужно,

чтобы оно заключалось главным образом в умении придавать идеям форму. Удачливые пропагандисты потому и имели успех, что ту доктрину, которую они так блестяще излагали, их слушатели уже давно чувствовали, но не могли выразить. Человек, который защищает эстетические стремления и осуждает стремление к материальным благам, вероятно, будет понят лишь теми, для кого завоевание материальных благ уже позади. Доказывать сельскому миру возможность культуры прежде роскоши, может быть, правильно по идее; но это попытка нарушить последовательность, к которой человечество издавна привыкло. Проповедовать эгдонским отшельникам, как хотел Ибрайт, что они могут возвыситься до ясного и всестороннего знания о мире, не проходя сквозь процесс обогащения, это почти то же, что доказывать древним халдеям, что, возносясь с земли в чистые эмпиреи, не обязательно сперва пройти сквозь промежуточное эфирное небо.

Был ли у Ибрайта уравновешенный ум? Нет, ибо это такой ум, который не имеет никаких особых пристрастий, о носителе которого можно с уверенностью сказать, что он никогда не будет посажен в желтый дом, как сумасшедший, подвергнут пытке, как еретик, или распят, как святотатец. А также, с другой стороны, что никогда ему не будут рукоплескать, как пророку, почитать его, как водителя душ, возвеличивать, как короля. Блаженная доля таких людей — счастье и посредственность. Они создают поэзию Роджерса, картины Уэста, государственную мудрость Норта, духовное руководство Томлайна; все они находят путь к богатству, завершают жизнь среди общего уважения, с достоинством сходят со сцены, спокойно умирают в своих постелях; им воздвигают приличные памятники, в большинстве случаев ими вполне заслуженные. Будь у Ибрайта уравновешенный ум, он никогда не сделал бы такой нелепости, как бросить выгодное дело ради того, чтобы облагодетельствовать своих ближних.

Он шел по направлению к дому, не разбирая троп. Уж кто-то, а Клайм хорошо знал вересковую пустошь. Он был пропитан ее образами, ее сущностью, ее запахами. Можно сказать, что он был ее созданием. Она предстала ему, когда глаза его впервые открылись; ее пейзажи вплетались в первые его воспоминания; его суждения о жизни были окрашены ею; его игрушками были кремневые ножи и наконечники стрел, которые он находил на склонах, дивясь, почему это камень «вырастает» в такие странные формы; его цветами были пурпурные колокольчики и желтые головки дрока; его животным миром — змеи и дикие пони; его обществом — ее человеческие обитатели. Возьмите все разнообразные виды ненависти, которые Юстасия Вэй питала к вересковой пустоши, и превратите их в столько же видов любви — и перед вами будет сердце Клайма. Пробираясь по взгорью, он оглядывал открывшиеся ему широкие дали и радовался.

Для многих Эгдон был местом, которое давно, много поколений назад, выскользнуло из своего столетия и теперь вторглось в наше как некое инородное тело. Это было нечто устарелое, и мало кто склонен был его изучать. Да и как могло быть иначе в наши дни квадратных полей, подстриженных изгородей и лугов, орошаемых столь правильно расположенными канавками, что в солнечный день они похожи на серебряный рашпер. Фермер, который, проезжая мимо, может улыбнуться сеяным травам, заботливо оглядеть наливающиеся колосья и печально вздохнуть над изъеденной мошкой репой, при виде этих дальних вересковых пагорий самое большее, если неodobрительно сдвинет брови. Но Ибрайт, озирая их с гребня холма, по которому лежала его дорога, невольно испытывал какое-то варварское удовлетворение, видя, что в тех немногих местах, где делались попытки подъема эгдонской земли, пашня, продержавшись год-другой, в отчаянии отступала, и там снова утверждались папоротники и кусты дрока.

Он спустился в долину и вскоре был уже дома, в Блумс-Энде. Его мать обирала увядшие листья с комнатных растений на окнах. Она как-то недоуменно подняла к нему глаза, словно не могла понять, почему он так долго остается с нею; уже несколько дней он замечал это выражение на ее лице. Он понимал, что если у поселян, собравшихся для стрижки, его поведение возбуждало любопытство, то у матери это уже была тревога. Она ни разу не спросила его словами, даже когда прибытие сундуков ясно показало, что сын не намерен скоро уехать. Но ее молчание громче, чем слова, требовало ответа.

— Я не вернусь в Париж, мама,— сказал он.— По крайней мере, на прежнюю мою должность. Я совсем бросил это дело.

Миссис Ибрайт обернулась в горестном изумлении.

— Я так и знала, что что-то неладно. Еще когда сундуки пришли. Но почему ты раньше мне не сказал?

— Да, следовало бы раньше. Но я не знал, одобрите ли вы мой план. Да и мне самому кое-что еще было неясно. Я ведь намерен пойти по совсем новому пути.

— Ты меня удивляешь, Клайм. Разве можно найти что-нибудь лучше того, что ты делаешь сейчас?

— Очень легко. Но это будет лучше не в том смысле, как вы думаете; большинство, наверно, скажет, что это хуже. Но я ненавижу теперешнее мое занятие и хочу сделать что-нибудь стоящее, прежде чем умру. И как учитель, мне кажется, я смогу это сделать,— я хочу быть учителем для бедных и невежественных людей и научить их тому, чему никто другой их не научит.

— После всех наших трудов, чтобы поставить тебя на ноги, сейчас, когда тебе нужно только продолжать идти вперед, к богатству, ты говоришь, что хочешь быть учителем бедняков. Твои фантазии, Клайм, тебя погубят.

Миссис Ибрайт говорила спокойно, но сила чувства за словами была слишком очевидна для того, кто так хорошо знал ее, как сын. Он ничего не ответил. Лицо его выражало безнадежность, которую испытываешь, когда видишь, что собеседник органически неспособен принять твои доводы, и сознаешь, что логика даже при благоприятных обстоятельствах может подчас оказаться слишком грубым орудием для передачи тонкой мысли.

Больше они ничего об этом не говорили, пока не сели обедать. В самом конце обеда мать вдруг опять начала, словно и не было с утра перерыва.

— Меня очень тревожит, Клайм, что ты приехал домой с такими мыслями. Я понятия не имела, что ты вздумал по собственному выбору испортить себе карьеру. Я, разумеется, всегда думала, что ты будешь пробиваться дальше, вперед, как делают мужчины, — все, достойные этого названия, — когда перед ними открыта дорога.

— Я не могу иначе, — взволнованно отвечал Клайм. — Мама, я ненавижу всю эту фальшь. Вы говорите — мужчины, достойные этого названия, ну, а может достойный этого названия мужчина тратить время на такие ничтожные пустяки, когда у него на глазах половина человечества гибнет потому, что нет никого, кто взялся бы за дело и научил их восстать против той жалкой участи, в которой они рождены? Каждое утро я просыпаюсь и вижу, что все живое стонет и мучается, как сказал апостол Павел, а я тем временем продаю блестящие побрякушки богатым женщинам и титулованным развратникам и потворствую самому презренному тщеславию — я, у которого хватит здоровья и сил для чего угодно. Целый год у меня на душе было беспокойно, и вот теперь конец — я не могу больше этим заниматься.

— Почему ты не можешь, когда другие могут?

— Не знаю. Может быть, потому, что есть много вещей, которые другие ценят, а я нет. Отчасти поэтому я и считаю, что должен сделать то, что задумал. Например, мое тело очень мало от меня требует. Я равнодушен ко всяким деликатесам, не нахожу вкуса в тонких блюдах. Ну и надо этот недостаток обратить на пользу; раз я могу обойтись без многого, за чем люди гоняются, так можно будет эти деньги истратить на кого-нибудь другого.

Эти слова не могли не вызвать отклика в душе миссис Ибрайт, так как свои аскетические наклонности Клайм унаследовал не от кого другого, как от нее же самой; и там, где логика была бессильна, чувство нашло прямую дорогу, как ни старалась миссис Ибрайт это скрыть для пользы сына. Она заговорила уже с меньшей уверенностью:

— А все-таки ты мог бы стать богатым человеком, если бы только продолжал начатое. Заведующий большим ювелирным магазином — чего еще желать? Человек, облеченный доверием,

всеми уважаемый! Но ты, наверно, будешь как твой отец; как и ему, тебе надоедает жить хорошо.

— Нет,— сказал ее сын.— Это мне не надоедает, хотя мне и надоело то, что вы под этим подразумеваете. Мама, что такое «жить хорошо»?

Миссис Ибрайт сама была слишком вдумчива по натуре, чтобы удовлетвориться ходячими определениями, и, подобно сократовскому «Что есть мудрость?» и «Что есть истина?» Поптия Пилата, жгучий вопрос Ибрайта остался без ответа.

Вопарившееся молчание прервал скрип садовой калитки, потом стук в дверь, и дверь растворилась. На пороге появился Христиан Кентл в своем воскресном костюме.

На Эгдоне было в обычае начинать вступление к рассказу, еще не войдя в дом, так что к тому времени, когда гость и хозяин оказывались лицом к лицу, повествование уже шло полным ходом. Поднимая скобу и растворяя дверь, Христиан говорил:

— И подумать только, ведь я из дому-то в редкость когда выхожу, а нынче как раз там и оказался!

— Ты нам принес какие-то новости, Христиан? — сказала миссис Ибрайт.

— А как же, про колдунью, и простите уж, коли я не вовремя, потому я подумал: «Надо пойти им рассказать, хоть они, может, еще и не кончили обедать». Верите ли, я до сих пор как лист осиновый дрожу. Беды-то нам от этого не приключится, а? Как по-вашему?

— Да что случилось-то?

— Да вот были мы сегодня в церкви, ну, встали, когда полагается, стоим, а пастор и говорит: «Помолимся». «Ну, думаю, что стоймя стоять, что на коленках, какая разница», и стал, да не я один, а все, никто не захотел старику поперечить. Ну вот, стоим на коленях и простояли, может, минуту либо две, как вдруг слышим — вскрикнул кто-то, да страшно так, словно у него душа с телом расставалась. Все вскочили, и тут узналось, что Сьюзен Нонсеч уколола мисс Вэй заточенной вязальной спицей, она уже и раньше грозилась это сделать, только бы в церкви ее застать, да мисс Вэй редко в церковь ходит. Месяц небось караулила, все дожидалась, как бы сделать, чтобы у той кровь потекла, — это чтоб снять порчу со Сьюзенных детей, потому та давно их заколдовала. А сегодня Сью прошла за ней тихонечко в церковь и села рядышком, и как только та повернулась, так что удобно стало, Сью сейчас раз — и запустила ей иголку в руку.

— Боже, какой ужас! — сказала миссис Ибрайт.

— И так глубоко воткнула, что барышня сразу в обморок, а я испугался — вдруг побегут все, меня затолкают, и спрятаюсь за виолончель и больше уж ничего не видел. Но, говорят, ее вынесли на воздух, а когда сглянулись, где Сью, той уж и след простыл. Ох, да как же она вскрикнула, бедняжка! А па-

стор, в стихаре, руки поднял, говорит: «Сядьте, сядьте, добрые люди!» Ну да как же, сели они! Ой, а знаете, что я доглядел, миссис Ибрайт? У пастора под стихарем сюртук надет! Когда он руки-то воздел, так и стало черный рукав видно.

— Какая жестокость,— сказал Ибрайт.

— Да,— откликнулась его мать.

— В суд бы надо подать,— сказал Христиан.— А вот и Хемфри, кажись, идет.

Вошел Хемфри.

— Ну, слышали вы наши повости? Вижу, уж дошло до вас. А ведь вот чудно,— как кто из наших, эгдонских, в церковь пойдет, так что-нибудь неладное и случится. В последний раз Тимоти Фейрузэй там был еще осенью, так это ж тот самый день, когда вы племянницы вашей брак запретили, миссис Ибрайт.

— Эта девушка, с которой так жестоко поступили, смогла сама дойти до дому? — спросил Клайм.

— Говорят, ей потом получшало и пошла себе спокойненько домой. Ну, вот я вам все рассказал, пора мне и ко дворам.

— И мне,— сказал Хемфри.— Теперь узнаем, есть ли правда в том, что люди про нее говорят.

Когда они вышли на пустошь, Клайм сдержанно сказал матери:

— Ну, как вы теперь считаете — что мне еще рано становиться учителем?

— Это правильно, чтоб были учителя и миссионеры и тому подобные люди,— ответила она.— Но правильно также, чтобы я старалась поднять тебя из этой жизни к чему-то лучшему и чтобы ты не возвращался в нее опять, как будто мною ничего не было сделано.

Попозже днем зашел торфяник Сэм.

— Я пришел занять у вас кое-что, миссис Ибрайт. Слышали, наверно, что случилось с нашей красоткой с холма?

— Да, Сэм, уж человек шесть нам рассказали.

— Красоткой? — переспросил Клайм.

— Да она ничего себе, похаять нельзя,— отвечал Сэм.— У нас и то все говорят,— это, мол, диво, что такая женщина вздумала тут поселиться.

— Она темная или белокурая?

— Вот поди ж ты, я раз двадцать ее видел, а этого не запомнил.

— Темнее, чем Тамзин,— обронила миссис Ибрайт.

— И ничто ей не мило и ничем запяться не хочет.

— Она, значит, меланхолик?

— Все бродит одна, а с нашими ни с кем не дружит.

— Может быть, эта молодая девица склонна к приключениям?

— Вот уж не знаю, не слышал.

— Участвует иной раз с молодыми парнями в их играх, чтобы развеять скуку?

— Нет.

— Например, в святочных представлениях?

— Да нет же. У нее замашки совсем другие. По-моему, и помыслы-то ее все не здесь, с нами, а где-то невесть где, с лордами да с леди, которых ей никогда не знать, во дворцах, которых ей больше никогда не видеть.

Заметив, что Клайм как-то уж очень заинтересован этим разговором, миссис Ибрайт с некоторым беспокойством сказала Сэму:

— Вы, право, больше в пей видите, чем мы все. На мой взгляд, мисс Вэй слишком ленива, чтобы быть привлекательной. Я никогда не слыхала, чтобы она сделала что-нибудь полезное для себя или для других. С хорошими девушками все-таки не обращаются как с колдуньями, даже на Эгдоне.

— Пустяки какие, это ничего не доказывает,— сказал Ибрайт.

— Ну я, конечно, таких тонкостей не понимаю,— политично сказал Сэм, уклоняясь от возможно неприятного спора,— а что опа есть, время покажет. Я ведь зачем к вам зашел, миссис Ибрайт: не одолжите ли нам веревку, самую крепкую и самую длинную, какая у вас есть? У капитана бадья в колодец сорвалась, печем воды достать, а сегодня воскресенье, все дома, так хотим попробовать, авось вытащим. Мы уж трое вожжей связали, да не достает до дна.

Миссис Ибрайт разрешила ему взять любую веревку, какую он найдет в сарае, и Сэм отправился на поиски. Когда он потом проходил мимо двери, Клайм присоединился к нему и проводил до ворот.

— А что, эта юная колдунья еще долго пробудет в Мистовере? — спросил он.

— Надо думать, что долго.

— Какой позор — так ее обидеть! Она, вероятно, очень страдала, больше духом, чем телом.

— А конечно, недоброе дело, да еще девушка-то какая красивая! Вам бы ее повидать, мистер Ибрайт, вы сами изда-лека приехали, да и вообще свет повидали, не то что мы тут, сидни.

— Как вам кажется, она согласилась бы учить детей? — спросил Клайм.

Сэм покачал головой.

— Совсем другого сорта человек.

— Да это мне только так, сейчас в голову пришло... Конечно, падо бы повидаться с ней и поговорить, а это, кстати сказать, не так просто, наши семьи — ее и моя — не в ладах.

— Я вам скажу, как вы можете с ней повидаться, мистер Ибрайт,— сказал Сэм.— Сегодня в шесть часов мы пойдем к ним вытаскивать бадью, а вы приходите нам помочь. Нас будет человек пять-шесть, да колодец больно глубокий, лишняя пара рук не помешает, если, конечно, вам не обидно в таком обличье

им показаться. А она, уж конечно, выйдет посмотреть либо так куда пойдет.

— Я подумаю,— сказал Ибрайт, и они расстались.

Он много думал об этом, но в тот день больше ни слова не было сказано в их доме о Юстасии. И для него оставался нерешенным вопрос, была ли эта романтическая жертва суеверий и меланхолический комедиант, с которым он беседовал в лунном свете, одним и тем же лицом или нет.

ГЛАВА III

ПЕРВЫЙ АКТ ВЕКОВЕЧНОЙ ДРАМЫ

День был хороший, и Клайм около часу гулял с матерью по вереску. Поднявшись на высокий гребень, который отделял долину Блумс-Энда от соседней, они постояли немного, глядя по сторонам. В одном направлении в низине на самом краю пустоши виднелась гостиница «Молчаливая женщина», в другом поднялся в отдалении Мистоверский холм.

— Вы хотите зайти к Томазин? — спросил он.

— Да. Но тебе не обязательно сегодня к ней идти,— ответила мать.

— Тогда я тут с вами расстанусь, мама. Я иду в Мистовер. Миссис Ибрайт подняла к нему вопросительный взгляд.

— Помогу им вытаскивать бадью из капитанского колодца,— продолжал оп.— Там очень глубоко, так что и я буду нелишним. И, кроме того, мне хочется поглядеть на эту мисс Вэй, не столько из-за ее красоты, как по другой причине.

— Непременно надо идти? — спросила мать.

— Да я уж надумал.

И он ушел.

— Ничего нельзя сделать,— мрачно пробормотала мать Клайма, глядя ему вслед.— Они наверняка увидятся. Ах, лучше бы Сэм свои новости в другие дома приносил, а не в мой.

Удаляющаяся фигура Клайма становилась все меньше и меньше, то поднимаясь, то опускаясь по пригоркам на его пути.

— Очень уж он мягкосердечный,— сказала про себя миссис Ибрайт, все еще следя за ним глазами,— а то бы ничего. Как спешит!

Он действительно таким решительным шагом, не разбирая дороги, стремился сквозь заросли дрока, словно от этого зависела его жизнь. Его мать глубоко вздохнула и повернула обратно к дому. Вечерняя дымка уже сгущалась в низинах, затягивая их туманом, но все возвышенности еще обстреливались косыми лучами закатного солнца; оно поглядывало и на шагающего Клайма, и тысячи других глаз,— каждый кролик и каждый дрозд-рябинник, затаившиеся в кустах,— пристально за ним следили, и впереди него двигалась длинная тень.

Приблизившись ко рву и поросшему дроком валу, составившим укрепления капитанского обиталища, Клайм услышал за валом голоса,— очевидно, работы по извлечению бадьи уже начались. У боковой калитки он остановился и заглянул во двор.

Полдюжина крепких мужчин стояло цепочкой, держа веревку, которая, перекинувшись через лежачий ворот над колодецем, исчезала в его недрах. Тимоти Фейруэй, безопасности ради привязанный поперек тела другой веревкой, покорооче, к одному из стоек, склонился над горлом колодца, придерживая правой рукой длинную веревку в той ее части, которая вертикально уходила вниз.

— Ну-ка потише, ребята,— сказал Фейруэй.

Разговоры умолкли, и Фейруэй сообщил веревке круговое движение, словно размешивая тесто. Спустя минуту из глубины донесся глухой плеск: спиральный извив, приданный веревке, достиг крюка на дне.

— Тащите! — сказал Фейруэй, и мужчины, державшие веревку, принялись выбирать ее, наматывая на ворот.

— Что-то есть,— сказал один.

— Так тяните поосторожней,— сказал Фейруэй.

Они все больше и больше выбирали веревку, и через некоторое время снизу, из колодца, донесся звук равномерно капающей воды. Он становился тем резче, чем выше поднималось ведро; наконец было вытащено около ста пятидесяти футов веревки.

Тогда Фейруэй зажег фонарь, привязал его к другой веревке и стал спускать ее в колодец рядом с первой. Клайм подошел и заглянул вниз. Странные мокрые листья, для которых не существовало времен года, и причудливо-узорчатые мхи обнаруживались на стенках колодца по мере того, как фонарь опускался; наконец лучи его упали на смутный ком из перепутанной веревки и бадьи, покачивающийся в волглom темном воздухе.

— Мы ее только за край дужки подцепили,— ради бога, осторожней!

Они тянули с величайшей бережностью, пока в колодце двумя ярдами ниже не показалась бадья, словно умерший друг, снова возвращающийся на землю. Три-четыре руки протянулись к ней, как вдруг дернулась веревка, визгнул ворот, двое передних в цепочке повалились навзничь, послышался стук падающего тела о стенки колодца, и со dna донесся громовой всплеск. Бадья опять сорвалась.

— Ах, чтоб ей! — сказал Фейруэй.

— Спускай опять,— сказал Сэм.

— У меня уже спина задеревенела, столько времени согнувшись стоял,— сказал Фейруэй, выпрямляясь и потягиваясь с такой силой, что хрустнули суставы.

— Отдохните немного, Тимоти,— сказал Ибрайт.— Я стапу на ваше место.

Опять спустили крюк. Его стремительный удар о далекую воду отдался у них в ушах, как звук поцелуя, после чего Ибрайт стал на колени и, нагнувшись над колодцем, принялся кругообразно водить крюком, как раньше делал Фейруэй.

— Обвяжите его веревкой, это же опасно! — раздался мягкий и тревожный голос откуда-то сверху.

Все обернулись. Говорила женщина из верхнего окна, стекла которого сверкали в красном зареве заката. Губы ее приоткрылись, казалось, она на миг забыла, где она.

Ибрайта обвязали веревкой вокруг пояса, и работа продолжалась. Еще что-то вытащили, но тяжесть была небольшая, и оказалось, что это только виток веревки, отвязавшийся от бадьи. Мокрую массу бросили в сторону на землю; Хемфри занял место Ибрайта, и крюк снова спустили.

Ибрайт в задумчивости отошел к сваленной на траву веревке. В тождестве только что прозвучавшего голоса девушки и голоса меланхолического комедианта у него теперь не оставалось сомнений. «Какая заботливая!» — подумал он.

Юстасия покраснела, когда заметила, какой эффект произвели ее слова на стоявших внизу, и теперь больше не показывалась в окне, хотя Ибрайт долго на него поглядывал. И пока он там медлил, мужчины у колодца наконец благополучно вытащили бадью. Один пошел искать капитана, чтобы узнать, какие будут дальнейшие распоряжения. Капитана дома не оказалось; вместо него в дверях появилась Юстасия и подошла к ним. Она держалась непринужденно, со спокойным достоинством, весьма далеким от той силы чувства, которая прозвучала в ее заботливых словах о безопасности Клайма.

— А сегодня уже можно будет достать воду? — спросила она.

— Нет, мисс. Дно у бадьи вышибло пачисто. И так как мы сейчас ничего не можем сделать, то мы уйдем, а придем завтра утром.

— Опять без воды, — уронила она и повернулась, чтобы уйти.

— Я могу прислать вам немного из Блумс-Энда, — сказал Клайм, выступая вперед и приподнимая шляпу; остальные уже выходили в калитку.

Мгновение Ибрайт и Юстасия глядели друг на друга, как будто каждый вспоминал те несколько минут в лунном свете, которые были их общим достоянием. И после этого обмена взглядами спокойная неподвижность ее черт смягчилась, ее сменило более утонченное и теплое выражение, как будто жесткий свет полдня за несколько секунд возвысился до благоговения и прелести заката.

— Благодарю вас, но это, право, не нужно.

— Да ведь у вас же нет воды?

— Ну, это я считаю, что пет воды,— сказала она, краснея и поднимая свои опущенные длинными ресницами веки, как будто поднять их было делом, требующим размышления.— Но мой дедушка считает, что воды у нас довольно. Пойдемте, я вам покажу.

Она сделала несколько шагов в сторону, он последовал за ней. Когда она подошла к стыку между насыпями, где были проделаны ступеньки, чтобы подниматься на вал, она вспрыгнула на них с легкостью, неожиданной после ее вялых движений у колодца. Это, между прочим, показывало, что ее томность происходила не от недостатка силы.

Клайм поднялся следом за ней и заметил паверху на валу круглое выжженное пятно.

— Зола? — спросил он.

— Да,— сказала Юстасия.— На пятое ноября мы тут устраивали маленький костер, и это след от него.

На этом месте был костер, который она зажгла, чтобы привлечь Уайлдива.

— Вот какая у нас есть вода,— сказала она и бросила камешек в пруд, лежавший с наружной стороны вала, как белок глаза без его зрачка. Камень упал в воду с громким плеском, но Уайлдив не появился на другой стороне пруда, как это однажды было.— Мой дедушка говорит, что во время своих морских походов он двадцать лет пил вдвое худшую воду,— продолжала она,— и считает, что и мы отлично можем пить эту, когда нет другой.

— Что ж, это верно, в зимнее время в этих прудах нет грязи. Они только что наполнились дождевой водой.

Она покачала головой.

— Я уже приспособилась жить в глуши,— сказала она,— но пить из пруда не могу.

Клайм поглядел в сторону колодца, где теперь никого не было, все уже ушли домой.

— За ключевой водой далеко посылать,— сказал он, помолчав.— Но если вам так не правится прудовая вода, попробую достать для вас колодезную.— Он пошел к колодцу.— Да, мне кажется, я смогу. Привяжу вот это ведро.

— Но раз я не стала тех утруждать, то, по совести, не могу и вам позволить...

— Никакого труда, я сделаю это с удовольствием.

Он привязал ведро к сваленной на землю длинной веревке, перекинул ее через ворот и стал спускать, давая веревке скользить меж ладоней. Но, отпустив немного, он задержал ее.

— Надо сперва закрепить копец, а то можно все потерять,— сказал он подошедшей ближе Юстасии.— Не можете ли вы подержать веревку, пока я это сделаю,— или мне пойти позвать вашу служанку?

— Я подержу,— сказала Юстасия, и он передал веревку ей в руки, а сам пошел искать конец.

— Можно, я буду спускаться потихоньку? — спросила Юстасия.

— Только не надо много, — сказал Клайм, — а то, если ведро уйдет глубоко, вы увидите, насколько оно станет тяжелее.

Юстасия все-таки начала травить веревку. Когда Клайм завызывал конец, она вдруг вскрикнула:

— Я не могу ее удержать!

Клайм подбежал к ней, но задержать веревку ему удалось, только замотав непатянутую часть вокруг стояка; тогда она сильно дернулась и остановилась.

— Вас не поранило?

— Есть-таки.

— Очень?

— Нет; кажется, нет.

Она раскрыла ладони. Одна кровоточила, — веревкой содрала кожу. Юстасия обернула руку носовым платком.

— Надо было бросить, — сказал Ибрайт. — Почему вы не бросили?

— Вы сказали — держать... Это уж во второй раз меня сегодня ранят.

— Ах да, я слышал. Краспею за мой родной Эгдон. И серьезное вам панесли повреждение?

В его голосе было столько сочувствия, что Юстасия медленно подняла рукав и открыла свою круглую белую руку. На гладкой коже горело ярко-красное пятнышко, словно рубин на паросском мраморе.

— Вот, — сказала она, тронув пятнышко пальцем.

— Какой низкий поступок, — сказал Клайм. — Неужели капитан допустит, чтобы эта женщина осталась безнаказанной?

— Он как раз сейчас пошел по этому делу. Я не знала, что у меня такая магическая репутация.

— И вам стало дурно? — сказал Клайм, глядя на крохотную алую ранку, как будто ему хотелось поцеловать ее и тем излечить.

— Да, я испугалась. Я так давно не была в церкви. И, наверно, еще долго не пойду, — может быть, никогда. Я не могу смотреть им в глаза после этого. Ведь правда, это страшно унижительно? Я потом хотела умереть. Но теперь мне уже все равно.

— Я приехал сюда, чтобы вымести всю эту паутину, — сказал Ибрайт. — Не хотите ли вы мне помочь? Будете учить в старших классах. Мы можем принести здесь много пользы.

— Что-то не очень хочется. Я не слишком люблю своих ближних. Иногда почти ненавижу.

— Все-таки я думаю, если бы вы познакомились с моим планом, вы бы заинтересовались. А ненавидеть людей не стоит; уж если что ненавидеть, так то, что их сделало такими.

— Вы хотите сказать — природу? Я уже ее ненавижу. Но о ваших планах я буду рада послушать в любое время.

Теперь положение вполне определилось, и оставалось только

попрощаться. Клайм хорошо это понимал, да и Юстасия сделала какой-то заключительный жест; все же он смотрел на нее, словно хотел еще что-то сказать. Если бы он не жил раньше в Париже, возможно, это так и осталось бы несказанным.

— Мы уже встречались,— проговорил он наконец, глядя на нее, пожалуй, с большим интересом, чем то было необходимо.

— Я этого не признаю,— тихо и сдержанно ответила она.

— Но я могу думать, что хочу.

— Да.

— Вы одиноки здесь.

— Не выношу вереска, кроме как когда он цветет. Для меня Эгдон жестокий тюремщик.

— Да что вы! — воскликнул он. — А меня он всегда бодрит и успокаивает и придает мне силы. Если бы надо было выбирать, где жить, я бы из всех мест на земле выбрал только эти нагорья.

— Они интересны для художников, но у меня нет никаких способностей к рисованию.

— А вон там, совсем близко,— он бросил камешек в нужном направлении,— есть очень любопытный друидический камень. Вы часто ходите на него смотреть?

— Я даже не знала, что тут есть такой камень. Но я знаю, что в Париже есть Бульвары.

Ибрайт задумчиво глядел в землю.

— Этим много сказано,— проговорил он.

— Да. Конечно.

— Помню, и я когда-то испытывал такую же тоску по городской суете. Пять лет в большом городе радикально это излечивают.

— Послал бы мне бог такое лекарство! А теперь, мистер Ибрайт, я должна пойти в дом перевязать свою раненую руку.

Они расстались, и Юстасия исчезла в сгущающихся сумерках. Душа ее была полна до краев. Прошлое перестало существовать, только сейчас началась жизнь. Клайм же далеко не сразу разобрался в своих чувствах и лишь значительно позже понял, как на него повлияло это свиданье. А сейчас, пока он шел домой, у него было лишь одно ясное ощущение — что его план теперь почему-то представляется ему в сияющем ореоле. Образ прекрасной женщины переплелся с ним.

Придя домой, он поднялся наверх, в комнату, в которой хотел устроить себе рабочий кабинет, и весь вечер занимался тем, что распаковывал книги из ящика и расставлял их на полках. Из другого ящика он достал лампу и бутылку с керосином. Он заправил лампу, разложил все нужное на столе и сказал:

— Ну вот, теперь я готов начать.

Наутро он встал рано и читал два часа до завтрака при свете своей лампы; потом читал все утро и весь день до заката. Как раз когда солнце стало садиться, он почувствовал, что глаза у него устали, и откинулся на спинку кресла.

Из окна виден был палисадник перед домом и дальше заросшая вереском долина. Последние косые лучи низко стоящего зимнего солнца отбрасывали тень от дома на тын, на травянистую кромку пустоши и далеко в глубь долины, где тени трубы и окружающих древесных вершин вытягивались, словно длинные черные зубья. Просидев весь день над книгами, Клайм решил теперь пройтись по холмам до наступления темноты и, немедленно выйдя из дому, зашагал по вереску в сторону Мистовера.

Прошло добрых полтора часа, прежде чем он снова появился перед садовой калиткой. Ставни в доме были заперты, и Христиан Кентл, весь день развозивший в тачке навоз по саду, ушел уже домой. Войдя, Клайм увидел, что мать, долго его дожидавшаяся, кончает ужинать.

— Где ты был, Клайм? — тотчас спросила она. — Почему не сказал мне, что уходишь в такой час?

— Я гулял по пустоши.

— Ты, пожалуй, встретишь Юстасию Вэй, если будешь ходить туда, наверх.

Клайм помолчал минуту.

— Да, я ее сегодня встретил, — проговорил он нехотя, как бы из одной необходимости быть честным.

— Я так и думала.

— Это была случайная встреча.

— Такие встречи всегда случайны.

— Надеюсь, вы не сердитесь, мама?

— Не знаю, как тебе сказать. Сержусь? Нет. Но когда я вспоминаю, что чаще всего служило той помехой, из-за которой способные люди не оправдывали возлагавшихся на них надежд, я поневоле тревожусь.

— Я должен быть благодарен вам, мама, за заботу. Но уверю вас, в этом отношении обо мне нечего беспокоиться.

— Когда я думаю о тебе и твоих новых фантазиях, — сказала миссис Ибрайт уже с некоторым жаром, — у меня, конечно, не может быть так спокойно на душе, как было год назад. И мне кажется прямо невероятным, что человек, навидавшийся по-настоящему обаятельных женщин в Париже и других городах, мог так легко попасть в сети какой-то девчонки из медвежьего угла. Надо было тебе выбраться на эту прогулку!

— Я целый день занимался.

— Ах да, — добавила миссис Ибрайт более спокойно, — я тут как раз думала, может, правда, ты сумеешь выдвинуться как учитель и хоть на этом поприще сделать карьеру, раз уж твое прежнее тебе ненавистно.

Ибрайту не хотелось разрушать эту мечту, хотя его собственный план был весьма непохож на те, в которых воспитание юношества рассматривается лишь как средство подняться по общественной лестнице. У него не было таких желаний. Он достиг той стадии в жизни молодого человека, когда ему ста-

новится ясна неумолимая жестокость законов, управляющих человеческой жизнью; честолюбие молчит в такие минуты. Во Франции на этом этапе нередко совершают самоубийство; в Англии мы в таких случаях показываем себя с несколько лучшей стороны, а иногда и с гораздо худшей.

Любовь между Клаймом и его матерью стала теперь до странности неприметной. О любви можно сказать, что чем она крепче, тем скрытнее. В своей абсолютно неуничтожимой форме она достигает таких глубин, что всякое проявление ее вовне становится уже мучительным. Так было и с этими двумя. Если бы кто подслушал их разговор, он бы сказал: «Как они холодны друг с другом!»

Взгляды Клайма и его желание посвятить свое будущее учительству произвели впечатление на миссис Ибрайт. Да и как могло быть иначе, когда он был частью ее и споры их велись как бы между правой и левой рукой одного и того же тела? Он потерял надежду воздействовать на нее доводами — и вдруг, как полную неожиданность для себя, обнаружил, что может повлиять на нее неким магнетизмом, который настолько же выше слов, насколько слова выше нечленораздельных выкриков.

И, как ни странно, теперь он начинал уже чувствовать, что легче будет убедить ее, своего лучшего друга, в том, что сравнительная бедность, по существу, более высокий путь для него, чем ему самому примириться с ее согласием быть убежденной. Мать была до такой степени и так самоочевидно права со всех разумных, практических точек зрения, что он даже с какой-то болью в сердце осознал, что может ее поколебать.

Ей была в высшей степени свойственна пронизательность, своего рода проникновение в жизнь, тем более удивительное, что сама она в жизни не участвовала. Известны такие примеры: люди, не имевшие ясного представления о вещах, которые они критиковали, имели, однако, ясное представление о взаимоотношениях этих вещей. Блеклок, поэт, слепой от рождения, умел точно описывать видимые предметы; профессор Сандерсон, тоже слепец, читал превосходные лекции о цвете и объяснял другим теорию явлений, которые были им доступны, а ему нет. В практической жизни такой одаренностью отличаются чаще всего женщины; они могут следить за миром, которого никогда не видали, и оценивать силы, о которых только слышали. Мы называем это интуицией.

Как миссис Ибрайт воспринимала большой мир? Как некое множество, тенденции которого можно уловить, но не его сущность. Людские сообщества виделись ей как бы с некоторого расстояния; она видела их так, как мы видим толпы на полотнах Саллаэрта, Ван-Альслоота и других художников той же школы, — огромные массы живых существ, которые толкаются, теснятся, делают зигзаги и все вместе движутся в определенном направлении, но чьи черты невозможно различить именно в силу широкого охвата картины.

Глядя на миссис Ибрайт, не трудно было определить, что ее жизнь, по крайней мере, до сих пор, была богата не действием, но размышлением. И природный нравственный ее склад, и его искаженность обстоятельствами были словно записаны в ее движениях. Движения ее имели величавость своей основой, хотя сами были далеко не величественны; они должны были бы выражать уверенность, но они не были уверенными. Как ее некогда упругая походка отяжелела с годами, так и ее врожденная сила жизни не смогла достичь полного расцвета, ущемленная нуждой.

Следующее легкое прикосновение пальцев, незаметно вылепливавших судьбу Клайма, произошло несколько дней спустя. На пустоши раскопали курган; Ибрайт при этом присутствовал, и его рабочая комната в тот день пустовала. Под вечер вернулся Христиан, ходивший по делу в ту же сторону, и миссис Ибрайт стала его расспрашивать.

— Вырыли ямину, миссис Ибрайт, и нашли пропасть этих штуковин, вроде опрокинутых цветочных горшков. А в середине в них мертвечьи кости. И многие брали эти горшки и уносили к себе; ну, а я ни в жизнь не стал бы спать там, где они стоят; мертвецы-то, бывает, приходят и требуют свое назад. Мистер Ибрайт тоже взял один такой горшочек с костями, домой хотел отнести, — настоящие человечьи кости! — да, видно, не суждено ему было, передумал в конце концов, да все и отдал, и горшок и кости. И слава богу, миссис Ибрайт, так-то вам поспокойнее будет, а то ведь страх какой, мертвечина в доме, а у вас тут еще и ветер ночью как-то воет не по-хорошему.

— Все отдал?

— Да. Подарил мисс Вэй. У нее, видать, пристрастие какое-то, людоедское прямо, ко всей этой кладбищенской посуде.

— Мисс Вэй тоже там была?

— Да, кажись, и она была.

Когда вскоре после этого Клайм пришел домой, мать сказала ему каким-то необычным тоном:

— Ты взял урну для меня, а отдал другой.

Клайм ничего не ответил — слишком отчетливое чувство, прозвучавшее в этих словах, не допускало ответа.

Одна за другой проходили первые недели нового года. Ибрайт много занимался дома, но также и много гулял, всякий раз беря направление на какую-нибудь точку в линии, соединяющей Мистовер и Дождевой курган.

Пришел наконец март месяц, и всюду на пустоши стали заметны первые слабые признаки пробуждения от зимнего сна. Пробуждение это совершалось медленно и незаметно, словно бы подкрадывалось по-кошачьи. Пруд возле капитанской усадьбы оставался немым и мертвым для тех, кто, придя на его берег, двигался или производил шум; но стоило постоять там тихо



и молча, и в воде замечалось большое оживление. Робкий животный мир возвращался на лето к жизни. Крошечные головастики и тритоны уже начали пускать пузырьки и быстро носиться под водой; жабы издавали звуки, похожие на попискивание недавно вылупившихся утят, и по двое и по трое выползали на берег; а над головой в гаснущем свете дня то и дело пролетали шмели, и гуденье их то усиливалось, то ослабевало, как удары в гонг.

В один из таких вечеров Ибрайт спускался в долину Блумс-Энда, простояв перед тем вместе с одной особой возле этого самого пруда достаточно тихо и достаточно долго для того, чтобы расслышать все это мелкое шевеленье воскресающей природы; однако он его не слышал. Спускаясь с холма, он шел быстро,

упругой поступью. Перед домом матери остановился и перевел дух. В свете, падавшем из окна, видно было, что лицо его покраснелось и глаза сияют. Но одного нельзя было увидеть, — того, что он ощущал у себя на губах, словно положенную на них печать. И это ощущение было так реально, что он не решился войти в дом, — ему казалось, что мать тотчас спросит: «Что это за красное пятно так ярко горит у тебя на губах?»

Но вскоре он все-таки вошел. Чай был готов, и Клайм сел за стол напротив матери. Мать только скупо проронила несколько слов, а ему самому что-то недавно происшедшее на холме и слова, при этом произнесенные, не давали начать ничего не значащую болтовню. В молчанье матери, пожалуй, даже таилась угроза, но его это, по-видимому, не трогало. Он знал, почему она так скупа на слова, но не мог устранить причину ее недовольства. Такое молчаливое сидение за столом в последнее время стало входить у них в привычку. Наконец Ибрайт заговорил: он сделал попытку копнуть под самый корень.

— Вот уже пять дней, — сказал он, — как мы так вот сидим за трапезами, почти не раскрывая рта. Какой в этом толк, мама?

— Никакого, — ответила она удрученно. — Но причина для этого есть, и очень серьезная.

— Ее не станет, когда вы все узнаете. Я давно хотел поговорить с вами и рад, что время наконец пришло. Причина, конечно, в Юстасии Вэй. Да, признаюсь, я только что виделся с ней и до того еще много раз.

— Да, я понимаю, что все это значит. И это меня очень беспокоит, Клайм. Ты губишь себя, и все из-за нее. Не будь этой женщины, ты не стал бы затевать всю эту историю с учительством.

Клайм в упор посмотрел на мать.

— Вы сами знаете, что это не так.

— Да, да, я знаю, у тебя были такие намерения еще раньше, чем ты ее увидел, но они так бы и остались только намерениями. Об этом приятно разговаривать, осуществлять смешно. Я была уверена, что через месяц-другой ты увидел бы всю нелепость такого самопожертвования и сейчас уже был бы в Париже на какой-нибудь должности. Я могу понять твои возражения против ювелирного дела, — может, и правда оно не подходит для такого человека, как ты, даже если бы и могло сделать тебя миллионером. Но теперь, когда я вижу, как ты ошибаешься в этой девушке, я уж не знаю, можешь ли ты хоть о чем-нибудь судить здраво.

— Как я ошибаюсь в ней?

— Она ленива и вечно всем недовольна. Но дело не только в этом. Пусть даже она само совершенство, чего, конечно, нет, но зачем тебе сейчас понадобилось себя связывать?

— Есть практические соображения, — начал Клайм и остановился, словно вдруг ощутив на себе тяжесть всех веских доводов, которые можно было на него обрушить. — Если я открою

школу, образованная жена будет для меня неоценимой помощницей.

— Да ты что, в самом деле думаешь на ней жениться?..

— Ну, так твердо говорить об этом еще преждевременно. Но посудите сами, какую выгоду это может мне принести. Она...

— Ты только не думай, что у нее есть деньги. Гроша ломаго нет за душой.

— Она прекрасно воспитана, из нее выйдет отличная заведующая хозяйством в закрытой школе. Скажу вам откровенно, я несколько изменил свои планы из уважения к вам; думаю, вы будете довольны. Я больше не держусь за прежнее свое намерение — из собственных уст преподавать начатки знания людям самого бедного круга. Я могу добиться большего. Могу открыть хорошую частную школу для сыновей фермеров и, не отрываясь от занятий, выдержать экзамены. Этим способом и с помощью такой жены, как она...

— О, Клайм!

— Я надеюсь со временем оказаться во главе одной из лучших школ нашего графства.

Ибрайт произнес слово «она» с таким жаром, который в разговоре с матерью был до пелепости нескромным. Едва ли хоть одно материнское сердце по сю сторогу четырех морей могло бы спокойно принять такое несвоевременное проявление чувств к другой женщине, только еще вступающей в жизнь сына.

— Ты ослеплен, Клайм,— сказала она с горячностью.— Недобрый это был день, когда она впервые попала тебе на глаза. И весь твой план — это только воздушный замок, который ты нарочно строишь, чтобы оправдать охватившее тебя безумие и успокоить совесть, все-таки встревоженную пелепым положением, в которое ты себя поставил.

— Мама, это неправда,— твердо ответил он.

— И ты можешь утверждать, что я вот сижу и говорю тебе ложь, когда единственное, чего я хочу, это спасти тебя от горя? Стыдись, Клайм! И все из-за этой женщины — этой потаскушки!

Клайм покраснел до корней волос и встал. Он положил руки на плечо матери и произнес голосом, который странно колебался на грани между мольбой и приказанием:

— Я не хочу это слышать. Иначе я могу ответить вам так, что мы оба потом пожалеем.

Его мать раскрыла губы, собираясь изложить еще какую-то гневную истину, но, глянув ему в лицо, увидела там что-то, что заставило ее проглотить свои слова. Клайм прошелся раз-другой по комнате, потом внезапно вышел из дому. Вернулся он только в одиннадцать часов, хотя не выходил за пределы сада. Мать уже легла. На столе горела лампа и стоял ужин. Не прикоснувшись к еде, Клайм запер на болты все двери и ушел к себе наверх.

ГЛАВА IV

ОДИН ЧАС БЛАЖЕНСТВА И СТО ПЕЧАЛИ

На другой день в Блумс-Энде царил мрак. Ибрайт все время сидел у себя наверху над книгами, но результат его трудов был ничтожно мал. Решив, что в его поведении с матерью не должно быть ничего похожего на враждебность, он несколько раз заговаривал с ней о каких-нибудь домашних делах и не обращал внимания на краткость ее ответов. Поддерживая ту же видимость непринужденного разговора, он сказал ей под вечер около семи часов:

— Сегодня будет затмение луны. Пойду погляжу.

И, надев куртку, вышел.

Луна стояла низко, и от дома ее не было видно; Клайм поднялся по склону долины, пока лунный свет не озарил его всего. Но и тут он не остановился, а продолжал идти по направлению к Дождевому кургану.

Через полчаса он стоял на его вершине. Небо было чисто из края в край, и луна заливала светом всю пустошь, но не делала ее заметно светлее, кроме тех мест, где протоптанные тропинки и весенние ручьи обнажили кремневую гальку и сверкающий кварцевый песок, — это были полоски света среди общей тени. Постояв немного, Клайм нагнулся и пощупал вереск. Он был сухой; Клайм растянулся на кургане лицом к луне, и она тотчас нарисовала в каждом его глазу свое крохотное изображение.

Он часто ходил сюда, не объясняя матери зачем; но сегодня впервые он дал ей объяснение, как будто откровенное, а на самом деле скрывающее его истинную цель. Три месяца тому назад он бы, пожалуй, не поверил, что будет способен на такую двуличность. Возвращаясь на родину, чтобы трудиться в этом уединенном месте, он предвкушал освобождение от раздражающих общественных условностей; а гляди-ка, они были и здесь. В эту минуту еще больше, чем всегда, он жаждал перенестись в какой-нибудь другой мир, не такой, как наш, где личное честолюбие — единственная признанная форма прогресса, но такой, какой, быть может, существовал когда-то на серебряном шаре, сейчас висящем у него над головой. Он проходил взором вдоль и поперек по этой дальней стране — по Заливу Радуг, мрачному Морю Кризисов, Океану Бурь, Озеру Снов, обширным циркам и удивительным кратерам, — пока ему не стало мерещиться, будто он и в самом деле путешествует на луне среди этих диких ландшафтов, стоит на ее полых внутри горах, пробирается по ее пустыням, спускается в ее долины и на высохшее дно ее морей, восходит на края ее потухших вулканов.

Пока он созерцал этот бесконечно удаленный пейзаж, на нижнем крае луны возникло коричневатое пятно: затмение началось. Для Клайма это был заранее условленный момент,

ибо небесное явление было поставлено на службу подлунным надобностям и стало сигналом для любовников. Сознание Ибрайт мгновенно вернулось на землю, он встал, отряхнулся и прислушался. Прошла минута, другая, может быть, десять, — тень на луне заметно расширилась. Он услышал слева шелест, закутанная фигура с поднятым кверху лицом показалась у подножья кургана. Клайм сбегал вниз — и через мгновение пришедшая была в его объятьях и его тубы на ее губах.

— Моя Юстасия!

— Клайм, дорогой мой!

Меньше трех месяцев понадобилось, чтобы привести к такому финалу.

Они долго стояли молча, ибо никакой язык не мог быть на уровне того, что они чувствовали; слова были как кремневые орудия давно прошедшей варварской эпохи, употреблять их можно было только изредка.

— Я уж стал удивляться, почему ты не идешь, — сказал Ибрайт, когда она слегка высвободилась из его объятий.

— Ты сказал, через десять минут после того, как тень впервые появится на краю луны; сейчас как раз столько и прошло.

— Ну хорошо, будем думать только о том, что мы наконец вместе.

И, держась за руки, они опять умолкли, а тень на лунном диске стала еще немного шире.

— Тебе долго показалось с тех пор, как ты меня в последний раз видел?

— Мне грустно показалось.

— Но не долго? Это потому, что ты занят, ну и не замечаешь моего отсутствия. А мне делать нечего, и я все это время как будто жила в стоячей воде.

— Я скорее согласен терпеть скуку, дорогая, чем сокращать время такими средствами, как было у меня на этот раз.

— А какими это? Ты думал о том, что не хочешь любить меня?

— Разве может человек не хотеть и все-таки любить? Нет, Юстасия.

— Мужчины могут, женщины — нет.

— Ну, что бы я там ни думал, ясно одно — я люблю тебя больше всего на свете. Люблю до того, что это даже гнетет меня, — это я-то, у которого до сих пор не было с женщинами ничего, кроме приятных и мимолетных увлечений! Дай мне посмотреть на твоё озаренное луной лицо, взглядеться в каждую его черту, в каждый изгиб! Всего на волосок отличаются они от черт и изгибов на других женских лицах, которые я видел много раз, прежде чем узнал тебя, — и, однако, какая разница! Все и ничто не больше разнятся меж собой. Еще раз коснуться этих губ! Вот, вот и вот! У тебя веки отяжелели — ты плакала, Юстасия?

— Нет, они у меня всегда такие. Должно быть, оттого, что

я иногда так ужасно жалею себя — зачем только я родилась на свет.

— Но сейчас не жалеешь?

— Нет. И все же я знаю, что мы не вечно будем так любить. Любовь не удержишь никакими силами. Она испарится, как дух, — и поэтому я полна страха.

— Напрасно.

— Ах, ты не знаешь. Ты видел больше, чем я, ты бывал в городах и среди людей, о которых я только слыхала, ты дольше прожил, но в этих делах я старше тебя. Я уже однажды любила — другого мужчину, а теперь вот люблю тебя.

— Ради бога, не говори так, Юстасия.

— Но вряд ли я первая разлюблю. Боюсь, все кончится так: твоя мать узнает, что мы встречаемся, и будет настраивать тебя против меня.

— Не может этого быть. Она уже знает о наших встречах.

— И осуждает меня, конечно?

— Я не хочу об этом говорить.

— Ну, и уходи. Повинуйся ей. Я тебя погублю. Очень неосторожно с твоей стороны встречаться со мной. Поцелуй меня и уходи навсегда. Навсегда — слышишь?

— Ну уж нет.

— Это твой единственный шанс. Для многих мужчин любовь была проклятием.

— Ты сразу падаешь духом, придумываешь всякие страхи и ничего не хочешь слушать, а ведь ты просто неправильно поняла. Помимо любви, у меня была еще добавочная причина повидать тебя сегодня. Хотя я, не в пример тебе, верю, что наша любовь будет вечной, все же я согласен с тобой в том, что пынешний наш образ жизни продолжаться не может.

— Вот-вот, это влияние твоей матери! Да, вот это что такое. Я знала.

— Да не важно, что это такое. Ты поверь только одному: что я не в силах тебя потерять. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Даже вот сейчас мне больно отпускать тебя. И от этой боли есть только одно средство: надо, чтобы ты стала моей женой.

Она вздрогнула, потом постаралась произнести спокойным голосом:

— Циники говорят — это средство излечивает от боли, потому что излечивает от любви.

— Но ты мне не ответила. Могу я как-нибудь на днях — я не говорю сейчас — посвататься к тебе?

— Я должна подумать, — тихо проговорила Юстасия. — А сейчас расскажи мне о Париже. Есть ли другой такой город на свете?

— Он очень красив. Но скажи, ты будешь моей?

— Я больше ничьей не буду — этого тебе довольно?

— Да, пока.

— А теперь расскажи мне о Тюильри и Лувре,— уклончиво продолжала она.

— Не люблю говорить о Париже! Ну, ладно. В Лувре, помню, есть комната, которая тебе очень бы подошла,— это галерея Аполлона. Окна там почти все на восток; и ранним утром, когда солнце особенно ярко, она вся горит и сверкает. Лучи ударяют в золотые инкрустации, крохотными пучками молний отлетают на выложенные мозаикой великолепные лари, от ларей — на золотую и серебряную посуду, от посуды — на украшения и драгоценные камни, от них — на эмали,— в воздухе повисает настоящая сеть блесков, которая прямо-таки слепит глаза. Но я хотел сказать насчет нашей женитьбы...

— А Версаль? Королевская галерея, наверно, не менее роскошная комната?

— Да. Но что толку говорить о роскошных комнатах? Кстати, в Малом Трианоне нам с тобой было бы очень недурно пожить. Ты могла бы гулять в садах при луне и воображать, что ты в Англии,— сады там разбиты на английский манер.

— Да я совсем не хочу это воображать!

— Ну, тогда ты могла бы держаться лужайки перед Большим дворцом. Там все говорит о прошлом, ты чувствовала бы себя как в историческом романе.

Все это было ново для нее, и он, продолжая рассказывать, описал Фонтенебло, Сен-Клу, Булонский лес и другие излюбленные парижанами места прогулок; наконец она спросила:

— Когда же ты посещал все эти места?

— По воскресеньям.

— Ах да, правда. Я ненавижу английские воскресенья. А тамошние обычаи были бы как раз по мне! Дорогой Клайм, ты ведь опять туда уедешь?

Клайм покачал головой и поглядел на затмение.

— Если ты поедешь опять туда, я стану тем... чем ты хочешь,— нежно проговорила она, прислоняясь головой к его плечу.— Скажи, что поедешь, и я сейчас же дам согласие и минуты тебя ждать не заставлю.

— Вот удивительно,— сказал Ибрайт,— и ты, и моя мать тут сошлись во мнениях! Но я поклялся не возвращаться туда, Юстасия. Не город этот я ненавижу, а свое занятие.

— Но ты мог бы поехать в каком-нибудь другом качестве.

— Нет, И, кроме того, это бы помешало моим планам. Не пастайвай на этом, Юстасия. Ты выйдешь за меня, скажи?

— Не знаю.

— Ну что тебе так дался Париж, он не лучше других мест. Обещай мне, милая!

— Я уверена, что план этот в конце концов тебе надоест, и ты его бросишь, и тогда уже все будет в порядке; так что хорошо, я обещаю быть твоей — теперь и навсегда.

Клайм мягким нажимом руки повернул к себе ее лицо и поцеловал.

— Ах, по ты не знаешь, что ты получишь, женись на мне, — сказала она. — Иногда мне думается, что в Юстасии Вэй нет того материала, из которого делают этаких добротных домохозяйных жен. Ну, да не будем думать об этом — смотри, как наше время бежит, бежит, бежит! — Она показала на уже наполовину затемненную луну.

— Ты слишком мрачно смотришь на вещи.

— Нет. Я только боюсь думать о чем-нибудь за пределами настоящего. Что есть, мы знаем. Сейчас мы вместе, а вот долго ли так будет, кто может это сказать? Неизвестное всегда чудится мне полным угрозы, даже когда, казалось бы, можно ожидать только хорошего... Клайм, в этом пригашенном свете лицо у тебя стало какое-то необычное, оно как будто отлито из золота. Это означает, что ты способен на большее, чем все твои планы.

— Ты честолюбива, Юстасия, — нет, не честолюбива, а ты любишь роскошь. И чтобы сделать тебя счастливой, пожалуй, и мне следовало бы иметь такие же вкусы. А я как раз наоборот — готов запереться здесь, в глухом углу, была бы только у меня настоящая работа.

В голосе его была нерешительность, как будто на него вдруг нашло сомнение, прав ли он в своей позиции нетерпеливого любовника, честно ли он поступает по отношению к той, чьи вкусы и склонности так редко и в столь немногом совпадают с его собственными. Она поняла его мысль и прошептала тихо и выразительно, вкладывая горячую убежденность в свои слова.

— Ты только не пойми меня дурно, Клайм; хоть мне и нравится Париж, но тебя я люблю ради тебя самого. Быть твоей женой и жить в Париже — это был бы рай, но лучше жить с тобой здесь, в глухом углу, чем вовсе не быть твоей. Хоть так, хоть сяк, для меня это выигрыш, и даже очень большой. Вот тебе мое, быть может, излишне откровенное признание.

— Сказано чисто по-женски. А теперь мне придется скоро тебя покинуть. Пойдем, я провожу тебя до дому.

— Разве тебе уже пора? — спросила она. — Ах да, вижу, песок почти уже весь просыпался, и тень все больше съедает луну. Не уходи еще! Подождем, пока истечет час, тогда я уж не стану тебя удерживать. Ты уйдешь домой и будешь спать крепко, а я все вздыхаю во сне. Я тебе снилась когда-нибудь?

— Ясного такого сна не припомню.

— Я вижу твоё лицо среди образов каждого сна, я слышу твой голос в каждом звуке. Это нехорошо. Это значит — я слишком сильно чувствую. Такая любовь, говорят, не живет долго. Но как это может быть? А впрочем, помню, как-то в Бедмуте я увидела на улице гусарского офицера, он ехал верхом, и хотя я его совсем не знала и он даже никогда не говорил со мной, я так влюбилась в него, что, думала, умру от любви, — но я не умерла и спустя время вовсе перестала о нем думать. Как ужасно, если придет день, когда я смогу не любить тебя, мой Клайм!

— Пожалуйста, не говори таких нелепостей. Когда мы увидим, что близится такое время, мы скажем: «Я пережил свою веру и свое предназначение», — и умрем. Ну вот, час истек, идти пора.

Рука об руку они шли по тропинке к МистOVERу. Возле дома Клайм сказал:

— Сегодня мне уже поздно заходить к твоему дедушке. Как ты думаешь, он будет против?

— Я поговорю с ним. Я так привыкла быть сама себе госпожой, мне и в голову не пришло, что надо будет его спросить.

После долгих прощаний они расстались, и Клайм стал спускаться в сторону Блумс-Энда.

И по мере того как он все дальше уходил от очарованной атмосферы, окружавшей его олимпийскую возлюбленную, его лицо становилось все печальнее уже каким-то другим оттенком печали. Сознание невероятно трудного положения, в которое его поставила любовь, снова нахлынуло на него. Несмотря на видимую готовность Юстасии мириться с сомнительными удовольствиями длительной помолвки и терпеливо ждать, пока он не утвердится на новом поприще, он не мог, конечно, минутами не замечать, что она любит в нем скорее пришельца из веселого мира, к которому сама по праву принадлежала, чем человека, поставившего себе цель, прямо противоположную тому недавнему прошлому, которое так интересовало ее. Часто во время их встреч у нее вырывался вздох или слово сожаления, и трудно было понять, что хотя она и не ставит условием возвращение своего будущего мужа во французскую столицу, но именно об этом она втайне мечтает; и это портило ему многие в остальном приятные часы. А вдобавок ко всему — еще углубляющийся разлад между ним и матерью. Всякий раз, как какое-нибудь мелкое происшествие делало для него еще более ощутимым то горе, которое он ей причинял, он уходил из дому и долго в угрюмом одиночестве бродил по пустоши, а ночью душевная смута на многие часы лишала его сна.

Если б только как-нибудь заставить мать увидеть, насколько здоровым и практичным был его план и как мало его привязанность к Юстасии влияла на все его намерения, — о, тогда она совсем иначе стала бы на него смотреть!

Таким образом, когда его глаза немного привыкли к слепящему сиянию, зажженному вокруг него любовью и красотой, Ибрайт начал различать, в какие он попал тиски. Иногда он даже думал, что лучше было бы ему никогда не встречать Юстасию, и тут же отвергал эту мысль как бесчеловечную. Три враждебных друг другу элемента он должен был питать и поддерживать: доверие матери к нему, свой план стать учителем и счастье Юстасии. Страстная натура не позволяла ему отказаться ни от одного из них, хотя два из трех — это самое большее, что он мог надеяться сохранить. Любовь его была столь же целомудренна, как любовь Петрарки к Лауре, однако она пре-

вратила в кандалы то, что вначале было всего лишь затруднением. Положение, и без того не слишком простое, даже пока в игре участвовал один Клайм, неописуемо усложнилось добавлением Юстасии. Как раз когда мать Клайма уже начала примиряться с одной его затеей, он вдруг завел вторую, еще хуже первой, и этой комбинации его мать не стерпела.

ГЛАВА V

ОНИ ОБМЕНИВАЮТСЯ РЕЗКИМИ СЛОВАМИ, И ДЕЛО ДОХОДИТ
ДО РАЗРЫВА

Все время, что Ибрайт был не с Юстасией, он сидел, не разгибаясь, над книгами; когда он не читал, он был с нею. Свои свидания они облекали строжайшей тайной.

Однажды его мать вернулась домой после утреннего посещения Томазин. По ее изменившемуся лицу он понял, что что-то случилось.

— Я слышала там очень странную вещь,— мрачно сказала она.— Капитан говорил в гостинице, что ты женишься на Юстасии Вэй.

— Это верно,— сказал Ибрайт.— Но до свадьбы нам, пожалуй, придется ждать еще очень долго.

— Сомневаюсь, чтобы вы стали ждать очень долго! Ты, очевидно, возьмешь ее в Париж? — Голос ее звучал устало и безнадежно.

— Я не вернусь в Париж.

— А здесь что ты будешь делать с женой на шее?

— Открою школу в Бедмуте, как и собирался.

— Но это же вздор! Там учителей хоть пруд пруди. А у тебя даже нет специального образования. Чего там можно достичь при таких условиях?

— Разбогатеть нельзя. Но с моим методом обучения, который столь же нов, как и правилен, я могу принести большую пользу своим ближним.

— Мечты, мечты! Когда бы можно было изобрести еще новый метод, его бы давным-давно изобрели в университетах.

— Нет, мама. Они не могут его изобрести, потому что не соприкасаются с людьми, для которых такой метод нужен,— то есть с теми, кто не получил начального образования. А я поставил себе целью внести серьезные знания в пустые головы, не забывая их сперва тем, что потом все равно придется вымести, прежде чем начинать настоящее ученье.

— Я бы могла тебе поверить, если бы ты сохранил свободу и не взваливал на себя такую обузу, но эта особа... Будь еще она порядочной девушкой, и то бы хорошего мало, но она...

— Она порядочная девушка.

— Ах, это ты так думаешь. Дочь иностранца-капельмейстера! Какую жизнь она вела? Даже фамилия у нее и та не настоящая.

— Она впучка капитана Вэя, и ее отец просто принял фамилию ее матери. И она благовоспитанна от природы.

— Его тут капитаном называют, но по нынешним временам всякий — капитан.

— Он служил в королевском флоте!

— Ну да, плавал по морю в каком-то корыте. А почему он за ней не смотрит? Благовоспитанная девушка не станет гонять по пустоши в любой час дня и ночи. Но и это еще не все. Одно время у нее что-то было с мужем Томазин, — я уверена, голову даю на отсечение.

— Да, Юстасия мне рассказала. Год назад он за пей пемного ухаживал, но что в этом плохого? Я ее тем больше люблю.

— Клайм, — сказала его мать с твердостью, — у меня, к несчастью, нет доказательств. Но если она будет тебе хорошей женой — ну, значит, плохих вообще на свете нет.

— Мама, с вами, честное слово, можно в отчаяние прийти, — раздраженно воскликнул Клайм. — А я как раз сегодня хотел устроить вам встречу с ней. Но вы мне покою не даете, каждому моему желанью идете паперекор.

— Мне больно думать, что мой сын женится бог знает на ком! И зачем только я до этого дожидка... Нет, это слишком, я этого не вынесу!

Она отвернулась к окну. Дыханье ее участилось, губы раскрылись и дрожали.

— Мама, — сказал Клайм, — что бы вы ни сделали, вы всегда будете дороги мне — это вы знаете. Но одно я имею право сказать: я достаточно взрослый и сам знаю, что для меня лучше.

Миссис Ибрайт некоторое время стояла молча и вся дрожа, как бы не в силах вымолвить слово. Затем она ответила:

— Лучше? Разве это лучше для тебя — губить свое будущее ради такой сластолюбивой бездельницы? Самый твой выбор доказывает, что ты не знаешь, что для тебя лучше. Ты отрекаешься от всех своих мыслей, всю свою душу предаешь — в угоду женщине.

— Да. И эта женщина — вы.

— Как можешь ты так дерзить мне, — сказала его мать, вновь поворачиваясь к нему с глазами, полными слез. — Ты бесчеловечен, Клайм, я от тебя не ожидала.

— Весьма вероятно, — невесело ответил он. — Вы не знали, какую мерюю вы мне мерите, а потому не знали и того, какой мерой вам самой будет отмерено.

— Ты отвечаешь мне, а думаешь только о ней. Ты во всем за нее.

— Значит, она этого достойна. Я никогда не поддерживал того, что дурно. И я забочусь не только о ней, я забочусь о себе,

и о вас, и о том, чтобы все было хорошо. Но когда женщина невзлюбит другую, она безжалостна!

— Ох, Клайм, не старайся переложить на меня вину в твоём собственном слепом упрямстве. Если уж ты хотел связаться с недостойной, зачем было для этого приезжать домой? Сделал бы это в Париже, там оно более принято. А ты приехал сюда — мучить меня, одинокую женщину, и раньше времени свести меня в могилу! Зачем вообще ты здесь? Уж там бы и был, где твоя любовь!

Клайм хрипло проговорил:

— Вы моя мать. И больше я ничего не скажу — я только прошу прощенья за то, что считал этот дом своим. Не буду дольше навязывать вам свое присутствие; я уеду. — И он вышел со слезами на глазах.

Был солнечный день в начале лета, и вереск во влажных лощинах уже перешел из коричневой стадии в зеленую. Ибрайт дошел до верхнего края впадины, образованной склонами, спуставшимися от Мистовера и Дождевого кургана. К этому времени он успокоился и теперь оглядывая открывавшийся оттуда вид. В более мелких ложбинах меж пригорков, разнообразивших очертания большой долины, буйно разрослись свежие молодые папоротники — позже летом они достигнут высоты в пять или шесть футов.

Клайм немного спустился по склону, бросился на землю там, где из одной лощины выбегала тропка, и стал ждать. Сюда он обещал Юстасии привести свою мать, чтобы они могли сегодня встретиться и подружиться. Но эта попытка кончилась неудачей.

Он лежал в ярко-зеленом гнездышке. Папоротники вокруг него, хотя и обильные, были на редкость однообразны — целая роща машинным способом парезанной листвы, мир зеленых треугольников с зубчатыми краями — и ни единого цветка. Воздух был тепл и влажен, как в парильне, тишина стояла немая. Из всех живых тварей только ящерицы, кузнечики да муравьи попадались здесь на глаза. Казалось, это древний мир каменноугольного периода, когда растительных форм было немного, да и те все споровые — папоротники и хвощи, и нигде ни бутона, ни цветочка, только однообразный лиственный покров, в котором не пела ни одна птица.

После того как Ибрайт пролежал там несколько времени в мрачном раздумье, слева над вершинами папоротников проплыла белая шелковая шляпка — и он мгновенно и безошибочно определил, что она покрывает голову его любимой. Сердце его восторженно, радостное тепло охватило его всего, он вскочил на ноги и громко воскликнул:

— Я знал, что она непременно придет!

На минуту она скрылась в овражке, затем из чащи выступила вся ее фигура.

— Ты один? — протянула она разочарованным тоном, не-

искренность которого тут же выдал вспыхнувший на ее щеках румянец и слегка виноватый смешок.— А где же миссис Ибрайт?

— Она не пришла,— глухо ответил он.

— Жаль, я не знала, что мы будем одни,— сказала она серьезно,— что нам предстоит такой приятный, беззаботный вечер. Ведь удовольствие, о котором не знаешь заранее, наполовину пропадает, а если его предвкушаешь, оно удваивается. Я за весь день ни разу не подумала, что ты сегодня будешь весь мой. А уж когда что-нибудь наступило, оно так скоро проходит!

— Да, очень скоро.

— Бедный Клайм! — продолжала она, нежно заглядывая ему в лицо.— Ты такой грустный. Что-то случилось у тебя дома. А ты не вспоминай. Не важно, что есть, будем радоваться тому, что кажется.

— Но, милая, что же мы будем делать? — спросил он.

— А то же, что и до сих пор — жить от встречи до встречи и не думать о завтрашнем дне. Я знаю, ты всегда об этом думаешь, я вижу. Но не надо, Клайм, дорогой. Хорошо?

— Ты, право, как все женщины. Они рады построить свою жизнь на любом случайно подвернувшемся обстоятельстве. А мужчины готовы земной шар заново сотворить, чтоб он был им по вкусу. Послушай, Юстасия. Есть один вопрос, который я твердо решил больше не откладывать. Твои рассуждения о мудрости *Sapere diem*¹ на меня сегодня не действуют. Дело вот в чем: наш теперешний образ жизни скоро придется прекратить.

— Это все твоя мать!

— Да. Не подумай, что я стал меньше любить тебя, раз заговорил об этом. Но ты все-таки должна знать.

— Я боялась своего счастья,— беззвучно, одними губами, сказала она.— Слишком оно было острым и всепоглощающим.

— Да ведь у нас же все впереди. Во мне еще сил на сорок лет работы, почему же ты отчаиваешься? Сейчас это у меня просто крутой поворот. Но люди, к сожалению, слишком склонны думать, что двигаться вперед можно только по прямой.

— Ну это ты уж пускаешься в философию... Да, конечно, эти препятствия, такие огорчительные и непреодолимые... но в известном смысле их можно приветствовать. Потому что они позволяют нам равнодушно смотреть на те жестокие шутки, которыми любит забавляться судьба. Бывало ведь,— я слышала,— что люди, которым вдруг выпадало очень большое счастье, даже умирали от страха, что не доживут до того, чтобы им насладиться. И меня в последнее время одолевали порой такие же страхи... Но теперь этого уже не будет. Пойдем пройдемся.

Клайм взял ее за руку, с которой она уже заранее сняла перчатку — они любили гулять так, рука в руке,— и повел ее сквозь заросли папоротников. Они представляли собой совер-

¹ Лови момент (лат.).

шенную картину любви в полном расцвете, когда шли в этот предвечерний час по долине и солнце садилось справа, отбрасывая их тонкие призрачные тени, длинные, как тополя, далеко влево на заросли папоротника и дрока. Юстасия шла, закинув голову, с ликующим и чувственным блеском в глазах, торжествуя свою победу,— одна, без всякой помощи, она сумела завоевать мужчину, который во всем был ее идеальной парой — по воспитанию, внешности и возрасту. А у него бледность, вывезенная им из Парижа, и ранние отметки времени и мысли на его лице были сейчас менее заметны, чем когда он только что приехал, и прирожденное здоровье, энергия и крепость сложения снова хоть отчасти восстановились в правах.

Так шли они все вперед, пока не достигли низменного края вересковой пустоши, где почва становилась топкой и дальше переходила в трясины.

— Отсюда я уж пойду одна, Клайм,— сказала Юстасия.

Они стояли молча, готовясь проститься друг с другом. Все перед ними было плоским. Солнце лежало на линии горизонта и струило лучи вдоль по земле, выглядывая из-под медно-красных и фиолетовых облаков, плоско протянутых над землей под огромным бледным нежно-зеленым небом. Все темные предметы, видимые по направлению к солнцу, были окутаны пурпурной дымкой, и на ней странно высвечивались тучки ноющих комаров, взвивавшихся вверх и плясавших, как огненные искры.

— Ох, эти расставанья,— нет, это слишком тяжело! — воскликнула вдруг прерывистым шепотом Юстасия.— Твоя мать будет влиять на тебя, обо мне не смогут судить беспристрастно, пойдут слухи, что я дурно веду себя, да еще и эту историю с колдовством припишут, чтобы меня очернить!

— Не могут. Никто не смеет неуважительно говорить о тебе или обо мне.

— Ах, как бы я хотела иметь уверенность, что никогда тебя не потеряю,— что ты уж никак-никак не сможешь меня бросить!

Клайм помолчал. Чувства в нем кипели, минута была горячая — и он разрубил узел.

— У тебя будет такая уверенность, дорогая,— сказал он, сжимая ее в объятьях.— Мы немедленно поженимся.

— О, Клайм!

— Ты согласна?

— Если... если это возможно.

— Конечно, возможно, мы оба совершеннолетние. И я не зря занимался столько лет своим ремеслом, подкопил кое-что. А если ты согласишься пожить в маленьком домике где-нибудь на пустоши, пока я не сниму в Бедмуте дом под школу, все это обойдется нам совсем недорого.

— А долго ли придется жить в маленьком домике, Клайм?

— Примерно полгода. За это время я подготовлюсь к экзаменам,— да, так мы и сделаем, и всем этим терзаниям придет

конец. Мы, разумеется, будем жить в полном уединении, и для внешнего мира наша брачная жизнь начнется, только когда мы снимем дом в Бедмуте, куда я уже написал по этому поводу. Как твой дедушка — позволит он тебе?

— Думаю, что да, — при условии, что это будет не дольше чем полгода.

— За это я ручаюсь, если не случится какой-нибудь беды.

— Если не случится какой-нибудь беды, — медленно повторила она.

— Но это маловероятно. Так назначь же день, дорогая.

Они обсудили этот вопрос, и день был выбран. Через две недели от сегодняшнего.

На том кончилась их беседа, и Юстасия ушла. Клайм смотрел ей вслед, пока она удалялась по направлению к солнцу. Светящаяся дымка все плотнее окутывала ее по мере того, как возрастало расстояние, и шелест ее платья по молодой осоке и травам скоро затих вдали. Следя за ней глазами, Клайм почувствовал, что его давит мертвая плоскостность этого ландшафта, хотя одновременно он живо воспринимал всю прелесть незапятнанной раннелетней зелени, в которую сейчас ненадолго облеклась каждая былинка. Но было что-то в этой гнетущей горизонтальности, что слишком напоминало ему об арене жизни, вызывало ощущение полнейшего равенства с любой самой малой частицей жизни на земле — именно голого равенства без тени превосходства.

Теперь Юстасия уже не была для него богиней — она была женщиной, существом, за которое можно было сражаться и терпеть удары, которое нужно было поддерживать и оберегать. Сейчас, несколько уже остыв, он предпочел бы не столь скоропалительную женитьбу, но карты были брошены, и он решил продолжать игру. Пополнит ли Юстасия собой список тех, кто любит слишком горячо, чтобы любить хорошо и долго, это скоро выяснится: грядущее событие — надежная проверка.

ГЛАВА VI

ИБРАЙТ УХОДИТ, И ЭТО УЖЕ ПОЛНЫЙ ЕГО РАЗРЫВ С МАТЕРЬЮ

Весь этот вечер резкие звуки, говорившие о торопливой укладке, доносились из комнаты Клайма до слуха его матери, сидевшей внизу.

Наутро он вышел из дому и снова углубился в вересковую пустошь. Ему предстоял долгий путь — на весь день ходьбы, так как его целью было обеспечить себе жилище, куда он мог бы взять Юстасию, когда она станет его женой. Такой дом — маленький, уединенный, с заколоченными окнами — он случайно заметил месяц тому назад близ деревни, отстоявшей миль на пять от Блумс-Энда, и туда он нынче направил свои стопы.

Погода была совсем другая, чем накануне. Желтый и влажный закат, своими туманами скрывший Юстасию от его прощального взгляда, предвещал перемену. И сейчас был один из тех дней, какие нередко выдаются в Англии в июне и не менее мокры и бурны, чем в ноябре. Холодные тучи шли валом, словно написанные на движущемся стекле. Испарения с других континентов неслись над Эгдоном, пригнанные ветром, и ветер завивался вокруг идущего по пустоши Клайма, расступался перед ним и охватывал его со всех сторон.

Наконец Клайм достиг края саженной рощи из елей и буков, выгороженной из пустоши в год его рождения. Здесь деревья, тяжело нагруженные своей молодой и насквозь промокшей листвой, сейчас несли больше урона, чем в самую жестокую зимнюю непогоду, когда их ветви были как будто нарочно заранее освобождены от бремени, чтобы лучше бороться с бурей. Мокрые молодые буки претерпевали ампутации, ушибы, переломы и рваные раны, которые долго еще будут кровоточить древесным соком и оставят после себя шрамы, заметные на дереве даже до того дня, когда его сожгут. Стволы чуть что не выворачивало из земли — они ходили на своих корнях, как кость в суставе, и при каждом новом налете шквала ветви издавали копульсивные звуки, словно чувствуя боль. В соседнем кустарнике ябллик попробовал было петь, но ветер взъерошил ему перья, так что они встали дыбом, перекрутил ему хвостик и заставил его отказаться от своего намерения.

И, однако, всего в нескольких ярдах слева от Ибрайта на открытой вересковой степи до чего же отчетливо ярилась буря! Те самые шквалы, которые чуть не с корнем выворачивали деревья, только волной проходили по вереску и дроку, как легкая ласка. Эгдон был создан для такой погоды.

Приблизительно к полудню Клайм добрался наконец до пустующего дома. Он был расположен почти так же уединенно, как и дом капитана Вэя, но то, что он стоял на пустоши, отчасти маскировалось поясом из елей, окружавшим усадьбу. Клайм прошел еще милью до деревни, в которой жил владелец; затем вернулся вместе с ним в дом, они договорились, и хозяин пообещал, что, по крайней мере, одна комната будет к завтраму готова для жилья. Клайм решил, что проживет здесь один, пока Юстасия не присоединится к нему после их свадьбы.

Потом он двинулся в обратный путь сквозь морось, так резко изменившую все кругом. Папоротники, среди которых он вчера лежал с такой приятностью, теперь роняли воду с каждого листка и насквозь промачивали ему ноги, а на кроликах, прыгавших вокруг него, шерсть слиплась в темные космы под влиянием этого водянистого окружения.

После своей десятиимильной прогулки он добрался домой очень мокрый и усталый. Начало, таким образом, было не слишком обнадеживающим, но он избрал для себя путь и не намеревался с него уклоняться. Вечер этого дня и утро следующего он

потратил на окончательную подготовку к отъезду. Оставаться дома хотя бы минутой дольше, чем необходимо, после того, как решение было принято, значило бы, как он понимал, только причинять матери новую боль каким-нибудь словом, взглядом или поступком.

Он заранее нанял повозку и в тот же день в два часа пополудни отослал все свое имущество на новую квартиру. Второй его заботой было купить кое-какую мебель, которая после временного использования в домике на пустоши могла бы пригодиться и для дома в Бедмуте, конечно, дополненная еще другой, лучшего качества. Рынок, где можно было сделать такие закупки, имелся в Энглбери — городке, расположенном на несколько миль дальше места, выбранного Клаймом для жительства; и там он решил провести следующую ночь.

Теперь оставалось только проститься с матерью. Когда он сошел вниз, она, как обычно, сидела у окна.

— Мама, я покидаю вас, — сказал он, протягивая ей руку.

— Я так и думала, слыша, что ты укладываешься, — произнесла она голосом, из которого с мучительным старанием был изгнан всякий элемент чувства.

— Мы расстаемся друзьями?

— Конечно, Клайм.

— Я женюсь двадцать пятого.

— Я так и думала, что ты скоро женишься.

— И тогда — тогда вы должны прийти навестить нас. Вы лучше поймайте меня после этого, и мы оба не будем уже так несчастливы, как сейчас.

— Наверяд ли я приду вас навестить.

— Ну, мама, тогда уж вина будет не моя и не Юстасии. Прощайте!

Он поцеловал ее в щеку и ушел с такой болью в сердце, что прошло несколько часов, прежде чем она немного ослабела и самообладание вернулось к нему. Положение создавалось такое, что ни он, ни мать ничего не могли добавить к тому, что уже ими было сказано, не сломав сперва преграду, — а этого нельзя было сделать.

Ибрайт не успел еще покинуть дом своей матери, как выражение оцепенелой суровости на ее лице сменилось безысходным отчаянием. Немного погодя она разрыдалась, и слезы принесли ей облегченье. Весь остаток дня она только и делала, что ходила взад и вперед по садовой дорожке в состоянии, близком к отупенью. Пришла ночь, но не дала ей покоя. На другой день, инстинктивно стремясь сделать что-нибудь, от чего отупенье сменилось бы скорбью, она пошла в комнату сына и собственными руками привела ее в порядок для того воображаемого дня, когда он снова вернется домой. Потом занялась цветами, но делала это невнимательно и небрежно — они больше не имели прелести для нее.

Большим облегчением было, когда вскоре после полудня ее

неожиданно навестила Томазин. Это было уже не первое их свидание после свадьбы Томазин, прошлые обиды были более или менее заглажены, и теперь они всегда приветствовали друг друга непринужденно и с удовольствием.

Косой луч солнечного света, упавший на волосы юной супруги, когда та открыла дверь, был ей очень к лицу. Он озарил ее, так же как сама она своим присутствием озаряла вересковую пустошь. Движеньями, взглядом она напоминала тех пернатых созданий, что жили вокруг ее дома. Все сравнения и аллегории, которые могли быть к ней применимы, начинались и кончались образами птиц. В ее движениях было столько же разнообразия, как в их полете. В задумчивости она была похожа на пустельгу, когда та висит в воздухе, поддерживаясь невидимым глазу движением крыльев. В бурную погоду ее легкое тело прижимало ветром к стволам деревьев и к откосам, как это бывает с цаплей. Испуганная, она стрелой кидалась прочь, как зимородок. Довольная, она скользила, едва касаясь земли, как ласточка, и сейчас это было именно так.

— Ты, право, выглядишь очень счастливой, Тамзи, — сказала миссис Ибрайт с печальной улыбкой. — Как Дэймон?

— Очень хорошо, спасибо.

— Он не обижает тебя, Томазин? — И миссис Ибрайт вперила в нее внимательный взгляд.

— Да нет, ничего.

— Ты правду говоришь?

— Правду, тетя. Я бы сказала вам, если б он меня обижал. — Она добавила, покраснев и с запинкой. — Он... может, это нехорошо, что я вам жалуюсь, но я не знаю, как мне быть. Мне, тетя, нужно немного денег, ну, там, купить кое-что для себя — а он мне нисколько не дает. Мне не хочется у него просить, а с другой стороны, он, может быть, не дает просто потому, что не знает. Должна я ему сказать, как вы считаете, тетя?

— Конечно, должна. А до сих пор ты ни слова ему об этом не говорила?

— У меня было немного своих денег, — уклончиво отвечала Томазин, — и до последнего времени мне не нужно было. На прошлой неделе я что-то ему сказала, но он... он, наверно, забыл.

— Так надо ему напомнить. Ты знаешь, у меня хранится шкатулочка с пиковыми гинеями, которые мне вручил твой дядя, чтобы я их разделила поровну между тобой и Клаймом, когда сочту желательным. Пожалуй, сейчас как раз время. Их можно в любую минуту обменять на соверены.

— Я бы хотела получить свою долю, — то есть, конечно, если вы не против.

— И получишь, раз тебе нужно. Но будет только прилично, если ты сперва скажешь мужу, что ты совсем без денег, — посмотри, что он тогда сделает.

— Хорошо, я скажу... Тетя, я слышала про Клайма. Я знаю, как вы из-за него горюете, поэтому я сейчас и пришла.

Миссис Ибрайт отвернулась, и лицо ее задрожало; она стиснула зубы, пытаясь скрыть свои чувства. Потом она перестала сдерживаться и сказала, плача:

— О Томазиц, неужели он ненавидит меня? Как мог он так меня огорчать, когда я только для него и жила все эти годы?

— Ненавидит — нет, что вы, — успокаивающе сказала Томазин.— Просто он ее чересчур уж любит. Не расстраивайтесь так из-за этого. Он не такой уж плохой. Знаете, я думала об этом, и, право, он мог и хуже жениться. По матери мисс Вэй из хорошей семьи, а отец у нее был этаким романтический бродяга, вроде греческого Одиссея.

— Не надо, Томазин, не надо. Намерения у тебя хорошие, но не стоит тебе со мной спорить. Я уже все продумала, что можно сказать и «за» и «против», да еще и не по одному разу. Мы с Клаймом расстались не в гневе, а хуже того. Горячая ссора под сердитую руку не разбила бы мне сердце, но это неуклонное противодействие, это упорство в своей неправоте!.. Ах, Томазин, мальчиком он был такой хороший — такой нежный и добрый!

— Да, я помню.

— Не думала я, что мой сын, выросши, будет так со мной обращаться. Он так со мной говорил, как будто я противоречила ему, чтобы его уязвить... Как мог он подумать, что я хочу ему зла!

— На свете есть женщины хуже, чем Юстасия Вэй.

— Но сколько есть лучших, чем она, — вот что меня мучит. Это из-за нее, Томазин, только из-за нее твой муж так себя вел перед свадьбой, я поклясться готова!

— Нет, — с живостью отвечала Томазин. — Он думал о ней, когда меня еще не знал. Да и то это было так — увлечение.

— Хорошо. Не будем этого касаться. Да и что толку теперь это распутывать. Сыновья всегда слепы, когда что-нибудь вобьют себе в голову. Почему женщина издала видит то, чего мужчина и под носом у себя не разглядит? Пусть Клайм поступает как хочет, отныне он мне чужой. Вот тебе материнство — отдаешь лучшие свои годы и самую горячую свою любовь только для того, чтобы потом тебя презирали!

— Вы очень уж неподатливы, тетя. Подумайте, сколько есть матерей, которых сыновья публично опозорили, совершив настоящие преступления, — а вам совсем нет причины так убиваться.

— Томазин, не читай мне, пожалуйста, наставлений, — не хочу я это слушать. Тут дело в разнице между тем, чего ожидаешь, и тем, что случается, от этого удар так тяжел, а у тех матерей он, может, не тяжелее моего, потому что они уже предвидели самое худшее... У меня плохой характер, Томазин, — добавила она с кривой усмешкой. — Другие вдовы охраняют себя от ран, которые им могут нанести дети, тем что обращают сердце к новому супругу и начинают жизнь сначала. Но я все-

гда была жалким, слабым, скупым в своих привязанностях существом, для этого у меня не хватило ни щедрости сердца, ни предприимчивости. Какой я была разбитой и ошеломленной после смерти мужа, такой я и потом осталась,— сидела одна и даже не пыталась что-нибудь исправить. А ведь я тогда была сравнительно молодой женщиной, могла бы сейчас иметь больших детей, и они бы утешили меня за неудачу с этим сыном.

— Так благороднее, как вы поступили.

— Благороднее, да не умнее.

— Забудьте об этом и успокойтесь, дорогая тетя. И я вас не буду надолго оставлять. Буду навещать вас каждый день.

Первую неделю Томазин буквально выполняла свое обещание. О близящейся свадьбе Клайма она старалась говорить как о чем-то не важном, рассказывала, какие там делаются приготовления и что она тоже приглашена. На следующей неделе ей нездоровилось, и она совсем не появилась в Блумс-Энде. Касательно гиней еще ничего не было предпринято; Томазин не решалась заговорить с мужем о деньгах, а миссис Ибрайт на этом настаивала.

Однажды незадолго до этого Уайлдвиг стоял в дверях «Молчаливой женщины». Кроме пешеходной тропы, круто поднимавшейся наперерез через пустошь от гостиницы к Дождевому кургану и МистOVERу, немного подалее от большой дороги отходил проселок, по которому можно было добраться до МистOVERа извилистым и более пологим путем. Для экипажей только и годилась эта дорога, и сейчас по ней спускалась двуколка, которой правил знакомый Уайлдвигу паренек из соседнего городка; перед гостиницей он остановился чего-нибудь вышить.

— Из МистOVERа едешь? — спросил Уайлдвиг.

— Да. Отвозил им разные разности из лавки. Они там к свадьбе готовятся.— И возница скрыл лицо в пивной кружке.

Уайлдвиг до сих пор ничего не слышал о свадьбе, и выражение боли вдруг исказило его черты. Чтобы скрыть это, он на минуту зашел в коридор. Потом снова вышел.

— Мисс Вэй, значит, замуж выходит? — сказал он.— Как же это у них так скоро сделалось?

— Да, видно, бог дал, а молодец не зевал.

— Ты это про мистера Ибрайта?

— Ну да. Они всю весну тут вдвоем похаживали.

— А она что — очень им увлечена?

— У-у, прямо себя не помнит, так мне ихняя служанка говорила. А этот мальчишка, Чарли, что за лошадьку смотрит, этот ходит теперь как в воду опущенный. Вздумалось дурачине в нее влюбиться.

— Веселая она? Радуется? Гм!.. Как же все-таки это так вдруг...

— Да не так уж и вдруг.

— Да, пожалуй, не так и вдруг.

Уайлдив вернулся в дом. Он ушел в пустую комнату со странной болью в сердце. Облокотился на каминную доску, подперев руками подбородок. Когда Томазин зашла в комнату, он не рассказал ей о том, что услышал. Старая тоска по Юстасии вновь ожила в его душе; и больше всего потому, что, как он узнал, другой мужчиной воспламенился ею завладеть.

Жажда недоступного и скучать тем, что дается в руки; любить далекое и презирать близкое: таков всегда был Уайлдив. Это отличительное свойство человека сентиментального. Воспаленные чувства Уайлдива не были утонченны до истинно поэтического восприятия, но они были того же сорта. Его можно было назвать эддонским Руссо.

ГЛАВА VII

УТРО И ВЕЧЕР ОДНОГО ДНЯ

Настало утро свадьбы. По внешнему виду никто бы не догадался, что Блумс-Энд как-то заинтересован в Мистовере. Нездвижная тишина царилла вокруг дома, и внутри было не больше оживления. Миссис Ибрайт, отказавшаяся присутствовать на свадьбе, сидела у накрытого для завтрака стола в большой комнате, выходявшей прямо на галерейку, и безучастно смотрела на отвернутую дверь. Это была та самая комната, в которой полгода назад так весело праздновали рождество и куда Юстасия проникла в тот вечер втайне и как чужая. Сейчас единственным живым существом, вздумавшим сюда заглянуть, был воробей; и, не видя никаких движений, могущих его встревожить, он смело пустился прыгать по комнате, затем попытался вылететь в окно и запорхал среди цветочных горшков. Это привлекло внимание женщины, одиноко сидевшей за столом; она встала, выпустила птицу и подошла к двери. Она ждала Томазин; та накануне вечером написала, что хотела бы получить деньги, и, может быть, зайдет завтра.

Но не Томазин занимала мысли миссис Ибрайт, когда она смотрела вдаль, в заросшую вереском долину, полную мгыльков и кузнечиков, чьи сухие голоса сливались в шепчущий хор. Домашнее событие, последние приготовления к которому происходили на расстоянии мили или двух от Блумс-Энда, виделось ей не менее живо, чем если бы совершалось перед ней. Она пыталась отогнать это видение и стала ходить по саду; но взгляд ее то и дело обращался в ту сторону, где находилась церковь, к приходу которой принадлежал Мистовер, и взволнованное ее воображение проникало холмы, отделявшие эту церквушку от ее глаз. Время шло. Пробыло одиннадцать: может быть, венчанье уже началось? Наверно! Она продолжала воображать, что происходит в церкви, куда он к этому времени уже привел свою

невесту. У ворот кучка детей; они смотрят, как подъезжает капитанская коляска, запряженная пони, в которой, как слышала Томазин, они должны совершить этот короткий переезд. Вот они входят, идут к алтарю, становятся на колени. И служба идет своим чередом...

Она закрыла лицо руками.

— О, какая это ошибка! — простонала она. — И когда-нибудь он раскается и вспомнит обо мне!

Пока она так стояла, подавленная предчувствиями, старые часы в доме прохрипели двенадцать. И вскоре за тем до ее слуха издали, из-за холмов, дошли слабые звуки. Ветер дул с той стороны и принес с собой звон далеких колоколов, сперва чуть слышный, потом явственный веселый перезвон: раз, два, три, четыре, пять. Звонари в Восточном Эгдоне возвещали о бракосочетании Юстасии с ее сыном.

— Значит, конечно, — пробормотала она. — Так, так! И жизнь тоже скоро будет кончена. Так зачем же я себе глаза порчу? Начни плакать об одном, и станешь плакать обо всей жизни — весь кусок одной ниткой прошит. А мы еще говорим — «время смеяться»!

Ближе к вечеру пришел Уайлдвиг. После его женитьбы на Томазин миссис Ибрайт выказывала ему то сумрачное дружелюбие, которое в конце концов обычно устанавливается в подобных случаях нежеланного родства. Сознание устает рисовать себе картины того, что должно было бы быть, и присмиревшее стремление человека к лучшему соглашается с тем, что есть. Уайлдвиг, надо отдать ему справедливость, всегда любезно обходился с женой теткой, и его посещение не удивило миссис Ибрайт.

— Томазин не может сегодня прийти, — ответил он на ее вопрос, несколько тревожный, ибо она знала, что племяннице очень нужны деньги. — Капитан вчера пришел и лично просил ее быть у них на свадьбе. Неудобно было отказаться, она и решила поехать. За ней прислали пони и коляску и назад тоже привезут.

— Значит, там уж конечно, — сказала миссис Ибрайт. — Что, молодые поехали в свой новый дом?

— Не знаю. У меня не было вестей из Мистовера после того, как уехала Томазин.

— Вы-то сами не поехали, — утвердительно сказала миссис Ибрайт, как бы подразумевая, что у него для этого были веские причины.

— Я не мог, — сказал он краснея. — Нельзя было пам обопм оставить дом, утро было больно хлопотливое, — сегодня в Энглбери большой базар. Вы, кажется, желали что-то передать Томазин? Если хотите, я возьму.

Миссис Ибрайт посмотрела на него в нерешимости: знает ли он, о чем у них с Томазин шла речь?

— Это она вам поручила? — спросила миссис Ибрайт.

— Да не то чтобы поручила, а так, сказала между прочим, что должна взять у вас какую-то вещь.

— Ну, это необязательно сейчас. Зайдет как-нибудь в другой раз, возьмет.

— Это еще когда будет. В ее теперешнем состоянии она не может столько ходить, как раньше.— И он добавил с оттенком сарказма: — Что это за драгоценность, что мне ее нельзя доверить?

— Ничего такого, чтобы стоило вас затруднять.

— Можно подумать, что вы сомневаетесь в моей честности,— сказал он со смехом, хотя лицо его уже залило краской; иногда он бывал скор на обиду.

— Никаких нет причин вам так думать,— сухо отвечала она.— Просто я, как и все, считаю, что не всякий может все делать,— иногда лучше одному поручить, иногда другому.

— Как вам угодно, как вам угодно,— коротко ответил Уайлдв.— О таком пустяке не стоит спорить. Ну-с, а мне, пожалуй, пора домой, нельзя гостиницу долго оставлять на мальчика да на служанок.

Он ушел, попрощавшись гораздо менее любезно, чем здоровался. Но миссис Ибрайт к этому времени уже знала его насквозь и мало обращала внимания на его любезность или нелюбезность.

Когда он ушел, миссис Ибрайт постояла у двери, раздумывая, как лучше поступить с гинейми, которые она не решилась доверить Уайлдвигу. Ведь маловероятно, чтобы Томазин поручила ему взять их, когда и самая надобность в них возникла оттого, что он неохотно выпускал деньги из рук. Меж тем Томазин, по-видимому, в них сильно нуждалась, а прийти в Блумс-Энд, пожалуй, еще целую неделю не сможет. Отнести их ей в гостиницу или с кем-нибудь послать — неполитично: Уайлдвиг наверняка либо сам там будет, либо потом все равно узнает, зачем приходили; и если, как подозревала миссис Ибрайт, он не так хорошо обращался с женой, как она того заслуживала, то, пожалуй, изымет всю сумму из ее кротких рук. Но вот сегодня вечером Томазин в Мистовере, и ей можно там все, что угодно, передать без ведома супруга. Таким случаем грешно не воспользоваться.

И сын тоже там, только что женился. Самый подходящий момент отдать ему его долю. И возможность, послав ему этот подарок, показать, насколько она далека от того, чтобы желать ему зла, немного развеселила печальное сердце матери.

Она пошла наверх, достала из запертого комода маленькую шкатулку и высыпала из нее кучку блестящих золотых монет, которые, должно быть, немало лет пролежали там. Всего их было сто, и она разделила их на две кучки, по пятьдесят в каждой. Потом завязала в два маленьких полотняных мешочка и, выйдя в сад, позвала Христиана Кентла,— он еще мешкал там в надежде на ужин, которого ему, собственно говоря, не пола-

галось. Миссис Ибрайт дала ему мешочки и поручила пойти в Мистовер и ни в коем случае не вручать их никому, кроме ее сына и Томазин. Подумав, она решила сказать Христиану, что именно содержится в мешочках, чтобы он как следует почувствовал важность возложенного на него поручения. Христиан засунул мешочки в карман, пообещал быть крайне осторожным и пустился в путь.

— Можешь не торопиться, — сказала ему на прощанье миссис Ибрайт. — Даже лучше, если ты придешь туда в сумерки, никто тогда не обратит на тебя внимания. А потом, если не слишком будет поздно, приходи сюда ужинать.

Было уже почти девять часов, когда он стал подниматься по долине к Мистоверу; но стояли самые долгие летние дни, и первые тени вечера только еще начинали придавать коричневый тон пейзажу. Тут-то Христиан и услышал голоса и установил, что это переговаривается компания мужчин и женщин, идущих по ложбине впереди него, так что только их головы были ему видны.

Он остановился и подумал о своей драгоценной ноше. Было еще так рано, что даже Христиан едва ли всерьез опасался грабежа; тем не менее он принял предосторожность, которую сызмальства принимал, если ему случалось иметь при себе больше двух-трех шиллингов, — предосторожность, несколько сходную с той, к которой прибегнул владелец Питтовского брильянта, когда его посетили подобные же опасения. Христиан снял башмаки, развязал мешочки, высыпал содержимое одного в правый башмак, а другого в левый, стараясь, чтобы монеты легли как можно более плоско, и снова натянул башмаки, что не составило для него труда, так как каждый представлял собой довольно вместительный сундучок, отнюдь не ограниченный размерами Христиановой ноги. Зашнуровав их доверху, он продолжал путь с облегченным сердцем, хотя и утяжеленными ступнями.

Его тропа подалее сходилась с той, по которой двигалась шумная компания, и, приблизившись, он с облегчением увидел, что это несколько эгдонских жителей, которых он хорошо знал, и с ними Фейруэй из Блумс-Энда.

— Что? И Христиан тоже идет? — воскликнул Фейруэй, как только его узнал. — Да ведь у тебя ни подружки нет, ни жены, кому бы на платье подарить.

— Вы это о чем? — осведомился Христиан.

— Ну как о чем, о лотерее, конечно: Ну, на которую каждый год ходим. Ты, стало быть, тоже туда идешь?

— Первый раз слышу. Это что такое — лотерея? Вроде состязанья на дубинках или еще что-нибудь этакое кровопролитное? Нет уж, спасибо, мистер Фейруэй, не обижайтесь, а только не пойду я на эту, как ее, лотерею.

— Христиан не знает в чем дело, а ему поглядеть бы занятно было, — сказала одна из женщин, молодая и приятная собой. — Ты не бойся, Христиан, опасного тут ничего нет. Каждый

впосит шиллинг, а потом кто-нибудь один выигрывает отрез на платье для жены или подружки, если она у него есть.

— Ну, а как у меня нет, то мне там и делать нечего: Хотя поглядеть, отчего же, я не прочь, коли нет в этом колдовства, и за просмотр денег не берут, и спора либо шума какого из лотереи вашей не выйдет.

— Никакого шума не будет,— сказал Тимоти.— Нет, правда, Христиан, если хочешь пойти, мы уже присмотрим, чтоб тебя никто не обидел.

— И чего-нибудь эдакого, насчет женского пола, шуточек там чересчур вольных не будет, а? А то ведь выйдет, соседи, что я отцу дурной пример подаю, а он у нас и так насчет этого не очень строгий. Но отрез на платье за шиллинг и без колдовства — это стоит посмотреть и полчаса каких-нибудь истратить не жалко. Ладно уж, пойду, только, может, потом кто меня в сторону Мистовера немножко проводит, если припозднимся и попутчика мне не найдется?

Один или двое пообещали, и Христиан, отклоняясь от прямой стези, завернул вместе со своими спутниками направо, к «Молчаливой женщине».

Когда они вошли в большой общий зал, там оказалось человек десять из живущих по соседству, а вместе с вновь пришедшими теперь стало двадцать. Большинство сидело вдоль стены в креслах, разделенных деревянными подлокотниками наподобие алтарных сидений в соборе, только, конечно, гораздо более примитивных и сплошь изрезанных инициалами знаменитых пьяниц былых времен, некогда проводивших здесь дни и ночи, а теперь упокоивших свой алкоголический прах на ближайшем кладбище. На длинном столе перед ними среди кружек лежал сверток какой-то легкой ткани — пресловутый отрез на платье, который предстояло разыграть в лотерею. Уайлдив стоял спиной к камину и курил сигару, а устроитель лотереи, разносчик из дальнего городка, распинался насчет достоинств этой ткани как материала для легкого платья.

— Так вот, джентльмены,— продолжал он, когда вновь пришедшие приблизились к столу,— пять человек уже внесли, теперь нам надо еще четверых. По лицам этих джентльменов, что сейчас вошли, я вижу, что они люди понимающие и, уж конечно, не упустият редкого случая приукрасить своих дам за такую ничтожную сумму.

Фейруэй, Сэм и еще один положили на стол по шиллингу, и разносчик повернулся к Христиану.

— Нет, сэр,— сказал Христиан, отступив и бросив быстрый опасливый взгляд на торговца,— я человек небогатый, я только так, пришел посмотреть. Никогда не видал, как вы это делаете. Кабы знал я наверняка, что выиграю, ну тогда я бы положил шиллинг, а иначе уж нет, извините.

— А у вас это будет наверняка,— сказал разносчик.— Знаете, вот смотрю я на вас, сэр, и хотя не могу ручаться, что вы

выиграете, но одно вам скажу: никогда еще не видал я человека, у кого было бы, вот как у вас, прямо на лице написано, что он выигрывает.

— У тебя, во всяком случае, столько же шансов, как и у всех нас, — сказал Сэм.

— И даже чуточку больше, потому как ты пришел последний, а им всегда везет, — добавил кто-то.

— Да, и я ведь в рубашке родился, это значит, я утонуть не могу, а может, и разориться тоже? — вопросительно проговорил Христиан, видимо уже начиная сдаваться.

Кончилось тем, что Христиан положил шиллинг, лотерея началась и стаканчик с игральными костями пошел в круговую. Когда настала очередь Христиана, он взял стаканчик дрожащей рукой, боязливо потряс его, бросил кости — и выпал «тройняк» — три одинаковых числа. Из остальных игроков у троих выпало по обыкновенной паре, а у прочих и того не было.

— Говорил я, что у него на лице написано, — самодовольно сказал торговец. — Берите, сэр, это ваше.

— Хо-хо-хо! — развеселился Фейруэй. — Вот так штука! А?.. Надо ж такое, как нарочно!

— Мое? — переспросил Христиан, уставив на торговца растерянный взгляд своих мишенеобразных глаз. — Да как же?.. У меня ж ни подружки, ни жены, ни даже родни женской нету, боюсь — возьму я, так смеяться надо мной будут. Вот ведь разобрало меня любопытство, а об этом и не подумал! Хорошенькое будет дело, как увидит кто у меня в спальне женское платье! Что ж мне теперь с ним делать?

— Взять и беречь, — сказал Фейруэй, — хотя бы только на счастье. Вдруг да какую-нибудь бабенку оно соблазнит, какая раньше, пока ты с пустыми карманами был, на тебя и смотреть не хотела.

— Конечно, взять, — сказал Уайлдив, издали лениво наблюдавший эту сцену.

Материю убрали со стола, и мужчины принялись за выпивку.

— Да-а, вон оно что! — проговорил Христиан, ни к кому в частности не обращаясь. — Подумать только, оказывается, я счастливчик, а до сего дня и сам не знал! Чудные же твари эти кости — всеми правят вроде как короли, а меня слушаются! Нет уж, теперь больше никогда и ничего не буду бояться. — Он с нежностью перецупал кости одну за другой. — А знаете ли, сэр, — доверительно шепотом сказал он Уайлдиву, стоявшему у его левого плеча, — раз во мне такая сила — умножать какие есть со мной деньги, я бы мог одной вашей близкой родственнице одну большую пользу сделать, вот с тем самым, что у меня для нее есть!.. — И он выразительно постучал утяжеленным башмаком по полу.

— Ты это про что? — спросил Уайлдив.

— Это секрет. Ну мне уже идти пора.— Христиан с беспокойством посмотрел в сторону Фейруэя.

— А куда тебе идти-то? — спросил Уайлдив.

— В Мистоввер. Повидать мне там миссис Томазин надо, вот зачем.

— Я тоже сейчас туда иду за миссис Уайлдив. Можем пойти вместе.

Уайлдив впал в задумчивость, и внезапно свет догадки вспыхнул в его глазах. Так это деньги для его жены миссис Ибрайт не решалась ему доверить! «А этому недоумку доверила», — сказал он сам себе. «Хотя, казалось бы, кто ближе жене, чем муж, и то, что принадлежит ей, разве не должно принадлежать и ему?»

Он крикнул служающему мальчишке, чтобы принес ему шляпу, и сказал:

— Ну, Христиан, я готов.

— Мистер Уайлдив, — робко заговорил Христиан, когда они уже направлялись к порогу, — не одолжили бы вы мне на время эти чудесные штучки, в которых удача в середке запрятана, я бы попрактиковался с ними малость, а? — Он с вожделием оглянулся на стаканчик с костями, стоявший на камине.

— Да, пожалуй, хоть совсем возьми, — небрежно отвечал Уайлдив. — Их тут один паренек ножиком вырезал, они ничего не стоят.

И Христиан вернулся и украдкой сунул их в карман.

Уайлдив распахнул дверь и выглянул. Ночь была теплая, небо в тучах.

— Ух ты, темень какая, — сказал он. — Ну да авось как-нибудь найдем дорогу.

— Ох, нет, не дай бог, собьемся, — отозвался Христиан. — Тут фонарь нужно, с фонарем можно спокойно идти.

— Ну что ж, возьмем и фонарь.

Принесли фонарь из конюшни, зажгли его. Христиан забрал свой отрез, и они с Уайлдивом стали подниматься по склону.

В комнате за столом опять пошли разговоры, но тут взоры сидящих внезапно обратились к каминной нише. Она была очень велика, и, кроме того, как часто на Эгдоне, в боковой ее стенке была сделана выемка и в ней углубленное сиденье, так что человек мог сидеть там и оставаться совершенно незамеченным, если его не освещал огонь из камина, но сейчас, по летнему времени, камин не топили. Одип-единственный предмет выступал из ниши настолько, что на него падал свет от свечей на столе. Это была глиняная трубка, притом красноватого цвета. К ней-то и приковались глаза сидящих, потому что из-за трубки раздался вдруг голос, попросивший огонька.

— Фу ты, честное слово, прямо сердце оборвалось, когда он вдруг заговорил! — сказал Фейруэй, протягивая в нишу свечу. — Э, да это охряник! Ну и мастер же вы молчать, молодой человек!

— А мне нечего было говорить,— отвечал Венн. Через минуту он встал и, пожелав всей компании спокойной ночи, удалился.

Тем временем Уайлдив и Христиан шли по пустоши.

Ночь была тихая, теплая, туманная, полная густых ароматов молодой растительности, еще не иссушенной летним зноем, среди которых особенно заметен был запах папоротников. Фонарь, покачивавшийся в руках Христиана, задевал на ходу их перистые листья, тревожа ночных бабочек и других крылатых насекомых; они взлетали и тут же садились на его светящиеся роговые стенки.

— Так, значит, тебе поручили отнести деньги миссис Уайлдив? — заговорил после молчания спутник Христиана.— А тебе не показалось странным, что их не отдали мне?

— Да, верно, раз уж, как говорится, муж и жена одна плоть, так, по-моему, все равно кому из вас ни отдать,— сказал Христиан.— Да, вишь, мне строгий наказ был дан, чтобы никому, а только миссис Уайлдив в собственные руки. Ну а коли уж взялся, так лучше исполнять, как велено.

— Без сомнения,— сказал Уайлдив. Всякий, знакомый с обстоятельствами дела, заметил бы, что Уайлдив глубоко уязвлен открытием, что миссис Ибрайт хотела послать племяннице деньги, а не какую-нибудь безделицу, интересную только для обеих женщин, как он предполагал в Блумс-Энде. И ее отказ означал, что честность Уайлдива оценивается не настолько высоко, чтобы можно было сделать его надежным хранителем жениной собственности.

— До чего теплая ночь! — проговорил он, запыхавшись, когда они были уже почти под самым Дождевым курганом.— Сядем, ради бога, отдохнем минутку.

Уайлдив растянулся на мягких папоротниках; Христиан, опустив наземь фонарь и сверток, сам поместился рядом, скрючившись так, что колени его почти касались подбородка. Потом он сунул руку в карман и начал что-то там потряхивать.

— Что там у тебя стучит? — спросил Уайлдив.

— Да это только кости,— отвечал Христиан, быстро вытащив руку.— Я все думаю, мистер Уайлдив, до чего же они волшебные, эти штучки! Мне эта игра никогда не наскучит. Ничего, если я их сейчас выну и погляжу маленько? Хочется рассмотреть, как они сделаны. Там-то перед всеми я посоветился очень их разглядывать, подумал, скажут еще, что я приличий не знаю.— Христиан вынул кости и, держа их в ладони, стал разглядывать при свете фонаря.— Такие малютки, а какое в них счастье, и колдовство, и сила, в жизни такого чуда не видал и не слышал,— говорил он, завороченно глядя на кости, которые, как часто в деревне, были вырезаны из дерева, а очки на них выжжены раскаленной проволокой.

— То есть тут в малом заключено очень многое, ты это хочешь сказать?

— Да. А как вы считаете, мистер Уайлдвиг, это верно, будто они дьяволы игрушки? Если верно, то ведь это недобрый знак, что мне везет.

— Ты бы постарался побольше выиграть, раз они теперь твои. Тогда за тебя любая пойдет замуж. Сейчас твое время, Христиан, смотри не прозевай. Одни люди от рождения везучие, а другие нет. Я принадлежу к последним.

— А вы знаете еще кого-нибудь везучего, кроме меня?

— Ну как же. Я слышал об одном итальянце, что он сел за игорный стол, имея один-единственный луидор в кармане (это вроде как у нас соверен). Он играл сутки напролет и выиграл десять тысяч фунтов, одним словом, сорвал банк. А другой был такой случай: один человек проиграл тысячу фунтов и на другой день поехал к маклеру, чтобы продать акции и уплатить долг. Тот, кому он задолжал, поехал вместе с ним в наемной карете, и от печего делать они кинули кости — кому платить за карету. Выиграл тот, что разорился, другому захотелось продолжать игру, и они, пока ехали, все метали кости. Когда кучер остановился, ему велели ехать обратно: за это время владелец акций отыграл свою тысячу фунтов, и продавать уже ничего не было нужно.

— Ха-ха-ха! Вот здорово! — вскричал Христиан. — Ну расскажите, расскажите еще!

— А еще был человек в Лондоне, простой официант в клубе Уайта. Когда начинал играть, то сперва делал ставки по полкроны, потом все выше и выше, пока, наконец, очень не разбогател. Он получил назначение в Индию и был впоследствии губернатором Мадраса. Дочка его вышла замуж за члена парламента, и епископ Карлайлский был крестным отцом одного из детей.

— Чудесно! Чудесно!

— А в Америке жил однажды молодой человек, который проиграл все свои деньги до последнего доллара. Тогда он поставил свои часы и цепочку и тоже проиграл; поставил зонтик — проиграл; поставил шляпу — проиграл; поставил свой сюртук, оставшись в одном жилете, — проиграл. Начал уже снимать брюки, но тут кто-то из смотревших на игру одолжил ему какую-то безделицу за его упорство. И с этим он выиграл. Отыграл сюртук, отыграл шляпу, отыграл зонтик, часы, все свои деньги и вышел в дверь богатым человеком.

— Ой, как здорово, прямо дух захватывает! Мистер Уайлдвиг, знаете, я еще разок с вами попробую, поставлю шиллинг, я же везучий, мне не опасно, а для вас шиллинг не велика потеря.

— Ладно, — сказал Уайлдвиг, вставая. Посветив вокруг фонарем, он нашел плоский камень, положил его между собой и Христианом и снова сел. Фонарь они открыли, чтобы он давал больше света, и поставили так, что лучи его падали на камень.

Христиан выложил шиллинг. Уайлдив тоже, и каждый метнул кости. Христиан выиграл. Поставили каждый по два шиллинга. Христиан опять выиграл.

— Поставим по четыре,— сказал Уайлдив. Поставили. На этот раз ставки забрал Уайлдив.

— Ну, эти маленькие неприятности и с самым везучим иногда случаются,— заметил он.

— Эх! А у меня больше нет денег! — в волнение вскричал Христиан. — А ведь если бы продолжать, я бы все отыграл, да еще и сверх того. Вот кабы это было мое! — И он так стукнул каблуком оземь, что гиней звякнули в башмаке.

— Что! Неужто ты туда засунул деньги миссис Уайлдив?

— Ну да. Это я для безопасности. Скажите, это дурно, если я буду играть на деньги замужней женщины и если выиграю, так отдам ей все, что взял, себе только чистый выигрыш оставлю, а если не я выиграю, а другой, то ее деньги все ж таки попадут в руки законного владельца,— есть тут что дурное, а?

— Ровно ничего.

Все время с тех пор, как они вышли из гостиницы, Уайлдив раздумывал о том, как низко его ценит жена родня, и это ранило его сердце. И мало-помалу в нем стало назревать желание отомстить, хотя он не мог бы сказать, в какой момент оно зародилось. Дать урок миссис Ибрайт, так он это называл про себя, иными словами — показать ей, что он, Уайлдив, и есть верный хранитель достоинства своей жены.

— Ладно, идет! — объявил Христиан, начиная расшнуровывать башмак. — Мне это теперь станет по ночам снится, уж я знаю, а все ж таки всегда смогу сказать, что вот и боязно было, а я не струсил!

Он сунул руку в башмак и достал одну из гиней бедной Томазин, блестящую, словно сейчас с монетного двора. Уайлдив уже положил соверен на камень. Снова взялись за игру. Сперва выиграл Уайлдив; Христиан рискнул второй гинеей и на этот раз выиграл. Счастье колебалось, но, в общем, склонялось на сторону Уайлдива. Внимание обоих мужчин было так поглощено игрой, что они не видели ничего вокруг себя, кроме мелких предметов, находящихся непосредственно в поле их зрения: плоский камень, фонарь, кости и несколько листьев папоротника, на которые прямо падал свет, составляли весь их мир.

Под конец Христиан стал быстро проигрывать, и вскоре, к его ужасу, все пятьдесят гиней, принадлежащих Томазин, перешли к его противнику.

— Все одно пропадать! — простонал он и принялся судорожно расшнуровывать левый башмак. — Дьявол за это сбросит меня в огонь на свои вилы о трех зубьях, знаю! Но, может, я еще отыграюсь и тогда женюсь, и жена будет сидеть со мной по ночам, и я не буду бояться, не буду! Вот тебе, брат, еще

одна! — Он шлепнул с размаху еще одну гинею на камень, и кости опять загремели в стаканчике.

Время шло. Уайлджив был теперь не менее возбужден, чем сам Христиан. Начиная игру, он не имел иных намерений, кроме как зло подшутить над миссис Ибрайт. Выиграть все деньги, честно или иначе, и презрительно вручить их Томазин в присутствии тетки — примерно такая картина смутно рисовалась его воображению. Но люди иной раз далеко уходят от своих намерений даже в то самое время, пока их исполняют, и когда на камень легла двадцатая гинея, сомнительно, чтобы в сознании Уайлджива присутствовало какое-либо намерение, кроме желания выиграть ради собственной наживы. К тому же сейчас он выигрывал уже не женины деньги, а деньги Клайма Ибрайта, о чем, впрочем, Христиан в своей помраченности не упомянул вовремя, а только гораздо позже.

Было уже около одиннадцати, когда Христиан почти с воплем положил на камень последнюю сверкающую гинею Клайма Ибрайта. Через полминуты она отправилась тем же путем, что и остальные.

Христиан повернулся и бросился на папоротники, корчась от угрызений совести.

— Ох, что же мне делать, несчастному? — стонал он. — Что мне делать? Ох, да смилуется ли господь над моей грешной душой!..

— Что делать? А жить, как и раньше.

— Не могу я жить, как раньше! Я умру! А вы — теперь я вижу, кто вы! Вы... вы...

— Человек, похитрее своего ближнего.

— Да, человек, похитрее своего ближнего; попросту мошенник!

— Эх ты, бедолага, где же твои приличия?

— Не вам об этом судить! Вот вы и впрямь приличий не знаете: взяли деньги, которые не ваши. Половина этих гиней была мистера Клайма.

— Как это? Почему?

— Потому что пятьдесят я должен был ему отдать. Так миссис Ибрайт велела.

— О? Вон что! Гм! Было бы учтивее с ее стороны отдать их его жене Юстасии. Но теперь и они в моих руках.

Христиан снова надел башмаки и с тяжкими вздохами, которые были слышны на порядочное расстояние, кое-как собрал воедино свои разметанные по траве руки и ноги, встал и, пошатываясь, удалился. Уайлджив протянул руку закрыть фонарь, намереваясь сразу вернуться домой, так как считал, что уже поздно идти за женой в Мистовер, тем более что ее все равно обещали отвезти домой в капитанской коляске. Когда он уже закрывал маленькую роговую дверцу, из-за соседнего куста поднялась темная фигура и ступила в круг света, отбрасываемый фонарем. Это был охряник.

ГЛАВА VIII

НОВАЯ СИЛА МЕНЯЕТ ХОД СОБЫТИЙ

Уайлдив уставился на него. Вени равнодушно поглядел в сторону Уайлдива и, ни слова не говоря, неторопливо уселся па то место, где только что сидел Христиан, сунул руку в карман, вынул соверен и положил его на камень.

— Вы следили за нами вон из-за того куста? — спросил Уайлдив.

Охряник кивнул.

— Делайте ставку, — сказал он. — Или духу не хватает продолжать?

Тут следует заметить, что игра в кости — это такая забава, которую легче начать с полными карманами, чем бросить, когда они еще полны; и хотя Уайлдив в более спокойном состоянии, пожалуй, отклонил бы такое предложение, но сейчас недавний его успех совсем вскружил ему голову. Он положил одну из гиней на камень рядом с совереном охряника.

— Моя — гиней, — сказал он.

— Которая не ваша, — саркастически заметил Вени.

— Нет, она моя, — надменно отвечал Уайлдив. — Она моей жены, а что ее, то мое.

— Очень хорошо. Начнем. — Вени встряхнул стаканчик и выбросил последовательно восемь, десять и девять очков: общий счет за все три хода получился двадцать семь.

Это подбодрило Уайлдива. Он взял стаканчик, и его три хода дали сорок пять очков.

Цок! На камень лег второй соверен охряника против его первого, который теперь положил Уайлдив. На этот раз Уайлдив выбросил пятьдесят одно очко, но ни одной пары. Охряник сдвинул брови, выбросил три туза и забрал ставки.

— Ну вы опять при своем, — презрительно сказал Уайлдив. — Давайте-ка удвоим ставки. — Он положил две гиней Томазин, охряник свои два фунта. Выиграл Вени. Новые ставки легли на камень; игра продолжалась.

Уайлдив был нервный и легко возбудимый человек, и азарт игры уже сказывался на нем. Он передергивался, дышал прерывисто, вертелся на месте; а сердце у него билось так, что это почти было слышно. Вени сидел с бесстрастно сжатыми губами, глаза его чуть поблескивали, как две искры; казалось, он не дышал. Он мог быть арабом или автоматом; он в точности походил бы на статую из красного песчаника, если бы не движенья руки, державшей стаканчик с костями.

Счастье склонялось то на одну сторону, то на другую, никому не оказывая предпочтения. Так прошло минут двадцать. Свет свечи привлек уже множество мошек, бабочек и других крылатых ночных тварей; они носились вокруг фонаря, влетали в огонь, ударялись о лица игроков.

Но те не обращали на все это никакого внимания; глаза их были прикованы к небольшому плоскому камню, который для них был ареной не менее обширной и важной, чем поле сражения. К этому времени в игре наступил перелом; охряник теперь непрерывно выигрывал. Под конец шестьдесят гиней — пятьдесят, принадлежавших Томазин, и десять Клайма — перешли к нему. Уайлдив был вне себя, взвинчен и раздражен до неистовства.

— «Отыграл свой сюртук», — язвительно заметил Венн. Еще один тур — и ставки попали в те же руки.

— «Отыграл шляпу», — продолжал Венн.

— О-о! — пробормотал Уайлдив.

— «Отыграл часы, отыграл все деньги — и вышел в дверь богатым человеком». — Венн прибавлял фразу за фразой, по мере того как ставка за ставкой переходила в его руки.

— Ставлю еще пять! — вскричал Уайлдив, кидая монеты на камень. — И к черту три хода — пусть один решает!

Красный автомат, сидевший напротив, умолк, кивнул и тоже выложил пять золотых. Уайлдив встряхнул стаканчик и выбросил пару шестерок и еще пять очков. Он захопал в ладоши:

— Ага, наконец-то моя взяла, ура!

— Играют двое, а метал пока один, — сказал охряник, спокойно опрокидывая стаканчик. Взгляды обоих так напряженно сходились к одной точке на камне, что казалось, их можно было видеть, как лучи в тумане.

Венн поднял стаканчик — на камне лежали три шестерки.

Уайлдив рассвирепел. Пока охряник собирал ставки, Уайлдив схватил кости и стаканчик и со страшным проклятием зашвырнул их в темноту. Потом вскочил и принялся бегать взад-вперед, как помешанный.

— Значит, кончили? — сказал Венн.

— Нет, нет! — вскричал Уайлдив. — Я хочу еще попытать счастья. Непременно!

— Но что же вы, милейший, сделали с костями?

— Забросил их... в минуту раздраженья. Какой я дурак! Скорее помогите мне искать. Мы должны их найти.

Уайлдив схватил фонарь и стал рыскать среди кустов папоротника и дрока.

— Там вы их не найдете, — сказал Венн, идя следом. — Зачем вы сделали такую глупость? Вот стаканчик. Кости тоже где-нибудь тут.

Уайлдив поспешно направил свет на то место, где Венн подпаял стаканчик, и принялся терзать траву направо и налево. Вскоре одна кость нашлась. Стали искать еще, но больше ничего не попадалось.

— А! Все равно, — сказал Уайлдив. — Будем играть одной.

— Ладно, — сказал Венн.

Снова сели и опять начали со ставок в одну гинею. Игра шла быстро. Но фортуна в эту ночь явно благоволила охрянику. Он

выигрывал раз за разом, пока еще четырнадцать гиней не перешло к нему. Теперь семьдесят девять гиней из ста были у него, у Уайлдива всего двадцать одна. Оба противника представляли собой любопытное зрелище. Не только их движения позволяли судить о ходе игры, но и глаза, как будто в них разворачивалась полная диорама всех колебаний удачи. Крохотное пламя свечи отражалось в каждом зрачке, и там в глубине можно было отличить надежду от уныния, даже у Венна, хотя лицо его хранило совершенную неподвижность. Уайлдив играл с отвагой отчаянья.

— Что это? — вдруг воскликнул он, услышав шорох, и оба подняли глаза.

Их окружали темные фигуры фута в четыре высоты, маячившие в двух-трех шагах за пределами светового круга. Вглядевшись, они обнаружили, что это вересковые стригуны; они стояли кольцом, головами к игрокам, и внимательно на них смотрели.

— Но! П-шли! — крикнул Уайлдив, и все сорок или пятьдесят лошадок разом повернулись и ускакали. Игра возобновилась.

Прошло десять минут. Внезапно из темноты выпорхнула крупная бабочка «мертвая голова», дважды облетела вокруг фонаря, метнулась прямо на свечу и погасила ее силой удара. Уайлдив только что опрокинул стаканчик на камень, но еще не поднял его, чтобы посмотреть, что выпало, а теперь все поглотила тьма.

— Какого черта! — взревел он. — Ну что теперь делать?.. Может, там у меня шестерка... У вас нет спичек?

— Нет, — сказал Венн.

— У Христиана были... А он-то куда девался? Эй, Христиан! — Но на крик Уайлдива не было ответа, кроме заунывного стога цапель, гнездившихся ниже по долине. Оба игрока беспомощно оглядывались, не вставая с места. Когда их глаза привыкли к темноте, они различили в траве и среди папоротников бледно-зеленые светящиеся точки. Эти зеленоватые искры испещряли склон холма, словно звезды малой величины.

— А! Светляки! — сказал Уайлдив. — Подождите минутку. Игру можно будет продолжать.

Венн остался сидеть, а его партнер стал ходить взад и вперед, пока не собрал тринадцать светляков на лист наперстянки — столько ему удалось найти за четыре-пять минут. Охряник негромко рассмеялся, когда Уайлдив вернулся со своей добычей.

— Есть, значит, охота еще биться? — сказал он.

— У меня всегда есть, — сердито ответил Уайлдив. И, стряхнув светляков с листа, он дрожащей рукой разложил их в кружок на камне, оставив в середине место, куда опрокидывать стаканчик, озаренное в настоящую минуту бледным фосфорическим сиянием от этих тринадцати крохотных лампад. Игра

возобновилась. Стояло то время года, когда светляки горят всего ярче, и света, который они давали, было для данной цели более чем достаточно; в такие ночи при свете всего двух или трех светлячков можно читать писанное от руки.

Очень велико было несоответствие между действиями этих двоих мужчин и их окружением. В чашу мягкой и сочной растительности, заполнявшей лощину, в тишину и уединение вторгался звон монет, стук игральных костей, восклицанья азартных игроков.

Как только свет был добыт, Уайлдив поднял стаканчик, и единственная кость, лежавшая на камне, показала, что счастье и на этот раз было против него.

— Не буду больше играть, — крикнул он. — Вы что-то сделали с костями, они неправильные!

— Как же так, когда они ваши?

— Давайте сделаем наоборот — пусть самый низкий счет выигрывает, может, тогда мое счастье переменится. Не хотите?

— Да нет, пожалуйста, — сказал Венн.

— Ах, вот они опять — чтоб их! — вскрикнул Уайлдив, поднимая глаза.

Вересковые стригуны успели бесшумно вернуться и снова стояли, как раньше, высоко подняв головы, не отрывая боязливых глаз от освещенных фигур над камнем, словно дивясь — откуда вдруг люди и горящая свеча в таких глухих местах и в такой неподобный час?

— До чего мерзкие твари — эх вылупились! — сказал Уайлдив и швырнул в них камень, что заставило их разбежаться; игра же продолжалась.

Теперь у Уайлдива оставалось десять гиней; оба поставили по пять. Уайлдив выбросил три очка. Венн — два и сгреб монеты. Уайлдив схватил кость и в ярости стиснул ее зубами, словно хотел разгрызть на мелкие кусочки.

— Не сдаваться до конца! Вот мои последние пять, — вскричал он, кидая монеты. — Проклятые светляки — они гаснут. Почему не можете гореть, дурачье? Колочкой, что ли, их расшевелить!

Он потыкал светляков палочкой и перевернул так, что они легли яркой стороной хвоста вверх.

— Света довольно. Бросайте, — сказал Венн.

Уайлдив опрокинул стаканчик внутри светящегося круга и жадно поглядел. Выпал туз.

— Отлично! Говорил я, что счастье переменится, вот и переменялось.

Венн ничего не сказал, но рука его дрожала, когда он бросал кости.

Выпал тоже туз.

— О! — сказал Уайлдив. — Проклятье!

Снова кость ударилась о камень. Опять туз. Венн, мрачный

как ночь, бросил; на камне лежали две половинки кости разломом кверху.

— У меня — ничего, — сказал он.

— Поделом мне — это я, значит, расщепил кость зубами, Ну! Берите ваши деньги. Ничего меньше, чем один.

— Я не хочу.

— Берите, говорят вам! Вы их выиграли.

И Уайлдвиг швырнул деньги в грудь охрянника. Венн подобрал их, встал и ушел из лощины, пока Уайлдвиг сидел, словно оглушенный.

Когда он пришел в себя, он тоже встал и с погасшим фонарем в руке направился к большой дороге. Выйдя на нее, остановился. Ночное молчание отяготело над всей пустошью, только в одном направлении слышались слабые звуки — со стороны Мистовера. Уайлдвиг различил стук колес легкого экипажа, а потом увидел и два фонаря, спускавшихся по склону. Он спрятался за куст и стал ждать.

Экипаж приблизился и проехал мимо. Это была наемная двуколка, и позади кучера сидели двое, которых он хорошо знал, — Юстасия и Ибрайт, и его рука обнимала ее талию. Внизу, где кончался спуск, двуколка свернула круто налево по направлению к тому дому в трех милях к востоку, который Клайм снял и оставил для первых месяцев своей семейной жизни.

Уайлдвиг забыл о потере денег при виде своей потерянной возлюбленной, чья драгоценность возрастала в его глазах в геометрической прогрессии после всякого случая, который напоминал ему о непоправимости потери. Весь во власти утонченных мук, которым он так умел себя подвергать, он свернул в противоположную сторону — к гостинице.

Почти в то самое время, когда Уайлдвиг ступил на большую дорогу, Венн тоже вышел к ней ста ярдами ниже и, услышав стук тех же колес, точно так же стал ждать, пока экипаж подъедет. Увидев, кто в нем сидит, он как будто огорчился, но, размыслив минуту или две — а экипаж в это время продолжал двигаться, — он перешел через дорогу и, шагая напрямик сквозь заросли вереска и дрока, опять выбрался на нее в том месте, где она заворачивала, поднимаясь в гору. Теперь он снова был впереди экипажа, и тот вскоре показался; лошадь шла шагом. Венн выступил вперед и стал так, чтобы его было видно.

Юстасия вздрогнула, когда свет от фонаря упал на него, и рука Клайма невольно соскользнула с ее талии. Клайм сказал:

— Что это вы, Диггори? Поздненько гуляете!

— Да... Простите, что вас остановил, — сказал Венн. — Но я здесь дожидаясь миссис Уайлдвиг, надо ей кое-что передать от миссис Ибрайт. Не знаете, она уже уехала или нет?

— Нет еще, но скоро поедет. Вы можете перенять ее на повороте.

Венн поклонился на прощанье и пошел обратно, к тому месту, где проселок из Мистовера вливался в большую дорогу.

Здесь он прождал около получаса; наконец другая пара фонарей стала спускаться по склону. Это была старомодная, довольно несуразного вида коляска, принадлежавшая капитану, и Томазин сидела в ней одна с Чарли за кучера.

Охряник вышел им навстречу, когда они стали медленно поворачивать.

— Простите, что вас задерживаю, миссис Уайлдив, — сказал он, — но миссис Ибрайт поручила мне передать вам это. — Он подал ей небольшой сверток — только что выигранную им сотню гиней, наскоро обернутую бумагой.

Опомнившись от изумления, Томазин взяла сверток.

— Это все, мэм, прощайте, спокойной ночи, — проговорил он и исчез из виду.

Так Венн, стремясь восстановить справедливость, отдал в руки Томазин не только принадлежавшие ей по праву пятьдесят гиней, но и пятьдесят, предназначенные ее двоюродному брату Клайму. При этом он основывался на словах, сказанных Уайлдивом в начале игры, когда он возмущенно отрицал предположение, что гиней не его. Охряник не понял, что на половине игры она стала идти на деньги другого человека, и эта ошибка имела своим последствием столько горя, сколько и втрое большая денежная потеря не могла бы причинить.

Ночь теперь уж сильно подвинулась, и Венн, не медля более, направился в глубь пустоши. Вскоре он пришел к овражку, в котором стоял его фургон, — не дальше двухсот ярдов от места, где происходила игра. Он вошел в свой передвижной дом, зажег фонарь и прежде, чем запереть дверь, постоял на пороге, размышляя обо всем, что случилось за последние часы. И пока он стоял, небо на северо-востоке, уже очистившееся от туч, начало мало-помалу наливать мягким сияньем. Начинался рассвет, хотя время было между часом и двумя; но в эти дни, в середине лета, светает рано. Тогда Венн, уставший до изнеможения, запер дверь, повалился на койку и уснул.



КНИГА
ЧЕТВЕРТАЯ

ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ

ГЛАВА I

ВСТРЕЧА У ПРУДА

Июльское солнце пылало над Эгдоном, превращая розовый вереск в пурпурный. Было то время и та погода, при которой Эгдон одевался в свой самый яркий наряд. Этот цветущий период представлял собой второе, или полуденное, подразделение в том цикле поверхностных перемен, какие только и были возможны здесь; он следовал за зеленым периодом молодых папоротников, знаменовавшим собой утро, и предшествовал коричневому периоду, когда колокольчики вереска и папоротники одевались в красно-коричневые краски вечера, а их, в свою очередь, сменяли темные тона зимнего периода, знаменующего ночь.

Жизнь Клайма и Юстасии в их маленьком доме в Олдерворте протекала с однообразием, в котором оба находили наслаждение. Пустошь, перемены погоды — все это для них сейчас не существовало. Они словно были заключены в светящемся тумане, который скрывал от их глаз то, что было вокруг них негармоничного, и все одевал сиянием. Когда шел дождь, они радовались, потому что можно было весь день сидеть дома вместе — и по такой уважительной причине; когда было ясно, они радовались, потому что можно было вместе сидеть где-нибудь на холмах. Они были как те двойные звезды, которые вращаются одна вокруг другой — и издали кажется, что это одна звезда. Полное уединение, в котором они жили, усиливало их взаимный обмен мыслями, но кое-кто, вероятно, сказал бы, что оно имело и отрицательную сторону, так как побуждало их слишком расточительно тратить свои взаимные чувства. За себя Ибрайт не опасался, но, вспоминая прежние слова Юстасии о непрочности любви — сейчас ею как будто забытые, — он невольно задумывался и боязливо вопрошал: неужели свойство конечности не чуждо и Эдему?

Проведя так три или четыре недели, Ибрайт снова вплотную взялся за занятия. Чтобы наверстать потерянное время, он те-

перь трудился без усталы, желая как можно скорее выступить в своей новой профессии.

Меж тем Юстасия с самого начала лелеяла мечту, что, выйдя замуж за Клайма, она сумеет убедить его вернуться в Париж. До брака он тщательно уклонялся от всяких обещаний такого рода, но сможет ли он устоять против ее ласк и уговоров? Она так рассчитывала на успех, что даже указала дедушке Париж, а не Бедмут как наиболее вероятное будущее свое местожительство. Все ее мысли и все надежды были связаны с этой мечтой. В тихие дни после свадьбы, когда Ибрайт только и делал, что любовался ее глазами, линией губ, очертаниями лица, она неустанно думала все о том же, даже когда отвечала на его завороченный взгляд; и теперь вид книг, суливших будущее, враждебное ее мечте, подействовал на нее как болезненный удар. В мечтах она уже видела себя хозяйкой какого-нибудь эlegantного заведения — пусть совсем небольшого! — где-нибудь поблизости от парижских бульваров, где она будет проводить свои дни на окраине веселого мира и хоть изредка приобщаться к городским удовольствиям, которыми она так умела наслаждаться. Но Ибрайт был так тверд в противоположных своих намерениях, как будто женитьба не только не развеяла, но еще укрепила его юношеские филантропические фантазии.

Беспокойство ее дошло до крайности, но что-то было в неуклонном поведении Клайма, что заставляло ее колебаться и все откладывать неизбежный разговор. Тут ей на помощь пришел случай. Произошло это однажды вечером через полтора месяца после свадьбы и зависело целиком от неправильного употребления Венном пятидесяти гиней, предназначенных Ибрайту.

Получив деньги, Томазин через день либо два послала тетке записку с благодарностью. Такой богатый дар ее несколько удивил, но так как раньше сумма ни разу не была упомянута, она приписала все щедрости покойного дяди. Тетка строго наказала ей не говорить мужу об этом подарке; сам Уайлдвиг, понятно, ни словом не обмолвился жене о полунощной сцене на пустоши; Христиан, напуганный собственным участием в этом деле, тоже держал язык за зубами; и, уповая, что деньги каким-нибудь чудесным способом в конце концов дошли по назначению, он так и сказал миссис Ибрайт, не входя в подробности.

Но когда прошло две недели, миссис Ибрайт начала удивляться, почему до сих пор ничего не слышно от сына о получении подарка, а затем опечалилась при мысли, что причиной его молчания могло быть враждебное отношение к ней. Трудно было этому поверить, однако почему все-таки он ничего не написал? Она призвала Христиана и стала его расспрашивать, и по его путаным ответам она, конечно, заподозрила бы неладное, если бы половина его рассказа не подтверждалась запиской Томазин.

И пока миссис Ибрайт таким образом колебалась и недоумевала, она узнала однажды утром, что жена ее сына приехала в Мистоввер навестить дедушку. Она решила тоже подняться на

хотел, повидать Юстасию и узнать из уст своей невестки, какая судьба постигла фамильные гиней, которые для миссис Ибрайт были тем же, чем фамильные драгоценности для какой-нибудь герцогини.

Когда Христиан узнал, куда она идет, его волнение достигло высшей точки; он почувствовал, что больше вылить не может, и тут же у калитки признался, что деньги им были проиграны, и рассказал всю правду, то есть ту ее часть, которую знал, а именно, что деньги у него выиграл Уайлдвиг.

— Так неужели он оставит их у себя? — воскликнула миссис Ибрайт.

— Даст бог, нет! — простонал Христиан. — Он же хороший человек, авось поступит по-честному. Он говорил — вам бы лучше дать долю мистера Клайма Юстасии — так, может, он так и сделал.

Когда миссис Ибрайт стала способна спокойно размышлять, она посчитала эту версию наиболее правдоподобной; ей не верилось, чтобы Уайлдвиг мог просто присвоить деньги, принадлежащие ее сыну. А окольный путь — через Юстасию — был как раз в его духе. Но от этого гнев матери отнюдь не утих. То, что Уайлдвиг в конце концов все-таки захватил гиней в свои руки и может ими распорядиться, изменять ее планы, отдавать долю Клайма его жене, потому что она была, а может быть, и сейчас остается его, Уайлдвиг, возлюбленной, все это вызывало у миссис Ибрайт такое раздражение, какого она, пожалуй, за всю жизнь еще не испытывала.

Она немедленно уволила злополучного Христиана за его участие в этой истории, но потом, чувствуя себя совсем покинутой и неспособной справиться без него, сказала, что он может, если хочет, еще немного у нее поработать. После чего она поспешила к Юстасии с намерением уже не столь благоприятным для будущих отношений с невесткой, как час назад, когда она только замышляла этот визит: тогда она думала просто дружески осведомиться, не было ли случайно потери, теперь — напрямик спросить Юстасию, действительно ли Уайлдвиг тайно отдал ей деньги, предназначенные, как священный дар, Клайму?

Она вышла в два часа и увидела Юстасию раньше, чем ожидала, так как та стояла у пруда возле насыпи, окружавшей владения капитана, поглядывая на окрестные склоны и, может быть, вспоминая романтические сцены, коих они в прошлом были свидетелями. Подошедшую миссис Ибрайт она встретила равнодушным взглядом, как чужую.

Свекровь заговорила первой.

— Я пришла повидаться с вами, — сказала она.

— Вот как! — удивленно проронила Юстасия, так как миссис Ибрайт в свое время, к немалой обиде девушки, отказалась быть на ее свадьбе. — Я вас совсем не ждала.

— Я только по делу, — сказала гостя уже холоднее, чем раньше. — Извините, пожалуйста, но я должна задать

вам вопрос: скажите, вы получали недавно подарок от мужа Томазин?

— Подарок?

— Да. Деньги.

— Что?.. Я лично?..

— Ну да, вы лично, без ведома мужа, — хотя этого я как раз не собиралась говорить.

— Деньги от мистера Уайлдива? Да никогда в жизни! Сударыня, что вы этим хотите сказать? — Юстасия сразу вскипела; помня о своих прежних отношениях с Уайлдивом, она подумала, что миссис Ибрайт тоже о них знает и теперь явилась обвинять ее в том, что она и посейчас получает от него компрометирующие подарки.

— Я только спросила, — сказала миссис Ибрайт. — Я была...

— Вам следовало быть лучшего мнения обо мне — да, впрочем, я знаю, вы с самого начала были против меня! — вскричала Юстасия.

— Нет. Просто я была за Клайма, — возразила миссис Ибрайт с излишней, может быть, горячностью. — Каждый старается оберегать своих близких.

— Значит, Клайма надо было оберегать от меня? Как вы можете так говорить! — воскликнула Юстасия со слезами обиды на глазах. — Я не причинила ему вреда тем, что вышла за него замуж! Какое преступление я совершила, что вы так дурно думаете обо мне? Вы не имели права восстанавливать его против меня, когда я вам ничего плохого не сделала!

— Я делала только то, что было естественно при данных обстоятельствах, — уже мягче сказала миссис Ибрайт. — Я не хотела сейчас этого касаться, но вы меня вынудили. Мне нечего стыдиться, и я могу сказать вам чистую правду. Я была твердо убеждена, что ему не следует на вас жениться, поэтому я всеми силами старалась его отговорить. Но теперь дело сделано, и я не собираюсь жаловаться. Я готова вас приветствовать.

— Ах, как это мило — такой деловой подход! — с затаенным гневом проговорила Юстасия. — Но почему вы решили, что было что-то между мной и мистером Уайлдивом? У меня тоже есть гордость, не меньше, чем у вас. Я возмущена, как всякая женщина была бы на моем месте. Разрешите вам напомнить, что, когда я вышла за вашего сына, это было снисхождение с моей стороны, а не маневр какой-нибудь; и я не позволю, чтобы со мной обращались как с интриганкой, которую приходится терпеть, потому что она втерлась в семью.

— О! — сказала миссис Ибрайт, тщетно стараясь сдерживать негодование. — Не знаю, чем это наша семья хуже вашей — не наоборот ли? Смешно слышать, как вы тут говорите о снисхождении.

— Тем не менее это было снисхождение, — запальчиво отвечала Юстасия. — И знай я тогда то, что знаю теперь, — что мне через месяц после свадьбы придется все еще сидеть на этой дн-

кой пустоши, я... я бы дважды подумала, прежде чем согласиться.

— Лучше бы вы этого не говорили; не похоже на правду. Я хорошо знаю, что мог вам обещать мой сын; с его стороны не было обмана — не знаю, как с другой.

— Нет, это невыносимо! — хрипло проговорила молодая женщина; лицо ее побагровело, глаза метали молнии. — Как вы смеете так со мной разговаривать? Я вам повторяю: зпай я, что моя жизнь от свадьбы и до сего дня будет такой, как она есть, я бы сказала — «нет»! Я не жалею. Я ему ни слова об этом не говорила; но это правда. И, надеюсь, в будущем вы воздержитесь от разговора о том, что я его завлекала. Если вы еще теперь меня обидите, это обернется против вас.

— Обижу вас? Вы считаете, я желаю вам зла?

— Вы обижали меня еще до моего замужества, а теперь заподозрили, что я благоволю другому мужчине за деньги!

— В своих мыслях никто не волен. Но я никогда не говорила о вас за пределами моего дома.

— Зато говорили в доме Клайму, а хуже ничего нельзя было придумать.

— Я выполнила свой долг.

— А я выполню свой.

— Часть которого, вероятно, будет состоять в том, что вы настроите сына против матери. Это всегда так бывает. Но что подделаешь — другие терпели, видно, и мне терпеть.

— Понимаю, — сказала Юстасия, задыхаясь. — Вы считаете меня способной на все самое дурное. Что хуже жены, которая поощряет любовника и озлобляет мужа против его родных? Но именно такой меня изображают. Может, придете и вырвете его из моих рук?

Миссис Ибрайт отвечала ударом на удар.

— Не яритесь так, сударыня! Это портит вашу красоту, а из-за меня не стоит вам терпеть такой ущерб. Ведь я только бедная старуха, которая потеряла сына.

— Если бы вы уважительно обращались со мной, он был бы ваш по-прежнему, — сказала Юстасия; жгучие слезы катились у нее из глаз. — Вы сами виноваты — вызвали разлад, который теперь уже нельзя залечить!

— Я ничего не сделала. Но такой дерзости от молодой девчонки я не могу вынести.

— Вы сами напросились; заподозрили меня и заставили меня так говорить о моем муже, как сама я бы никогда не стала. А теперь вы ему расскажете, что я говорила, и мы оба будем мучиться. Уходите лучше отсюда! Вы не друг мне!

— Уйду, когда скажу то, что мне надо. Если кто скажет, что я пришла допрашивать вас без достаточных оснований, это будет неправда. Если кто скажет, что я пыталась предотвратить ваш брак иначе чем вполне честными способами, это

будет неправда. Я пришла в недобрый час; господь несправедлив ко мне, что позволил вам так оскорблять меня! Возможно, сын мой не будет знать счастья по сю сторону могилы,— он неразумный человек, который не слушает материнских советов. Но вы, Юстасия, стоите на краю пропасти, сами того не зная. Покажите моему сыну хоть половину той злобы, что вы мне сегодня показали,— а этого, может быть, недолго ждать,— и вы увидите, что, хотя сейчас он с вами кроток, как ребенок, он может быть твердым, как сталь!

Затем взволнованная мать ушла, а Юстасия осталась стоять у пруда, тяжело дыша и глядя на воду.

ГЛАВА II

БЕДЫ ОСАЖДАЮТ ЕГО, НО ОН ПОЕТ ПЕСЕНКУ

Последствием этого неудачного свиданья было то, что Юстасия не осталась у дедушки до вечера, как предполагала, а поспешила домой к Клайму, куда и прибыла на три часа раньше, чем ее ожидали. Она вошла с раскрасневшимся лицом и еще припухшими от недавних слез глазами. Ибрайт с удивлением поглядел на нее; он никогда еще не видал ее в скольконибудь похожем состоянии. Она прошла мимо, видимо стремясь ускользнуть навверх незамеченной, но Клайм так обеспокоился, что тотчас пошел за ней.

— Что случилось, Юстасия? — спросил он.

Она стояла в спальне на коврике у камина, еще не сняв шляпы, глядя в пол, стиснув руки на груди. Мгновенье она молчала, потом проговорила негромко:

— Я видела твою мать и никогда больше не хочу ее видеть!

У Клайма словно камень налег на сердце. В это самое утро, когда Юстасия собиралась к дедушке, Клайм выразил желание, чтобы она проехала также и в Блумс-Энд и справилась о здоровье его матери или каким-нибудь способом, какой найдет удобным, постаралась достичь примирения. Она уехала веселая, и он надеялся на успех.

— Почему? — спросил он.

— Не знаю — не помню... Мы встретились. И больше встречаться с ней я не желаю.

— Да почему же?

— Что у меня сейчас общего с мистером Уайлдивом? Не хочу, чтобы обо мне рассказывали всякие гадости. Нет, какое унижение — спрашивает, не получала ли я от него денег или не поощряла его или еще что-то в этом роде — я уж точно не помню!

— Но как же она могла это спросить?

— А вот могла.

— Тогда, очевидно, в этом есть какой-то смысл. Что она еще говорила?

— Не помню, что она там еще говорила, знаю только, что мы обе наговорили такого, чего нельзя простить!

— Нет, тут, конечно, какое-то недоразумение. Чья вина, что ее слова были плохо поняты?

— Не знаю... Может быть, обстоятельств... тут вообще было что-то странное... О, Клайм — я все-таки должна сказать — ты поставил меня в очень неприятное положение. Но ты должен это исправить, — ты это сделаешь, да? — потому что теперь я все здесь ненавижу! Да, да, увези меня в Париж и продолжай свое прежнее занятие, Клайм! Пусть мы вначале будем жить очень скромно, мне все равно, лишь бы это был Париж, а не Эгдонская пустошь.

— Но ведь я же совсем отказался от этой мысли, — с удивлением сказал Ибрайт. — Мне кажется, я не давал тебе повода думать иначе.

— Не давал, это верно. Но бывают мысли, которых никак не выбросишь из головы, — вот у меня эта. И разве я не имею права голоса в этом вопросе — теперь, когда я твоя жена и разделяю твою участь?

— Да, но ведь есть вещи, которые просто уже больше не подлежат обсуждению, и я думал, что это как раз к ним относится — с общего нашего согласия.

— Клайм, мне грустно это слышать, — тихо проговорила Юстасия, потупилась и, повернувшись, ушла.

Это указание на тайную залежь надежд в груди Юстасии смутило ее мужа. Впервые он увидел, каким извилистым путем идут подчас женщины к достижению желаемого. Но решение его не поколебалось, как он ни любил Юстасию. Ее слова повлияли на него лишь в том смысле, что заставили еще плотнее засесть за книги, чтобы поскорее добиться ощутимых результатов на избранном им пути и иметь возможность противопоставить эти реальные достижения ее капризу.

На другой день тайна гиней разъяснилась. Томазин второпях приехала в Олдерворт и собственными руками передала Клайму его долю. Юстасии в это время не было дома.

— Так вот что мама имела в виду, — воскликнул Клайм. — Томазин, а ты знаешь, что они насмерть поссорились?

Томазин теперь не так свободно держалась со своим двоюродным братом, как раньше. Таково действие брака — усиливать в отношении многих ту сдержанность, которую он снижает в отношении одного.

— Да, — сказала она осторожно. — Твоя мама мне говорила. Она приходила ко мне домой.

— Случилось самое плохое, чего я так боялся. Мама очень была расстроена, когда пришла к тебе, Томазин?

— Да.

— В самом деле, очень?

— Да. Очень.

Клайм облокотился на столб садовой калитки и прикрыл глаза рукой.

— Не мучайся из-за этого, Клайм. Они, может, еще помирятся.

Он покачал головой.

— У обеих кровь чересчур вспыхивая. Ну что ж, чему быть, того не миновать.

— Одно утешение — гиней не пропали.

— По мне, пусть бы трижды столько пропало, только бы не эта беда.

Среди всех этих огорчительных событий в душе Клайма еще больше окрепла уверенность, что самое необходимое сейчас — это чтобы его педагогические планы возможно скорее принесли плоды. Ради этого он много дней подряд читал далеко за полночь.

Однажды утром, после еще более долгого бдения, чем обычно, он проснулся с каким-то странным ощущением в глазах. Солнце светило прямо в окно сквозь белую занавеску, и при первом же взгляде туда он ощутил острую боль в глазах, которая заставила его быстро зажмуриться. При всякой новой попытке оглядеться вокруг проявлялась та же болезненная чувствительность, и жгучие слезы текли у него по щекам. Пришлось ему, пока он одевался, надеть на глаза повязку, да и весь день ее нельзя было снять. Юстасия сильно встревожилась. На другой день ему не стало лучше, и они послали в Энглбери за врачом.

Он приехал к вечеру и определил у Клайма острое воспаление, вызванное ночными занятиями и еще усиленное предшествующей незалеченной простудой, временно ослабившей его глаза.

И Клайм, допелось расстроенный перерывом в занятиях, которые он так стремился скорее привести к окончанию, был переведен на положение больного. Его заключили в комнате, куда не проникал свет, и он совсем бы впал в уныние, если бы Юстасия не читала ему при слабом огоньке затененной лампы. Он надеялся, что худшее скоро пройдет, но при третьем визите врача он узнал, к великому своему огорчению, что хотя через две-три недели ему уже можно будет выходить в темных очках из дому, но все помыслы о продолжении занятий и даже о чтении какого бы то ни было печатного текста придется отложить надолго.

Прошла неделя, прошла вторая, в положении молодой четы не было просвета. Юстасии мерещились всякие ужасы, но она, конечно, остерегалась даже словом упомянуть о них мужу. Вдруг он ослепнет или, во всяком случае, зрение не настолько вернется к нему, чтобы он мог заниматься делом, которое согла-

совалось бы с его вкусами и желаньями и помогло бежать из этого одинокого жилища среди холмов? Ее мечта о прекрасном Париже становилась уж совсем бесплотной. По мере того как день проходил за днем, а ему не становилось лучше, ее мысли все чаще устремлялись по этой зловещей колее; она уходила в сад и плакала слезами отчаяния.

Ибрайт хотел было послать за матерью, потом раздумал. Какая польза, что она будет знать о его состоянии, только лишнее горе для нее; а они жили так замкнуто, что вряд ли она об этом услышит, если не послать к ней нарочного. Стараясь насколько можно философичнее относиться к своей беде, он подождал до третьей недели и тогда впервые вышел на воздух. Как раз в это время его посетил врач, и Клайм попросил его яснее высказать свое мнение. То, что он услышал, было неожиданным для него; по словам врача, срок его возвращения к занятиям оставался по-прежнему неопределенным, так как, хотя сейчас он видит достаточно хорошо для того, чтобы ходить и вообще двигаться, пристальное разглядывание всяких мелких объектов может снова вызвать офтальмию в острой форме.

Это известие опечалило Клайма, но не привело его в отчаяние. Какая-то спокойная твердость, даже веселость появилась в нем. Он не ослепнет — пока довольно и этого. Быть обреченным долгое время видеть мир сквозь темные очки, конечно, неприятно и подрывает его надежды на скорый успех, но Клайм умел быть абсолютным стойком, когда дело шло только о положении в обществе; если бы не Юстасия, он примирился бы с самой скромной долей, лишь бы иметь возможность в какой-либо форме осуществлять свой основной замысел. Одной из таких форм было устроить вечернюю школу в домике на пустоши; это было ему доступно: поэтому его недуг не так подавляюще действовал на его душу, как можно было ожидать.

Радуясь солнечному теплу, он направился на запад, в те участки пустоши, которые так хорошо знал, потому что они были всего ближе к его прежнему дому. В одной из долин он заметил вдали металлический блеск — как будто серп или косу правили на оселке — и, подойдя ближе, различил, что блеск действительно исходил от серпа в руках человека, который резал дрок. Тот узнал Клайма, а Клайм по голосу понял, что перед ним Хемфри.

Хемфри посоветовал Клайму и добавил:

— Вот если б вы делали черную работу, как я, вы могли бы продолжать как ни в чем не бывало.

— Да, пожалуй, — задумчиво сказал Ибрайт. — А сколько вам платят за эти вязанки?

— Полкроны за сотню, и пока стоят долгие дни, я могу совсем неплохо жить на свой заработок.

Весь обратный путь до Олдерворта Клайм был погружен в размышления, нельзя сказать, чтобы неприятного свойства.

Когда он был уже возле дома, Юстасия окликнула его из открытого окна, и он подошел.

— Дорогая, — сказал он, — я уже чувствую себя немножко более счастливым. А если бы мама помирилась со мной и с тобой, я, кажется, был бы и совсем счастлив.

— Боюсь, этого никогда не будет, — сказала она, глядя вдаль своими прекрасными сумрачными глазами. — Как ты можешь говорить, что ты стал счастливее, когда ничего не изменилось?

— Это потому, что я наконец нашел, чем я могу заняться и зарабатывать на жизнь в это тяжелое время.

— Да? Чем же?

— Я буду резать дрок и торф.

— Нет, Клайм! — воскликнула она, и слабый свет надежды, блеснувший было в ее лице, погас, и она стала мрачнее прежнего.

— Непременно буду. Было бы очень неразумно тратить те небольшие деньги, что у меня есть, когда я могу честным заработком пополнить расходы. Движение на воздухе будет мне полезно, и кто знает, может быть, через месяц-другой я уже буду способен возобновить занятия.

— Но ведь дедушка предложил нам помочь, если будет нужно.

— А нам не нужно. Если я стапу резать дрок, мы будем жить неплохо.

— Да, по сравнению с рабами, или израильтянами в Египте, или еще с такими же несчастными!

По лицу Юстасии, не замеченная Клаймом, скатилась горькая слеза. В его тоне, когда он говорил, ей послышалась беспечность, показавшая, что он не испытывает никакого особенного горя при мысли о таком завершении своей карьеры, а для нее это был ужас из ужасов.

На другой же день Ибрайт отправился к Хемфри и заплал у него поножи, перчатки, оселок и серп на то время, пока он сам еще не может все это себе купить. Затем вместе со своим новым товарищем и старым знакомцем он пустился в путь и, выбрав место, где дрок рос всего гуще, сделал почин в новом своем ремесле. Его зрение, как крылья в «Расселасе», хотя недостаточное для его великих целей, для этой более простой задачи оказалось вполне удовлетворительным, и Клайм уверился в том, что со временем, когда его ладони зарубеют и не будут больше покрываться волдырями, ему нетрудно будет справляться с работой.

День за днем он вставал вместе с солнцем, затягивал свои поножи и отправлялся на рандеву с Хемфри. Он обычно работал с четырех часов утра до полудня, затем в самое знойное время шел домой и спал час или два; потом снова выходил и работал до сумерек, которые наступали около девяти часов.

Этот парижанин был теперь так замаскирован своим кожным снаряжением и темными очками, что самый близкий друг

мог бы пройти мимо и его не узнать. Он был всего лишь коричневым пятнышком среди бесконечных оливково-зеленых зарослей дрока. В незанятые часы на него часто находило уныние при мысли о положении Юстасии и о разладе с матерью, но в разгаре работы он всегда бывал спокоен и весел.

Его повседневная жизнь носила какой-то микроскопический характер — весь его мир ограничивался кружком вокруг его тела радиусом в несколько футов. Его друзьями были ползучие и крылатые твари, и они, видимо, приняли его в свою компанию. Пчелы по-приятельски жужжали у самых его ушей и тут же, рядом с ним, в таких количествах повисали на цветах вереска и дрока, что стебли сгибались до земли. Странные, цвета амбры, мотыльки, это порождение Эгдона, которого нигде больше не увидишь, трепетали в дыхании, исходящем из его губ, присаживались на его согнутую спину, заигрывали со сверкающим кончиком его серпа, когда он им взмахивал. Сотни изумрудно-зеленых кузнечиков прыгали ему на ноги и сваливались, неуклюже падая на спину, на голову, на бок, как придется, подобно неумелым акробатам, или под листьями папоротников затевали громогласный флирт с другим племенем кузнечиков, молчаливым и скромно одетым в серое. Огромные мухи, знакомые ни с кладовыми, ни с проволочными сетками и пребывающие во вполне диком состоянии, гудели вокруг него, не зная, что он человек. То выползая из чащи папоротников, то вновь скрываясь в ней, скользили по земле змеи в самом блестящем, синем с желтым, своем наряде; как полагалось по времени года, они только что сбросили старую кожу, и цвета их еще не успели поблекнуть. Молодые кролики целыми выводками выбирались из нор на пригорки погреться на солнышке, и его горячие лучи просвечивали сквозь их нежные тонкие уши, делая их прозрачно-алыми, с заметным узором артерий. Никто здесь не боялся Клайма.

Однообразие работы успокаивало Клайма и само по себе доставляло удовольствие. Вынужденное ограничение деятельности имело даже приятную сторону для человека, лишённого честолюбия, так как оправдывало выбор самой простой работы, которого совесть бы ему не позволила, будь он в полном обладании всеми своими способностями. Поэтому Ибрайт иногда тихонько напевал во время работы, а когда ему приходилось сопровождать Хемфри в поисках плетей ежевики для скрепления вязанок, он забавлял своего спутника рассказами о парижской жизни и парижанах, и время проходило незаметно.

Однажды в такой теплый предзакатный час Юстасия вздумала пройти туда, где работал Клайм. Он усердно резал дрок, а вправо от него тянулся длинный ряд вязанок — плод его трудов за день. Он не заметил, как она подошла, и она остановилась совсем близко и услышала его пенье. Это потрясло ее. Сперва, видя, как он, бедный страдалец, зарабатывает деньги в поте лица своего, она была тронута чуть не до слез; по слы-

шать, как он поет и, по-видимому, нисколько не возмущается своим грубым занятием, которое ему, может быть, и не противно, но для нее, его благовоспитанной и образованной жены, представляет крайнее унижение,— это оскорбило ее сверх всякой меры. А он, не замечая ее присутствия, продолжал напевать:

В рассветный час,
В весенние наряды облачась,
Ликует флора, птицы и ручьи
Запели снова песни о любви,
Все радует влюбленный слух и глаз
В рассветный час.

В рассветный час
Печаль порою посещает нас —
Мы плачем, что приветливая ночь,
Рассеявшись, любовь уводит прочь,
Что свет прекрасных милых звезд угас
В рассветный час.

Теперь Юстасия с горькой ясностью поняла, как мало он озабочен своим общественным падением; и гордая красавица поникла головой и заплакала в отчаянии при мысли о том, насколько пагубным для ее собственной жизни может оказаться такое настроение мужа и такая черта его характера. Затем она выступила вперед.

— Я бы лучше умерла с голоду, чем это делать! — гневно вскричала она. — А ты еще можешь петь! Уйду от тебя, буду опять жить у бабушки!

— Юстасия! А я и не видел тебя, хотя заметил, что будто бы что-то двигалось, — сказал он мягко. Он подошел, снял свою огромную кожаную перчатку и взял ее за руку. — Почему ты так странно говоришь? Это же только старая песенка, которую я как-то раз слышал в Париже, и она мне понравилась, а сейчас она так подходит к моей жизни с тобой. Неужели вся твоя любовь ко мне умерла оттого только, что я больше не выгляжу франтом?

— Милый, не надо смеяться надо мной, а то как бы я в самом деле не перестала тебя любить!

— Да разве же я способен на такой риск?

— Ну, не знаю... Ты все делаешь по-своему, а мне не хочется уступить, когда я умоляю тебя бросить эту позорную работу. Или тебе что-то во мне не нравится, что ты поступаешь наперекор моим желаниям? Я твоя жена, почему ты меня не слушаешь? Ведь я же все-таки твоя жена!

— Я знаю, что значит этот тон.

— Какой тон?

— А вот каким ты сказала: «все-таки твоя жена». Это значит «к сожалению, твоя жена».

— Невеликодушно колоть меня этим. Женщина может быть права, даже когда не хочет покоряться, и если я и думала про

себя — «к сожалению» — то в этом чувстве нет ничего низкого, это естественно при данных обстоятельствах. Вот! Видишь, я, во всяком случае, не стараюсь тебя обманывать. Помнишь, я еще до нашей свадьбы говорила тебе, что во мне нет качеств хорошей жены?

— А вот теперь ты смеешься надо мной. На этот счет благороднее всего было бы помолчать, потому что ты все еще моя королева, Юстасия, хоть я, может быть, уже не твой король.

— Ты мой муж. Разве этого мало?

— Нет, очень много, но только если ты не жалеешь о том, что стала моей женой.

— Не знаю, что тебе ответить... Помнишь, я еще сказала, что, женись на мне, ты берешь на себя немалую обузу?

— Да, я это понял.

— Что-то слишком скоро понял! Когда любят по-настоящему, таких вещей не замечают. Ты чересчур строг со мною, Клайм,— мне совсем не нравится, когда ты так говоришь.

— Так ведь я, несмотря на это, на тебе женился — и не жалею. Как ты холодна сегодня! А я думал, что нет на свете более горячего сердечка.

— Да, боюсь, мы оба остываем, я это вижу не хуже тебя.— Она печально вздохнула.— А как безумно мы любили два месяца назад! Ты никогда не уставал любоваться мной, а я тобой. Кто бы подумал, что скоро мои глаза уже не будут для тебя так прекрасны и твои губы для меня так сладки. Два месяца — может ли это быть?.. Однако это правда!

— Ты вздыхаешь, дорогая, как будто жалеешь об этом; это добрый знак.

— Нет, я не об этом вздыхаю. У меня много есть о чем вздыхать, как было бы и у всякой женщины на моем месте.

— О том, что все твои надежды рухнули из-за брака с неудачником?

— Почему ты заставляешь говорить тебе неприятные вещи, Клайм? Право, я столько же достойна сожаления, как и ты. Столько же? Нет, я думаю, больше. Потому что ты можешь петь! Мне бы в голову не пришло петь, когда у нас все так плохо! Поверь мне, милый, позволь я только себе, я бы так плакала, как ты, с твоим легким характером, и представить себе не можешь! Да если тебе твоя беда не горька, так мог бы хоть из жалости ко мне воздержаться от пенья. Бог ты мой! Будь я мужчиной и в твоём положении, я бы уж скорее стала богохульствовать, чем петь!

Ибрайт положил руку ей на плечо.

— Ты только не думай, моя неопытная девочка, что я так уж и не умею восставать, в самом возвышенном, прометеевском стиле, против богов и судьбы. Я всего этого столько сам испытал, сколько ты и попаслышке не знаешь. Но чем больше я наблюдаю жизнь, тем яснее вижу, что нет ничего особенно высокого в самом высоком общественном положении, а потому

и пет ничего особенно низкого в моем положении торфореза. И если самые богатые дары фортуны, на мой взгляд, не имеют большой цены, то для меня не такое уж большое лишение, когда она их отнимает. Поэтому я пою, чтобы время шло быстрее. Но неужели в тебе не осталось хоть немножко нежности ко мне и тебе жаль, что у меня выдалась веселая минута?

— Во мне осталось еще немного нежности к тебе.

— Ах, в твоих словах уже нет прежнего аромата. Вот так и умирает любовь вместе с удачей.

— Я не могу это слушать, Клайм, я рассержусь, — сказала она, и голос ее сорвался. — Пойду домой.

ГЛАВА III

ОНА РЕШАЕТ БОРОТЬСЯ С УНЫНИЕМ

Несколько дней спустя в самом конце августа Юстасия и Ибрайт сидели за своим ранним обедом.

Юстасия в последнее время была какой-то вялой и молчаливой. В ее прекрасных глазах застыло скорбное выражение, которое, по заслугам или нет, невольно вызывало жалость в каждом, кто видел ее раньше, во время расцвета ее любви к Ибрайту. Настроение мужа и жены менялось обратно их реальному состоянию: Клайм, пораженный недугом, был весел; он даже пытался утешать ее, за всю жизнь не испытавшую и минуты физического страдания.

— Ну развеселись же, дорогая, все еще уладится. Я, может быть, скоро опять буду видеть так же хорошо, как раньше. И я торжественно обещаю тебе, что брошу резать дрок, как только смогу делать что-нибудь получше. Ты же не можешь серьезно желать, чтобы я целый день сидел дома без дела?

— Но это так ужасно — простой рабочий! Ты, человек, который видал свет, и говоришь по-французски и по-немецки, и способен на в сто раз лучшее, чем эта работа.

— Должно быть, когда ты впервые увидела меня и услышала обо мне, я представлялся тебе в золотом ореоле — человек, который бывал во всех знаменитых местах, участвовал в пышных празднествах, одним словом, этакий пленительный, очаровательный, неотразимый герой?

— Да, — сказала она, всхлипывая.

— А теперь я бедняк в коричневой коже.

— Не дразни меня. Но довольно. Больше я не буду упывать. Сегодня я намерена пойти из дому, если ты не возражаешь. В Восточном Эгдоне устраивают деревенский пикник — угощение и танцы на открытом воздухе, и я пойду.

— И танцевать будешь?

— Отчего бы и нет? Ты же поешь?

— Ну, ну, как хочешь. Мне прийти за тобой?

— Если не слишком поздно вернешься с работы. Но вообще-то не утруждай себя. Дорогу домой я знаю, и на пустоши и никогда и ничего не боялась.

— И ты так жаждешь развлечений, что ради этого готова пройти весь путь до деревни?

— Ну вот, тебе не нравится, что я пойду одна! Клайм, ты уж не ревнуешь ли?

— Нет. Но я пошел бы с тобой, если бы это было тебе приятно; а впрочем, пожалуй, не надо, я и то уж, наверно, порядком тебе надоел. А все-таки мне почему-то не хочется, чтобы ты шла. Может быть, ревную; да и у кого же больше оснований для ревности, чем у меня, полуслеплого мужа такой красавицы?

— Ох, не надо так думать. Отпусти меня, не отнимай у меня крупницы радости!

— Да что ты, я готов всю свою тебе отдать, дорогая моя женошка. Иди и делай что хочешь. Да и кто может запретить тебе, даже если это просто твой каприз? Мое сердце еще принадлежит тебе, а за то, что ты меня терпишь, хотя я для тебя сейчас только обуза, я обязан тебе благодарностью. Да, иди одна и блистай. А я уж покорюсь своей судьбе. На таком собрании люди стали бы меня избегать. Мой серп и рукавицы — это вроде трещотки прокаженного, которой он всех предупреждает: «Уходите с дороги, чтобы не увидеть зрелища, которое может вас опечалить!»

Клайм поцеловал ее, надел свои попожи и ушел.

Когда она осталась одна, она уронила голову на руки и сказала сама себе:

— Две погибших жизни — его и моя. Вот к чему я пришла! Право, я, кажется, с ума сойду.

Она стала думать, каким бы способом хоть немного улучшить их теперешнее положение, и ничего не придумала. Вообразила, как все эти бедмутские девицы, узнав, что с нею случилось, скажут: «Посмотрите на эту гордячку, для которой никто не был достаточно хорош!» Для Юстасии нынешнее ее положение было такой насмешкой над всеми ее надеждами, что смерть представлялась ей единственным выходом в случае, если б небо вздумало еще усугубить свою иронию.

Внезапно она встрепенулась и воскликнула:

— Но я сброшу все это с себя! Да, сброшу! Я буду едко-остроумной и иронически-веселой, я буду смеяться над всем на свете! И начну с того, что пойду на эти танцы.

Она поднялась к себе в спальню и оделась с особой тщательностью. Если бы кто видел ее в эту минуту, он бы, пожалуй, согласился, что в иных случаях красота может служить оправданием бунтарских чувств. Даже человек, не слишком ей сочувствующий, видя, в какой тушик загнал эту женщину столько же случай, сколько ее собственная опрометчивость, сказал бы, что у нее есть веские основания вопрошать Вышние Силы, по ка-

кому праву она, существо столь законченного изящества, поставлена в условия, при которых ее прелесть становится скорее проклятием, чем благословением.

В пять часов пополудни она в полной готовности вышла из дому. Никогда она еще не была так хороша; казалось, обаяния в ней сейчас хватило бы на двадцать новых побед. Мятежная грусть, слишком заметная в ней, когда она сидела дома без шляпы, теперь была замаскирована и смягчена ее прогулочным нарядом, всегда каким-то словно бы туманным, без единой жесткой линии, так что ее лицо выглядывало из своей рамки, как из облака, без заметной пограничной черты между телом и одеждой.

Жар только начинал спадать, и она шла по согретым солнцем холмам, не торопясь, так как времени для ее праздного предприятия было еще много. Когда ее путь пролегал сквозь заросли папоротника, она совсем скрывалась в зелени, словно топула в ней; высокие папоротники смыкались над ее головой, так как в эту пору они образуют целые леса в миниатюре, хотя ни один стебель не доживет до будущего года и не расцветет вторично.

Лужайка, выбранная для деревенского праздника, была одним из тех травяных оазисов, которые иногда, но не часто, встречаются на плоскогорьях вересковых районов. Заросли дрока и папоротников вдруг кончались по ее краям, как обрезанные, и травянистый покров нигде не был нарушен. Зеленая тропинка, пробитая скотом, окружала поляну, нигде, однако, не прорываясь сквозь отделяющий ее экран из высоких папоротников, и по этой тропке пошла Юстасия, для того чтобы сперва разведать обстановку, а потом уж присоединиться к общему веселью. Залихватские звуки восточноэгдонского оркестра безошибочно вели ее, а затем она увидела и самих музыкантов: они сидели на ломовом полке, синем с красными колесами, отмытом и отчищенном до блеска и украшенном арками из прутьев, к которым были прикреплены цветы и зеленые ветки. Прямо перед полком танцевало около двадцати пар — это был главный, или срединный, круг, а по бокам танцевало еще несколько малых кругов из гостей попроще, вращательные эволюции которых не всегда совпадали с тактом.

Молодые парни все посадили голубые или белые розетки и с раскрасневшимися лицами напропалую отплясывали перед девушками, а те от возбуждения и быстрой пляски заливались таким румянцем, что рядом с ним бледнели их многочисленные розовые банты. Красотки с длинными буклями, красотки с короткими кудряшками, красотки с локоном, кокетливо спущенным на щеку, красотки с косами — все кружились и кружились без устали; и можно было только подивиться, как удалось всего в одной или двух деревнях набрать столько приятных молодых жещин, сходных по росту, годам и расположению духа.

На заднем плане какой-то счастливый смертный плясал в одиночку, с закрытыми глазами, в полном забвении всего окружающего. В стороне под остриженным терном был разложен костер, и над ним рядом висели три котла. Тут же чуть подалее стоял стол, за которым пожилые дамы разливали чай, но Юстасия напрасно искала среди них жену скотопромышленника, которая звала ее прийти и обещала обеспечить ей любезный прием.

Неожиданное отсутствие единственной более или менее знакомой ей местной жительницы значительно подпортило задуманный Юстасией план бесшабашного веселья. Присоединиться к празднику стало непростым делом, хотя, конечно, если бы она подошла, веселые матроны предложили бы ей чаю и всячески бы обласкали эту незнакомку, столь превосходящую их изяществом и образованием. Постояв и поглядев на фигуры двух танцев, Юстасия решила пройти дальше, в деревню, где рассчитывала в одном доме пайти чем подкрепиться, а затем попозже вечером вернутся домой.

Так она и сделала — и к тому времени, когда она снова приближалась к поляне, где шло празднество и мимо которой неизбежно было проходить по пути к Олдерворту, солнце уже садилось. Было так тихо, что она издали слышала оркестр, который, казалось, играл еще с бóльшим, если это возможно, энтузиазмом.

Когда она взошла на холм, солнце уже скрылось, но это не составило большой разницы ни для танцоров, ни для Юстасии, так как круглая желтая луна уже поднималась за ее спиной, правда, не имея еще силы перебороть своими лучами орапжевый свет на западе. Танцы шли по-прежнему, но теперь собралось больше зрителей, и уже не из местных, а пришедших издалека любопытства ради; бни стояли кольцом вокруг танцующих, и Юстасия могла постоять с ними без опасения быть узнанной.

Столько чувственных эмоций, сколько целая деревня травила по мелочам за весь год, сейчас сосредоточилось, как вскипающий бурун, на этой малой площадке и на час времени. Сорок сердец этих кружащихся пар бились так, как не доводилось им биться ни разу за все двенадцать месяцев, прошедших с прошлогоднего такого же увеселения. На время язычество возродилось в их сердцах, радость жизни стала их единственным законом, и они не поклонялись ничему, кроме самих себя.

Многим ли из этих объятий, страстных, но временных, суждено стать постоянными — этот вопрос, возможно, задавал себе кое-кто из тех, что сейчас обнимались, равно как и Юстасия, которая на них смотрела. Она уже начинала завидовать их пируэтам, жаждать тех надежд и того счастья, которое магия танца зажигала в их сердцах. Она сама до страсти любила танцевать, и для нее одним из главных соблазнов Парижа была



возможность невозбранно предаваться любимому развлечению. К несчастью, эта надежда угасла навсегда...

Пока она рассеянно следила за извивами хоровода, она вдруг услышала свое имя, произнесенное шепотом у ее плеча. Обернувшись в изумленье, она увидела человека, чье присутствие заставило ее мгновенно покраснеть до корней волос.

Это был Уайлдив. До этой минуты она его не встречала с самого утра его свадьбы, когда она как будто бесцельно мешкала в церкви и очень его удивила, подняв вуаль и подойдя к алтарю, чтобы расписаться как свидетельница брака. Но почему теперь от одного его вида вся кровь бросилась ей в лицо, она не могла бы объяснить.

Она не успела еще ничего сказать, как он снова прошептал:

— Вы по-прежнему любите танцы?

— Кажется, да,— тихо проговорила она.

— Хотите потанцевать со мной?

— Очень приятно было бы встряхнуться, но не покажется ли это странным?

— Что странного в том, что родственники танцуют друг с другом?



— Ах да, родственники... Пожалуй, верно...

— Но если не хотите, чтобы вас узнали, опустите вуалетку. Хотя при этом свете и так мало что разглядишь. Да и народ тут все больше чужой.

Она сделала, как он советовал; и это было молчаливым согласием на его предложение.

Уайлдив подал ей руку и, обойдя круг танцующих, стал с нею в конце их вереницы. Через две минуты они уже выполняли очередную фигуру, постепенно передвигаясь вперед, к голове хоровода. Пока они двигались от хвоста к середине, Юстасия не раз каялась, что уступила его уговорам; но, двигаясь от середины к голове, она уже убеждала себя, что раз ее целью было получить удовольствие — зачем же она сюда и пришла, — то сейчас она совершает вполне естественный поступок. А уж когда пошли без роздыха поворотки, скольженья, пируэты, к чему их обязывала позиция в голове хоровода, то кровь Юстасии разгорелась, и для долгих раздумий не стало времени.

Сквозь вереницу в двадцать пять пар пробирались они своим извилистым путем, и новая жизнь закипала в ее жилах.

Бледный вечерний свет усиливал обаяние этой минуты. Есть такая степень и такой оттенок света, который имеет свойство колебать душевное равновесие и давать опасное преобладание нежным чувствам; в сочетании с движением он очень быстро доводит их до высшей точки, в то время как разум, наоборот, становится сонным и невосприимчивым; и такой свет сочился сейчас с лунного диска на этих двоих. Все танцующие девушки испытывали то же, но Юстасия сильнее всех. Трава у них под ногами уже была выбита и стерта, и твердая утоптанная поверхность земли, если смотреть наискось по направлению к лунным лучам, сияла, как полированный стол. Воздух был совершенно неподвижен; флаг над полком с музыкантами словно прилип к древку, а сами музыканты виделись только как темные контуры на фоне неба, за исключением тех моментов, когда раструбы тромбона, серпента или английского рожка вдруг вспыхивали, словно огромные глаза, в черноте их фигур. Нарядные платья девушек утратили свои разнообразные дневные оттенки и все казались туманно-белыми. Юстасия плыла и плыла по кругу, поддерживаемая рукой Уайлдива, с лицом застывшим и невыразительным, как у статуи; душа ускользнула из ее черт и забыла их, и они остались пустые и покойные, какими они всегда бывают, когда чувство превышает их способность выражения.

Как близко к ней был сейчас Уайлдив! Страшно подумать. Она чувствовала его дыханье, а он, конечно, чувствовал ее. Как дурно она с ним поступила! А вот они все-таки сейчас несутся в одном ритме. Она дивилась колдовству танца. Ясная черта, словно ощутимая граница, отделяла ее переживания внутри этого круга от всего, что она испытывала вне его. Когда она начала танцевать, как будто сменился воздух; там, снаружи, она была закована в полярной мерзлоте по сравнению с тропическими ощущениями здесь. Она вступила в танец из сумрачных часов своей недавней жизни, как входит в ярко освещенную комнату после скитания в ночном лесу. Уайлдив сам по себе мог вызвать только беспокойство; Уайлдив вместе с танцем, и лунным светом, и тайной становился упоением. Сам ли он был главным составляющим в этом сладком и сложном чувстве или же танец и все окружающее тут более повинны — это различие слишком тонкое, которого Юстасия сейчас никак не могла бы установить.

Люди начинали спрашивать: «Кто они?» — но каких-нибудь вездельных вопросов не задавали. Если бы Юстасия появилась среди этих девушек в обычной, повседневной обстановке, пожалуй, было бы иначе, но здесь ей не докучали чрезмерным вниманьем, потому что здесь каждая предстала в своем самом обольстительном виде. Подобно планете Меркурию, окруженному сиянием заката, всегдашняя яркость Юстасии прошла не слишком замеченной среди временного блеска остальных.

Что же касается Уайлддива, его чувства нетрудно угадать. Препятствия всегда были для его любви тем же, чем солнце для плода, и сейчас он был в разгаре утонченных мук. Пять минут держать в объятиях, как свое, то, что весь остальной год будет принадлежать другому, — такую ситуацию Уайлддив умел до тонкости просмаковать. Он уже давно снова начал вздыхать по Юстасии, в сущности, с той самой минуты, когда он расписывался в церковной книге после венчания с Томазин, — это был первый сигнал его сердцу вернуться на прежние квартиры, а дополнительное осложнение, брак самой Юстасии, было тем добавком, который уж делал возврат неизбежным.

Таким образом, то, что для всех было просто бодрящим движением на свежем воздухе, для этих двоих — и по разным причинам — стало вихрем, уносившим их в неведомое. Талец распатал в них сколько еще оставалось чувства общественных условностей и загнал назад, на прежние тропы, теперь вдвойне беззаконные. Три танца подряд они неслись и кружились; наконец, утомленная непрерывным движением, Юстасия повернулась, чтобы выйти из круга, в котором и так слишком долго оставалась. Уайлддив отвел ее в сторону, к травянистому пригорку, где она села, а он остался стоять рядом. С той минуты, когда он впервые заговорил с ней перед началом танца, они больше не обменялись ни словом.

— Устали? — нежно спросил он. — Три танца, да еще дорога сюда...

— Нет, не очень.

— Не странно ли, что мы именно здесь встретились после того, как так долго не видались?

— Не видались, потому что не хотели.

— Да. Но вы это начали — нарушив обещание.

— Не стоит об этом говорить. С тех пор мы оба связали себя иными узами — вы не меньше, чем я.

— Я с огорчением услышал, что ваш супруг болен.

— Он не болен, только читать не может.

— Да, это я и хотел сказать. Искренне сочувствую вам. Судьба жестоко с вами обошлась.

Она помолчала.

— Вы слыхали, что он стал резать дрок для заработка? — проговорила она упавшим голосом.

— Говорили мне, — нерешительно сказал Уайлддив. — Да я не поверил.

— Нет, это правда. Что вы думаете обо мне, как о жене чернорабочего?

— Я думаю о вас то, что всегда думал. Ничто не может вас унижить: вы облагораживаете занятие вашего мужа.

— Хотела бы я так чувствовать.

— Есть надежда, что мистер Ибрайт поправится?

— Он думает, что да. Я сомпеваюсь.

— Я очень удивился, когда услышал, что он снял дом на пустоши. Я считал, как и все, что он увезет вас в Париж сразу после свадьбы. «Какая веселая, интересная жизнь ей предстоит!» — думал я. Но он, вероятно, опять уедет туда с вами, если его зрение окрепнет?

Не слыша ответа, он внимательнее посмотрел на нее. Она едва сдерживала слезы. Картины будущего, которое никогда не осуществится, ожившая горечь разочарования, мысль о тайных насмешках соседей — все это всколыхнулось от слов Уайлдива, лишая гордую Юстасию привычного самообладания.

Уайлдив сам с трудом мог держать в узде свои слишком бурные чувства, когда увидел ее волнение. Но он сделал вид, что ничего не заметил, и спокойствие вскоре вернулось к ней.

— Неужто вы хотели идти домой одна? — спросил он.

— А что же? — сказала она. — Что может мне угрожать на этой пустоши, когда у меня ничего нет?

— Вначале нам по дороге. Я буду счастлив сопровождать вас до Троп-Корнера. — Видя, что Юстасия колеблется, он добавил: — Или вы думаете, что неразумно показываться со мной после событий прошлого лета?

— Ничего подобного я не думаю, — отвечала она надменно. — Буду ходить с кем хочу, что бы ни говорили обо мне все эти ничтожные жители Эгдона.

— Так пойдёмте, если вы уже отдохнули. Сперва надо держать вон на тот куст остролиста с черной тенью справа.

Юстасия встала и пошла рядом с ним, осторожно ступая по уже влажному от росы вереску и папоротникам, провожаемая отзвуками веселья, так как танцы еще продолжались. Луна уже стала яркой и серебряной, но вересковая пустошь была непроницаема даже и для такого освещения, и сейчас здесь можно было наблюдать удивительную картину — темная, гасящая все лучи полоса земли под небом, полным от зенита до горизонта белого, как снег, блеска. Если бы чей-то глаз смотрел на Уайлдива и Юстасию сверху, с высоты, их лица среди этого темного пространства были бы для него как две жемчужины на столе черного дерева.

Из-за этой темноты, залегшей внизу, неровности тропы не были видны, и Уайлдив иногда спотыкался, а Юстасии приходилось грациозно балансировать в усилиях сохранить равновесие всякий раз, как кустик вереска или корень дрока выступал из травы на узкой дорожке. И всегда при этом к ней протягивалась рука и крепко ее держала, пока под ее ногами не оказывалась опять ровная почва, и тогда рука снова отдалялась на почтительное расстояние.

Они шли почти все время молча и наконец очутились возле Троп-Корнера; дальше, в нескольких сотнях ярдов, от большой тропы отходила короткая тропка к дому Юстасии. И постепенно они различили, что навстречу им движутся две человеческие фигуры, по-видимому мужского пола.

Когда они подошли еще немного ближе, Юстасия нарушила молчанье, сказав:

— Один из них мой муж. Он обещал меня встретить.

— А другой мой злейший враг,— сказал Уайлдив.

— Похож на Диггори Венна.

— Он и есть.

— Это очень неприятная встреча,— сказала она,— но так уж мне везет. Он слишком много обо мне знает, если только за это время не узнал еще больше и не понял, что прежнее его знание ничего не стоит. Но делать нечего — придется вам сдать меня им.

— Ну, я бы на вашем месте трижды подумал, прежде чем давать мне такой совет. Вот человек, который не забыл ни одной подробности наших свиданий у Дождевого кургана; и с ним ваш муж. Кто из них, видя нас сейчас вместе, поверит, что наша встреча и тапцы на пикнике были случайностью?

— Хорошо,— мрачно прошептала она.— Уходите, пока они не подошли.

Он нежно простился с ней и нырнул в заросли папоротника и дрока. Юстасия продолжала медленно идти. Через две-три минуты она поравнялась с мужем и его спутником.

— На сегодня мой путь здесь кончается, охряник,— сказал Ибрайт, как только ее разглядел.— Я вернусь с этой дамкой. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, мистер Ибрайт,— сказал Венн.— Надеюсь скоро увидеть вас в добром здравии.

Луна светила прямо в лицо Венну, и каждая черточка была ясно видна Юстасии. Он смотрел на нее с подозрением. Что зоркий глаз Венна издали различил то, что было недоступно слабому зрению Клайма — а именно, мужчину, шедшего рядом с ней и внезапно исчезнувшего,— это было весьма вероятно.

Если бы Юстасия могла последовать за охряником, она тут же увидела бы подтверждение своей догадки. Едва успел Клайм подать ей руку и отойти вместе с ней на несколько шагов от места их встречи, как охряник свернул с протоптанной дорожки, по которой он пошел, только чтобы проводить Клайма; собственный его фургон находился где-то неподалеку. Широко шагая своими длинными ногами, он пробивался наперерез сквозь совсем уж дикий, без единой тропинки, кусок пустоши, приблизительно в том же направлении, какое вначале взял Уайлдив. Только человек, привыкший к ночным скитаниям, мог бы в такой час и с такой быстротой спускаться по этим оцетиненным кустарником склонам и не слететь вниз головой в какую-нибудь ямину и не сломать себе ногу, угодив в кроличью нору. Но Венн стремил свой бег, по-видимому, без особых неудобств для себя, и курс он держал на «Молчаливую женщину». Он достиг ее примерно через полчаса, зная притом

паверняка, что никто, находившийся возле Троп-Корнера в тот момент, когда он, Диггори, начал свою ночную пробежку, не мог попасть сюда до него.

Гостиница еще была открыта, хотя посетителей и не было, так как главное ядро составляли путники, заглядывавшие сюда во время дальних деловых поездок, а эти, конечно, давно уже убрались восвояси. Венн пошел в общую залу, спросил кружку пива и самым равнодушным тоном осведомился у девушки за буфетом, дома ли мистер Уайлдив.

Томазин сидела во внутренних комнатах и слышала голос Венна. При посетителях она редко показывалась, так как не могла побороть врожденное отвращение к запятию мужа; но, видя, что пикого нет, вышла.

— Он еще не вернулся, Диггори,— сказала она приветливо.— Я его уже давно жду. Он пошел в Восточный Эгдон покупать лошадь.

— А какая на нем шляпа? Не белая ли с широкими полями?

— Да.

— Ну так я его видел возле Троп-Корнера, он как раз вел кобылку красавицу — с белым лбом и гривой черной, как ночь. Теперь, наверно, уж скоро придет.— Поднявшись и поглядев на чистое, нежное лицо Томазин, на которое с тех пор, как он его в последний раз видел, легла тень печали, он решился добавить: — Мистер Уайлдив, кажется, часто не бывает дома об эту пору?

— Ах да,— воскликнула Томазин нарочито веселым тоном.— Мужей, знаете, все из дому тянет. Вы не можете мне помочь — не знаете ли секрета, как сделать, чтобы он по вечерам сидел дома?

— Подумаю, может, и вспомню какой-нибудь,— отвечал Венн столь же легким тоном, хотя на душе у него было совсем не легко. Он поклонился на свой особый манер в знак прощания, Томазин протянула ему руку, и без вздоха, хотя с мыслями, которые сулили их много в будущем, он вышел из дому.

Когда четвертью часа позже Уайлдив вернулся, Томазин простодушно спросила тем приглашенным голосом, который стал теперь для нее привычным:

— А где же лошадь, Дэймон?

— Да я не купил в конце концов. Дорого просят.

— А как же тебя видели у Троп-Корнера, будто ты вел кобылу, красавицу, с белым лбом и гривой черной, как ночь?

— Ха,— сказал Уайлдив, останавливая на ней пристальный взгляд.— Кто это тебе сказал?

— Венн, охряник.

Выражение на лице Уайлдива стало весьма сложным.

— Ну, это недоразумение, он кого-нибудь другого за меня принял,— медленно и сухо проговорил он. Он понял, что Венн опять начал свои контрмеры.

ГЛАВА IV

ПРИМЕНЯЕТСЯ НАСИЛИЕ

Эти слова Томазин, как будто и незначительные, а на самом деле значившие так много, продолжали звучать в ушах Диггори Венна: «Вы не можете ли мне помочь — как сделать, чтобы он сидел дома по вечерам?»

На этот раз Вени оказался на Эгдонской пустоши только проездом; интересы семьи Ибрайтов, считал он, больше его не касались, а у него были свои дела, в частности, по ту сторону Эгдона, куда он и направлялся. Но теперь он видел, что силою обстоятельств и неожиданно для него самого его вновь затягивает на прежний путь тайных действий в защиту Томазин.

Он сидел в своем фургоне и размышлял. Из слов Томазин и ее тона он ясно понял, что Уайлдвиг к ней невнимателен. А из-за кого, как не из-за Юстасии? Однако все же сомнительно, чтобы дело у них дошло уже до регулярных тайных свиданий: Вени решил хорошенько покараулить на одинокой тропе, которая шла через холмы от гостиницы Уайлдвива до дома Клайма в Олдерворте.

В это время, как мы видели, Уайлдвиг был еще неповинен в каких-либо реальных попытках завести любовную интригу с Юстасией и, за исключением танца на поляне, ни разу не виделся с ней после ее свадьбы. Но дух интриги в нем жил, что доказывала недавно усвоенная им романтическая привычка — с наступлением темноты выходить из дому, прогуливаться по направлению к Олдерворту, а придя туда, любоваться на луну и звезды, поглядывать издали на дом Юстасии и затем не спеша возвращаться домой.

Таким образом, стоя на страже в первый же вечер после деревенского празднества, охряник увидел, как он поднялся по короткой тропке к дому, постоял, опершись на садовую калитку, повздыхал и двинулся в обратный путь. Ясно было, что интрига Уайлдвива скорее идеального, чем реального порядка. Вени, держась впереди него, спустился с холма до того места, где узкая тропа превращалась в довольно глубокую рытвину между кустами вереска, и здесь, таинственно пригнувшись к земле, несколько минут что-то делал, а затем исчез. Когда Уайлдвиг подошел к этому месту, нога его вдруг за что-то зацепилась и он во всю длину растянулся на земле.

Отдышавшись, он сел и прислушался. Из темноты не доносилось ни единого звука, только вяло повеял легкий ветер. Пошарив вокруг себя, он обнаружил, что два кустика вереска были связаны один с другим поперек тропы, образуя петлю, которая неминуемо должна была повергнуть ниц всякого, кто здесь бы шел. Уайлдвиг вытащил веревочку, которой они были

связаны, и поспешил обратиться оттуда. Придя домой, он увидел, что веревочка красноватого цвета. Как он и ожидал.

Хотя среди слабостей Уайлдива не числилась физическая трусость, однако этот внезапный и решительный выпад со стороны человека, которого он слишком хорошо знал, порядком его обеспокоил. Но на его поступки он не повлиял. Через день либо два он снова вечером отправился в Олдерворт, приняв только одну предосторожность — он держался подальше от тропы. Ощущение, что за ним следят, что применяют хитрость, чтобы помешать его несколько еретическому времяпрепровождению, только придавало пикантность этой сентиментальной прогулке — до тех пор, разумеется, пока опасность была не слишком угрожающей. Уайлдив считал, что Венн в заговоре с миссис Ибрайт, и находил законным бороться против такой коалиции.

На пустоши в этот вечер, казалось, нигде и никого не было, и Уайлдив, некоторое время глядевший с сигарой во рту через калитку в сад, поддался соблазну, какой для него всегда имела эмоциональная контрабанда, — он подошел к окну, которое было неплотно закрыто и штора на нем спущена не до низу. В щелку он увидел внутренность комнаты; Юстасия сидела одна. Минуту Уайлдив ее разглядывал, потом снова вышел на пустошь и слегка потыкал тростью в гущу папоротников; оттуда немедленно вылетело множество встревоженных мотыльков. Уайлдив поймал одного, вернулся к окошку и, поднеся руку к щели, разжал ладонь. Мотылек устремился к свече, горевшей на столе, два-три раза покружился над ней и влетел в огонь.

Юстасия вздрогнула. Это был условный знак, придуманный ими в те дни, когда влюбленный Уайлдив тайком приходил за нею в Мистовер. Она тотчас поняла, что он здесь, за окном, но не успела еще сообразить, что делать, как ее муж, скрипя ступеньками, стал спускаться по лестнице. От такого внезапного стечения обстоятельств ее словно жаром обдало — лицо разгорелось, черты приобрели живость, которой им так часто недоставало.

— Как ты разумянилась, милочка, — сказал Ибрайт, когда подошел ближе. — Неплохо бы тебе и всегда быть такой.

— Мне жарко, — пролепетала Юстасия. — Пойду, пожалуй, немножко воздухом подышу.

— Мне пойти с тобой?

— Да нет, я только до калитки.

Она встала, но прежде чем она ступила на порог, раздался громкий стук в парадную дверь.

— Я пойду, пойду, — сказала Юстасия с необычной для нее готовностью и взволнованно поглядела на окно, через которое влетел мотылек; но там ничего не было.

— Зачем же тебе — в такой поздний час, — возразил Клайм и, опередив ее, вышел в коридор. Юстасия осталась ждать, под

дремотным своим видом скрывая внутренний жар и беспокойство.

Она прислушалась: вот Клайм отпер дверь. Но никаких голосов, никакого разговора не донеслось снаружи, и вскоре Клайм запер дверь и вернулся в комнату.

— Никого нет,— сказал он.— Странно! Что это может значить?

Он мог бы весь остаток вечера дивиться этой странности, так как объяснения не последовало. И Юстасия молчала: тот дополнительный факт, о котором она знала, только усиливал загадочность происшествия.

А возле дома тем временем разыгралась маленькая драма, которая и уберегла Юстасию от ложного шага, по крайней мере на этот вечер. Пока Уайлджив изготовлял свой мотыльковый сигнал, кто-то другой подошел следом за ним к калитке. Этот человек — в руках у него, кстати сказать, было ружье — с минуту наблюдал за манипуляциями Уайлджива у окна, затем подошел к дому, с силой постучал в дверь и скрылся, обогнув угол и перепрыгнув через изгородь.

— Черт бы его драл! — сказал Уайлджив.— Опять он за мной следил.

Этим громовым стуком сигнал Уайлджива был сведен на нет, и ему самому ничего не оставалось, как удалиться. Он вышел в калитку и быстро зашагал по тропе, ни о чем не думая, кроме того, как бы улизнуть незамеченным. На полугоре тропинка проходила поблизости от кучки низкорослых падубов, которая чернела среди общей тьмы, как зрачок в черном глазу. Когда Уайлджив проходил мимо, над ухом у него грянул выстрел, и несколько дробинок ударились на излете о листья вокруг него.

Не приходилось сомневаться, что выстрел этот предназначался ему; и он ринулся в кусты, яростно колотя по ним тростью, но никого там не оказалось. Это дело было уже посерьезнее предыдущих, и Уайлджив долго не мог успокоиться. Начиная ряд каких-то новых и крайне неприятных выходов и, по-видимому, с целью причинить ему тяжелые телесные повреждения. Первую — с петлей на тропинке — Уайлджив склонен был рассматривать как грубую шутку, которую охряник себе позволил по недостатку воспитания. Но теперь уже была перейдена граница между досадным и опасным.

Если бы Уайлджив знал, до какой степени были серьезны намерения Венна, он бы еще больше обеспокоился. Охряник не помнил себя от возмущения после того, чему стал свидетелем возле дома Клайма; и, кроме прямого убийства, был готов на все, лишь бы так напугать молодого трактирщика, чтобы все его непослушливые амуры раз и навсегда выскочили у него из головы. Сомнительная законность столь грубого принуждения его не тревожила. Это соображение редко тревожит таких людей и при таких обстоятельствах — и не всегда об этом стоит жалеть. От привлечения к суду Страффорда и до корот-

кой расправы фермера Линча с виргинскими головорезами было немало случаев, когда торжество законности оборачивалось насмешкой над законом.

В полумиле от уединенного жилища Клайма находилась деревня, где жил один из двух констеблей, призванных охранять мир и порядок в приходе Олдерворт, и Уайлдив направился прямо к его дому.

Первое, что он увидел, открыв дверь, была висящая на гвозде дубинка констебля, которая как будто подтверждала, что тут-то он и найдет то, что ему нужно. Однако констебля не оказалось дома. Уайлдив сказал его жене, что подождет.

Часы тикали, отщелкивая минуты, а констебля все не было. Уайлдив немного остыл; на смену бурному негодованию пришло грызущее недовольство собой, своим приходом сюда, женой констебля и вообще всем стечением обстоятельств. Он встал и вышел. В конечном счете события этого вечера порядком охладили, чтобы не сказать заморозили, заблудшую нежность Уайлдива, и он больше не испытывал желания подняться с наступлением ночи на Олдерворт в надежде перехватить какой-нибудь случайный взгляд Юстасии.

Таким образом, на первых порах охрянику как будто удалось своими нехитрыми выдумками подавить склонность Уайлдива бродяжить по вечерам. В этот вечер, во всяком случае, он уничтожил в зародыше всякую возможность свидания Юстасии с ее прежним возлюбленным. Но он не предусмотрел, что средства, пущенные им в ход, могут побудить Уайлдива не столько к отказу от своих намерений, сколько к поискам обходных путей. Игра в кости па заповедные гиней, конечно, не сделала его желанным гостем для Клайма, однако навестить родственника жены было поступком вполне естественным, и Уайлдив твердо решил повидать Юстасию. Надо было только выбрать более подходящее время, чем десять часов вечера. «Раз нельзя вечером,— сказал он себе,— пойду днем».

Тем временем Венн спустился уже в долину Блумс-Энда и подходил к дому миссис Ибрайт, с которой они были в дружеских отношениях с тех пор, как она узнала о его провиденциальном вмешательстве, сохранившем для ее детей фамильные гиней. Она удивилась столь позднему посещению, но не отказалась с ним поговорить.

Он рассказал ей о том, какая беда приключилась с Клаймом и как он теперь живет, затем, упомянув Томазин, осторожно дал понять, что ей, судя по всему, живется не весело.

— И будьте уверены, сударыня, самое лучшее, что можно для них сделать, это чтобы вы почаще и подольше бывали у них в доме — и у него и у нее, — пусть даже вначале и не всё будет гладко.

— Они оба меня ослушались, он женился, и она вышла замуж против моей воли, поэтому я не вхожу в их семейные дела. Если им плохо, сами виноваты.

Миссис Ибрайт старалась говорить строго, но известие о несчастье с сыном так взволновало ее, что ей трудно было это скрыть.

— Если б вы у них бывали, Уайлдив, может, вел бы себя получше, и тем бы, на холме, не грозила беда.

— Что это значит?

— А я был там сегодня вечером и видел кой-что, что мне больно не понравилось. Хорошо бы, между домом вашего сына и мистера Уайлдива расстояние было не три мили, а этак сотня по меньшей мере.

— Ах, так, значит, у него был сговор с женой Клайма, когда он дурачил Томазин!

— Будем надеяться, что сейчас у них нет сговора.

— И наша надежда, наверно, окажется тщетной. О, Клайм! О, Томазин!

— Ну, пока еще ничего не случилось. Я, кажется, убедил Уайлдива, чтобы он в чужие дела не совался.

— Каким образом?

— Ну, не разговором, конечно, а есть у меня такой способ — бессловесный.

— Надеюсь, вам удастся.

— Удастся, если вы мне поможете тем, что пойдете к ним и помирите с сыном. Тогда своими глазами увидите.

— Ну, раз уж до этого дошло,— удрученно сказала миссис Ибрайт,— то признаюсь вам, охряпик, я и сама думала пойти. У меня легче стало бы на сердце, если б мы помирились. Женился — так уж тут ничего изменить нельзя, а я, может, долго не проживу, так хотелось бы умереть спокойно. Он у меня единственный сын, и если все сыновья таковы, то я не жалею, что других у меня нету. Что касается Томазин, то я от нее многого и не ждала, так что она меня не разочаровала. Но я давно ей простила, а теперь прощаю и ему. Я пойду к ним.

В то время, как в Блумс-Энде происходил этот разговор охряника с миссис Ибрайт, в Олдерворте тоже шел, хотя и довольно вяло, разговор на ту же самую тему.

Весь день Клайм держался так, как будто был слишком занят своими мыслями, чтобы замечать окружающее, а теперь накопец открылось, о чем были его мысли. Как раз после таинственного стука в дверь он заговорил:

— Сегодня я все время думаю, Юстасия,— надо все-таки как-то покончить эту ужасную ссору между моей дорогой мамой и мной. Меня это очень мучает.

— Что же ты хочешь сделать? — рассеянно проговорила Юстасия; она еще не совсем оправилась от волнения, вызванного попытками Уайлдива добиться свидания с ней.

— Тебя, кажется, очень мало интересует, чего я хочу или не хочу,— сказал Клайм с некоторой обидой.

— Ошибаешься,— уже более живо отозвалась Юстасия: упрек несколько расшевелил ее.— Просто я задумалась.

— О чем?

— В частности, об этом мотыльке, чей скелет сейчас сгорает на фитиле свечи,— медленно проговорила она.— Но ты же знаешь, мне всегда интересно все, что ты говоришь.

— Хорошо, милочка. Так вот — я считаю, что надо мне пойти навестить ее...— Он продолжал с нежностью в голосе: — Я не от гордости до сих пор этого не сделал, а только из страха, что могу вызвать ее гнев. Но я должен что-то сделать. Нехорошо с моей стороны, что я так долго с этим тянул.

— В чем ты можешь себя упрекнуть?

— Она стареет, она одинока, я ее единственный сын.

— У нее есть Томазин.

— Томазин не родная ее дочь; а если бы и была родная, это для меня не оправдание. Но это все к делу не относится. Я твердо решил пойти, а тебя только хочу спросить, согласна ли ты мне помочь, то есть забыть прошлое; и если она выразит готовность примириться — пойти ей навстречу, ну, пригласить ее к нам или принять ее приглашение?

Сперва Юстасия сжала губы, как будто готова была сделать все на свете, только не то, что он предлагал. Но потом она призадумалась, очертания ее рта смягчились, правда, не до конца, и она сказала:

— Я ни в чем не буду тебе мешать, но требовать, чтобы я сама стала делать ей авансы, это уж слишком — после того, что было между нами.

— Ты мне ни разу толком не объяснила, что, собственно, было между вами.

— Я тогда не могла и теперь не могу. Иной раз за пять минут рождается больше зла, чем можно изгладить за целую жизнь,— возможно, и тут так было.— Она помолчала, потом добавила: — Если бы ты не возвращался на родину, Клайм, как бы счастливо это для тебя обернулось!.. Это изменило судьбу...

— Трех человек.

«Пяти»,— подумала Юстасия, но не сказала вслух.

ГЛАВА V

ОНА ИДЕТ ЧЕРЕЗ ПУСТОШЬ

Четверг, тридцать первого августа, был одним из целого ряда дней, когда уютные домики казались удушающими, а прохладные сквозняки блаженством; когда в глинистой почве садов появлялись трещины и дети боязливо называли их «землетрясением»; когда в колесах повозок и экипажей обнаружи-

вались шатающиеся спицы; когда жалящие насекомые кишели в воздухе, в земле и в каждой капле воды, которая где-либо сохранилась под открытым небом.

В саду миссис Ибрайт широколистные и более нежные растения поникали уже к десяти часам утра; ревень склонялся к земле в одиннадцать, а в полдень даже тугая капуста становилась вялой.

Именно в этот день около одиннадцати часов миссис Ибрайт вышла из дому, направляясь через пустошь к дому своего сына, чтобы сделать все, что в ее силах, для примирения с ним и Юстасией, как она и обещала охряннику. Она рассчитывала пройти большую часть дороги, прежде чем навалится самая сильная жара, но вскоре увидела, что это ей не удастся. Солнце наложило свою печать на всю пустошь, даже пурпурные цветы вереска побурели от сухого зноя нескольких предшествовавших дней. Воздух в каждой долине был как в печи для обжига, и чистый кварцевый песок в русле зимних потоков, которые летом служили тропинками, претерпел что-то вроде кремации, с тех пор как началась засуха.

В прохладную, свежую погоду миссис Ибрайт не сочла бы за труд пешую прогулку до Олдерворта, но сейчас зной и духота делали это предприятие тяжелым для пожилой женщины; и в конце третьей мили она уже жалела, что не наняла Фейрузя подвезти ее хотя бы часть пути. Но от того места, где она сейчас находилась, добраться до дома Клайма было не труднее, чем возвращаться обратно. Поэтому она продолжала идти вперед, а воздух вокруг нее дрожал неслышно и томил землю тяжелой усталостью. Она посмотрела на небо над головой и вместо прозрачно-сапфирового тона, каким бывает окрашено небо в зените весной и ранним летом, увидела что-то металлически-фиолетовое.

Иногда по пути ей попадались местечки, где целые независимые миры поденок проводили время в пиршествах и веселье, кто в воздухе, кто на горячей земле и растениях, кто в теплой и вязкой воде наполовину пересохшего пруда. Все более мелкие пруды превратились в парную грязь, и можно было смутно различить, как червеобразные личинки каких-то непонятных тварей с упоением валяются и барахтаются в ней. Миссис Ибрайт, не чуждая вообще склонности к философским раздумьям, присаживалась иногда под своим зонтиком отдохнуть и поглядеть, как они блаженствуют; надежда на благоприятный исход ее посещения успокаивала ее и освобождала ум, так что в промежутках между двумя важными мыслями она могла уделять вниманье всякой малости, какая попадалась ей на глаза.

Миссис Ибрайт никогда не бывала в доме сына, и его точное местоположение было ей неизвестно. Она попробовала одну из поднимавшихся в гору тропинок, потом другую, но обе вводили ее в сторону. Вернувшись обратно, на открытое место,

она увидела поодаль человека, занятого какой-то работой, подошла к нему и попросила объяснить ей дорогу.

Он указал направление и добавил:

— Видите вон того, что резал дрок, а сейчас пошел вверх по тропинке?

Миссис Ибрайт взгляделась и сказала, что да, она видит.

— Ну вот ступайте за ним следом и не ошибетесь. Он как раз туда идет.

Она пошла за этим человеком. Он весь был коричневатого цвета и не больше отличался от окружающего ландшафта, чем зеленая гусеница от листка, которым кормится. Он шел быстрее миссис Ибрайт, но она паверстывала, когда он останавливался, а это случалось всякий раз, как он проходил мимо зарослей ежевики,— и не теряла его из виду. Потом, проходя, в свою очередь, мимо таких мест, она видела на земле с полдюжата длинных и гибких плетей ежевики, которые он, очевидно, срезал во время своей остановки и аккуратно сложил возле тропы. Ясно, что он предназначал их для скрепления вязанок дрока и намеревался прихватить на обратном пути.

Это молчаливое существо, занятое своими мелкими хлопотами, казалось, значило в жизни не больше, чем насекомое. Казалось, это какой-то паразит пустоши, разъедающий потихоньку ее поверхность, как моль разъедает одежду, погрязший в возне с ее растениями, не знающий ничего на свете, кроме папоротников, дрока, вереска, лишайников и мха.

Сборщик дрока был так поглощен своими делами, что ни разу не обернулся, и его фигура в кожаных поножах и перчатках под конец стала представляться ей чем-то вроде движущегося дорожного столба, указывающего ей путь. Но неожиданно она вновь ощутила его как личность, заметив какую-то особенность его походки. Эту походку она уже где-то видела — и постуль обличила человека, так же как постуль Ахимааса на дальней равшине выдала его царской страже. «У него походка точь-в-точь как была у моего мужа», — сказала она, и тут ее осенило: этот сборщик дрока был ее сын.

Ей трудно было освоиться с этой странной действительностью. Она знала от охрянника, что Клайм в последнее время занялся резкой дрока, но думала, что он делает это кое-когда, больше для развлечения, а сейчас перед ней был настоящий сборщик дрока, в одежде, привычной для этого ремесла, думающий привычные для этого ремесла мысли, если судить по его движениям. Лихорадочно перебирая в уме десяток поспешных планов, как немедля избавить его и Юстасию от такого образа жизни, она с бьющимся сердцем шла за ним и увидела, как он вошел в собственную дверь.

По одну сторону от дома Клайма был пригорок и на нем кучка сосен, которые так высоко уходили в небо, что их кроны издали казались темным пятном, повисшим над вершинною холма. Подходя к этому месту, миссис Ибрайт почувствовала

слабость — от волнения, усталости, нездоровья. Она поднялась на пригорок и села в тепи сосен — отдохнуть и подумать, как лучше начать разговор с Юстасией, чтобы не раздражить эту женщину, у которой под внешней томностью таились страсти, более сильные и неукротимые, чем даже у нее самой.

Деревья, под которыми она сидела, были до странности избиты и потрепаны, грубы и дики, и на несколько минут миссис Ибрайт отвлеклась от мысли о своей поломанной бурей судьбы и взглядела в следы подобных же передряг на них. У всех девяти деревьев не нашлось бы одной целой ветки — все были изодраны, обкорнаны, изуродованы жестокой непогодой, которой они бывали отданы в полную власть, когда она бушевала. Иные деревья были обожжены и расщеплены, словно молнией, на стволах виднелись черные пятна, как от огня, а земля у их подножья была завалена мертвой хвоей и сухими шишками, сбитыми во время бурь прошлых лет. Место это называлось Дьяволовы мехи, и достаточно было побывать здесь в мартовскую или ноябрьскую ночь, чтобы понять причину такого наименования. Даже теперь, в эти знойные послеполюденные часы, когда ветра, казалось, вовсе не было, в кронах сосен не умолкало протяжное стелание, и не верилось, что этот звук вызван всего лишь движением воздуха.

Она просидела здесь минут двадцать или больше, прежде чем собралась с духом спуститься к дому, так как мужество ее было сведено почти на нет телесным изнеможением. Всякой другой, кроме матери, могло показаться унижительным, что она, старшая по возрасту, первая делает шаг к примирению. Но миссис Ибрайт давно уже все это взвесила и теперь думала только о том, как сделать, чтобы Юстасия в этой уступчивости увидела не малодушие, а мудрость.

Отсюда — сверху — ей был виден задний скат крыши, сад и вся ограда этой крохотной усадьбы. И в ту минуту, когда она уже собиралась встать, она заметила, что к калитке подошел какой-то мужчина. Он держался несколько странно, нерешительно, не так, как человек, пришедший по делу или по приглашению. Он с любопытством оглядел дом с фасада, потом обогнул его и принялся рассматривать дом и сад сзади, как если бы это было место рождения Шекспира, тюрьма Марии Стюарт или замок Угомон. Завершив круг и снова оказавшись перед калиткой, он вошел в нее. Это раздосадовало миссис Ибрайт, так как она надеялась застать сына и его жену одних; но минутное размышление убедило ее в том, что так даже лучше, — присутствие, постороннего и необходимость вести разговор на общие темы сгладит неловкость первых минут ее появления в доме и даст ей время освоиться. Она спустилась к калитке и заглянула в разогретый солнцем сад.

На дорожке спала кошка, растянувшись прямо на голом гравии, как будто на постели, — пледы и коврики были в такую жару переносны. Листья штокрозы обвисли, словно по-

лузакрытые зонтики, сок, казалось, закипал в стеблях, а листья с гладкой поверхностью сверкали, словно металлические зеркала. Небольшая яблонька — какой-то ранний сорт — была посажена возле самой калитки, и только одна она благоденствовала в этом саду по причине легкой почвы; и среди падалицы на земле под яблоней валялись осы, опьяневшие от сока, или ползали вокруг маленьких пещер, которые они выгрызли в мякоти плодов, прежде чем впади в оцепенение от их сладости. У дверей в дом лежал серп Клайма и последние пять-шесть плетей ежевики, которые он собирал на глазах у миссис Ибрайт; ясно было, что он сам бросил все это здесь, входя в дом.

ГЛАВА VI

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Как уже сказано, Уайлдив решил посетить Юстасию — посетить смело, днем, в качестве родственника. Охряник выследил его и испортил ему ночные прогулки и мечты о тайном свидании. Но совсем отказаться от надежды повидать Юстасию после того танца при лунном свете, когда она его вновь околдовала, для такого человека, как Уайлдив, без твердой пуританской основы в душе, было, конечно, немислимо. Он так задумал свое посещение: он зайдет к ним, самым обыкновенным образом встретится с ней и ее мужем, поболтает с ними о том о сем и уйдет. По внешности все будет совершенно обыденно, но главного он достигнет: повидает ее. Он даже не стремился застать Юстасию одну, в отсутствие Клайма; ведь каковы бы ни были ее чувства к нему, Уайлдиву, она, пожалуй, будет недовольна, если создастся положение, которое может бросить хоть малейшую тень на ее достоинство как супруги. Женщины часто таковы.

Сказано — сделано: он пошел. И случилось так, что момент его прихода совпал с тем временем, когда миссис Ибрайт села отдохнуть на пригорке. Обойдя и оглядев усадьбу со всех сторон, что она видела и отметила, он подошел к дому и постучал в дверь. Две-три минуты ожидания, затем ключ повернулся в замке, дверь растворилась, и сама Юстасия стояла перед ним.

Никто бы не догадался по ее теперешнему обращению с Уайлдивом, что это та самая женщина, которая неделю назад кружилась вместе с ним в страстном танце, — разве только какой-нибудь мудрец, который проник бы под поверхность и измерил истинные глубины этого тихого потока.

— Надеюсь, вы благополучно добрались домой? — сказал Уайлдив.

— О да, — небрежно бросила она.

— И, наверно, чувствовали себя очень усталой на другой день? Я боялся, что так будет.

— Да, немножко. Да вы не старайтесь говорить тихо, никто нас не услышит. Моя девочка-служанка ушла в деревню по моему поручению.

— Значит, Клайма нет дома?

— Нет, он дома.

— А! Я подумал, может, вы заперли дверь, потому что вы одна и боитесь бродяг.

— Да нет — вот мой муж.

Они все еще стояли у входа. Затворив наружную дверь и повернув ключ в замке, как раньше, Юстасия распахнула дверь в соседнюю комнату и жестом пригласила Уайлдива войти. Он вошел. Комната, казалось, была пуста, но, сделав еще несколько шагов, он круто остановился. На коврике у камина лежал спящий Клайм. Рядом лежали его поножи, грубые башмаки, кожаные перчатки и куртка, в которой он работал.

— Входите, вы ему не мешаете, — сказала она, идя за ним следом. — Я для того запираю дверь, чтобы кто-нибудь случайно не зашел и не разбудил его, пока я в саду или в верхних комнатах.

— Но почему он спит здесь? — понизив голос спросил Уайлдив.

— Он очень устал. Вышел утром в половине четвертого и с тех пор все время работал. Он взялся резать дрок, потому что это единственное, что он может делать, не утомляя своих бедных глаз.

Уайлдив был очень элегантно одет — в новом летнем костюме и светлой шляпе, и контраст между его внешностью и внешностью мужа болезненно поразил Юстасию.

— Ах, вы не знаете, как он выглядел, когда я впервые его увидела, — снова заговорила она, — ничего похожего на то, что сейчас, а ведь это было так недавно. Руки у него были белые и мягкие, как у меня, а посмотрите теперь — как загубели, как почернели! У него от природы очень светлая кожа, и если он сейчас весь как заржавленный, под цвет своей кожаной одежде, так это потому, что обгорел на солнце.

— Но зачем он вообще это делает? — прошептал Уайлдив.

— Потому что не любит быть праздным, хотя прибыток от его трудов мало что прибавляет к нашим финансам. Но он говорит, что, когда люди живут на капитал, надо всеми силами сокращать текущие расходы и не пренебрегать заработком, хоть и самым маленьким.

— Судьба была немилостива к вам, Юстасия Ибрайт.

— Да уж, мне не за что ее благодарить.

— Ему тоже — если не считать одного великого дара, который он от нее все-таки получил.

— Какого?

Уайлдив пристально посмотрел ей в глаза.

Юстасия покраснела — в первый раз за этот день.

— Ну, я-то сомнительный дар,— тихо проговорила она.— Я думала, вы хотите сказать — дар быть довольным, это у него есть, а у меня нету.

— Я понимаю, на его месте можно быть довольным, но как он мирится с внешней обстановкой, вот что мне удивительно.

— Это потому, что вы его не знаете. Идеи преисполняют его энтузиазмом, а внешность ему не важна. Мне часто думается, что он похож на апостола Павла.

— Рад слышать, что он такая возвышенная личность.

— Да. Но хуже всего то, что апостол Павел очень хорош в Библии, но вряд ли бы на что годился в реальной жизни.

Они невольно стали говорить шепотом, хотя вначале и не очень заботились о том, чтобы не разбудить Клайма.

— Ну, если ваше замужество несчастливо, вы знаете, кто в этом виноват,— сказал Уайлдив.

— Я никогда не скажу, что мое замужество несчастливо,— проговорила Юстасия, впервые проявляя некоторое волнение.— Все дело в этой нелепой случайности, которая уже после на него свалилась; она-то меня и погубила. Это верно, я получила шипы вместо роз, но откуда мне было знать, что принесет будущее?

— Знаешь, Юстасия, я иногда думаю, что это тебе справедливая кара. Ты по праву принадлежала мне, и я вовсе не хотел тебя терять.

— Нет, это не моя вина. Ты хотел иметь и ту и другую, а это невозможно. И вспомни-ка: я еще и не догадывалась ни о чем, а ты уже отвернулся от меня ради другой женщины. Мне бы никогда в голову не пришло вести такую игру, если бы ты не начал первый.

— Да я же не придавал этому никакого значения,— возразил Уайлдив.— Это было так — между прочим. У мужчин бывают такие скоропроходящие увлечения среди постоянной любви — и она потом снова утверждает, как будто ничего и не было. Но ты очень вызывающе со мной держалась, и это соблазнило меня пойти немного дальше, чем следовало, а ты продолжала меня дразнить, ну, я пошел еще дальше и женился на ней.— Обернувшись и снова глядя на скованного сном Клайма, он прибавил как бы про себя: — Боюсь, Клайм, вы не цените своего счастья... В одном он, во всяком случае, счастливее меня. Он познал неудачу в житейских делах, он претерпел тяжелое личное бедствие, но он, вероятно, не знает, что это значит — потерять женщину, которую любишь.

— О нем как раз нельзя сказать, что он не ценит своего счастья,— прошептала Юстасия.— Он благодарен за него, в этом смысле он хороший человек. Многие женщины были бы рады иметь такого мужа. Но неужели я слишком многого требую, когда хочу прикоснуться ко всему, что вмещается в слово жизнь,— музыке, поэзии, страсти, войне, ко всему, что бьется и пульсирует в великих артериях мира? Такова была моя меч-

та; она не осуществилась. Но мне казалось, что я нашла путь к ней в моем Клайме.

— И вы только из-за этого вышли за него?

— Нет, это неверно. Я вышла за него потому, что его любила, но не скрою, я любила его, может быть, отчасти потому, что видела в нем обещание той жизни, о которой мечтала.

— Ну вот вы опять впали в прежнее мрачное настроение.

— Но я ему не поддамся,— воскликнула она.— Я начала новую жизнь тем, что пошла на эти танцы, и так буду продолжать. Клайм может весело петь, а мне почему нельзя?

Уайлдвиз задумчиво посмотрел на нее.

— Это легче сказать, чем сделать; хотя, если бы я мог, я бы поддержал вас в такой попытке. Но так как жизнь для меня ничего не стоит без того единственного, что теперь невозможно, то вы простите меня за то, что я не могу вас поддержать.

— Дэймон, что с вами, почему вы так странно говорите? — спросила она, поднимая к нему свои глубокие сумрачные глаза.

— Этого я прямо никогда вам не скажу, а если буду говорить загадками, так вы, пожалуй, поленитесь отгадывать.

С минуту Юстасия молчала, потом проговорила:

— Какие-то странные у нас сегодня отношения. Вы что-то уж очень мудрите. Вы ведь хотите сказать, Дэймон, что вы меня все еще любите. Ну, это меня огорчает, потому что я не настолько счастлива в браке, чтобы отвергнуть вас с презрением, как я должна бы сделать. Но довольно уж мы об этом говорили. Будете дожидаться, пока мой муж проснется?

— Да, я хотел поговорить с ним, но это можно и не сейчас. Юстасия, если для вас оскорбительно, что я не могу вас забыть, то вы, конечно, правы, сказав мне об этом. Но не говорите о презрении.

Она не ответила, и они оба стояли, задумчиво глядя на Клайма, спящего тем глубоким сном, который дарует нам физическая работа, если она протекает в условиях, не вызывающих нервного страха.

— Боже, как я ему завидую, что он так сладко спит! — сказал Уайлдвиз.— Давно я так не спал — только когда был мальчиком, много, много лет назад.

И пока они смотрели на него, они услышали, как щелкнула калитка, а затем раздался стук в дверь. Юстасия подошла к окну и выглянула.

Лицо ее изменилось. Сперва она вся покраснела, потом постепенно краска ушла из ее лица, даже губы побелели.

— Мне уйти? — сказал Уайлдвиз.

— Не знаю.

— А кто там?

— Миссис Ибрайт. Ах, чего только она мне тогда не наговорила! А теперь пришла — я не понимаю, что это значит?.. И она догадывается о нашем с вами прошлом.

— Я в ваших руках. Если вы считаете, что лучше, чтобы она меня здесь не видела, я перейду в ту комнату.

— Да, пожалуй. Идите.

Уайлджив тотчас вышел. Но он и минуты не пробыл в комнате рядом, как Юстасия тоже пришла туда.

— Нет,— сказала она,— это не годится. Если она войдет, пусть видит вас,— я же ничего дурного не делала. Но как я пойду ей открывать, когда она так не любит меня — хочет видеть не меня, а сына? Не буду открывать!

Миссис Ибрайт опять постучала — громче, чем в первый раз.

— Этот стук его, наверно, разбудит,— продолжала Юстасия,— и он ей сам откроет. А! Слышите?

Слышно было, что Клайм задвигался в соседней комнате, как будто потревоженный стуком, и пробормотал: «Мама!»

— Ну, вот он преснулся, пойдет открывает,— сказала Юстасия со вздохом облегчения.— Идите сюда. Она меня не жалуется, и не нужно, чтобы она вас видела. Вот — приходится действовать тайком не потому, что поступаю дурно, а потому, что другие считают меня способной на дурное.

Она уже подвела его к задней двери, которая стояла открытая, и через нее видна была дорожка, уходящая в глубь сада. Он шагнул через порог.

— Подождите,— сказала Юстасия,— Дэймон, еще одно слово. Это ваш первый приход сюда, пусть же он будет и последним. Мы горячо любили в свое время, но теперь с этим кончено. Прощайте.

— Прощайте,— сказал Уайлджив.— Я получил то, зачем пришел, я удовлетворен.

— Что получили?

— Видел вас. Клянусь честью, я приходил только за этим.

Уайлджив послал ей воздушный поцелуй и прошел в сад, а она смотрела ему вслед: вот он на дорожке, вот у перелазе, вот среди папоротников за оградой, они так высоки, что касаются его губ, вот он потерялся в их чаще. Когда он совсем исчез из виду, она повернулась и хотела войти в дом.

Но, может быть, для Клайма и его матери в эту минуту их первой встречи ее присутствие вовсе не желательно или, по крайней мере, излишне? Да и ей самой какая надобность спешить навстречу миссис Ибрайт? Она решила подождать, пока Клайм сам за ней придет, и неслышно спустилась в сад. Там она лениво чем-то занялась, но, видя, что ее не зовут, вернулась, послушала у окна гостиной, но не услышала голосов. Тогда, снова пройдя через заднюю дверь, она заглянула в гостиную и, к удивлению своему, увидела, что Клайм лежит на коврике, как лежал, когда они с Уайлдживом его оставили, и, по-видимому, сон его не прерывался. Юстасия поспешила к передней двери и, как ни было ей неприятно отворять женщине, так дурно к ней относящейся, она торопливо отперла дверь и

выглянула наружу. Там никого не было. Возле скобы для очистки башмаков лежал серп Клайма и те несколько ежевичных лоз, что он принес; прямо перед Юстасией была пустая дорожка, полурастворенная калитка, а дальше широкая долина вся в пурпурном вереске, чуть дрожащем от зноя. Миссис Ибрайт ушла.

Мать Клайма в это время шла по тропинке, заслоненной от Юстасии отрогом холма. Весь путь от калитки сюда она прошла быстрым, решительным шагом, как будто сейчас ей так же не терпелось бежать от дома, как раньше — войти в него. Она шла, глядя в землю; перед ее внутренним взором неотступно стояли два образа — серп Клайма и ежевичные лозы у входа и лицо женщины за стеклом в окне. Губы ее дрожали и становились неестественно тонкими, когда она, запинаясь, выговаривала:

— Это слишком... Клайм — как он мог это стерпеть! Он дома — и позволил ей запереть дверь передо мной!

Стремясь поскорее завернуть куда-нибудь, где ее не будет видно, она отклонилась от прямой тропинки домой и, начав ее вновь отыскивать, набрела на мальчика, собиравшего голубику в лоштинке. Мальчик этот был Джонни Нонсеч, тот самый, который был кочегаром Юстасии у ноябрьского костра, и в силу закона, побуждающего малые тела тяготеть к более крупным, он принялся вертеться вокруг миссис Ибрайт, как только она появилась, а затем побежал с ней рядом, едва ли сознавая, что и зачем он делает.

Миссис Ибрайт заговорила с ним, словно сквозь месмерический сон.

— Долог путь домой, дитя мое, и не добраться нам туда раньше вечера.

— Я доберусь, — отвечал ее маленький спутник. — Я еще хочу поиграть до ужина, а ужин будет в шесть часов, в это время отец приходит. А ваш отец тоже в шесть домой приходит?

— Нет, он никогда не приходит, и сын мой не приходит, и никто не приходит.

— Отчего вы такая скучная? Привиденье увидали?

— Я хуже увидала — лицо женщины, которая смотрела на меня через закрытое окно.

— А это так плохо?

— Да. Всегда очень плохо, когда женщина смотрит в окно и не пускает усталого путника отдохнуть.

— Я раз пошел в Троп на Большой пруд тритонов половить и вдруг вижу — из воды я сам на себя смотрю! Во испугался — отскочил да бежать!

— ...Если б они хоть чем-нибудь показали, что готовы пойти мне навстречу, как бы все хорошо было! Но нет. Запер-

лись! Это, наверно, она настроила его против меня... Неужели бывают красивые тела без сердца внутри? Должно быть, так. Я бы соседскую кошку в такой день на солнце не выгнала!

— Что это вы говорите?

— Больше никогда — никогда! Даже если они пришлют за мной!

— Вы очень чудная — все говорите, говорите...

— Да нет,нисколько,— ответила она на его ребячью болтовню.— Большинство людей, когда вырастут и у них есть дети, тоже так говорят. И когда ты вырастешь, твоя мать будет говорить, как я.

— Ой нет, не надо, это же очень плохо — говорить чепуху.

— Да, дитя мое, должно быть, это и впрямь чепуха. Ты очень устал от жары?

— Да. Но не так, как вы.

— Откуда ты знаешь?

— У вас лицо белое-белое и все мокрое и голова повисла.

— Да, у меня что-то изнутри всю силу высосало...

— А почему вы, когда ступаете, то вот так делаете?

Мальчик изобразил ее перовную, прихрамывающую походку.

— Потому что я несу непосильную тяжесть.

Мальчик умолк, задумавшись, и с четверть часа они ковыляли рядом, как вдруг миссис Ибрайт, чья слабость, видимо, все возрастала, проговорила, обращаясь к мальчику:

— Я сяду здесь, отдохну.

Когда она уселась, он долго смотрел ей в лицо, потом сказал:

— А почему вы так дышите — как ягненок, когда его очень загоняешь? Вы всегда так дышите?

— Нет, не всегда.

Голос ее был теперь слаб, почти как шепот.

— Вы тут спать будете, да? Вон вы уже глаза закрыли.

— Нет. Я не хочу спать — я мало буду спать до... до того дня, когда засну надолго, очень надолго. Слушай, ты не знаешь, Нижний пруд пересох или нет?

— Нижний пересох, а Морффордский нет, он глубокий и никогда не пересыхает. Он тут рядом.

— И вода чистая?

— Да ничего, только не там, где вересковые стригуны на водопой ходят.

— Так возьми вот это и беги скорей, принеси мне воды, выбери, где она чище. Мне что-то нехорошо.

Она вынула из небольшой плетеной сумочки, которую несла в руках, старомодную чашку без ручки; у нее в сумочке таких было шесть штук; миссис Ибрайт берегла их с детства и сегодня захватила с собой как маленький подарок Клайму и Юстасии.

Мальчик побежал к пруду и вскоре вернулся с водой.

Миссис Ибрайт попробовала пить, но вода была так тепла, что вызывала тошноту, и она ее выплеснула. Потом продолжала сидеть с закрытыми глазами.

Мальчик подождал, стал играть возле нее, поймал несколько маленьких коричневых мотыльков, которые здесь водились во множестве, снова подождал, наконец сказал:

— Я больше люблю идти, чем сидеть. Вы скоро опять пойдете?

— Не знаю.

— Так, может, я один пойду? — начал опять мальчик, видимо, опасаясь, что ему дадут еще какое-нибудь неприятное порученье. — Я вам больше не нужен?

Миссис Ибрайт не отвечала.

— А что сказать маме? — продолжал мальчик.

— Скажи ей, что ты видел женщину с разбитым сердцем, которую отверг родной сын.

Прежде чем совсем уйти, он остановил на ее лице задумчивый взгляд, как будто вдруг усомнившись, хорошо ли он делает, что покидает ее здесь одну. Он смутно и недоуменно разглядывал ее лицо, как ученый мог бы рассматривать древний манускрипт, ключ к начертаниям которого утерян. Он был не настолько мал, чтобы совсем не ощущать, что здесь требуется участие; и не настолько велик, чтобы быть свободным от страха, какой испытывает ребенок, видя взрослых в когтях страдания, тогда как он до сих пор считал, что они ему неподвластны; и может ли она причинить другим зло или сама стать жертвой, и следует ли ее со всеми ее горестями жалеть или бояться — решить это он был не в силах. Он подтупился и, ничего не сказав, ушел. И, не пройдя еще полумили, он уже все о ней забыл, за исключением того, что была там женщина, которая села отдохнуть.

Телесное и душевное напряжение, пережитое миссис Ибрайт, почти совсем ее обессилило, но она все же тащилась кое-как вперед с частыми и долгими остановками. Солнце уже далеко передвинулось на юго-запад и стояло теперь прямо перед ней, словно какой-то безжалостный поджигатель с факелом в руке, готовый ее испепелить. С уходом мальчика всякая видимая жизнь исчезла из ландшафта, хотя немолчное стрекотание самцов-кузнечиков в каждом кустике дрока ясно говорило, что, как ни тяжело приходится сегодня более крупным породам животных, незримый мир насекомых занят своими делами чуть ли не с большим, чем всегда, рвением.

Наконец, пройдя примерно две трети расстояния от Олдерворта до своего дома, миссис Ибрайт достигла склона, где в одном месте густо рос чебрец, вторгаясь даже на тропу. Она села на этот душистый коврик. Чуть впереди муравьи проложили поперек тропы свою большую дорогу, и по ней непрерывно двигались нескончаемые и тяжело нагруженные муравьиные толпы. Смотреть на нее сверху было все равно что

разглядывать городскую улицу с вершины башни. Миссис Ибрайт вспомнила, что уже много лет на этом месте можно было наблюдать ту же картину; муравьи, шествовавшие здесь тогда, вероятно, были предками тех, что идут сейчас. Она откинулась на спину, стараясь устроиться поудобнее, и мягкий свет восточного неба был таким же отдыхом для ее глаз, как густой чебрец для ее головы. И пока она глядела, там, на востоке, поднялась в небо цапля и полетела навстречу солнцу. Она была вся мокрая, должно быть, только что выбралась из какого-нибудь пруда в долинах, и края и испод ее крыльев, грудь и подпушки лапок сверкали в ярких солнечных лучах, как серебряные. А небесная высь, в которой она парила, казалась таким свободным и счастливым местом, столь далеким от земного шара, к которому миссис Ибрайт была прикована, что и ей захотелось так же бодро взвиться в высоту и лететь все дальше и дальше, как летела цапля.

Но, будучи матерью, она не могла долго думать о себе. Если бы путь ее ближайших мыслей мог вычертиться в воздухе, как путь метеора, огненная нить протянулась бы в сторону, противоположную полету цапли, и, склоняясь к востоку, закончилась бы на крыше дома Клайма.

ГЛАВА VII

ТРАГИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ДВУХ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

Тем временем он проснулся, сел и огляделся кругом. Юстасия сидела тут же возле него на стуле и хотя держала в руках книгу, но, кажется, давно уже в нее не заглядывала.

— Ну и ну! — сказал Клайм, протирая кулаками глаза. — Крепко же я спал! И еще сон какой ужасный видел — никогда не забуду.

— Я так и думала, что тебе что-то снится, — сказала она.

— Да. Про маму. Будто мы с тобой пошли к ней мириться, но почему-то никак не могли попасть в дом, а она изнутри все кричала нам — звала на помощь. Ну, ладно, сны — это только сны, в конце концов. Который час, Юстасия?

— Половина третьего.

— Так поздно? Я не хотел столько задерживаться. Пока поем, будет четвертый час.

— Эни еще не вернулась из деревни, и я решила не будить тебя, пока она не придет.

Клайм подошел к окну, выглянул наружу. Потом раздумчиво сказал:

— Неделя идет за неделей, а мама все не приходит. Вот уж не думал, что так долго не получу от нее весточки.

Опасение, раскаяние, страх, решимость — все эти чувства, молниеносно сменяясь, отразились в глубине темных глаз

Юстасии. Она стояла перед непреодолимой трудностью и попыталась отделаться от нее тем, что отложила решение.

— Непременно надо мне пойти в Блумс-Энд,— продолжал Клайм,— и, пожалуй, лучше пока одному.— Он поднял свои поножи и перчатки, потом снова их бросил и добавил: — Сегодня обед запаздывает, так я не вернусь на пустошь, а поработаю до вечера в саду, а потом, когда станет прохладнее, пойду в Блумс-Энд. Я уверен, если я сделаю первый шаг, мама согласится все забыть. Только вот вернусь-то я поздно, потому что меньше чем за полтора часа туда не дойдешь, да обратно столько же. Но ты уж как-нибудь потерпишь один вечер, милочка? Юстасия, ты меня слышишь? О чем ты так задумалась?

— Я не могу тебе сказать,— печально проговорила она.— Напрасно мы здесь поселились, Клайм. Мир весь какой-то неправильный, когда смотришь на него отсюда.

— Ну да, если мы сами делаем его таким. Хотел бы я знать, бывала ли Томазин в последние дни в Блумс-Энде. Надеюсь, что да. А вернее, что нет, ей ведь, кажется, рожать через месяц или около того. Как это я раньше об этом не подумал. Бедной маме, наверно, там очень одиноко.

— Мне не хочется, чтобы ты шел сегодня.

— Почему не сегодня?

— Тебе скажут что-нибудь страшно обидное для меня.

— Мама не такая мстительная,— сказал Клайм, слегка краснея.

— Но я не хочу, чтобы ты шел,— повторила Юстасия, понизив голос.— Если ты согласишься сегодня не ходить, я тебе обещаю, что завтра утром сама к ней пойду и все заглажу, что между нами было, и буду там ждать, пока ты за мной придешь.

— Почему ты именно сейчас захотела это сделать, хотя раньше, сколько я ни предлагал, всегда отказывалась?

— Я больше ничего не могу сказать, кроме того, что я хотела бы повидаться с ней наедине, прежде чем ты пойдешь,— ответила она, нетерпеливо тряхнув головой и глядя на него с беспокойством, которое чаще можно наблюдать у людей сангвинического темперамента, чем у таких, как она.

— Все-таки очень странно, что, как раз когда я сам решил пойти, тебе вдруг захотелось сделать то, что я тебе давно предлагал. Если я стану ждать, пока ты завтра туда сходишь, еще один день будет потерян, а я чувствую, что места себе не найду, пока там не побываю. Я решил с этим покончить и так и делаю. А ты можешь после к ней пойти, это будет то же самое.

— Ну давай я сегодня с тобой пойду?

— Ты же не сможешь пройти туда и обратно, не отдохнув как следует в промежутке, а на это времени не будет. Нет, Юстасия, не сегодня.

— Хорошо, пусть будет так,— безучастно проговорила она,

как человек, который хотя и готов предотвратить дурные последствия, если для этого не нужно больших усилий, но скорее предоставит событиям свершаться как бог даст, чем станет крепко бороться за то, чтобы направить их по-своему.

После чего Клайм ушел в сад, а Юстасией на весь остаток дня овладела какая-то задумчивая апатия, которую ее супруг отнес на счет жаркой погоды.

Под вечер он отправился в путь. Хотя солнце палило еще по-летнему, но дни стали уже гораздо короче, и не прошел Клайм и мили, как все краски пустоши — пурпурная, коричневая, зеленая — слились в однотонную печальную одежду без градаций и без оттенков, прерываемую лишь белыми мазками там, где кучка чистого кварцевого песку обозначала вход в кроличью норку или белая галька пешеходной тропы вилась, как белая нить, по склону. Почти в каждом из разбросанных там и сям одиноких и низкорослых тернов козодой выдавал свое присутствие странным жужжащим криком, похожим на гуденье мельницы; он жужжал, сколько хватало дыханья, потом умолкал, хлопал крыльями, кружил над кустом, снова садился, некоторое время молчал, прислушиваясь, и снова принимался жужжать. На каждом шагу из-под ног Клайма взлетали белые мотыльки и на несколько мгновений оказывались достаточно высоко в воздухе, чтобы на свои словно посыпанные мукой крылья принять мягкий свет гаснущего заката, который скользил над землей — над углублениями и ровными местами, — но не падал на них сверху и поэтому их не освещал.

Ибрайт шел посреди этих мирных сцен с надеждой, что скоро все будет хорошо. И на каком-то этапе своего пути он почувствовал веющее ему в лицо нежное благоуханье и остановился, вдыхая знакомый запах. Это было то самое место, где четыре часа назад его мать в изнеможении прислонилась к поросшему чебрецом бугру. И пока он стоял, какой-то звук — не то вздох, не то стон — внезапно донесся до его слуха.

Он посмотрел в ту сторону, но там ничего не было видно, кроме закраины бугра, четкой линией вырисовывавшегося на небе. Он сделал несколько шагов в том направлении и тогда различил почти у самых своих ног лежащую на земле фигуру.

Из всех возможных предположений о том, кто здесь лежит, Ибрайту ни на минуту не приходила в голову мысль, что это может быть кто-нибудь из его родных. Сборщики дрока в эти жаркие дни иногда оставались ночевать под открытым небом, чтобы не тратить времени на долгий путь домой и обратно, но Клайм вспомнил стон, пригляделся и разобрал, что лежит жепщина; и страх прошел по его телу, как холодный воздух из погреба. Но он не был уверен, что это его мать, пока не нагнулся и не увидел вблизи ее лицо — мертвенно-бледное, с закрытыми глазами.

Дыханье его пресеклось, и готовый вырваться крик замер на губах. На то мгновенье, которое протекло, прежде чем он

осознал, что нужно что-то сделать, всякое чувство времени и места покинуло его, — ему почудилось, что он снова ребенком гуляет с матерью по пустоши, как это бывало много лет назад в такие же предвечерние часы. Потом он пробудился к действию; нагнувшись еще ниже, он услышал, что она дышит и дыханье у нее, хотя слабое, но ровное, только изредка прерываемое внезапной задышкой.

— Ох, что это! Мама, вы очень больны — вы же не умираете? — воскликнул он, прижимаясь губами к ее лицу. — Я здесь, я, ваш Клайм. Как вы тут очутились? Что все это значит?

В эту минуту Ибрайт не помнил о разрыве между ними, причиненном его любовью к Юстасии; в эту минуту настоящей для него неразрывно сомкнулось с тем дружественным прошлым, которое было их жизнью до того, как они расстались.

Губы ее шевельнулись, по-видимому она его узнала, но говорить не могла. И тут Клайм стал соображать, как лучше ее перенести, так как ей нельзя было здесь оставаться, когда падет роса. Он был силен, мать его — худощава. Он обхватил ее руками, слегка приподнял и спросил:

— Не больно вам?

Она отрицательно качнула головой, и он поднял ее на руки; затем, осторожно ступая, двинулся вперед со своей ношей. Воздух теперь был совсем прохладный, но всякий раз, как Клайм проходил по песчаному участку земли, не укрытому ковром растительности, в лицо ему веяло жаром, которым песок напитался за день. Вначале он мало думал о том, какое расстояние ему придется пройти до Блумс-Энда, но, хотя он и поспал днем, а вскоре ноша его с каждым шагом стала делаться все тяжелее. Так шел он, как Эней, несущий отца; летучие мыши кружили у него над головой, козодои хлопали крыльями в каком-нибудь ярде от его лица — и нигде ни живой души, кого бы позвать на помощь.

Когда до дому оставалась еще добрая миля, мать Клайма стала проявлять беспокойство, — видимо, ей было неудобно, казалось, руки Клайма причиняют ей боль. Он сел, опустил ее себе на колени и огляделся. Место, где они находились, хотя и далекое от всяких дорог, напрямик отстояло не дальше мили от домишек Блумс-Энда, в которых жили Фейруэй, Сэм, Хемфри и все семейство Кентлов. Кроме того, в пятидесяти ярдах стояла лачуга или печто вроде навеса, сложенного из земляных комьев и крытого тонкими дернинами: им уже давно не пользовались. Клайму даже видны были его примитивные очертания, и туда он решил направить свои стопы. Подойдя, он бережно уложил мать у входа, а сам побежал и нарезал карманным ножом охапку самых сухих папоротников. Разложив все это в лачуге — передней стены у нее вообще не было — он перенес мать на эту импровизированную постель и пустил ее со всех ног к дому Фейруэя.

С четверть часа тишину нарушало только прерывистое дыхание больной, а затем бегущие фигуры начали оживлять пограничную черту меж вереском и небом. Первым прибыл Клайм с Фейруэем, Хемффри и Сьюзен Нонсеч, а за ними вперемешку Олли Дауден, случайно оказавшаяся у Фейруэя, Христиан и дедушка Кентл. Они принесли фонарь, спички, воду, подушку и еще разные предметы, которые кому-нибудь пришлось в голову захватить. Сама тотчас послала обратно за бренди, а Фейруэю мальчик привел пони, на котором тот и отправился к врачу, получив кстати наказ заехать по пути к Уайлдиву и сообщить Томазин, что ее тетка занемогла.

Сэм скоро вернулся с бренди, и при свете фонаря больной дали выпить, после чего она настолько пришла в сознание, что смогла показать знаками, что у нее что-то неладно с ногой. Олли Дауден первая поняла, что она хочет сказать, и осмотрела ногу. Нога была красная и сильно распухшая. И тут же прямо на глазах присутствующих эта краснота стала переходить в синеву, в середине которой виднелось алое пятнышко, размером меньше горошины,— это была капля крови, полушарием поднимавшаяся над гладкой кожей лодыжки.

— Я знаю, что это такое,— вскричал Сэм.— Ее укусила гадюка!

— Да,— тотчас подтвердил Клайм.— Когда я был ребенком, помню, я видел такой укус. Бедная мама!

— А у меня отца раз укусила,— сказал Сэм.— И есть только одно средство. Нужно натереть это место жиром другой гадюки, а для того, чтобы жир получить, надо ее поджарить на сковородке. Так для моего отца делали.

— Это старое средство,— сказал вконец расстроенный Клайм.— И я не очень в него верю. Но мы ничего другого не можем сделать, пока не придет доктор.

— Это верное средство,— с жаром сказала Олли Дауден.— Я сама его применяла, когда ходила за больными.

— Так остается молиться, чтобы скорее рассвело,— мрачно сказал Клайм,— а то откуда их сейчас взять?

— Пойду посмотрю, что тут можно сделать,— сказал Сэм. Он взял зеленый ореховый сук, который употреблял вместо трости, расщепил его на конце, вставил в расщелину камешек и с фонарем в руке вышел на пустошь. Клайм тем временем разжег небольшой костер и послал Сьюзен Нонсеч за сковородкой. Еще раньше, чем она вернулась, пришел Сэм, неся трех гадюк; одна все время свивалась и развивалась, зацепленная в орешине, две других безжизненно висели.

— Мне только одну живую удалось достать, как оно по правилам-то полагается,— сказал Сэм.— А тех двух я еще днем убил, когда работал, но они не могут помереть, раньше чем солнце сядет, так, может, мясо все-таки ничего, годится?

Живая гадюка смотрела на собравшихся с зловещим выражением в своих маленьких черных глазах, а красивые черно-

коричневые узоры у нее на спине, казалось, стали еще ярче от негодования. Миссис Ибрайт увидела гадюку, и гадюка увидела ее, и женщина вся содрогнулась и отвела глаза.

— Смотрите-ка, а? — зашептал Христиан Кентл. — Почему знать, соседи, может, что-то от старого змея, того, что в божьем саду дал яблочко молодой этой женщине, которая без платья ходила, — может, что-то от нее живет еще в гадюках и разных там змеях? Посмотрите, какие у нее глаза, — ни дать ни взять злодейский какой-то сорт черной смородины. Хорошо, коли она нас не сглазит! А то уже есть у нас на пустоши такие, которых сглазили. Нет уж, ни в жизнь не убью больше ни одной гадюки.

— Что ж, может, оно и правильно — осторожничать, когда страх берет, — сказал дедушка Кентл. — Меня б это в молодости от многих опасностей убергло.

— Словно бы там что-то зашумело, за навесом? — сказал Христиан. — Я вот думаю, уж лучше бы все недоброе днем случилось, тогда мог бы человек свою храбрость показать, и доведись ему повстречать самую что ни есть страшную старушонку, и то не стал бы у нее пощады просить, — конечно, ежели он смелый, да и ноги имеет резвые, чтобы от нее удрать.

— Даже простой человек, неученый, вот как я, и то бы такой глупости не сделал, — сказал Сэм.

— Э, беда-то нас там подстерегает, где ее меньше всего ждешь. Соседи, если миссис Ибрайт помрет, нас не могут к суду привлечь за — как это? — непредумышленное убийство?

— Нет, этого они не могут, — сказал Сэм, — разве только будет доказано, что мы когда-то были браконьерами. Да она поправится.

— Ну, а я, хоть бы меня десять гадюк укусило, и то не стал бы из-за этого ни одного рабочего дня терять, — заявил дедушка Кентл. — Вот я каков, когда распалюсь. Ну да недаром же меня воевать учили. Да, в жизни со мной всякое случалось, но после того, как я в солдаты пошел в восемьсот четвертом, я уж маху нигде не давал. — Он покачал головой и усмехнулся, мысленно любуясь тем молодцом в военной форме, каким он себе представлялся. — Всегда первым был во всех перделках!

— Наверно, потому, что они самого большого дурака всегда вперед ставили, — отозвался Тимоти от костра, возле которого он стоял на коленях, раздувая его своим дыханьем.

— Ты правда так думаешь, Тимоти? — сказал дедушка Кентл, подходя к костру; он как-то сразу увял, и на лице его изображалось уныние. — По-твоему, человек может годами считать, что он молодец, и все-то время в себе ошибаться?

— Да брось ты об этом, дедушка. Пошевели лучше ногами, принеси еще хворосту. И не стыдно тебе, старому, такой вздор молоть, когда тут, может, о жизни и смерти дело идет.

— Да, да, — с меланхолической убежденностью подтвердил

дедушка Кентл.— Плохая сегодня ночь для многих, кто славно пожил в свое время. И будь я хоть первый мастак по гобую либо по скрипке, не хватило б у меня сейчас духу песни на них наигрывать.

Тут вернулась Сьюзен со сковородкой. Живая гадюка уже была убита, и у всех трех отрезаны головы. Остальное нарезали продольными ломтями и бросили на сковородку, где оно начало шипеть и потрескивать на огне. Скоро с поджаренных ломтей стала стекать тонкая струйка прозрачного жира; Клайм окунул в него уголок своего носового платка и принялся втирать в рапу.

ГЛАВА VIII

ЮСТАСИЯ СЛЫШИТ О ЧУЖОЙ УДАЧЕ И ПРЕДВИДИТ ДЛЯ СЕБЯ БЕДУ

Тем временем Юстасия, оставшись одна в олддервортском домике, впала в крайне угнетенное состояние. Если Клайм узнает, что перед его матерью заперли дверь, последствия могут быть очень неприятные, а неприятного Юстасия боялась не меньше, чем страшного.

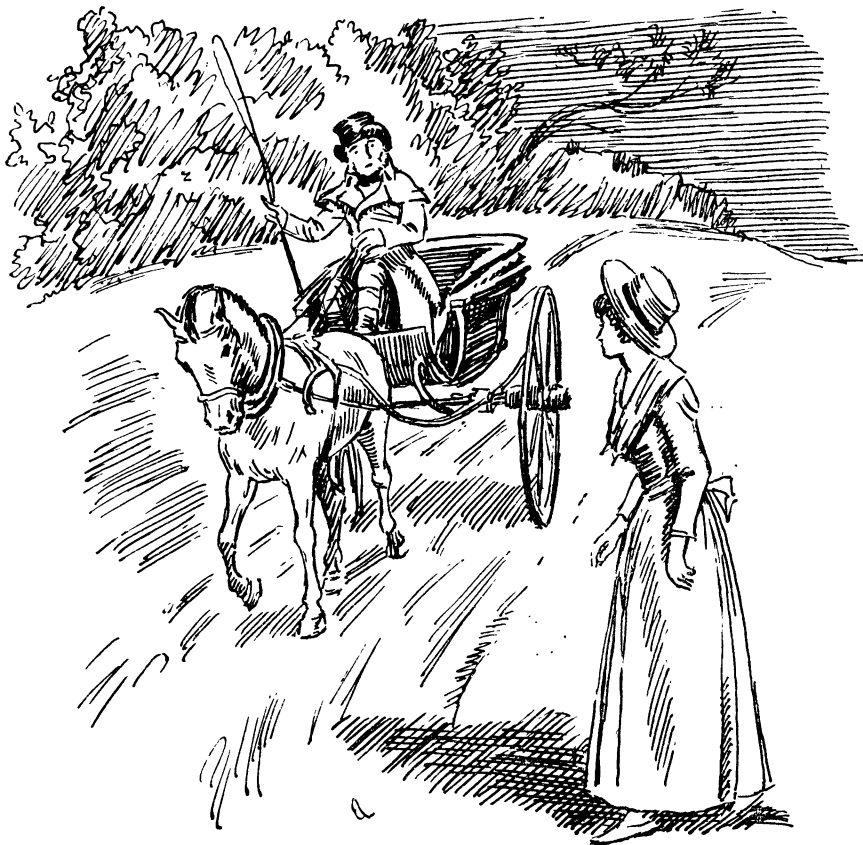
Проводить вечер в одиночестве ей всегда было скучно, а в этот вечер еще скучнее, чем всегда,— после волнений, пережитых днем. Два эти посещения растревожили ее. Мысль о том, что в разговоре Клайма с матерью она, Юстасия, предстанет перед ним в невыгодном свете, вызывала у нее не так стыд или неловкость, как досаду и раздраженье, и это настолько расшевелило ее дремлющую волю, что она наконец отчетливо пожалела, зачем не отперла дверь. Она и правда думала, что Клайм проснулся, и это до некоторой степени оправдывало ее дальнейшие действия, но ничто не могло спасти ее от осуждения за то, что она не отозвалась на первый стук. Однако, вместо того чтобы пенять на себя, она перелагала вину на плечи некоего туманного и грандиозного Мироправителя, который предначертал это сплетение случайностей и правил ее судьбой.

В это время года ночью приятнее ходить, чем днем, и после того, как Клайм отсутствовал больше часу, Юстасия вдруг решила пойти прогуляться по направлению к Блумс-Энду в надежде встретить его, когда он будет возвращаться. Подойдя к калитке, она услышала стук колес и, оглянувшись, увидела дедушку, едущего в своей таратайке.

— Нет, даже на минутку не могу,— ответил он на ее приглашение зайти.— Я еду в Восточный Эгдон, а сюда завернул, чтобы рассказать тебе новости. Может, ты уже слыхала — насчет того, что мистеру Уайлдиву повезло?

— Нет,— равнодушно отвечала Юстасия.

— Ну как же! Наследство получил — одиннадцать тысяч



фунтов, — дядя у него умер в Канаде как раз после того, как всю свою семью отправил на родину, и они все утонули на «Кассиопее», так что Уайлдвиг оказался единственным наследником, сам того не ожидая.

Юстасия постояла молча.

— Когда он это узнал? — спросила она.

— Да уж сегодня знал с раннего утра, потому что я от Чарли услышал, когда он пришел в десять часов. Вот это называется счастливым случаем. А ты-то, Юстасия, как сглупила!

— Чем это? — сказала она, с видимым спокойствием поднимая глаза.

— А тем, что не удержала его, когда он был у тебя в руках.

— Так уж и в руках!

— Я тогда не знал, что у тебя с ним были шуры-муры, а если бы и знал, так, по правде сказать, задал бы вам обоим перцу. Но раз уж что-то было, так надо было одного и держаться.

Юстасия не ответила, но вид у нее был такой, как будто она многое могла бы сказать, если бы захотела.

— А как твой бедный подслеповатый муж? — продолжал старик. — В общем-то и он тоже неплохой парень.

— Он вполне здоров.

— Вот кому подвезло, так этой, как ее звать, ну его двоюродной сестре. Эх, Юстасия, тебе бы быть на ее месте! Ну, мне пора. Денег тебе не нужно? Ты знаешь — что мое, то твое.

— Нет, спасибо, бабушка, мы сейчас не нуждаемся, — холодно отвечала Юстасия. — Клайм собирает дрок, но он это больше для развлечения, потому что другого ничего не может делать.

— Гм! Ему, однако, платят за это развлечение. Три шиллинга за сотню, как я слышал?

— У Клайма есть деньги, — сказала она, краснея. — Но ему нравится немножко зарабатывать.

— Ну и отлично. Спокойной ночи! — И капитан поехал дальше.

Расставшись с бабушкой, Юстасия машинально продолжала идти в намеченном направлении, но уже не думала ни о своей свекрови, ни о Клайме. Уайлдвиль! Вот кого судьба, невзирая на все его жалобы на нее, вырвала из темной доли и вновь позволила ему купаться в лучах солнца. Одиннадцать тысяч фунтов! На взгляд эгдонцев, он стал богачом. И в глазах Юстасии это была приличная сумма — достаточная, чтобы удовлетворить те ее желанья, которые Клайм в строгую минуту заклеил как суетные и любострастные. Она не любила денег, но любила то, что деньги могли дать, и вся новая обстановка, которую она воображала вокруг Уайлдвилля, делала его по-новому интересным. Она вспомнила, как хорошо он был одет сегодня утром, — видно, надел свой новый дорогой костюм, не боясь порвать его о терны и шиповник. А потом она припомнила и то, как он с ней разговаривал.

— Ах, понимаю, понимаю, — сказала она. — Как ему хотелось, чтобы я сейчас была его, чтобы дать мне все, чего я ни пожелаю!

Она припоминала разные мелкие черточки, в то время ею почти не замеченные, — как он посмотрел, как он сказал, — и видела теперь, насколько все это было подсказано тем, что он уже знал о повороте в своей судьбе. «Будь он злопамятным, он с торжеством рассказал бы мне о своей удаче, а он, напротив, ни словом о ней не упомянул из уважения к моему несчастью, только давал понять, что по-прежнему любит меня, как стоящую выше его».

Молчание Уайлдвилля в это утро о том, что с ним случилось, как раз и было рассчитано на то, чтобы произвести впечатление на такую женщину. Эти тонкие штрихи хорошего вкуса были его козырной картой в игре с представительницами противоположного пола. Особенность Уайлдвилля состояла в том,

что сегодня он мог быть придирчив, вспыльчив, даже зол с женщиной, а завтра так обаятельно любезен, что вчерашнее пренебрежение уже не казалось ей неучтивостью или вчерашняя грубость — оскорблением, напротив того, вчерашние придирки воспринимались как деликатное внимание, а поругание ее женской чести как избыток рыцарства. Этот человек, на чьи влюбленные взгляды Юстасия утром не обращала внимания, чьи добрые пожелания она едва дала себе труд выслушать, которого она выпроводила из дому через черный ход, вечером предстал перед ней уже совсем в другом свете — как владелец одиннадцати тысяч фунтов, человек с солидным профессиональным образованием, проходивший свой стаж в Бедмуте в конторе гражданских инженеров.

Юстасия до того погрузилась в размышления об успехах Уайлдива, что забыла, насколько лично ей ближе успехи и неудачи Клайма, и вместо того, чтобы идти ему навстречу, присела на камень. Ее пробудил от задумчивости голос за спиной, и, повернув голову, она увидела своего прежнего возлюбленного и нынешнего счастливого наследника — он незаметно подошел к ней сзади.

Она осталась сидеть, но по легкому трепету в ее лице человек, так хорошо ее знавший, как Уайлдив, не мог не понять, что она только что думала о нем.

— Как вы тут очутились? — проговорила она своим ясным, тихим голосом. — Я думала, вы уже давно дома.

— Из вашего сада я прямо пошел в деревню, а теперь возвращаюсь, вот и все. А вы куда направляетесь, смею спросить?

Она махнула рукой в сторону Блумс-Энда.

— Я вышла встретить мужа. Боюсь, не навлекла ли я па себя большие неприятности, пока вы были со мной.

— Каким образом?

— Тем, что не впустила миссис Ибрайт.

— Надеюсь, мое посещение вам не испортило?

— Нисколько. Это не ваша вина, — спокойно отвечала она.

К этому времени она встала, и они машинально пошли рядом по дороге; пройдя две или три минуты молча, Юстасия проговорила:

— Я, кажется, должна вас поздравить?

— С чем? Ах да, мои одиннадцать тысяч фунтов, вы это имеете в виду? Ну что ж, раз уж мне не досталось кое-что другое, так приходится и этим быть довольным.

— Как-то вы уж очень к этому равнодушны. Почему вы мне утром не сказали? — спросила она обиженным тоном. — Я совершенно случайно узнала.

— Я хотел сказать, — ответил Уайлдив, — но потом — ну, я буду говорить откровенно — я раздумал, когда понял, Юстасия, что ваша звезда не высоко стоит на небе. Вид вашего мужа, когда он лежал, измученный тяжелой работой, заставил меня по-

чувствовать, что хвалиться перед вами моей удачей было бы неуместно. И все же, пока вы там стояли рядом с ним, у меня было и другое чувство — что он во многих отношениях богаче меня.

На это Юстасия сказала с затаенным лукавством:

— А поменялись бы вы с ним — вам меня, ему ваше богатство?

— И задумываться бы не стал, — ответил Уайлдвиг.

— Так как мы уже начали воображать то, что невозможно и нелепо, то, может быть, переменим тему?

— Хорошо. Я расскажу вам о своих планах на будущее, если вам не скучно слушать. Девять тысяч фунтов я сразу вложу в надежные бумаги, одну тысячу оставлю наличными, а на остальную тысячу буду год путешествовать.

— Путешествовать? Как хорошо! Куда вы поедете?

— Отсюда в Париж и проведу там зиму и весну. Потом в Италию, Грецию, Палестину — до наступления жаркой погоды. На лето уеду в Америку, а оттуда — это еще не решено, но, возможно, проеду в Австралию и затем вокруг Индии. К тому времени мне, вероятно, надоест кочевать. Тогда я должно быть, вернусь в Париж и буду там жить, сколько позволят средства.

— В Париж, — повторила она голосом тихим, как вздох. Она никогда не говорила Уайлдвигу о парижских мечтах, которые заронил в нее Клайм своими рассказами, но вот Уайлдвиг идет с ней рядом, и он нечаянно стал властен осуществить все ее мечты. — Вы считаете, Париж такой интересный город? — добавила она.

— Да. По-моему, это средоточие всего прекрасного, что есть на земле.

— И по-моему тоже! И Томазин с вами поедет?

— Если захочет. Она, может быть, предпочтет остаться дома.

— Значит, вы будете повсюду ездить, а я сидеть здесь!

— Очевидно так. Но мы знаем, кто в этом виноват.

— Я вас не виню, — быстро сказала она.

— Да-а? А мне показалось, вините. Но если вам когда-нибудь захочется обвинить меня, вспомните о том вечере у Дождевого кургана, когда вы обещали прийти и не пришли. Вместо того вы прислали письмо, и когда я его читал, сердце у меня так болело, как, надеюсь, ваше никогда не будет болеть. Это и была точка расхождения. Я тогда слишком поторопился... Но она хорошая женщина, и я больше ничего не скажу.

— Я знаю, тогда вина была моя, — сказала Юстасия. — Но это не всегда так было... Мое несчастье в том, что я слишком порывиста в своих чувствах. Ах, Дэймон, не укоряй меня больше, не могу я это вынести.

С милую или больше они шли молча, потом Юстасия вдруг спросила:

— Разве вам сюда по дороге, мистер Уайлдвиг?

— Сегодня вечером мне всюду по дороге. Я провожу вас до того холма, откуда виден Блумс-Энд,— сейчас поздно, не годится вам идти одной.

— Не беспокойтесь обо мне. Никто не заставлял меня выходить из дому. А вам лучше бы все-таки меня дальше не провожать. Мало ли что могут подумать, если нас увидят.

— Хорошо, тогда я вас здесь покину.— Он неожиданно взял ее руку и поцеловал — в первый раз после ее свадьбы.— Что это светится — вон на холме? — добавил он, как бы для того, чтобы скрыть эту ласку.

Она поглядела и увидела впереди мерцающий свет, исхлдивший, по-видимому, из открытой стороны стоящей невдалеке лачуги. Эта лачуга, которую Юстасия привыкла видеть пустой, теперь как будто была обитаема.

— Раз уж вы так далеко зашли,— сказала Юстасия,— то, может, проводите меня мимо этой хижины? Я рассчитывала где-нибудь здесь встретить Клайма, но его все нет, так я пойду побыстрее, чтобы захватить его еще в Блумс-Энде.

Они прошли еще немного вперед, и когда приблизились к этой трехстенной и крытой дерном лачуге, при свете костра и фонаря, прилаженного внутри, ясно стала видна женщина, распростертая на подстилке из папоротника, и кучка поселян, мужчин и женщин, стоящих вокруг нее. Юстасия не узнала миссис Ибрайт в распростертой женщине и Клайма в одном из стоящих мужчин, пока не подошла совсем близко. Тогда она быстро тронула Уайлдива за плечо и сделала ему знак отойти в тень, подальше от открытой стороны навеса.

— Это мой муж и его мать,— прошептала она прерывающимся голосом.— Что это может значить? Подойдите туда, потом скажете мне.

Уайлдив оставил ее, где она стояла, и подошел к задней стене лагучи. Затем Юстасия увидела, что он ее манит, и тоже подошла.

— Тяжелый случай,— сказал Уайлдив.

Отсюда им было слышно, что происходит внутри.

— Понять не могу, куда она шла,— говорил кому-то Клайм.— Очевидно, проделала большой путь, но куда — не захотела сказать, даже вот сейчас, когда могла говорить. Что, собственно, с ней, как вы считаете?

— Положение опасное,— ответил серьезный голос, в котором Юстасия узнала голос единственного в округе врача.— Оно еще несколько ухудшилось от укуса гадюки, но главное тут истощение сил. Мне кажется, она прошла исключительно большое расстояние.

— Я ей всегда говорил, что нельзя ей много ходить в такую погоду,— горестно сказал Клайм.— А правильно мы сделали, что мазали ранку гадючьим жиром?

— Да, это старинное средство; кажется, именно его употребляли в старину ловцы змей,— отвечал врач.— О нем, как

о безотказном средстве, упоминается у Гоффмана, у Мида и, если не ошибаюсь, у аббата Фонтана. Без сомнения, это лучшее, что вы могли сделать в такой обстановке, хотя для меня еще вопрос, не окажутся ли некоторые другие масла столь же действенными.

— Идите сюда, скорей, скорей! — быстро проговорил мягкий женский голос, и слышно было, как Клайм и доктор пробежали вперед из заднего угла, где они до сих пор стояли.

— Ох, что там? — прошептала Юстасия.

— Это Томазин говорила, — сказал Уайлдвиг. — Значит, они ее уже привезли. Мне бы, пожалуй, следовало туда пойти, да боюсь, как бы хуже не сделать.

Долгое время внутри царило молчание; его нарушил Клайм, испуганно проговорив:

— Доктор, что это значит?

Врач ответил не сразу, под конец сказал:

— Она быстро слабеет. Сердце у нее и раньше было поражено, а физическое истощение нанесло последний удар.

Потом был женский плач, потом ожидание, потом приглушенные возгласы, потом странный задышливый звук, потом тишина.

— Конец, — сказал доктор.

И в глубине хижины поселяне прошептали:

— Миссис Ибрайт умерла.

Почти в ту же минуту Уайлдвиг и Юстасия увидели, что перед открытой стороной навеса обрисовалась худенькая, по старинке одетая детская фигурка. Сюзен Нонсеч, узнав сына, подошла к выходу и махнула ему рукой, чтоб уходил.

— Я должен тебе что-то сказать, мама, — пронзительным голосом прокричал мальчик. — Вон та женщина, что сейчас спит, — мы с ней сегодня шли вместе; и она сказала, чтобы я тебе сказал, что я ее видел и что она женщина с разбитым сердцем, которую отверг родной сын, и тогда я пошел домой.

Неясное рыданье послышалось внутри, и Юстасия тихо ахнула:

— Это Клайм! Я должна бы пойти к нему — но смею ли я?.. Нет. Уйдем.

Когда они уже довольно далеко отошли от навеса, она хрипло проговорила:

— Во всем этом виновата я. И теперь беды мне не миновать.

— Разве ее в конце концов не пустили в дом?

— Да. От этого-то все и вышло... О, что же мне теперь делать!.. Нет, я не буду им мешать, пойду прямо домой. Дэймон, прощайте! Сейчас я больше не могу с вами говорить.

Они расстались; и, взойдя на следующий холм, Юстасия оглянулась назад. Печальная процессия двигалась при свете фонарей от лачуги по направлению к Блумс-Энду. Уайлдвиг где не было видно.



РАЗОБЛАЧЕНИЕ

ГЛАВА I

«НА ЧТО ДАН СТРАДАЛЬЦУ СВЕТ...»

Однажды вечером, примерно через три недели после похорон миссис Ибрайт, когда серебряное лицо луны бросало связку лучей прямо на половицы домика в Олдерворте, из передней его двери вышла женщина. Она подошла к садовой калитке и оперлась на нее, видимо, не имея другой цели, как просто немного проветриться. Бледное лунное сияние, которое уродин превращает в красавиц, сообщало божественность этому лицу, и без того прекрасному.

Она еще недолго стояла там, когда на дороге показался мужчина и, приблизившись, нерешительно спросил:

— Простите, мэм, как он сегодня?

— Лучше, но все-таки очень плох, Хемффри, — отвечала Юстасия.

— Все бредит, мэм?

— Нет. Теперь он в полном сознании.

— И по-прежнему все о матери говорит, бедняга? — продолжал Хемффри.

— Да, не меньше прежнего, но немного спокойнее, — сказала она тихо.

— Вот ведь какое несчастье, что мальчонка этот, Джонни, последние материны слова ему передал — насчет разбитого сердца и что родной сын ее отверг. Этакое услыхать — всякий расстроится.

Юстасия ничего не ответила, у нее только вырвался короткий вздох, как будто она пыталась заговорить, но не могла, и Хемффри, видя, что она не расположена продолжать разговор, двинулся обратно, домой.

Юстасия повернулась, вошла в дом, поднялась в спальню, где горела притененная лампа.

— Это ты, Юстасия? — спросил он, когда она села.

— Да, Клайм. Я выходила к калитке. Луна так чудно сияет, и ни один лист не шелохнется.

— Сияет?.. Что до луны такому, как я? Пусть сияет — пусть все будет, как будет, только дал бы мне бог не увидеть завтрашнего дня!.. Юстасия, я не знаю, куда деваться, — мои мысли пронзают меня, как мечами. Если кто захочет обессмертить себя, написав картину самого жалкого несчастья, пусть приходит сюда!

— Зачем ты так говоришь?

— Я не могу забыть, что я все сделал, чтобы убить ее.

— Это неверно, Клайм.

— Нет, это так; нечего искать мне оправданий. Я вел себя отвратительно — я не пошел ей навстречу, а она не могла заставить себя простить мне. А теперь она умерла! Если б только я немножко раньше показал ей, что готов помириться, если бы мы уже опять стали друзьями и потом она умерла, было бы не так ужасно. Но я ни разу не пришел к ней, и она ни разу не пришла ко мне и так и не узнала, с какой радостью ее бы встретили, — вот что меня мучит. Она так и не узнала, что я в этот самый вечер уже шел к ней, — она была без сознания и не поняла меня. Ах, если б только она пришла ко мне! Я так ждал ее. Но этому не суждено было быть.

У Юстасии вырвался один из тех судорожных вздохов, которые потрясали ее, как лихорадочная дрожь. Она еще не призналась ему.

Но, слишком поглощенный своими бессвязными мыслями, порождением раскаяния, Ибрайт не замечал ее. Всю свою болезнь он почти безостановочно говорил. Первоначальное его горе было доведено до степени отчаяния так некстати случившимся появлением мальчика, принявшего последние слова миссис Ибрайт — слишком горькие слова, произнесенные в час заблуждения. И тогда горе раздавило его, и он стал жаждать смерти, как пахарь жаждет тени. Жалкое зрелище — человек, помещенный в самый фокус душевной боли. Он все время оплакивал свое слишком позднее решение пойти к матери, так как это была ошибка, которую уже нельзя исправить, твердил, что, наверно, его сознание было мерзостно извращено каким-то демоном, иначе он давно бы понял, что его долг пойти к матери, раз она не идет к нему. Он требовал, чтобы Юстасия соглашалась с его самообвинениями, и когда она, сжигаемая изнутри тайной, которую не смела открыть, отказывалась судить кого бы то ни было, он говорил: «Это потому, что ты не знала моей мамы. Она всегда была готова простить, если ее просили. Но ей казалось, что я веду себя, как упрямый ребенок, и это делало ее неуступчивой. Да не то чтобы неуступчивой — гордой и замкнутой, только и всего... Я понимаю, почему она так долго не сдавалась. Она ждала меня. Наверно, сто раз говорила с болью в сердце: «Вот его благодарность за все жертвы, которые я при-

несла ради него!» А я все не шел! А когда уж собрался, было поздно. Ах, одна мысль об этом невыносима!

Временами он испытывал одно голое раскаяние, не смягченное ни единой слезой беспримесного горя; и тогда он метался в постели, воспаленный мыслью больше, чем телесным педугом.

— Будь еще у меня хоть какое-нибудь доказательство, что она, умирая, не думала, что я затаил против нее злобу, — сказал он однажды, когда на него нашел подобный стих. — Было бы таким облегчением, если бы я мог в это поверить. Но я не могу.

— Ты слишком предаешься отчаянию, — сказала Юстасия. — У других тоже умирали матери.

— От этого моя потеря не меньше. А кроме того, дело ведь не только в потере, а еще и в том, что ее сопровождало. Я согрешил против нее, и поэтому для меня нет просвета.

— По-моему, это она согрешила против тебя.

— Нет. Вся вина была моя. Так пусть же на меня и падет вся кара!

— Мне кажется, ты это говоришь, не подумавши, — ответила Юстасия. — Холостые мужчины еще имеют право проклинать себя, сколько им заблагорассудится, но те, у кого есть жены, должны бы помнить, что навлекают беду на двоих, когда просят для себя кары.

— Я так отупел сейчас, что как-то не могу уследить за твоей мыслью, — проговорил Клайм. — День и ночь я слышу голос: «Ты помогал убивать ее». Но, невидя и презирая себя, я, возможно, бываю несправедлив к тебе, бедная моя жена. Прости мне это, Юстасия, я иной раз сам не знаю, что делаю.

Юстасия избегала смотреть на мужа, когда он бывал в таком состоянии, ибо это зрелище было так же страшно для нее, как крестные муки Христа для Иуды Искариота. Оно тотчас вызывало призрак измученной женщины, которая стучит в дверь, а ей не открывают; снова и снова видеть это Юстасия была не в силах. Но для самого Ибрайта лучше было открыто говорить о своем раскаянии, потому что молча он страдал еще сильнее и иногда так долго оставался в мучительном душевном напряжении, так изводился от грызущих мыслей, что становилось прямо необходимо заставлять его говорить вслух и потребным для этого усилием в какой-то степени разрезать свое горе.

Вскоре после того, как Юстасия вернулась со своей недолгой прогулки, легкие шаги приблизились к дому, и служанка доложила, что пришла Томазин.

— А, Томазин! Спасибо, что собралась меня навестить, — сказал Клайм, когда она вошла в комнату. — Вот лежу, как видишь. И представляю собой такое жалкое зрелище, что мне стыдно кому-нибудь показываться, даже тебе.

— Меня ты не должен стыдиться, милый Клайм, — с чувством проговорила Томазин своим певчим голосом, который для большого был как глоток свежего воздуха в Черной яме. —

Ничто в тебе не может задеть меня или оттолкнуть. Я и раньше сюда приходила, только ты не помнишь.

— Нет, помню; я и сейчас не в бреду, и раньше не был. Не верь, если тебе скажут, что был. Просто я очень горюю о том, что сделал, и я еще очень слаб от этого, и кажется, будто я не в себе. Но рассудок мой не поврежден. Неужели я помнил бы все о смерти мамы, если бы помешался в уме? Нет, такого счастья мне не дано. Два с половиной месяца, Томазин, последние в ее жизни, моя бедная мать жила одна, горюя и печалась из-за меня, а я не посетил ее, хотя жил всего в шести милях от ее дома. Два с половиной месяца — семьдесят пять дней — солнце вставало и садилось над ней, влачившей жизнь в такой заброшенности, какой и собака не заслуживает! Бедные люди, совсем чужие ей, пришли бы и позаботились о ней, если бы знали, насколько она больна и одинока, но я, который должен был все для нее сделать, я и близко не подошел, презренный. Если бог хоть сколько-нибудь справедлив, он должен меня убить. Он уже наполовину ослепил меня, но этого недостаточно. Пусть поразит меня еще худшей болью, тогда я в него поверю.

— Т-сс, т-сс! О, Клайм, ради бога, не надо, не надо так говорить! — испуганно взмолилась Томазин со слезами и рыданиями; и Юстасию, сидевшую в дальнем углу, повело на стуле, хотя бледное лицо ее оставалось спокойным. Клайм продолжал, не слушая Томазин:

— Но я недостойн даже получать дальнейшие доказательства небесного гнева. Ты считаешь, Томазин, что она меня узнала? Что она, умирая, не была во власти этого ужасного заблуждения, которое не знаю откуда у нее взялось, — будто я ее не простил? Если бы ты могла за это поручиться! А ты как думаешь, Юстасия? Скажи.

— Мне кажется, я могу поручиться, что в последнюю минуту она лучше тебя поняла, — сказала Томазин. Бледная Юстасия ничего не ответила.

— Зачем она не пришла ко мне? Я с такой радостью бы ее принял, показал бы ей, как я ее люблю, невзирая ни на что. Но она не пришла, и я к ней не пошел, и она умерла на пустоши, как животное, которое пинками прогнали из дому, и никого не было возле нее, чтобы помочь ей, пока не поздно. Если бы ты видела ее, Томазин, как я ее увидел, когда она, несчастная, умирающая, лежала одна в темноте на голой земле, и никого поблизости, и, стонала и, наверно, чувствовала себя покинутой всем миром, — это тронуло бы тебя до боли, это последнего грубияна бы тронуло. И эта несчастная женщина была моя мать! Не удивительно, что она сказала тому ребенку: «Ты видел женщину с разбитым сердцем». До чего же она должна была дойти, чтобы это вымолвить! И кто же все это сделал, как не я? Об этом слишком страшно думать, и я хочу, чтобы меня еще жестче покарали. Долго я был то, что они называют «не в себе»?

— Неделю, кажется.

— А потом я стал спокоен.
— Да, уже четверо суток.
— А потом я перестал быть спокойным.
— Но постарайся не волноваться и увидишь, ты скоро будешь здоров. Если бы ты мог выбросить из памяти это впечатление...

— Да, да,— нетерпеливо сказал Клайм.— Но я вовсе не хочу быть здоровым. Какой смысл мне выздоравливать? Для меня было бы гораздо лучше, если б я умер, и, во всяком случае, это было бы лучше для Юстасии. Она здесь?

— Да.

— Юстасия, ведь лучше было бы для тебя, если бы я умер?

— Клайм, милый, не задавай мне таких вопросов.

— Да ведь это только так, предположение, потому что, к несчастью, я останусь в живых. Я чувствую, что мне лучше. Томазин, сколько ты еще поживешь в гостинице теперь, когда твой муж так разбогател?

— Месяц или два, пока совсем не оправлюсь. До тех пор мы не можем уехать. Да, наверно, месяц с лишком.

— Да, да, конечно. Ах, сестрица Тамзи, все твои печали пройдут, какой-нибудь месяц все изменит и принесет тебе утешение, но моя печаль никогда не пройдет, и не будет мне утешения!

— Клайм, ты несправедлив к самому себе. Поверь мне, тетя всегда думала о тебе с любовью. Я знаю, если бы она была жива, вы бы давно помирились.

— Но она не пришла ко мне, хотя я ее звал перед тем, как жениться. Если б она пришла или я бы пошел к ней, ей не довелось бы умереть со словами: «Я женщина с разбитым сердцем, отвергнутая родным сыном». Моя дверь всегда была открыта для нее, ее всегда ждал радушный прием. Но она не пришла.

— Не надо тебе больше говорить, Клайм,— сказала Юстасия слабым голосом; эта сцена становилась слишком тяжела для ее нервов.

— Давай лучше я поговорю те несколько минут, что мне еще осталось быть здесь,— умиротворяюще сказала Томазин.— Подумай, Клайм, как ты односторонне на все это смотришь. Когда она говорила это мальчику, ты еще не нашел ее и не взял в свои объятия. Может быть, это вырвалось у нее в какую-то гневную минуту. Тете случалось говорить так — срыву. Она иногда и со мной так говорила. И хотя она не пришла к тебе, я убеждена, что она хотела прийти. Неужели ты веришь, что мать может жить два-три месяца без единой доброй мысли о сыне? Она простила мне, почему бы ей не простить тебе?

— Ты старалась вернуть ее расположение, а я ничего не сделал. Я собирался открывать людям высшие тайны счастья, а сам был неспособен предотвратить такое ужасное горе, хотя самые простые, неученые люди умеют его избегать.

— Как вы сегодня добрались к нам, Томазин? — спросила Юстасия.

— Дэймон подвез меня до поворота. У него какое-то дело в деревне, а на обратном пути он за мной заедет.

И в самом деле, вскоре они услышали стук колес. Уайлдив приехал и ждал перед домом с лошадью и двуколкой.

— Пошлите сказать, что я через две минуты буду готова, — сказала Томазин.

— Я сама пойду, — отвечала Юстасия.

Она спустилась вниз. Когда она растворила дверь, Уайлдив, уже сошедший с экипажа, стоял возле головы лошади. Чем-то занятый, он несколько секунд не оборачивался в уверенности, что вышла Томазин. Потом оглянулся, чуть-чуть вздрогнул и произнес только одно слово:

— Ну?

— Я еще не сказала ему, — шепотом проговорила Юстасия.

— И не надо, пока он не выздоровеет — сейчас это опасно. Вы и сами больны.

— Я несчастна... О, Дэймон, — говорила она, заливаясь слезами, — я... я не могу выразить, до чего я несчастна! Я едва терплю. И никому нельзя сказать, никто не знает, только ты.

— Бедняжка! — сказал Уайлдив; он был, видимо, тронут и, вопреки обычной сдержанности, даже взял ее за руку. — Несправедливо, что ты оказалась запутанной в такую сеть, хотя ничего не сделала, чтобы это заслужить. Ты не создана для таких горестей. И больше всего тут я виноват. Зачем только я не спас тебя от всего этого!

— Но, Дэймон, ради бога, скажи, что мне делать? Час за часом сидеть с ним и слышать, как он укоряет себя за то, что стал причиной ее смерти, и знать, что если уж кто в этом виноват, то только я, — это доводит меня до отчаяния. Я не знаю, что делать. Сказать ему или не сказать? Все время задаю себе этот вопрос. О, я очень хочу сказать, но я боюсь. Если он узнает, он наверняка убьет меня, потому что ничто другое не будет равно по силе его теперешнему горю. «Страшись негодованья терпеливых» — эта строка все время звучит у меня в ушах, когда я на него смотрю.

— Подожди, пока он поправится, и тогда рискни. И когда будешь говорить, говори не все — ради его собственного блага.

— О чем я должна умолчать?

Уайлдив помедлил.

— О том, что я был в то время в доме, — сказал он, понизив голос.

— Да, это нужно скрыть, принимая во внимание, какие слухи про нас ходили. Насколько легче совершать неосторожные поступки, чем придумывать для них объяснения!

— Если бы он умер... — пробормотал Уайлдив.

— Не падо об этом и думать! Если б я даже не увидела его, я не купила бы надежды на безопасность таким низким по-

желаньем. Ну, пойду опять к нему. Томазин просила вам передать, что через пять минут выйдет. Прощайте.

Она вернулась в дом, и вскоре появилась Томазин. Когда она уселась рядом с мужем и лошадь уже поворачивала на прямую, Уайлдив поднял глаза к окнам спальни. В одном из них он различил бледное, трагическое лицо, следившее за тем, как он уезжает. Это была Юстасия.

ГЛАВА II

ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ ПРОНЗАЕТ ТЕМНОЕ СОЗНАНИЕ

Горе Клайма износило само себя; наступило облегчение. Силы к нему вернулись, и через месяц после разговора с Томазин он уже мог прохаживаться по саду. Терпение и отчаяние, самообладание и подавленность, краски здоровья и бледность смерти странно смешивались в его лице. Теперь он никогда не заговаривал ни о чем связанном с матерью, и хотя Юстасия знала, что он не меньше прежнего думает о ней, она рада была избежать этой темы и, уж конечно, сама не стала бы ее вновь поднимать. Пока ум Клайма был ослаблен, сердце побуждало его говорить, но теперь рассудок восстановил свою власть, и Клайм погрузился в молчание.

Однажды, когда Клайм стоял в саду и рассеянно выковыривал палкой какую-то сорную травинку, костлявая фигура обогнула угол дома и приблизилась к нему.

— А, это ты, Христиан? — сказал Клайм. — Очень хорошо, что пришел. Ты мне скоро понадобишься. Надо будет пойти в Блумс-Энд, поможешь мне привести дом в порядок. Там, надеюсь, все заперто, как я оставил?

— Да, мистер Клайм.

— Выкопал ты картофель и что там еще оставалось?

— А как же, все выкопал, и дождя, слава богу, ни капли не было. Но я сейчас пришел вам про другое сказать, совсем обратное тому, что недавно у вас в семье приключилось. Меня этот богатый господин из гостиницы послал, которого мы досель трактирщиком звали, — велел сказать, что миссис Уайлдив благополучно разрешилась дочкой ровно в час пополудни, а может, минуткой раньше либо позже; и говорят, только этого прибывка они и ждали, из-за того только тут у нас и задерживались с той поры, как разбогатели.

— А она, ты говоришь, уже хорошо себя чувствует?

— Да, сэр. Только мистер Уайлдив будто бы все ворчит, за чем не мальчик, это они там на кухне меж собой говорили, а я и услышал ненароком.

— Христиан, можешь ты меня внимательно выслушать?

— Ну конечно, мистер Ибрайт.

— Скажи, ты видел мою мать накануне того дня, когда она умерла?

— Нет, не видал.

Лицо Ибрайт омрачилось.

— Но я ее видел утром того дня, когда она умерла.

Лицо Клайма снова просветлело.

— Ну, это еще ближе к тому, что меня интересует,— сказал он.

— Да, я хорошо помню, что это было в тот день, потому она мне сказала: «Я сегодня иду повидаться с ним, так что можешь не приносить мне овощей для обеда».

— С кем повидаться?

— Да с вами же. Она же собиралась к вам идти.

Ибрайт в изумлении воззрился на Христиана.

— Почему ты раньше никогда об этом не упоминал? Ты уверен, что она именно ко мне хотела идти?

— Ну как же не уверен! А не упоминал, потому что не видал вас последнее время. Да потом она же не дошла, так это все равно, что ничего и не было, не о чем и говорить.

— А я-то удивлялся, куда она вздумала идти по пустоши в такой жаркий день! А не говорила она, зачем она решила ко мне идти? Это очень важно, Христиан, мне необходимо знать.

— Понимаю, мистер Клайм. Мне-то не сказала, но кое-кому, какись, говорила.

— А ты хоть одного такого человека знаешь?

— Одного, пожалуй, и знаю, только вы, сэр, ради бога, моего имени ему не называйте, а то я все вижу его в таких странных местах, особенно во сне. Прошлым летом раз ночью он так на меня глазами сверкал, прямо как ножом резал, мне после того так худо было, я два дня даже волосы не причесывал. Он стоял, мистер Ибрайт, на самой середине дороги на Мистоввер, а ваша матушка подошла, бледная-пребледная...

— Ну! Когда ты это видел?

— Да прошлым летом, во сне.

— Тьфу! А кто этот человек?

— Диггори, охряник. Он вечером к ней зашел, и долго они вместе сидели, и было это накануне того дня, когда она решила к вам идти. Это уж точно, я тогда еще домой не ушел, еще в саду работал,— смотрю, а он как раз и входит в калитку.

— Я должен повидать Венна; какая жалость, что я раньше этого не знал,— в волнении воскликнул Клайм.— Только почему он сам не пришел мне сказать?

— Да он на другой день совсем уехал из Эгдона, так, верно, не знал, что вам нужен.

— Христиан,— сказал Клайм,— ступай, отыщи мне Венна. Я занят сейчас, а то бы сам пошел. Сейчас же отыщи его и скажи, что мне надо с ним поговорить.

— Днем-то я хорошо умею людей искать,— сказал Христиан, нерешительно оглядываясь на меркнущий закат,— ну, а

ночью за ними по пустоши гоняться — это вроде дело мне несподручное, мистер Ибрайт.

— Да ищи, когда хочешь, только скорей его приводи. Завтра, если сможешь.

После чего Христиан удалился. Настало утро, но Вена не было и в помине. Вечером приплелся Христиан, до крайности усталый. Он искал весь день, но ничего даже не слышал об охряннике.

— Продолжай завтра, сколько сможешь, не запуская своей работы, — сказал Ибрайт. — Всех спрашивай. И не приходи, пока его не найдешь.

На другой день Ибрайт отправился в Блумс-Энд, в старый дом, который теперь, вместе с садом, стал его собственностью. Вначале его тяжелая болезнь помешала переезду, но теперь уже стало необходимо ему как наследнику этого маленького владенья осмотреть дом и все в нем содержащееся, для каковой цели он решил там и переночевать.

Он шел себе и шел, не быстрым и размашистым шагом, но медлительной, неверной поступью, как человек, только что очнувшийся от одуряющего сна. Время едва перевалило за полдень, когда он спустился в долину. Вид дома и его окрестностей, выражение, краски — все это было точь-в-точь такое, как он уже столько раз видел в этот час дня в былые годы, и это внезапно ожившее прошлое внушало мысль, что и та, кого уже не было в живых, сейчас выйдет приветствовать сына. Садовая калитка была заперта, и ставни закрыты, как он их оставил вечером после похорон. Он отпер калитку и увидел, что паук сплел большую паутину между дверцей и перемычкой, исходя, очевидно, из убеждения, что эту калитку уж больше никогда открывать не будут. Войдя в дом и распахнув ставни, Клайм принялся за дело — стал осматривать шкафы и чуланы, жечь бумаги и соображать, как лучше подготовить дом к приему Юстасии, которой предстояло пожить здесь до того времени, когда он будет в состоянии осуществить свой так сильно запаздывающий план — если это время вообще когда-нибудь наступит.

Оглядывая комнаты, он все отчетливее чувствовал, как ему не нравятся те перемены, которые придется внести в их освященное стариной, еще дедами заведенное убранство, чтобы приспособить его к более современным вкусам Юстасии. Долгоязыкие стоячие часы в дубовом футляре с картинками — «Вознесением господним» на дверце и «Чудесным уловом» на подножье; бабушкин угольный поставец со стеклянкой дверцей, сквозь которую видны были фарфоровые чашки, расписанные под горошек; столик для закусок; деревянные подносы; висячий умывальник с медным краном — куда придется сослать все эти почтенные предметы?

Он заметил, что цветы на подоконниках засохли, и выставил их на выступ стены за окном, чтобы их убрали. И, зани-

маясь всем этим, он услышал шаги по гравию перед домом, а затем стук в дверь.

Он отпер дверь — перед ним стоял Венн.

— С добрым утром, — сказал охряник. — Миссис Ибрайт дома?

Клайм опустил глаза.

— Вы, значит, не видали Христиана и никого из здешних?

— Никого не видал. Я уезжал надолго и только что вернулся. А к вашей матушке я заходил накануне отъезда.

— И вы ничего не слышали?

— Нет.

— Моя мать — умерла.

— Умерла! — машинально повторил Венн.

— Она теперь там, где и я хотел бы быть.

Венн пристально поглядел на него, затем сказал:

— Если б я не видел сейчас вашего лица, я бы не поверил вашим словам. Вы были больны?

— Да, прихворнул немного.

— Какие перемены! Когда я расставался с ней месяц назад, казалось, она готовится начать новую жизнь.

— И то, что казалось, стало истиной.

— Это вы, конечно, верно говорите. Несчастье научило вас вкладывать в слова более глубокий смысл, чем, скажем, у меня. Я ведь только насчет ее здешней жизни думал. Слишком рано она умерла.

— Может быть, потому, что я жил слишком долго. На этот счет, Дитгори, у меня были тяжелые переживания за последний месяц. Но заходите, я очень хотел вас видеть.

Он повел охряника в большую комнату, в которой на прошлых святках происходили танцы, и оба уселись на ларе у камина.

— Видите этот холодный очаг? — сказал Клайм. — Когда горели вот эти наполовину обугленные поленья, она была еще жива. Тут мало что изменилось. Я не в силах что-либо предпринять. Моя жизнь ползет, как улитка.

— Отчего она умерла? — спросил Венн.

Ибрайт сообщил ему некоторые подробности о ее болезни и смерти и добавил:

— После этого самая жестокая боль будет казаться мне не более чем легким нездоровьем. Но я хотел кое о чем вас спросить, а сам все скатываюсь на другое, словно пьяный. Мне хотелось бы знать, что моя мать сказала вам, когда в последний раз вас видела? Вы ведь, кажется, долго с ней разговаривали?

— Больше получаса.

— Обо мне?

— Да. И то, о чем мы говорили, думается мне, как раз и было причиной, почему она оказалась на пустоши. Она шла к вам, тут и сомнений быть не может.

— Но зачем же она пошла ко мне, если так была на меня обижена? Вот в чем загадка.

— А я знаю, что она вам все простила.

— Но, Диггори! Если женщина простила сына и идет к нему мириться и, допустим, ей стало дурно на дороге — разве скажет она тогда, что ее сердце разбито, потому что сын жестоко с ней поступил? Да никогда!

— Я знаю одно — что она вас уже ни в чем не винила. Она винила во всем себя — и только себя. Я это слышал из собственных ее уст.

— Вы слышали из ее собственных уст, что я ничем ее не обидел, а другой слышал из собственных ее уст, что я жестоко ее обидел. Моя мать была не какая-нибудь взбалмошная особа, которая каждый час и без причины меняет свое мнение. Как могло быть, Венц, что она с такими небольшими промежутками говорила такие разные вещи?

— Не знаю. Оно и правда странно, ежели она простила вам и простила вашей жене и нарочно шла к вам, чтобы помириться.

— Только этой странности и не хватало, чтобы у меня голова совсем пошла кругом! Диггори, если бы нам, оставшимся в живых, было позволено беседовать с умершими — хоть раз, хоть одну минуту, хотя бы сквозь железную решетку, как с заключенными в тюрьме, — чего бы только мы не узнали! Сколь многим, кто сейчас ходит, улыбаясь, пришлось бы скрыть лицо свое! А эта загадка — я тотчас бы знал ответ. Но моя мать навеки скрылась в могиле — и как нам теперь разгадать ее тайну?

На это охрипик ничего не ответил, ибо отвечать было печего, и когда несколькими минутами позже он удалился, для Клайма однообразие печали уже сменилось колебаниями и муками неизвестности.

Так он терзался до вечера. На ночь соседка постлала ему постель в одной из комнат, чтобы ему не пришлось завтра опять возвращаться, но когда он лег один в пустом доме, сон бежал от его глаз, и он продолжал бодрствовать час за часом, передумывая все те же мысли. Решить эту загадку смерти казалось ему более важным делом, чем самые насущные задачи живых. В памяти его навсегда поселился отчетливый образ мальчика, каким он предстал ему в ту минуту, когда заглянул в лачугу, где лежала мать Клайма. Круглые глаза, живой взгляд, пискливый голос, выговаривавший роковые слова, — все это запечатлелось у него в мозгу, словно вырезанное стилетом.

Посетить мальчика, постараться узнать новые подробности — эта мысль напрашивалась сама собой, хотя такая попытка могла оказаться бесплодной. Раскапывать спустя полтора месяца в памяти ребенка не какие-нибудь простые факты, которые он видел и понимал, но то, что по самой своей природе было выше его понимания, — это едва ли обещало успех; но когда все явные пути заперты, мы начинаем ощупью искать

другие, темные и неприметные. Это последнее, что еще можно сделать, а потом он предоставит этой загадке кануть в пропасть не поддающихся раскрытию тайн.

Уже светало, когда он пришел к такому решению; и он тотчас встал. Он запер дом и вышел на травянистую ленту, которая дальше сливалась с вереском. Напротив белого палисада тропа разделялась на три, как на английском правительственном клейме. Правая дорога вела к «Молчаливой женщине» и ее окрестностям; средняя — на Мистоверский холм; левая переваливала через холм в другую часть Мистовера, где и жил мальчик. Вступив на эту последнюю, Ибрайт ощутил какой-то ползучий озноб, многим, и кроме него, знакомый и, вероятно, вызванный не прогретым еще утренним воздухом. Но, вспоминая о том впоследствии, он склонен был придавать ему особое значение.

Когда Ибрайт подошел к дому Сьюзен Нонсеч, матери мальчика, оказалось, что его обитатели еще не вставали. Но в эгдонских нагорных поселках переход из постели под открытое небо совершается удивительно быстро и легко. Плотная перегородка из зевков, омовений и прихорашиваний не отделяет там ночное человечество от дневного. Клайм постучал о подоконник верхнего окна — он мог дотянуться до него своей тростью, — и через три-четыре минуты хозяйка сошла вниз.

Только теперь Клайм вспомнил, что Сьюзен и есть та женщина, которая когда-то так варварски поступила с Юстасией. Отчасти этим объяснялся не слишком любезный прием, оказанный ею сейчас Клайму. Но, кроме того, мальчик опять хворал, и на этот раз, как и во все разы после того вечера, когда его заставили быть кочегаром при костре на усадьбе капитана Вэя, Сьюзен приписывала его недомоганье колдовству Юстасии. Это было одно из тех тайных суеверий, которые, словно кроты, прячутся под видимой поверхностью быта, и в данном случае оно, возможно, подкреплялось еще тем, что, когда капитан хотел преследовать Сьюзен по суду за ее выходку в церкви, сама Юстасия просила его отказаться от иска, что он и сделал.

Ибрайт подавил отвращение к ней — ведь к его матери Сьюзен, во всяком случае, относилась хорошо. Он ласково спросил о здоровье мальчика, но Сьюзен от этого не стала приветливее.

— Я хотел бы повидать его, — продолжал Клайм с некоторым колебанием, — и спросить, не помнит ли он еще чего-нибудь о прогулке с моей матерью, чего раньше не говорил.

Она посмотрела на него каким-то особенным и несколько ироническим взглядом. Не будь у Клайма так ослаблено зрение, этот взгляд ясно сказал бы ему: «Хочешь, чтобы тебя еще стукнули, даром что и от прежних-то ударов еле жив?»

Она предложила Клайму сесть на табуретку, кликнула мальчика и сказала ему, когда он сошел вниз:

— Джонни, расскажи мистеру Ибрайту все, что можешь вспомнить.

— Ты не забыл, как ты гулял с той пожилой дамой, что потом умерла, еще когда был такой жаркий день, помнишь? — начал Ибрайт.

— Помню, — сказал мальчик.

— И что же она тебе сказала?

Мальчик точно повторил те слова, с которыми он тогда вошел в лачугу. Ибрайт оперся локтем о стол и заслонил лицо ладонью, и мать Джонни смотрела на него с таким выражением, словно удивлялась, как можно еще просить того, что так больно тебя ранит.

— Она шла в Олдерворт, когда ты ее встретил?

— Нет, она шла оттуда.

— Этого не может быть.

— Нет, может. Она шла рядом со мной, а я тоже оттуда шел.

— Так где же ты ее в первый-то раз увидел?

— Возле вашего дома.

— Будь внимателен и говори правду! — строго приказал Клайм.

— Да, сэр. У вашего дома — вот где я ее в первый раз увидел.

Клайм выпрямился на табурете, а на лице Сьюзен появилась улыбка предвкушенья, отнюдь ее не красившая и как будто говорившая: «Что-то злое к нам спешит!»

— Что она делала возле моего дома?

— Пошла и села под деревьями на Дьяволовых мехах.

— Боже мой! Это полная новость для меня!

— Почему ты мне раньше этого не говорил? — спросила Сьюзен.

— Я боялся, мама, вдруг ты рассердишься, зачем я так далеко ушел. Я собирал голубику, а она ближе не растет.

— И что же она там делала, на пригорке?

— Смотрела, как какой-то мужчина подошел к дому и вошел в дверь.

— Ну да, это был я — сборщик дрока с ежевичными ветками в руках.

— Нет, это были не вы. Этот был одет, как городской. А вы еще раньше вошли.

— А кто он такой?

— Не знаю.

— Ну говори, что было дальше.

— Эта пожилая дама, что потом умерла, она пошла и постучала к вам в дверь, а молодая с черными волосами выглянула в окошко и посмотрела на нее.

Мать Джонни повернулась к Клайму и сказала:

— Что? Этого вы не ожидали?

Он обратил на нее не больше внимания, чем если бы был каменным.

— Говори, говори,— хриплым голосом сказал он мальчику.

— Когда старая дама увидела, что молодая смотрит на нее из окна, она опять постучала, а когда никто не пришел, она взяла серп и стала смотреть на него, а потом положила и стала смотреть на ежевичные ветки, а потом ушла и прямо пошла по вереску туда, где я был, и она очень громко дышала — вот так. Потом мы пошли вместе, она и я, и я говорил с ней, и она поговорила со мной, по немного, потому что не могла хорошо дышать.

— О! — тихо простонал Клайм и опустил голову.— Говори еще,— сказал он.

— Она не могла много говорить и не могла идти, и лицо у нее было у-у какое страшное!

— Какое у нее было лицо?

— Как теперь у вас.

Женщина посмотрела на Ибрайт и увидела, что лицо у него белое как полотно и покрытое холодным потом.

— Пожалуй, есть в этом смысл, а? — вкрадчиво сказала она.— Что вы теперь о ней думаете?

— Молчать! — яростно сказал Клайм. Он повернулся к мальчику: — И тогда ты оставил ее умирать?

— Нет,— быстро и сердито вмешалась женщина.— Он не оставил ее умирать. Она сама его отослала. Кто говорит, что он бросил ее, говорит неправду.

— Не беспокойтесь об этом,— выговорил Клайм дрожащими губами.— То, что он сделал, это пустяки по сравнению с тем, что он видел. Дверь была заперта, ты говоришь? Дверь заперта, а она смотрела в окно? Господи боже мой! Что это значит?

Ребенок попятился, оробев под взглядом своего допросчика.

— Он так говорит,— сказала его мать,— а Джонни богобоязненный мальчик и никогда не лжет.

— «Отвергнута родным сыном!» Нет, клянусь тебе, мама, это не так! Не твоим сыном, а этой... этой... этой... Так дай же бог, чтобы все убийцы получили возмездие, какого заслуживают!

С этими словами Ибрайт ушел из домика на взгорье. Зрачки его глаз, устремленных в пустоту, слабо светились каким-то ледяным светом, рот приобрел ту складку, которую художники иногда с большей или меньшей долей изобретательности придавали изображеньям Эдипа. Он был в том состоянии, когда возможны самые безумные поступки. Но они не были возможны здесь. Вместо бледного лица Юстасии и смутной мужской фигуры перед ним были невозмутимые просторы вересковой пустоши; она, вытерпев непоколебимо гигантский натиск столетий, одним своим древним морщинистым ликом сводила к ничтожеству все самые неистовые волнения отдельного человека.

ГЛАВА III

ЮСТАСИЯ ОДЕВАЕТСЯ В НЕДОБРОЕ УТРО

Огромное бесстрашие всего окружающего прошикло даже в сознание Клайма во время его стремительного возвращения в Олдерворт. Однажды он уже испытал на самом себе это подавление страстного неодоушевленным, но там дело шло о страсти много более приятной, чем бушевавшая в нем сейчас. Это было в тот вечер, когда, расставшись с Юстасией, он стоял у края пустоши, где за гранью холмов открывалась влажная, плоская, немая низина.

Но он отбрасывал все такие воспоминанья, и снова шел вперед, и очутился наконец перед своим домом. Шторы в спальне Юстасии еще были задернуты, — не в ее обычае было вставать так рано. Живого возле дома был только одинокий дрозд, который на каменной плите крыльца расклевывал маленькую улитку себе на завтрак, и стук его клюва казался громким среди окружающей тишины. Но, подойдя к двери, Клайм обнаружил, что она не заперта, — очевидно, служанка Юстасии уже встала и чем-то занималась на задах усадьбы. Ибрайт вошел и прямо направился в комнату жены.

Должно быть, шум его шагов разбудил ее, потому что, когда он отворил дверь, она стояла в ночной сорочке перед зеркалом, прихватив одной рукой концы своих кос и памереваясь завернуть их в узел на голове, прежде чем приступить к дальнейшему утреннему туалету. Юстасия была не из тех женщин, которые спешат первыми заговорить при встрече, и она, даже не повернув головы, предоставила Клайму молча пройти через комнату. Он подошел к ней сзади, и она увидела в зеркале его лицо. Оно было серое, как пепел, осунувшееся, страшное. Вместо того чтобы сразу с тревогой и сочувствием вернуться к нему, как даже Юстасия, столь сдержанная в выражении супружеских чувств, сделала бы в прежние дни, до того как обременила себя тайной, она осталась неподвижной, глядя на него в зеркало. И пока она смотрела, истаял светлый румянец, которым тепло и крепкий сон окрасили ее щеки и шею, и мертвенная бледность перекинулась с лица Клайма на ее лицо. Он стоял так близко, что это заметил, и это его подстрекнуло.

— Ага, ты понимаешь, в чем дело, — глухо проговорил он. — Я вижу по твоему лицу.

Она отпустила волосы и уронила руку, и вся масса кудрей рассыпалась по ее плечам и по белой ткани рубашки. Юстасия ничего не ответила.

— Говори, — резко приказал он.

Она все еще продолжала бледнеть — теперь уже и губы ее стали так же бескровны, как и лицо. Она повернулась к нему и сказала:

— Хорошо, Клайм, я буду говорить с тобой. Почему ты вернулся так рано? Я могу что-нибудь сделать для тебя?

— Да, ты можешь меня выслушать. Но, кажется, моя же-нушка не совсем здорова?

— Почему ты думаешь?

— Твое лицо, дорогая, твое лицо. Или, может быть, это серый утренний свет стер все краски? Ну-с, а теперь я открою тебе секрет. Ха-ха!

— Перестань, это ужасно!

— Что?

— Твой смех.

— Ну, так есть же и причины ужасаться. Юстасия, ты держала мое счастье в ладонях и, как злой демон, швырнула его оземь и разбила вдребезги!

Она отстранилась от зеркала, отступила на несколько шагов и посмотрела ему в лицо.

— Ты хочешь меня напугать,— сказала она со смешком.— Стоит ли? Я беззащитна и одна.

— Как удивительно!

— Что ты хочешь сказать?

— Времени у нас много, и я тебе объясню, хотя ты и сама знаешь. Мне удивительно, что в мое отсутствие ты одна. Да уж скажи лучше, где он сейчас, тот, кто был с тобой днем тридцать первого августа? Под кроватью? Или в дымоходе?

Дрожь прошла по ней, колебля легкую ткань рубашки.

— Я не помню так точно дней,— сказала она.— И не помню, чтобы кто-нибудь был со мной, кроме тебя.

— Это был тот день,— начал Ибрайт, и голос его стал громче и жестче,— тот день, когда ты заперла дверь перед моей матерью и убила ее. Ох, нет, это слишком... Не могу! — На минуту он отвернулся и оперся на изножье кровати, потом снова выпрямился.— Расскажи, расскажи мне! Расскажи, слышишь? — вскричал он, подавшись к Юстасии и хватая ее за свободные складки широкого рукава.

Этот жест и эти слова пробили ту внешнюю оболочку робости, в которую нередко облакаются натуры, по сути своей дерзкие и непокорные,— они достигли неподатливой сердцевины ее характера. Алая кровь залила ее лицо, ранее столь бледное.

— Что ты хочешь делать? — спросила она тихим голосом, глядя на него с надменной усмешкой.— Этим ты меня не испугаешь, но жаль будет, если порвешь рукав.

Вместо того чтобы отпустить, он притянул ее к себе еще ближе.

— Расскажи мне все — все — о смерти моей матери,— проговорил он свистящим, прерывистым шепотом,— а не то я... не то я...

— Клайм,— сказала она протяжно,— неужели ты думаешь, что можешь сделать мне что-нибудь, чего я не в силах вынести? Но прежде чем бить, выслушай. Ударами ты ничего от



меня не добьешься, даже если убьешь меня, как оно, вероятно, и будет. Но, может быть, тебе только и надо меня убить?

— Убить тебя! Ты этого ожидаешь?

— Да.

— Почему?

— Только такая степень ярости будет соответствовать силе твоего прошлого горя.

— Ха! Нет, я не буду тебя убивать,— сказал он с презрением, словно вдруг переменив намерение.— Я думал — но нет, не буду. Это значило бы сделать из тебя мученицу, ты тогда будешь там, где она, а я, если бы мог, до конца света не дал бы тебе к ней приблизиться.

— Пожалуй, уж лучше б ты меня убил,— сказала она с унылой горечью.— Смею тебя уверить, я не очень охотно играю ту роль, которую мне довелось в последнее время играть на земле. Ты, мой супруг, тоже небольшое удовольствие.

— Ты заперла дверь — ты смотрела в окно — с тобой был мужчина — ты послала ее умирать. Бесчеловечность — предательство — я тебя не трону — стань подальше — и покайся во всем!

— Никогда! Буду молчать, как сама смерть, которую я готова встретить, хотя могла бы спать половину твоих обвинений, если бы заговорила. Но какая уважающая себя женщина станет заниматься тем, чтобы выметать паутину из мозгов дикаря, да еще после того, как он так с ней обращался? Нет уж, пусть продолжает свое, пусть думает свои тупые мысли и тычется головой в грязь. У меня есть другие заботы.

— Это уж слишком — но я решил щадить тебя.

— Убогое милосердие!

— Юстасия, честное слово, ты напрасно меня язвишь! Я мог бы ответить тем же, да еще и погорячей. Но хватит. Извольте, сударыня, назвать его имя!

— Никогда, я же сказала.

— Как часто он вам пишет? Куда кладет письма — когда с вами видится? Ах да, его письма!.. Ну? Скажешь ты мне его имя?

— Нет.

— Так я сам узнаю. — Его взгляд остановился на маленьком письменном столике, за которым Юстасия обычно писала письма. Клайм подошел к нему. Столик был заперт.

— Отопри!

— Ты не имеешь права требовать. Это мое.

Ни слова не говоря, он поднял столик и грохнул его об пол. Крышка отлетела, высыпался ворох писем.

— Остановись! — воскликнула Юстасия с большим, чем до сих пор, волнением и шагнула вперед.

— Прочь! Не подходи! Я желаю их посмотреть.

Она оглядела рассыпанные по полу письма, сдержалась и, отойдя в сторону, равнодушно смотрела, как он подбирает их и просматривает.

В самих письмах при всем желании нельзя было вычитать ничего, кроме вещей вполне невинных. Исключение составлял адресованный Юстасии пустой конверт; почерк на нем был Уайлддива. Ибрайт поднял его и показал Юстасии. Она упорно молчала.

— Умеете вы читать, сударыня? Посмотрите на этот конверт. Без сомнения, мы вскоре найдем еще другие, да и содержимое их тоже. И я буду иметь удовольствие узнать, каким законченным, многоопытным экспертом в некоем древнем ремесле является моя жена.

— Ты это мне говоришь — мне? — задыхнулась Юстасия.

Он поискал еще, но ничего не нашел.

— Что было в этом письме? — сказал он.

— Спроси того, кто писал. Что я — твоя собака, что ты так со мной разговариваешь?

— Храбришься, да? Все еще не сдаешься? Отвечай! Не смотри на меня такими глазами, словно хочешь опять меня околдовать. Этого не будет, скорее я умру. Так ты отказываешься отвечать?

— После этого я б ничего не сказала, будь я даже невинна, как новорожденный младенец.

— А это далеко не так?

— Совсем невинной я не могу себя считать,— отвечала она.— Я не делала того, что ты думаешь, но если невинен только тот, кто никогда и никому не причинил вреда, то мне нет прощенья. Но я не прошу защиты у твоей совести.

— Какое упорство! Вместо того чтобы тебя ненавидеть, я, кажется, готов бы плакать вместе с тобой и жалеть тебя, если б ты раскаялась и во всем призналась. Простить тебя я не могу. Я не говорю о твоём любовнике — это я готов сбросить со счетов, потому что это затрагивает одного меня. Но то, другое! Если б ты паполовину убила меня, если бы ты преднамеренно отняла зрение у моих бедных глаз, все это я мог бы простить. Но то — выше сил человеческих.

— Ну, довольно. Я обойдусь без твоей жалости. И незачем было тратить столько слов и вслух произносить то, в чем ты потом раскаешься.

— Сейчас я уйду. Я оставляю тебя.

— Можешь не уходить, я сама уйду. Ты будешь так же далеко от меня, если останешься здесь.

— Вспомни о ней — подумай о пей,— сколько в ней было доброты; это видно было в каждой черточке ее лица! У большинства женщин, даже когда они только слегка сердиты, проскальзывает что-то злое в изгибе рта, в уголке щеки, но у нее даже при самом сильном гневе никогда не бывало злого выраженья. Она гневалась легко, но так же легко прощала, под внешней гордостью в ней была кротость ребенка. Где все это теперь? Разве ты умела это ценить? Ты возненавидела ее как раз тогда, когда она начинала тебя любить. Как ты не поняла, что лучше для тебя, как могла ты одним этим жестоким поступком обрушить проклятие на меня, муки и смерть на нее! Кто этот дьявол, что был тогда с тобой и подстрекнул тебя добавить жестокость к ней к греху против меня? Это был Уайлдив, да? Муж бедняжки Томазин? Боже, какая мерзость! Молчишь? Потеряла голос? Это естественно после того, как раскрылись ваши столь благородные дела... Юстасия, неужели мысль о твоей собственной матери не побудила тебя поберечь мою в трудную для нее минуту? Неужели не нашлось капли жалости в твоём сердце, когда ты увидела, что она уходит? Подумай, какую в тот миг ты потеряла возможность начать всепрощающую, честную жизнь. Зачем ты не выгнала его, а ее не впустила и не сказала: вот, с этого часа я буду верной женой и благородной женщиной? Если бы я приказал тебе — пойди, погаси навеки последний мерцающий огонек надежды на наше с тобой

счастье, и то ты не могла бы сделать хуже. Что ж, теперь она спит, и, будь у тебя сто любовников, ни они, ни ты уже больше не можете ее оскорбить.

— Ты страшно преувеличиваешь,— сказала она слабым, усталым голосом,— но я не хочу защищаться. Не стоит. В моем будущем для тебя нет места, так и прошлую часть истории можно не рассказывать. Я все потеряла из-за тебя, но я не жаловалась. Твои промахи и твои неудачи могли быть огорченьем для тебя, но по отношению ко мне они были черной несправедливостью. Все сколько-нибудь утонченные люди бежали от меня с тех пор, как я увязла в трясине замужества. В этом, что ли, твоя любовь — запереть меня в такой лачуге и содержать, как жену батрака? Ты обманул меня — не словами, но внешностью, а в этом труднее разобраться, чем в словах. Но все равно, и этот клочок земли годится не хуже всякого другого — как место, откуда можно шагнуть в могилу.

Слова замерли у нее на губах и голова упала на грудь.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать. Разве я — причина твоего преступления? (Юстасия сделала трепетное движение к нему.) Что, ты уже начинаешь ронять слезы и протягивать мне руку? Бог мой, да как ты можешь? Нет, я не сделаю такой ошибки, я ее не возьму. (Ее протянутая рука бессильно упала, но слезы продолжали течь.) Ну хорошо, я ее возьму, хотя бы ради тех поцелуев, которыми ее осыпал раньше, чем понял, кого лелею. Как я был околдован! Могло ли быть что хорошее в женщине, о которой все говорили плохо?

— О, о, о! — зарыдала Юстасия; выносливости ее пришел конец. Сотрясаясь от рыданий, она упала на колени.— О, перестань, довольно! Ты слишком беспощаден, есть же предел жестокости даже дикарей! Я долго крепилась, но ты раздавил меня. Я прошу милосердия, я не могу больше, это бесчеловечно — все длить и длить эту пытку! Если бы я своими руками убила твою мать, и то я бы не заслуживала таких истязаний. О, о! Боже, смилуйся надо мной, несчастной!.. Ты побил меня в этой игре, я сдаюсь, пожалей меня! Я сознаюсь... что намеренно не открыла дверь, когда она в первый раз постучала... но... я... открыла бы на второй стук... если б не думала, что ты уже сам пошел открывать. Вот все мое преступление — по отношению к ней. Самые лучшие люди иногда ошибаются — разве нет?.. А теперь прощай навсегда, я ухожу.

— Расскажи мне все, и я тебя пожалею. Этот мужчина, что был с тобой, это Уайлдив?

— Я не могу сказать,— в отчаянии выговорила она сквозь слезы.— Не настаивай, я не могу. Я уйду из этого дома. Нам нельзя обоим здесь оставаться.

— Тебе незачем уходить; я уйду. Ты можешь остаться.

— Нет, сейчас я оденусь и уйду.

— Куда?

— Туда, откуда пришла. Или еще куда-нибудь.

Она стала торопливо одеваться; Ибрайт все это время мрачно ходил взад-вперед по комнате. Наконец она была готова. Ее маленькие руки так дрожали, когда она, надевая шляпу, подняла их к подбородку, что она не могла завязать ленты и, попробовав раз и другой, оставила эту попытку. Видя это, он подошел и сказал:

— Дай, я завяжу.

Она молча кивнула и подняла подбородок. Быть может, впервые в жизни она была совершенно равнодушна к тому, какое впечатление производит ее поза. Но он равнодушен не был и отвел глаза, чтобы не смягчиться.

Ленты были завязаны, она отвернулась.

— Ты все еще предпочитаешь уйти сама, а не чтобы я ушел? — сызнова спросил он.

— Да.

— Хорошо, пусть так. Когда ты признаешься, кто был тот мужчина, я, может быть, тебя пожалею.

Она решительным движением завернулась в шаль и сошла вниз, оставив его стоять посреди комнаты.

Вскоре после этого в дверь постучали, и Клайм сказал:

— Да-а?

Это была служанка; она ответила:

— Приходил кто-то от миссис Уайлдив и сказал, что и она и девочка здоровы и благополучны и что девочку решили назвать Юстасия-Клементина.— На том служанка ушла.

— Какая насмешка! — сказал Клайм.— Мой несчастный брак увековечен в имени этого ребенка!

ГЛАВА IV

ПОПЕЧЕНИЯ ТОГО, КТО БЫЛ НАПОЛОВИНУ ЗАБЫТ

Вначале путь Юстасии был столь же колеблем, как полет пушинки на ветру. Она не знала, что делать. Ей только хотелось, чтобы сейчас был вечер, а не утро, тогда она могла бы нести свалившуюся на нее беду без риска быть увиденной человеческим оком. После долгих и вялых блужданий среди усохших папоротников и раскинутых по ним белых и мокрых паутинок она вышла все-таки к дедушкиному дому. Подойдя ближе, она увидела, что передняя дверь заперта. Она машинально прошла в дальний конец усадьбы, где была конюшня, и, заглянув в растворенную дверь, увидела там Чарли.

— Что, капитана Вэя нет дома? — спросила она.

— Нету, мэм,— ответил юноша, сразу разволновавшись.— Уехал в Уэзербери и до вечера не вернется. И служанку отпустили погулять. Так что дом заперт.

Чарли не мог видеть лица Юстасии; она стояла в проеме двери спиной к свету, а конюшня была плохо освещена. Но

какая-то растерянность в ее обращении заставила его насторожиться. Она повернулась, прошла через двор к воротам и скрылась за насыпью.

Когда она исчезла из виду, Чарли с тревогой во взгляде вышел из конюшни и, подойдя к другому месту насыпи, глянул поверх нее. Юстасия полулежала, прислонясь к ее наружному скату, закрыв лицо руками и откинув голову на обильно росший здесь мокрый вереск. Казалось, ей совершенно безразлично, что ее шляпка, волосы и одежда намокают и приходят в беспорядок от соприкосновения с этим холодным, жестким ложем. Ясно было, что с ней что-то случилось.

Чарли всегда смотрел на Юстасию так, как она сама смотрела на Клайма, когда впервые с ним встретилась,— как на очаровательное романтическое виденье, едва ли состоящее из плоти и крови. Она всегда так отдаляла его от себя величавостью осанки и гордостью речи, что он почти не воспринимал ее как женщину, земную и бескрылую, подверженную семейным осложнениям и домашним неурядицам. Внутренние подробности ее жизни представлялись ему лишь крайне смутно. Она всегда была для него прелестным чудом, предназначенным свершать свой путь по орбите, на которой его собственная жизнь была лишь точкой; и сейчас вид Юстасии, прилегшей к дикому мокрому склону, как загнанное, потерявшее всякую надежду животное, поразил его изумлением и ужасом. Он больше не мог оставаться на месте. Перепрыгнув через насыпь, он подошел, тронул ее пальцем и сказал с нежностью:

— Вам дурно, мэм? Что я могу для вас сделать?

Юстасия шевельнулась и сказала:

— А, Чарли... Ты пошел за мной... Ты не ожидал, правда, когда я уезжала летом, что я так вернусь?

— Не ожидал... Могу я вам теперь помочь?

— Боюсь, что нет. Жаль, что нельзя попасть в дом. У меня голова кружится, вот и все.

— Обопритесь на мою руку, я вас доведу к крыльцу. И попробую отпереть дверь.

Он довел ее к крыльцу и, усадив там на скамейку, поспешил на зады дома, поднялся по приставной лесенке к окну и, спустившись внутрь, отпер дверь. Затем помог ей пройти в комнату, где стояла старомодная, набитая конским волосом кушетка, широкая, как телега. Юстасия легла, и Чарли укрыл ее плащом, найденным в передней.

— Принести вам что-нибудь поесть и выпить? — спросил оп.

— Пожалуйста, Чарли. Но печка, наверно, холодная.

— Я ее разожгу, мэм.

Он исчез, и она услышала, как он колет дрова, потом раздувает огонь мехами. Вскоре он вернулся и сказал:

— Я затопил в кухне, а теперь затоплю здесь.

Юстасия со своей кушетки следила сквозь дремоту, как он растапливает камин. Когда пламя разгорелось, он сказал:

— Подкатить вас поближе к огню, мэм? Утро-то сегодня прохладное.

— Если хочешь.

— И принести уже завтрак?

— Пожалуй, — вяло согласилась она.

Он ушел, и из кухни стали время от времени доноситься неясные звуки его движений; но Юстасия уже забыла, где она, и ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы понять, что означают эти звуки. Спустя время, показавшееся коротким ей, чьи мысли были далеко, вошел Чарли с подносом, на котором дымился чай и тосты.

— Поставь на стол, — сказала она. — Я сейчас встану.

Он сделал, как велено, и отошел к двери, но, видя, что она не движется, вернулся.

— Я подержу его на руках, если вам не хочется вставать, — сказал Чарли. Он снял поднос со стола, подошел к кушетке и стал на колени. — Я подержу его для вас, — повторил он.

Юстасия села и налила чашку чая.

— Ты очень добр ко мне, Чарли, — тихонько сказала она, прихлебывая чай.

— А как же иначе, — застенчиво проговорил он, стараясь не смотреть на нее в упор, что было не так просто, ибо она находилась прямо перед ним. — Вы ведь были добры ко мне.

— Как это? — сказала Юстасия.

— Вы дали мне подержать свою руку, помните? Когда вы были еще не замужем и жили здесь.

— А, верно. Чего ради я это сделала?.. Совсем забыла... Кажется, что-то в связи со святочными представлениями?

— Да. Вы хотели сыграть вместо меня.

— А, помню. О да, теперь я вспомнила — слишком хорошо!

Она опять омрачилась, и Чарли, видя, что она больше не хочет ни пить, ни есть, убрал поднос.

Потом он еще несколько раз заходил посмотреть, горит ли огонь в камине, узнать, не нужно ли ей чего-нибудь, сказать, что ветер переменялся с южного на западный, спросить, не хочет ли она, чтобы он собрал для нее немного черной смородины; на все эти предложения она отвечала либо «нет», либо — «как хочешь».

Она еще немного полежала на кушетке, потом встала и пошла наверх. Ее спальня осталась такой же, как была, когда она ее покинула, и вызванное этим воспоминание об огромных и несчастливых переменах, происшедших с ней самой, снова наложило на ее лицо печать той неопределенной, бесформенной тоски, которую оно выражало, когда Юстасия подходила к дому. Она заглянула в комнату дедушки, где в открытые окна дул свежий осенний ветер. Взгляд ее задержался на предмете

привычном и давно знакомом, но сейчас как будто приобрели новое значение.

Это была пара пистолетов, висевшая у изголовья дедушкиной кровати; он всегда держал их там заряженными из опасения грабителей, так как дом стоял очень уединенно. Юстасия долго смотрела на них, как будто это была страница книги, в которой она теперь вычитывала новое и необычное содержание. Затем, словно чего-то испугавшись, она быстро сошла вниз и остановилась в глубокой задумчивости.

— Если бы я могла! — сказала она. — Сделала бы добро себе и всем связанным со мной, а вреда никому.

Эта мысль, казалось, постепенно набирала в ней силу; минут десять она стояла неподвижно, затем ее взгляд отвердел, в нем появилась какая-то определенность вместо мути нерешимости.

Она повернулась и вторично поднялась наверх, на этот раз тихими, бесшумными шагами, вошла в дедушкину комнату; взгляд ее сразу обратился к изголовью кровати: пистолетов там не было.

Это мгновенное уничтожение возможности осуществить свой замысел так подействовало на ее психику, как на тело действует внезапный переход в безвоздушное пространство, — она почти лишилась чувств. Кто это сделал? Кроме нее, в доме был только один человек. Юстасия невольно повернулась к окну, из которого просматривался весь сад вплоть до замыкавшей его насыпи. И там, на насыпи, стоял Чарли; с этой высоты ему легко было заглянуть в комнату. Сейчас его взгляд был внимательно и заботливо обращен к ней.

Она сошла вниз и, став в дверях, поманила его.

— Это ты их взял?

— Да, мэм.

— Почему?

— Я видел — вы слишком долго на них смотрели.

— Какое это имеет отношение?

— Вы все утро были такая грустная, вы как будто не хотели жить.

— Ну и что?

— И я не решился оставить их у вас под рукой. Вы смотрели на них таким особенным взглядом.

— Где они теперь?

— Заперты.

— Где?

— В конюшне.

— Дай их мне.

— Нет, мэм.

— Ты отказываешься?

— Да, мэм. Вы слишком мне дороги, чтобы я вам их отдал.

Она отвернулась, и впервые за этот день ее лицо утратило каменную неподвижность, и восстановился изящный вырез губ,

который у нее всегда смазывался и тяжелел в минуты отчаяния. Наконец она снова повернулась к нему.

— Почему бы мне не умереть, если я хочу? — сказала она с дрожью в голосе. — Я плохо распорядилась своей жизнью — и я от нее устала, о! так устала! А теперь ты помешал мне уйти. Ах, зачем ты это сделал, Чарли! Что делает смерть мучительной, как не мысль о горе близких? А мне этого нечего бояться, ни один вздох не полетит мне вслед!

— Это у вас от горя такое помрачение! Ух, попался бы мне тот, кто вам его причинил, уж я бы его! А там пусть меня хоть на каторгу ссылают!

— Чарли, не надо больше об этом. Что ты теперь будешь делать? Скажешь кому-нибудь о том, что видел?

— Буду молчать как могила, если вы пообещаете выбросить это из головы.

— Не бойся. Эта минута была и прошла. Я обещаю.

Она ушла в комнаты и легла.

Ближе к вечеру вернулся дедушка. Он собрался было строго ее допросить, но, поглядев на нее, умолк на полуслове.

— Да, — ответила она на его взгляд, — это такая беда, что лучше о ней не говорить. Можно, чтобы мне уже сегодня убрали мою прежнюю комнату? Я опять буду в ней жить.

Он не спросил, что все это значит и почему она оставила мужа, но распорядился приготовить комнату.

ГЛАВА V

СТАРЫЙ ПРИЕМ, НЕЧАЯННО ПОВТОРЕННЫЙ

Заботам Чарли о его прежней хозяйке не было конца. Попытки смягчить ее горе были для него единственным утешением в собственных скорбях. Он часами придумывал, что бы еще для нее сделать; о ее присутствии в доме он думал с благодарностью, и если проклинал причину ее несчастья, то в какой-то мере благословлял его последствия. Может быть, она навсегда останется здесь, думал он, и тогда он будет так же счастлив, как был раньше. Больше всего на свете он боялся, что в какую-то минуту она может вдруг решить вернуться в Олдерворт, и с этим страхом в глазах, со всей пытливостью любви он часто следил за выражением ее лица, когда она на него не смотрела, как мог бы следить за поворотами головы дикой голубки, стараясь понять, не замыслила ли она улететь. Оказав ей однажды помощь и, может быть, удержав ее от самого безумного из всех безумных поступков, он вдобавок и на будущее время мысленно принял на себя ответственность за ее благополучие.

По этой причине он всячески старался доставлять ей приятные развлечения, — приносил домой разные курьезы, найденные на пустоши, как, например, белый трубчатый мох, лишай-

ники с красными головками, каменные наконечники для стрел, бывшие в употреблении у древних племен, некогда населявших Эгдон, или многогранные кристаллы из включений в гранитных породах. Их он раскладывал где-нибудь в комнатах, чтобы они могли как бы случайно попасться ей на глаза.

Прошла неделя; Юстасия никуда не выходила из дому. Потом стала прогуливаться по усадьбе и глядеть в дедушкину подзорную трубу, как имела обыкновение делать до замужества. Однажды она увидела на большой дороге, в том месте, где та пересекала долину, медленно движущийся и тяжело нагруженный ломовой полук; на нем горой громоздилась домашняя утварь. Юстасия посмотрела еще и еще и убедилась в том, что утварь эта — ее собственная. А вечером дедушка принес слух, что Ибрайт в этот день переехал из Олдерворта в свой старый дом в Блумс-Энде.

В другой раз, точно так же обозревая окрестность, она увидела в ближней долине две движущиеся женские фигуры. День был ясный и светлый, и в подзорную трубу Юстасия могла разглядеть все подробности. Женщина, шедшая впереди, несла в руках какой-то сверток, с которого свисал длинный белый придаток, и когда идущие повернули, так что солнце ударило им в лицо, Юстасия увидела, что это ребенок. Она позвала Чарли и спросила, не знает ли он, кто эти женщины (хотя она уже и сама догадалась)..

— Миссис Уайлдив и няня ихняя, — сказал Чарли.

— Няня несет ребенка? — спросила Юстасия.

— Нет, это миссис Уайлдив несет ребенка, — отвечал он, — а няня идет сзади и ничего не несет.

Чарли в этот день был в хорошем настроении, так как снова наступило пятое ноября и он придумал еще новую затею, которая должна была отвлечь Юстасию от ее слишком поглощающих мыслей. Два года подряд его госпожа, казалось, находила удовольствие в том, чтобы зажигать костер на насыпи, господствующей над долиной; но в этом году она, видимо, забыла и день и обычай. Он остерегся ей напомнить и продолжал втайне готовить свой веселый сюрприз с тем большим рвением, что в прошлый раз он отсутствовал и не мог ей помочь. Каждую свободную минуту он бежал на соседние склоны, разыскивал там пеньки дрова, корни терновника и прочий солидный горючий материал и прятал его от случайных взглядов.

Пришел вечер, а Юстасия, видно, так и не вспомнила о годовщине. Поглядев в подзорную трубу, она ушла в комнаты и больше не показывалась. Как только стемнело, Чарли начал раскладывать костер, выбрав для него то же самое место на насыпи, где в предшествующие годы разводила его Юстасия.

Когда засверкали все окрестные костры, Чарли поджег свой, причем так уложил поленья, что на некоторое время его можно было оставить без надзора. Затем вернулся к дому и стал сло-

няться под окнами и возле двери в падежде, что Юстасия как-нибудь узнает о его достижениях и выйдет ими полюбоваться. Но ставни были закрыты и дверь не растворялась, никто, видно, и внимания не обращал на устроенное им зрелище. Звать ее ему не хотелось, он вернулся к костру, подбросил еще полешек и продолжал этим заниматься в течение получаса. Только когда его запас топлива сильно уменьшился, он пошел на черпый ход и послал служанку сказать Юстасии, что ее просят открыть окно и посмотреть, что делается снаружи.

Юстасия, сидевшая в гостиной и погруженная, как всегда, в апатию, встрепенулась при этом предложении и распахнула ставни. Прямо перед ней на насыпи пылал огонь, который тотчас наполнил багровыми отблесками комнату, где она находилась, и совсем затмил бледный свет свечей.

— Молодец, Чарли! Здорово получилось,— сказал капитан Вэй из своего угла у камина.— Надеюсь только, он не мои дрова жжет... Да, как раз в этот день в прошлом году я встретил этого парня Венна,— он тогда Томазин Ибрайт в своем фургоне вез,— да, да, точно помню! Кто бы подумал, что все злоключения этой девицы так хорошо кончатся? А уж ты, Юстасия, какого дурака свалила! Муж-то тебе еще не написал?

— Нет,— отвечала Юстасия, глядя в окно на костер, который сейчас так поглощал ее внимание, что она даже не обиделась на грубоватое замечание дедушки. Ей видна была фигура Чарли на насыпи — он подкладывал сучья и перемешивал огонь,— и в ее воображении внезапно встала другая фигура, которую этот огонь мог вызвать.

Она поднялась к себе наверх, надела садовую шляпку и плащ и вышла из дому. Дойдя до насыпи, она с опаской, но и с острым любопытством заглянула поверх нее. И тут-то Чарли сказал ей, очень довольный собой:

— Это я нарочно для вас сделал, мэм.

— Спасибо,— торопливо ответила она.— Но теперь я хочу, чтобы ты его погасил.

— Он скоро сам догорит,— сказал несколько разочарованный Чарли.— Разве не жаль вам его раскидывать?

— Не знаю,— сказала она с сомнением.

Они стояли молча; тишину нарушало только потрескивание пламени. Наконец, поняв, что ей не хочется разговаривать, Чарли неохотно ушел.

Юстасия осталась стоять по сю сторону насыпи, глядя на огонь, намереваясь вернуться, но все еще медля. Если бы она не была сейчас склонна равнодушно относиться ко всему почитаемому богами и людьми, она бы, вероятно, ушла. Но ее положение было настолько безнадежно, что она могла играть им. Самая потеря не так мучительна, как раздумья о том, что ты мог выиграть. И Юстасия, подобно многим другим на этой стадии переживаний, могла уже смотреть на себя со стороны, наблюдать за собой, как незаинтересованный зритель, и рассуждать

о том, какой удобной игрушкой в руках Судьбы оказалась эта женщина, Юстасия Вэй.

И пока она стояла, она услышала звук. Плеск камня, упавшего в воду.

Если бы этот камень ударил ее прямо в грудь, сердце ее не могло бы дрогнуть сильнее. Ей уже приходила в голову мысль о возможности такого ответа на знак, который бессознательно подал Чарли, но так скоро она его не ожидала. Уайлджив не терял времени! Но как он мог подумать, что она сейчас, в ее положении, захочет возобновить эти тайные встречи? Воля уйти, желание остаться боролись в ней, и желание возобладало. Правда, сверх этого она ничего не сделала, не позволила себе даже подняться на вал и посмотреть. Она осталась недвижима, не шевельнув ни единым мускулом, не подняв глаз, ибо, подними она лицо, его озарил бы свет от костра. А Уайлджив, может быть, уже смотрел сверху.

Раздался вторичный плеск в пруду.

Почему он стоит там так долго, не подходит и не смотрит через вал? Любопытство победило; она поднялась на одну-две земляных ступеньки, проделанных в насыпи, и выглянула.

Перед ней был Уайлджив. Бросив второй камень, он пошел к насыпи, и теперь огонь от костра озарил лица обоих, разделенных по грудь земляной преградой.

— Я его не зажгала! — поспешно воскликнула Юстасия. — Его зажгли без моего ведома. Не переходи, не переходи сюда!

— Ты все время жила тут, а мне ничего не сказала! Ты ушла от мужа. Боюсь, нет ли тут моей вины?

— Я не впустила его мать, вот в чем дело.

— Ты не заслужила того, что на тебя обрушилось, Юстасия. Ты в большом горе: я это вижу по твоим глазам, по складке рта, по всей внешности. Моя бедная, бедная девочка! — Он перешел на другую сторону насыпи. — Ты беспредельно несчастлива!

— Нет, нет, не совсем...

— Это зашло слишком далеко, это убивает тебя, — я же вижу!

Ее обычно спокойное дыханье участилось от этих слов.

— Я... Я... — начала она и вдруг разразилась судорожными рыданиями, потрясенная до глубины души неожиданным голосом жалости — чувства, о котором применительно к себе она уже почти забыла.

Этот внезапный приступ слез был неожиданностью для самой Юстасии; не в силах с ним совладать, стыдясь его, она отвернулась, хотя этим ничего не могла скрыть. Она рыдала неудержимо; потом слезы приостановились, она стала спокойнее. Уайлджив подавил желание ее обнять и стоял молча.

— Не стыдно тебе за меня, я ведь никогда не была плакси-вой! — сказала она слабым шепотом, отирая глаза. — Почему

ты не ушел? Я не хотела, чтобы ты все это видел, это слишком меня разоблачает.

— Ты могла не хотеть, чтобы я видел, потому что все это причиняет мне такую же боль, как тебе,— взволнованно и с уважением проговорил он.— Но разоблаченье — такого слова нет между нами.

— Я не посылала за тобой, не забывай этого, Дэймон; я в большом горе, но я не посылала за тобой! По крайней мере, как жена, я вела себя честно.

— Ничего — я все-таки пришел. Ах, Юстасия, прости мне все зло, что я тебе сделал за эти два прошедших года! Я вижу теперь все яснее, что это я тебя погубил.

— Не ты. Это место, где я живу.

— Великодушные подсказывает тебе эти слова. Но нет, виновник — я. Я должен был либо сделать больше, либо не делать ничего.

— Как это?

— Не надо было совсем тебя трогать или, если уж начал, то идти до конца и удержать тебя. Но, конечно, теперь я не имею права об этом говорить. Я только одно спрошу: что я могу сделать для тебя? Есть ли что-нибудь на земле, что человек может сделать, чтобы ты стала счастливее? Если есть, я это сделаю. Приказывай, Юстасия,— все, что в моих силах, будет выполнено. И не забывай, что я теперь стал богаче. Ведь есть же что-нибудь, чем можно спасти тебя от этих мучений! Такой редкий цветок среди такой дичи — мне просто жаль это видеть! Нужно тебе что-нибудь купить? Хочешь куда-нибудь поехать? Хочешь совсем бежать отсюда? Только скажи, и я все сделаю, чтобы положить конец этим слезам, которых не было бы, если бы не я.

— Я замужем за другим, и ты на другой женат,— тихо сказала Юстасия,— и помощь с твоей стороны назовут нехорошим именем...

— Ну, от клеветников не уберешься. Но ты не бойся. Каковы бы ни были мои чувства, клянусь тебе честью, что я ни словом, ни поступком их не проявлю, пока ты сама мне не позволишь. Я знаю свои обязанности перед Томазин, так же как знаю свои обязанности перед женщиной, с которой поступили несправедливо. В чем я могу тебе помочь?

— В том, чтобы мне уехать отсюда.

— Куда ты хочешь поехать?

— У меня кое-что намечено. Если ты поможешь мне добраться до Бедмута, дальше я сама справлюсь. Оттуда ходят пароходы через Ла-Манш, а там я могу проехать в Париж, где я хочу быть. Да,— умоляюще проговорила она,— помоги мне добраться до Бедмутской гавани, так чтобы не знал ни дедушка, ни мой муж, а все остальное я сама сделаю.

— Но можно ли спокойно оставить тебя там одну?

— Да, да. Я хорошо знаю Бедмут.

— Хочешь, чтобы я с тобой поехал? Я теперь богат.— Она молчала.— Скажи «да», милая! — она все молчала.— Ну хорошо, дай мне знать, когда захочешь уехать. До декабря мы будем жить на старом месте, потом переберемся в Кэстербридж. До тех пор я в твоём распоряжении.

— Я подумаю об этом,— торопливо проговорила она.— Могу ли я по чести обратиться к тебе, как к другу, или должна буду соединиться с тобой, как с любовником,— вот что мне еще нужно решить. Если я захочу уехать и соглашусь воспользоваться твоей помощью, я подам тебе знак как-нибудь вечером ровно в восемь часов, и это будет значить, что ты в ту же ночь в двенадцать должен быть наготове с лошадей и двуколкой, чтобы отвезти меня в Бедмут к утрешнему пароходу.

— Буду смотреть каждый вечер в восемь часов, и никакой знак от меня не ускользнет.

— А теперь прошу тебя — уходи. Если я решусь бежать, нам больше нельзя будет встречаться до самого отъезда — разве что я увижу, что не могу уехать без тебя. Уходи, я больше не могу. Иди, иди!

Уайлдив медленно поднялся по ступенькам и спустился в темноту на другой стороне; и, уходя, он все оглядывался назад, пока вал не заслонил Юстасию и она не скрылась из виду.

ГЛАВА VI

ТОМАЗИН СПОРИТ СО СВОИМ ДВОЮРОДНЫМ БРАТОМ, И ОН ПИШЕТ ПИСЬМО

Ибрайт в это время был в Блумс-Энде, надеясь, что Юстасия вернется к нему. Мебель он перевез только накануне, хотя сам уже больше недели жил в старом доме. Он проводил время в работах по усадьбе — чистил дорожки от листьев, срезал сухие стебли на цветочных грядках, прибывал ползучие растения, потревоженные осенними ветрами. Нельзя сказать, чтобы он находил особое удовольствие в этих занятиях, но они были для него защитой от отчаяния. Кроме того, у него стало религией сохранять в идеальном порядке все, что перешло к нему из рук матери.

Работая, он все время был настороже — не появится ли Юстасия. Для того чтобы она без ошибки могла узнать, где его найти, он велел прибить к садовой калитке в Олдерворте доску, на которой белыми буквами было точно обозначено, куда он выехал. Когда увядший листок падал на землю, Клайм поворачивал голову, прислушиваясь, не шелест ли это ее шагов. Если птица в поисках червей ворошила землю и палый лист падал на цветочных грядках, ему мнилось, что это рука Юстасии трогает щеколду садовой калитки; а в сумерки, когда странные тихие чревоуращения исходили из земляных нор, полых стеб-

лей, скоробившихся сухих листьев и всяких других щелок, в которых ветры, червяки и насекомые могут распорядиться по-своему, он воображал, что это все Юстасия: стоя за оградой, она шепчет ему слова примирения.

До сих пор он был тверд в своем решении не звать ее обратно. Вместе с тем суровость, которую он тогда проявил, как-то смягчала остроту его скорби по матери и воскрешала хотя отчасти прежнюю заботливость о той, которая сменила мать. Суровые чувства порождают суровое обращение, а оно, в свою очередь гасит те эмоции, которые дали ему начало. Чем больше Клайм раздумывал, тем больше он смягчался. Правда, смотреть на жену как на оскорбленную невинность было невозможно, но можно было спросить себя, не слишком ли он поторопился — не слишком ли внезапно накинулся на нее в то недоброе утро.

Теперь, когда схлынул первый порыв гнева, он не склонен был обвинять Юстасию в чем-либо худшем, чем неосторожная дружба с Уайлдивом, ибо во всем ее поведении он не замечал признаков супружеской измены. Но раз так, то и ее поступок с матерью не обязательно было истолковывать в самом преступном смысле.

В этот день, пятого ноября, он неотступно думал о Юстасии. Отзвуки прежних времен, когда они весь день говорили друг другу нежные слова, долетали к нему, словно смутный ропот волн с берега, от которого он удалился уже на много миль.

— Право же, — сказал он, — она могла бы теперь уже снести со мной и честно признаться, чем был для нее Уайлдив.

Вместо того чтобы оставаться дома в этот вечер, он решил пойти повидать Томазин и ее мужа. При удобном случае он намекнет на причину своего разрыва с Юстасией, умалчивая, однако, о том, что в доме было третье лицо во время трагического происшествия с матерью. Если Уайлдив был там без всяких дурных намерений, он, конечно, открыто скажет об этом. А если намерения его были не столь невинны, то Уайлдив, будучи человеком несдержанным, возможно, скажет что-нибудь такое, что позволит судить о степени его близости с Юстасией.

Но, придя в гостилицу, Клайм обнаружил, что дома только Томазин; Уайлдив в это время был уже на пути к костру, зажженному в Мистовере ничего не подозревающим Чарли. Томазин, как всегда, была рада видеть Клайма и сейчас же повела его смотреть спящего младенца, старательно заслоняя свечу ладонью, чтобы его не разбудить.

— Тамзин, ты слышала, что Юстасия сейчас не живет со мной? — спросил Клайм, когда они снова уселись в гостиной.

— Нет! — отвечала встревоженная Томазин.

— И что я переехал из Олдерворта?

— Нет. Ко мне ничего не доходит из Олдерворта, кроме того, что ты мне сообщаешь. Что случилось?

Клайм срывающимся голосом рассказал ей о своем посещении маленького сына Сьюзен Нонсеч, о его рассказе и о том, что

получилось, когда он, Клайм, бросил Юстасии в лицо обвинение в преднамеренном и бессердечном поступке с его матерью. О возможном присутствии Уайлдива в доме он не упомянул.

— Какое несчастье, а я ничего не знала! — испуганно пролепетала Томазин. — Ужасно! Что могло ее заставить... Ах, Юстасия! А когда ты узнал, ты тут же сгоряча бросился к ней? Не был ли ты слишком жесток? Или она в самом деле такая плохая?

— Может ли человек быть слишком жестоким к врагу своей матери?

— Мне кажется, это может быть.

— Ну хорошо, я согласен. Допустим, я был слишком резок. Но что теперь делать?

— Помириться с ней — если такая жестокая ссора может быть заглажена. Ах, лучше бы ты мне не говорил!.. Но постарайся все-таки с ней помириться. Есть, в конце концов, возможность, если вы оба этого хотите.

— Не знаю, оба ли мы этого хотим, — сказал Клайм. — Если она хочет, почему до сих пор не послала за мной?

— Ты вот хочешь, а ведь не послал за ней.

— Верно. Но я так терзался сомнениями, имею ли я даже право после того, что она сделала. Глядя на меня сейчас, Томазин, ты даже представить себе не можешь, что со мной было, в какие круги ада я спускался за эти последние несколько дней. Нет, какая гнусность, — так бездушно прогнать маму от моего порога! Смогу ли я это когда-нибудь забыть? Или хотя бы согласиться снова видеться с нею?

— Она могла не знать, что из этого выйдет что-либо серьезное, а может быть, она вовсе и не хотела прогонять твою маму.

— Она и сама говорит, что не хотела. Но факт остается фактом: она ее все-таки прогнала.

— Поверь, что она раскаивается, и пошли за ней.

— А если она не придет?

— Ну, это и будет значить, что она виновата. Значит, у нее в обычае долго питать вражду. Но я ни на минуту этого не допускаю.

— Хорошо, я сделаю, как ты говоришь. Подожду день-два, не дольше двух, во всяком случае; и если она за это время сама мне не напишет, я ей напишу. Между прочим, я надеялся повидать сегодня Уайлдива. Он что, уехал куда-нибудь?

Томазин слегка покраснела.

— Нет, — сказала она, — просто пошел погулять.

— Почему же он и тебя не взял? Вечер прекрасный, и тебе свежий воздух нужен не меньше, чем ему.

— О, мне никуда не хочется выходить. И потом, как я оставляю маленькую.

— Да, да. Я, видишь ли, хотел и с твоим мужем тоже посоветоваться, — степенно проговорил Клайм.

— По-моему, не стоит,— быстро ответила Томазин.— Толку из этого не будет.

Клайм внимательно посмотрел ей в лицо. Томазин, конечно, не знала, что ее муж был как-то замешан в событиях этого трагического дня, однако по ее манере можно было предположить, что она скрывает подозрение или догадку о прежде бывших нежных отношениях между Уайлдивом и Юстасией, о которых на Эгдоне давно ходили слухи.

Но разобраться в этом Клайм не мог и встал, собираясь уходить, еще в большем сомнении, чем был вначале.

— Так ты напишешь ей через день-другой? — настойчиво повторила Томазин.— Я всей душой надеюсь, что это несчастное раздельное житье у вас скоро кончится.

— Напишу,— сказал Клайм.— Поверь, оно мне и самому не сладко.

Он простился с Томазин и стал подниматься в гору к Блумс-Энду. Прежде чем ложиться спать, он сел к письменному столу и написал следующее письмо:

«Моя дорогая Юстасия! Я решил повиноваться сердцу, не слишком прислушиваясь к голосу рассудка. Хочешь вернуться ко мне? Вернись, и я никогда не помяну о прошлом. Я был слишком строг, но, Юстасия,— была же и причина! Ты не знаешь и никогда не узнаешь, чего мне стоили эти гневные слова, которые ты навлекла на себя. Все, что может обещать честный человек, я тебе сейчас обещаю, а именно, что больше не заставлю тебя страдать из-за того, что было. После всех клятв, что мы друг другу давали, мне кажется, Юстасия, мы остаток жизни должны провести в том, чтобы постараться их исполнить. Так приходи же ко мне, даже если еще держишь на меня обиду. Я думаю о твоих страданиях в то утро, когда мы расстались, я знаю, они были непритворными, и думаю, что с тебя довольно. Наша любовь не должна умереть. Для чего было давать нам обоим такие сердца, как не для того, чтобы мы любили друг друга? Вначале я не мог позвать тебя, Юстасия, потому что не мог отогнать подозрения, что тот, кто был с тобой тогда, пришел к тебе как любовник. Но если ты придешь и объяснишь некоторые странности, я уверен, ты легко сможешь доказать свою честность. Почему ты до сих пор не пришла? Ты думала, я не стану тебя слушать? Но как могла ты это подумать, помня наши поцелуи и клятвы, которыми мы обменялись под летней луной? Возвращайся же, тебя ждет горячий привет. Я не могу больше думать о тебе плохо, я только и делаю, что стараюсь тебя оправдать.

Твой муж — сейчас, как и всегда. *Клайм*».

— Ну вот,— сказал он, кладя письмо на стол,— одно правильное дело сделано. Если она не придет до завтрашнего вечера, я пошлю это ей.

Тем временем в доме, который он недавно покинул, сидела Томазин и тяжело вздыхала. Верность мужу побудила ее скрыть от Клайма свои подозрения в том, что интерес Уайлди-ва к Юстасии не кончился и после его женитьбы. Но она не знала ничего достоверного, и хотя Клайм был ее любимым братом, другой был ей еще ближе.

Когда немного позже Уайлдив вернулся со своей проходки в МистOVER, Томазин сказала:

— Дэймон, где ты был? Я уж прямо напугалась, — думала, ты в реку упал. Не люблю быть дома одна.

— Напугалась? — сказал он и потрепал ее по щеке, словно она была каким-то домашним животным. — Я думал, тебя ничто не может напугать. Ты, наверно, просто загордилась и не хочешь больше здесь жить после того, как мы стали состоятельными людьми. Это, конечно, канительное дело — приобретать новый дом, и я не мог быстрее его кончить: вот будь у нас не десять тысяч фунтов, а сто тысяч, чтоб можно было в расходах не стесняться, ну, тогда не пришлось бы так долго ждать.

— Нет, я готова ждать — лучше еще целый год здесь жить, чем хоть капельку рисковать здоровьем малышки. Но меня беспокоит, что ты так пропадаешь по вечерам. У тебя что-то на сердце, Дэймон, я ведь понимаю. Ты ходишь такой мрачный и смотришь на пустошь, словно это чья-то тюрьма, а не наоборот, такое чудесное, красивое место, куда так и хочется пойти.

Он посмотрел на нее с жалостью и удивлением.

— Неужто ты любишь Эгдон? — спросил он.

— Я люблю то, возле чего я родилась. Мне нравится его славное старое лицо.

— Пустяки, милочка. Ты сама не знаешь, что тебе нравится.

— Нет, знаю. Мне только одно здесь неприятно.

— Что же это?

— А то, что ты никогда не берешь меня с собой, когда идешь гулять на пустошь. Почему ты постоянно там бродишь, если она тебе так противна?

Этот, казалось бы, простой вопрос явно привел его в смущенье, и он сел, прежде чем ответить.

— Уж будто я так часто хожу? А ты когда меня там видела? И сказать не сможешь.

— Нет, смогу, — с торжеством ответила она. — Когда ты ушел сегодня вечером, я подумала, что малышка спит, пойду-ка я погляжу, куда ты так тайственно ходишь и мне не говоришь. Выбежала и пошла за тобой. Ты остановился там, где дорога разветвляется, посмотрел кругом на костры и сказал: «А, черт, пойду!» И быстренько пошел по левой дороге. А я стояла и смотрела тебе вслед.

Уайлдив нахмурился, потом сказал с насильственной улыбкой:

— И какие же удивительные открытия ты еще сделала?

— Ну вот, теперь ты рассердился! Не будем больше говорить об этом.

Она перешла к нему через комнату, села на скамеечку и заглянула ему в лицо.

— Нет уж,— сказал он,— ты всегда вот так увливаешься. Начали говорить, так уж давай кончим. Что ты еще видела? Я желаю знать.

— Не будь таким, Дэймон! — тихо проговорила она.— Ничего я больше не видела. Ты скрылся из глаз, а я посмотрела еще на костры и пошла домой.

— Может, ты уже не в первый раз подсматриваешь за мною? Стараешься вызнать обо мне что-нибудь дурное?

— Да нет же! Я никогда раньше этого не делала и сегодня бы не стала, если бы не то, что люди иногда про тебя говорят...

— Что говорят? — нетерпеливо спросил он.

— Говорят... говорят, что ты по вечерам ходил в Олдерворт, и я вспомнила поэтому то, что еще раньше слышала...

Он круто повернулся и остановился перед ней.

— Ну-ка,— сказал он, резко взмахнув рукой,— выкладывайте, сударыня! Изволь сейчас же сказать, что ты еще слышала.

— Ну, слышала, что ты был очень влюблен в Юстасию, да и то никто прямо не говорил, а все больше намеками да по кусточкам... И не из-за чего тебе сердиться.

Он заметил, что ее глаза наполнились слезами.

— Ну что ж,— сказал он,— нового тут, во всяком случае, ничего нет, и я вовсе не хочу быть с тобой грубым, так что незачем тебе плакать. И давай не будем больше об этом говорить.

И больше об этом ничего не было сказано, и Томазин, понятно, остереглась упоминать о посещении Клайма и его рассказе.

ГЛАВА VII

НОЧЬ ШЕСТОГО НОЯБРЯ

Приняв решение бежать, Юстасия тем не менее по временам жаждала, чтобы случилось что-нибудь, что помешало бы ей выполнить свое намерение. Только одно могло существенно изменить ее положение — это приход Клайма. Ореол, которым он в ее глазах был окружен как любовник, давно развеялся, но иногда ей вспоминалась какая-нибудь простая добрая черта его характера и на минуту вспыхивала надежда, что он все-таки явится перед ней. Но, трезво рассуждая, трудно было поверить, что такой разрыв, какой произошел у них, может быть когда-нибудь заглажен; видно, придется ей коротать жизнь дальше, как жалкой отверженной, которая никому не нужна и всюду не у места. Раньше она думала, что только Эгдон чужд ей по духу, теперь ей казалось, что и весь мир.

Шестого ноября, по мере того как день клонился к вечеру, ее решимость уехать стала снова оживать. Около четырех часов она упаковала те немногие вещи, которые захватила с собой из Олдерворта, а также кое-что из того, что оставалось в Мистовере. Получился небольшой узелок, который нетрудно было пронести в руках одну или две мили. На дворе быстро темнело; грязно-серые тучи тяжело свисали с неба, словно подвешенные там огромные гамаки; ближе к ночи поднялся сильный ветер, но дождя еще не было.

Юстасии больше нечего было делать, — праздно сидеть дома она была не в силах и пошла бродить по холму, не уходя далеко от дома, который ей предстояло покинуть. Во время этих бесцельных блужданий она прошла мимо домишка Сьюзен Нонсеч, стоявшего несколько ниже по склону, чем усадьба капитана. Дверь в нем была распахнута настежь, и по земле тянулась лента яркого света от очага. Когда Юстасия пересекала этот сноп лучей, она возникла на мгновенье, отчетливая, как фигура в фантасмагории — создание, сотканное из света и окруженное тьмой; но мгновенье прошло, и тьма поглотила ее.

В доме сидела женщина, которая увидела и узнала ее в этом мгновенном озарении. Это была сама Сьюзен, варившая горячее питье для своего мальчику; он часто прихварывал, а сейчас был серьезно болен. Сьюзен уронила ложку, потрясла кулаком вслед промелькнувшей фигуре и как-то рассеянно, словно о чем-то задумавшись, продолжала свое занятие.

В восемь часов — тот час, когда Юстасия обещала подать знак Уайлдиву, если вообще собиралась подавать его в этот день, — она оглядела всю окрестность, удостоверившись, что по-мех не будет, пошла к сараю, где был сложен сухой дрок для топки, и вытащила оттуда длинный сук с листьями. Затем поднялась на угол насыпи, еще раз оглянулась — все ли ставни в доме закрыты, зажгла спичку и подпалила сук. Когда он хорошо разгорелся, Юстасия взяла его за конец, взмахнула им высоко у себя над головой и так махала, пока он весь не прогорел.

Она имела удовольствие (если это подходящее слово для ее тогдашнего настроения) увидеть всего через одну-две минуты такой же огонь поблизости от жилища Уайлдива. Он обещал следить каждый вечер в это время на случай, если ей понадобится помощь, и теперь быстрота, с которой он ответил, показывала, как точно он держит слово. Через четыре часа, то есть в полночь, он будет готов отвезти ее в Бедмут, как было уговорено.

Юстасия вернулась в дом. Сразу после ужина она поднялась к себе и тихо сидела в спальне, ожидая, когда будет пора идти. Ночь была темная и ненастная, и капитан Вэй не пошел поболтать в какой-нибудь из соседних домиков или в гостиницу, как ему случалось делать в такие долгие осенние вечера; вместо того он сидел один внизу, прихлебывая гrog. Около де-

сяти часов в наружную дверь постучали. Когда служанка пошла открыть, свет от ее свечи упал на коренастую фигуру Фейруэя.

— Мне вечером надо было пойти в Нижний Мистовер,— сказал он,— и мистер Ибрайт попросил меня по дороге занести это к вам, а я, понимаешь, сунул его за подкладку шляпы, да и забыл начисто, только тогда и вспомнил, когда перед сном стал калитку на засов запирасть. Ну, я, конечно, бегом обратно. На вот, держи.

Он подал ей письмо и ушел. Девушка отнесла его капитану, тот увидел, что оно адресовано Юстасии. Он повертел его в руках, почерк был как будто ее мужа, но капитан не был уверен. Все же он решил немедленно передать ей письмо и с этой целью понес его наверх, но, подойдя к ее двери и заглянув в замочную скважину, обнаружил, что внутри темно. Объяснилось это тем, что Юстасия прилегла на постель, не раздеваясь, чтобы отдохнуть и набраться сил перед предстоящим путешествием. Но девушка из виденного им заключил, что ее не следует тревожить, и, спустившись обратно в гостиную, положил письмо на каминную доску, с тем чтобы отдать ей утром.

В одиннадцать часов он и сам пошел спать, покурил еще немного у себя в спальне, в половине двенадцатого погасил свет и затем по неукоснительному своему обычаю, прежде чем лечь, подошел к окну и поднял штору, чтобы, открыв глаза утром, тотчас увидеть, откуда дует ветер, ибо из окна спальни виден был флагшток и укрепленный на нем флюгер. И как раз когда он ложился, он с удивлением заметил, что шест флагштока вдруг выступил из темноты, словно мазок фосфора, проведенный сверху вниз по ночной тени. Объяснение могло быть только одно: со стороны дома на него внезапно упал свет. Так как в доме уже все легли, старик счел нужным встать с постели, тихонько открыть окно и посмотреть направо и налево. Спальня Юстасии была освещена, именно свет из ее окна и озарил шест. Недоумевая, что могло ее разбудить, он стоял в нерешимости у окна и уже собирался сходить за письмом и подсунуть ей под дверь, как вдруг услышал легкий шелест платья о перегородку, отделявшую его спальню от коридора.

Капитан решил, что Юстасии, очевидно, не спится и она пошла за книгой, и он перестал бы обо всем этом думать, как о несостоящем деле, если бы одновременно и вполне отчетливо не услышал, что Юстасия плачет.

«О муже своем думает,— сказал он про себя.— Эх, дуреха! Надо было ей за него выходить! Интересно, от него ли все ж таки это письмо?»

Он встал, набросил на плечи бушлат, растворил дверь и позвал:

— Юстасия! — Ответа не было. — Юстасия! — повторил он громче. — Там на камине есть для тебя письмо.

Но и на это не было ответа, разве только ворчанье ветра,

который, казалось, вгрызался в углы дома, да стук нескольких капель о стекло.

Он вышел на лестничную площадку и почти пять минут стоял, ожидая. Но она все не возвращалась. Он пошел к себе взять свечу, решив, что сам сходит вниз за Юстасией. Но сперва заглянул к ней в спальню. Там, на наружной стороне стеганого одеяла он увидел отпечаток ее тела, из чего следовало, что постель она не разбирала; и что еще многозначительнее, — уходя, она не взяла свечи. Тут уж капитан совсем встревожился; поспешно одевшись, он сошел к парадной двери, которую сам запер на ключ и задвинул засовом. Она была отперта. Не приходилось сомневаться, что Юстасия в этот полночный час ушла из дому. Но куда она могла пойти? Догнать ее было невозможно. Стоял бы этот дом на обыкновенной дороге, тогда пойти бы вдвоем, одному в одну сторону, другому — в другую, и уж кто-нибудь непременно бы ее настиг. Но безнадежное дело искать человека в темноте на пустоши, где возможных путей для бегства от любой точки отходит не меньше, чем меридианов от полюса. Теряясь в мыслях, что делать, он заглянул в гостиную и еще больше расстроился, увидев, что письмо лежит нетронутое.

В половине двенадцатого, удостоверясь, что в доме все тихо, Юстасия зажгла свечу, надела кое-что потеплее, взяла в руку свой дорожный мешок и, погасив свечу, сошла по лестнице. Выйдя на воздух, она увидела, что пошел дождь, и пока она в нерешимости медлила у двери, дождь усилился, грозя превратиться в ливень. Но, приняв сегодня свое решение, она связала себя, — поздно было отступать из-за плохой погоды; даже если б она получила письмо Клайма, теперь это бы ее не остановило. Ночной мрак был прямо похоронный, казалось, вся природа оделась в траур. Остроконечные верхушки елей за домом вздымались, словно башни и шпили аббатства, различные все же на угрюмом небосклоне. Зато ниже, на земле, ничего не было видно, кроме единственного огня, все еще горевшего в доме Сьюзен Нонсен.

Юстасия раскрыла зонтик и, поднявшись по ступенькам, перешла через насыпь, после чего могла уже не бояться, что ее увидят. Огибая пруд, она пошла дальше по тропинке к Дождевому кургану, иногда спотыкаясь об извилистые корни грибов, пучки рогоза или источающие влагу кучки мясистых грибов, которые в эту пору года бывали разбросаны по всей пустоши, словно гниющая печень или легкие какого-то огромного животного. Луна и звезды, полузадушенные тучами и дождем, еле проглядывали на небе. Ночь была такая, что в памяти путника невольно всплывали какие-нибудь известные в истории ночные сцены гибели и разрушения, все самое страшное и темное, что мы находим в летописях и преданиях, — последняя казнь еги-

петская, избивение воинства Сеннахерибова, моление в Гефсиманском саду.

Юстасия наконец добралась до Дождевого кургана и остановилась подумать. В мыслях ее был хаос, не меньший, чем в стихиях вокруг нее, — в этом смысле между тем и другим была полная гармония. Сейчас ее вдруг осенило, что у нее ведь нет достаточно денег для длительного путешествия. Среди колебания чувств, пережитых ею за этот день, ее непрактический ум ни разу не остановился на необходимости заготовить нужными средствами, и теперь, когда она впервые до конца осознала свое положение, ее прямая осанка сломилась, она стала клониться долу, пока не скорчилась на земле под зонтиком, как будто ее втягивала в могильник чья-то рука, высунувшаяся оттуда. Неужели ей опять оставаться пленницей? Деньги: она никогда раньше не понимала их ценности. Даже чтобы исчезнуть с пустоши, и то нужны деньги. Просить у Уайлдива денежной помощи, не разрешая ему ехать с ней, было невыносимо для женщины, сохранившей хотя бы крупицу гордости; бежать с ним как его любовница, — а она знала, что он ее любит, — было унижением.

Кто был бы с ней сейчас, без сомнения, пожалел бы ее, и не столько за ее незащищенность от непогоды и оторванность от всего мира людей, кроме истлевших останков под Дождевым курганом, сколько за то внутреннее терзание, от которого она раскачивалась взад и вперед со стиснутыми на груди руками. Крайнее несчастье зримо тяготело на ней. К всхлипыванию дождевых капель, скатывавшихся с зонтика на накидку, с накидки на вереск, с вереска на землю, примешивались такие же звуки, слетавшие с ее губ, и слезы природы повторялись на ее щеках. Крылья ее души были сломлены жестоким сопротивлением всего окружающего; и если бы даже ей представилась сейчас спокойная возможность добраться в Бедмут, взойти на пароход и уплыть в какой-нибудь порт по ту сторону Ла-Манша, вряд ли бы это очень ее подбодрило, так ужасно и так губительно было то, другое. Она что-то говорила вслух. А уж если женщина в таком положении, не будучи ни выжившей из ума старухой, ни глухой, ни сумасшедшей, ни истеричкой, начинает рыдать и вслух разговаривать сама с собой, это значит, что с ней в самом деле стряслась беда.

— Поехать с ним? Решиться?.. — стонала она. — Он не настолько большой человек, чтобы предать ему себя, — я не о таком мечтала!.. Будь это Саул или Бонапарт — о!.. Но нарушить супружеские обеты ради него — слишком дорогая плата!.. А уехать одной — нет денег! А если бы и были, что пользы? Влачить будущий год, как этот, и тот, что придет потом, как только что прошедший?.. Как я старалась быть блестящей, и как судьба все время была против меня!.. Я не заслужила своей участи! — вскричала она в горьком негодовании. — О, какая жестокость — бросить меня в этот неудачно сотворенный мир!

Я многое могла, но я была искалечена, и отравлена, и смята какими-то силами, над которыми у меня нет власти. Как он жесток, этот бог, что придумал для меня такие муки, хотя я не сделала ему ничего дурного!

Дальний свет, который Юстасия мельком заметила, покидая дедушкину усадьбу, исходил, как она и угадала, из домика Сьюзен Нонсеч. Чего Юстасия не угадала, это какому занятию предавалась в ту минуту его хозяйка. Когда Юстасия несколько раньше вечером проходила мимо ее двери, вид этой промелькнувшей фигуры, да еще почти непосредственно вслед за тем, как мальчик воскликнул: «Мама, мне так плохо!» — окончательно убедил Сьюзен, что близость Юстасии оказывает дурное влияние на болезнь ребенка.

Поэтому Сьюзен, против обыкновения, не легла спать тотчас по окончании вечерних дел. Чтобы обезвредить злые чары, которые, по ее убеждению, бедная Юстасия творила над ее ребенком, Сьюзен прибегла к некоему измышлению суеверных умов, долженствовавшему навести бессилие, безволие и гибель на всякого человека, против которого будет направлено. Практика эта была хорошо известна на Эгдоне в те дни, да, пожалуй, не совсем вывелась и доныне.

Со свечой в руке она прошла в заднюю комнату, служившую кладовой, где среди прочей утвари стояли две больших коричневых миски, содержавших около центнера жидкого меда — весь сбор прошлого лета. На полке над мисками лежала плотная и гладкая желтая масса в форме полушария — воск того же сбора. Сьюзен сняла с полки этот ком, отрезала от него несколько тонких ломтиков, сложила их в ковш и, вернувшись в жилую комнату, поставила его на горячую золу в очаге. Как только воск размягчился до консистенции теста, она тщательно перемесила ломти. И теперь на ее лице появилось более внимательное выражение. Она продолжала разминать воск, и видно было, что она старается придать ему определенную форму — именно форму человека.

Нагревая и разминая, надрезая и скручивая, расчлняя и соединяя вновь, она через четверть часа слепила фигурку высотой в шесть дюймов и в достаточной мере похожую на женщину. Затем положила ее на стол, чтобы она застыла и отвердела. В ожидании, пока это делается, Сьюзен взяла свечу и поднялась наверх, где лежал мальчик.

— Ты не заметил, милый, что сегодня было на миссис Юстасии, кроме темного платья?

— Красная лента на шее.

— Может, еще что вспомнишь?

— Да нет — вот только на ногах сандалии.

— Красная лента и сандалии, — повторила она про себя.

Сьюзен принялась копаться в своих вещах, пока не отыска-

ла обрывок узенькой красной ленты; его она отнесла вниз и завязала вокруг шеи вылепленной фигурки. Потом достала пузырек с чернилами и гусиное перо из расхлябанного письменного столика у окна, зачернила ноги изображения в тех местах, которые предположительно должны были быть закрыты туфлями, и на подъеме каждой ноги прочертила крест-накрест черные полоски, приблизительно так, как ложилась шнуровка в модных тогда туфлях-сандалиях. Наконец, голову куклы она обвязала черной ниткой, в подражание ленты для волос.

Отведя руку, она некоторое время созерцала плоды своих трудов с удовлетворением, но без улыбки. Всякий, знакомый с обитателями Эгдонской пустоши, узнал бы в этом изображении Юстасию Ибрайт.

Из своей рабочей корзинки она достала бумажку с наколотыми на нее булавками; булавки были такие, какие выделывались в старину, — длинные и желтые, с головками, имевшими склонность отваливаться при первом же употреблении. Их она со злобной энергией принялась втыкать со всех сторон в восковую фигурку — в голову, в плечи, в туловище, даже в ноги снизу сквозь подошвы, — пока не натыкала не меньше пятидесяти, так что вся кукла оцетинилась булавками.

Затем она подошла к очагу. Топливом служил торф, и высокая кучка золы, какая обычно остается от торфа, снаружи казалась темной и погасшей, но, пошевелив ее совком, Сьюзен обнаружила рдеющую алым огнем внутренность. Сверху она положила еще несколько свежих кусков торфа, взяв их из угла у печки, после чего огонь заметно оживился. Наконец, ухватив щипцами вылепленное ею изображение Юстасии, Сьюзен сунула его в самый жар и пристально следила за тем, как оно стало размягчаться и таять. Одновременно с ее губ слетали какие-то невнятные слова.

Это был поистине странный жаргон — молитва «Отче наш», читаемая сзади наперед, — обычное заклинание, когда ищут помощи у злых сил против врага. Сьюзен трижды медленно выговорила свое зловещее моление, и к концу его восковая фигурка уже значительно уменьшилась. Когда воск капал в огонь, в том месте взлетал высокий язык пламени и, обвиваясь вокруг куклы, слизывал еще часть ее состава. По временам вместе с воском сваливалась булавка и потом лежала, раскаленная докрасна, на горячих углях.

ГЛАВА VIII

ДОЖДЬ, ТЬМА И ВСТРЕВОЖЕННЫЕ ПУТНИКИ

Пока изображение Юстасии таяло и обращалось в ничто, а сама она стояла на Дождевом кургане с таким отчаянием в душе, какое существам столь юным редко доводится испыты-

вать, Ибрайт одиноко сидел в Блумс-Энде. Он исполнил обещание, данное Томазин, послав с Фейруэем письмо жене, и теперь нетерпеливо ждал какого-нибудь звука или признака ее возвращения. Если письмо застало ее в Мистовере, самое меньшее, чего он мог ожидать, это что она пришлет ответ сегодня же и с тем же посланцем, хотя, не желая никак влиять на ее решение, он предупредил Фейруэя, чтобы тот не спрашивал ответа. Если ему что-нибудь скажут или дадут письмо, пусть немедленно его принесет; если нет, пусть идет прямо домой, не заходя сегодня в Блумс-Энд.

Но втайне Клайм лелеял более отрадную надежду. Юстасия, может быть, не станет прибегать к перу,— ведь ее обычай — делать все молча, может быть, она обрадует его неожиданным появлением у двери.

К огорчению Клайма, под вечер пошел дождь и поднялся сильный ветер. Ветер скребся и скрежетал по углам дома и щелкал по стеклу окон стекавшими с крыши каплями, словно горошинами. Клайм без усталости ходил по нежилым комнатам и гасил странные звуки, исходившие от окон и дверей, затыкая щепками щели и зазоры в оконных рамах и прижимая края свинцовых переплетов там, где в них распались стекла. Это была одна из тех ночей, когда расширяются трещины в стенах старых церквушек, проступают вновь древние пятна на потолках ветшающих помещичьих домов, а там, где эти пятна были величиной в ладонь, они расплзаются ширию на несколько футов. Маленькая калитка в палисаде перед домом беспрестанно хлопала, то открываясь, то закрываясь, но когда Клайм в волнении выглядывал, там никого не было, как будто это проходили невидимые призраки умерших, направляясь к нему в гости.

Где-то между десятью и одиннадцатью часами, видя, что ни Фейруэй и никто другой не приходит, Клайм лег в постель и, несмотря на свои тревоги, вскоре заснул. Но сон его не был крепок, и примерно через час он вдруг проснулся от негромкого стука в дверь. Он встал и выглянул в окно. Дождь все еще лил, и под его потоками вся ширь вересковой пустоши, раскинутая перед Клаймом, издавала легкое шипенье. Было так темно, что и у самого дома ничего не было видно.

— Кто там? — крикнул Клайм.

Ему послышались легкие шаги на галерее — кто-то перешел там с одного места на другое — и еле различимый жалобный женский голос:

— Клайм, сойди же,пусти меня!

От волнения его обдало жаром.

— Это Юстасия! — прошептал он. Если так, то уж действительно неожиданное появление!

Он поспешно зажег свет, оделся, сбежал вниз. Распахнул дверь — дрожащий луч света упал на закутанную женскую фигуру. Она быстро шагнула к нему.

— Томазин! — со всей болью обманутой надежды воскликнул он. — Это Томазин?.. В такую ночь? Боже мой! Где Юстасия?

Да, это была Томазин, мокрая, испуганная, запыхавшаяся.

— Юстасия? Не знаю, Клайм, но догадываюсь, — смятенно проговорила она. — Дай я войду, сяду, тогда объясню. Там большая беда готовится — мой муж и Юстасия!

— Что, что?

— Мой муж, кажется, хочет меня бросить или еще сделать что-то ужасное — не знаю что... Клайм, ради бога, походи, посмотри!.. Мне ведь не к кому обратиться, кроме тебя. Юстасия не вернулась?

— Нет.

Она продолжала, все еще тяжело дыша:

— Он пришел сегодня часов в восемь вечера и сказал так, знаешь, небрежно: «Тамзи, я сейчас узнал, что должен буду уехать». Я спросила: «Когда?» — «Сегодня», — говорит. «А куда?» — «Этого, говорит, сейчас не могу тебе сказать, но завтра я вернусь. И стал укладывать кое-какие вещи, а на меня никакого вниманья, будто меня и нет. Я думала, он сразу уйдет, но нет, а когда стало десять часов, он говорит: «Ты ложись». Я не знала, что мне делать, и легла. Он, наверно, думал, что я заснула, потому что через полчаса пришел и отпер дубовую шкатулку, в которой мы держим деньги, когда их много скопится в доме, и достал оттуда пакет, по-моему, это были банкноты, хотя я и не знала, что они у него есть. Он, должно быть, взял их в банке, когда ездил туда на днях. Но зачем ему банкноты, если он уезжает на один день? И когда он ушел, я подумала о Юстасии и о том, что он виделся с ней вчера вечером, — я знаю, Клайм, что виделся, потому что я проследила его до полдороги, я только не сказала тебе, когда ты был у нас, не хотела, чтобы ты плохо о нем думал, я тогда не верила, что это так серьезно. Ну, после этого я не могла оставаться в постели. Встала и оделась, а когда услышала, что он возится в конюшне, я подумала, — пойду, скажу тебе. Сошла тихонько по лестнице и побежала.

— Значит, он еще не уехал, когда ты уходила?

— Нет еще. Клайм, милый, походи, постарайся уговорить его, чтобы не уезжал. Он не слушает, что я говорю, затыкает мне рот этими рассказями, будто он ненадолго и завтра вернется, но я не верю. А ты, мне кажется, мог бы на него повлиять.

— Хорошо, я пойду, — сказал Клайм. — Ах, Юстасия!

Томазин держала, прижав к груди, большой сверток; теперь, усевшись, она стала его разматывать, и оттуда, как орешек из скорлупы, вылутился младенец — сухой, тепленький, и, по-видимому, не заметивший ни своего ночного путешествия, ни бушующей непогоды. Томазин бегло его поцеловала и только тут заплакала, приговаривая:

— Я взяла ее с собой, потому что боялась, что с ней будет. И она, наверно, простудится и умрет, но я не могла оставить ее с Рейчл!

Клайм торопливо уложил поленья в камине, разгреб еще не успевшие погаснуть угли и раздул мехами огонь.

— Сядь поближе, обсохни, — сказал он. — Я пойду принесу еще дров.

— Нет, нет, не задерживайся из-за этого. Я сама разведу огонь. А ты иди, иди, — умоляю тебя, скорей!

Клайм побежал наверх одеться для выхода. Едва он ушел, как раздался новый стук в дверь. На этот раз нечего было надеяться, что это Юстасия, — шаги, предшествующие стуку, были медленные и тяжелые. Ибрайт, думая, что это может быть Фейруэй с ответным письмом, снова сошел вниз и отпер дверь.

— Капитан Вэй? — сказал он вошедшему, с которого ручьями стекала вода.

— Моя внучка здесь? — спросил капитан.

— Нет.

— А где же она?

— Не знаю.

— Вам бы надо знать — вы ее муж.

— Видимо, только по имени, — отвечал Клайм со все растущим волнением. — Похоже, она сегодня ночью собирается бежать с Уайлдивом. Я как раз хотел пойти разузнать.

— Из дому она, во всяком случае, ушла — так с полчаса тому назад. Кто это там сидит?

— Моя двоюродная сестра Томазин.

Капитан рассеянно поклонился ей.

— Надеюсь, это только побег, а не хуже, — сказал он.

— Хуже? Что может быть хуже самого худшего, что может сделать жена?

— Я слышал странную историю. Прежде чем выходить на поиски, я позвал Чарли, моего конюха. Недавно у меня пропали пистолеты.

— Пистолеты?

— Он тогда сказал, что взял их почистить. А теперь признался, что взял, потому что видел, как Юстасия чересчур внимательно на них смотрела; и потом она сказала ему, что хотела покончить с собой, и обещала больше ни о чем таком не думать, а с него взяла слово, что он будет молчать. Сомневаюсь, чтобы у нее хватило храбрости пустить в ход пистолеты, но это показывает, какие мысли ей тогда приходили в голову, а если раз пришли, так могут и опять.

— Где сейчас пистолеты?

— Заперты крепко-накрепко. О, нет, больше она до них не доберется. Но есть разные способы выпустить душу из тела, не только через дырочку от пули. Из-за чего вы с ней так жестоко поссорились, что вон до чего ее довели? Видно, уж очень солоно

ей пришлось. Ну, да я всегда был против этого брака, и выходит, не ошибался.

— Вы пойдете со мной? — спросил Ибрайт, не обращая внимания на последнюю тираду капитана.

— Куда?

— К Уайлдиву. Там ее надо искать, можете не сомневаться.

Тут вмешалась Томазин, все еще плача:

— Он сказал, что поедет недалеко и на один день. Но если так, зачем ему столько денег? Ох, Клайм, что с нами будет? Боюсь, моя бедная крошка, скоро ты без отца останешься.

— Ну, я уйду, — сказал Клайм, отворяя дверь на галерею.

— Я бы пошел с вами, — нерешительно проговорил старик, — да боюсь, ноги далеко меня не унесут в такую ночь. Годы мои не маленькие. А кроме того, если их бегству помешают, она, понятно, ко мне вернется, и надо быть дома, чтобы ее принять. Одним словом, так ли, сяк ли, а в гостиницу я идти не могу. Пойду прямо домой.

— Пожалуй, это самое правильное, — сказал Клайм. — Томазин, грейся тут, сушишь, устраивайся как можешь удобнее.

С этими словами он закрыл за собой дверь и вместе с капитаном Вэем вышел из дому. У калитки они расстались: капитан пошел по средней тропе, которая вела в Мистоввер; Клайм свернул на правую дорогу по направлению к гостинице.

Оставшись одна, Томазин сняла промокшую накидку, отнесла ребенка наверх, уложила в спальне Клайма и, сойдя снова вниз, разожгла огонь пожарче и принялась сушить одежду. Пламя скоро стало взвиваться высоко в дымоход и озарять комнату, делая ее особенно уютной по контрасту с непогодой, разыгравшейся снаружи; ветер сотрясал оконные рамы и, врываясь в трубу, бормотал там что-то глухое и странное, словно пролог к трагедии.

Но Томазин только частицей сознания присутствовала в доме, ибо едва ее сердце успокоилось за девочку, теперь мирно спавшую наверху, как мысли устремились вслед за Клаймом в его ночных поисках. Она довольно долго предавалась этим мысленным блужданиям, и постепенно в ней стало нарастать чувство, что время движется невыносимо медленно. Но она все же сидела. Потом наступил момент, когда она уже и сидеть не могла и восприняла как сущее издевательство над своим терпением тот факт, что, если верить часам, Клайм едва ли даже успел добраться до гостиницы. Под конец она пошла наверх и села возле ребенка. Девочка спокойно спала, но в воображении Томазин все время вставали картины разных несчастий, какие могли совершиться у нее дома, и это преобладание воображаемого над видимым наполняло ее нестерпимой тревогой. Она не выдержала — сошла вниз и распахнула дверь. Дождь все лил, свет от свечи упал на передние капли, превращая их в сверкающие стрелы, а за ними угадывались еще сонмы других, невиди-

мых. Выйти под такой дождь было все равно что окунуться в чуть разбавленную воздухом воду. Но чем труднее было вернуться домой, тем сильнее ей этого хотелось; все лучше, чем ожидание. «Я ведь дошла сюда,— сказала она себе,— почему бы мне не дойти обратно? Было ошибкой уходить из дому».

Она поспешно отнесла вниз ребенка, завернула его, укуталась сама и, засыпав огонь золой, во избежание несчастных случайностей, вышла на воздух. Остановившись на минуту, чтобы положить ключ на старое место за ставней, она затем повернулась лицом к громаде небесного мрака, поджидавшей ее за палисадом, и, отворив калитку, ступила в самое его нутро. Но ее воображение было так занято другим, что ночь и непогода не имели для нее страхов, кроме трудности и неудобства пути.

Вскоре она уже поднималась по долине Блумс-Энда и одолевала бугры и впадины на склоне холма. Ветер так свистал над вереском, будто радовался, что наконец выдалась ночка ему по сердцу. Иногда тропа заводила Томазин в ложбинку меж зарослей высоких и насквозь мокрых орляков, увядших, но еще не повалившихся, и они замыкали ее там, словно в пруду. Когда они были особенно высокими, она поднимала младенца себе на голову, чтобы сделать его недосыгаемым для их источающих воду листьев. На более высоких и открытых местах, где ветер был резким и непрерывным, дождь летел вдоль над землей, ничуть к ней не склоняясь, так что даже невозможно было себе представить отдаленность той точки, в которой он покидал лоно облаков. Здесь от дождя не было защиты, и отдельные капли вонзались в Томазин, как стрелы в святого Себастиана. Ей удавалось избегать луж по туманной бледности, которая выдавала их присутствие, хотя рядом с чем-нибудь не столь темным, как вереск, сама эта бледность показалась бы чернотой.

Несмотря на все это, Томазин не жалела, что вышла. Для нее не таились, как для Юстасии, демоны в воздухе и злой умысел в каждом кусте и каждой ветке. Капли, которые секли ей лицо, были не скорпионами, но самым прозаическим дождем, и весь Эгдон в целом не каким-то недобрый чудищем, а просто открытой местностью. Если она чего-нибудь здесь боялась, то в пределах здравого смысла, если что ей не нравилось, то с полным основанием. Сейчас, в частности, Эгдон был для нее мокрым и ветреным местом, где очень неудобно идти, можно, если не доглядишь, потерять дорогу, да, пожалуй, еще и простудиться.

Когда хорошо знаешь тропу, держаться на ней нетрудно, ноги сами ее нащупывают; но, однажды потеряв, вновь найти невозможно. Из-за ребенка, который иногда мешал Томазин заглядывать вперед и отвлекал ее внимание, она в конце концов сбилась с дороги. Это произошло, когда она спускалась по открытому склону, пройдя уже две трети расстояния до дому. Она не стала делать безнадежных попыток отыскать этакую ниточку, бегая вправо и влево, но пошла напрямик, положив-

шись на свое общее знание местности, в котором даже Клайм и сами вересковые стригуны едва ли могли с ней соперничать.

Наконец Томазин очутилась в ложине и стала различать сквозь дождь смутное пятно света, которое скоро приняло удлиненную форму открытой двери. Томазин хорошо знала, что никаких домов здесь нет, и через минуту поняла, что это за дверь, разглядев, как высоко она находится над землей.

— Да это же фургон Диггори Венна! — сказала она.

Ей было известно, что у Венна есть излюбленное уединенное местечко недалеко от Дождевого кургана, где он и устраивает свою штаб-квартиру, когда бывает в этой части Эгдона; и теперь она догадалась, что случайно набрела на это таинственное убежище. Попросить его, чтобы вывел ее на дорогу? Или лучше не надо? Ей так не терпелось скорее попасть домой, что она решила все же обратиться к нему, несмотря на странность ее появления перед ним в таком месте и в такое время. Но когда Томазин подошла и заглянула в фургон, оказалось, что там никого нет, хотя это, без сомнения, был фургон Венна; угли еще тлели в печурке, зажженный фонарь висел на гвозде, и пол возле двери был не сплошь мокрый, а только в пятнышках от капель, а это значило, что дверь открыли недавно.

Стоя у фургона и нерешительно заглядывая внутрь, Томазин услышала шаги, приближающиеся из темноты за ее спиной. Она обернулась и увидела знакомую фигуру в плюсовой паре и красную с головы до ног; свет от фонаря падал на нее сквозь сетку дождя.

— Я думал, вы пошли вниз по склону, — проговорил он, не глядя в ее лицо. — Как вы опять тут очутились?

— Диггори! — пролепетала Томазин.

— Кто вы? — продолжал Вени, все еще не разобравшись. — И отчего вы сейчас так плакали?

— Диггори! Неужели ты меня не узнаешь? — сказала она. — Ну да, конечно, я так укутана. Но ты это о чем? Я не плакала, и меня раньше тут не было.

Вени сделал еще несколько шагов и увидел наконец освещенную сторону ее фигуры.

— Миссис Уайлдив! — воскликнул он, глядя на нее во все глаза. — Вот так встреча! И ребенок тут! Да что случилось, что вы одна на пустоши в такую ночь?

Она не смогла сразу ответить, и, не спрашивая у нее разрешения, он вскочил в фургон и, протянув ей руку, помог войти.

— Что случилось? — повторил он, когда они оба уже стояли внутри.

— Я шла из Блумс-Энда и сбилась с дороги, а мне надо скорей домой. Пожалуйста, покажи мне, где идти! Это так глупо, что я сбилась, уж мне бы надо знать Эгдон, не понимаю, как это вышло. Скорей покажи мне дорогу, Диггори, ради бога!

— Ну, покажу, конечно, да я сам пойду с вами. Но ведь вы уже были здесь, миссис Уайлдив?

— Только сейчас подошла.

— Странно. Я тут лежал и спал и дверь была заперта от непогоды, как вдруг, минут пять назад, я проснулся (у меня чуткий сон) оттого, что где-то совсем рядом женское платье по вереску прошуршало, и еще я услышал, что платит она, эта женщина. Я встал и высунул фонарь, и как раз там, куда свет еще доставал, я увидел женщину; она отвернулась, когда свет упал на нее, и скорей, скорей пошла туда, вниз. Я повесил фонарь обратно, и любопытство меня взяло, живо оделся — и за ней, но ее уже и след простыл. Вот где я был, когда вы подошли, ну, а потом я вас увидел и подумал, что это опять она.

— Может, из поселка кто-нибудь? Домой возвращалась?

— Нет. Слишком поздно. Да и платье по вереску как-то вроде свистело, так только от шелка бывает.

— Ну, так уже, значит, не я. У меня платье, видишь, не шелковое... Скажи, мы сейчас не где-нибудь на пути между Ми-стовером и гостиницей?

— Да около того.

— А вдруг это она! Диггори, я должна сейчас же идти!

Венн не успел еще фонарь отцепить, как она уже выпрыгнула из фургона; он спрыгнул следом.

— Я понесу ребенка, мэм,— сказал он.— Вы, наверно, устали.

Секунду Томазин колебалась, потом передала ребенка в руки Венна.

— Не прижимай ее слишком сильно, Диггори,— сказала она,— не сделай больно ее ручкам. И закрывай ее сверху плащом — вот так, чтобы дождь не попадал ей на личико.

— Все исполню,— с жаром отвечал Венн.— Как будто я могу сделать больно чему-нибудь, что вам принадлежит!

— Я хотела сказать — нечаянно,— поправилась Томазин.

— Ребенок-то сухой, а вы вот, кажется, промокли,— сказал охряник, когда, готовясь запереть дверь, заметил на полу кольцо из капель в том месте, где раньше стояла Томазин.

Томазин послушно шла за ним, а он двигался не спеша, сворачивал то направо, то налево, в обход более крупных кустов, временами останавливался и, прикрыв фонарь, оглядывался назад, стараясь определить положение Дождевого кургана, высившегося за ними,— чтобы идти правильно, надо было все время иметь его у себя за спиной.

— Диггори, дождь там на ребенка не капает, ты уверен?

— Ни капли не проходит, будьте покойны. А сколько ему времени, мэм?

— Ему! — укоризненно сказала Томазин.— Неужели не видно сразу, что это девочка? Ей почти два месяца. Далеко еще до гостиницы?

— Чуть больше четверти миль.

— Ты не можешь идти немножко быстрее?
— Я боялся, что вам трудно будет за мной поспевать.
— Мне надо скорее, скорее домой. А, вон и свет в окне!
— Это не в окне. По-моему, это фонарь на двуколке.
— Ах! — воскликнула Томазин в отчаянии. — Зачем только я не пошла раньше! Дай мне ребенка, Диггори, тебе незачем идти дальше.

— Нет, я пойду с вами до конца. Между этим светом и нами трясина, вы там по шею увязнете, если я вас кругом не обведу.

— Но ведь свет в гостинице, а перед ней нет никакой трясины.

— Нет, свет пониже гостиницы — ярдов на двести — триста.

— Все равно, — торопливо сказала Томазин. — Иди на свет, а не к гостинице.

— Хорошо, — ответил Венн, покорно поворачиваясь, и, помолчав, добавил: — Сказали б вы мне все-таки, что у вас за беда стряслась. Разве я вам еще не доказал, что мне можно довериться?

— Бывает такое, чего нельзя сказать тому, кто... тому, кто...

Но тут ее голос оборвался, и больше она ничего не смогла выговорить.

ГЛАВА IX

СВЕТ И ЗВУКИ СВОДЯТ ПУТНИКОВ ВМЕСТЕ

Увидев в восемь часов сигнал Юстасии, Уайлдвиг немедленно изготовился помогать ей в бегстве и, как он надеялся, сопровождать ее. Он был несколько взволнован, и то, как он сообщил Томазин о своей предполагаемой поездке, само по себе могло вызвать ее подозрения. Когда она легла, он собрал вещи, какие могли понадобиться в дороге, потом пошел наверх, и достал из денежной шкатулки порядочную сумму в банкнотах, которую ему авансировали на расходы, связанные с переездом, под обеспечение имуществом, во владение коим он вскоре должен был вступить.

Затем он пошел в конюшню и каретный сарай — проверить, в достаточно ли хорошем состоянии лошадь, двуколка и сбруя, чтобы выдержать дальнюю поездку. Там он провел около получаса, и когда возвращался домой, то не имел никаких сомнений в том, что Томазин мирно спит в постели. Паренька, что работал в конюшне, он отпустил, дав ему понять, что выедет утром часа в три-четыре, — время необычное, но не столь странное, как полночь, на которую они сговорились с Юстасией, так как пароход отходил из Бедмута между часом и двумя.

Наконец в доме все стихло, и ему ничего не оставалось, как только ждать. Никакими усилиями не мог он стряхнуть душевный гнет, который не переставал его мучить с последнего свиданья с Юстасией; но он надеялся, что многое в его положении можно исправить деньгами. Он уже убедил себя, что быть одновременно великодушным мужем своей кроткой жены, закрепив за ней половину своей собственности, и преданным рыцарем другой, более возвышенной женщины, разделив ее участь, — вещь вполне возможная. И хотя он намеревался буквально выполнить приказ Юстасии, то есть довести ее, куда она хочет, и там оставить, если будет на то ее воля, все же обаяние, которым она его вновь овеяла, становилось все сильнее, и сердце его ускоренно билось, когда он предвкушал все бессилие подобных приказов перед лицом их взаимного желания уехать вместе.

Он не позволил себе долго останавливаться на этих предположениях и надеждах и без двадцати двенадцать снова тихо прошел в конюшню, запряг лошадь и зажег оба фонаря; затем, взяв лошадь под уздцы, он вывел ее и крытую двуколку со двора на одно укромное местечко у большой дороги, примерно в четверти мили от гостиницы.

Здесь Уайлдив стал ждать, слегка защищенный от дождя высокой обочиной, которая в этом месте почему-то была насыпана. Там, где свет от фонарей падал на дорогу, видно было, как ветер рывками гонит по ней шуршащий гравий и шелкающие друг о друга мелкие камешки и сметает их в кучки; потом, вдруг бросив их, ветер устремлялся в глубь пустоши и с гулом уносился сквозь кусты во тьму. Только один звук был сильнее всех этих шумов непогоды — это рев плотины о десяти затворах, возвышавшейся в нескольких ярдах отсюда — в том месте, где дорога подходила к реке, составлявшей здесь границу вересковой пустоши.

Он ждал в полной неподвижности, пока ему не стало казаться, что полночь уже наступила. У него возникло сомнение, решится ли Юстасия спускаться по холму в такую погоду, но, зная ее характер, он подумал, что, пожалуй, она все-таки пойдет.

— Бедняжка! И тут ей не везет, — пробормотал он.

Под конец он повернулся к фонарю и взглянул на часы. К удивлению своему, он увидел, что уже четверть первого. Он жалел теперь, что не поехал кружной дорогой к Мистоверу; в свое время они отвергли этот план из-за огромной длины этой дороги по сравнению с пешеходной тропкой, спускавшейся по открытому склону, — не хотелось добавочно утомлять лошадь.

В эту минуту он услышал приближающиеся шаги. но свет фонарей был направлен в другую сторону, и идущего не было видно. Шаги затихли, потом послышались снова.

— Юстасия? — тихо окликнул Уайлдив.



Идущий выдвинулся вперед, и свет упал на блестящую от дождя фигуру Клайма, которого Уайлдвиг сразу узнал, но сам Уайлдвиг, стоявший за фонарями, не был тотчас узнан Клаймом.

Клайм остановился, как бы размышляя, может ли этот ожидающий экипаж иметь какое-либо отношение к бегству его жены. Вид Ибрайта мгновенно изгнал из сознания Уайлдвига все здравые мысли: перед ним снова был соперник, смертельный враг, от которого Юстасию надо было уберечь во что бы то ни стало. Поэтому Уайлдвиг молчал в надежде, что Клайм пройдет мимо, не заговорив с ним.

Пока оба таким образом медлили, сквозь шум дождя и ветра донесся глухой звук. Характер этого звука не оставлял сомнений — это было падение тела в реку, по-видимому, где-то возле запруды.

Оба вздрогнули.

— Боже! Неужели это она? — сказал Клайм.

— Почему она? — воскликнул Уайлдвиг, в испуге забывший, что он до сих пор прятался.

— А, так это ты, предатель? — закричал Ибрайт.— Почему она? А потому что на прошлой неделе она чуть не покончила с собой. Присматривать за ней надо было! Бери фонарь, и скорей за мной!

Он схватил тот, что был к нему ближе, и побежал. Уайлдвиг не стал задерживаться, чтобы снять другой фонарь, а сразу бросился следом, напрямик через луг, немного отстав от Ибрайта.

У подножья Шэдуотерской плотины был большой круглый водоем пятидесяти футов в диаметре; вода поступала в него через десять огромных затворов, которые поднимались и опускались обычным способом — посредством лебедок. Края водоема были выложены камнем и обведены каменной стеной, чтобы не размывало берегов; но зимой сила потока бывала иногда так велика, что она подмывала и обрушивала подпорную стенку. Клайм добрался к затворам; все это сооружение сотрясалось до самых основ от быстроты течения. Внизу в водоеме ничего не было видно, кроме ходящей буграми пены. Он ступил на дощатый мостик над быстринной и, придерживаясь за перила, чтобы не снесло ветром, перешел на другой берег реки. Там он нагнулся над стеной и опустил вниз фонарь, но увидел только водоворот, образовавшийся на загибе встречного тока.

Уайлдвиг тем временем добежал до берега на этой стороне, и фонарь Ибрайта, роняя пятнами дрожащее сияние на поверхность водоема, осветил перед бывшим инженером низвергающиеся из затворов и затем кружащиеся внизу пенные струи. И поперек этого израненного и сморщенного зеркала воды виднелось темное тело, медленно несомое одним из обратных течений.

— О, милая! — отчаянным голосом вскричал Уайлдвиг и, не проявив присутствия духа даже настолько, чтобы хоть снять пальто, бросился в кипящий водоем.

Ибрайт теперь тоже разглядел плывущее тело, хотя и неясно, и, заключив из прыжка Уайлдвиг, что тут еще можно спасти жизнь, сам уже готов был прыгнуть. Но в то же мгновение ему пришел в голову план, более разумный: прислонив фонарь к столбу, чтобы он стоял стоймя, Ибрайт побежал кругом к нижнему краю водоема, где не было стены, и соскочив в воду, смело двинулся вброд к более глубокой его части. Тут дно ушло у него из-под ног, он поплыл, и течением его снесло на середину водоема, где он увидел Уайлдвиг, борющегося с волнами.

Пока у плотины совершались второпях все эти опрометчивые действия, Венн и Томазин пробирались сквозь нижний угол пустоши, держа направление на свет от фонарей. Они были не настолько близко, чтобы услышать плеск упавшего в воду тела, но они увидели, как фонарь вдруг снялся с места. и проследили его движение по лугу. Как только они дошли до

одинок стоящих лошади и двуколки, Венн догадался, что стряслось еще что-то новое, и поспешил за удаляющимся светом. Он шагал быстрее Томазин и к плотине пришел один.

Фонарь, прислоненный Клаймом к столбу, все еще светил на воду, и охряник заметил, что там плавает что-то неподвижное. Но руки ему связывал ребенок, и он побежал назад, навстречу Томазин.

— Возьмите, пожалуйста, ребенка, миссис Уайлдвиг,— быстро проговорил он.— Бегите с ней домой, разбудите конюха, и пусть пошлют сюда ко мне всех мужчин, какие живут поблизости. Кто-то упал в воду.

Томазин схватила ребенка и пустилась бегом. Когда она подбегала к двуколке, лошадь, хотя только что из конюшни, стояла совсем смиренно, как будто понимая, что случилась беда. И тут Томазин впервые разглядела, чья это лошадь и экипаж. Она чуть не упала в обморок и, наверно, не смогла бы сделать и шага, если бы мысль о ребенке не заставила ее взять себя в руки. В жестоком беспокойстве, мучаясь неизвестностью, она вбежала в дом, устроила ребенка в тепле и безопасности, разбудила конюха и служанку и побежала поднимать тревогу в ближних домах.

Диггори, вернувшись к водоему, заметил, что верхние небольшие затворы сняты. Один лежал тут же, на траве; его он взял под мышку и, держа в другой руке фонарь, зашел в воду с нижнего края водоема, как это уже сделал Клайм. Как только ноги его перестали доставать дно, он лег поперек затвора; с этой поддержкой он мог теперь сколько угодно плавать, высоко держа фонарь в свободной руке. Он несколько раз прошлыл кругом всего водоема, каждый раз поднимаясь вдоль стен с одной из обратных струй и спускаясь по главному течению в середине водоема.

Сперва он ничего не мог разглядеть. Потом среди мокрого блеска водоворотов и белых комьев пены он различил перебрасываемую волнами женскую шляпку. Он осматривал воду вдоль левой стены, как вдруг почти рядом что-то вынырнуло на поверхность. Однако это была не женщина, как он ожидал, а мужчина. Охряник зажал кольцо фонаря в зубах, схватил утопающего за шиворот и, держась другой рукой за затвор, постарался попасть в самую сильную струю, которая и повлекла его вместе с затвором и утопленником вниз по течению. Как только Венн почувствовал, что его тащит по гальке в нижней части водоема, он твердо стал на ноги и побрел к берегу. В том месте, где вода была ему уже только по пояс, он оттолкнул затвор и попытался вытащить утонувшего. Это оказалось необыкновенно трудным, и причина тут же обнаружилась: ноги несчастного крепко обхватил руками другой мужчина, который до сих пор был все время под водой.

В эту минуту Венн, к своей радости, услышал бегущие шаги, и двое мужчин, которых разбудила Томазин, показались

у верхнего края водоема. Они перебежали туда, где был Венн, помогли ему вынести оба, по всем признакам безжизненные, тела, расцепили их и положили рядом на траву. Венн направил свет фонаря на их лица. Тот, что вынырнул, был Ибрайт; тот, что все время оставался под водой, — Уайлдив.

— Надо еще искать, — сказал Венн. — Там где-то женщина. Достаньте шест.

Один из мужчин пошел на мостик и оторвал перила. Затем охряник и оба его помощника вошли в воду, как и раньше, с нижнего края и, соединенными усилиями продвигаясь вперед, стали обшаривать дно от края и туда, где оно постепенно понижалось к срединной глубине. Венн не ошибся в своем предположении, что всякое затонувшее тело будет рано или поздно снесено сюда, ибо не прошли они еще и половины расстояния до середины, как шест во что-то уперся.

— Тащите на себя, — сказал Венн, и они стали подгрести это шестом, пока оно не очутилось почти у их ног.

Венн исчез под водой, затем вынырнул с охапкой мокрой ткани, облекавшей холодное тело женщины; это было все, что оставалось от несчастной Юстасии.

Когда они выбрались на берег, там уже стояла подавленная горем Томазин, склоняясь над теми двумя, что были положены здесь раньше. Подвели лошадь и двуколку к самому близкому месту на дороге, и понадобилось лишь несколько минут, чтобы погрузить всех троих. Венн вел лошадь под уздцы, другой рукой поддерживая Томазин, оба его помощника шли сзади; так они прибыли в гостиницу.

Служанка, которую разбудила Томазин, успела уже наспеш одеться и растопить камин; другой служанке предоставили мирно храпеть в задней части дома. Юстасию, Клайма и Уайлдива внесли в дом и положили на ковер, ногами к огню; тотчас пустили в ход все средства оживления, какие могли вспомнить, а конюха послали за доктором. Но казалось, ни в одном из этих трех тел не оставалось даже самого слабого дыхания жизни. В это время Томазин, в которой оцепенение горя сменилось неистовой деятельностью, поднесла флакон с нюхательной солью к носу Клайма, уже тщетно испытав это средство на двух других. Он вздохнул.

— Клайм жив! — закричала она.

Через несколько минут дыхание его стало отчетливым, а Томазин снова и снова пыталась тем же способом привести в чувство мужа, но Уайлдив не подавал признаков жизни. Были все основания думать, что и он и Юстасия были уже за пределами досягаемости для возбуждающих ароматов. Все же и над ними неустанно трудились, пока не прибыл доктор, а затем их всех, одного за другим, перенесли наверх и уложили в согретые постели.

Венн вскоре почувствовал, что дальнейшие заботы с него сняты, и пошел к выходу; ему еще и сейчас трудно было пол-

постью осознать странную катастрофу, грянувшую над семьей, в судьбах которой он принимал такое участие. Силы Томазин, конечно, будут сломлены таким внезапным и сокрушительным ударом. Ведь нет уже в живых твердой и рассудительной миссис Ибрайт, которая помогла бы кроткой девушке пройти сквозь это испытание; и как ни расценивать, трезво рассуждая, потерю такого супруга, как Уайлдив, не подлежит сомнению, что в настоящую минуту бедняжка потрясена и повергнута в отчаяние. А так как сам он не имел никаких особых прав идти к ней и ее утешать, то и не видел основания еще чего-то дожидаться в доме, где он присутствовал только как чужой.

Снова он пересек пустошь и вернулся к своему фургону. Угли в печурке еще тлели, и все было так, как он оставил. Только теперь Венн обратил внимание на свою одежду, до того напитавшуюся водой, что она стала тяжелой, как свинец. Он снял ее, развесил перед огнем и лег в постель. Но какой мог быть сон, когда ему все время представлялись яркие картины смутения, царящего сейчас в доме, только что им покинутом; и, осуждая себя за то, что решился уйти, он встал, надел другое платье и снова поспешил в гостилицу. Дождь еще лил, когда он вошел в кухню. В очаге пылал огонь и возле суетились две женщины, одна из них — Олли Дауден.

— Ну как там сейчас? — шепотом спросил Венн.

— Мистеру Ибрайту лучше, но миссис Ибрайт и мистер Уайлдив, похоже, отдали богу душу. Доктор говорит, с ними все было конечно еще раньше, чем их вытащили из воды.

— Да, мне тоже так показалось, когда я их тащил. А как миссис Уайлдив?

— Да так, ничего. Очень-то хорошего ведь и ожидать нельзя. Доктор и ее велел уложить в постель; она сама-то промокла не хуже тех, что в речке побывали. Да и ты, охряник, что-то не больно сух.

— Ну, это пустяки. Я уже переоделся. Это от дождя, пока я шел.

— Иди сюда, к огню. Хозяйка сказала, чтобы тебе все давать, что тебе понадобится. И очень сокрушалась, когда узнала, что ты ушел.

Венн подвинулся ближе к камину и стал рассеянно смотреть в огонь. Пар поднимался от его башмаков и вместе с дымом исчезал в глубине камина, а он думал о тех, что лежали наверху. Двое мертвых, один едва ускользнувший из когтей смерти и еще одна — больная и осиротевшая. В последний раз он сидел у этого камина, когда разыгрывали лотерею; Уайлдив был тогда жив и здоров, Томазин с улыбкой хлопотала в соседней комнате. Ибрайт и Юстасия только что поженились, и миссис Ибрайт жила в Блумс-Энде. В то время казалось, что благополучие их прочно, еще лет на двадцать хватит. Однако из всех них только у него одного положение существенно не изменилось.

Нока он так размышлял, на лестнице послышались шаги. Это была нянька; в руке она держала скатанную кучу мокрой бумаги. Она была так поглощена своим занятием, что вряд ли даже увидела Венна. Из буфета она достала несколько бечевок и натянула их поперек камина, привязывая кончик каждой к подставке для дров, которую предварительно выдвинула вперед; потом расправила скатанные бумажки и начала прикалывать их одну за другой к веревочкам, в точности как белле для просушки.

— Что это за бумажки? — спросил Венн.

— Банкноты покойного хозяина, — отвечала она. — Нашли у него в кармане, когда раздевали.

— Значит, он нескоро думал вернуться? — сказал Венн.

— Этого мы никогда не узнаем, — сказала она.

Венну не хотелось уходить, ибо все, что было ему дорого на земле, находилось под этой крышей. А так как никто в доме в эту ночь не спал, кроме двух уснувших навеки, то не было и причины ему не оставаться. Поэтому он уселся на своем любимом месте — в каминной нише, и стал смотреть, как поднимается пар от двойного ряда подвешенных на веревочках банкнот и как они качаются взад и вперед в токе воздуха. Мало-помалу из мокрых и мягких они стали сухими и хрустящими. Тогда снова пришла нянька, отколола их и, сложив все вместе, унесла наверх. Потом с лестницы сошел доктор с видом человека, который больше ничего сделать не может; натягивая перчатки, он вышел из дому, и стук копыт его лошади вскоре за-тих вдали на дороге.

В четыре часа тихо постучали в дверь. Это был Чарли, которого капитан Вэй послал узнать, не слышно ли чего о Юстасии. Впустившая его служанка молча посмотрела ему в лицо, как будто не знала, что отвечать, потом, махнув рукой в сторону каминной ниши, проговорила, обращаясь к Венну:

— Пожалуйста, скажите вы ему.

Венн сказал. Единственным ответом Чарли был слабый, невнятный звук. Он стоял совсем тихо. Потом сказал срывающимся голосом:

— Я хотел бы еще раз увидеть ее.

— Это, я думаю, можно, — печально ответил Венн. — Но сейчас тебе, пожалуй, надо бы скорей пойти сказать капитану Вэю.

— Да, да, хорошо. Только я очень бы хотел еще разок увидеть ее.

— И увидишь, — произнес за их спиной глухой голос. Вздвигнув, они обернулись и увидели тощую, бледную, почти призрачную фигуру, закутанную в одеяло, нечто подобное Лазарю, восставшему из гроба.

— Это был Ибрайт. Ни Венн, ни Чарли ничего не сказали, и Клайм продолжал:

— Ты увидишь ее. Будет еще время сказать капитану, ког-

да рассветет. Вы тоже, Диггори, наверно, хотели бы ее видеть? Она сейчас очень красива.

Венн выразил согласие тем, что молча поднялся на ноги, и вместе с Чарли они прошли следом за Ибрайтом к лестнице, где Венн снял башмаки, и Чарли сделал то же. Затем они поднялись на лестничную площадку; там горела свеча; Клайм взял ее и провел их в соседнюю комнату. Здесь он подошел к кровати и откинул простыню.

Они стояли молча, глядя на Юстасию, которая на смертном ложе затмевала все свои прежние облики. Было бы неправильно назвать ее лицо бледным, это значило бы опустить то особенное, что сейчас проявлялось в нем и было белее белизны; казалось, это лицо светится. Тонко вырезанные губы таили в уголках мягкую усмешку, как будто чувство собственного достоинства только что побудило ее умолкнуть. Вечная неподвижность сковала их в миг перехода от страсти к примирению. Темные ее волосы лежали свободнее, чем когда-либо доводилось видеть тем, кто сейчас на нее смотрел, и окружали ее лоб, как лесная чаща. Величавость, которая раньше казалась даже чрезмерной для обитательницы сельского жилища, теперь наконец обрела гармонирующий с ней фон.

Все молчали; потом Клайм закрыл ее и отвернулся.

— Теперь пойдем сюда, — сказал он.

Они зашли в альков, где на кровати поменьше лежал другой усопший — Уайлдв. В его лице не было такого покоя, как у Юстасии, но и его осеяла та же светлота юности, и теперь бы всякий, глядя на него, согласился, что он был рожден для более высокой доли. Единственным, на чем отпечатлелась его недавняя борьба за жизнь, были кончики его пальцев — истертые и израненные в предсмертных попытках за что-нибудь уцепиться на каменных стенах водоема.

Ибрайт был так спокоен, он так скупо ронял слова, что Венну показалось, будто он смирился духом. Только когда они вышли из комнаты и остановились на площадке, проявилось его истинное душевное состояние. Он сказал со странной улыбкой, качнув головой в сторону комнаты, где лежала Юстасия:

— Это уже вторую женщину я убил в нынешнем году. Я многим виноват в смерти моей матери — и я главная причина смерти моей жены.

— Как? — спросил Венн.

— Я наговорил ей жестоких слов, и она ушла из дому. А я не позвал ее назад, пока не стало слишком поздно. Это мне надо было утопиться. Было бы милосердием к живым, если бы река меня поглотила, а ее вынесла на берег. Но я не могу умереть. Те, кому надо бы жить, лежат мертвые. А я вот — живу!

— Нельзя же так взваливать на себя все преступления, — сказал Венн. — Этак можно сказать, что родители повинны в убийстве, которое совершил сын, потому что без них его бы не было на свете.

— Да, Венн, это верно, но вы не знаете всех обстоятельств. Если бы богу было угодно уничтожить меня, это для всех было бы лучше. Но я уже привыкаю к ужасу своего существования. Говорят, приходит время, когда человек начинает смеяться над несчастьем от долгой к нему привычки. Для меня это время, наверно, скоро настанет!

— Цель у вас всегда была хорошая,— сказал Венн.— Зачем же вы говорите такие страшные речи?

— Не страшные, нет. Только безнадежные. И больше всего я печалюсь о том, что ни человек, ни закон не могут покарать меня за то, что я сделал.



КНИГА ШЕСТАЯ

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

ГЛАВА I

НЕИЗБЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Историю гибели Юстасии и Уайлдива долго еще рассказывали по всему Эгдону и даже далеко за его пределами. Все, что было известно об их любви, преувеличивалось, искажалось, приукрашалось и переиначивалось, так что в конце концов действительность имела уже мало сходства со своей подделкой, творимой окрестными языками. Но в общем внезапная смерть не уронила достоинства ни мужчины, ни женщины. Судьба милостиво поступила с ними, одним взмахом оборвав их заблудшие жизни, вместо того чтобы, как это чаще бывает, позволить каждой медленно затухать в тусклой скудости сквозь долгие годы, приносящие только морщины, заброшенность, разрушение.

Те, кого эти события ближе всего касались, восприняли их несколько иначе. Посторонний человек мог бы во всем происшедшем увидеть просто еще один случай, о каких он слышал и раньше, но когда удар обрушивается непосредственно на вас, никакое предшествующее знание не служит подготовкой. Самая внезапность утраты вначале как-то приглушила чувства Томазин, но затем — и, казалось бы, вопреки логике — сознание, что потерянный супруг далеко не был образцом добродетели, несколько не уменьшило ее скорбь по нем. Даже наоборот, это обстоятельство словно бы украшало умершего мужа в глазах его юной жены, как бы служило облаком, необходимым для радуги.

Но страх перед неизвестностью прошел. Кончились смутные опасения, терзавшие ее, когда она думала, что может оказаться в роли покинутой жены. Тогда грозящая беда могла быть лишь предметом глухих трепетных догадок, теперь это было нечто постигаемое рассудком, ограниченное зло. Да и главное содержание ее жизни — малютка Юстасия — была при ней. В горе

Томазин было смирение, в ее отношении к миру не было вызова, а когда так бывает; это знак, что потрясенная душа склонна утихнуть.

Если бы нынешнюю печаль Томазин и дремотное спокойствие Юстасии, облекавшее ее при жизни, можно было измерить какой-то единой мерой, весьма вероятно, что показания бы сошлись. Но прежняя яркость Томазин превращала в тень то, что в более сумрачном окружении само было бы светом.

Пришла весна и успокоила ее: пришло лето и умиротворило ее; пришла осень — и она снова стала понемногу радоваться жизни, так как ее маленькая дочь росла здоровенькой и веселой и с каждым днем крепла умом и телом. Внешние обстоятельства тоже благоприятствовали Томазин. Уайлдвид умер без завещания, и она с дочкой были единственной его родней. Когда было назначено управление имуществом, уплачены все долги и наследство после дяди, причитавшееся Уайлдвиду, официально закреплено за его вдовой, оказалось, что сумма, которую надлежало поместить в банк для пользования Томазин и ее маленькой дочери, составляет чуть поменьше десяти тысяч фунтов.

Где же ей теперь жить? Ответ напрашивался сам собой: в Блумс-Энде. Правда, старые комнаты были немногим выше, чем межпалубное пространство на фрегате, и для того, чтобы поместить новые стоячие часы, которые Томазин перевезла из гостиницы, пришлось в одном месте понизить пол и с футляра часов снять венчавшие его красивые бронзовые шары, но зато комнат было достаточно, да и самый дом был ей мил по воспоминаниям детства. Клайм с радостью отдал почти весь дом в ее распоряжение, оставив себе только две комнаты на верху задней лестницы, и там он жил теперь, совсем отдельно от Томазин и ее трех служанок, которых она наняла, так как была теперь сама хозяйка своим деньгам и могла позволить себе такую роскошь, — жил потихоньку, занятый какими-то своими делами, предаваясь каким-то своим мыслям.

Тяжелые переживания этого года несколько изменили его внешне, но главная перемена была внутри. Можно сказать, что душа его была в морщинах. У него не было врагов, и никто его не упрекал; тем горше он упрекал сам себя.

Иногда он думал, что судьба была к нему несправедлива, и даже говорил, что перед каждым рождающимся на свет встает неразрешимая задача, и по-настоящему людям следовало бы думать не о том, как пройти по жизни со славой, а о том, как уйти из нее без позора. Но на том, с какой злой насмешкой, как безжалостно его душа и души его близких были пронзены словно ножами, он все же не останавливался мыслью слишком долго. Так бывает со всеми, кроме самых непреклонных. В своих великодушных попытках построить гипотезу, которая не унижала бы Первопричину, люди никогда не решались допустить, что моральный уровень правящей миром силы может

быть ниже, чем их собственный; и даже когда они сидели и плакали на реках Вавилонских, они уже подыскивали оправдания для того гнета, который вызывал их слезы.

Таким образом, хотя утешительные слова, которые ему говорили, были бессильны, предоставленный сам себе, он в каком-то другом, им самим избранном направлении, находил подобие душевного мира. Для человека его скромных привычек дом и унаследованные от матери сто двадцать фунтов в год полностью обеспечивали все его материальные нужды. Ибо достаток измеряется не тем, сколько человек получает, а соотношением между получением и тратой.

Он часто бродил один по пустоши, и бывало, что прошлое хватало его своей призрачной рукой и заставляло прислушиваться к своим рассказам. Тогда его воображение вновь населяло пустошь ее древними обитателями: забытые кельтские племена ходили вокруг него по своим тропам, он как будто жил среди них, заглядывал им в лица, видел, как они стояли возле курганов, разбросанных кое-где на пустоши и посейчас еще нетронутых и круглых, как в те дни, когда они только что были возведены. Те из раскрашенных варваров, которые избрали пригодные для обработки земли, по сравнению с теми, что оставили свой след здесь, были как писатели, писавшие на бумаге, по сравнению с теми, что писали на пергаменте. Их летопись давно была стерта плугом, тогда как создания этих стоят до сих пор. Однако все они жили и умерли, не подозревая о различной судьбе своих трудов. Это напоминало Клайму о том, какие непредвиденные факторы участвуют в создании бессмертия.

Снова пришла зима и с нею ветры, морозы, ручные малиновки и сверкающие звезды. В прошлом году Томазин почти не замечала смены времен года, теперь сердце ее было открыто для всех внешних влияний. Жизнь этой милой сестры, ее ребенка и ее служанок доходила до Клайма только в виде звуков сквозь деревянную переборку, когда он сидел у себя в комнатах и работал — теперь он уже мог читать книги с наиболее крупным шрифтом, — но его слух вскоре так привык к этим легким шумам, что он как будто сам видел то, о чем они говорили. Слабое постукивание с темпом два в секунду означало, что Томазин качает колыбель; чуть слышное дремотное гуденье — что она убаюкивает ребенка песенкой; хруст песка, словно между двумя жерновами, вызывал представление о тяжелых башмаках Хемффри, Фейруэя или Сэма, ступающих по каменному полу кухни; легкий юношеский шаг и веселый напев фальцетом говорил о посещении дедушки Кентла, а внезапный перерыв в его звукоизлияниях — о том, что губы его в этот момент приложились к краю кружки с домашним пивом; суета и хлопанье дверей означали отбытие на рынок, ибо Томазин, несмотря на появившиеся у нее аристократические замашки, была до комизма экономна в расходах и старалась выгадать

каждый пенс, чтобы сберечь лишний фунт для своей малютки-дочери.

Однажды летним днем Клайм, проходя по саду, остановился под окном гостиной, которое, как всегда, было открыто. Он разглядывал цветы на подоконнике; стараниями Томазин они были возвращены к жизни и вновь доведены до того состояния, в каком их оставила миссис Ибрайт. Он услышал, как слегка вскрикнула Томазин, сидевшая в это время в гостиной.

— Ох, как ты меня напугал! — сказала она кому-то, кто, видимо, только что вошел. — Я думала, это твой призрак!

Любопытство побудило Клайма подойти еще ближе и заглянуть в окно. К удивлению своему, он увидел, что в комнате стоит Диггори Венн, но уже не в обличье охрянника, а до странности изменивший всю свою окраску — в белой манишке, светлом жилете с цветочками, с галстуком в синий горошек и в бутылочно-зеленом сюртуке. Странного в его внешности было только то, что она так сильно отличалась от прежней: красный цвет и все сколько-нибудь приближающиеся к нему оттенки были тщательно изгнаны из его одежды — ибо чего больше всего опасается человек, только что бросивший тянуть лямку, как не того, что напоминает о ремесле, его обогатившем?

Клайм обогнул угол дома и вошел в комнату.

— Я так испугалась! — сказала Томазин, с улыбкой поглядывая то на Диггори, то на брата. — Никак не могла поверить, что он сам собой побелел. Прямо колдовство какое-то!

— Я еще об рождестве кончил охрой торговать, — сказал Венн. — Это ведь дело выгодное, и у меня уже довольно скопилось, чтобы снова взять на себя ту молочную ферму о полсотне коров, что отец мой держал при жизни. А я всегда думал туда вернуться, если уж стану занятие менять. Ну и вот теперь я там.

— Да как же ты белым-то стал, Диггори? — спросила Томазин.

— Постепенно, мэм.

— Ты так куда красивее, чем раньше был.

Венн, казалось, смутился, и Томазин, сообразив, что слишком вольно разговаривает с человеком, который, может быть, еще питает к ней нежные чувства, слегка покраснела.

Клайм ничего этого не заметил и добродушно добавил:

— Чем же мы теперь будем страшать Тамзину дочурку, когда ты опять стал человеком, как все люди?

— Садись, Диггори, — сказала Томазин. — Сейчас будем чай пить.

Венн сделал движение, как будто хотел идти в кухню, но Томазин сказала с шутливой повелительностью, снова принимаясь за шитье:

— Здесь, конечно, садись, с нами. А где же находится ваша ферма, мистер Венн?

— В Стиклфорде, мэм, — это две мили вправо от Олдервор-

та, там, где начинаются луга. Может, мистер Ибрайт надумал бы к нам побывать? За приглашением дело не станет. А насчет чая — спасибо, но сегодня я, уж простите, не останусь, дело у меня есть на руках, надо его уладить. Завтра, видите ли, майский праздник, и ребята из Шедуотера сговорились кое с кем из ваших соседей, чтобы майское дерево поставить здесь, на пустоши, как раз против вашего палисада, — тут такая хорошая зеленая лужайка. Фейруэй мне говорил об этом, а я сказал, что, прежде чем ставить, надо спросить разрешения у миссис Уайлдив.

— Я тут ничего не могу ни разрешать, ни запрещать, — ответила Томазин. — Наша земля только до белого тына и ни вершка дальше.

— Но, может, вам неприятно будет, когда куча народу станет выплясывать вокруг шеста перед самым вашим носом?

— Да нет, я ничего не имею против.

Венн вскоре откланялся, а Клайм, прогуливаясь вечером, дошел до дома Фейруэя. Был чудесный весенний закат, и березки, выросшие по краю эгдонских вересковых дебрей, оделись молодой листвой, нежной, как мотыльковые крылья, и прозрачной, как янтарь. Возле дома Фейруэя в стороне от дороги было открытое место, и теперь тут собралась вся молодежь, живущая поблизости. Шест положили одним концом на козлы, и девушки увивали его, начиная с верхушки книзу, полевыми цветами. Дух веселой Англии еще был жив здесь, и символические обряды, которые по традиции связывались с тем или другим временем года, свято соблюдались на Эгдоне. В сущности, в таких глухих селениях и до наших дней затаилось язычество; поклонение природе, празднества с буйным весельем, осколки тевтонского ритуала в честь богов, чьи имена давно забыты, — все это каким-то образом пережило здесь средневековую догму.

Ибрайт не стал мешать их приготовлениям и вернулся домой. И когда на следующее утро Томазин отдернула занавески в окне своей спальни, на лужайке напротив палисада уже возвышалось майское дерево, уходя верхушкой в небо. Оно выросло за одну ночь, или, вернее, за раннее утро, как бобовый стебель Джека. Томазин подняла раму, чтобы получше разглядеть украшавшие его гирлянды и букеты. Сладкий запах цветов уже разливался в воздухе, и воздух Эгдона, чистый и ничем не запятанный, донес до ее губ благоуханье от поднятого ввысь цветника, который он оведал. На самом верху были прикреплены крест-накрест два обруча, увитые мелкими цветочками; пониже шел пояс молочно-белого боярышника; еще ниже — пояс из пролесков, потом — из первоцветов, потом — из сирени, потом — из горицвета, потом — из желтых нарциссов и так далее до самого низа. Томазин заметила их все и радовалась, что майское празднество будет происходить так близко.

После полудня на лужайке начал собираться народ, и это

настолько пробудило интерес Клайма, что он даже стал поглядывать на них в одно из открытых окон в своей комнате. Немного позже Томазин вышла из двери, находившейся как раз под этим окном, и, подняв глаза, увидела брата. Она была одета гораздо наряднее, чем всегда, — такой Клайм не видал ее ни разу за все полтора года после смерти Уайлддива; да, пожалуй, и с самого дня своей свадьбы она еще не одевалась с таким старанием и так к лицу.

— Какая ты сегодня хорошенькая, Томазин! — сказал Клайм. — Это ты в честь майского дерева?

— Не совсем, — ответила она и тут же покраснела и потупилась, на что Клайм не обратил особого внимания, но тон ее все же показался ему несколько странным, тем более в обращении к нему. Или, может быть, — нет, неужели возможно, что она надела это веселое летнее платье, чтобы понравиться ему?

Он стал припоминать, как она держалась с ним последние несколько недель, когда они часто работали вместе в саду, — точь-в-точь так же, как делали это детьми под присмотром его матери! Что, если в ее отношении к нему было не только родственное чувство, как прежде, но и нечто большее? Для Ибрайта это был серьезный вопрос; даже одна эта мысль приводила его в смятенье. Вся его потребность любви, не утоленная еще при жизни Юстасии, ушла вместе с ней в могилу. Страсть посетила его поздно, в зрелые годы, и не оставила по себе столько горячего, чтобы хватило для нового костра, как могло быть в юности. Если даже допустить, что он еще способен любить, эта любовь рождалась бы медленно и трудно и оставалась бы в конце концов хилой и малорослой, как выведенный по осени птенец.

Это новое осложнение так его расстроило, что когда прибыл полный энтузиазма духовой оркестр, — что случилось около пяти часов, — и заиграл, так всколебав воздух, что, казалось, и самый дом Ибрайтов мог сдуть с места, Клайм незаметно выскользнул черным ходом, прошел через сад и заднюю калитку и скрылся. Нет, сегодня он был не в силах присутствовать при чужом веселье, как бы ему этого ни хотелось.

Добрых четыре часа никто его не видал. Когда он возвращался по той же тропке, уже пали сумерки, и все, что было кругом зеленого — трава и листья, — стало влажным от росы. Буйная музыка умолкла, но совсем ли кончилось гулянье, Клайм, подходя к дому сзади, видеть не мог, пока не прошел через половину, занимаемую сестрой, к передней двери. Тут на галерейке одна-одинешенька стояла Томазин.

Она подняла к нему укоризненный взгляд.

— Ты ушел, как раз когда началось, — сказала она.

— Да. Я почувствовал, что не могу присоединиться к их веселью. Но ты-то, конечно, пошла к ним?

— Нет.

— Но ты ведь как будто ради этого и приделась?
— Да, но я не могла идти одна, там было столько народа. Вон и сейчас еще один ходит.

Клайм взгляделся в темно-зеленое пространство за тыном, и там возле черного силуэта майского дерева он различил смутную фигуру, лениво похаживающую взад и вперед.

— Кто это? — спросил он.

— Мистер Венн, — сказала Томазин.

— Что ж ты его не пригласила к нам, Тамзи? Он столько тебе сделал добра.

— Пойду сейчас, приглашу, — сказала Томазин и, повинуясь порыву, быстро прошла через калитку туда, где под майским деревом стоял Венн.

— Это вы, мистер Венн? — проговорила она.

Венн сильно вздрогнул — как будто до сих пор ее не замечал, хитрец! — и ответил:

— Да, я.

— Не зайдете ли к нам?

— Боюсь, я...

— Я видела, вы весь вечер танцевали, и еще с самыми хорошенькими. Не потому ли и зайти не хотите, что вам так приятно стоять здесь и вспоминать о столь счастливо проведенных часах?

— Отчасти да, — отвечал Венн нарочито сентиментальным тоном. — Но главное, почему я тут застрял, — хочу дожждаться, когда луна взойдет.

— Поглядеть на майское дерево при лунном освещении?

— Нет, поискать перчатку, которую одна из девушек тут обронила.

Томазин даже не нашлась что сказать от удивления. Если человек, которому предстояло еще пройти четыре или пять миль до дому, вздумал задерживаться здесь по такой причине, это могло означать только одно — что он очень заинтересован в обладательнице этой перчатки.

— Ты танцевал с ней, Диггори? — спросила она, и по голосу ее было слышно, что это открытие сильно повысило ее интерес к собеседнику.

— Нет, — вздохнул он.

— И, значит, не зайдешь к нам?

— Сегодня нет, благодарю вас, мэм.

— Не дать ли вам фонарь, мистер Венн, чтобы вы могли поискать перчатку этой молодой особы?

— Да нет, спасибо, миссис Уайлдвиг, это совсем не нужно. Луна вот-вот взойдет.

Томазин вернулась на галерейку.

— Ну что, придет он? — спросил дожидавшийся ее здесь Клайм.

— Сегодня не хочет, — бросила Томазин и прошла мимо него в дом, после чего Клайм тоже удалился в свои комнаты.

Когда он ушел, Томазин, не зажигая света, на цыпочках поднялась наверх, прислушалась у кровати, спит ли ребенок, потом прошла к окну, осторожно отвернула уголок белой занавески и стала смотреть на поляну. Вени еще был там. Несколько времени она следила, как разрастается бледное сияние на небе над восточным холмом; наконец луна высунула там краешек и залила долину светом. Теперь Диггори был хорошо виден на лужайке; он ходил согнувшись, очевидно, просматривая траву в поисках драгоценной перчатки, все время слегка отклоняясь то вправо, то влево, так чтобы ни один фут земли не оставался необследованным.

— Смешно! — пробормотала Томазин, пытаясь вложить всю доступную ей силу сарказма в это восклицание. — Взрослый мужчина — и разводит такие нежности из-за какой-то перчатки! А еще почтенный фермер теперь и человек с достатком! Смотреть жалко!

Под конец Вени, по-видимому, нашел перчатку; он выпрямился и поднес ее к губам. Затем спрятал в нагрудный карман — самое близкое к сердцу местиле в современном костюме — и зашагал по вереску, пренебрегая тропинками, точно по прямой к своему далекому дому на краю лугов.

ГЛАВА II

ТОМАЗИН ГУЛЯЕТ В ЗЕЛЕННОЙ ЛОЖБИНКЕ ВОЗЛЕ РИМСКОЙ ДОРОГИ

В ближайшие дни Клайм мало видался с Томазин, а когда виделся, то замечал, что она молчаливее, чем обычно. Под конец он спросил ее, о чем она так усердно думает.

— Знаешь, я совсем с толку сбилась, — откровенно призналась она. — Понять не могу, в кого это Диггори Вени так влюблен. Из тех деvушек, что тут были, ни одна его не стоит, а все-таки это же одна из них!..

Клайм на минуту попытался представить себе избранницу Вени, но, не будучи особенно заинтересован в этом вопросе, снова пошел работать в сад.

К этой тайне Томазин еще некоторое время не могла найти ключа. Но однажды, одеваясь у себя в спальне для прогулки, она стеснилась с обстоятельностью, которое заставило ее выйти на лестницу и крикнуть: «Рейчл!» Рейчл была молодая особа тринадцати лет от роду, чья должность состояла в том, чтобы носить ребенка гулять. Она немедля явилась на зов.

— Рейчл, — сказала Томазин, — ты не видала где-нибудь одну из моих новых перчаток? Пару вот этой.

Рейчл молчала.

— Почему ты не отвечаешь? — спросила ее хозяйка.

— Она, наверно, потерялась, мэм.

— Потерялась? Как так? Кто ее потерял? Я эту пару всего один раз надевала.

Рейчл обнаружила все признаки крайнего смущенья и под конец расплакалась.

— Простите, мэм, ради бога, печего мне было надеть на майское гулянье, а тут вижу, ваши лежат, ну и подумала, возьму, надену, а потом назад положу. А одна-то и потерялась. Один человек дал мне денег — купить вам другие, да мне все времени не было в город съездить.

— Какой человек?

— Мистер Венн.

— Он знал, что это моя перчатка?

— Ну да, я ему сказала.

Томазин была так поражена этим открытием, что забыла сделать девочке выговор, и та тихонько ушла. А Томазин даже не шевельнулась, только обратила взгляд к зеленой лужайке, где в тот памятный вечер возвышалось майское дерево. Она долго стояла так в раздумье, потом решила, что гулять сегодня не пойдет, а лучше возьмется наконец всерьез за то хорошенькое платьице из шотландки, которое уже давно скроила для своей дочки по самому модному фасону, но так и не удосужилась дошить. Как получилось, что, взявшись всерьез, она за два часа ничуть не подвинулась вперед в своих трудах, это, конечно, загадка, — если не вспомнить, что предшествовавшее маленькое событие было из тех, что не рукам задают работу, а голове.

На другой день она уже, как всегда, занималась домашними делами и вернулась к своему обычаю гулять по пустоши без иных спутников, кроме маленькой Юстасии, достигшей того возраста, когда эти создания еще не отчетливо понимают, как им предназначено передвигаться в этом мире — на руках или на ногах, и часто претерпевают большие неприятности, пробуя и то и другое. Томазин нравилось, унеся ребенка в какой-нибудь укромный уголок на пустоши, давать ей возможность потренироваться в искусстве ходьбы на густом ковре из зеленого дерна и чебреца, где мягко падать вниз головой, если вдруг потеряешь равновесие.

Однажды, когда она исполняла таким образом свои тренерские обязанности и нагнулась к земле, чтобы убрать с пути ребенка веточки, стебли папоротника и прочие непреодолимые препятствия высотой в четверть дюйма, она с беспокойством увидела, что к ней чуть не вплотную подъехал всадник, чьего приближения она раньше не заметила, так как по мягкому травяному ковру лошадь ступала бесшумно. Всадник — это был Венн — помахал ей шляпой и галантно поклонился.

— Диггори, отдай мне мою перчатку, — сказала Томазин, ибо ей свойственно было при любых обстоятельствах идти прямо к делу, если оно сильно ее занимало.

Венн немедля спешился, сунул руку в нагрудный карман и подал ей перчатку.

— Спасибо. Очень любезно с вашей стороны, что вы ее сбеггли, мистер Венн.

— Очень любезно, что вы так говорите.

— Нет, я правда была очень рада, когда узнала, что она у вас. Сейчас все стали такие равнодушные, я даже удивилась, что вы обо мне подумали.

— Кабы вспомнили, каким я был раньше, так бы и не удивлялись.

— Да,— быстро сказала она.— Но мужчины с вашим характером все такие гордые.

— Какой же у меня характер? — спросил он.

— Всего я, конечно, не знаю,— скромно ответила она,— по вот, например: вы всегда скрываете свои чувства под каким-то деловым тоном и обнаруживаете их, только когда остаетесь один.

— Гм! Почему вы знаете? — выжидательно спросил Венн.

— Потому,— сказала она и приостановилась для того, чтобы свою дочку, ухитрившуюся стать на голову, снова перевернуть надлежащим концом кверху,— потому, что знаю.

— Не судите по другим, всяк ведь на свой образец,— сказал Венн.— А что касается чувств — то я даже хорошенько не знаю, какие теперь бывают чувства. Все был занят делами, то одним, то другим, ну и чувства у меня вроде испарились. Да, я теперь душой и телом предан наживе. Деньги — вот моя мечта.

— Ну, Диггори, как нехорошо! — укоризненно протянула Томазин, и по ее виду никак нельзя было угадать, принимает ли она его слова за чистую монету или только за попытку ее поддразнить.

— Оно и верно, чудно, да что поделаешь,— отвечал Венн снисходительно, как человек, примирившийся со своими пороками, которых уже не в силах преодолеть.

— Вы же раньше всегда были такой милый...

— Вот это приятно слышать, потому, чем я был раньше, тем могу снова стать.— Томазин покраснела.— Только теперь это труднее,— добавил он.

— Почему? — спросила она.

— Вы теперь богаче, чем тогда были.

— Да нет, не очень. Я почти все перевела на ребенка, как и обязана была сделать. Оставила только на прожитие.

— И я этому очень рад,— мягко сказал Венн, поглядывая на нее краешком глаза.— Потому что так нам легче дружить.

Томазин опять покраснела; и после того, как они обменялись еще несколькими словами, судя по всему приятными для обоих, Венн вскочил на коня и поехал дальше.

Этот разговор происходил в зеленой ложбинке поблизости от старой римской дороги; Томазин часто здесь бывала. И надо

заметить, не стала в дальнейшем бывать реже оттого, что однажды повстречалась там с Венном. А стал или не стал Венн избегать этой ложбинки оттого, что однажды повстречался там с Томазин, об этом легко догадаться по тем действиям, которые она предприняла двумя месяцами позже.

ГЛАВА III

КЛАЙМ ВЕДЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР СО СВОЕЙ ДВОЮРОДНОЙ СЕСТРОЙ

Все это время Клайма не покидала мысль о его долге перед двоюродной сестрой. Он соглашался, конечно, что было бы недопустимой тратой ценного материала, если бы это нежное существо с таких еще юных лет и до конца дней своих было обречено всю бьющую в ней, как живая струя, веселость и обаяние изливать напрасно на бесчувственные папоротники и дроки. Но он оценивал все это скорее как экономист, чем как любовник. В свою страсть к Юстасии он словно бы вложил всю отпущенную ему силу любви, и больше у него не оставалось этого драгоценного качества. Вывод был ясен: нечего и думать о браке с Томазин, даже в угоду ей.

Однако была здесь и другая сторона. Когда-то давно миссис Ибрайт втайне лелеяла мечту, касавшуюся его и Томазин. Это не было желанье в точном смысле слова, а скорее именно заветная мечта, и состояла она в том, чтобы со временем и если это будет не во вред их счастью, Томазин и Клайм стали мужем и женой. Что же оставалось делать сыну, который так чтит память матери, как Клайм? Беда в том, что любая родительская прихоть, которую при их жизни мог бы развеять полчасовой разговор, превращается после их смерти в непреложное веление с такими последствиями для детей, от которых родители, будь они живы, первые бы открестились.

Если бы дело шло лишь о будущем самого Ибрайта, он немедля и без колебаний сделал бы предложение Томазин. Он ничего не терял, выполняя волю матери. Но представить себе Томазин навсегда прикованной к человеку, давно умершему как муж и любовник (ибо именно таким ощущал себя Клайм), — вот мысль, которая его страшила. Только три действия вызывали в душе его живой отклик: ежедневное посещение маленького кладбища, где покоилась его мать, почти столь же частое паломничество по вечерам к более далекому погосту, где нашла себе приют Юстасия, и, наконец, подготовка к тому призванию, которое одно, как ему казалось, могло утолить его духовную жажду, — к призванию странствующего проповедника одиннадцатой заповеди. Трудно поверить, чтобы Томазин было очень весело жить с таким мужем.

Все же надо ее спросить, рассудил он под конец; пусть сама

решает. И с приятным чувством исполненного долга он спустился вниз однажды вечером, когда по долине вытянулась длинная черная тень от печной трубы, которую он несчетное число раз видал там при жизни матери.

В комнатах Томазин не было, он нашел ее в палисаднике.

— Томазин,— начал он.— Я давно хотел сказать тебе кое-что, касающееся нашего с тобой будущего.

— И ты хочешь сказать это сейчас? — быстро ответила Томазин и покраснела под его взглядом.— погоди минутку, Клайм, дай сперва я, потому что как ни странно, а мне тоже давно уж нужно что-то тебе сказать.

— Хорошо, Тамзи, говори ты.

— Нас тут никто не услышит? — продолжала она, оглядываясь по сторонам и понижая голос.— Но сначала ты мне пообещай, что не рассердишься и не станешь меня бранить, если будешь несогласен с тем, что я задумала.

Ибrait пообещал, и она пояснила.

— Мне, понимаешь, нужен твой совет, ты ведь мне родня и вроде как мой опекун, правда, Клайм?

— Гм, да, пожалуй, в некотором роде... Да, конечно, можешь считать меня своим опекуном,— сказал он, решительно не понимая, куда она клонит.

— Я собираюсь выйти замуж,— кротко сообщила Томазин.— Но я выйду только в том случае, если ты одобришь такой шаг. Почему ты молчишь?

— Прости, это так неожиданно... Но я, конечно, очень рад... И, конечно, одобряю, Тамзи, милочка. А кто же он? Не могу догадаться... Ах, нет, знаю — это наш старик доктор! То есть, я вовсе не хочу сказать, что он старик, он, в конце концов, не так и стар. Да, да, я кое-что заметил — в последний раз, когда он тебя лечил!

— Нет, нет,— торопливо сказала Томазин.— Это мистер Венн.

Лицо Клайма вдруг приняло серьезное выражение.

— Ну вот, он тебе не нравится! И зачем только я об этом заговорила! — воскликнула Томазин почти с раздражением.— Да я бы не стала, только он все время так пристает, я уж не знаю, что и делать!

Клайм поглядел в окно.

— Нет, мне нравится Венн,— проговорил он наконец.— Он очень честный человек, однако не без хитринки. Ну и ловок тоже, вот — сумел тебя причаровать. Но, право же, Томазин, он не совсем...

— Не совсем нашего круга, ты это хочешь сказать? Я сама так считаю. И очень жалею, что тебя спрашивала, и больше о нем думать не буду. Хотя если уж мне выходить замуж, то только за него — это я должна признать!

— Ну почему же,— заговорил Клайм, тщательно скрывая свои прежние и внезапно прерванные намерения, о которых

Томазин, видимо, не догадывалась.— Ты могла бы выйти за врача, или учителя, или еще кого-нибудь в этом роде, если бы переехала жить в город и завела там знакомства.

— Не гожусь я жить в городе — я очень деревенская и совсем простушка... Ты разве не заметил?

— Замечал, когда только что приехал из Парижа, а теперь — нет.

— Это потому, что ты и сам стал немножко деревенским. Нет, я ни за что на свете не могла бы жить на городской улице! Эгдон, конечно, страшная глушь, медвежий угол, но я здесь привыкла и нигде больше не могу быть счастлива.

— Я тоже, — сказал Клайм.

— Так как же ты предлагаешь мне выходить за горожанина? Нет, что ни говори, а если уж мне за кого выходить, так только за Диггори. Он мне сделал столько добра и столько мне помогал, я даже всего не знаю! — Томазин уже как будто дулась на брата.

— Да, это все верно, — сдержанно ответил Клайм. — И я очень хотел бы сказать тебе: выходи за него. Но я не могу забыть, что об этом думала моя мать, и не могу не считаться с ее мнением. Есть много причин, почему нам следовало бы хоть теперь-то уважать ее желанья.

— Ну хорошо, — вздохнула Томазин. — Больше я ничего не скажу.

— Но ты не обязана слушаться меня. Я просто сказал, что думаю.

— Да нет, я не хочу опять быть непослушной, — печально проговорила она. — Нечего мне было думать о нем — о семье надо было подумать. Какие у меня ужасно дурные наклонности! — Губка у нее задрожала, она отвернулась, чтобы скрыть слезу.

Клайм, хотя и несколько обиженный тем, что он определял как «странный вкус» Томазин, все же испытывал облегченье от того, что вопрос о его собственном браке был снят с очереди. В ближайшие дни он из окна своей комнаты не раз видел Томазин, уныло бродившую по саду. Он то досадовал на нее за то, что она выбрала Венна, то сердился на себя за то, что мешал счастью бывшего охряника, который ведь, в сущности, был ничем не хуже любого другого молодого эгдонца, — честный парень и какой упорный, вот сумел же он так круто повернуть свою жизнь. Короче говоря, Клайм сам не знал, что ему делать.

Когда он опять встретился с Томазин, она сказала отрывисто:

— Он теперь гораздо приличнее, чем был тогда!

— Кто? Ах да, Диггори Венн.

— Тетя возражала только потому, что он был охряником.

— Ну что ж, Томазин, может, я и правда не все об этом знаю. Тебе виднее. Так что ты уж рассуди сама.

— Ты всегда будешь думать, что я оскорбила память твоей матери.

— Нет, не буду. Я знаю, ты искренне убеждена, что если бы она видела его таким, каков он сейчас, она бы признала его подходящим мужем для тебя. Вот так я всегда и буду думать. И ты больше меня не спрашивай, а поступай, как считаешь лучше. Я со всем соглашусь.

Надо полагать, эти слова рассеяли сомнения Томазин, так как несколько дней спустя, когда Клайм забрел в такую часть пустоши, где давно не бывал, Хемфри, работавший там, сказал ему:

— Я рад, что миссис Уайлдив и Венн, видать, опять поладили.

— Вот как, — рассеянно отвечал Клайм.

— Да. И как выйдет она с дитем погулять, так он ей сейчас и попадется где-нибудь на дороге. Но я все думаю, мистер Ибрайт, вам бы надо было на ней жениться. Чего два дома затевать, где бы и одного хватило. Да вы бы и сейчас могли ее у него отбить, это я вам верно говорю, стоит вам только постараться.

— Да, а где мне взять совести жениться, когда я только что двух женщин свел в могилу? Нет, Хемфри, и не думайте об этом. После всех моих злоключений пойти в церковь и взять себе жену — это уж, знаете, на дурной бы фарс смахивало. Вспомните слова Иова: «Завет я положил с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице...»

— Полноте, мистер Клайм, не грешите вы сами на себя, будто вы двух женщин в могилу свели. Нет тут вашей вины, и говорить даже так не надо.

— Хорошо, оставим это, — сказал Ибрайт. — Но как бы там ни было, а все случившееся поставило на мне клеймо, которое неважно будет выглядеть при любовном объяснении. У меня сейчас только два замысла в голове — два желанья и больше никаких. Одно — это открыть здесь вечернюю школу, другое — стать проповедником. Что вы на это скажете, Хемфри?

— Рад буду душой прийти вас послушать.

— Спасибо. Только это мне и нужно.

Пока Клайм спускался в долину, Томазин тоже спускалась в нее с другой стороны, и они встретились у калитки.

— Знаешь, что я тебе сейчас скажу, Клайм? — спросила она, задорно поглядывая на него через плечо.

— Догадываюсь, — ответил он.

Она взгляделась в его лицо.

— Да, ты угадал. Это будет в конце концов. Он говорит, что пора уже мне решиться, и я тоже так думаю. Так что мы наметили на двадцать пятое будущего месяца, если ты не против.

— Делай, как ты считаешь правильным, милочка. Я могу только порадоваться, что ты опять нашла свой путь к счастью. Мы, мужчины, в долгу перед тобой за то горе, которое в прошлом тебе причинили¹.

ГЛАВА IV

ВЕСЕЛЬЕ СНОВА УТВЕРЖДАЕТСЯ В БЛУМС-ЭНДЕ, А КЛАЙМ НАХОДИТ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ

Всякий, кто в утро, назначенное для свадьбы, проходил бы около одиннадцати часов через Блумс-Энд, отметил бы, что хотя в доме Ибрайта было сравнительно тихо, зато из жилища его ближайшего соседа, Тимоти Фейруэя, исходили звуки, говорившие об усиленной деятельности. Это был главным образом скрежет подошв по усыпанному песком каменному полу. Близ дома никого не было, кроме только одного человека, который, как видно, припозднился и теперь спешил; он торопливо подошел к двери, поднял щеколду и без дальнейших церемоний вошел.

Глазам его представилось не совсем обычное зрелище: там и сям в комнате стояли мужчины, составлявшие основную эгдонскую компанию, в том числе сам Фейруэй, дедушка Кентл, Хемфри, Христиан и еще два-три торфореза. День был жаркий, и все мужчины сняли куртки, за исключением Христиана, который никогда не расставался с малейшей частицей своей одежды в чьем-либо доме, кроме своего собственного. На тяжелом дубовом столе посреди комнаты распласталась длинная и широкая полосатая ткань, которую дедушка Кентл держал за один конец, Хемфри за другой, а Фейруэй натирал каким-то желтым комком, весь в поту и сморщившись от усилий.

— Перину воцтите, соседи? — сказал вновь пришедший.

— Да, Сэм, — коротко уронил дедушка Кентл, как человек слишком занятой, чтобы тратить много слов. — Натянуть этот угол потуже, Тимоти?

Фейруэй ответил, и работа продолжалась с неослабным усердием.

— Хорошая будет перинка, — продолжал Сэм, помолчав. — Для кого бы это, а?

¹ Автор считает пущым отметить здесь, что в его первоначальном замысле вовсе не было брака между Венном и Томазин. Венн до самого конца сохранял свой одинокий и несколько загадочный облик, затем он таинственно исчезал в Эгдонской пустоши, и никто не мог сказать куда; Томазин оставалась вдовой. Но в силу некоторых особенностей журнального издания автору пришлось кое-что изменить. Поэтому читателям предоставляется право выбрать либо тот, либо другой конец. Возможно, что читатель, особенно требовательный в эстетическом отношении, предпочтет наиболее последовательное развитие действия и его признает истинным. (*Примеч. автора.*)

— Это подарок молодоженам, им ведь теперь свое хозяйство заводить,— проговорил Христиан, который стоял, свесив руки, подавленный торжественностью происходящего.

— А-а, понятно. Ну, это дорогой подарок.

— Дорога перина тем, кто гусей не держит, правда, мистер Фейруэй? — сказал Христиан, обращаясь к нему, как к всеведущему оракулу.

— Да,— сказал торговец дроком, выпрямляясь и отирая мокрый лоб. Воск он передал Хемфри, который и продолжал воцеление.— Не то чтобы эти двое так уж нуждались, но всегда хорошо выказать дружеские чувства людям в тот час, когда они затевают этакое рискованное дело. Я, когда дочек замуж выдавал, каждой снарядил по перине, да еще и на третью в доме пера осталось. Ну, соседи, теперь уж, я думаю, мы достаточно ее навощили. Дедушка Кентл, выворачивай ее на лицо, а я стану перьями набивать.

Когда чехол был надлежащим образом вывернут и расплавлен, Фейруэй и Христиан принесли огромные бумажные мешки, доверху полные перьев, но легкие, как воздушные шары, и стали вытряхивать их в подготовленное вместилище. По мере того как опорожнялись мешки, воздушные хохолки из пуха и перьев стали плавать в воздухе во все возрастающем количестве, а потом из-за неловкого движения Христиана, который вытряхнул мешок мимо чехла, воздух в комнате совсем загустел от огромных хлопьев, оседавших на присутствующих, словно снег в безветренную погоду.

— Экой ты неуклюжий, Христиан,— строго сказал дедушка Кентл.— Право, можно подумать, что ты сын такого человека, который за всю жизнь из Блумс-Энда никуда не выезжал, так что и ума тебе неоткуда было набраться. А ведь отец твой и солдатом был, и везде побывал, а тебе все без пользы. Все равно как если б я сиднем тут сидел, ничего на свете не видавши, как вы все тут. А ведь мне-то лихости было не занимать, расторопный был парень.

— Ох, да не принижай ты меня так, отец, я уж себе после этого не выше кегли кажусь. Ну, неудачный я, что поделаешь.

— Ну, ну, не настраивайся на такой унылый лад, Христиан,— сказал Фейруэй,— ты лучше возьми да еще попробуй.

— Да, да, пробовать надо,— отозвался дедушка Кентл, да так строго, словно он-то первый и подал этот совет.— По советам, каждый человек должен либо жениться, либо в солдаты идти. Это стыд перед народом — ни того, ни другого не сделать. Я вот, слава богу, и в том и в этом не оплошал. Ну, а кто ни возвращать мужчин, ни в землю их класть не научился, это уж значит — самый никчемный, пустой бездельник.

— Выстрелов я всегда до смерти боялся,— пролепетал Христиан,— ну, а жениться — это я пробовал, сватался то за одну, то за другую, да все без толку. И сейчас есть тут усадьба, да и не одна, где мог бы мужчина, каков ни на есть, хозяйни-

чать, ан нет, женщина одна там правит. А с другой стороны, пожалуй, и нехорошо было бы, кабы я с ней поладил, потому, видите ли, соседи, тогда бы дома никого не осталось за отцом присматривать, чтоб он вел себя, как старику прилично.

— Да, и хлопот у тебя с этим делом немало будет, сынок,— самодовольно ответил дедушка Кентл.— Кабы только немочи разные не так меня одолевали, я б завтра же отправился сызнова свет поглядеть! Но семьдесят один год — дома-то оно ничего, а для путешествия, пожалуй, многовато. Да, семьдесят один на сретенье стукнуло. Эх, кабы мне не годов, а гиней столько! — И старик вздохнул.

— Не унывай, дедушка,— сказал Фейруэй,— вытряхни еще перьев в перину и бодрись. Ты хоть и тощбй, а старик крепкий, Поживешь еще, целую летопись еще про тебя напишут.

— Эх, честное слово, возьму-ка я да пойду к ним, к нашим новобрачным,— сказал дедушка Кентл бодрым голосом и быстро повернувшись.— Зайду к ним вечерком и спою им свадебную. Это ж мой обычай, вы знаете. И они это примут как должно. В восемьсот четвертом очень любил, когда я пел «Там, в рощах Купидона», а я и другие знаю не хуже, а то и лучше. Вот, например:

Слышу, зовет она
Из стрельчатого окна:
«Милый, поди ко мне,
Я тебя от холодных рос укрою!»

Им же приятно будет это в такой день послушать! Право, я сейчас вспомнил, давно ведь мы хорошей песни не пели, с самого иванова дня, когда «Ячменную жатву» исполняли. А ведь это жаль, не упражнять свой талант, когда он такой редкостный!

— Верно, верно,— сказал Фейруэй.— Теперь давайте-ка встряхнем перину. Мы сюда семьдесят фунтов отборного пера заложили, и больше, пожалуй, тик и не выдержит. А теперь неплохо бы малость выпить и закусить. Христиан, достань-ка припас из углового буфета, если дотянешься, а я принесу кое-что, чем горло промочить.

Они сели закусывать тут же, за столом,— с перьями вокруг, над головой и под ногами, коих прежние владельцы иногда подходили к открытой двери и обиженно квохтали при виде столь большого количества своих старых одежд.

— Честное слово, я задохнусь,— сказал Фейруэй, извлекая перышко изо рта и тут же обнаружив, что в кружке у него уже плавают добрый их десяток, насыпавшийся, пока кружки разносили.

— Я уж несколько проглотил, и в одном было порядочное стебло,— безмятежно отозвался Сэм из угла.

— Эй, что это? Я слышу колеса? — вскричал дедушка Кентл, вскакивая и спеша к двери.— Ну да, это они, уже вер-

нули, а я еще полчаса их не ждал. До чего ж быстро можно теперь обвенчаться, если уж настроился!

— О да, обвенчаться-то можно,— протяжно сказал Фейруэй, как будто еще что-то надо было прибавить, чтобы полностью выразить его мысль.

Он встал и вслед за дедушкой Кентлом пошел к двери, остальные устремились за ним. Через мгновение мимо дома прокатил крытый фаэтон, в котором сидели Венн, миссис Венн, Ибрайт и какой-то важный родственник Венна, нарочно приехавший из Бедмута ради этого случая. Фаэтон наняли в ближайшем городке, не считаясь с расстоянием и расходами, так как, по мнению Венна, на Эгдонской пустоши не было ничего достойного везти к венцу такую женщину, как Томазин, а церковь была слишком далеко, чтобы свадебная процессия могла добраться туда пешком.

Когда фаэтон проезжал мимо дома, все выбежавшие ему навстречу хором прокричали «ура» и помахали руками. При каждом движении перья и пух вылетали из их волос, рукавов и складок платья, и брелоки дедушки Кентла весело плясали в солнечных лучах, когда он стремительно поворачивался. Кучер фаэтона свысока оглядел их; он и с новобрачными обращался несколько снисходительно, ибо чем, кроме язычников, могли быть люди, обреченные всю жизнь проводить в такой глухомани, как Эгдон? Томазин не выказала подобной гордости по отношению к стоявшим у двери поселянам,— она быстро, как птица крылом, помахала им ручкой и со слезами на глазах спросила Диггори, не следует ли им сойти и поговорить с этими добрыми людьми. Однако Венн сказал, что вряд ли это нужно, так как все соседи вечером придут к ним в гости. После этих волнений Фейруэй и все остальные вернулись к своему занятию и скоро кончили набивать и зашивать перину. Тогда Фейруэй запряг лошадь, увязал громоздкий подарок и в двуколке отправился с ним к дому Венна в Стиклфорде.

Ибрайт, выполнив во время венчания ту роль, которая, естественно, досталась ему на долю, и вернувшись затем домой вместе с новоиспеченными супругами, не был расположен принять участие в пирушке и танцах, которыми заключался вечер. Томазин очень огорчилась.

— Если бы еще я был уверен, что не помешаю вашему веселью,— сказал Клайм.— Но как бы я не оказался чем-то вроде черепа на пиру.

— Нет, нет.

— Но и помимо этого, милочка, мне бы не хотелось идти, уж ты меня не неволь. Конечно, это выходит как-то нелюбезно, но, дорогая Томазин, боюсь, мне просто тяжело будет в таком многолюдье. Я буду постоянно навещать тебя в твоём новом доме, так что не важно, если сегодня не приду.

— Ну, в таком случае я уступаю. Делай, как тебе удобней.

Клайм с облегчением удалился в свои комнаты на верхотурке и почти до самого вечера занимался тем, что записывал главные мысли для проповеди, с которой собирался начать выполнение своего заветного плана, по крайней мере, в той его части, которая сейчас была практически осуществима. А от плана этого, как ни менялся он под давлением обстоятельств, как ни хвалили его одни и ни хулили другие, Клайм никогда не отказывался. Он снова и снова проверял и взвешивал свои убеждения и не находил причины их менять, хотя припужден был несколько упростить свои намерения. Его зрение под благотворным воздействием эгдонского воздуха значительно окрепло, но не настолько, чтобы позволить ему выполнить свой прежний широкий замысел. Но он не роптал. Оставалось еще много работы, хотя, быть может, и более скромной, во всяком случае достаточной, чтобы занять все его время и поглотить всю энергию.

Вечер близился, и звуки жизни и движения все чаще и громче доносились из нижних комнат. Беспреданно хлопала калитка. Вечеринка должна была начаться рано, и гости собрались задолго до темноты. Ибрайт спустился по задней лестнице и вышел на пустошь другой тропинкой, не той, что шла от калитки, намереваясь побродить на воздухе, пока вечеринка не кончится, а тогда вернуться и попрощаться с Томазин и ее мужем уже перед самым их отъездом. И бессознательно он направился в сторону Мистовера по тому пути, которым шел в то роковое утро, когда услышал странный рассказ маленького сына Сьюзен.

Он не свернул к ее домишку, но поднялся на возвышенность, откуда видна была вся усадьба, когда-то бывшая родным домом Юстасии. И пока он озирает темнеющие дали, на пригорке поднялся еще кто-то. Клайм не разглядел его в сумерках и, вероятно, молча бы прошел мимо, но этот пешеход, а это был Чарли, сам узнал Клайма и заговорил с ним.

— Давно я не видел тебя, Чарли,— сказал Ибрайт.— Ты часто сюда приходишь?

— Нет,— ответил юноша,— я редко выхожу на насыпь.

— Тебя не было на майском празднике.

— Да,— сказал Чарли тем же безжизненным голосом,— мне это теперь неинтересно.

— Ты, кажется, любил мисс Юстасию, да? — мягко спросил Ибрайт. Юстасия часто рассказывала ему о романтической привязанности Чарли.

— Да, очень. Ах, если б...

— Что?

— Если б вы, мистер Ибрайт, подарили мне на память какую-нибудь из ее вещей, если, конечно, вы не против.

— С радостью, Чарли. Мне это будет очень приятно. Дай я вспомню, что у меня есть подходящего. Да пойдем к нам домой, я посмотрю.

Они вместе пошли к Блумс-Энду. Когда они подошли к палисаду, уже совсем стемнело. Ставни в доме были закрыты, так что в окна ничего не было видно.

— Обойдем кругом,— сказал Клайм.— Ко мне сейчас идти с черного хода.

Они обошли вокруг дома и в темноте поднялись по лестнице в рабочую комнату Клайма на верхнем этаже. Тут он зажег свечу, и Чарли тихонько вошел вслед за ним. Ибрайт пошарил в ящичке стола и, достав пакетик в шелковой бумаге, развернул его. Внутри было два-три волнистых, черных как смоль локона, протянувшихся по бумаге, словно черные ручки. Он выбрал один, снова его завернул и подал Чарли. У того глаза наполнились слезами. Он поцеловал пакет, спрятал его в карман и проговорил дрожащим голосом:

— Спасибо вам, мистер Ибрайт, вы так добры.

— Я тебя немного провожу,— сказал Клайм.

И под веселый шум, доносившийся снизу, они спустились по лестнице. Тропинка, ведущая к калитке, проходила под самым боковым оконцем, откуда свет свечей падал на кусты. На этом оконце, заслоненном кустами, ставни не были закрыты, так что человек, стоя здесь, мог видеть все, что происходило в комнате,— сквозь, правда, уже позеленевшие от времени стекла.

— Что они там делают, Чарли? — спросил Клайм.— Я сегодня опять что-то хуже вижу, а стекла в этом окне уж очень мутные.

Чарли отер собственные свои глаза, затуманенные влагой, и шагнул поближе к окну.

— Мистер Венн просит Христиана спеть,— отвечал он,— а Христиан ежится в своем кресле, словно до смерти испугался такой просьбы. И вместо него сейчас запел его отец.

— Да, я слышу стариков голос,— сказал Клайм.— Стало быть, танцев не будет. А Томазин в комнате? Вон там перед свечами все мелькает кто-то похожий на нее.

— Да, это она, и вид у нее очень веселый. Вся покраснелась и смеется чему-то, что ей сказал Фейруэй. Ой!..

— Что там за шум? — спросил Клайм.

— Мистер Венн такой высокий, что ударился головой о потолочную балку, потому что подпрыгнул, когда проходил под ней. Миссис Венн испугалась, подбежала к нему, щупает ладонью, нет ли там шишки. А теперь все опять хохочут, словно ничего не случилось.

— И никто там по мне не скучает, как тебе кажется? — спросил Клайм.

— Да ни капельки. Сейчас они все подняли стаканы и пьют за чье-то здоровье.

— Может быть, за мое?

— Нет, это за мистера и миссис Венн, потому что он им в ответ говорит речь. А теперь миссис Венн встала и уходит,— наверно, переодеваться.

— Так. Никто, значит, не вспомнил обо мне, и правильно. Все идет как должно, и Томазин, по крайней мере, счастлива. Не будем тут задерживаться, а то они скоро выйдут.

Он немного проводил юношу по пустоши и, вернувшись через четверть часа домой, застал Венна и Томазин уже готовых к отъезду; гости все разошлись за время его отсутствия. Новобрачные уселись в четырехколесном шарабана, который старший скотник и постоянный подручный Венна пригнал из Стиклфорда, чтобы их отвезти. Няню с маленькой Юстасией удобно устроили на открытом заднем сиденье, а подручный Венна верхом на почтенного возраста, мерно ступающей лошадке, чьи подковы звякали, как цимбалы, при каждом шаге, замыкал шествие наподобие телохранителя прошлого столетия.

— Теперь ты остаешься опять полным хозяином своего дома,— сказала Томазин, нагибаясь с шарабана, чтобы пожелать своему двоюродному брату доброй ночи.— Боюсь, тебе будет одиноко, Клайм, после того шума, какой мы тут поднимали.

— О, это не беда,— сказал Клайм с несколько грустной улыбкой.

И новобрачные уехали и исчезли в ночной тени, а Ибрайт вошел в дом. Его встретило тиканье часов — единственный звук во всем доме, ибо ни души в нем не оставалось; Христиан, служивший Клайму за повара, камердинера и садовника, уходил спать домой, к отцу. Ибрайт сел в одно из пустых кресел и долго сидел, задумавшись. Старое кресло его матери стояло как раз напротив; в этот вечер в нем сидели те, кто едва ли даже помнил, что когда-то оно принадлежало ей. Но Клайм как будто и сейчас видел ее в этом кресле, сейчас и всегда. Какой бы она ни сохранилась в памяти других людей, для него она оставалась святой, чье сияние даже его нежность к Юстасии не могла затмить. Но на сердце у него было тяжело, оттого что мать не благословила его в день его брака, в день его сердечной радости. И дальнейшие события доказали правильность ее суждения и самоотверженность ее забот. Надо было ее послушаться, и даже не столько ради себя, как ради Юстасии.

— Это все моя вина,— прошептал он,— о мама, мама! Дал бы бог мне сызнова прожить жизнь и перестрадать все, что вы перестрадали ради меня!

В первое же воскресенье после свадьбы Дождевой курган представлял собой необычную картину. Издали видно было только, что наверху кургана стоит неподвижная фигура, точь-в-точь как Юстасия стояла на этой одинокой вершине два с половиной года назад, с той разницей, что теперь погода была ясная и теплая, веял мягкий летний ветер, и происходило все это не в мрачных сумерках, а в светлые дневные часы. Но тот, кто поднялся бы повыше, в ближайшее соседство с курганом, тот увидел бы, что выпрямленная фигура в центре, врезающаяся в небо, на самом деле не одинока. Вокруг нее на скло-

нах кургана полулежали или в удобных позах сидели поселяне, и мужчины и женщины. Они прислушивались к словам человека, стоявшего на кургане, — он проповедовал, а они, слушая, рассеянно подергивали веточки вереска, ошпыливали папоротники или бросали камушки вниз по склону. Это была первая из ряда нравственных бесед, или Нагорных проповедей, которые затем происходили здесь каждое воскресенье, пока стояла теплая погода.

Дождевой курган Клайм выбрал по двум причинам. Во-первых, он занимал центральное место среди разбросанных кругом жилищ, во-вторых, проповедника, поднявшегося на курган, тотчас становилось видно со всех сторон, и возникновение его на вершине служило сигналом для тех, кто в это время бродил по пустоши и захотел бы прийти послушать. Проповедник стоял с непокрытой головой, и каждое дуновение ветра шевелило его волосы, поредевшие не по возрасту, так как ему было меньше тридцати трех лет. На глазах он носил козырек, лицо у него было задумчивое, изрезанное морщинами. Но хотя эти телесные черты говорили об упадке, голос его был молод — сильный, музыкальный, волнующий. Он пояснил, что его беседы с народом будут иногда светскими, иногда религиозными, но не будут затрагивать догматов веры, а темы для проповедей он будет брать из самых разных книг. На этот раз он выбрал такую цитату:

«И царь встал ей навстречу, и преклонился перед ней, и снова сел на трон, и велел поставить седалище для царицы матери, и она воссела по правую его руку. И сказала она: «У меня есть просьба к тебе. Прошу тебя, не отказывай мне». И царь ответил: «Проси, о мать моя, тебе ни в чем не будет отказа».

Так Ибрайт в конце концов нашел свое призвание в деятельности странствующего проповедника, проводящего под открытым небом беседы на нравственные темы. И с первого же дня он неустанно трудился на этом поприще, произнося не только очень простые проповеди на Дождевом кургане и в соседних селениях, но и более сложные в других местах — со ступеней и портиков ратуш, у подножия крестов или часовен на площадях маленьких городов, у фонтанов, на эспланадах, на пристанях, с парапета мостов, в амбарах, сараях и других подобных местах в соседних уэссекских городах и деревнях. Он не касался вероисповедания и философских систем, считая, что многое можно сказать даже просто о взглядах и поступках, общих для всех хороших людей. Кто верил ему, а кто нет, кто считал его проповеди недостаточно возвышенными, кто жаловался на отсутствие у него богословской эрудиции. Были и такие, кто говорили: что же и делать, как не проповедовать, тому, кто ничего другого делать не умеет. Но повсюду его встречали ласково, так как история его жизни стала широко известна.



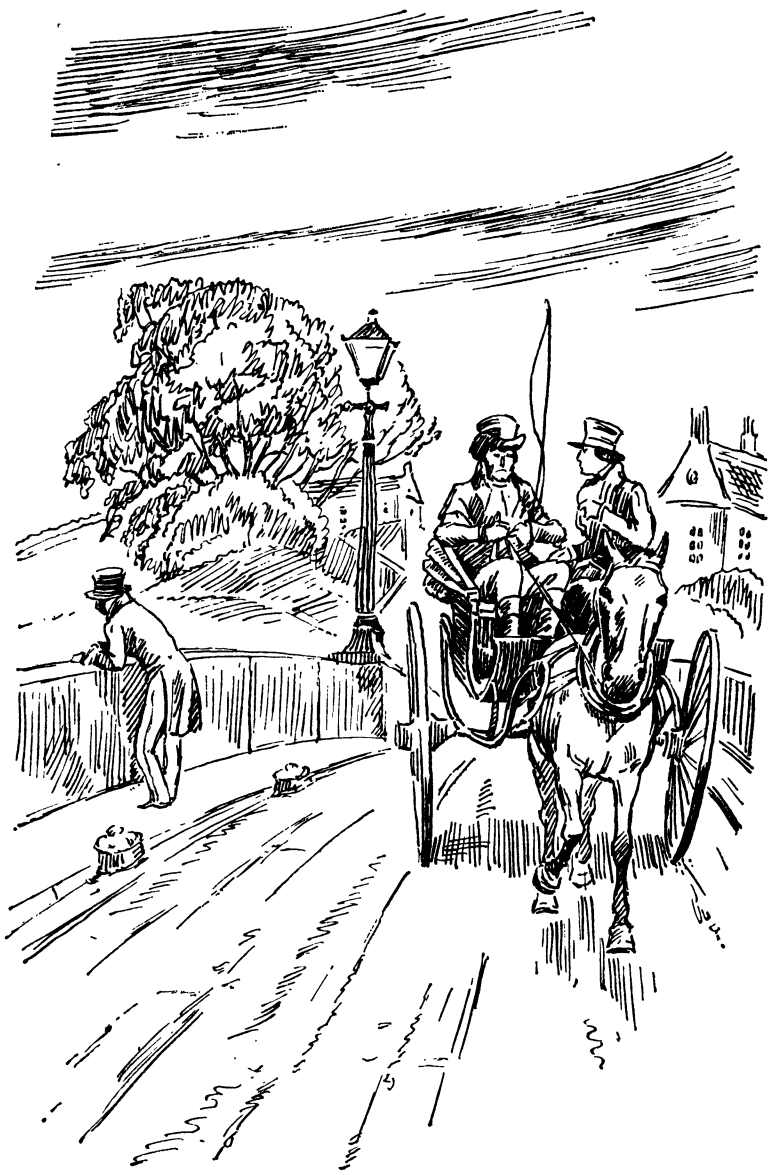
МЭР
КЭСТЕРБРИДЖА



ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА
С ХАРАКТЕРОМ

РОМАН

ПЕРЕВОД А.КРИВЦОВОЙ
И М.КЛЯГИНОЙ-КОНДРАТЬЕВОЙ



ВСТУПЛЕНИЕ

Читателям нижеследующей повести, если они еще не достигли преклонного возраста, следует помнить, что в дни, воскременные в этой книге, торговля отечественным зерном, вокруг которой вращается действие, обладала важностью, почти непостижимой для тех, кто привык к нынешним шестипенсовым булкам и нынешнему всеобщему равнодушию к возможному влиянию погоды на урожай.

Описываемые происшествия в основном порождены тремя событиями, которые и в подлинной истории города, названного Кэстербриджем, а также его окрестностей следовали друг за другом в том же порядке и через такие же промежутки, как рассказывается здесь. События эти таковы: продажа мужем его жены, плохие урожаи, которые непосредственно предшествовали отмене хлебных законов, и посещение августейшей особой вышеупомянутой части Англии.

Нынешнее издание этой повести, как и предыдущие, содержит почти целую главу, которая отсутствовала в первых отдельных английских ее изданиях, хотя была включена в издание, вышедшее выпусками, а также в американское издание. Глава эта восстановлена по настоянию некоторых компетентных судей за океаном, убедительно доказавших, что английское издание заметно пострадало от такого изъятия. Некоторые абзацы и имена, опущенные или измененные в первых изданиях, как английском, так и американском, по причинам, ныне утратившим силу, также восстановлены или вставлены.

Эта повесть, пожалуй, больше всех остальных книг, включенных в мою «Панораму уэссекской жизни», посвящена рассмотрению деяний и характера лишь одного человека. Значительные возражения вызвал шотландский диалект мистера Фарфрэ, второго героя, и некий его земляк заявил даже, что люди, обитающие за Твидом, так не говорят и никогда так не говорили. Однако, на мой южный слух, исправления, пред-

ложенные этим джентльменом, совершенно точно повторяют именно то, что я стремился воспроизвести, а потому я не мог признать справедливости его замечаний, на чем дело и кончилось. Следует помнить, что шотландец, действующий в этой истории, показан не таким, каким он представлялся бы другим шотландцам, а таким, каким его увидели бы люди иных национальностей. К тому же я и не пытался точно воспроизводить ни его произношения, ни произношения уэссекцев. Однако следует добавить, что это новое издание обладает следующим несомненным превосходством над предыдущими: его критически прочел профессор вышеупомянутого языка — человек, безусловно, компетентный, который, более того, по весьма важным причинам личного характера научился говорить на нем в первый же год своей жизни.

Далее, очаровательная дама отнюдь не шотландского происхождения, известная своей правдивостью и умом, супруга видного каледонца, навестила автора вскоре после выхода первого издания и осведомилась, не с ее ли мужа списан Фарфрэ, ибо он показался ей вылитым портретом этого (без сомнения) снастливейшего человека. Я же, создавая Фарфрэ, ни разу даже не подумал о ее супруге, а потому позволяю себе надеяться, что Фарфрэ выдержит экзамен если не как шотландец для шотландцев, то как шотландец для южан.

Первый раз этот роман был полностью опубликован в двух томах в мае 1886 года.

Т. Г.

Февраль 1895 г. — март 1912 г.

ГЛАВА I

Однажды вечером, в конце лета, когда нынешнему веку еще не исполнилось и тридцати лет, молодой человек и молодая женщина — последняя с ребенком на руках — подходили к большой деревне Уэйдон-Прайорс в Верхнем Уэссексе. Одежды они были просто, но не бедно, хотя густой слой седой пыли, накопившийся на их обуви и одежде, очевидно, за время долгого пути, придавал им сейчас обносившийся и не слишком привлекательный вид.

Мужчина был хорошо сложен, смуглый, с суровым лицом, и в профиль лицевой угол у него казался почти прямым. На нем была короткая куртка из коричневого плиса, более новая, чем остальные части его костюма — бумазейный жилет с белыми роговыми пуговицами, короткие, тоже бумазейные, штаны, рыжеватые гамашаи и соломенная шляпа с лакированной черной лентой. За спиной он нес на ремне тростниковую корзину, из которой торчала раздвоенная рукоятка ножа для обрезки сена и сквозь прутья виднелась завертка для затягивания сена веревками. Шел он мерным, тяжелым шагом опытного сельского рабочего, резко отличающимся от неуклюжей, шаркающей походки земледельца, а в его манере выворачивать и ставить ступню чувствовалось свойственное ему упрямство и циническое равнодушие, проявлявшиеся даже в том, как размеренно набегали и исчезали складки на бумазейных штанах то на левой, то на правой ноге, по мере того как он шагал.

Впрочем, пара эта была действительно своеобразная, и шли они в столь глубоком молчании, что это не могло не броситься в глаза случайному наблюдателю, в противном случае и не заметившему бы их. Они шагали бок о бок, так что издали могло показаться, будто люди, связанные общими интересами, ведут между собой тихий, непринужденный, душевный разговор; но при ближайшем рассмотрении обнаруживалось,

что мужчина читает или делает вид, будто читает, листок с отпечатанной на нем балладой, который он не без труда держал перед глазами рукой, пропущенной сквозь ременную петлю. Было ли то действительной причиной или лишь предлогом, чтобы избежать наскучивших ему разговоров,—этого никто, кроме него, не мог бы сказать,—только он упорно хранил молчание, и женщина не получала никакого удовлетворения от его присутствия. В сущности, она шагала по дороге в полном одиночестве, если не считать ребенка, которого несла на руках. Иной раз согнутый локоть мужчины почти касался ее плеча, так как шла она настолько близко к своему спутнику, насколько можно идти, не задевая его, но ей, казалось, и в голову не приходило взять его под руку, да и он не помышлял предложить ей руку. Нимало не удивляясь его пренебрежительному молчанию, она явно принимала это как нечто вполне естественное. Если в маленькой группе и раздавались чьи-то голоса, то это был лишь шепот женщины, время от времени обращавшейся к ребенку, крохотной девочке в коротком платьице и голубых вязаных башмачках, и ответный лепет ребенка.

Главной, если не единственной привлекательной чертой в наружности молодой женщины была подвижность ее лица. Когда она искоса поглядывала вниз, на девочку, она становилась хорошенькой, даже красивой,—жаркие лучи палящего солнца освещали сбоку ее живые черты, отчего веки и ноздри ее казались прозрачными, а губы пылали огнем. Когда же, задумавшись, она молча брела в тени зеленой изгороди, лицо ее принимало суровое, почти апатичное выражение, какое бывает у человека, ожидающего от Времени и Случая всего, кроме, быть может, справедливости. Первое выражение было у женщины от природы, второе, вероятно, являлось плодом цивилизации.

Вряд ли у кого-нибудь могли возникнуть сомнения в том, что эти мужчина и женщина — муж и жена и родители маленькой девочки. Только такими родственными узами и можно было объяснить атмосферу семейной близости, которая, подобно нимбу, окружала путников, бредущих по дороге.

Жена почти все время упорно, хотя и без особого интереса, смотрела вдаль,—собственно говоря, такой пейзаж можно было увидеть в эту пору года едва ли не в любом уголке любого графства Англии: дорога была не совсем прямая, но и не извилистая, не ровная, но и не холмистая, окаймленная кустами и деревьями того тускло-зеленого цвета, какой приобретают обреченные листья, прежде чем стать грязно-серыми, желтыми или красными. Трава у обочины и ближайшие ветви кустов были припудрены пылью, которой осыпали их мчащиеся мимо повозки,—той пылью, что лежала на дороге, заглушая, словно ковер, шум шагов; и благодаря этому, а также упорной неразговорчивости путников все звуки широкого мира отчетливо доносились до них.

Долгое время никаких звуков вообще не было, если не считать еле слышного голоса птицы, распевавшей стародавнюю вечернюю песню, которую, несомненно, можно было услышать здесь в тот же самый час и с теми же самыми трелями, каденциями и паузами на закате в эту пору года на протяжении несконченного множества веков. Но по мере приближения к деревне они услышали отдаленные крики и шум, доносившиеся с холма, который скрывали от них деревья. Едва вдали показались первые дома Уэйдон-Прайорса, как путникам повстречался огородник, который нес на плече мотыгу для окапывания брюквы; на конце ее болталась сумка с завтраком. Мужчина, читавший балладу, тотчас поднял глаза.

— Можно там найти работу? — флегматичным тоном спросил он, указывая листком на видневшуюся впереди деревню. Полагая, что огородник не понял его, он добавил: — Какую-нибудь работу по уборке сена?

Но огородник уже замотал головой.

— Господи помилуй, да где же разум у человека, коли он в эту пору вздумал искать такую работу в Уэйдоне?

— А домишко какой-нибудь нельзя здесь снять — пусть совсем маленький, только что выстроенный? — спросил пришелец.

Пессимист снова отрицательно мотнул головой.

— В Уэйдоне больше ломают, чем строят. В прошлом году снесли пять домов и в этом году три; людям деваться некуда — даже хижины с соломенной крышей не сыщешь. Вот каково оно в Уэйдон-Прайорсе!

Вязальщик сена — очевидно, он был вязальщиком — несколько пренебрежительно кивнул и, поглядев в сторону деревни, продолжал:

— Что это у вас там происходит, а?

— Да у нас ярмарка сегодня. Только этот шум и галдеж — все пустое: выманивают денежки у детей да у дураков, а настоящие дела уже кончились. Я весь день работал тут поблизости, но туда не ходил, э, нет! Не мое это дело.

Вязальщик и его жена продолжали путь и вскоре очутились на ярмарочном поле с загонами для скота, где были выставлены и проданы сотни лошадей и овец, которых теперь почти всех увели. К этому времени, как сказал огородник, с серьезными делами уже было покончено, оставалось только продать с аукциона животных похуже, которых не удалось сбыть с рук, ибо от них наотрез отказались более солидные скупщики, рано прибывшие и рано отбывшие. Однако толпа была еще гуще, чем в утренние часы: теперь здесь появились люди более легкомысленные — свободные от работы поденщики, два-три солдата, приехавшие домой на побывку и случайно оказавшиеся здесь, деревенские лавочники и тому подобный люд. Для них полем деятельности служили ларьки с игрушками и всякой мелочью, палатки со стереоскопическими картин-

ками, восковыми фигурами, живыми уродами, бескорыстными, путешествующими для блага человеческого лекарями, прорицателями, игрой в наперсток.

Наших пешеходов все это не прельщало, и они принялись озираться, отыскивая среди множества палаток, разбросанных по полю, такую, где бы можно было подкрепиться. В охряной дымке угасающих солнечных лучей две ближайшие палатки показались им, пожалуй, равно соблазнительными. Одна была из новенькой парусины молочного цвета, с красными флагами на верхушке; вывеска гласила: «Доброе пиво домашней варки, эль и сидр». Другая была не столь уж новой; сзади из нее торчала небольшая железная труба, а спереди красовалась вывеска: «Вкустная пшеничная каша». Мужчина мысленно взвесил обе надписи, и его потянуло в первую палатку.

— Нет... нет... не туда, — сказала женщина. — Я люблю пшеничную кашу, и Элизабет-Джейн ее любит, да и тебе понравится. Она сытная, а день был длинный и трудный.

— Я ее никогда не пробовал, — сказал мужчина.

Однако он внял доводам женщины, и они вошли в палатку, где торговали пшеничной кашей.

Там они увидели большую компанию, расположившуюся за длинными узкими столами, которые тянулись вдоль стен. В дальнем конце стояла печь, топившаяся углем, а над огнем висел большой трехногий котел, настолько стершийся по краям, что обнажилась колокольная медь, из которой он был отлит. Во главе стола сидела особа лет пятидесяти, похожая на ведьму, в белом переднике, которому надлежало придавать ей респектабельный вид, и потому он был такой ширины, что почти сходиллся у нее за спиной. Она медленно размешивала содержимое котла. По палатке разносился глухой скребущий звук большой ложки, какою женщина орудовала, заботясь о том, чтобы не подгорела смесь из пшеничных зерен, молока, изюма, коринки и других составных частей известного еще в старину жидкого варева, которым она торговала. Сосуды с этими составными частями стояли тут же, на застланном белой скатертью столе.

Мужчина и женщина заказали себе по миске горячей, дымящейся каши и уселись, чтобы съесть ее не спеша. Пока все шло отлично: пшеничная каша, как и говорила женщина, была сытна, и более подходящей пищи нельзя было найти в пределах четырех морей, хотя, правду сказать, тем, кто к ней не привык, поначалу едва ли могли понравиться разбухшие зерна пшеницы величиной с лимонное зернышко, которые плавали на поверхности.

Однако в этой палатке творилось нечто такое, что не сразу бросалось в глаза, но мужчина, побуждаемый инстинктом порочной натуры, быстро это почувствовал. Едва отведав каши, он начал уголком глаза следить за манипуляциями ведьмы и разгадал, какую игру она вела. Он подмигнул ей и в ответ на ее

кивок протянул свою миску; тогда она достала из-под стола бутылку, украдкой отмерила порцию и вылила в кашу. Это был ром. Мужчина тоже украдкой передал ей в уплату деньги.

Варево, щедро приправленное спиртом, пришлось ему гораздо больше по вкусу, чем в первоначальном виде. Его жена с тревогой наблюдала за этим, но он стал уговаривать ее тоже приправить кашу, и, поколебавшись немного, она согласилась, только на меньшую порцию.

Мужчина опустошил свою миску и потребовал вторую, с еще большим количеством рома. Очень скоро действие его начало сказываться на поведении мужчины, и женщина с грустью убедилась, что, хоть ей и удалось благополучно провести свой корабль мимо опасных скал — палатки, имевшей право торговать спиртными напитками, — она очутилась в пучине водоворота, где орудуют те, кто торгует хмельным из-под полы.

Малютка нетерпеливо залепетала, и жена несколько раз повторила мужу:

— Майкл, что же будет с жильем? Мы ведь можем не найти пристанища, если здесь задержимся.

Но он как будто и не слышал этого птичьего чириканья. Обратившись к собравшейся компании, он стал громко разглагольствовать. Когда зажгли свечи, девочка медленно перевела на них задумчивый взгляд круглых черных глазенок, но веки ее тотчас сомкнулись, потом снова раскрылись, потом закрылись, и она заснула.

После первой миски мужчина пришел в безмятежное расположение духа; после второй развеселился; после третьей принялся разглагольствовать; после четвертой в поведении его обнаружились те качества, что подчеркивались складом лица, манерой сжимать губы и огоньками, загоравшимися в темных глазах, — он стал сварливым, даже вздорным.

Разговор шел в повышенном тоне, как нередко бывает в подобных случаях. Гибель хороших людей по вине дурных жен, крушение смелых планов и надежд многих способных юношей и угасание их энергии в результате ранней неосмотрительной женитьбы — вот какова была тема.

— Так и я себя доконал, — сказал вязальщик задумчиво, с горечью, чуть ли не со злобой. — Женился в восемнадцать лет, как последний дурак, и вот последствия. — Жестом он указал на себя и семью, словно приглашая полюбоваться на это жалкое зрелище.

Молодая женщина, его жена, очевидно привыкшая к таким заявлениям, держала себя так, будто и не слыхала их, и время от времени нашептывала ласковые слова малютке, которая то засыпала, то снова просыпалась и была еще так мала, что мать лишь на минутку могла посадить ее рядом с собой на скамью, когда у нее уж слишком уставали руки. Мужчина же продолжал:

— Все мое достояние — пятнадцать шиллингов, а ведь я свое дело знаю. Бьюсь об заклад, что в Англии не найдется человека, который побил бы меня в фуражном деле, и, освободись я от обузы, цена бы мне была тысяча фунтов! Но о таких вещах всегда узнаешь слишком поздно.

Снаружи долетел голос аукционщика, продававшего на поле старых лошадей:

— А вот и последний номер — кто возьмет последний номер, почти задаром? Ну, за сорок шиллингов? Племенная матка, подает большие надежды, чуть старше пяти лет, и лошадь хоть куда, вот только спина малость примята да левый глаз вышиблен — кобыла лягнула, родная ее сестра, повстречавшаяся на дороге.

— Ей-богу, не пойму, почему женатый человек, если ему не нужна жена, не может сбыть ее с рук, как цыгане сбывают старых лошадей, — продолжал мужчина в палатке. — Почему бы не выставить ее и не продать с аукциона тому, кто нуждается в таком товаре? А? Ей-ей, мою я продал бы сию же минуту, пожелай только кто-нибудь купить!

— Желающие нашлись бы! — отозвался кто-то из присутствующих, глядя на женщину, которая отнюдь не была обижена природой.

— Правильно! — сказал джентльмен, куривший трубку; пальто его у ворота, на локтях, на швах и лопатках приобрело тот отменный глянец, какой появляется в результате длительного трения о грязную поверхность и более желателен на мебели, чем на одежде. Судя по внешности, он был когда-то грумом или кучером в каком-нибудь поместье. — Могу сказать, что вырос я в самом хорошем обществе, — добавил он, — и уж кому, как не мне, знать, что такое настоящая порода! И вот я утверждаю, что в ней эта порода есть — в самом сложении, заметьте, — как и у других особей женского пола здесь, на ярмарке, только, может, надо ей дать проявиться. — Тут он скрестил ноги и снова занялся своей трубкой, пристально всматриваясь в какую-то точку в пространстве.

Захмелевший молодой супруг, услышав столь неожиданную похвалу своей жене, широко раскрыл глаза, словно усомнившись, благоразумно ли с его стороны так относиться к обладательнице подобных качеств. Но он быстро вернулся к первоначальному своему убеждению и грубо сказал:

— Ну, так смотрите, не упустите случая: я готов выслушать, сколько вы предложите за эту жемчужину.

Женщина повернулась к мужу и прошептала:

— Майкл, ты и раньше уже болтал на людях такую чепуху. Шутка шуткой, но смотри, как бы не хватить через край.

— Знаю, что говорил. И говорил всерьез. Только бы покупатель нашелся.

В эту минуту в палатку, сквозь щель сверху, влетела ласточка, одна из последних в этом сезоне, и стремительно закру-

жила над головами, невольно приковав к себе все взгляды. Наблюдение за птицей, пока та не улетела, помешало собравшимся ответить на предложение работника, и разговор оборвался.

Но спустя четверть часа муж, который все подливал и подливал себе рому в кашу и, однако,— то ли оттого, что голова у него была такая крепкая, то ли он был таким неустрашимым питухом,— отнюдь не казался пьяным, затянул старую песню, подобно тому как в музыкальной фантазии инструмент подхватывает первоначальную тему:

— Ну, так как же насчет моего предложения? Эта женщина мне ни к чему. Кто польстится?

Компания к тому времени явно захмелела, и теперь вопрос был встречен одобрительным смехом. Женщина зашептала умоляюще и встревоженно:

— Идем, уже темнеет, хватит болтать! Если ты не пойдешь, я уйду без тебя! Идем!

Она ждала, ждала, однако он не двигался. Не прошло и десяти минут, как он снова прервал бессвязный разговор любителей рома с пшеничной кашей:

— Я ведь задал вопрос, а ответа так и не получил. Есть здесь какой-нибудь Джек Оборваец или Том Соломинка, который купит мой товар?

В поведении женщины произошла перемена, и на лице ее появилось прежнее сумрачное выражение.

— Майк, Майк,— сказала она,— это становится серьезным. Ох, слишком серьезным!

— Желает кто-нибудь купить ее? — спросил мужчина.

— Хотела бы я, чтоб кто-нибудь купил,— твердо заявила она.— Нынешний владелец совсем ей не по вкусу.

— Да и ты мне не по вкусу! — сказал он.— Стало быть, договорились. Джентльмены, вы слышите? Мы договорились расстаться. Если хочет, пусть берет дочку и идет своей дорогой. А я возьму инструменты и пойду своей дорогой. Ясно, как в Священном писании. Ну-ка, Сьюзен, встань, покажись.

— Не делайте этого, дитя мое! — шепнула дородная женщина в широких юбках, торговка шнурками для корсетов, сидевшая рядом.— Ваш муженек сам не знает, что говорит.

Однако женщина встала.

— Ну, кто будет за аукционщика? — крикнул вязальщик сена.

— Я! — тотчас отозвался коротенький человек, у которого нос походил на медную шишку, голос был простуженный, а глаза напоминали петли для пуговиц.— Кто предложит цену за эту леди?

Женщина смотрела в землю,— казалось, ей стоило величайшего напряжения воли оставаться на месте.

— Пять шиллингов,— сказал кто-то, после чего раздался смех.

— Прошу не оскорблять! — сказал муж. — Кто дает гинейю?

Никто не отозвался; тут вмешалась торговка корсетными шнурками:

— Ради господа бога, ведите себя прилично, любезный! До чего жестокий муж у бедняжки! Клянусь спасением моей души, иной раз замужество обходится недешево!

— Повышай цену, аукционщик! — сказал вязальщик.

— Две гиней! — крикнул аукционщик; никто не отозвался.

— Если не хотят брать за эту цену, через десять секунд им придется платить дороже, — сказал муж. — Прекрасно. Ну-ка, аукционщик, набавь еще одну.

— Три гиней, идет за три гиней! — крикнул простуженный человек.

— Кто больше? — спросил муж. — Господи, да она мне в пятьдесят раз дороже стоила. Набавляй.

— Четыре гиней! — крикнул аукционщик.

— Вот что я вам скажу: дешевле, чем за пять, я ее не продам, — объявил муж, ударив кулаком по столу так, что заплесали миски. — А за пять гиней я продам ее любому, кто согласен заплатить мне и хорошо обращаться с ней. И он получит ее на веки вечные, а обо мне никогда и не услышит! Но за меньшую сумму — не пойдет! Так вот: пять гиней — и она ваша! Сьюзен, ты согласна?

Та с глубоким равнодушием наклонила голову.

— Пять гиней, — сказал аукционщик, — не то товар снижается с торгов. Кто дает пять гиней? В последний раз. Да или нет?

— Да! — раздался громкий голос в дверях.

Все взоры обратились в ту сторону. В треугольном отверстии, служившем палатке дверью, стоял моряк, появившийся незаметно для остальной компании минуты две-три назад. Мертвое молчание последовало за его согласием.

— Вы сказали, что даете пять гиней? — спросил муж, вытаращив на него глаза.

— Сказал, — ответил моряк.

— Одно дело — сказать, а другое — заплатить. Где деньги?

Моряк с минуту помешкал, еще раз посмотрел на женщину, вошел, развернул пять хрустящих бумажек и бросил их на скатерть. Это были кредитные билеты Английского банка на сумму в пять фунтов. Сверху он бросил несколько звенящих шиллингов — один, два, три, четыре, пять.

Вид денег, всей суммы полностью, в ответ на вызов, который до сей поры почитался, пожалуй, гипотетическим, произвел огромное впечатление на зрителей. Все впилась глазами сначала в лица главных участников, а затем в кредитные билеты, которые лежали на столе, придавленные шиллингами.

Вплоть до этого момента нельзя было с уверенностью утверждать, что муж, несмотря на свое соблазнительное предложение, говорит всерьез. Действительно, зрители все время относились к происходившему, как к рискованной веселой шутке, и решили, что, оставшись, должно быть, без работы, он озлобился на весь мир, на общество, на своих близких. Но когда в ответ на предложение появились наличные деньги, шутовское легкомыслие исчезло. Казалось, какой-то зловеющий свет наполнил всю палатку и облик всех присутствующих изменился. Смешливые морщинки сбежали с лиц слушателей, и они ждали, разинув рты.

— Ну, Майкл,— сказала женщина, нарушая молчание, и ее тихий бесстрастный голос отчетливо прозвучал в тишине,— прежде чем ты еще что-нибудь скажешь, выслушай меня. Если ты только прикоснешься к деньгам, мы с дочкой уйдем с этим человеком. Пойми, сейчас это уже не шутка.

— Шутка? Конечно, это не шутка! — крикнул муж; при ее словах злорада с новой силой вспыхнула в нем.— Я беру деньги, моряк берет тебя. Достаточно ясно. Такие вещи делались в других местах, почему же здесь нельзя?

— Надо сначала выяснить, согласна ли молодая женщина,— мягко сказал моряк.— Ни за что на свете я бы не хотел оскорбить ее чувства.

— Да, и я, ей-ей, не хочу! — сказал муж.— Но она согласна, если только ей можно будет взять с собой ребенка. Так она сама сказала на днях, когда я завел об этом речь.

— Вы можете поклясться? — обратился к ней моряк.

— Могу,— сказала она, бросив сначала взгляд на мужа и не заметив никаких признаков раскаяния.

— Ладно, ребенка она берет с собой, и дело с концом,— сказал вязальщик.

Он взял кредитные билеты моряка, не спеша сложил их и с видом человека, принявшего окончательное решение, спрятал в самый надежный карман.

Моряк взглянул на женщину и улыбнулся.

— Идем! — ласково сказал он.— И малютка с нами — чем больше народу, тем веселей!

С минуту она постояла, пристально всматриваясь в него. Потом снова опустила глаза, молча взяла девочку на руки и направилась вслед за ним к двери. В дверях она обернулась и, сняв обручальное кольцо, швырнула его через палатку в лицо вязальщику сена.

— Майкл,— сказала она,— я прожила с тобой два года и ничего от тебя не видела, кроме попреков. Теперь я уже не твоя; попытаю счастья в другом месте. Так будет лучше и для меня и для ребенка. Прощай!

Ухватившись правой рукой за руку моряка и посадив девочку на левую руку, она, горько всхлипывая, вышла из палатки.



Тупое, озабоченное выражение появилось на лице мужа, как будто он все-таки не предвидел такого конца; кое-кто из гостей рассмеялся.

— Ушла она? — спросил он.

— Ушла, и след простыл! — отозвались парни, сидевшие у двери.

Он встал и направился к выходу осторожной поступью человека, сознающего, что он перебрал лишку. Несколько человек последовали за ним и остановились у порога, всматриваясь в сумерки. Здесь особенно явственно ощущалась разница между мирным спокойствием природы и обдуманной злонамеренностью человека. Какой контраст жестокой сцене, только что разыгравшейся в палатке, являл вид нескольких лошадей, которые ласково терлись шеями друг о друга, терпеливо дожидаясь, пока их запрягут и погонят в обратный путь! За пределами ярмарочного поля, в долинах и лесах, все было тихо.



Солнце недавно зашло, и небо на западе застилало розовое облако, казавшееся неизменным, однако оно медленно меняло свои контуры. Следить за ним было все равно что смотреть из затемненного зрительного зала на великолепные декорации. При виде этой сцены после той, другой, первым естественным побуждением было отречься от человека, который подобен пятну на лице доброй матери-природы, однако приходила на память мысль, что на земле все меняется и что в одну прекрасную ночь человечество может спать мирным сном, а эта, ныне тихая, природа будет буйствовать.

— Где живет этот моряк? — спросил один из зрителей, пока собравшиеся тщательно озирались по сторонам.

— Бог его знает, — ответил тот, что повидал хорошую жизнь, — ясно, что он не здешний.

— Он зашел минут пять назад, — сказала владелица палатки с пшеничной кашей, которая присоединилась к остальным и стояла подбоченившись. — Потом он вышел, потом опять заглянул. На нем я не разжилась ни на пенни.

— И поделом мужу! — сказала торговка корсетными шнурками. — Такая миловидная, приличная женщина — чего, кажется, еще нужно человеку? А какая храбрая! Я бы сама на это пошла, ей-богу, пошла, если бы мой муж так обращался со мной! Ушла бы, и пускай бы он звал и звал, пока не охрипнет... Но я бы ни за что не вернулась — нет, не вернулась бы до самого трубного гласа!

— Ну что ж, женщине легче будет, — сказал кто-то из наиболее рассудительных. — Моряки — надежное пристанище для остриженных овечек, у парня как будто много денег, а по всему видно, что к этому она не привыкла.

— Попомните мое слово, я за ней не пойду! — сказал вязальщик упрямо, возвращаясь на свое место. — Пусть уходит! Вздумала чудить, пускай сама и расплачивается. Только дочку ни к чему ей было брать — дочка-то моя! И случись это еще раз, я бы ее не отдал.

Вскоре посетители начали покидать палатку, то ли подталкиваемые неясным чувством, что помогли заключить недопустимую сделку, то ли потому, что было уже поздно. Мужчина положил локти на стол, опустил голову на руки и скоро захрапел. Торговка пшеничной кашей, решив закрывать заведение на ночь, проследила за тем, чтобы оставшиеся бутылки с ромом, молоко, пшеница, изюм и прочее были погружены в повозку, и подошла к прикорнувшему у стола мужчине. Она стала его тормошить, но разбудить не могла. Поскольку в тот вечер не нужно было разбирать палатку — ярмарка продолжалась еще дня два-три, — она решила, что спящий, который явно не был бродягой, может остаться здесь на ночь вместе со своей корзиной. Погасив последнюю свечу, она вышла и, опустив полотно над входом в палатку, уехала.

ГЛАВА II

Утреннее солнце струилось сквозь прорехи в парусине, когда мужчина проснулся. Палатка была пронизана теплым светом, и в воздухе с музыкальным жужжанием кружила одинокая большая синяя муха. Кроме жужжания этой мухи, не слышно было ни единого звука. Он посмотрел вокруг: на скамьи, на стол, на свою корзину с инструментами, на печь, где варилась накануне пшеничная каша, на пустые миски, на рассыпанные зерна пшеницы, на пробки, которыми был усеян поросший кое-где травой земляной пол. Среди мусора он заметил какой-то маленький блестящий предмет и поднял его. Это было кольцо его жены.

Смутное воспоминание о событиях прошлого вечера всплыло в его сознании, и он сунул руку во внутренний карман. Защуршали небрежно засунутые туда кредитные билеты моряка.

Этого второго подтверждения его неясных воспоминаний оказалось достаточно: теперь он знал, что то был не сон. В течение некоторого времени он продолжал сидеть, уставившись в землю.

— Надо как можно скорее выпутаться из этой истории,— наконец сказал он решительно, как человек, который не может собраться с мыслями, не выразив их вслух.— Она ушла... да, конечно, ушла с тем моряком, который купил ее, и с маленькой Элизабет-Джейн. Мы забрели сюда, и я ел пшеничную кашу, а в каше был ром... и я ее продал. Да, так оно и было, и вот я теперь сижу здесь. Что же мне делать, достаточно ли я протрезвел, чтобы идти?

Он встал, обнаружил, что находится во вполне приличном состоянии и может без труда тронуться в путь. Потом он взвалил на спину свою корзину и убедился, что может нести ее; тогда, приподняв полотнище палатки, он вышел на воздух.

С угрюмым любопытством он стал озираться по сторонам. Свежесть сентябрьского утра оживила его и подбодрила. Когда он пришел сюда накануне вечером вместе с женой и дочкой, они были утомлены и мало что заметили, а потому теперь он смотрел на окружающую местность как бы впервые. Он стоял на открытом высоком месте, окаймленном вдали рощей. Внизу, куда вела извилистая дорога, находилась деревня, которая дала свое имя возвышенности, служившей местом ежегодной ярмарки. Отсюда шел спуск в долины и подъем к другим возвышенностям, усеянным курганами и пересеченным остатками древних укреплений. Все вокруг было залито лучами недавно взошедшего солнца, еще не успевшего осушить ни единого стебелька в росистой траве, на которой лежали длинные тени желтых и красных фургонов, так что тени от их колес походили на вытянутые орбиты комет. Все цыгане и владельцы балаганов, заночевавшие здесь, расположились в своих палатках и повозках или лежали под ними, закутавшись в попоны, тихо и недвижимо, словно в объятиях смерти,— лишь случайный храп выдавал их присутствие. Но у Семерых спящих была собака; и собаки неведомой породы, принадлежавшие бродягам и похожие столько же на кошек, сколько на собак, и столько же на лисиц, сколько на кошек, также лежали вокруг. Какая-то маленькая собачонка выскочила из-под повозки, тявкнула для порядка и тотчас улеглась снова. Она была единственным несомненным свидетелем того, как вязальщик сена покинул уйдонское ярмарочное поле.

По-видимому, это отвечало его желанию. Он шел в глубоком раздумье, не обращая внимания ни на желтых овсянок, порхавших с соломинками в клюве над живой изгородью, ни на шляпки грибов, ни на позвякивание овечьих колокольчиков, обладателям которых посчастливилось не попасть на ярмарочное поле. Выйдя на проселочную дорогу в доброй миле от места действия прошлого вечера, мужчина опустил свою корзину

на землю и прислонился к воротам. Тяжелая проблема — а может быть, и не одна — занимала его мысли.

«Назвал я себя вчера кому-нибудь или нет?» — подумал он и наконец пришел к заключению, что не назвал. Он был удивлен и задет тем, что жена поняла его слова буквально, — это видно было и по лицу его, и по тому, как он покусывал соломинку, которую выдернул из живой изгороди. Он понимал, что она поступила так в запальчивости, больше того, она, должно быть, считала, что эта сделка к чему-то ее обязывает. В этом последнем он был почти уверен, зная ее натуру, чуждую легкомыслия, и крайнюю примитивность ее мышления. К тому же под ее обычным спокойствием могли скрываться безрассудная решимость и чувство обиды, которые и заглушили мимолетные сомнения. Как-то, когда он во время одной попойки заявил, что избавится от нее тем способом, к какому прибег сейчас, она ответила покорным тоном человека, готового принять удар судьбы, что так оно и случится и ей не придется слышать это от него много раз...

— Но ведь знает же она, что в такие минуты я сам не понимаю, что говорю! — воскликнул он. — Что ж, придется мне побродить в этих краях, пока я не найду ее... Черт возьми, могла бы она подумать, прежде чем так срамить меня! — взревел он. — Ведь она-то не была пьяна, как я. Этакая идиотская простота — как это похоже на Сьюзен! Покорная... Эта ее покорность причинила мне больше зла, чем самый лютый нрав!

Немного успокоившись, он вернулся к первоначальному своему убеждению, что должен так или иначе отыскать ее и свою маленькую Элизабет-Джейн и по мере сил примириться с позором. Он сам навлек его на себя и должен нести его. Но сначала он решил дать обет — такой великий обет, какого никогда еще не давал, а чтобы принести клятву надлежащим образом, требовалось соответствующее место и обстановка, ибо в верованиях этого человека было что-то идолопоклонническое.

Он взвалил корзину на спину и двинулся в путь, на ходу окидывая пытливым взглядом местность, и вдали, в трех-четырех милях, увидел крыши и колокольню деревенской церкви. К этой колокольне он и направился. В деревне стояла тишина, был тот безгласный час, который наступает в сельской повседневной жизни после ухода мужчин на полевые работы и кончается с пробуждением их жен и дочерей, когда те встают, чтобы приготовить завтрак к их возвращению. Вот почему вязальщик сена достиг церкви никем не замеченный и вошел в нее, поскольку дверь была заперта только на щеколду. Он опустил свою корзину возле купели, прошел по нефу до решетки перед алтарем и, открыв дверцу, вступил в святилище; на секунду он почувствовал себя как-то странно, но потом преклонил колени на возвышении, уронил голову на книгу с застежками, лежавшую на престоле, и громко произнес:

— Я, Майкл Хенчард, сегодня утром, шестнадцатого сен-

тября, здесь, в этом священном месте, даю обет в том, что двадцать лет не притронуся к спиртным напиткам, считая по году на каждый уже прожитый мною год. И в этом я клянусь на лежащей передо мною книге. И да поразят меня немота, слепота и беспомощность, если я нарушу мой обет!

Произнеся эти слова и поцеловав большую книгу, вязальщик сена встал и, казалось, почувствовал облегчение, вступил на новый путь. Приостановившись на минуту на паперти, он увидел густую струю дыма, внезапно вырвавшуюся из красной трубы ближайшего коттеджа, и понял, что его обитательница только что затопила печь. Он подошел к двери, и хозяйка за ничтожную плату согласилась приготовить ему завтрак. Подкрепившись, он приступил к поискам своей жены и ребенка.

Сложность этой задачи обнаружилась довольно скоро. Хотя он всех расспрашивал и допытывал и день за днем колесил по округе, но тех, чье описание он давал, нигде не видели с того вечера на ярмарке. Дело осложнялось еще и тем, что он не мог установить, как звали моряка. Деньги его были уже на исходе, и он после некоторых колебаний решил истратить полученную от моряка сумму на продолжение поисков. Но и это оказалось тщетным. Боязнь заявить открыто о своем поступке помешала Майклу Хенчарду поднять вокруг этого дела шум, какой был необходим, чтобы поиски могли привести к желательным результатам. И, должно быть, потому-то он ничего и не добился, хотя им сделано было все, что не влекло за собой осложнения, при каких обстоятельствах он потерял жену.

Недели складывались в месяцы, а он все продолжал поиски, в промежутках берясь за случайную работу, чтобы прокормиться. Через некоторое время он добрался до морского порта и здесь узнал, что лица, отвечавшие его описаниям, не так давно покинули страну. Тогда он решил прекратить поиски и поселиться в местности, которую давно себе облюбовал. На следующий день он направился на юго-запад, останавливаясь только на ночевку, и шел до тех пор, пока не достиг города Кэстербриджа в отдаленной части Уэссекса.

ГЛАВА III

Проезжая дорога в деревню Уэйдон-Прайорс снова была устлана ковром пыли. Как и во время оно, деревья снова были тускло-зеленые, и там, где некогда шла семья Хенчарда из трех человек, шли теперь двое, имевшие отношение к этой семье.

Все вокруг было совсем как прежде — вплоть до голосов и шума, доносившихся снизу, из соседней деревни, — так что, в сущности, этот день вполне мог бы наступить непосредственно вслед за изложенными ранее событиями. Перемены обна-

руживались только в деталях, по которым можно было установить, что миновала длинная вереница лет. Одна из тех, что шли по дороге, была той женщиной, которая когда-то являлась молодой женой Хенчарда; теперь лицо ее потеряло свою округлость, изменилась и кожа, а волосы хотя и сохранили свой цвет, но значительно поредели. На ней был вдвойне траур. Спутница ее, стройная девушка лет восемнадцати, также в черном, с избытком обладала тем драгоценным эфемерным обаянием, которое присуще только юности, а юность сама по себе прекрасна, независимо от красок и линий.

Одного взгляда было достаточно, чтобы узнать в ней дочь Сьюзен Хенчард, теперь уже взрослую. Лето жизни наложило свою печать огрубения на лицо матери, но время перенесло черты, отличавшие ее в пору весны, на ее спутницу, ее родное дитя, с таким искусством, что поведение дочери о некоторых фактах, известных матери, на момент могло показаться человеку, вспоминаящему эти факты, странным несовершенством способности природы к непрерывному воспроизведению.

Они шли, держась за руки, и заметно было, что это вызвано сердечной привязанностью. В свободной руке дочь несла ивовую корзину старомодной формы, мать — синий узел, странно не подходивший к ее черному шерстяному платью.

Дойдя до околицы деревни, они пошли тою же дорогой, что и в былые времена, и поднялись на ярмарочное поле. Здесь также годы сделали свое дело. Кое-какие механические усовершенствования были внесены в карусели и качели, в машины для измерения силы и веса поселян, в тиры, где проводились состязания в стрельбе на орехи. Но торговые обороты ярмарки значительно уменьшились. В окрестных городах теперь регулярно устраивались большие базары, и это начало серьезно сказываться на торговле, которая шла здесь из века в век. Загоны для овец, коновязи для лошадей занимали вдвое меньше места, чем раньше. Палатки портных, чулочников, торговцев полотном, бондарей и других ремесленников почти исчезли, и повозок было гораздо меньше. Некоторое время мать и дочь пробирались сквозь толпу, потом остановились.

— Зачем мы пришли сюда, только время теряем! Я думала, вы хотите идти дальше,— сказала девушка.

— Да, милая Элизабет-Джейн,— отозвалась мать.— Но мне вздумалось побывать здесь.

— Зачем?

— Здесь я в первый раз встретилась с Ньюсоном, в такой же день, как сегодня.

— В первый раз встретились здесь с отцом? Да, вы мне об этом говорили. А теперь он утонул, и пет его у нас! — С этими словами девушка вынула из кармана карточку, посмотрела на нее и вздохнула. Она была обведена черной каймой, и в рамке, как на мемориальной дощечке, были написаны слова: «Дорогой памяти Ричарда Ньюсона, моряка, который

преждевременно погиб на море в ноябре месяце 184... года, в возрасте сорока одного года».

— И здесь,— нехотя продолжала мать,— я в последний раз видела того родственника, которого мы разыскиваем,— мистера Майкла Хенчарда.

— В каком родстве мы с ним находимся, мама? Вы мне этого никогда хорошенько не объяснили.

— Мы с ним в свойстве или были в свойстве, потому что его, может быть, нет в живых,— осторожно сказала мать.

— Вы мне уже говорили это десятки раз! — воскликнула девушка, рассеянно поглядывая по сторонам.— Должно быть, он нам не близкая родня?

— Совсем не близкая.

— Он был вязальщиком сена, не правда ли, когда вы в последний раз о нем слышали?

— Да.

— Меня, вероятно, он никогда не видел? — в неведении своем продолжала девушка.

Миссис Хенчард замаялась и ответила нерешительно:

— Конечно, не видел, Элизабет-Джейн. Но пойдём-ка вон туда.

Она направилась в дальний конец ярмарочного поля.

— Мне кажется, нет никакого смысла расспрашивать здесь о ком-либо,— заметила дочь, озираясь вокруг.— Народ на ярмарках меняется, как листва на деревьях. И, кроме вас, здесь едва ли найдется сегодня хоть один человек, который был на ярмарке тогда.

— Я в этом не совсем уверена,— возразила миссис Ньюсон (так она теперь звалась), пристально рассматривая что-то вдаль, у зеленой насыпи.— Погляди-ка туда.

Дочь посмотрела в ту сторону. Предмет, обративший на себя внимание матери, оказался треножником из воткнутых в землю палок, на котором висел котел, подогреваемый снизу тлеющими дровами. Над котлом, наклонившись, стояла старуха, изможденная, сморщенная и чуть ли не в рубище. Она размешивала большой ложкой содержимое котла и по временам каркала сиплым голосом: «Здесь продают хорошую пшеничную кашу!»

В самом деле, это была хозяйка палатки с пшеничной кашей. Когда-то она преуспевала, была опрятной, носила белый передник, позвякивала деньгами, а теперь лишилась палатки, стала грязной, не было у нее ни столов, ни скамей, ни покупателей, если не считать двух белобрысых загорелых мальчуганов, которые подошли и попросили: «Дайте полпорции — да попопней наливайте!» — что она и сделала, подав им две щербатые желтые миски из самой простой глины.

— Это она была здесь в тот раз,— проговорила миссис Ньюсон, направляясь к старухе.

— Не заговаривайте с ней — это неприлично! — остановила ее дочь.

— Я только одно словечко скажу. Ты можешь подождать здесь.

Девушка не стала возражать и пошла к ларькам с цветными ситцами, а мать продолжала свой путь. Едва увидев ее, старуха стала зазывать покупательницу, а просьбу миссис Хенчард-Ньюсон дать на пенни каши удовлетворила с большим проворством, чем в свое время, когда отпускала каши на шесть пенсов. Когда *soi-disant*¹ вдова взяла миску жидкой невкусной похлебки, заменившей густую кашу былых времен, старая ведьма открыла корзинку, стоявшую за костром, и, бросив на покупательницу лукавый взгляд, прошептала:

— А как насчет капельки рома?.. Контрабанда, знаете ли... ну, на два пенса... зато кашу проглотите — облизнетесь.

Покупательница горько улыбнулась, вспомнив эту старую уловку, и ответила покачиванием головы, значения которого старуха не поняла. Взяв предложенную ей оловянную ложку, миссис Ньюсон отведала каши и вкрадчиво сказала старой карге:

— Вы, верно, знавали лучшие дни?

— Ах, сударыня, что и говорить! — отозвалась старуха, немедленно открывая шлюзы своего сердца. — Я стою на этой ярмарочной площади вот уже тридцать девять лет — стояла девушкой, женой и вдовой и успела узнать, что значит иметь дело с самыми привередливыми желудками в округе. Сударыня, вряд ли вы поверите, что когда-то у меня была своя палатка-шатер, настоящая приманка на ярмарке. Никто сюда не приходил, никто отсюда не уходил, не отведав пшеничной каши миссис Гудноф. Я умела угодить и духовным особам, и городским франтам, умела угодить и городу, и деревне, даже грубым, бесстыдным девкам. Но будь я проклята, люди ничего не ценят! Честная торговля не приносит барышей — в нынешние времена богатеют только хитрецы да обманщики!

Миссис Ньюсон оглянулась — ее дочь замешкалась у дальних ларьков.

— А не припоминаете ли вы, — осторожно спросила она старуху, — как в вашей палатке ровно восемнадцать лет назад муж продал свою жену?

Карга призадумалась и качнула головой.

— Если бы вокруг этого дела поднялся шум, я б сию же минуту вспомнила, — сказала она. — Я помню каждую супружескую драку, каждое убийство, умышленное и случайное, даже каждую карманную кражу, — по крайней мере крупную, — какие мне довелось видеть своими глазами. Но продажа жены? Это было сделано потихоньку?

— Да, пожалуй. Кажется, так.

¹ Так называемая (*фр.*).

Торговка пшеничной кашей снова качнула головой.

— Погодите... Погодите! Вспомнила! — сказала она. — Во всяком случае, я припоминаю человека, который сделал что-то в этом роде, он был в куртке и тащил корзину с инструментами. Но мы таких вещей в памяти не держим. А этого человека я не забыла только потому, что на следующий год он снова был здесь на ярмарке и сказал мне вроде бы по секрету: если какая-нибудь женщина будет спрашивать о нем, я должна сказать, что он отправился... куда же это?.. да, в Кэстербридж... верно, он сказал — в Кэстербридж! Но, ей-богу, я и думать об этом забыла!

Миссис Ньюсон вознаградила бы старуху в меру своих скудных средств, если бы не помнила, что ром, влитый в кашу этой не слишком совестливой особой, был причиной падения ее мужа. Она коротко поблагодарила свою собеседницу и присоединилась к Элизабет, которая встретила ее словами:

— Мама, пойдемте дальше... вряд ли прилично было вам там закусывать. Я вижу, что этого никто не делает, кроме людей самого низкого сорта.

— Зато я узнала, что хотела узнать, — спокойно ответила мать. — Когда наш родственник был в последний раз на этой ярмарке, он сказал, что живет в Кэстербридже. Это далеко-далеко отсюда, и сказал он так много лет назад, но, пожалуй, мы пойдем туда.

И, покинув ярмарку, они направились к деревне, где получили пристанище на ночь.

ГЛАВА IV

Жена Хенчарда действовала с наилучшими намерениями, но очутилась в затруднительном положении. Сотни раз собиралась она рассказать своей дочери, Элизабет-Джейн, правдивую историю своей жизни, трагическим моментом которой явилась сделка на Уэйдонской ярмарке, когда она была немногим старше девушки, шедшей теперь с нею. Но она не решалась. Таким образом, девочка, ничего не ведая, росла в уверенности, что отношения между веселым моряком и ее матерью были самыми обыкновенными, какими они и казались. Угроза подорвать привязанность к нему девочки, заронив в ее головку смущающие мысли, угроза, возраставшая вместе с ростом ребенка, представлялась миссис Хенчард слишком большим риском, чтобы она могла на него пойти. И она считала безумием открыть Элизабет-Джейн правду.

Но боязнь Сьюзен Хенчард, что исповедь лишит ее привязанности горячо любимой дочери, не имела отношения к сознанию собственной вины. Благодаря своей простоте, послужившей в свое время основанием для презрения Хенчарда, она жила в убеждении, что Ньюсон приобрел на нее вполне

реальные права, допустимые с точки зрения морали, хотя смысл и законные границы этих прав она не вполне ясно себе представляла. Уму искушенному покажется, пожалуй, странным, что здравомыслящая молодая женщина могла поверить в серьезность такой сделки; и не будь других многочисленных примеров подобной убежденности, в этом можно было бы усомниться. Но миссис Хенчард была отнюдь не первой и не последней деревенской женщиной, почитавшей себя связанной по правилам церкви со своим покупателем, о чем свидетельствуют многочисленные рассказы деревенских жителей.

Историю жизни Сьюзен Хенчард за этот период можно рассказать в двух-трех фразах. Совершенно беспомощная, она была увезена в Канаду, где они и прожили несколько лет, не добившись сколько-нибудь значительных успехов на жизненном поприще, хотя она работала не покладая рук, чтобы в домике у них был уют и достаток. Когда Элизабет-Джейн было лет двенадцать, все трое вернулись в Англию и поселились в Фальмуте, где на протяжении нескольких лет Ньюсон добывал средства к жизни, служа лодочником и выполняя разные работы на берегу.

Затем он нанялся на торговое судно, ходившее в Ньюфаундленд, и в эту пору Сьюзен прозрела. Она рассказала свою историю приятельнице, а та высмеяла ее простодушие, и душевному покою Сьюзен пришел конец. Когда Ньюсон в конце зимы вернулся домой, он увидел, что заблуждение, которое он так старательно поддерживал, исчезло навсегда.

Настали дни мрачного уныния, и в один из таких дней она поведала ему свои сомнения: может ли она жить с ним и впредь. В следующий сезон Ньюсон снова ушел в плавание на ньюфаундлендском судне. А немного спустя весть о его гибели разрешила проблему, превратившуюся в пытку для уязвимой совести Сьюзен. Моряк навсегда ушел из ее жизни.

О Хенчарде она ничего не знала. Для вассалов Труда Англия тех дней была континентом, а миля — географическим градусом.

Элизабет-Джейн рано развилась физически. Однажды, примерно через месяц после получения известия о смерти Ньюсона у берегов Ньюфаундленда, когда девушке было лет восемнадцать, она сидела на плетеном стуле в домике, где они все еще жили, и плела рыбацьи сети. Мать ее в дальнем углу комнаты занималась той же работой. Опустив большую деревянную иглу, в которую она вдевала бечевку, мать задумчиво смотрела на дочь. Солнце, проникая в дверь, освещало голову молодой девушки, и лучи его, словно попав в непроходимую чащу, терялись в густой массе ее распущенных каштановых волос. Ее лицо, несколько бледное и еще не определившееся, обещало стать красивым. В нем была скрытая прелесть, еще не нашедшая выражения в изменчивых, незрелых чертах, еще не расцветшая в трудных условиях жизни. Красив был костяк,

но еще не плоть. А быть может, ей и не суждено было стать красивой,— если не удалось бы преодолеть тяготы повседневного существования, прежде чем зыбкие линии лица примут окончательный вид.

При виде девушки матерью овладела грусть — не смутная, а возникшая в результате логических заключений. Они обе все еще носили смирительную рубашку бедности, от которой мать столько раз пыталась избавиться ради Элизабет. Женщина давно заметила, как пылко и упорно жаждал развития юный ум ее дочери; однако и теперь, на восемнадцатом году жизни, он был еще мало развит. Сокровенным желанием Элизабет-Джейн — желанием трезвым, но приглушенным — было видеть, слышать, понимать. И она постоянно спрашивала у матери, что надо делать, чтобы стать женщиной более знающей, пользующейся большим уважением,— стать «лучше», как она выражалась. Она пыталась проникнуть в суть вещей глубже, нежели другие девушки ее круга, и мать вздохнула, чувствуя, что бессильна помочь ей в этом стремлении.

Моряк был для них теперь потерян навсегда. От Съюзен больше не требовалось стойкой, религиозной приверженности к нему как к мужу — приверженности, длившейся до той поры, пока она не уяснила себе истинное положение вещей. Она спрашивала себя, не является ли настоящий момент, когда она снова стала свободной, самым благоприятным, какой только может быть в мире, где все складывалось так неблагоприятно, чтобы сделать отчаянную попытку и помочь Элизабет выбиться в люди. Разумно это или нет, но ей казалось, что спрятать в карман гордость и отправиться на поиски первого мужа будет для начала наилучшим шагом. Возможно, что пьянство свело его в могилу. Но, с другой стороны, возможно, что у него хватило ума удержаться, так как в пору их совместной жизни ему лишь ненадолго случалось загулять, а запоями он не страдал.

Во всяком случае, следовало вернуться к нему, если он жив,— это бесспорно. Затруднительность поисков заключалась в необходимости открыться Элизабет, о чем мать не могла даже подумать. Наконец она решила начать поиски, не сообщая дочери о прежних своих отношениях с Хенчардом, и предоставить ему, если они его найдут, поступить так, как он сочтет нужным. Этим и объясняется их разговор на ярмарке и то неведение, в каком пребывала Элизабет.

Так продолжали они свой путь, руководствуясь только теми скудными сведениями о местопребывании Хенчарда, какие получили от торговки пшеничной кашей. Деньги приходилось тщательно экономить. Они брели пешком. Иногда их подвозил на телеге какой-нибудь фермер или в фургоне — возчик. Так они почти добрались до Кэстербриджа. Элизабет-Джейн с трвогой обнаружила, что здоровье начинает изменять матери: в речах ее то и дело слышались нотки отрешенности, свиде-

тельствовавшие о том, что, если бы не дочь, она без сожаления рассталась бы с жизнью, ставшей ей в тягость.

Примерно в середине сентября, в пятницу, когда уже начало смеркаться, они достигли вершины холма, находившегося на расстоянии мили от цели их путешествия. Здесь дорога пролегла между высокими холмами, отгороженными живою изгородью; мать с дочерью поднялись на зеленый откос и присели на траву. Отсюда открывался вид на город и его окрестности.

— Вот уж допотопное местечко! — заметила Элизабет-Джейн, обращаясь к своей молчаливой матери, размышлявшей отнюдь не о топографии. — Дома сбиты в кучу, а вокруг сплошная прямоугольная стена из деревьев, словно это сад, обсаженный буксом...

В самом деле, прямоугольная форма была характерной чертой, поражавшей глаз в Кэстербридже, этом старинном городке, в те времена, хотя и не столь давние, нимало не затронутом новыми веяниями. Он был компактен, как ящик с домино. У него не было никаких пригородов в обычном смысле этого слова. Геометрическая прямая отделяла город от деревни.

Птицам, с высоты их полета, Кэстербридж в этот чудесный вечер должен был казаться мозаикой из тускло-красных, коричневых, серых камней и стекол, вставленной в прямоугольную раму густо-зеленого цвета. Человеческому же взгляду он представлялся неясной массой за частоколом из лип и каштанов, расположенной среди тянувшихся на много миль округлых возвышенностей и низинных полей. В этой массе глаз постепенно начинал различать башни, коньки крыш, дымовые трубы и окна: стекла верхних окон светились тусклые, кроваво-красные, лова медные отблески от зажженной солнцем гряды облаков на западе.

От середины каждой из сторон этого окаймленного деревьями прямоугольника отделялись аллеи, которые на протяжении мили тянулись на восток, запад и юг, уходя в широкий простор полей и долин. По одной из этих аллей и собирались идти наши пешеходы. Но прежде чем они успели встать и тронуться в путь, мимо, по ту сторону живой изгороди, прошли, оживленно о чем-то споря, двое мужчин.

— Право же, — сказала Элизабет, когда они удалились, — эти люди упомянули фамилию Хенчард... Фамилию нашего родственника.

— Мне тоже так послышалось, — сказала миссис Ньюсон.

— Значит, он все еще здесь.

— Да.

— Побегу-ка я за ними и расспрошу о нем...

— Нет, нет, нет! Ни за что на свете. Кто знает, может быть, он сидит сейчас в работном доме или в колодках.

— Ах, боже мой, почему это вам пришло в голову, мама?

— Я просто так сказала, не подумав. Но мы все-таки должны понемногу наводить справки.

Хорошенько отдохнув, они с наступлением вечера продолжали путь. Из-за густых деревьев в аллее было темно, как в туннеле, хотя по обе стороны ее, на полях, еще брезжил дневной свет. Они шли в ночи, рассекавшей сумерки. Теперь облик города, с обитателями которого им предстояло познакомиться, стал живо интересовать мать Элизабет. Подойдя ближе, они увидели, что частокол из сучковатых деревьев, обрамлявший Кэстербридж, представляет собой аллею на невысоком зеленом склоне или откосе, перед которым виднелся ров. За этим откосом и аллеей тянулась стена, почти сплошная, а за стеной теснились дома горожан.

Обе женщины не знали, конечно, что эта стена и вал некогда служили укреплениями, а теперь являются местом прогулок.

Сквозь опоясывающие город деревья замерцали фонари, создавая впечатление манящего уюта и комфорта и придавая в то же время неосвещенным полям вид странно уединенный и пустынный, несмотря на их близость к жизни. Разница между городом и полями подчеркивалась также звуками, заглушавшими теперь все остальные, — музыкой духового оркестра. Путешественницы свернули на Главную улицу, где стояли деревянные дома с нависающими друг над другом этажами; их окна с мелкими переплетами были затенены раздвижными занавесками, а под карнизами колыхалась на ветру старая паутина. Были здесь и дома кирпичной кладки с деревянными стойками, основной опорой которых служили смежные строения. Крыши были шиферные, заплатанные черепицей, и черепичные, заплатанные шиферными плитами, а кое-где крытые тростником.

О том, что город существовал за счет труда земледельцев и скотоводов, свидетельствовал подбор вещей, выставленных в окнах лавок. У торговца скобяными изделиями — косы, серпы, ножницы для стрижки овец, крючья, заступы, мотыги и кирки; у бондаря — ульи, кадушки для масла, маслобойки, табуретки для доения и подошники, грабли, полевые фляги; у шорника — сбруя для пахоты; у колесного мастера и механика — двухколесные телеги, тачки и мельничное оборудование; у аптекаря — лекарства и мази для лошадей; у перчаточника и кожевника — рукавицы для рабочих, подстригающих живые изгороди, наколенники для кровельщиков, обувь для пахарей, крестьянские патены и деревянные башмаки.

Мать с дочерью подошли к поседевшей от времени церкви с массивной прямоугольной башней, уходившей в темнеющее небо; в нижней ее части, освещенной ближайшими фонарями, время и непогода выклевали всю известку, скреплявшую камни, и в появившихся расщелинах выросли маленькие пучки очитка и травы до верхних зубцов. На этой башне часы пробили восемь, и тотчас раздались настойчивые, резкие удары колокола. В Кэстербридже еще можно было услышать вечерний



звон, и жители пользовались им как сигналом для закрытия лавок. Едва загудели между домов низкие звуки колокола, как уже застучали ставни вдоль Главной улицы. Через несколько минут с торговыми делами в Кэстербридже было на сей день покончено.

Постепенно пробили восемь и все остальные часы: мрачно отзвучали тюремные часы; пробили и другие, с конька крыши богадельни, предварительно изрядно похрипев; часы в высоких лакированных футлярах, выстроившиеся в лавке часовщика, тоже присоединились к бою в ту минуту, когда закрывались перед ними ставни, словно актеры, произносящие свой последний монолог перед падением занавеса; затем, спотыкаясь, сыграли «Гимн сицилийских моряков» куранты,— словом, передовые измерители времени уже значительно продвинулись на пути

к следующему часу, пока представители старой школы еще благополучно заканчивали свое дело.

По площади перед церковью шла женщина, она засучила рукава так высоко, что видна была полоска белья, и подобрала юбку, продернув подол сквозь дыру в кармане. Под мышкой она несла хлеб, от которого отламывала кусочки и раздавала их шедшим с нею женщинам, а они с критическим видом пробовали эти кусочки на вкус. Зрелище это напомнило миссис Хенчард-Ньюсон и ее дочери, что пришла и для них пора поесть, и они осведомились у женщин, где ближайшая булочная.

— В Кэстербридже теперь на хороший хлеб так же трудно рассчитывать, как на манну небесную, — ответила одна из них, указав им дорогу. — Они могут трубить в трубы, бить в барабаны да задавать пиры, — она махнула рукой в сторону улицы, в глубине которой можно было разглядеть духовой оркестр, расположившийся перед освещенным домом, — а нам, хочешь не хочешь, приходится мириться с тем, что в городе не сыщешь пропеченного хлеба. Теперь в Кэстербридже хорошего хлеба меньше, чем хорошего пива.

— А хорошего пива меньше, чем плохого, — сказал мужчина, державший руки в карманах.

— Почему же это у вас нет хорошего хлеба? — спросила миссис Хенчард.

— Да все из-за зерноторговца — все наши мельники и пекари берут товар у него, а он продал им проросшую пшеницу; вот они и говорят, будто не знали, что она проросла, пока тесто не растеклось по печи, как ртуть. Потому и хлеб выходит плоский, как жаба, а внутри — точно пудинг с салом. Была я женой, была я матерью, а такого дрянного хлеба, как нынче в Кэстербридже, никогда не видывала... Но вы, должно быть, нездешняя, коли не знаете, почему целую неделю у бедняков животы раздуты, как пузыри?

— Да, я нездешняя, — робко сказала мать Элизабет.

Не желая привлекать к себе внимание до той поры, пока не узнает, какое будущее ждет ее здесь, она вместе с Элизабет отошла от своей собеседницы. Они купили в указанной булочной несколько сухарей на ужин и инстинктивно направили свои стопы туда, где играла музыка.

ГЛАВА V

Пройдя несколько десятков ярдов, они подошли к тому месту, где городской оркестр сотрясал оконные стекла звуками «Ростбиф Старой Англии».

Дом, перед дверью которого музыканты расставили свои пюпитры, был лучшей гостиницей в Кэстербридже, именуемой «Королевский герб». Широкий, застекленный выступ-фонарь нависал над главным входом, и из открытых окон вырывался

гул голосов, звон стаканов и хлопанье пробок. Штор не опускали; все, что происходило в комнате, можно было увидеть с верхней ступеньки крыльца, где по этой причине и собралась кучка зевак.

— Пожалуй, мы все-таки могли бы порасспросить о нашем родственнике, мистере Хенчарде,— прошептала миссис Ньюсон, которая с приходом в Кэстербридж как-то сразу ослабела и казалась взволнованной.— Здесь, пожалуй, самое для этого подходящее место... надо же узнать, какое положение он занимает в городе, если он тут, а я думаю, что это так. Лучше, если бы ты расспросила, Элизабет-Джейн... Я так устала, что ни на что не способна... но опусти-ка прежде вуаль.

Она присела на нижнюю ступеньку, а Элизабет-Джейн, повинуясь ей, подошла к зевакам.

— Что это здесь сегодня происходит? — спросила девушка, выбрав какого-то старика и немного постояв около него, прежде чем завязать разговор.

— Ну, вы наверняка нездешняя,— сказал старик, не отрывая глаз от окна.— Да ведь сегодня большой званый обед для важных особ, а председательствует мэр. Нас, людей попроче, не позвали, зато оставили окно открытым, чтоб мы могли взглянуть хоть одним глазком. Если подниметесь на верхнюю ступеньку, и вы увидите. Вон там, в конце стола, к вам лицом сидит мистер Хенчард, мэр, а справа и слева от него — члены совета... Эх, многие из них, когда начинали жизнь, значили не больше, чем я теперь!

— Хенчард! — воскликнула удивленная Элизабет-Джейн, отнюдь, впрочем, не постигая значения этого открытия, и поднялась на верхнюю ступеньку крыльца.

Ее мать, хотя и сидела с опущенной головой, уже уловила доносившийся из окна гостиницы голос, который странным образом привлек ее внимание раньше, чем слуха ее коснулись слова старика: «...мистер Хенчард, мэр». Она встала и, стараясь не проявлять чрезмерной торопливости, присоединилась к дочери.

Перед ней была столовая гостиницы, где за столами, уставленными различными яствами, расположились обедающие. Лицом к окну, на председательском месте, сидел мужчина лет сорока, ширококостный, с крупными чертами и властным голосом; он производил впечатление человека скорее грубого, чем ладно скроенного. У него была смуглая кожа с ярким румянцем, сверкающие черные глаза и темные, густые брови и волосы. Когда ему случалось громко засмеяться в ответ на замечание кого-либо из гостей, его большой рот раскрывался так широко, что при свете люстры видны были, по крайней мере, десятка два из тридцати двух здоровых белых зубов, которыми он, очевидно, все еще мог похвастать.

На людей посторонних этот смех не действовал ободряюще, и, пожалуй, хорошо было, что раздавался он редко. На нем

можно было построить не одну теорию. Он позволял догадываться о нраве, чуждом сострадания к слабости, но готовом безоговорочно смириться перед величием и силой. Если этот смеющийся человек и был добр, то, должно быть, только порывами,— ему было свойственно скорее случайное, почти угнетающее великодушие, чем кроткое и постоянное милосердие.

Супруг Сьюзен Хенчард — во всяком случае, в глазах закона — сидел перед ними, но это был уже зрелый мужчина с сформировавшимся характером, отчетливо выраженным в чертах его лица, сдержанный, отмеченный печатью раздумий,— короче говоря, постаревший. Элизабет, не обремененная, в отличие от матери, никакими воспоминаниями, смотрела на него лишь с живым любопытством и интересом, вызванными тем неожиданным открытием, что их давно разыскиваемый родственник занимает столь высокое общественное положение. На нем был старомодный фрак, в низком вырезе которого на широкой груди виднелась гофрированная манишка, запонки с драгоценными камнями и тяжелая золотая цепь. Два бокала и стакан стояли у его прибора, но, к удивлению его жены, бокалы были пусты, а стакан до половины налит водой.

Когда она в последний раз его видела, он сидел в плюсовой куртке, бумазейном жилете и таких же брюках и рыжевато-коричневых кожаных гамашах перед миской горячей пшеничной каши. Время, кудесник, поработало здесь немало. Всмотриваясь в мужа и вспоминая минувшие дни, она пришла в неопишное смятение и, вся съездившись, прижалась к косяку глубокой дверной ниши, к которой вели ступени и где царил полумрак, не позволявший различить выражение ее лица. Она забыла о дочери, пока прикосновение Элизабет-Джейн не заставило ее очнуться.

— Вы его видели, мама? — прошептала девушка.

— Да, да! — быстро ответила она. — Я его видела, и этого мне достаточно! Теперь я хочу только уйти — исчезнуть — умереть.

— Но почему же... почему? — Девушка придвинулась ближе и прошептала на ухо матери: — Вы думаете, что он вряд ли придет нам на помощь? А мне показалось, что он человек великодушный. А какой он джентльмен, правда? И как сверкают его бриллиантовые запонки! Странно все-таки: вы говорили, что, может, он сидит в колодках, или в работном доме, или умер! А вышло совсем наоборот! Неужели вы его боитесь? Я ничуть не боюсь. Я найду к нему, только... он, конечно, может не признать такой дальней родни.

— Не знаю... просто ума не приложу, на что решиться. Мне что-то не по себе...

— Не надо унывать, мама, мы ведь уже у цели! Отдохните здесь немножко... я осмотрюсь и постараюсь побольше разузнать о нем.

— Вряд ли у меня хватит сил встретиться когда-нибудь с мистером Хенчардом. Не таким я ждала его найти... Слишком он важный для меня. Я не хочу его больше видеть.

— Но подождите немного... подумайте...

Никогда в жизни Элизабет-Джейн не переживала еще такого острого интереса, как сейчас,— отчасти это объяснялось тем восторженным состоянием, какое охватило ее, когда она узнала о своем родстве со знатной особой. И она снова принялась смотреть. Гости помоложе оживленно беседовали и ели; люди постарше выбирали лакомые кусочки и, обнюхивая их, похрюкивали над своими тарелками, точно свиньи в поисках желудей. По-видимому, три напитка почитались компанией священными — портвейн, херес и ром; вряд ли кто предпочитал что-либо выходящее за пределы этой троицы.

На столе теперь длинной чередой выстроились старинные кубки с выгравированными на них фигурами — каждый снабжен был ложкой, и их мгновенно наполнили таким горячим грогом, что следовало опасаться за предметы, подвергавшиеся действию его паров. Но Элизабет-Джейн заметила, что, хотя все кубки наполнялись с превеликим усердием, никто не наполнил кубок мэра, который продолжал потягивать воду из стакана, загороженного хрустальными бокалами, предназначенными для вина и водки.

— Они не наливают вина мистеру Хенчарду,— осмелилась она сказать своему соседу, старику.

— Ну конечно! Разве вы не знаете, что он славится своей трезвостью, и вполне заслуженно? Не притрагивается к самым соблазнительным напиткам... капли в рот не берет! О, сил у него на это хватает! Я слышал, что он поклялся на Евангелии и с той поры не отступал от своего обета. Вот никто к нему и не пристаёт, зная, что это не полагается... Обет, данный на Евангелии,— дело серьезное.

Услыхав эти речи, другой пожилой человек вмешался в разговор и спросил:

— А долго ли ему еще мучиться, Соломон Лонгуэйс?

— Говорят, еще года два. Я не знаю, почему он назначил себе такой срок, он никогда никому не рассказывал. Но, говорят, остается ровнехонько два года по календарю. Могучая должна быть воля, чтоб выдержать так долго!

— Верно... Но надежда — великая сила. Когда знаешь, что через двадцать четыре месяца твой зарок кончится и можно будет вознаграждать себя за все страдания и выпить сколько душе угодно... что и говорить, это поддерживает человека.

— Правильно, Кристофер Кони, правильно. А он и поневоле должен так думать, одинокий-то вдовец,— сказал Лонгуэйс.

— А когда у него умерла жена? — спросила Элизабет.

— Я ее не знал. Это было до того, как он явился в Кюстербридж,— ответил Соломон Лонгуэйс тоном решительным и

бесповоротным, как будто то, что он не знал миссис Хенчард, было достаточным основанием, чтобы лишить эту особу всякого интереса.— Но мне известно, что он член Общества трезвости и, если кто-нибудь из его людей хватит хоть чуточку через край, он напускается на провинившегося с таким же гневом, как господь бог на согрешивших евреев.

— А у него, значит, много работников? — спросила Элизабет-Джейн.

— Много ли? Милая моя девушка, да ведь в городском совете он — самый главный и вдобавок первый человек в округе. Ни одной крупной сделки не заключалось еще на пшеницу, ячмень, овес, сено и прочее, чтобы Хенчард не приложил к ней руку. Вздумалось ему заниматься и другими делами, но вот тут-то он и сделал промашку. Был он из самых низов, когда пришел сюда, а теперь — столп города! Правда, в этом году он немножко споткнулся из-за этой дрянной пшеницы, которую поставляли по его контрактам. Вот уже шестьдесят девять лет смотрю я, как солнце всходит над Дарновер-Мур, и хотя мистер Хенчард никогда не ругал меня зря с тех пор, как я на него работаю, — он ведь видит, какой я маленький, ничтожный человек, — а все-таки должен сказать, что никогда в жизни я еще не едал такого негодного хлеба, какой выпекают последнее время из пшеницы Хенчарда. Проросла она так, что это, пожалуй, уже и не пшеница, а чистый солод, ну и нижняя корка на хлебе — толщиной с подошву.

В эту минуту оркестр заиграл новую мелодию, а когда кончил ее, обед уже подошел к своему завершению и настало время для произнесения речей. Вечер был тихий, окна по-прежнему открыты, и эти речи были отчетливо слышны на улице. Голос Хенчарда покрыл все остальные: он рассказал про одну свою сделку с сеном, когда он перехитрил одного мошенника, который во что бы то ни стало хотел перехитрить его.

— Ха-ха-ха! — отозвались его слушатели по окончании рассказа и смеялись до тех пор, пока не раздался чей-то голос: — Все это прекрасно, ну, а как насчет плохого хлеба?

Голос донесся с нижнего конца стола, где сидела группа более мелких торговцев; хотя они и попали в число приглашенных, но по своему общественному положению были, видимо, ниже остальных, держались весьма независимых взглядов, и речи их звучали не совсем в лад с теми, что велись во главе стола, — так иной раз в западном крыле церкви упорно поют не в тон и не в такт с ведущими голосами в алтаре.

Это замечание о плохом хлебе доставило полное удовлетворение зевакам на улице, из которых многие находились в таком настроении, когда человек испытывает удовольствие от неудачи ближнего; вот почему они довольно развязно подхватили:

— Эй! Что скажете о плохом хлебе, господин мэр?

И, не ощущая сдерживающего влияния тех уз, какие сковывали участников пиршества, они добавили:

— Вам бы следовало рассказать об этом хлебе, сэр!

Это уже не могло быть оставлено мэром без внимания.

— Что ж, я признаю, что пшеница оказалась плохой, — сказал он, — но, закупив ее, я был одурачен не меньше, чем пекари, купившие ее у меня.

— А также и бедный люд, которому, хочешь не хочешь, приходится ее есть, — сказал задиристый человек за окном.

Лицо Хенчарда потемнело. Под легким налетом благодушия скрывался буйный нрав, тот самый нрав, который двадцать лет назад заставил его сгоряча продать свою жену.

— Нельзя не делать скидку на случайности, неизбежные в большом деле, — сказал он. — Необходимо помнить, что как раз во время сбора урожая погода стояла такая скверная, какой мы много лет не видывали. Однако я принял меры, чтобы помочь беде. Мое дело слишком разрослось, и я не могу справиться один, без помощников, а потому я дал объявление, что ищу опытного человека, который взял бы на себя хлебные дела. Когда я такого найду, вы сами увидите, что подобные ошибки больше не повторятся и дело наладится.

— А что вы намерены делать, чтобы вознаградить нас за понесенный урон? — осведомился вопрошавший, очевидно пекарь или мельник. — Замените хорошим зерном проросшее, которое все еще у нас в руках?

При этих словах лицо Хенчарда еще более помрачнело, и он отхлебнул воды из стакана, словно желая успокоиться или выиграть время. И, вместо того чтобы снизить до прямого ответа, он холодно сказал:

— Если кто-нибудь скажет мне, как превратить проросшую пшеницу в хорошую, я с удовольствием приму ее обратно. Но это невозможно.

Больше Хенчард ничего не намерен был говорить. Произнеся эти слова, он сел.

ГЛАВА VI

За последние минуты к группе у окна присоединились новые лица — в том числе почтенные лавочники со своими подручными, которые, закрыв на ночь ставни, вышли подышать воздухом; были и люди рангом пониже. Среди вновь пришедших выделялся незнакомец — молодой человек чрезвычайно привлекательной внешности; он держал в руке дорожную сумку из цветистой ковровой ткани, из какой обычно делались такие вещи в те времена.

Был он белокур, румян, худощав, с блестящими глазами. Если бы его появление не совпало с разговором о зерне и хлебе, быть может, он прошел бы, не задерживаясь, или остановился бы на минуту, чтобы только бросить взгляд в окно, а в таком случае и не произошло бы всего того, о чем пойдет

речь. Но предмет разговора словно приковал его к месту, и он шепотом задал несколько вопросов стоящим рядом и стал прислушиваться.

Услышав заключительные слова Хенчарда: «Это невозможно», — он не удержался от улыбки, быстро достал записную книжку и при свете, падавшем из окна, набросал несколько слов. Он вырвал листок, сложил его, надписал имя адресата и хотел было бросить в раскрытое окно на обеденный стол, но, подумав, стал пробиваться сквозь толпу зевак к двери гостиницы, где стоял, лениво прислонившись к косяку, один из лакеев, ранее прислуживавших за столом.

— Сейчас же передайте это мэру, — сказал он, протягивая наспех нацарапанную записку.

Элизабет-Джейн видела это и слышала его слова, которые привлекли ее внимание не только смыслом своим, но и акцентом, чуждым в этих краях. Акцент был необычный, северный.

Лакей взял записку, а молодой незнакомец продолжал:

— И не можете ли вы указать мне какую-нибудь приличную гостиницу, которая была бы подешевле этой?

Лакей равнодушно посмотрел вдоль улицы.

— Говорят, «Три моряка» вот тут неподалеку — хорошее место, — вяло отозвался он. — Но я сам никогда там не проживал.

Шотландец — очевидно, это был шотландец — поблагодарил его и побрел по направлению к упомянутым «Трем морякам», явно более озабоченный вопросом о гостинице, чем судьбой своей записки, после того как рассеялось мимолетное побуждение написать ее. Пока он медленно шагал по улице, лакей отошел от двери, и Элизабет-Джейн не без любопытства увидела, как он принес записку в столовую и подал мэру.

Хенчард небрежно взглянул на нее, развернул одной рукой и пробежал глазами. Впечатление, которое она произвела, было совершенно неожиданным. Раздраженное, хмурое выражение, не покидавшее его лица с той минуты, как был затронут вопрос о его хлебных сделках, изменилось, уступив место напряженному вниманию. Он медленно прочел записку и погрузился в думы, не мрачные, но напряженно-сосредоточенные, как человек, захваченный какою-то идеей.

К тому времени тосты и речи уступили место песням; о пшенице было окончательно забыто. Мужчины, жестикулируя, рассказывали друг другу веселые истории, которые вызывали громкий смех, доходивший до того, что лица сводила судорога. У иных был такой вид, точно они не знали, как и зачем здесь очутились и как теперь доберутся домой, и они продолжали сидеть с дурацкими улыбками. Широкоплечие крепыши стали походить на горбунов; люди, державшиеся с достоинством, утратили свою осанку, как-то странно согнулись и скособочились; головы тех, кто пообедал с чрезмерной основательностью, почему-то ушли в плечи, а уголки ртов

и глаз подтянулись кверху. Один лишь Хенчард избежал этих превращений: он сидел все так же прямо, в немом раздумье.

Пробило девять. Элизабет-Джейн повернулась к своей спутнице.

— Уже вечерет, мама,— сказала она.— Что вы думаете делать?

К ее удивлению, мать стала какой-то нерешительной.

— Нужно найти пристанище, где бы переночевать,— пробормотала она.— Я видела... мистера Хенчарда. Вот все, чего я хотела.

— На сегодня этого, во всяком случае, достаточно,— успокоительно сказала Элизабет-Джейн.— Мы можем и завтра подумать, как нам поступить. А сейчас — не правда ли? — надо решать, где найти приют.

Так как мать не отвечала, Элизабет-Джейн пришли на память слова лакея, что «Три моряка» — гостиница с умеренными ценами. Рекомендация, пригодная для одного, могла оказаться пригодной и для другого.

— Пойдемте туда, куда пошел этот молодой человек,— сказала она.— Вид у него приличный. Что вы скажете?

Мать согласилась, и они пошли вниз по улице.

Между тем задумчивость, вызванная, как мы видели, запиской, продолжала владеть мэром; наконец, шепнув соседу, чтобы тот пересел на его стул, он воспользовался случаем покинуть председательское место. Произошло это тотчас после ухода его жены и Элизабет.

За дверью парадного зала он увидел лакея и, поманив его, спросил, кто принес записку, которую передали четверть часа тому назад.

— Молодой человек, сэр... какой-то путешественник. Похож на шотландца.

— Он не сказал, как она к нему попала?

— Он сам написал ее, сэр, стоя тут, под окном.

— О!.. Сам написал... Этот молодой человек здесь, в гостинице?

— Нет, сэр. Кажется, он пошел к «Трем морякам».

Мэр, заложив руки за фалды фрака, зашагал назад и вперед по вестибюлю гостиницы, словно наслаждаясь прохладой после жаркой комнаты, откуда вышел. Но не могло быть сомнений в том, что на самом деле им все еще владеет какая-то идея... Наконец он подошел к двери столовой, прислушался и убедился, что песни, тосты и разговоры продолжаются с успехом и в его отсутствие. Члены корпорации, горожане, торговцы, крупные и мелкие, до такой степени нагрузились утешительными напитками, что и думать забыли не только о мэре, но и обо всех тех бесконечных политических, религиозных и социальных различиях, о которых почитали необходимым помышлять в дневную пору и которые разделяли их, как желез-

ная решетка. Увидев это, мэр взял цилиндр, надел с помощью лакея легкое парусиновое пальто, вышел и остановился под портиком.

Теперь на улице было очень мало народу, и взгляд его, по-винуясь какой-то притягательной силе, обратился к нижнему концу улицы и остановился на доме, находившемся в ста ярдах от него. Это был дом, куда отправился написавший записку, — «Три моряка»; два высоких конька крыши, окно-фонарь и свет в проходе под аркой видны были с того места, где стоял мэр. Сначала он смотрел туда, не отрываясь, потом направился в ту сторону.

Это старинное здание, где находили пристанище и люди и животные, теперь, к сожалению, снесенное, было построено из мягкого песчаника; оконные проемы, разделенные надвое столбиками из того же материала, были явно не перпендикулярны к фундаменту здания. Окно-фонарь, весьма популярное среди посетителей гостиницы, было закрыто ставнями; в каждом виднелось отверстие в форме сердца, несколько более суженного в области правого и левого желудочка, чем наблюдается в природе. За этими освещенными отверстиями, на расстоянии трех дюймов от них, находились в этот час, как было известно всякому прохожему, румяные физиономии Билли Уилса, стекольщика, сапожника Смарта, торговца всевозможными товарами Базфорда и других более второстепенных личностей, рангом пониже, чем те, что обедали в «Королевском гербе»; у каждого была глиняная трубка в ярд длиною.

Над входом возвышалась четырехцентровая арка в стиле Тюдоров, а над аркой — вывеска, на которую падал сейчас свет фонаря, висевшего напротив. Моряки, изображенные на ней художником только в двух измерениях, — иными словами, плоскими, как тени, — стояли в ряд, словно парализованные. Находясь на солнечной стороне улицы, три товарища порядком пострадали: покоробились, потрескались, выгорели, съежились и превратились в едва видимую пленку на вывеске, состоявшей из волокон, сучков и гвоздей. Такое положение вещей было вызвано не столько небрежностью хозяина гостиницы Стэнниджа, сколько невозможностью найти в Кэстербридже живописца, который взялся бы подрастворивать эти ставшие традиционными фигуры.

К гостинице вел длинный, узкий, тускло освещенный проход, где сталкивались лошади, направлявшиеся к своим стойлам за домом, и завсегдаги, приходившие и уходившие; причем последние немало рисковали тем, что животные отдавят им ноги. Приличные конюшни и добрый эль «Моряков» — хотя до обоих пелегко было добраться, ибо к ним вел только этот узкий проход, — пользовались тем не менее постоянным вниманием мудрых старых голов, которые знали, что хорошо, а что плохо в Кэстербридже.

Хенчард постоял несколько секунд перед гостиницей; за-

тем, изменив по возможности парадность своего костюма, для чего застегнул доверху парусиновое пальто, чтобы скрыть манишку, и придав себе обычный повседневный вид, вошел в дверь гостиницы.

ГЛАВА VII

Элизабет-Джейн и ее мать прибыли сюда минут на двадцать раньше него. Перед домом они остановились, размышляя о том, не окажется ли даже это скромное заведение, хотя и рекомендованное как недорогое, слишком обременительным по своим ценам для их тощего кошелька. Но в конце концов они собрались с духом, вошли и предстали перед хозяином гостиницы Стэнниджем, молчаливым человеком, который наливал и разносил по комнате пенящиеся кружки, наравне со своими служанками. Однако, в отличие от них, его движениям была свойственна величаяя медлительность, как и подобает тому, кто сам, по доброй воле, занимается не обязательным для него делом. Да он бы им и не занимался, если бы не приказ хозяйки гостиницы, особы, неподвижно сидевшей за стойкой, но зорким глазом и настроженным ухом улавливавшей и подмечавшей через открытую дверь неотложные нужды клиентов, коих не замечал ее супруг, хотя и находившийся поблизости. Элизабет и ее мать были равнодушно приняты в качестве постояльцев и отведены в маленькую спальню под одним из коньков крыши, где они и расположились.

По-видимому, в гостинице считалось необходимым вознаграждать постояльцев за старомодное неудобство, кривизну и мрачность коридоров, полов и окон обилием чистого постельного и столового белья, видневшегося повсюду, что совершенно потрясло наших путешественниц.

— Слишком здесь хорошо, нам это не по карману! — сказала старшая, с опаской осматривая комнату, как только они остались одни.

— Я тоже этого опасаясь, — сказала Элизабет. — Но мы должны соблюдать приличия.

— Мы должны расплатиться, а потом уже думать о приличиях, — возразила ее мать. — Боюсь, что мистер Хенчард занимает слишком высокое положение, чтобы мы могли павязывать ему наше знакомство; значит, надо полагаться только на свой кошелек.

— Я знаю, что я сделаю, — сказала Элизабет-Джейн, выждав некоторое время, пока там, внизу, об их нуждах как будто вовсе забыли, занявшись неотложными делами. И, выйдя из комнаты, она спустилась по лестнице и прошла в бар.

Среди прочих хороших качеств, характерных для этой прямодушной девушки, было одно, более ярко выраженное, чем все остальные, — это готовность пожертвовать своими удобствами и достоинством ради общего блага.

— Сегодня вечером у вас как будто много работы, а так как моя мать небогата, то не могу ли я помочь вам и тем оплатить часть расходов? — спросила она хозяйку.

Эта последняя, неподвижно сидевшая в своем кресле, держась за подлокотники, словно ее влили туда в расплавленном состоянии и теперь она припаялась к креслу так прочно, что ее нельзя было от него оторвать, окинула девушку с ног до головы испытующим взглядом. Подобного рода соглашения были явлением довольно частым в деревнях, но, хотя Кэстербридж и был допотопным городом, об этом обычае здесь почти забыли. Однако хозяйка дома была женщина покладистая по отношению к посторонним и возражать не стала. И вот Элизабет — молчаливая хозяйка кивками и жестами указывала, где найти необходимое, — забегала вверх и вниз по лестнице, собирая ужин для себя и своей матери.

Тут кто-то шаверху дернул за шпур звонка, и деревянная перегородка, делившая дом пополам, содргнулась до самого основания. Звук колокольчика внизу был куда слабее, чем дребезжание проволоки и блоков, вызвавших его.

— Это шотландский джентльмен, — сказала хозяйка с видом всезнающей особы и перевела взор на Элизабет. — Не взглянете ли вы, приготовлен ли ему поднос с ужином? Если все готово, отнесите ему наверх. Комната над этой, с фасада.

Элизабет-Джейн, хотя и проголодавшись, отложила на время заботу о себе и, обратившись к кухарке, получила поднос с ужином, который и понесла наверх в указанную комнату. Помещение у «Трех моряков» было отнюдь не просторное, хотя под дом была отведена порядочная площадь. Перекрещивающиеся балки и стропила, перегородки, коридоры, лестницы, никому не нужные печи, скамьи, кровати с балдахинами занимали столько места, что почти ничего не оставалось для людей. Мало того, это происходило в те времена, когда мелкие предприниматели еще не отказались от домашнего пивоварения, и в доме, где хозяин по-прежнему свято придерживался двенадцатибашелевой крепости своего эля, а качество этого напитка являлось главной приманкой заведения, все должно было уступать место утвари и операциям, связанным с упомянутым пивоварением. Вот почему, как выяснила Элизабет, шотландца поместили в комнате, смежной с той комнатушкой, которая была отведена ей самой и ее матери.

Войдя, она обнаружила, что там никого нет, кроме молодого человека, которого она видела под окнами гостиницы «Королевский герб». Сейчас он лениво читал местную газету и вряд ли заметил, как она вошла, поэтому она спокойно оглядела его, не преминув подметить, как блестит его лоб там, где на него падает свет, как хорошо подстрижены у него волосы и какой бархатистый пушок на затылке, как изящно изогнута вписанная в овал лица линия щеки и как четко очерчены веки и ресницы, скрывающие его опущенные глаза.

Она поставила поднос, подала ужин и вышла, не сказав ни слова. Когда Элизабет-Джейн спустилась вниз, хозяйка, которая была столь же добра, сколь толста и ленлива, заметила, что девушка выглядит утомленной, а та, горя желанием быть полезной, и думать позабыла о своих нуждах. Тогда миссис Стэнпидж заботливо настояла, чтобы они с матерью сами поужинали, если вообще намереваются это сделать.

Элизабет пошла за скромным ужином, как ходила за ним для шотландца, и, поднявшись в комнатушку, где она оставила мать, бесшумно открыла дверь, толкнув ее краем подноса. К ее изумлению, мать, которая, когда она уходила, прилегла на кровать, сейчас сидела выпрямившись, приоткрыв рот. При появлении Элизабет она предупреждающе подняла палец.

Смысл этого жеста вскоре обнаружился. Комната, отведенная двум жещинам, некогда служила туалетной при спальне шотландца — на это указывала дверь, ныне заколоченная и заклеенная обоями. И, как это частенько бывает даже в гостиницах с большими претензиями, чем «Три моряка», каждое слово, произнесенное в одной комнате, было отчетливо слышно в другой. И сейчас из соседней комнаты слышались голоса.

Повинуясь немому приказу, Элизабет-Джейн поставила поднос; мать шепнула, когда она подошла ближе:

— Это оп.

— Кто? — спросила девушка.

— Мэр.

Любой человек, кроме Элизабет-Джейн, совершенно не подозревавшей об истине, мог бы предположить, что дрожь в голосе Сьюзен Хенчард вызвана какою-то более тесной связью с мэром, чем дальнейшее родство.

В соседней комнате и в самом деле беседовали двое — молодой шотландец и Хенчард, который, войдя в гостиницу, когда Элизабет-Джейн находилась на кухне, был почтительно препровожден вверх самим хозяином Стэнпиджем. Девушка поставила тарелки со скромным ужином и знаком предложила матери присоединиться к ней, что миссис Хенчард и исполнила машинально, так как ее внимание было приковано к разговору за дверью.

— Я заглянул сюда по пути домой, чтобы спросить вас кой о чем, что возбудило мое любопытство, — с небрежным добродушием сказал мэр. — Но, я вижу, вы уже ужинаете.

— Да, но я сейчас кончаю! Вам незачем уходить, сэр. Присаживайтесь. Я уже почти кончил, да и вообще это не имеет никакого значения.

По-видимому, Хенчард сел на предложенный стул и через секунду заговорил снова:

— Ну-с, прежде всего мне хотелось бы спросить, вы ли это написали?

Послышался шелест бумаги.

— Да, я, — ответил шотландец.

— В таком случае,— сказал Хенчард,— видимо, судьба свела нас до срока, так как наша встреча была пазначена на утро, не так ли? Моя фамилия — Хенчард. Не вы ли ответили на объявление, которое я поместил в газете пасчет управляющего для торговца зерном? Ведь вы явились сюда, чтобы переговорить со мной по этому вопросу?

— Нет,— с некоторым удивлением ответил шотландец.

— Ну конечно же, вы тот человек,— настойчиво продолжал Хенчард,— который условился приехать повидаться со мной! Джошуа, Джошуа, Джип... Джон... как его там зовут?

— Вы ошибаетесь,— сказал молодой человек.— Меня зовут Дональд Фарфрэ. Правда, я занимаюсь хлебным делом, но ни на какие объявления я не отвечал и ни с кем не условливался встретиться. Я направляюсь в Бристоль, а оттуда — на другой край света, попытать счастья на необъятных полях Запада, где выращивают пшеницу. Есть у меня кое-какие открытия, полезные для этого дела, но здесь мне негде развернуться.

— В Америку... так, так...— сказал Хенчард таким разочарованным тоном, что это сразу почувствовалось, как сырой воздух.— А я-то готов был поклясться, что вы — тот самый человек!

Шотландец снова пробормотал «нет»; оба помолчали, затем Хенчард сказал:

— Так вот, стало быть, я искренне и глубоко признателен вам за те несколько слов, которые вы мне написали.

— Пустяки, сэр.

— Да, но сейчас это имеет для меня огромное значение. Шум, поднявшийся из-за моей проросшей пшеницы, меня доконал, хотя, клянусь богом, я не знал, что она плохая, пока люди не начали жаловаться. У меня на руках несколько сот четвертей ее. И если ваш оздоровительный процесс может сделать ее доброкачественной... ну, вы понимаете, из какой беды вы бы меня выручили! Я сразу почувствовал, что в ваших словах может таиться правда. Но мне бы хотелось иметь доказательства, а вы, копецно, не пожелаете сообщить мне все подробности процесса, пока я вам хорошо не заплачу.

Молодой человек на минутку призадумался.

— Отчего же,— сказал он.— Я уезжаю в другую страну, а там я не собираюсь заниматься оздоровлением проросшего зерна. Хорошо, я объясню вам все: здесь вы извлечете из этого больше пользы, чем я в чужой стране. Минутку внимания, сэр. Я могу вам показать все на образцах, они у меня в дорожной сумке.

Послышалось щелканье замка, затем какое-то шуршание и шелест, после чего речь зашла о том, сколько нужно унций на бушель, как надо сушить, охлаждать и тому подобное.

— Этих нескольких зерен вполне достаточно, чтобы показать вам весь процесс,— раздался голос молодого человека, и после паузы, в течение которой оба, по-видимому, внимательно

следили за какой-то операцией, он воскликнул: — Ну вот, попробуйте теперь!

— Превосходно! Вполне доброкачественное зерно... или скажем, почти доброкачественное...

— Словом, из такого зерна можно получить приличную муку второго сорта,— сказал шотладец.— Большого добиться невозможно: природа этого не допустит, но мы и так далеко шагнули вперед. Вот и весь процесс, сэр. Я не очень дорожу своим секретом, потому что едва ли он пригодится мне в тех странах, где погода более устойчива, чем у нас... И я буду очень рад, если вы извлечете из него пользу.

— Послушайте...— проговорил Хенчард.— Как вам известно, я торгую зерном и сеном. Но поначалу я был всего-навсего вязальщиком сена, и в сене я разбираюсь лучше всего, хотя теперь мне больше приходится иметь дело с зерном. Если вы поступите ко мне, я отдам в ваше полное ведение торговлю зерном и, помимо жалованья, буду еще платить вам комиссионные.

— Вы очень, очень щедры, но... нет, не могу! — не без огорчения возразил молодой человек.

— Что ж, быть по-вашему! — решил Хенчард.— А теперь поговорим о другом. За добро платят добром. Бросьте вы этот жалкий ужин! Пойдемте ко мне, я могу вам предложить кое-что повкуснее холодной ветчины и эля.

Дональд Фарфрэ поблагодарил, сказал, что, к сожалению, должен отказаться... что хочет уехать завтра рано утром.

— Ладно,— быстро сказал Хенчард,— как вам угодно. Но выслушайте меня, молодой человек: если ваш совет даст такие же хорошие результаты не только на образцах, но и на всем зерне, значит, вы спасли мою репутацию, а ведь вы мне совсем чужой. Сколько же мне заплатить вам за эти сведения?

— Ничего, ровно ничего. Может быть, вам не часто придется ими пользоваться, а я не дорожу ими. Я подумал, что не худо было бы сообщить их вам, раз вы попали в затруднительное положение и на вас так наседают.

Хенчард помолчал.

— Не скоро я об этом забуду,— сказал он.— И надо же, совсем чужой человек!.. Мне все не верится, что вы не тот, кого я нанял! Он, думал я, знает, кто я такой, и хочет себя зарекомендовать. А оказывается, вы совсем не тот, кто ответил на мое объявление,— совершенно незнакомый человек.

— Да, да, конечно,— подтвердил молодой шотладец.

Хенчард снова помолчал, затем раздумчиво продолжал:

— Ваш лоб, Фарфрэ, напоминает мне лоб моего бедного брата — его нет теперь в живых,— да и нос у вас такой же. Росту вы, наверно, пять футов девять дюймов? А я — шесть футов полтора. Но какой от этого прок? Правда, в моем деле нужны сила и энергия. Но главное — здравомыслие и знания. К сожалению, Фарфрэ, в науках я слаб, слаб в финансовых расчетах — я из тех, кто считает по пальцам. А вы — вы совсем на меня не

похожи, я это вижу. Вот уже два года, как я ищу такого человека, но выходит, что вы не для меня. Так вот, прежде чем уйти, я задам вам такой вопрос: не все ли вам равно, даже если вы и не тот, за кого я вас принял? Может, все-таки останетесь? Так ли уж твердо вы решили насчет этой Америки? Скажу напрямик: я чувствую, что для меня вы были бы незаменимы, — может, этого и не стоило бы говорить, — и, если вы останетесь и будете моим управляющим, вы об этом не пожалеете.

— Мое решение принято, — возразил молодой человек. — У меня свои планы, а стало быть, незачем больше толковать об этом. Но не угодно ли вам выпить со мной, сэр? Этот кэстербриджский эль превосходно согревает желудок.

— Нет. Хотел бы, да не могу, — серьезно сказал Хенчард, отодвигая стул; по этому звуку подслушивающие поняли, что он собирается уходить. — В молодости я не прочь был выпить, слишком даже не прочь, и меня это едва не погубило! Из-за этого я совершил одно дело, которого буду стыдиться до самой смерти. Так мне тогда было стыдно, что я дал себе клятву не пить ничего крепче чая столько лет, сколько было мне в тот день. Я не нарушил обета, Фарфрэ, и, хотя иной раз в жаркую пору все плуто у меня пересыхает и я мог бы выпить до дна целую четверть, я вспоминаю о своем обете и не притрагиваюсь к спиртному.

— Не буду настаивать, сэр, не буду настаивать. Я уважаю ваш обет.

— Да, конечно, управляющего я где-нибудь раздобуду, — с чувством сказал Хенчард, — но не скоро найду я такого, который подходил бы мне так, как вы!

По-видимому, молодой человек был глубоко тронут мнением Хенчарда о его достоинствах. Он молчал, пока они не подошли к двери.

— Жаль, что я не могу остаться, очень жаль, — сказал он. — Но... нет, нельзя! Нельзя! Я хочу видеть свет!

ГЛАВА VIII

Так они расстались, меж тем как Элизабет-Джейн и ее мать ужинали, погруженные каждая в свои мысли, причем лицо матери странно просветлело, когда Хенчард признался, что стыдится одного своего поступка. Вскоре перегородка задрожала сверху допизу, так как Дональд Фарфрэ снова позвонил — очевидно, затем, чтобы убрали после ужина посуду; вероятно, его манили и оживленная беседа, и пение собравшейся внизу компании, ибо, шагая взад и вперед по комнате, он сам что-то напевал. Но вот он вышел на площадку и стал спускаться по лестнице.

Элизабет-Джейн собрала посуду в его комнате и в той, где ужинала с матерью, и с подносом в руках спустилась в общий



зал, где, как всегда в этот час, трактирная суета была в самом разгаре. Девушке не хотелось прислуживать здесь; она только молча наблюдала, и все вокруг казалось ей таким новым и необычным после уединенной жизни в коттедже на взморье. В общем зале, очень просторном, вдоль стен было расставлено две-три дюжины стульев с массивными спинками, и на каждом восседал веселый завсегдатай; пол был посыпан песком; у двери стоял черный ларь, который немного загораживал вход, поэтому Элизабет могла видеть все, что происходит, оставаясь почти незамеченной.

Молодой шотландец только что присоединился к посетителям. Крупные торговцы, пользующиеся уважением, занимали привилегированные места в окне-фонаре и поблизости от него; менее важные гости расположились в неосвещенном конце комнаты на простых скамьях у стены и пили не из стаканов, а из чашек. Среди сидевших тут девушка узнала несколько человек

из числа тех, что стояли на улице под окнами «Королевского герба».

Позади них в стене было пробито оконце с вделанным в раму круглым вентилятором, который то внезапно принимался вертеться с громким дребезжанием, то внезапно останавливался, а потом столь же внезапно снова начинал вертеться.

Так Элизабет-Джейн наблюдала украдкой за всем, что происходило вокруг, стараясь не привлекать к себе внимания; но вот кто-то, скрытый от нее ларем, запел песню с красивой мелодией, выговаривая слова с акцентом, исполненным своеобразного очарования. Пение началось еще до того, как девушка спустилась в зал, а теперь шотландец, очень быстро успевший здесь освоиться, согласился по просьбе нескольких крупных торговцев доставить удовольствие всей компании и спеть песню.

Элизабет-Джейн любила музыку, она не утерпела и осталась послушать, и чем дольше она слушала, тем больше восхищалась. Никогда в жизни не слышала она такого пения, да и большинству присутствующих, очевидно, не часто доводилось слышать что-либо подобное — они уделяли певцу гораздо больше внимания, чем обычно. Они не перешептывались, не пили, не окунали своих чубуков в эль, чтобы их увлажнить, не придвигали кружек к соседям. Да и сам певец так расчувствовался, что Элизабет показалось, будто на глаза у него навернулись слезы, когда он запел следующую строфу:

Домой бы мне, домой, вернуться бы домой,
Домой, домой, домой, в милый край родной!
Там красотка вытрет слезы, будет радостью сиять,
Когда с друзьями через Аннан переправлюсь я опять.
Расцветут в лугах цветы, лес покроется листвою.
Проводят птички песнями меня в мой край родной.

Раздался взрыв рукоплесканий, затем наступила глубокая тишина, еще более выразительная, чем рукоплескания. Тишина была такая, что, когда послышался треск, — оттого что Соломон Лонгуэйс, один из тех, кто сидел в неосвещенном конце комнаты, обломил слишком длинный для него чубук, — это было воспринято всеми как грубый и неуважительный поступок. Потом судорожно завертелся вентилятор в окне, и глубокое впечатление от песни Дональда на время сгладилось.

— Неплохо... очень даже неплохо! — пробормотал Кристофер Кони, тоже сидевший здесь. И, вынув трубку изо рта, но не отводя ее, сказал громко: — Ну-ка, валяйте следующий куплет, молодой джентльмен, просим вас!

— Вот-вот... Спойте-ка еще разок — не знаю, как вас звать, — проговорил стекольщик, толстый человек, с головой как котел, в белом фартуке, подоткнутом под пояс. — В наших краях не умеют так воспарять душой, — и, повернувшись к соседям, спросил вполголоса: — Кто этот молодец?.. Шотландец, что ли?

— Да, прямо с шотландских гор, надо полагать,— ответил Кони.

Фарфрэ повторил последний куплет. Много лет не слышали завсегдатаи «Трех моряков» такого волнующего пения. Необычность акцента, взволнованность певца, его глубокое понимание характера песни, вдумчивость, с какой он достигал самой высокой выразительности, удивляли этих людей, чрезмерно склонных подавлять свои эмоции иронией.

— Черт меня поberi, если наши здешние места стоят того, чтобы так про них петь! — проговорил стекольщик, после того как шотландец снова спел песню и голос его замер на словах «мой край родной». — Ежели сбросить со счета всех дураков, мошенников, негодяев, распутных бабенок, грязных и прочих им подобных, то в Кэстербридже, да и во всей округе, чертовски мало останется людей, стоящих того, чтобы величать их песней.

— Правильно,— согласился лавочник Базфорд, уставившись в столешницу.— Что и говорить, Кэстербридж — старая, закосневшая обитель зла. В истории написано, что мы бунтовали против короля не то сто, не то двести лет тому назад, еще во времена римлян, и что многих повесили тогда на Висельном Холме и четвертовали, а куски их тел разослали по всей стране, словно мясо из мясной лавки; и я лично охотно этому верю.

— Зачем же вы, молодой господин, покинули свои родные места, если вы к ним так привержены? — спросил сидевший поодаль Кристофер Кони тоном человека, предпочитающего вернуться к первоначальной теме разговора.— Могу поклясться, не стоило вам уезжать оттуда ради нас, потому что, как сказал мистер Билли Уилс, мы здесь — народ ненадежный, и самые лучшие из нас иной раз поступают не совсем честно — ведь ничего не поделаешь: зимы тяжелые, ртов много, а господь всемогущий посылает нам уж очень мелкую картошку, так что никак всех не накормишь. Где нам думать о цветах да о личиках красоток,— куда уж нам! — в пору бы только о цветной капусте подумать да о свиных головах.

— Не может быть! — проговорил Дональд Фарфрэ, с искренним огорчением вглядываясь в окружающие его лица.— Вы говорите, что даже лучшие из вас не совсем честны... да разве это возможно? Неужели кто-нибудь тут берет чужое?

— Нет, нет. Боже сохрани! — ответил Соломон Лонгуэйс, мрачно улыбаясь.— Это он просто так, болтает зря, что в голову взбредет. Он всегда был такой — с подковыркой,— и, обратившись к Кристоферу, сказал укоризненно: — Не будь слишком уж запанибрата с джентльменом, про которого тебе ничего не известно... и который приехал чуть не с Северного полюса.

Кристоферу Кони заткнули рот, и, не встретив ни у кого сочувствия, он что-то забормотал себе под нос, чтобы дать выход своим чувствам:

— Будь я проклят, по уж если б я любил свою родину даже вполонину меньше, чем любит свою этот малый, я бы скорее со-

гласился зарабатывать чистой свиных хлебов у соседей, но не уехал бы на чужбину! Что до меня, то я люблю свою родину не больше, чем Ботани-Бэй!

— Ну-ка, попросим теперь молодого человека допеть балладу до конца, а не то нам здесь ночевать придется,— сказал Лонгуэйс.

— Она вся,— отозвался певец, как бы извиняясь.

— Черт побери, так послушаем другую! — воскликнул хозяин мелочной лавки.

— А вы не можете спеть что-нибудь для дамского пола, сэр? — спросила тучная женщина в красном с разводами переднике, который так туго перетягивал ее телеса, что завязки совсем скрылись под складками жира.

— Дай ему вздохнуть... дай ему вздохнуть, тетка Каксом. Он еще не отдышался,— сказал стекольщик.

— Уже отдышался! — воскликнул молодой человек и, тотчас же затянув песню «О, Нэнни!», спел ее безупречно, а потом спел еще две-три, столь же чувствительные, и закончил концерт, исполнив, по настоятельной просьбе публики, песню «Давным-давно, в старину».

Теперь он окончательно покорила сердца завсегдаев «Трех моряков» и даже сердца старика Кони. Иногда певец был странно серьезен, и это на минуту казалось им смешным; но они уже видели его как бы сквозь золотую дымку, которую словно источала его душа. Кэстербридж был не лишен чувствительности... Кэстербридж был не чужд романтики, но чувствительность этого пришельца чем-то отличалась от кэстербриджской. Впрочем, быть может, различие было только внешнее, и среди местных жителей шотландец сыграл такую же роль, какую играет поэт новой школы, берущий приступом своих современников: он, в сущности, не сказал ничего нового, однако он первый высказал то, что раньше чувствовали все его слушатели, но — смутно.

Подошел молчаливый хозяин и, опершись на ларь, стал слушать пение молодого человека, и даже миссис Стэннидж каким-то образом ухитрилась оторваться от своего кресла за стойкой и добраться до дверного косяка, причем добиралась она, переваливаясь, словно бочка, которую ломовик перекачивает по настилу, едва удерживая ее в вертикальном положении.

— Вы собираетесь остаться в Кэстербридже, сэр? — спросила она.

— К сожалению, нет! — ответил шотландец, и в голосе его прозвучала грусть обреченного.— Я здесь только проездом! Я еду в Бристоль, а оттуда за границу.

— Всем нам поистине прискорбно слышать это,— заметил Соломон Лонгуэйс.— В кои-то веки попал к нам такой соловушка, и нам его жалко терять. Сказать правду, познакомиться с человеком, который прибыл из такой дали — из страны вечных снегов, если можно так выразиться, где волки, и дикие кабаны, и прочие опасные зверюги встречаются не реже, чем у

нас черные дрозды,— это нам не каждый день удается, и, когда такой человек открывает рот, мы, домоседы, можем почерпнуть у него много полезных и достоверных сведений.

— Да, только вы ошибаетесь насчет моей родины,— проговорил молодой человек, оглядывая окружающих печальным и пристальным взглядом; но вдруг глаза его загорелись и щеки запылали: им овладело страстное желание вывести собеседников из заблуждения.— У нас вовсе нет ни вечных снегов, ни волков!.. Правда, снег выпадает зимой и... ну, порой немножко и летом, и кое-где можно встретить двух-трех «серых», только что же в этом страшного? Слушайте, вы только попробуйте съездить летом в Эдинбург, осмотрите Трон Артура и его окрестности, а потом озера и все наше нагорье — в мае и в июне,— и вы никогда не скажете, что это страна волков и вечного снега!

— Конечно, нет... само собой разумеется,— согласился Базффорд.— Так говорят только круглые невежды. Кристофер простой, неотесанный малый, и ему не место в хорошей компании... не обращайтесь на него внимания, сэр.

— А вы взяли с собой тюфяк, стеганое одеяло, ложки, тарелки или путешествуете налегке — без мяса на костях, если можно так выразиться? — осведомился Кристофер Кони.

— Я послал вперед мой багаж, хоть он у меня и невелик: ведь ехать придется долго.— И, устремив отсутствующий взгляд куда-то вдаль, Дональд добавил: — Но я сказал себе: «Ничего я не получу от жизни, если не уеду!» — и решил уехать.

Всем присутствующим, и Элизабет-Джейн не меньше других, явно не хотелось его отпускать. Глядя на Фарфрэ из-за ларя, девушка решила, что его суждения свидетельствуют о вдумчивости, а его чудесные песни — о сердечности и страстности. Она восхищалась той серьезностью, с какою он относился к серьезным вещам. Он не увидел ничего смешного в двусмысленностях и шуточках кэстербриджских пьяниц; и правильно — ничего смешного в них не было. Ей не понравился мрачный юмор Кристофера Кони и его собутыльников, и он тоже не оценил его. Ей казалось, что Фарфрэ относится к жизни так же, как и она, и видит все вокруг скорее в трагическом, чем в комическом свете, считая, что если иной раз и случается повеселиться, то веселые минуты — всего лишь интермедия, а не существенный элемент разыгрываемой драмы. Просто удивительно, до чего были сходны их взгляды.

Было еще рано, но молодой шотландец выразил желание уйти к себе, и хозяйка шепотом попросила Элизабет сбежать наверх и приготовить ему постель на ночь. Девушка взяла свечу и пошла выполнять просьбу хозяйки, что заняло всего две-три минуты. Когда она со свечой в руке вышла на площадку, намереваясь спуститься вниз, мистер Фарфрэ уже поднимался наверх. Отступать было поздно; они встретились и разошлись на повороте лестницы.

Вероятно, Элизабет-Джейн привлекла внимание шотландца,

несмотря на то, что была одета скромно, или, может быть, именно поэтому, — ведь у нее было серьезное, спокойное лицо, к которому очень шло простое платье. А Элизабет-Джейн, немного смущенная встречей, покраспела и прошла мимо Фарфрэ, опустив глаза и не отрывая их от пламени свечки, которую держала перед собой. Случилось так, что, встретившись с нею лицом к лицу, он улыбнулся; потом с видом человека, который на время оторнул все заботы и, запев песню, уже не может остановиться, негромко принялся напевать старинную народную песенку, должно быть пришедшую ему на память при виде девушки:

Когда я к дому подходил,
День угасал короткий,
И с лестницы навстречу мне
Бежала Пег-красотка.

Элизабет-Джейн, немного растерявшись, заторопилась вниз, а шотландец, продолжая напевать, вошел в свою комнату, и голос его постепенно замер за дверью.

На этом встреча закончилась, и вызванные ею чувства на время угасли. Девушка вскоре пришла к матери; та по-прежнему была погружена в свои мысли, но мысли эти не имели никакого отношения к пению молодого человека.

— Мы сделали ошибку, — сказала она шепотом (чтобы шотландец не услышал). — Тебе ни в коем случае нельзя было прислуживать здесь сегодня вечером. Не из-за нас, а из-за *него*. Если он тепло встретит нас и возьмет к себе, а потом узнает, что ты делала, когда останавливалась здесь, это огорчит его и заденет его самолюбие — ведь он мэр города.

Знай Элизабет правду о том, кем доводится ее мать мистеру Хенчарду, она, вероятно, волновалась бы больше матери, но, ничего об этом не зная, она не очень беспокоилась. Ведь для нее *он* был другой человек — не тот, что владел мыслями ее несчастной матери.

— А я была не прочь немножко позаботиться о нем, — сказала девушка. — Он такой приличный, воспитанный, не то что все эти люди в гостинице. Они, должно быть, считают его простаком, раз он не понял, как грубо и зло они подтрунивали друг над другом. А он, конечно, ничего не понял... у него слишком возвышенный ум, чтобы понимать такие вещи!

Так она защищалась.

Между тем, *он* ее матери был не так далеко от них, как они полагали. Выйдя из «Трех моряков», он стал прохаживаться взад и вперед по опустевшей Главной улице и несколько раз прошел мимо гостиницы. Голос шотландца, лившийся сквозь сердцевидные отверстия в ставнях, достиг слуха Хенчарда, он остановился и долго стоял под окном.

«Да, странно, странно, что меня так влечет к этому парню! — подумал он. — Должно быть, оттого, что я совсем одинок. Я бы ему третью часть в деле отдал — только бы он остался!»

ГЛАВА IX

Когда Элизабет-Джейн утром открыла окно, па нее пахнуло благоуханным воздухом, и она почувствовала дыхание близкой осени почти так же ясно, как если бы находилась не в городе, а в самой глухой деревушке. Кэстербридж был своего рода продолжением окружающей его сельской местности, а не ее противоположностью — в том смысле, в каком обычно город противопоставляется деревне. Пчелы и бабочки, перелетая с пшеничных полей, окаймлявших его с одной стороны, на луга, примыкавшие к другой, летели не вокруг города, а прямо над Главной улицей, видимо не подозревая, что пересекают чуждые им широты. Осенью легкие, как воздух, пушистые шарики семян чертополоха плыли над этой улицей, садились на фасады лавок и падали в канавы, а бесчисленные рыжие и желтые листья скользили по мостовой и, проникнув в подъезды, а потом в прихожие, негромко шуршали по полу, словно юбки робких посетительниц.

Заслышав голоса — один из них звучал совсем близко, — девушка немного отодвинулась и, притаившись за оконными занавесками, стала смотреть на улицу. Мистер Хенчард, — сегодня он был одет уже не так, как одеваются важные персоны, но как преуспевающие дельцы, — остановился посреди улицы, а шотландец высунулся из окна, соседнего с окном Элизабет. Очевидно, Хенчард заметил своего вчерашнего знакомца, уже миновав гостиницу. Он сделал несколько шагов назад, а Дональд Фарфрэ шире распахнул окно.

— Скоро в путь? — спросил Хенчард, глядя вверх.

— Да... как раз собираюсь выходить, сэр, — ответил Дональд. — Хочу пройтись.. почтовая карета нагонит меня.

— В какую сторону пойдете?

— Туда же, куда шли вы.

— Так пойдете вместе до окраины города.

— Подождите минутку, — ответил шотландец.

Спустя несколько минут он вышел с дорожной сумкой в руке. Хенчард посмотрел на сумку, как на врага. Очевидно, молодой человек действительно решил уехать.

— Ах, дружок, будь вы человеком разумным, вы бы остались у меня, — сказал Хенчард.

— Да, да... пожалуй, это было бы разумнее, — согласился Дональд, пристально всматриваясь в самые дальние дома. — Сказать вам правду, я и сам еще не знаю, что буду делать.

Они отошли от гостиницы, и Элизабет-Джейн больше не слышала их слов. Но она видела, что они продолжают разговаривать, и Хенчард, поворачиваясь к собеседнику, иногда подчеркивает жестом какую-нибудь фразу. Так они миновали гостиницу «Королевский герб», торговые ряды и кладбищенскую ограду, дошли до конца длинной улицы — теперь они казались маленькими, как два пшеничных зерна, — потом вдруг свернули вправо, на Бристольскую дорогу, и скрылись из виду.

«Он хороший человек... и вот... ушел,— подумала девушка.— Он ведь и внимания на меня не обратил, так с какой же стати было ему прощаться со мной».

Эта простая мысль, темного обидная, пришла ей в голову потому, что ее задела одна мелочь: спустившись на улицу, шотландец случайно взглянул вверх, увидел девушку и отвернулся, не кивнув ей, не улыбнувшись, не сказав ни слова.

— Вы все думаете, матушка,— проговорила Элизабет, отойдя от окна.

— Да, я думаю о том, как мистеру Хенчарду вдруг полюбился этот юноша. Он всегда был такой. Но если он тепло относится к совсем чужому человеку, может быть, он так же тепло отнесется и к своим родным?

В это время по улице проехали пять огромных возов сена, высотой до окон второго этажа. Возы прибыли в город из деревни, и лошади, от которых шел пар, очевидно, везли их почти всю ночь. На дышлах всех повозок были прибиты дощечки, на которых белыми буквами значилось: «Хенчард. Оптовая торговля зерном и сеном». При виде этих возов жена Хенчарда яснее прежнего поняла, что она обязана кое-чем поступиться ради дочери и сойтись с мужем.

За завтраком они говорили все о том же, и миссис Хенчард наконец решила, что, к добру это будет или к худу, но надо послать к Хенчарду Элизабет-Джейн, которая сообщит ему, что его родственница Сьюзен, вдова моряка, находится здесь, в городе, а он пусть уж сам скажет, признает он ее или нет. К этому решению ее привели два обстоятельства. Люди говорили, что Хенчард — одинокий вдовец, а сам он сказал, что стыдится одного своего поступка. И то и другое давало повод для надежды.

— Если он скажет «нет»,— наставляла она Элизабет-Джейн, которая стояла перед ней в капоре, готовая идти,— если он считает, что раз он достиг здесь такого высокого положения, то ему не подобает признать... позволить нам, как... как его дальним родственницам, прийти к нему, ты скажи: «В таком случае, сэр, мы не станем вам докучать; мы уйдем из Кэстербриджа так же незаметно, как пришли сюда, и вернемся к себе домой...» Мне почти хочется, чтобы он отказал нам, ведь я не видела его столько лет, и мы... в таком дальнем родстве с ним!

— А если он скажет «да»? — спросила девушка, настроенная более оптимистично.

— Тогда попроси его написать мне записку и сказать, где и как он хочет встретиться с нами... или со мной,— осторожно ответила миссис Хенчард.

Элизабет-Джейн направилась к лестнице.

— И еще скажи ему,— продолжала мать,— что я вполне понимаю, что он мне ничем не обязан... я радуюсь его успехам и надеюсь, что он будет жить долго и счастливо... ну, иди!

Так, скрепя сердце, почти против воли, послала к Хенчарду

эта несчастная, все простившая женщина свою ничего не ведавшую дочь.

Это было в базарный день, около десяти часов утра; Элизабет-Джейн шла по Главной улице, не торопясь: ведь она считала себя просто бедной девушкой, посланной к богатому родственнику. Стояла теплая осенняя погода, и парадные двери почти всех жилых домов были распахнуты настежь, так как мирных горожан не тревожила мысль о том, что их зонтики могут украсть. За дверями виднелись длинные прямые коридоры, похожие на туннели, а за ними — поросшие мхом сады, пестревшие яркими красками настурций, фуксий, красной герани, желтофиоли, жабрея, георгин, и этот костер цветов пылал на фоне серых каменных стен — остатков былого Кэстербриджа, еще более древнего, чем тот старинный Кэстербридж, что встречал прохожего на улице. Старомодные фасады домов, задние стены которых были еще старомоднее, непосредственно примыкали к тротуару, а на него, как бастионы, выдвигались окна-фонари, вынуждая спешащего прохожего проделывать через каждые несколько ярдов красивую танцевальную фигуру, именуемую «шассэ-дешассэ». Кроме того, прохожему волей-неволей приходилось проделывать и другие созданные Терпихорой фигуры, чтобы обойти ступени подъездов, железные скобы для чистки обуви, входы в погреба, контрфорсы церквей и углы домов, которые когда-то не мешали движению, а теперь покривились и покосились.

Не говоря уже об этих неподвижных препятствиях, которые столь выразительно свидетельствовали о том, как мало стесняли себя строители границами домовладений, тротуары и проезды были сплошь загромождены предметами, находящимися в движении. То были повозки, проезжавшие через Кэстербридж по пути из Меллстока, Уэзербери, Хинтока, Шертон-Аббаса, Кингсбира, Оверкомба и других городков и деревень. А возчиков съезжалось так много, что они, казалось, составляли целое племя; и они так резко отличались от прочих людей, словно были представителями особой расы. Повозки только что прибыли и стояли вплотную друг к другу по обеим сторонам улицы, в некоторых местах образуя стену между тротуаром и проездом. Кроме того, все лавочники раскладывали половину своих товаров на козлах и ящиках, выставленных прямо на тротуар, причем они каждую неделю все расширяли эту выставку и, несмотря на увещевания двух дряхлых стариков-квартальных, выдвигались все дальше и дальше на проезд, так что экипажам приходилось проезжать извилистой вереницей по середине улицы, а их возницы имели полную возможность показать свое искусство в обращении с вожжами. Остается добавить, что на солнечной стороне улицы над тротуаром нависали тенты, устроенные так, чтобы сбивать с проезжих шляпы, которые слетали, словно от удара невидимых рук кранстоунского бесенка-пажа, воспетого в романтической поэме.

Лошадей, приведенных на продажу, привязывали в ряд к коновязи, и они, стоя передними ногами на тротуаре, а задними на мостовой, случалось, хватали зубами за плечи мальчиков, идущих в школу. А всеми уютными пишами в фасадах домов, скромно отступивших от границы улицы, завладевали продавцы свиней, превращая их в свипарники.

Мелкие землевладельцы, фермеры, продавцы молочных продуктов и горожане, прибывшие по делам на эти древние улицы, беседовали друг с другом не только при помощи членораздельной речи. В больших городах, если вы не слышите слов собеседника, вы не поймете, что он хочет сказать. Здесь же и лицо, и руки, и шляпа, и палка, и все тело говорили наравне с языком. Если кэстербриджский торговец хотел выразить удовлетворение, он, подчеркивая свои слова, раздувал щеки, прищуривал глаза, откидывал назад плечи,— и люди, стоящие на другой стороне улицы, понимали его вполне. Когда же он удивлялся, то, даже если мимо него с грохотом проезжали все повозки и фургоны Хенчарда, вы догадывались, что он удивлен, так как видели его красное небо и округлившиеся, как мишень, глаза. Решительность выливалась у него в яростные атаки на покрывающий соседние стены мох, который он сбивал концом палки, меняя положение своей шляпы с горизонтального на менее горизонтальное; в минуты скуки все тело его обмякало, колени подгибались и вывертывались, словно между ними был вписан ромб, а руки будто сводило судорогой. Жульничество и мошенничество, видимо, были редким явлением на улицах этого честного города, и говорили даже, будто юристы в суде, защищая интересы своих клиентов, порой выдвигали веский довод в пользу противной стороны из чисто великодушных побуждений, хоть и делали вид, что это — по ошибке.

Итак, Кэстербридж был почти во всех отношениях как бы полюсом, центром или нервным узлом окружающей его сельской местности, отличаясь этим от многих фабричных городов, осевших, словно инородные тела, словно валуны на равнине, в зеленом мире, с которым у них нет ничего общего. Кэстербридж жил сельским хозяйством и отстоял только на шаг дальше от его природных источников, чем соседние деревни. Горожане принимали близко к сердцу все превратности деревенской жизни, потому что они так же влияли на их доходы, как и на доходы земледельца; по тем же причинам горожане разделяли горести и радости аристократических семейств, обитающих в радиусе десяти миль от города. И даже на званых обедах у деловых людей гости говорили главным образом о пшенице, болезнях скота, севе и уборке, изгородях и насаждениях, тогда как политические события расценивались ими не с их собственной точки зрения горожан, обладающих особыми правами и преимуществами, а с точки зрения их деревенских соседей.

Все эти традиционные особенности и противоречия удивительного древнего города, порой радующие глаз своим своеоб-

разием и даже некоторой целесообразностью, казались столичными новшествами неопытной Элизабет-Джейн, которая еще так недавно плела сети в коттедже на взморье. Ей почти не пришлось расспрашивать о дороге. Дом Хенчарда, с фасадом из тускло-красного и серого кирпича, был одним из лучших в городе. Парадная дверь его была открыта, и, так же как и в других домах, за коридором виднелся сад, простиравшийся почти на четверть мили.

Мистера Хенчарда не оказалось дома, он был во дворе склада. Девушку провели через обомшелый сад до калитки в стене, утыканной ржавыми гвоздями,— к ним, очевидно, когда-то привязывали ветви фруктовых деревьев, и деревьев этих выросло не одно поколение. Калитка открывалась во двор, и здесь Элизабет предоставили самой отыскать хозяина. С двух сторон во дворе стояли сенные сараи, куда сейчас сгружали тонны увязанного в тюки фуража с повозок, проезжавших утром мимо гостиницы. Две другие стороны составляли деревянные, на каменных столбах, амбары с наружными лестницами и зернохранилище высотой в несколько этажей. Заглянув в открытые двери амбаров, можно было увидеть, что они битком набиты тугими мешками с пшеницей, казалось дожидаящейся голодовки, которая все не наступает.

Девушка бродила по двору, немного волнуясь при мысли о предстоящей встрече и, наконец, устав от бесплодных поисков, отважилась спросить встречного мальчугана, где можно найти мистера Хенчарда. Мальчик направил ее в контору, мимо которой она раньше прошла, не заметив ее, и, постучав в дверь, она услышала в ответ:

— Войдите.

Элизабет повернула ручку двери и увидела перед собой человека, который стоял у стола, нагнувшись над мешочками с образцами зерна, но это был не Хенчард, а молодой шотландец, мистер Фарфрэ; он пересыпал пшеничные зерна с одной ладони на другую. Его шляпа висела на гвозде сзади него, а розы на его кофровой сумке рдели в углу комнаты.

Приготовившись к встрече с Хенчардом и к разговору с ним, но только с ним одним, девушка растерялась.

— Что вам угодно? — спросил шотландец с видом человека, который уже давно заправляет тут всеми делами.

Она сказала, что хочет видеть мистера Хенчарда.

— Так-так... Подождите минутку. Он сейчас занят,— сказал молодой человек, должно быть не узнав в этой девушке ту, которую видел в гостинице.

Он подвинул к ней стул, предложил ей присесть и снова занялся своими мешочками с образцами. Пока Элизабет-Джейн сидит в ожидании, немало удивленная встречей с молодым человеком, мы вкратце расскажем, как он попал сюда.

После того как они с Хенчардом в то утро скрылись из виду, свернув на дорогу, ведущую в Бат и Бристоль, они некоторое

время шагали молча, лишь изредка перекидываясь незначительными фразами, пока не вошли в ту аллею на городском валу, которая называлась «Меловой» и вела к углу, образованному северным и западным откосами древних укреплений, расположенных квадратом. Широкие просторы открывались с этой высоты. С зеленого склона круто спускалась тропинка, которая вела от тенистой аллеи на валу к дороге у подножия откоса. По этой тропинке должен был спуститься шотландец.

— Вот где вас ждет успех,— проговорил Хенчард, простирая вперед правую руку и опираясь левой на калитку, которая перегораживала тропинку. В этом резковатом движении казалось уязвленное самолюбие человека, не сумевшего добиться своего.— Я часто буду вспоминать об этих днях и о том, что вы пришли как раз вовремя и помогли мне в моих затруднениях.

Сжав руку Фарфрэ и не выпуская ее, он помолчал, потом проговорил решительным тоном:

— Слушайте, я не такой человек, чтобы отказаться от задуманного, не попытавшись вас переубедить. И я не дам вам уйти навсегда, не выслушав меня! Повторяю: хотите остаться? Буду говорить прямо, начистоту. Поймите, я настаиваю не только ради своей выгоды; дело мое ведется не по-научному и не требует из ряда вон выходящего ума. На ваше место и другие найдутся, будьте спокойны. Может, я немного и думаю о своей выгоде, но не только о ней, а о чем еще — повторять не буду. Оставайтесь у меня... и сами назовите свои условия. Я охотно приму их, не торгуясь, потому что, черт меня побери, Фарфрэ, очень уж ты мне по душе пришелся!

Минуты две рука молодого человека неподвижно лежала в руке Хенчарда. Фарфрэ посмотрел на плодородную землю, расстилавшуюся у его ног, потом оглянулся на тенистую аллею, ведущую в центр города. Лицо его пылало.

— Не ждал я этого... не ждал! — проговорил он.— Это — провидение! Разве можно идти против него? Нет, я не поеду в Америку; я останусь здесь и буду служить вам!

Его рука, безжизненно лежавшая в руке Хенчарда, теперь ответила крепким пожатием.

— Решено? — проговорил Хенчард.

— Решено,— отозвался Допальд Фарфрэ.

Лицо Хенчарда сияло такой пылкой радостью, что она казалась почти страшной.

— Теперь вы — мой друг! — воскликнул он.— Вернемся ко мне и сейчас же договоримся обо всех условиях, чтобы на душе у нас было спокойно.

Фарфрэ взял свою дорожную сумку и вместе с Хенчардом пошел обратно по Северо-западной аллее. Теперь Хенчард жаждал излить ему душу.

— Если мне человек не нравится,— начал он,— я, как никто, умею держать его на расстоянии. Но уж если он пришелся

мне по душе, он захватит меня целиком. Вы, я думаю, не откажетесь позавтракать еще раз? Ты встал так рано, что тебе едва ли удалось бы поесть вволю, даже если бы у них там и пашлось, чем тебя угостить, а у них, конечно, ничего не было; так пойдем ко мне и поедимся досыта и, если хочешь, напишем все условия черным по белому, хотя я — хозяин своего слова. Я люблю сытно поесть с утра. У меня уже готов замечательный холодный паштет из голубей. И, кроме того, можно выпить домашнего пива, если угодно.

— Для этого еще слишком рано, — сказал Фарфрэ, улыбаясь.

— Будь по-вашему. Сам я дал зарок не пить, по приходится варить пиво для рабочих.

Так беседуя, они вернулись в город и вошли в дом Хенчарда с заднего, служебного хода. Сделку заключили во время завтрака, и Хенчард с расточительной щедростью накладывал еду на тарелку молодого шотландца. Он не успокоился, пока Фарфрэ не написал в Бристоль просьбы переслать его багаж в Кэстербридж и не отнес письмо на почту. Затем, как всегда, подчиняясь внезапному желанию, Хенчард заявил, что его новый друг должен жить у него в доме, хотя бы до тех пор, пока не найдет себе подходящей квартиры.

Обойдя вместе с Фарфрэ все комнаты, Хенчард показал ему склады зерна и других товаров и наконец привел молодого человека в контору, где его и увидела Элизабет.

ГЛАВА X

Пока она сидела перед шотландцем, в дверях показался человек, вошедший как раз в тот миг, когда Хенчард открывал дверь кабинета, чтобы впустить Элизабет. Человек быстро шагнул вперед — словно самый проворный из расслабленных Виффезды — и, опередив девушку, прошел в кабинет. Она слышала, как он сказал Хенчарду:

— Джошуа Джапп, сэр... по вашему вызову... новый управляющий.

— Новый управляющий?.. Он у себя в конторе, — проговорил Хенчард резким тоном.

— У себя в конторе?.. — оторопело повторил человек.

— Я писал: явитесь в четверг, — начал Хенчард, — и раз вы не явились в назначенный день, я нанял другого управляющего. Я даже сперва думал, что он — это вы. Или, по-вашему, дело может ждать?

— Вы писали «в четверг или в субботу», сэр, — возразил пришедший, вынимая письмо.

— Так или иначе, вы опоздали, — отозвался Хенчард. — Разговор окончен.

— Но вы же почти наняли меня, — пробормотал человек.

— С оговоркой, что мы условимся окончательно после того, как увидимся,— возразил Хенчард.— Мне очень жаль... очень жаль, уверяю вас. Но ничего не поделаешь.

Говорить было больше не о чем, и человек вышел. Когда он проходил мимо Элизабет-Джейн, она заметила, что губы его дрожат от гнева, а лицо искажено горьким разочарованием.

Теперь в кабинет вошла Элизабет-Джейн и стала перед хозьяином дома. Он равнодушно скосил глаза под черными бровями,— казалось, в этих темных глазах всегда поблескивали красные искры, хотя вряд ли это могло быть на самом деле,— и устремил взгляд на девушку.

— Что вам угодно, моя милая? — спросил он мягко.

— Можно мне поговорить с вами... по личному делу, сэр? — спросила она.

— Да... конечно.

Теперь он внимательно смотрел на нее.

— Меня послали сказать вам, сэр,— продолжала она протодушно,— что ваша дальняя родственница, Сьюзен Ньюсон, вдова моряка, находится здесь, в городе, и хочет знать, желаете ли вы ее видеть.

Яркий румянец Хенчарда, представлявший резкий контраст с его черными волосами, слегка померк.

— Так, значит... Сьюзен... еще жива? — проговорил он с трудом.

— Да, сэр.

— Вы ее дочь?

— Да, сэр... ее единственная дочь.

— А... как вас зовут?.. Как ваше имя?

— Элизабет-Джейн, сэр.

— Ньюсон?

— Элизабет-Джейн Ньюсон, сэр.

Хенчард сразу же понял, что сделка, заключенная на Уэйдонской ярмарке через два года после его брака, не занесена в летописи семьи. Этого он не ожидал. Его жена оплатила ему добром за зло и не рассказала о своей обиде ни дочери, ни другим людям.

— Я... меня очень заинтересовали ваши слова,— проговорил он.— У нас с вами не деловой разговор, а приятный, поэтому пойдемте в дом.

Очень учтиво, что удивило Элизабет, он провел ее из кабинета через соседнюю комнату, где Дональд Фарфрэ рылся в ларях, рассматривая образцы зерна с пристальным вниманием служащего, который только что вступил в должность. Хенчард прошел впереди девушки через калитку в стене, и картина внезапно изменилась: они очутились в саду и пошли к дому среди цветов. В столовой, куда Хенчард пригласил Элизабет, еще не были убраны остатки обильного завтрака, которым он угощал Фарфрэ. Комната была загромождена тяжелой мебелью крас-

ного дерева, самого темного, красно-коричневого оттенка. Раскладные столы с опускаемыми досками, такими длинными, что они доходили почти до пола, стояли у стен, и ножки их напоминали ноги слона, а на одном столе лежали три огромных фолианта; семейная Библия, «Иосиф» и «Полный свод нравственных обязанностей человека». Полукруглая желобчатая решетка камина была украшена литыми барельефами урн и гирлянд, а кресла были в том стиле, который впоследствии прославил имена Чиппендейла и Шератона, но такого фасона, который, паверное, и не снился этим знаменитым мастерам-мебельщикам.

— Садись... Элизабет-Джейн... садись,— проговорил Хенчард, и голос его дрогнул, когда он произнес ее имя; потом сел сам и, уронив руки между коленями, устремил глаза на ковер.— Так, значит, твоя мать здорова?

— Она очень устала с дороги, сэр.

— Вдова моряка... а когда он умер?

— Отец пропал без вести прошлой весной.

Хенчард поморщился при слове «отец».

— Вы с ней приехали из-за границы... из Америки или Австралии? — спросил он.

— Нет. Мы уже несколько лет живем в Англии. Мне было двенадцать, когда мы приехали из Канады.

— Так-так...

Он расспросил девушку о том, как они жили, и узнал все то, что раньше было скрыто от него глубокой тьмой,— ведь он давно уже привык считать их обоих умершими. Поговорив о прошлом, он вновь обратился к настоящему:

— А где остановилась твоя мать?

— В гостинице «Три моряка».

— Значит, ты ее дочь Элизабет-Джейн? — повторил Хенчард. Он встал, подошел к ней вплотную и посмотрел ей в лицо.— Я думаю,— сказал он, внезапно отвернувшись, так как на глазах у него показались слезы,— что мне надо дать тебе записку к матери. Мне хочется повидать ее. Покойный муж оставил ее без средств?

Взгляд его упал на платье Элизабет — приличное, черное, самое лучшее ее платье, но явно старомодное даже на взгляд кэстербреджца.

— Да, почти без средств,— ответила девушка, довольная тем, что он сам догадался и ей не пришлось начинать разговор на эту тему.

Он сел за стол и написал на листке несколько строк, потом вынул из бумажника пятифунтовую бумажку и вложил ее в конверт вместе с письмом, но, подумав, вложил еще пять шиллингов. Аккуратно запечатав письмо, он написал адрес: «Миссис Ньюсон. Гостиница «Три моряка»,— и отдал пакет Элизабет.

— Пожалуйста, передай ей это из рук в руки,— сказал Хенчард.— Ну, я рад видеть тебя здесь, Элизабет-Джейн... очень

рад. Надо будет нам с тобой поговорить поподробней... но не сейчас.

Прощаясь, он взял ее руку и сжал с такой горячностью, что девушка, почти не встречавшая дружеского отношения, растрогалась, и слезы навернулись на ее светло-серые глаза. Как только она ушла, Хенчард дал волю своим чувствам; закрыв дверь столовой, он сел и долго сидел недвижно и прямо, впившись глазами в стену напротив и словно читая на ней свою историю.

— Клянусь богом! Не думал я, что так случится,— внезапно воскликнул он, вскочив с места.— А может, они самозванки... и Сьюзен с ребенком все-таки умерла?

Но в Элизабет-Джейн было нечто такое, что побуждало его не сомневаться хотя бы в ней. Через несколько часов должны были разрешиться его сомнения и относительно ее матери: в записке он приглашал ее увидеться с ним в тот же вечер.

— Пошел дождик — ждите ливня! — сказал себе Хенчард.

Неожиданное событие затмило его острый интерес к новому другу-шотландцу, и в течение этого дня Дональд Фарфрэ видел своего хозяина так мало, что удивился его непостоянству.

Между тем Элизабет вернулась в гостиницу. Вместо того чтобы взять письмо сразу же, как это сделала бы бедная женщина, ожидающая помощи, мать при виде его разволновалась. Она не сразу принялась читать его, но сначала попросила Элизабет рассказать, как мистер Хенчард принял ее и что именно он говорил. Мать распечатала письмо, когда Элизабет стояла к ней спиной. В нем было написано:

«Если можешь, приходи повидаться со мной сегодня вечером в восемь часов на Круг, что по дороге в Бедмут. Ты без труда узнаешь, как туда пройти. Пока больше ничего не могу сказать. Потрясен сообщением. Девочка, видимо, ни о чем не знает. Не говори ей ничего, пока мы не увидимся.

М. Х.»

Он ничего не написал про вложенные в письмо пять гиней. Эта сумма показалась Сьюзен многозначительной,— возможно, Хенчард хотел этим дать ей понять, что как бы выкупает ее. Волнуясь, она стала ждать вечера, а дочери сказала, что мистер Хенчард попросил ее встретиться с ним; она пойдет одна. Но она не сказала, что свидание назначено не у него в доме, и не показала Элизабет письма.

ГЛАВА XI

«Кругом» в Кэстербридже называли если не самый лучший, то один из лучших римских амфитеатров, сохранившихся в Британии с давних времен.

Кэстербридж напоминал о древнем Риме каждой своей улицей, переулком и двором. Он был похож на город Римской империи, носил на себе отпечаток древнеримского искусства, таил в своих недрах мертвецов древнего Рима. В окрестных полях и садах нельзя было копать землю на фут или два в глубину без того, чтобы не наткнуться на какого-нибудь рослого воина Римской империи, пролежавшего здесь в безмолвном покое, никого не тревожа, вот уже полторы тысячи лет. Обычно его находили в меловом слое, в овальной яме, где он лежал на боку, словно цыпленок в скорлупе,— колени притянуты к груди, иногда остатки копья возле руки, застежка на груди или бронзовая бляха на лбу, урна у колен, кувшин у горла, бутылка у рта,— и на него устремлялись полные недоумения и догадок глаза кэстербриджских детей и взрослых, проходивших мимо и на минуту свернувших поглазеть на уже привычное зрелище.

Впечатлительные обыватели, вероятно, были бы неприятно поражены, найдя у себя в саду не очень старый скелет, но столь древние останки ничуть их не смущали. Ведь эти покойники жили так давно, их время было так не похоже на теперешнее, их надежды и стремления так отличались от наших, что между ними и живыми разверзлась широчайшая пропасть, через которую не мог бы перелететь даже призрак.

Этот амфитеатр был гигантским круглым сооружением со входами с севера и с юга. Ему подошло бы прозвище «Плевательница великанов», так как трибуны для зрителей полого спускались к арене. Для Кэстербриджа амфитеатр был то же, что развалины Колизея для Рима наших дней, и он был почти так же громаден. Правильное представление об этом памятнике древности удавалось получить только в сумерках. Лишь остановившись в этот час на середине арены, можно было постепенно осознать, как он огромен, ибо беглый осмотр его сверху, особенно в полдень, создавал совершенно обманчивое впечатление. Угрюмый, величественный, расположенный в уединенном месте и в то же время недалеко от любой части города, этот цирк древних времен зачастую служил местом свиданий сомнительного характера. Здесь завязывались интриги; сюда являлись сводить счеты после ссор и длительных распрей. Но свидания одного определенного типа, самого распространенного, а именно свидания счастливых влюбленных, редко назначались в амфитеатре.

Интересно, почему люди, зная, что это место, расположенное на свежем воздухе, легко достижимое, уединенное, очень удобно для встреч, все-таки не хотели назначать радостные свидания в развалинах цирка? Быть может, потому, что от него веяло чем-то зловещим. Объяснение коренилось в его истории. Не говоря уже о кровавых играх, которые устраивались здесь в древности, с прошлым его были связаны следующие события: в одном его углу много лет стояли городские виселицы; в 1705 году одну женщину, убившую своего мужа, задушили, но

не до смерти, и потом сожгли здесь в присутствии десяти тысяч зрителей. По преданию, во время казни ее сердце лопнуло и, ко всеобщему ужасу, выскочило из тела, после чего ни один человек из этих десяти тысяч прямо видеть не мог жареного мяса. Вдобавок к этим трагедиям седой старины поединки не на жизнь, а на смерть еще недавно происходили на этой огороженной арене, ниоткуда извне не видимой, разве что — с верхней части трибун, куда почти никто из занятых своими будничными делами горожан не трудился взбираться. Таким образом, несмотря на близость цирка к большой проезжей дороге, здесь можно было среди бела дня совершить преступление, оставшись незамеченным.

Одно время мальчишки пытались оживить развалины, превратив центральную арену в поле для крикета. Но игра обычно проходила вяло по тем причинам, о которых говорилось выше: игроков удручала вынужденная изоляция внутри этого круглого земляного вала, который отгораживал их от знатоков-прохожих, от одобрительных взглядов и возгласов зрителей, от всего, кроме неба, а играть в такой обстановке — все равно что давать спектакль перед пустым залом. Возможно также, что мальчишкам было жутко, так как, по рассказам стариков, бывали случаи, когда летом, при ярком свете дня, люди, засидевшиеся здесь с книгой или задремавшие, внезапно подняв глаза, видели на трибунах легион воинов Адриана, казалось созерцающих бой гладиаторов, и слышали гул их возбужденных голосов; но видение обычно длилось лишь миг, короткий, как вспышка молнии, а потом исчезало.

Говорили, что под южным входом еще сохранились сводчатые камеры для диких зверей и атлетов, принимавших участие в играх. Арена оставалась все такой же гладкой и круглой, как если бы игры происходили на ней лишь недавно. Покатые проходы, по которым зрители поднимались на свои места, так и остались проходами. Но все сооружение в целом поросло травой и теперь, в конце лета, она топорщилась увядшими метелками, волнуясь при порывах ветра, на миг задерживала летящие шарики семян чертополоха и шуршала так, что, казалось, это звучит эолова арфа.

Хенчард выбрал это место для встречи со своей давно отвергнутой женой, так как здесь почти не приходилось бояться, что их увидят, и в то же время даже незнакомый с местностью человек мог легко найти Круг в сумерках. Как мэр города, дорожащий своей репутацией, Хенчард опасался пригласить жену к себе, пока они оба не решили, как им поступить.

Около восьми часов вечера Хенчард, подойдя к этому заброшенному сооружению, вошел внутрь по южному проходу, устроенному над развалинами помещений для зверей. Вскоре он увидел женщину, осторожно пробиравшуюся через широкие северные ворота — вход для зрителей. Они встретились на середине арены. Вначале оба стояли молча — им не хотелось го-



ворить, — и бедная женщина только прижалась к Хенчарду, а тот обнял ее.

— Я не пью, — негромко проговорил он наконец прерывающимся, покаянным голосом. — Слышишь, Сьюзен?.. Я теперь больше не пью... не пил с той самой ночи.

То были его первые слова.

Он почувствовал, как она наклонила голову в знак того, что поняла. Минуты две спустя он снова начал:

— Если б я знал, что ты жива, Сьюзен! Но у меня были все основания думать, что и тебя и ребенка нет в живых. Чего только я не делал, чтобы вас пайти... Ездил на поиски... помещал объявления. Наконец решил, что вы уехали с этим человеком куда-нибудь в колонию и утонули в пути. Почему ты не давала о себе знать?

— Ах, Майкл!.. Из-за него... из-за чего же еще? Я думала, что мой долг — быть ему верной до гроба... я, глупая, верила,

что эта сделка законная и она меня связывает; я думала даже, что совесть не позволяет мне покинуть его, раз он по доброй воле заплатил за меня так дорого. Теперь я встретилась с тобой только как его вдова... я считаю себя его вдовой, и на тебя у меня нет никаких прав. Если бы он не умер, я никогда бы не пришла... никогда! Можешь мне верить.

— Эх ты! И как ты могла быть такой дурочкой?

— Не знаю. И все же было бы очень нехорошо... если бы я думала по-другому, — пролепетала Сьюзен, чуть не плача.

— Да... да... правильно. Потому я и верю, что ты ни в чем не повинна. Но... поставить меня в такое положение!

— В какое, Майкл? — спросила она, встревоженная.

— Подумай, как теперь все сложно: ведь нам опять придется жить вместе, а тут Элизабет-Джейн... Нельзя же рассказать ей обо всем... она тогда стала бы презирать нас обоих... Этого я не вынесу!

— Вот почему я никогда не говорила ей о тебе. Я бы тоже не вынесла.

— Ну... придется подумать, как уладить дело так, чтобы она по-прежнему ни о чем не подозревала. Ты слышала, что у меня здесь крупное торговое дело... что я мэр города, церковный староста, и прочее, и прочее?

— Да, — пробормотала она.

— Из-за этого — ну и потому, что девочка не должна узнать о нашем позоре — необходимо действовать как можно осторожней. Значит, вы обе не можете открыто вернуться ко мне, как мои жена и дочь, которых я когда-то оскорбил и оттолкнул от себя; в этом вся трудность.

— Мы сейчас же уйдем. Я пришла, только чтобы повидаться...

— Нет, нет, Сьюзен, ты не уйдешь... ты не поняла меня! — прервал он ее с ласковой строгостью. — Вот что я придумал: вы с Элизабет наймете в городе коттедж, причем ты назовешь себя «миссис Ньюсон, вдова с дочерью», а я с тобой «познакомлюсь», посватаюсь к тебе, мы обвенчаемся, и Элизабет-Джейн войдет ко мне в дом как моя падчерица. Все это так естественно и легко, что, можно сказать, полдела уже сделано. Так никто ничего не узнает о моей темной, позорной молодости — тайну будем знать только ты да я... И я буду счастлив принять к себе свою единственную дочь и жену.

— Я в твоих руках, Майкл, — сказала жена покорно. — Я пришла сюда ради Элизабет; а что до меня самой, то вели мне уйти навсегда завтра же утром и никогда больше не встречаться с тобой, и я уйду.

— Ну, полно, полно, не падо таких слов, — мягко проговорил Хенчард. — Никуда ты не уйдешь. Подумай несколько часов о моем предложении, и, если не придумаешь ничего лучше, так мы и сделаем. Мне, к сожалению, придется уехать дня на два по делам, но за это время ты сможешь нанять квартиру —

в городе есть только одна подходящая для вас — та, что над посудной лавкой на Главной улице; а то можешь присмотреть себе коттедж.

— Если эта квартира на Главной улице, значит, она дорогая?

— Ничего... если хочешь, чтобы все это удалось, ты должна с самого начала показать, что ты из хорошего общества. Деньги возьмешь у меня. Тебе хватит до моего возвращения?

— Вполне,— ответила она.

— В гостинице вам удобно?

— Очень.

— А девочка никак не может узнать о своем позоре и о нашем? Это меня тревожит пуще всего.

— Ты и не подозреваешь, как она далека от истины. Да и может ли ей прийти в голову такая мысль?

— Это верно!

— Я рада, что мы повенчаемся во второй раз,— проговорила миссис Хенчард, помолчав.— После всего, что было, это, по-моему, самое правильное. А теперь мне, пожалуй, пора вернуться к Элизабет-Джейн, и я скажу ей, что наш родственник, мистер Хенчард, любезно предложил нам остаться в городе.

— Прекрасно... поступай, как найдешь пужным. Я тебя немного провожу.

— Нет, нет. Не надо рисковать! — тревожно возразила его жена.— Я сама найду дорогу домой — ведь еще не поздно. Пожалуйста, позволь мне уйти одной.

— Хорошо,— согласился Хенчард.— Но еще одно слово. Ты прощаешь меня, Сьюзен?

Она что-то пролепетала в ответ, но ей, видимо, было трудно найти нужные слова.

— Ничего... все в свое время,— сказал он.— Суди меня по моим будущим делам... до свидания!

Он пошел обратно и постоял у верхнего входа в амфитеатр, пока его жена, выйдя через нижний и спустившись под росшими здесь деревьями, не свернула в сторону города и не скрылась из виду. Тогда и сам Хенчард направился домой и шел так быстро, что, подойдя к своему подъезду, чуть не нагнал женщину, с которой только что расстался, но она его не заметила. Он смотрел ей вслед, пока она шла по улице, потом направился к себе.

ГЛАВА XII

Проводив глазами жену и войдя в свой дом через парадный вход, мэр по коридору, похожему на туннель, направился в сад, а оттуда, через калитку,— во двор, где находились амбары и другие службы. В окне конторы горел свет, занавески на нем не было, и Хенчард видел, что Дональд Фарфрэ все еще сидит

на прежнем месте, просматривая конторские книги и готовясь к своей роли управляющего. Хенчард, войдя, сказал только:

— Если вы собираетесь сидеть тут допоздна, я не стану вам мешать.

Он постоял за стулом Фарфрэ, глядя, как ловко тот рассеивает цифровые туманы, которые так сгустились в этих конторских книгах, что порой ставили в тупик даже сметливого шотландца. На лице у зерноторговца отразилось восхищение, смешанное, однако, с жалостью, которую он испытывал ко всем, у кого была охота возиться с такими мелочами. Сам Хенчард ни по свойствам своего ума, ни физически не был способен разбираться в бумажных тонкостях: его воспитали, как Ахиллеса наших дней, и писание было для него мукой.

— На сегодня хватит,— сказал он наконец, покрывая бумагу широкой ладонью.— И завтра успеется. Пойдемте-ка со мной в дом, поужинаем вместе. Обязательно! Я этого требую.

Он закрыл счетные книги с дружеской бесцеремонностью.

Дональд собирался пойти домой, но он уже понял, что его новый друг и хозяин не знает удержу в своих желаниях и порывах, и поэтому уступил, не прекословя. Ему нравилась горячность Хенчарда, даже если она его стесняла, а несходство их характеров усиливало его симпатию к хозяину.

Он заперли контору, и молодой человек прошел вслед за своим спутником через маленькую калитку, которая вела прямо в сад Хенчарда, так что достаточно было сделать шаг, чтобы перейти от полезного к прекрасному. Сад был безмолвен, обрызган росой и напоен ароматами. Он занимал большое пространство позади дома, возле которого раскинулись цветник и лужайка; за ними тянулись шпалеры фруктовых деревьев, таких же старых, как сам этот старый дом, и до того толстых, кривых и узловатых, что в процессе роста они вытащили из почвы шести, к которым были подвязаны, и стояли скрюченные, как бы корчась в муках,— Лаокооны в одежде из листьев. Цветов, благоухавших так сладостно, не было видно в темноте, и спутники прошли мимо них в дом.

Хенчард угощал молодого человека так же радушно, как утром, и после ужина сказал:

— Подвиньте свое кресло к камину, дорогой мой, и давайте посидим у огонька... терпеть не могу холодных каминов даже в сентябре.

Он поднес спичку к сложенным в камине дровам, и комнату озарил яркий свет.

— Странно все-таки,— проговорил Хенчард,— вот два человека знакомятся — как познакомились мы — на чисто деловой почве, и в конце первого же дня мне хочется поговорить с тобой об одном семейном деле. Черт побери, ведь я все-таки одинокий человек, Фарфрэ, мне больше не с кем словом перемолвиться; так почему бы мне не рассказать этого тебе?

— Я охотно выслушаю вас, если только могу чем-нибудь помочь,— сказал Дональд, рассеянно оглядывая замысловатый резной орнамент на деревянной каминной полке, изображавший задрапированный череп быка, от которого в обе стороны тянулись обвитые гирляндами лиры, щиты и колчаны, оканчиваясь с одной стороны барельефом головы Аполлона, а с другой — Дианы.

— Я не всегда был тем, кем стал теперь,— продолжал Хенчард, и его твердый низкий голос слегка задрожал. Он, видимо, пришел в то странное душевное состояние, когда люди иной раз признаются новому другу в том, чего никогда бы не открыли старому.— Я начал жизнь рабочим — вязальщиком сена — и восемнадцати лет от роду женился на такой же работнице, как и я. Вы бы не подумали, что я женат?

— Я слышал в городе, что вы вдовец.

— Ну, да... конечно, слышали... Восемнадцать лет назад я потерял жену — по своей вине... Вот как все это произошло: однажды летним вечером я отправился на поиски работы, и жена моя шла рядом, с ребенком на руках, нашим единственным ребенком. Мы подошли к палатке на одной деревенской ярмарке. Я тогда выпивал.

Хенчард на минуту замолк и, опершись локтем о стол, прикрыл глаза рукой, что, однако, не могло скрыть сосредоточенной работы мысли, наложившей свою печать на его застывшие черты и не покидавшей их, пока он во всех подробностях не рассказал о своей сделке с матросом. Равнодушие, отражавшееся на лице шотландца в первые минуты, теперь сменилось вниманием.

Затем Хенчард рассказал о своих попытках найти жену, о том, как он дал зарок и какую одинокую жизнь вел в последующие годы.

— Восемнадцать лет я не нарушал обста,— продолжал он,— и наконец достиг теперешнего свсего положения.

— Да!

— Ну вот... все это время я ничего не знал о жене, и так как я от природы недолюбливаю баб, мне нетрудно сторониться их. Повторяю, я ничего не знал о жене до сегодняшнего дня. А теперь... она вернулась.

— Да неужели вернулась!

— Нынче утром... не дальше как нынче утром. Что же теперь делать?

— А вы бы не могли взять ее к себе, жить с ней и этим искупить прошлое?

— Это самое я и решил предложить ей. Но, Фарфрэ,— Хенчард нахмурился,— справедливо поступив с Сьюзен, я обижу другую неповинную женщину.

— Каким образом?

— Жизнь так устроена, Фарфрэ, что человеку моего склада почти невозможно прожить двадцать лет без промахов. Я много

лет ездил на остров Джерси по делам, особенно в сезон уборки картофеля и овощей. Я веду там крупную торговлю по этой части. Так вот как-то раз, осенью, когда я там жил, я тяжело заболел, и во время болезни меня одолело уныние, от которого я иногда страдаю, потому что в личной жизни я одиноч, — в такие дни мир кажется мне темным, как преисподняя, и я, подобно Иову, готов проклясть день своего рождения.

— А вот я никогда не испытывал этого, — вставил Фарфрэ.

— Так молитесь богу, юноша, чтобы это вас миновало. Ну вот, когда я был в таком состоянии, меня пожалела одна женщина — лучше сказать, молодая леди, потому что она была из хорошей семьи, отлично воспитана и образованна, — дочь какого-то забулдыги-офицера, который попал в историю, после чего с него удерживали все жалованье. Впрочем, к тому времени он уже умер, мать ее тоже умерла, и девушка была так же одинока, как и я. Она жила в том пансионе, где я остановился, и, когда я слег, взялась за мной ухаживать. И тут она по глупости влюбилась в меня. Бог знает почему, — ведь я этого вовсе не поощрял. Но мы жили в одном доме, а девушка она была пылкая, так что мы, натурально, сблизились. Я не буду говорить подробно о наших отношениях. Достаточно сказать, что мы искренне хотели пожениться. И тут произошел скандал, который не повредил мне, но, как и надо было ожидать, погубил ее. Говоря между нами, Фарфрэ, как мужчина мужчине, клянусь — добродетель это моя или порок, — только волокитой я никогда не был. Девушка ничуть не старалась соблюдать приличия, а я, пожалуй, еще меньше, в таком я был угнетенном состоянии; это-то и вызвало скандал. Но вот я выздоровел и уехал. Когда я уехал, ей пришлось многое вытерпеть из-за меня, причем все это она описывала мне в письмах, которые посылала одно за другим; и наконец я понял, что кое-чем обязан ей... я подумал, что, раз я столько лет ничего не слышал о Сьюзен, надо мне этой другой дать единственно возможное для меня возмещение, если, конечно, она пойдет на риск замужества с человеком жепатым (впрочем, какой тут риск, думал я, ведь едва ли Сьюзен еще жива) и согласится выйти за меня. Девушка пришла в восторг, и мы, наверное, скоро поженились бы... но вдруг появляется Сьюзен!

Дональд не скрыл тяжелого впечатления, которое произвела на него эта сложная история, не имевшая ничего общего с тем, что он знал по своему скромному личному опыту.

— Теперь смотрите, сколько вреда можно причинить окружающим! В молодости я совершил скверный поступок — тогда на ярмарке, — но, если б я и впоследствии не проявил себя эгоистом, если б я не позволил этой взбалмошной девушке на Джерси привязаться ко мне во вред ее доброму имени, все было бы просто... Теперь же я вынужден принести горькое разочарование одной из этих женщин, а именно — второй. Ибо прежде

всего я обязан выполнить свой долг по отношению к Сьюзен: тут колебаться не приходится.

— Да, печальное у них положение, что правда, то правда! — негромко проговорил Дональд.

— Именно! О себе я не думаю... для меня конец один. Но они обе... — Хенчард умолк и задумался. — И со второй и с первой я должен поступить так справедливо, как только может поступить мужчина в подобном случае.

— Да, ничего не поделаешь! — проговорил его собеседник с философической грустью. — Вы должны написать девушке и в письме ясно и честно объяснить, что она не может стать вашей женой, потому что вернулась первая ваша жена, что вы больше не можете встречаться с нею и что... желаете ей счастья.

— Этого мало. Видит бог, я обязан сделать больше! Я должен — хоть она вечно хвастает каким-то своим богатым дядей или богатой теткой и надеется получить от них наследство, — я должен послать ей, бедняжке, приличную сумму денег... так сказать, в виде небольшого возмещения... Так вот, не согласитесь ли вы помочь мне — объяснить ей все, что я вам сказал, но как можно мягче? Я не мастер писать письма.

— Охотно.

— Однако я вам еще не все сказал. Моя жена Сьюзен привела с собой мою дочь — ту самую, которую она несла на руках, когда мы шли на ярмарку, — и девушка знает обо мне только то, что я прихожусь им каким-то свойственником. Она с детства считала своим отцом и мужем своей матери того моряка, которому я отдал ее мать и который теперь умер. Сьюзен всегда думала, а теперь оба мы думаем, что не надо говорить ей правду — нельзя же нам опозорить себя перед девочкой... Как бы вы поступили?.. Посоветуйте.

— Мне кажется, я бы рискнул и сказал ей правду. Она простит вас обоих.

— Никогда! — возразил Хенчард. — Правды я ей не скажу. Я снова женюсь на ее матери, и это не только поможет нам сохранить уважение нашей дочери, но и будет более прилично. Сьюзен считает себя вдовой моряка и ни за что не согласится жить со мной без нового венчания в церкви... и она права.

Фарфрэ на это ничего не ответил. Тщательно выбирая слова, он написал письмо молодой особе на Джерси, и этим закончилась его беседа с Хенчардом, который сказал ему на прощанье:

— У меня гора с плеч свалилась, Фарфрэ, после того как я рассказал обо всем этом вам, моему другу! Вы теперь видите, что у кэстербриджского мэра не так уж хорошо на душе, как кажется, судя по его карману.

— Вижу. И сочувствую вам! — отозвался Фарфрэ.

Когда он ушел, Хенчард переписал черновик и, вложив в письмо чек, отнес его на почту; домой он шел, глубоко задумавшись.

«Неужели все это уладится так легко! — думал он. — Бог знает... Бедняжка!.. Ну, а теперь примусь искупать свою вину перед Сьюзен».

ГЛАВА XIII

Верный принятому решению, Майкл Хенчард нанял для своей жены Сьюзен, на имя «миссис Ньюсон», коттедж, расположенный в верхней, западной части города, у земляного вала и теннстой аллеи. Осенью казалось, будто вечернее солнце пылает здесь более ярким желтым пламенем, чем в других местах, и на закате оно пронизывало своими лучами нижние ветви кленов, заливая первый этаж домика с зелеными ставнями потоком света, который не мог проникнуть в верхние комнаты, затененные листвой. Из гостиной в просветах между кленами городского вала видны были могильные холмы и земляные укрепления на далеких возвышенностях. В общем, это был прелестный уголок, овеянный легкой грустью, как и все места, ноющие отпечаток прошлого.

Как только мать и дочь удобно устроились, наняли служанку в белом переднике и обзавелись хозяйством, Хенчард панес им визит и остался пить чай. Во время чаепития девушку всячески старались обмануть, поддерживая разговор на самые общие темы, и это немного потешало Хенчарда, но было не особенно приятно его жене. Мэр с деловитой решимостью продолжал наносить визиты матери и дочери, видимо заставив себя ступить на официальный путь суровой формальной справедливости по отношению к первой женщине, имевшей на него права, но в ущерб второй и паперекор своим собственным чувствам.

Как-то раз, под вечер, когда дочери не было дома, Хенчард пришел и сказал сухо:

— Ну, Сьюзен, не пора ли мне попросить тебя назначить «день радости и веселия»?

Бедная женщина слабо улыбнулась; ее коробили шуточки над тем положением, в которое она добровольно поставила себя только ради репутации своей дочери. Ее это так огорчало, что оставалось лишь удивляться, почему она вообще решилась на обман, вместо того чтобы мужественно признаться дочери во всем. Но плоть слаба; к тому же в свое время все объяснилось.

— О Майкл! — проговорила она. — Мне неприятно, что ты из-за нас хлопочешь и теряешь время, а ведь я ничего такого не ожидала!

И она посмотрела на него, на его дорогой костюм, на купленную им обстановку этой комнаты, казавшуюся ей вычурной и слишком роскошной.

— Совсе нет, — возразил Хенчард с грубоватым добродушием. — Это ведь просто коттедж, он мне почти ничего

не стоил. Что касается времени,— тут его багровое лицо, казавшееся особенно красным в обрамлении черных волос; засияло от радости,— то моими делами теперь управляет один замечательный юноша — такого мне еще ни разу не попадалось. Скоро я смогу сдать ему на руки все, и у меня будет больше свободного времени, чем за все последние двадцать лет.

Хенчард так часто и так регулярно приходил в коттедж, что в Кэстербридже скоро начали шептаться, а потом и говорить открыто, что властный, деспотичный мэр города пленен и очарован благородной вдовой, миссис Ньюсон. Его высокомерное, всем известное равнодушие к дамскому обществу, его молчаливое нежелание общаться с женщинами придавали острый интерес ухаживанию, которое никому не казалось бы романтическим, будь он другим человеком. Нельзя было понять, почему такая жалкая, хрупкая женщина сделалась его избранницей, и их помолвку расценивали как семейное дело, в котором любовь не играла роли: ведь всем было известно, что жених с невестой в какой-то степени сродни. Сьюзен была так бледна, что мальчишки прозвали ее «Привиденьем». Случалось, что Хенчард слышал это слово, когда они вдвоем шли по бульварам — так называли аллеи на валу, — и тогда лицо его темнело и принимало зловещее выражение, не сулившее насмешникам ничего хорошего; но он молчал.

Он торопил подготовку к своему соединению, точнее воссоединению, с этой бледной женщиной,— торопил с неуклонной решимостью, делавшей честь его совестливости. Никто не догадался бы по его поведению, что ни пламя страсти, ни трепет влюбленности не вдохновляют суету, происходящую в его мрачном, огромном доме,— да, в сущности, и ничто не вдохновляет, если не считать трех принятых им важных решений: первое — искупить свою вину перед покинутой Сьюзен; второе — дать приют Элизабет-Джейн, окружив ее удобствами под надзором его родительского ока; и третье — бичевать себя терниями, на что обрекало его выполнение этого нравственного долга, причем одним из этих терний была уверенность, что он потеряет во мнении общества, жепившись на столь заурядной женщине.

Сьюзен Хенчард первый раз в жизни села в экипаж, когда в день ее свадьбы к дому подъехала простая двухместная карета, запряженная одной лошадью, чтобы отвезти ее и Элизабет-Джейн в церковь. Было безветренное утро; моросил теплый ноябрьский дождь со снегом, который сыпался, как мука, и запылил все шляпы и пальто. У церковных дверей стояло только несколько человек, но сама церковь была набита битком. Шотландец, выступавший в роли шафера, был здесь единственным, если не считать самих виновников торжества, кто знал правду о женихе и невесте. Но он был так неопытен, добросовестен, рассудителен, так ясно сознавал серьезность

происходящего события, что не замечал всей его трагичности. Для этого нужны были специфические качества Кристофера Кони, Соломона Лонгуэйса, Базфорда и их приятелей. Но они и не подозревали о тайне; впрочем, когда настало время новобрачным выйти из церкви, вся компания собралась на ближнем тротуаре и принялась обсуждать событие со своей точки зрения.

— Вот уже сорок пять лет, как я живу в этом городе,— сказал Кони,— по убей меня бог, если я хоть раз в жизни видел, чтобы человек, ждавший так долго, взял так мало! После этого можно сказать, что даже ты, Нэнс Мокридж, можешь не терять надежды!

Последние слова он сказал, обернувшись к стоявшей позади него женщине, той самой, что показывала всем плохой хлеб Хенчарда, когда Элизабет и ее мать пришли в Кэстербридж.

— Будь я проклята, если выйду за такого, как он или как ты,— отозвалась эта особа.— Что до тебя, Кристофер, мы тебя знаем как облупленного, и чем меньше про тебя говорить, тем лучше. А что до него... так ведь...— она понизила голос,— говорят, будто он был бедняком, работал в учениках и жил на пособие от прихода... Я ни за что на свете не буду болтать об этом... но он действительно был жалким приходским учеником, и, когда начал жить, добра у него было не больше, чем у вороны.

— А теперь он каждую минуту получает прибыль,— проворчал Лонгуэйс.— Когда про человека говорят, что он получает столько-то прибыли в минуту, с ним нельзя не считаться!

Обернувшись, он увидел диск, покрытый сетью морщин, и узнал улыбающееся лицо той толстухи, что в «Трех морях» прислала шотландца спеть еще песню.

— Слушай-ка, тетка Каксом,— начал Соломон Лонгуэйс,— как же это получается? Миссис Ньюсоп — можно сказать, скелет, а не женщина — подцепила второго муженька, а ты, бабича с таким тоннажем, не сумела.

— И не хочу. На что мне второй муж? Чтобы он меня колодил?... Нет уж, как говорится, «нет Каксома, не будет и кожаных штанов в доме».

— Да, с божьей помощью, кожаные штаны тью-тью!

— Мне, старухе, о втором муже думать не годится,— продолжала миссис Каксом.— Но помереть мне на этом месте, если я родилась не в такой же почтенной семье, как она.

— Правильно! Твоя мать была очень хорошая женщина,— я ее помню. Сельскохозяйственное общество наградило ее за то, что она родила пропасть здоровых ребят без помощи прихода, а также за другие чудеса добродетели.

— Это-то нам и мешало подняться: очень уж велика была семья.

— Именно. Где много свиней, там нехватка помоев.

— А помнишь, Кристофер, как пела моя мать? — продолжала миссис Каксом, возбужденная воспоминаниями. — И как мы пошли с ней на пирушку в Меллсток, помнишь? К старухе Ледлоу, сестре фермера Шайнера, помнишь? Еще мы ее прозвали Жабьей Кожей за то, что лицо у нее было такое желтое и веснушчатое, помнишь?

— Помню, как не помнить, — отозвался Кристофер Кони, посмеиваясь.

— И я тоже хорошо помню: ведь я в то время была уже на выданье — полдевки, полбабы, как говорится. А ты не забыл, — и она ткнула его пальцем в плечо, а глаза ее заблестели в щелках между веками, — ты не забыл про херес и про серебряные щипцы для снятия нагара, да как Джоан Даммит раскисла, когда мы возвращались домой, и Джеку Григсу, хочешь не хочешь, пришлось перетащить ее через грязь, и как он уронил ее в коровьем загоне на молочной ферме Суитэпла, и нам пришлось оттирать ее платье травой?.. В жизни я не бывала в такой переделке!

— Да... этого я не забыл... Ведь как только не баловались в старину, чего только не выделявали, вот уж право! Эх, сколько миль я тогда отшагал на своих на двоих, а теперь едва силы хватает переступить через борозду!

Поток их воспоминаний был прерван появлением воссоединившейся четы, и Хенчард оглядел зевак тем характерным для него взглядом, в котором попеременно отражались удовлетворенное самолюбие и презрение.

— Да... не одного они поля ягода, хоть он и называет себя трезвенником, — заметила Нэнс Мокридж. — Придется ей хлебнуть горя, прежде чем она от него избавится. Он чем-то на Синюю Бороду смахивает, и, придет час, это скажется.

— Чушь, он человек неплохой! Некоторым людям одного счастья мало, — хотят его с маслом кушать. Был бы у меня выбор, как океан-море, я и то не пожелала бы лучшего мужа. Несчастная плакса, да это ей бог послал, ведь у нее-то самой и гроша за душой нет.

Скромная маленькая карета отъехала и скрылась в тумане, а зеваки разбрелись кто куда.

— Да, в нынешние времена прямо не знаешь, как смотреть на вещи! — сказал Соломон Лонгуэйс. — Вчера не так далеко отсюда какой-то человек упал мертвый, и как об этом вспомнишь, да еще погода стоит больно сырая, так прямо душа не лежит браться за какую-нибудь работу. Я совсем зачах оттого, что вот уже две недели пью не больше чем по девятишенсовому стаканчику, так что придется, видно, зайти погреться в «Три моряка», когда буду проходить мимо.

— Не пойди ли мне с тобой, Соломон? — сказал Кристофер Кони. — А то я весь отсырел, как слизняк липкий.

ГЛАВА XIV

Бабье лето настало в жизни миссис Хенчард, когда она вошла в большой дом своего супруга и в круг почтенных его знакомых, и оно выдалось таким ясным, какой только может быть эта пора. Ее муж боялся, как бы она не стала жаждать более глубокой привязанности, чем та, какую он мог ей дать, и потому всячески старался выказать ей хотя бы видимость любви. Между прочим, он велел выкрасить ярко-зеленой краской железные перила, которые обросли тусклой ржавчиной и вот уже восемьдесят лет имели весьма жалкий вид, а подъемные окна времен короля Георга, с тяжелыми рамами и частым переплетом, обновили, покрыв их тремя слоями белил. Он обращался с женой так ласково, как только может обращаться мужчина, мэр и церковный староста. Дом был просторный, комнаты с высокими потолками, лестничные площадки широкие, и две неприязнительные женщины казались лишь едва заметным дополнением к его убранству.

Для Элизабет-Джейн это время было очень счастливым. Свобода, которой она пользовалась, поблажки, которые ей делали, превзошли ее ожидания. Спокойная, беззаботная, бездельная жизнь, начавшаяся с замужеством ее матери, дала толчок к большим переменам в Элизабет-Джейн. Оказалось, что она может иметь сколько угодно красивых вещей и нарядов, а, как гласит средневековая поговорка, «брать, иметь и сохранять — приятные слова». Вместе с душевным спокойствием настал расцвет всего ее существа, а вместе с расцветом пришла красота. В знании жизни — следствии острой врожденной интуиции — у нее не было недостатка, но образования, умения держать себя в обществе — этого у нее, к сожалению, не было; зато, по мере того как проходили зима и весна, ее осунувшееся лицо и худощавое тело полнели, приобретая более округлые и мягкие формы; морщинки на юном лбу сгладились, а землистый цвет лица, который она раньше считала врожденным, побелел, когда ее жизнь изменилась, окружив ее изобилием материальных благ, и теперь на щеках девушки появился румянец. Порой ее серые задумчивые глаза стали загораться лукавой веселостью; но это случалось не часто, — мудрость, глядевшая из этих глаз, неохотно сочеталась с беспечностью. Как и всем, кто знал тяжелые времена, веселость казалась ей чем-то неразумным и неуместным, чему не следует поддаваться, — разве что изредка, в минуты праздничного настроения; ведь она так давно привыкла к тревожной рассудительности, что не могла сразу отвыкнуть от нее. Она не переживала тех беспричинных подъемов и упадков духа, которые бывают у многих людей; не было случая — перефразируя цитату из одного современного поэта, — не было случая, чтобы в душу к ней прокралось уныние и она бы не знала, как оно прокралось туда; и если теперь

она стала жизнерадостной, то для этого появились веские основания.

Естественно было ожидать от девушки, которая быстро хорошеела, жила в комфорте и первый раз в жизни располагала свободными деньгами, что она начнет наряжаться без удержу. Но нет. Разумность поведения Элизабет-Джейн ни в чем не сказывалась так заметно, как в выборе нарядов. Отставать от своих возможностей в выполнении прихотей — привычка столь же полезная, как идти в погу с возможностями, когда речь идет о делах. Эта простодушная девушка именно так и поступила, руководствуясь врожденной проницательностью. Весной она не пожелала внезапно расцвести, подобно водяной лилии, и разукраситься буфами и побрякушками, как поступили бы многие кэстербриджские девушки, будь они на ее месте. Ее торжество умерялось осмотрительностью: зная, что ее будущее обеспечено, она по-прежнему, как полевая мышь, боялась плуга судьбы, — страх, свойственный вдумчивым людям, которые с детства страдали от бедности и угнетения.

«Я ни за что на свете не буду веселиться, — говорила она себе. — Это все равно что искушать провидение, которое может пизвергнуть нас с матушкой и снова покарать, как раньше карало».

Теперь она ходила в черной шелковой шляпке, бархатной мантилье или шелковом спенсере, темном платье и с зонтиком в руках. Зонтик она выбрала самый простой, без бахромы, с колечком из слоновой кости, которое надевалось на него, чтобы он не распускался, когда был закрыт. Странно, зачем понадобился ей этот зонтик? Видимо, она решила, что если лицо ее побелело, а на щеках появился румянец, значит, кожа стала более чувствительной к солнечным лучам. С тех пор Элизабет всегда защищала от солнца щеки, считая загар несовместимым с женственностью.

Хенчард очень привязался к ней, и теперь она гуляла с ним чаще, чем с матерью. Как-то раз она показалась ему очень хорошенькой, и он окинул ее критическим взглядом.

— Эта лента у меня была, вот я ее и пришила, — робко проговорила Элизабет-Джейн, подумав, что Хенчарду, быть может, не понравилась довольно яркая отделка, впервые появившаяся на ее платье в тот день.

— Да... конечно... почему бы и нет? — отозвался он с царственной списходительностью. — Поступай как хочешь или, вернее, как тебе советует мать. Бог свидетель, я не против!

Она причесывалась на поперечный пробор, огибавший ее голову от одного уха до другого, словно белая радуга. Темя ее покрывала копна густых локонов; на затылке волосы были приглажены и свернуты узлом.

Как-то раз все семейство сидело за завтраком, и Хенчард, по своему обыкновению, молча смотрел на пышные локоны

девушки — у нее были каштановые волосы, не темно-, а светло-каштановые.

— Я думал о волосах Элизабет-Джейн... Помнится, ты говорила мне, когда Элизабет-Джейн была ребенком, что волосы у нее будут черные, — заметил он, обращаясь к жене.

Сьюзен смугилась, предостерегающе толкнула его ногой и пролепетала:

— Разве?

Как только Элизабет ушла в свою комнату, Хенчард возобновил разговор:

— Черт возьми, я давеча чуть было не проболтался! Но я хотел сказать: когда девочка была грудным ребенком, казалось, что волосы у нее будут темнее, чем теперь.

— Да, по цвет волос так меняется, — проговорила Сьюзен.

— Волосы темнеют, это мне известно... но я не знал, что они могут светлеть.

— Могут.

И на лице ее снова отразилась тревога, которая объяснилась впоследствии. Впрочем, это тревожное выражение исчезло, как только Хенчард сказал:

— Ну, тем лучше. И вот еще что, Сьюзен, я хочу, чтобы ее называли мисс Хенчард, а не мисс Ньюсон. И теперь уже многие называют ее так по ошибке, а ведь это ее настоящая фамилия, так что лучше бы девочке принять ее... Мне не по душе, что моя родная дочь носит ту, другую, фамилию. Я помещу на счет этого объявление в кэстербриджской газете — так принято. Девочка не будет возражать.

— Нет. Конечно, нет. Но...

— Прекрасно, значит, так я и сделаю, — перебил он ее безапелляционным тоном. — Сама она не против, а ты ведь этого хочешь не меньше меня, правда?

— Конечно... если она согласится, так и сделаем, непременно, — отозвалась Сьюзен.

После этого миссис Хенчард повела себя немного непоследовательно, можно было бы даже сказать — двулично, если бы весь ее облик не обнаруживал волнения и той внутренней собранности, какие отличают человека, стремящегося поступить так, как велит ему совесть, хоть он и знает, что подвергается большому риску. Она пошла к Элизабет-Джейн, которая шила в своей комнате наверху, и сказала, что Хенчард предложил ей переменить фамилию.

— Можешь ли ты согласиться... не будет ли это неуважением к памяти Ньюсона... теперь, когда его нет на свете?

Элизабет призадумалась.

— Я подумаю, матушка, — сказала она.

Встретившись позже с Хенчардом, она сейчас же заговорила на эту тему, не скрывая, что разделяет мнение матери.

— Вы очень хотите, чтобы я переменяла фамилию, сэр? — спросила она.

— Хочу ли я? Господи боже мой, какой шум поднимают женщины из-за пустяков! Я предложил это... вот и все. Слушай, Элизабет-Джейн, поступай, как тебе заблагорассудится. Будь я проклят, если мне не все равно, что ты делаешь! Пойми меня хорошенько, не вздумай соглашаться только в угоду мне.

На этом разговор прекратился; больше ничего не было сказано и ничего не было сделано, и Элизабет-Джейн по-прежнему называли «мисс Ньюсон», а не «мисс Хенчард».

Между тем крупная торговля зерном и сеном, которую вел Хенчард, как никогда расцвела под управлением Дональда Фарфрэ. Раньше дело подвигалось рывками, теперь катилось на смазанных колесах. Фарфрэ отменил старозаветные примитивные методы Хенчарда, который во всем полагался на свою память, а сделки заключал только на словах. Письма и гроссбухи пришли теперь на смену словам: «сделаю» и «доставлю», и, как это всегда бывает во времена реформ, неуклюжее своеобразие патриархального метода исчезло вместе с его неудобствами.

Комната Элизабет-Джейн была наверху, из нее открывался широкий вид на амбары и сарай за садом, и девушка могла наблюдать за всем, что там происходило. Она видела, что Хенчард и мистер Фарфрэ почти не разлучаются. Прохаживаясь со своим управляющим, Хенчард фамильярно клал ему руку на плечо, как если бы Фарфрэ приходился ему младшим братом, и так тяжело опирался на него, что худощавое тело молодого человека сгибалось под этим грузом. Иногда Элизабет слышала, как Хенчард после какого-нибудь замечания Дональда раздражался настоящей канонадой хохота, а сам Дональд, видимо не понимая, чем она вызвана, даже не улыбался. Немного тяготясь одиночеством, Хенчард, очевидно, обрел в молодом человеке не только дельного советчика, но и приятного собеседника. Хлеботорговец восхищался острым умом Дональда не меньше, чем в первый час их знакомства. Его невысокое и плохо скрываемое мнение о телосложении, физической силе и напористости худощавого юноши с избытком уравновешивалось громадным уважением к его уму.

Спокойные глаза Элизабет-Джейн видели, с какой тигрипой страстностью привязывается Хенчард к шотландцу и как его постоянное стремление не разлучаться с ним иногда переходит в желание подчинить его себе — желание, которое он, однако, подавлял, если Фарфрэ давал понять, что обижен. Однажды, глядя на них сверху, когда они стояли у калитки, которая вела из сада во двор, она услышала, как Дональд сказал, что их привычка всюду ходить и ездить вместе сводит на нет ту пользу, которую он мог бы приносить как «вторые глаза» там, где хозяин отсутствует.

— К черту! — вскричал Хенчард. — Плевать мне на это! Я люблю поговорить с хорошим человеком. Пойдемте-ка лучше

поужинаем, и не забивайте себе голову всякой всячиной, а то вы меня с ума сведете.

И еще одно: Элизабет-Джейн, гуляя с матерью, часто замечала, что шотландец поглядывает на них с каким-то странным интересом. Это было трудно объяснить их встречей в «Трех моряках», — ведь в тот вечер он даже не поднял глаз, когда Элизабет-Джейн вошла в его комнату. Кроме того, он, к досаде Элизабет-Джейн — полуосознанной, простодушной и, быть может, простиительной досаде, — больше смотрел на мать, чем на дочь. Итак, она не могла приписать его внимание своей привлекательности и решила, что, быть может, все это ей кажется: просто у мистера Фарфрэ привычка следить глазами за людьми.

Девушка не подозревала, что она тут ни при чем и внимание Дональда легко объяснялось тем, что Хенчард вверил ему тайну своего прошлого и рассказал, как он поступил с ее матерью, той бледной, исстрадавшейся женщиной, которая брела сейчас рядом с нею. А представление Элизабет об этом прошлом не шло дальше смутных догадок, основанных на том, что она случайно видела и слышала; она предполагала, что Хенчард и ее мать любили друг друга в молодости, но поссорились и разошлись.

Как уже говорилось, Кэстербридж был точно кубик, поставленный на пшеничное поле. У него не было пригородов в теперешнем смысле этого слова, не было и таких окраин, где город сливается с деревней и образуется нечто промежуточное между ними. Кэстербридж стоял на этой просторной плодородной земле, резко очерченный и четкий, словно шахматная доска на зеленой скатерти. Сынишка фермера, сидя под скирдой ячменя, мог бросить камень в окно конторы городского клерка; жнецы, работающие среди снопов, кивали знакомым, стоящим на углу тротуара, судья в красной мантии, осудив грабителя за кражу овец, произносил приговор под врывающиеся в окно блеяние поредевшего стада, которое паслось где-то поблизости; а во время казней толпа стояла на лугу прямо перед ложбиной, откуда на время сгоняли коров, чтобы зрителям было просторнее.

Пшеницу, выращенную на возвышенности за городом, собирали в амбары фермеры, обитавшие на восточной его окраине, в предместье Дарновер. Здесь скирды громоздились у старой римской дороги, подымаясь чуть ли не до церковной колокольни; амбары с зелеными тростниковыми крышами, с дверями, высокими, как врата Соломонова храма, стояли прямо на городской улице. Амбаров было столько, что они встречались через каждые несколько домов. Здесь жили горожане, ежедневно шагавшие по пашне, и пастухи, ютившиеся в тесных лачугах. Улица фермерских усадеб, улица, подчиненная мэру и городскому совету, но где слышались стук цепа, шум веялки и мурлыканье молочных струй, льющихся в подойники, — ули-



ца, ничем не напоминавшая городскую, — вот каким было кэстербриджское предместье Дарновер.

Хенчард, разумеется, вел крупные дела с этим ближайшим питомником, или рассадником, мелких фермеров, и его повозки часто направлялись в ту сторону. Как-то раз, когда он вывозил пшеницу с чьей-то местной фермы, Элизабет-Джейн получила с посыльным записку, в которой ее вежливо просили немедленно прийти в один амбар на Дарноверском холме. Это был как раз тот амбар, из которого Хенчард вывозил пшеницу, и девушка подумала, что обращенная к ней просьба имеет какое-то отношение к его делам, поэтому она надела шляпку и, не медля ни минуты, отправилась туда. Амбар стоял на каменных столбах, в рост человека, во дворе фермы, у входных ворот. Ворота были открыты, но во дворе никого не было. Тем не менее девушка вошла и стала ждать. Вскоре она увидела, что кто-то подходит к воротам; это был Дональд Фарфрэ. Он посмотрел вверх на башенные часы церковной колокольни и вошел во двор. Движимая какой-то необъяснимой застенчиво-

стью, нежеланием встретиться здесь с ним наедине, девушка быстро поднялась по стремянке, приставленной к дверям амбара, и вошла туда, прежде чем шотландец успел ее заметить. Фарфрэ подошел к амбару, уверенный, что он здесь один; а когда стал накрапывать дождь, перешел на то место, где только что стояла Элизабет-Джейн. Здесь он прислонился к каменному столбу и, видимо, запасая терпением. Очевидно, он тоже ожидал кого-то, — неужели ее? — и если да, то для чего? Несколькими минут спустя он взглянул на свои часы, потом вынул записку — копию той, которую получила Элизабет-Джейн.

Положение становилось очень неловким, и чем дольше ждала Элизабет, тем более неловким оно казалось ей. Выйти из амбара прямо над головой Дональда, спуститься по лестнице и, значит, признаться в том, что она здесь пряталась, было бы так глупо, что девушка не решалась на это. Поблизости стояла вейлка, и Элизабет, желая хоть чем-нибудь разрядить напряжение, тихою погнула рукоятку; тотчас поднялось целое облако пшеничной мякины, которая полетела ей в лицо, засыпала ее платье и шляпу и застряла в мехе пелеринки. Молодой человек, вероятно, услышал легкий шум; бросив взгляд вверх, он поднялся по лестнице.

— А-а... да это мисс Ньюсон, — сказал он, рассмотрев ее в сумраке амбара. — Я и не знал, что вы здесь. Я пришел на свидание и готов служить вам.

— О, мистер Фарфрэ, — пролепетала она, — я тоже. Но я не знала, что это вы хотели видеть меня, а то бы я...

— Я хотел вас видеть? Совсе нет... то есть я хочу сказать, что, очевидно, произошло какое-то недоразумение.

— Значит, это не вы просили меня прийти? Это не вы писали?

Элизабет протянула ему записку.

— Нет. У меня этого и в мыслях не было! А вы... разве не вы пригласили меня сюда? Это не ваш почерк?

И он показал ей свою записку.

— Нет, не мой.

— Вот так загадка! Значит, кто-то хочет видеть нас обоих. Пожалуй, нам лучше подождать еще немного.

Порешив на этом, они остались, и Элизабет-Джейн придала своему лицу выражение сверхъестественного спокойствия, тогда как молодой шотландец, заслышав шаги на улице, всякий раз выглядывал из амбара: а вдруг прохожий войдет во двор и объявит, что это он вызвал их обоих сюда. Молодые люди следили за редкими дождевыми каплями, которые катились по верху скирды, с соломинки на соломинку, пока не докатывались до края, но никто не приходил, а крыша амбара начала протекать.

— Этот человек, должно быть, не придет, — сказал Фарфрэ. — Может быть, все это просто шутка, а если так, очень жалко тратить время попусту, когда дел так много.

— Кто-то позволил себе большую вольность,— промолвила Элизабет.

— Вы правы, мисс Ньюсон. Когда-нибудь все разъяснится, не сомневайтесь, и мы узнаем, чья это проделка. Я бы посмотрел на нее сквозь пальцы, если бы все это отняло время у меня одного, но вы, мисс Ньюсон...

— Я не сержусь... не очень,— отозвалась она.

— И я тоже.

Они снова умолкли.

— Вам, наверное, очень хочется вернуться в Шотландию, мистер Фарфрэ? — спросила она.

— Вовсе нет, мисс Ньюсон. Почему вы так думаете?

— Мне просто показалось, что вам этого хочется, когда вы вели в «Трех моряках»... песню о Шотландии и родном доме... мне казалось, вы так глубоко чувствуете ее — всем сердцем; так что и мы все стали сочувствовать вам.

— Да... я там пел... пел. Но, мисс Ньюсон,— воркующий голос Дональда то повышался, то понижался в пределах полутона, как всегда, когда он говорил серьезно,— хорошо несколько минут жить песней, когда глаза твои наполняются слезами; но вот песня допета, и что бы ты ни чувствовал, ты уже не вспоминаешь и не думаешь о ней долго-долго. Нет, нет, я не собираюсь возвращаться! Однако я с удовольствием спою вам эту песню, когда прикажете. Да мне и сейчас ничего не стоит спеть ее!

— Очень вам благодарна, но мне, к сожалению, пора уходить, хотя бы и под дождем.

— Вот как! В таком случае, мисс Ньюсон, лучше вам никому не говорить об этой проделке и позабыть о ней. А если тот, кто написал записку, вам что-нибудь скажет, будьте вежливы с ним или с ней, словно вы ничуть не обиделись, и тогда у этого умника смех застрянет в горле.— Он говорил, не отрывая глаз от ее платья, осыпанного пшеничной мякиной.— Вы вся в пыли и мякине. Быть может, вы этого не заметили? — проговорил он чрезвычайно деликатным тоном.— Нельзя идти под дождем, когда платье в мякине. Она застревает в ткани и портит ее. Позвольте мне помочь вам... лучше всего сдуть.

Элизабет не выразила согласия на эту просьбу, но и не отказала в ней, и Дональд Фарфрэ начал дуть на ее волосы сзади, и на ее волосы сбоку, и на ее шею, и на тулью ее шляпы, и на мех ее пелеринки, а Элизабет говорила: «Ах, благодарю вас»,— после каждого дуновения. Наконец он сдул с нее почти всю мякину, но, видимо перестав досадовать на недоразумение, не торопился уходить.

— Вот что... пойду-ка я принесу вам зонт,— сказал он.

Она отклонила это предложение, вышла и направилась домой, а Фарфрэ медленно пошел вслед за нею, задумчиво глядя на ее уменьшавшуюся на глазах фигуру и негромко насвистывая песню «Когда я пришел через Кэнноби».

ГЛАВА XV

Первое время расцветающая красота мисс Ньюсон не возбуждала большого интереса в Кэстербридже. Правда, «падчерица мэра», как ее называли теперь, привлекала внимание Дональда Фарфрэ,— но только его одного. Дело в том, что о ней нельзя было сказать лукавыми словами пророка Варуха: «Дева, что идет с веселым ликом».

Когда она гуляла по городу, казалось, будто вся она — в каком-то внутреннем чертоге мыслей и почти не нуждается в видимом мире. Она приняла своеобразное решение отречься от нарядных, ярких платьев, считая, что ее прошлое не дает ей права расцвести пышным цветком, как только она стала располагать деньгами. Но нет ничего коварнее превращения пустяковых капризов в желания, а желаний в потребности. Как-то раз весной Хенчард подарил Элизабет-Джейн коробку светлых перчаток. Ей хотелось носить их, чтобы показать, как она тронута его добротой, но у нее не было шляпки в тон перчаткам. Уступая требованиям хорошего вкуса, она решила купить такую шляпку. Когда же она купила шляпку в тон перчаткам, оказалось, что у нее нет платья, которое гармонировало бы со шляпкой. Необходимо было довершить начатое; она заказала себе платье, но вспомнила, что у нее нет зонтика, подходящего к платью. Истратив пенни — истратишь фунт; она купила зонтик, и наконец-то композиция была завершена.

Все были очарованы, и некоторые даже поговаривали, что ее прежняя простота в действительности была искусством, таившим искусство, — «тонким обманом», как выразился Ларошфуко: этим контрастом она добивалась эффекта и делала это преднамеренно. На самом же деле все объяснялось иначе, однако Кэстербридж, решив, что эта девушка себе на уме, заключил, что она заслуживает внимания.

«Первый раз в моей жизни мною так восхищаются,— думала она,— хотя, быть может, лишь те, чье восхищение ничего не стоит».

Но Дональд Фарфрэ тоже восхищался ею, и вообще для нее это было волнующее время; никогда еще в ней так сильно не сказывался ее пол,— раньше она была, пожалуй, слишком бесстрастной, и это мешало ее женственности проявиться. Как-то раз, после исключительно большого успеха, она пришла домой и, поднявшись наверх, бросилась на кровать лицом вниз, забыв о том, что ее платье может от этого смяться и пострадать.

— Боже мой, неужели это правда? — прошептала она. — Оказывается, я становлюсь первой красавицей города!

Когда же она обдумала это, ее охватила всегдашняя боязнь обмануться, переоценить происходящее, и она почувствовала глубокую печаль. «Что-то тут неладно,— рассуждала она,— знай они, что я такая необразованная девушка — и по-итальян-

ски не говорю, и в глобусах ничего не смыслю, и вообще понятия не имею о том, чему учатся в пансионах,— как они все презирали бы меня! Лучше мне продать все эти наряды и купить грамматики, словари и историю всех философий».

Она выглянула из окна и увидела на сенном дворе Хенчарда и Фарфрэ; они беседовали, и мэр говорил с той пылкой сердечностью, а молодой человек — с той мягкой скромностью, которые теперь всегда отличали их общение. Мужская дружба. Какая в ней была суровая сила — в дружбе этих двух мужчин! И все-таки семья, которому было суждено подорвать ее основы, уже пустило в щели росток.

Было около шести часов, и рабочие, один за другим, расходились по домам. Последним ушел сутулый подслеповатый парень лет девятнадцати, у которого то и дело широко раскрывался рот,— очевидно, потому, что его ничто не поддерживало, так как подбородка у парня не было. Хенчард громко окликнул его, когда он уже вышел за ворота:

— Эй ты, Эйбл Уиттл... сюда!

Уиттл повернулся и подбежал к хозяину.

— Да, сэр! — задыхаясь, пробормотал он умоляющим тоном, словно уже знал, что будет дальше.

— Повторяю, завтра утром приходи вовремя. Ты сам видишь, что тебе нужно делать, ты слышал мои приказания, так знай: опозданий я больше не потерплю.

— Да, сэр!

Эйбл Уиттл ушел, ушли и Хенчард с Дональдом, и Элизабет-Джейн больше не видела их.

Надо сказать, что Хенчард сделал выговор Уиттлу не без оснований. У «бедняги Эйбла», как все его называли, была одна застарелая привычка: он не мог не проспать и постоянно опаздывал на работу. Он всей душой желал придти как можно раньше, но если его товарищи забывали дернуть за веревку, которой он на ночь обвязывал себе большой палец на ноге, опустив другой конец веревки за окно, то его желание не исполнялось: он опаздывал.

Нередко он работал помощником на взвешивании сена или у крана, поднимавшего мешки, или же его вместе с другими рабочими посылали в деревню вывозить закупленные там стога, и, конечно, недостаток Эйбла причинял всем большие неудобства. За последнюю неделю он дважды заставлял других ждать его утром почти час; этим и объяснялась угроза Хенчарда. Завтрашний день должен был показать, подействовала она на парня или нет.

Пробило шесть часов, но Уиттл не показывался. В половине седьмого Хенчард вошел во двор; лошади были впряжены в повозку, на которой должен был ехать Эйбл, и возчик ждал его уже двадцать минут. Хенчард выругался, но в эту минуту Уиттл прибежал, еле переводя дух, хозяин накинулся

на него и заявил, что это последний раз: если Эйбл опять опоздает, Хенчард клянется, что сам пойдет стаскивать его с койки.

— Что-то со мной неладно, ваша милость! — отозвался на это Эйбл. — Особенно в нутре, потому что не успею я сотворить коротенькую молитву, как мои бедные тупые мозги деревенеют, словно чурки. Да... И это у меня началось с тех пор, как я стал подрастать, перед тем как мне полное жалованье положили, и хоть я и лежу в постели, а никакого удовольствия от этого не получаю: только лягу — уже засыпаю, только проснувшись — вставать надо. Я от этого весь извелся, хозяин, а что я могу поделат? Вот, к примеру, вчера вечером я перед сном съел только ломтик сыра и...

— Молчать! — взревел Хенчард. — Завтра повозки выедут в четыре, и, если тебя здесь не окажется, берегись! Я сам буду умерщвлять твою плоть!

— Но позвольте мне объяснить, ваша милость...

Хенчард повернулся и ушел.

— Сам же спрашивал меня и допрашивал, а сам и слушать меня не стал, — проговорил Эйбл, обращаясь ко всему двору вообще. — Нынче я всю ночь буду дергаться не хуже минутной стрелки, так я его боюсь!

На следующий день повозкам предстояло отправиться в дальний путь, в Блекморскую долину, и в четыре часа утра по двору уже ходили люди с фонарями в руках. Но Эйбла не было. Прежде чем рабочие догадались сбежать и разбудить его, Хенчард вошел через садовую калитку.

— Где Эйбл Уиттл? Значит, не пришел, несмотря на все, что я говорил? Ну, клянусь дедами и прадедами, я сдержу свое слово... иначе его не проймешь! Пойду к нему.

Хенчард ушел со двора и вскоре уже стоял в жилище Эйбла — убогом домишке на Задней улице, дверь которого никогда не запиралась, потому что обитателям его печего было терять. Подойдя к койке Уиттла, Хенчард крикнул так громко, что Эйбл мгновенно проснулся и, увидев перед собой хозяина, судорожно заметался, хватая что попадалось под руку, но только не свою одежду.

— Долой с койки и марш в амбар, а не то сегодня же духу твоего у меня не будет! Это тебе наука. Марш! Беги без штанов!

Несчастный Уиттл пакинул на плечи куртку и уже на последней ступеньке лестницы как-то ухитрился натянуть на ноги сапоги, а Хенчард нахлобучил ему шляпу на голову. И вот Уиттл уже семенил по Задней улице, а Хенчард с суровым лицом шагал за ним следом.

В это время Фарфрэ, узнав, что Хенчарда нет дома, вышел из задних ворот и, заметив что-то белое, трепещущее в пред-рассветном сумраке, вскоре различил, что это подол рубахи Эйбла, торчащий из-под куртки.

— Господи, твоя воля, что это такое? — проговорил Фарфрэ, входя во двор вслед за Эйблом; Хенчард немного отстал от него.

— Видите ли, мистер Фарфрэ, — невнятно забормотал Эйбл с покорной, перепуганной улыбкой, — он сказал, что будет умерщвлять мою плоть, если я не встану пораньше, и вот он теперь за это принялся! Видите ли, тут уже ничего не поделаешь, мистер Фарфрэ, все выходит как-то по-чуждому!.. Да... Вот и придется мне ехать в Блекморскую долину полуголым, раз уж он так приказывает; но потом я на себя руки наложу! Не стерпеть мне такого позора: ведь женщины всю дорогу будут глазеть из окон на мое бесчестье, издеваться надо мной будут — мужчина без штанов! Понимаете, каково мне все это переносить, мистер Фарфрэ, и какие погибельные мысли мне в голову лезут. Да... я что-нибудь над собой сделаю... чему быть, того не миновать!

— Ступай домой, надень штаны и приходи на работу в приличном виде! Если не пойдешь, тебе несдобровать!

— Не смею! Мистер Хенчард сказал...

— Плевать мне на то, что сказал мистер Хенчард или кто другой! Это же черт знает что такое. Сию минуту ступай домой и оденься, Уиттл.

— Э, нет, погодите! — проговорил Хенчард, подойдя к ним сзади. — Кто отсылает его домой?

Все рабочие посмотрели на Фарфрэ.

— Я, — сказал Дональд. — По-моему, шутка зашла слишком далеко.

— А по-моему, нет! Полежай в повозку, Уиттл!

— Нет, не полезет, пока я здесь управляющий, — сказал Фарфрэ. — Или он отправится домой, или я навсегда уйду с этого двора.

Хенчард побагровел и строго взглянул на него. С минуту он молчал, глядя в глаза шотландцу. Наконец Дональд решил пойти ему навстречу, заметив, что он уже начинает раскаиваться.

— Слушайте, — проговорил Дональд спокойно, — нельзя же так поступать человеку вашего звания, сэр! Это тиранство, и оно не достойно вас.

— Вовсе не тиранство! — буркнул Хенчард, как надувшийся мальчишка. — Прочитать его надо, чтоб зарубил себе на носу! — Немного помолчав, он проговорил тоном глубоко обиженного человека: — Почему вы так говорите со мной в их присутствии, Фарфрэ? Могли бы подождать, пока мы останемся одни. Впрочем... я знаю почему! Я посвятил вас в тайну своей жизни — дурак этакий! — и вы теперь этим пользуетесь мне во вред.

— Нет, я позабыл об этом, — отозвался Дональд просто.

Хенчард опустил глаза и, не сказав ни слова больше, ушел. В этот день Фарфрэ узнал от рабочих, что Хенчард всю зиму

посылал старухе матери Эйбла уголь и нюхательный табак, и это уменьшило его неприязнь к хозяину. Но Хенчард был все так же хмур и молчалив, а когда один рабочий спросил, надо ли поднять овес на верхний этаж зернохранилища, Хенчард коротко ответил:

— Спросите мистера Фарфрэ. Он здесь хозяин!

По существу, так оно и было; тут уж сомневаться не приходилось. Хенчард, некогда самый уважаемый человек в своей среде, теперь потерял долю былого уважения. Как-то раз дочери одного недавно умершего дарноверского фермера пожела-ли узнать, сколько стоит их стог сена, и отправили к мисте-ру Фарфрэ посланца с просьбой произвести оценку. Посла-нец — маленький мальчик — встретил во дворе не Фарфрэ, а Хенчарда.

— Хорошо, я приду, — сказал Хенчард.

— Скажите, пожалуйста, а что, мистер Фарфрэ придет? — спросил мальчик.

— Я сам иду в ту сторону... Почему нужен именно мистер Фарфрэ? — осведомился Хенчард, задумчиво глядя на мальчи-ка. — Почему люди всегда зовут мистера Фарфрэ?

— Должно быть, потому, что он им очень нравится... так они говорят.

— Ага... понимаю... значит, вот что они говорят... а? Он им нравится, потому что он умнее мистера Хенчарда и больше зна-ет. Словом, мистер Хенчард ему в подметки не годится, а?

— Да... верно, сэр... это тоже говорят.

— Так, значит, говорят еще что-то? Ну конечно! Что же именно? Ну-ка, скажи, и вот тебе шесть пенсов на гостинцы.

— Говорят, что у него, мол, характер лучше, а Хенчард в сравнении с ним дурак, говорят. А когда наши жепцины шли домой, они говорили: «Золотой парень... мягкий, как воск... лучше его нету... Этого бы конька да в мою конюшню». И еще го-ворят: «Из них двоих он куда больше входит в положение, вот бы ему быть хозяином вместо Хенчарда», — говорят.

— Глупости болтают! — отозвался Хенчард, стараясь скрыть недовольство. — Ну, можешь идти. А сено оценивать приду я, слышишь? Я.

Мальчик ушел, а Хенчард пробормотал:

— Желают, чтобы он был здесь хозяином... еще чего захо-тели!

И он отправился в Дарновер. По дороге он нагнал Фар-фрэ. Они пошли вместе, причем Хенчард не отрывал глаз от земли.

— Вам сегодня не по себе? — осведомился Фарфрэ.

— Нет, я совершенно здоров, — ответил Хенчард.

— Однако вы немного не в духе... правда? Но сегодня ведь не на что сетовать! То сено, что мы вывезли из Блекморской долины, оказалось великолепным. Кстати, дарноверцы хотят оценить свое сено.

— Да. Я иду туда.

— Я пойду с вами.

Хенчард не ответил, и Дональд принялся негромко напевать песню, но, подойдя к дому покойного фермера, спохватился и сказал:

— Что это я! У них отец умер, а я тут песни распеваю. И как это меня угоразило позабыть?

— А вы очень боитесь, как бы кого-нибудь не обидеть? — заметил Хенчард, криво усмехаясь. — Ну, конечно... я знаю... особенно меня!

— Простите, если я вас обидел, сэр, — отозвался Дональд, остановившись, и на лице его отразилось раскаяние. — Но почему вы так говорите... и думаете?

Туча, омрачавшая чело Хенчарда, рассеялась, и, когда Дональд умолк, хозяин повернулся к нему, глядя не столько ему в лицо, сколько на грудь.

— Я кое-что слышал, и это меня раздосадовало, — сказал он. — Поэтому я говорил с вами резко, позабыв о том, какой вы на самом деле. Вот что: не стану я здесь возиться с этим сеном... вы, Фарфрэ, сумеете справиться лучше меня. К тому же они ведь послали за вами. Мне надо попасть на заседание городского совета в одиннадцать, а сейчас уже около этого.

Так они расстались, восстановив свои дружеские отношения, и Фарфрэ не стал спрашивать, что значат не совсем для него понятные слова Хенчарда. А Хенчард опять успокоился, но все же с тех пор всегда думал о Дональде с каким-то смутным опасением и часто жалел, что раскрыл перед ним всю душу и посвятил его в свою тайну.

ГЛАВА XVI

Вот почему Хенчард мало-помалу стал более сухо обращаться с Дональдом. Он был вежлив с ним, преувеличенно вежлив, и Фарфрэ изумлялся, впервые заметив, как хорошо воспитан его хозяин, которого он до сих пор считал искренним и сердечным, но несдержанным. Теперь Хенчард лишь очень редко клал руку на плечо молодого человека, чуть не пригибая его к земле грузом своих дружеских чувств. Он перестал ходить на квартиру к Дональду и кричать в коридоре:

— Эй, Фарфрэ, дружище, идем к нам обедать, нечего здесь сидеть одному взаперти!

Но в их деловых отношениях не изменилось почти ничего.

Так шла их жизнь до того времени, пока по всей стране не было предложено устроить народные гулянья, чтобы отпраздновать одно важное событие, которое произошло недавно.

Некоторое время Кэстербридж, от природы медлительный, не отзывался на предложение. Но вот однажды Дональд Фарфрэ заговорил об этом с Хенчардом и попросил выдать ему не-

сколько парусиновых полотнищ, какими укрывают стога, так как в день национального праздника он вместе с приятелями хочет устроить танцы, а для этого пужно помещение, за вход в которое можно будет взимать плату «по стольку-то с головы».

— Берите сколько хотите, — сказал Хенчард.

Управляющий пошел за покрывками, а Хенчарда обуял дух соперничества. Конечно, он как мэр сделал большое упущение, думал он, до сих пор не устроив заседания, чтобы обсудить, как лучше отпраздновать событие. Но Фарфрэ, будь он неладен, успел забежать вперед, и отцам города, жившим по старинке, не удалось первыми проявить инициативу. Однако было еще не поздно, и, поразмыслив, Хенчард решил взять на себя организацию развлечений, если только другие члены городского совета согласятся поручить это дело ему. Члены совета очень охотно пошли ему навстречу, так как сами они в большинстве были малоподвижными старцами, не склонными обременять себя заботами.

Итак, Хенчард занялся организацией великолепного народного гулянья — гулянья, достойного древнего города. А о танцах Фарфрэ он почти позабыл и, лишь изредка вспоминая о них, говорил себе:

«Взимать входную плату «по стольку-то с головы»!.. Узнаю шотландца!.. Кому придет охота вносить хоть что-нибудь «с головы»?»

Он, мэр, решил, что все устроенные им развлечения будут бесплатными.

Он уже так привык во всем полагаться на Дональда, что ему трудно было удержаться и не позвать его на совет. Но он поборол себя и не посоветовался с молодым человеком. Нет, думал он, Фарфрэ со своим проклятым светлым умом предложит такие новшества, что он, Хенчард, волей-неволей опустится до роли второй скрипки и будет только подыгрывать своему изобретательному управляющему.

Все одобрили мероприятие, предложенные мэром, особенно когда стало известно, что расходы он целиком берет на себя.

К городу примыкал поросший травой холм, обнесенный древним квадратным земляным валом (земляные валы, квадратные и неквадратные, встречались в этой местности так же часто, как черника), и здесь кэстербриджцы обычно устраивали гулянья, собрания и овечьи ярмарки, для которых на улицах было слишком тесно. Один из склонов холма спускался к речке Фрум, и с любого места здесь открывался вид на много миль вокруг. Этот живописный уголок должен был стать ареной подвигов Хенчарда.

Мэр велел расклеить по городу длинные розовые афиши, гласившие, что здесь будут устроены разного рода игры, и нанял целый отряд рабочих, за которыми наблюдал сам. Установили вымазанные салом шести для лазанья, увенчанные коп-

ченными окороками и сырами местного производства. Поставили рядами барьеры для бега с препятствиями, а через речку перекинули скользкую жердь и на том берегу привязали живую свинью, выращенную в окрестностях города; свинья должна была поступить во владение того, кто изловчится перейти по жерди на другой берег и добраться до нее. Заготовили тачки и ослы для гонок; построили помост для бокса, борьбы и прочих кровавых потех; собрали мешки для «прыганья в мешках». Кроме того, Хенчард, верный своим принципам, решил устроить грандиозное чаепитие и приглашал всех, кто жил в городе, на это даровое угощение. Столы расставили параллельно внутреннему скату вала и над ними протянули тент.

Проходя по городу, мэр видел неказистое сооружение Дональда Фарфрэ в Западной аллее — шатер из покрышек разных цветов и размеров, подвязанных как попало к переплетающимся наподобие свода ветвям. Теперь Хенчард успокоился, полагая, что сам подготовился к празднику гораздо лучше.

Настало утро. Небо, необычно ясное в течение предыдущих двух дней, теперь заволочло тучами, погода грозила испортиться, подул сырой ветер. Хенчард пожалел, что был так уверен в устойчивости ясной погоды. Но было уже поздно что-либо отменить или откладывать, и гулянье началось. В полдень стал накрапывать дождь; мелкий, но упорный, он моросил, усиливаясь так незаметно, что трудно было сказать точно, когда пришел конец сухой погоде. Час спустя этот мелкий дождик превратился в монотонное бичевание земли небом — в потоки воды, конца которым не было видно.

Горстка гуляющих героически держалась на поле, но к трем часам Хенчард понял, что его гулянье провалилось. С окороков на шестах капала коричневая жидкость — разбавленная водой копоть, — свинья дрожала на ветру, шероховатость досок на столах ощущалась под прилипшими к ним мокрыми скатертями, так как дождь беспрепятственно проникал под тент, а подвешивать боковые стенки было уже бесполезно. Местность за рекой скрылась из виду; ветер играл импровизации на веревках тента, как на эоловой арфе, и наконец принялся дуть с такой силой, что все сооружение рухнуло на землю, и тем, кто искал здесь защиты от дождя, пришлось выползать из-под тента на четвереньках.

Но к шести часам буря утихла, и сухой ветерок стряхнул влагу с травы. Казалось, что намеченную программу все-таки удастся выполнить. Тент снова натянули; оркестр вызвали из убежища, где он скрывался от дождя, и приказали ему играть, а там, где раньше стояли столы, освободили место для танцев.

— Но где же люди? — спросил Хенчард после того, как целые полчаса танцевали двое мужчин и одна женщина. — Все лавки закрыты. Почему никто не приходит?

— Пошли в Западную аллею, на танцы к Фарфрэ, — ответил один из членов совета, оставшийся на поле с мэром.

— Таких, должно быть, немного. А где же весь народ?

— Все, кто вышел на улицу,— там.

— Ну и дураки!

Хенчард, нахмурившись, отошел. Двое-трое парней принялись было мужественно карабкаться на шесты, чтобы окорока не пропала даром, но зрителей у них не было, и в общем вся картина производила такое унылое впечатление, что Хенчард приказал кончить гулянье, прекратить чаепитие, а угощение раздать городским беднякам. Вскоре на поле не осталось ничего, если не считать барьеров, тента и шестов.

Хенчард вернулся домой и, напившись чаю с женою и дочерью, вышел снова. Уже стемнело. Он скоро заметил, что все гуляющие стекаются к определенному месту в аллее, и решил отправиться туда же. Звуки струнного оркестра доносились из палатки Фарфрэ — он назвал ее «павильоном», — и, подойдя ближе, Хенчард увидел гигантский шатер, хитроумно сооруженный без помощи шестов и канатов. Для него выбрали самый тенистый уголок в кленовой аллее — там, где ветви, тесно переплетаясь, образовали свод, а к ветвям привязали парусину, и получилось что-то вроде купола. Подветренная сторона шатра была затянута покрывками, а противоположная — открыта. Хенчард обошел вокруг и заглянул внутрь.

Шатер напоминал неф собора, лишенный одной, фронтонной, стены, но то, что в нем происходило, ничем не напоминало богослужение. Танцевали какой-то шотландский танец — «рил» или «флинг», и всегда степенный Фарфрэ, нарядившись в костюм бесшабашного шотландского горца, плясал в самой гуще танцоров, бросаясь из стороны в сторону и кружась под музыку. Хенчард не мог удержаться от смеха, но лишь на минуту. Он сейчас же заметил по лицам женщин, как горячо они восхищаются шотландцем; когда же пляска кончилась и начался новый танец, а Дональд, на время скрывшийся, вернулся в своем обычном костюме, у него оказался неограниченный выбор дам, ибо все девушки тянулись к тому, кто так хорошо понимал поэзию танца.

Весь город столпился в аллее; его жителям никогда и не снилось такого замечательного бального зала. Среди зрителей стояли Элизабет и ее мать; девушка задумчиво, но с глубоким интересом наблюдала за происходящим, и ее глаза сияли каким-то страстно тоскующим светом — словно Природа, создавая их, взяла за образец Корреджо. Танцы продолжались с неослабевающим воодушевлением, а Хенчард стал прохаживаться взад и вперед, ожидая, когда его жена захочет уйти домой. Он старался избегать освещенных мест, но, отойдя в полумрак, почувствовал себя еще хуже, ибо здесь услышал разговоры на ту тему, к которой люди в последнее время возвращались слишком часто.

— Да, здесь не то, что на гулянье мистера Хенчарда,— говорит кто-то.— Только упрямый осел мог вбить себе в голову,

что людям придет охота тащиться на какой-то унылый пустырь в такой день, как сегодня.

В ответ на это другой сказал, что, по общему мнению, мэр совершает ошибки не только в такого рода делах.

— А что случилось бы с его торговлей, если бы не этот молодой человек? Вот уж, можно сказать, сама судьба послала его Хенчарду. Когда к нему поступил мистер Фарфрэ, у него была не бухгалтерия, а чаща лесная. Сам Хенчард, бывало, когда вел счет мешкам, писал мелом черточки — все в ряд — па манер частокола; стога он обмерял обхватами, тюки взвешивал на руках, сено пробовал на зуб, а сделки заключал ругательством. Теперь же этот образованный молодой человек продельывает все с цифрами да мерками в руках. Опять же пшеница — иной раз от хлеба так несло мышами, что можно было без ошибки сказать, какой они породы, а Фарфрэ так умеет ее очистить, что теперь никому и в голову не придет заявить, будто по ней шныряла хоть самая мелкая четвероногая тварь... Да, да, все от него без ума, и мистеру Хенчарду нелегко будет удерживать его у себя, что и говорить! — заключил он.

— Надолго он его не удержит, будьте спокойны, — отозвался другой.

«Вот именно! — сказал себе Хенчард, стоявший за деревом. — А если удержит, то окончательно потеряет и репутацию и положение, которые создал себе за восемнадцать лет!»

Он пошел обратно к павильону. Фарфрэ танцевал с Элизабет простенький, но своеобразный танец — старинный народный танец, единственный, который она знала, и хотя Фарфрэ деликатно умерял быстроту своих движений, приспособляясь к ее более медлительным па, узор из блестящих гвоздиков на подошвах его сапог все время мелькал перед глазами зрителей. Девушка пошла танцевать под влиянием музыки, беспокойной, скачущей, взмывающей ввысь (низкие звуки то гудели на нижней струне каждой скрипки, то перескакивали на верхнюю, — словно бегали вверх и вниз по лестницам); мистер Фарфрэ сказал ей, что это мотив песни «Мисс Мак-Лауд из Эйра», очень популярной на его родине.

Вскоре танец окончился, и девушка посмотрела на Хенчарда, ожидая от него похвалы, но не дождалась. Он как будто не видел ее.

— Слушайте, Фарфрэ, — сказал Хенчард с таким видом, словно мысли его были где-то далеко, — завтра я сам поеду на ярмарку в Порт-Брэди. А вы оставайтесь, уложите свой костюм в сундук и дайте отдых ногам после этих ваших безумств. — Он вперил в Дональда враждебный взгляд, хотя начал говорить с улыбкой.

К ним присоединились другие горожане, и Дональд отошел в сторону.

— В чем дело, Хенчард? — спросил член совета Таббер и ткнул пальцем в мэра, словно пробуя сыр. — Нажили себе су-

противника, да? «Джек не хуже своего хозяина», а? Оттер вас на задний план, так, что ли?

— Видите ли, мистер Хенчард, — вторил другой доброжелательный друг, юрист, — ваш промах в том, что вы забрались на какой-то пустырь да еще так далеко. Надо бы вам взять с него пример и организовать ваши спортивные развлечения в таком вот укрытом месте, как это. Но вы об этом не подумали, а он подумал, и тут-то он вас и переплюнул.

— Скоро он вас оседлает и все заберет в свои руки, — подлил масла в огонь остряк мистер Таббер.

— Нет, — хмуро возразил Хенчард. — Этого не будет, потому что скоро он со мной расстанется.

Он взглянул на Дональда, который снова подошел к ним.

— Срок службы мистера Фарфрэ в качестве моего управляющего близится к концу... правда, Фарфрэ?

Молодой человек теперь научился читать, как по-писаному, по складкам и морщинам на резких чертах Хенчарда; он спокойно ответил утвердительно, а когда потом люди с сожалением спрашивали, почему все так случилось, он просто отвечал, что мистер Хенчард больше не нуждается в его услугах.

Хенчард пошел домой, видимо удовлетворенный. Но утром его зависть испарилась, и сердце у него упало при мысли о том, что он сказал и сделал вчера. Он расстроился еще больше, когда понял, что на сей раз Фарфрэ твердо решил поймать его на слове.

ГЛАВА XVII

По виду Хенчарда Элизабет-Джейн догадалась, что, согласившись принять участие в танцах, она сделала какую-то ошибку. В простоте душевной она не понимала, какую именно, пока одна малознакомая женщина не объяснила ей этого. Оказывается, ей, как падчерице мэра, неприлично было плясать в таком разношерстном обществе, какое толпилось в танцевальном павильоне.

Уши, щеки и подбородок Элизабет запылали, точно рдеющие угли, — она подумала о том, что ее склонности, очевидно, не достойны ее общественного положения и навлекут на нее позор.

Она почувствовала себя очень несчастной и стала искать глазами мать, но миссис Хенчард, которая меньше самой Элизабет-Джейн понимала, что прилично, а что неприлично, уже ушла, предоставив дочери вернуться домой, когда ей захочется. Девушка вошла в одну из тех старых, темных, густых аллей, которые походили на своды, воздвигнутые из живых деревьев, и окаймляли город, и тут она остановилась в задумчивости.

Через несколько минут за нею последовал мужчина; он сразу узнал ее, так как на ее лицо падал свет из шатра. Это был

Фарфрэ, ушедший оттуда после беседы с Хенчардом, из которой он узнал о своем увольнении.

— Это вы, мисс Ньюсон?.. А я вас всюду искал! — сказал он, преодолевая чувство грусти, навеянное на него разрывом с хозяином. — Можно мне проводить вас до угла?

У девушки мелькнула мысль, что это, чего доброго, тоже неприлично, но она не стала возражать. Они пошли вместе сначала по Западной аллее, потом по Крикетной, и наконец Фарфрэ нарушил молчание:

— Похоже на то, что я скоро отсюда уеду.

— Почему? — нерешительно спросила Элизабет-Джейн.

— Да... так просто, по деловым причинам... только и всего. Но не будем об этом говорить... все к лучшему. А я надеялся потанцевать с вами еще разок.

Она сказала, что не умеет танцевать... как следует.

— Умеете! Приятно танцевать не с теми, кто выучился делать па, а кто чувствует танец... Боюсь, что, затеяв эти танцы, я рассердил вашего отчима! А теперь мне, быть может, придется уехать на край света!

Девушке эта перспектива показалась до того грустной, что она невольно вздохнула, но так, чтобы ее спутник ничего не заметил. Темнота склоняет людей к излияниям, и шотландец (быть может, он все-таки слышал вздох девушки) продолжал в порыве откровенности:

— Если б я был богаче, мисс Ньюсон, и если бы ваш отчим не рассердился на меня, я вскоре спросил бы вас кое о чем... да, спросил бы вас сегодня же. Но не смею!

О чем он хотел спросить ее, он не сказал, а она по неопытности не догадалась поощрить его и промолчала. Так, робея друг перед другом, шли они по земляным валам, пока не достигли конца Крикетной аллеи; через двадцать шагов кончились ряды деревьев, уже видны были перекресток и уличные фонари.

Тут молодые люди остановились.

— Я так и не узнал, кто это подшутил над нами, послав нас тогда в дарноверский амбар, — начал Дональд своим воркующим голосом. — А вы узнали, мисс Ньюсон?

— Нет, — ответила она.

— Интересно, с какой целью все это было подстроено?

— Должно быть, шутки ради.

— А может быть, и нет. Может быть, кому-то хотелось, чтобы мы постояли там, подождали и поговорили друг с другом? Ну что ж! Надеюсь, кэстербриджцы не забудут меня, если я уеду.

— В этом я уверена. Мы не забудем вас! — отозвалась она серьезно. — Мне... мне жаль, что вы уезжаете.

Они подошли к месту, освещенному фонарем.

— Ну, я об этом еще подумаю, — сказал Дональд Фарфрэ. — И я не стану провожать вас до дому, а прощаюсь с вами здесь, не то ваш отчим еще больше рассердится.

Они расстались: Фарфрэ повернул обратно в темную Крикетную аллею, а Элизабет-Джейн пошла по улице. Сама того не сознавая, она пустилась бежать и бежала что есть сил до самого дома. «О господи, что это со мной?» — подумала она, оборвав свой бег и еле переводя дух.

Войдя в дом, она принялась раздумывать о значении загадочных слов Фарфрэ, сказавшего, что он хочет, но не смеет спросить ее о чем-то. Элизабет, девушка молчаливая и наблюдательная, давно заметила, как растет его популярность среди горожан, и, уже зная натуру Хенчарда, не раз опасалась, что дни Фарфрэ в роли управляющего сочтены; поэтому их разрыв почти не удивил ее. Но, может быть, думала она, мистер Фарфрэ все-таки останется в Кэстербридже, вопреки своим словам и несмотря на увольнение? И тогда, по тому, как он поведет себя, ей, возможно, удастся разгадать его таинственные намеки.

На следующий день подул очень сильный ветер, и, гуляя по саду, Элизабет нашла обрывок черновика какого-то делового письма, который был написан рукой Дональда Фарфрэ и попал в сад из конторы, перелетев через стену. Она унесла в дом этот ненужный клочок бумаги и принялась срисовывать с него буквы, восхищаясь почерком Дональда. Письмо начиналось словами «Дорогой сэр», и, написав на отдельном клочке бумаги «Элизабет-Джейн», девушка наложила его на слово «сэр», так что получилось: «Дорогой Элизабет-Джейн». Когда она пробежала глазами это сочетание слов, на щеках ее вспыхнул румянец и всю ее бросило в жар, хотя никто не застал ее за этим занятием. Она быстро разорвала бумажку и выбросила ее. После этого она успокоилась и посмеялась над собой; прошла по комнате и снова засмеялась — не весело, а скорее печально.

В Кэстербридже скоро разнесся слух, что Фарфрэ и Хенчард решили расстаться. Элизабет-Джейн так страстно хотелось узнать, уедет мистер Фарфрэ из города или нет, что это начало ее беспокоить, ибо она уже не могла больше обманываться и скрывать от себя, почему ей этого хочется. Наконец до нее дошел слух, что Дональд не собирается уезжать. Один купец, который вел торговлю теми же товарами, что и Хенчард, но очень мелкую, продал свое дело Фарфрэ, и тот решил на свой страх и риск открыть торговлю зерном и сеном.

Сердце Элизабет-Джейн затрепетало, когда она узнала об этом событии, означавшем, что Дональд намерен остаться; и все же, думала она, если бы он хоть немного любил ее, неужели он решил бы обречь на неудачу свое сватовство, начав конкуренцию с предприятием мистера Хенчарда? Конечно, нет; стало быть, разговаривая с нею так ласково, он, очевидно, просто поддался случайному побуждению.

Ей хотелось узнать, не внушила ли ее красота в тот вечер, на танцах, лишь скоропреходящую любовь с первого взгляда,

и она, как тогда, надела кисейное платье, спенсер, открытые туфли, взяла в руки зонтик и стала перед зеркалом. Отражение, смотревшее на нее, было, по ее мнению, как раз таким, какое способно возбудить мимолетный интерес, но не больше. «Достаточно хороша, чтобы вскружить ему голову, но недостаточно, чтобы вскружить надолго», — сказала она себе трезво и, упав духом, решила, что теперь Фарфрэ уже понял, как неинтересен и заураден внутренний мир, скрытый за этой привлекательной внешностью.

С этих пор, всякий раз как сердце ее тянулось к молодому шотландцу, она говорила себе, горько подшучивая сама над собой: «Нет, нет, Элизабет-Джейн... такие мечты не для тебя!» Она старалась не встречаться с ним и не думать о нем, и первое ей удавалось довольно хорошо, а второе — не совсем.

Хенчард огорчился, поняв, что Фарфрэ больше не намерен мириться с его взбалмошным характером, а услышав о планах молодого человека, разгневался свыше всякой меры. О «неожиданном ходе» Фарфрэ — его попытке устроиться самостоятельно здесь в городе — Хенчард впервые узнал после заседания в городской ратуше и, делаясь своим мнением об этом с другими членами совета, кричал так громко, что голос его был слышен у городского колодца. Судя по этим раскатам, у Майкла Хенчарда — хоть он был и мэром, и церковным старостой, и кем-то только не был за долгие годы воздержания — по-прежнему под корою внешнего спокойствия клочкотал буйный вулкан страстей, как и в тот день, когда он продал свою жену на Уэйдонской ярмарке.

— Да, он мой друг, а я его друг... разве не так? Видит бог, уж если я не был ему другом, так кто же был, хотел бы я знать? Когда он сюда явился, у него все сапоги в заплатках были. И разве я не оставил его здесь... не помог ему найти заработок? И разве я не помогал ему деньгами и всем, что ему было нужно? Я с ним не торговался... я сказал: «Сами назначьте себе жалованье». Одно время я был готов поделиться с ним последней коркой, так он мне нравился. А теперь он на меня плюет! Но, будь он проклят, я с ним померяюсь силами... в честной купле-продаже, заметьте — в честной купле-продаже! И если я не сумею вытеснить с рынка такого сопляка, как он, грош мне цена! Кто-кто, а мы покажем, что знаем свое дело не хуже других!

Его коллеги из городского совета отнеслись к нему не очень сочувственно. Теперь Хенчард был уже не так популярен, как года два назад, когда они выбрали его мэром за его поразительную энергию. Эта энергия приносила им пользу всем вместе, но не раз уязвляла каждого из них в отдельности. Итак, он вышел из ратуши и пошел по улице один.

Вернувшись домой, он, видимо, вспомнил о чем-то со злорадным удовлетворением. Он позвал Элизабет-Джейн. Войдя и увидев его лицо, она встревожилась.

— Ты ни в чем не провинилась,— сказал он, заметив ее беспокойство.— Я хочу только предостеречь тебя, милая. Этот человек... Фарфрэ... так вот, насчет него. Я два-три раза видел, как он разговаривал с тобой... он танцевал с тобой на празднике и провожал тебя домой. Не бойся, не бойся, я ни в чем тебя не обвиняю. Но слушай: скажи мне, ты не дала ему какого-нибудь опрометчивого обещания? Не зашла хоть чуть-чуть дальше пустой болтовни и тому подобного?

— Нет. Я ничего ему не обещала.

— Прекрасно. Все хорошо, что хорошо кончается. Я требую, чтобы ты с ним больше не виделась.

— Хорошо, сэр.

— Ты обещаешь?

Она с минуту поколебалась, потом сказала:

— Да, если вы этого очень хотите.

— Хочу. Он враг нашей семьи!

Когда она ушла, он сел и крупным почерком написал Фарфрэ следующее письмо:

«Сэр, прошу Вас отныне прекратить знакомство с моей падчерицей. Она, со своей стороны, обещала больше не принимать Вашего ухаживания, и я поэтому надеюсь, что Вы не будете навязываться ей.

М. Хенчард»

Казалось бы, у Хенчарда должно было хватить дальновидности, чтобы понять, что нет лучшего *modus vivendi*¹ по отношению к Фарфрэ, как поощрить его ухаживание и залучить его себе в зятя. Но упрямый мэр был неспособен подкупить конкурента таким путем. Хенчард был безнадежно далек от всяких обывательских уловок этого рода. Любил он или ненавидел — все равно в дипломатии он был туп, как буйвол, а его жена не решилась указать ему путь, который сама, по многим причинам, выбрала бы с радостью.

Тем временем Дональд Фарфрэ открыл врата торговли на свой страх и риск в одном доме на Дарноверском холме — как можно дальше от складов Хенчарда, ибо твердо решил избегать клиентов своего бывшего друга и хозяина. Молодой человек считал, что на этом поприще для них обоих дела хватит с избытком. Город был невелик, но вел сравнительно крупную торговлю зерном и сеном, и Фарфрэ, обладавший врожденной сметливостью, полагал, что он может с успехом принять в ней участие.

Он взял себе за правило не делать ничего такого, что могло бы показаться торговой конкуренцией с мэром, и даже отказал своему первому клиенту, крупному фермеру с хорошей репу-

¹ Образ жизни, линия поведения (*лат.*).

тацией, только потому, что Хенчард вот уже три месяца вел с ним дела.

— Когда-то он был моим другом,— сказал Фарфрэ,— и не мне отбивать у него клиентов. Очень жалею, что не оправдал ваших ожиданий, но не могу наносить ущерб торговым делам того, кто сделал мне столько добра.

Несмотря на столь похвальный образ действий, дела шотландца процветали. Оттого ли, что его энергия северянина была непреодолимой силой в среде рыхлых дельцов Уэссекса, или ему просто везло, но, так или иначе, все ему удавалось, за что бы он ни взялся. Как только он, подобно Иакову в Падан-Араме, скромно ограничил себя «пятнистыми и пестрыми козами», то есть не очень многообещающими сделками,— все «пятнистое и пестрое» начало «плодиться и множиться».

Но объяснялось это не удачливостью,— она тут, вероятно, была почти ни при чем. «Характер — это судьба»,— сказал Новалис, а характер Фарфрэ был прямо противоположен характеру Хенчарда, о ком, так же как и о Фаусте, можно было сказать: «Неистовый, хмурый, он покинул пути обыкновенных людей, и ни один луч света не указал ему верной дороги».

Фарфрэ своевременно получил письмо с требованием прекратить ухаживание за Элизабет-Джейн. Но его знаки внимания к ней были столь незначительны, что это требование оказалось почти излишним. Правда, она ему очень нравилась, но после недолгого размышления он решил, что лучше ему пока не играть роли Ромео как в интересах девушки, так и в своих собственных. Таким образом, его чувство было задушено еще в зародыше.

Настало время, когда Фарфрэ — как он ни старался избежать столкновений со своим бывшим другом — оказался вынужденным прибегнуть к самозащите и вступить с Хенчардом в коммерческий бой не на жизнь, а на смерть. Он уже больше не мог отражать бешеные атаки Хенчарда, только уклоняясь от борьбы. Едва началась между ними война цен, ею заинтересовались все, а кое-кто предугадал ее исход. Все отчасти объяснялось тем, что дальновидность Севера боролась тут с упрямством Юга, нож — с дубиной, а оружие Хенчарда было такого рода, что если оно не поражало насмерть с первого или второго удара, то владелец его оказывался во власти своего противника.

Почти каждую субботу они встречались в толпе фермеров, которые еженедельно сходились на рыночную площадь по своим делам. Дональд всегда был готов и даже стремился сказать Хенчарду несколько дружеских слов, но мэр неизменно смотрел куда-то мимо своего бывшего друга с гневным видом человека, который много потерпел и потерял из-за него и ни за что не простит обиды,— смущенное недоумение Фарфрэ ничуть не умиротворяло его. В зале хлебной биржи у всех крупных фермеров, торговцев зерном, мельников, аукционистов и других дельцов были свои, официально предоставленные им стойки, на

которых краской были начертаны их фамилии, и когда к знакомой череде «Хенчард», «Эвердин», «Шайнер», «Дартон» и так далее прибавилась стойка с фамилией «Фарфрэ», написанной свежей краской и крупными буквами, Хенчарда это больно кольнуло, — подобно Беллерофону, он отошел от толпы с язвой в душе.

С этого дня имя Дональда Фарфрэ почти никогда не упоминалось в доме Хенчарда. Если за завтраком или обедом мать Элизабет-Джейн по забывчивости начинала говорить о своем любимце, дочь взглядом умоляла ее замолчать, а муж спрашивал:

— Как... значит, ты тоже мой враг?

ГЛАВА XVIII

Случилось несчастье, которого Элизабет с некоторых пор ожидала, как пассажир, сидящий на козлах, ожидает толчка, заметив рытвину на дороге.

Мать Элизабет заболела и почувствовала себя так плохо, что не смогла выйти из своей комнаты. Хенчард, всегда обращавшийся с ней хорошо, если не считать минут раздражения, сейчас же послал за самым богатым и известным врачом, которого считал самым лучшим. Наступило время ложиться спать, но свет не гасили всю ночь. Через день-два больная выздоровела.

Элизабет, всю ночь не смыкавшая глаз, утром не явилась к завтраку, и Хенчард сидел за столом один. Он изумился, увидев адресованное ему письмо с острова Джерси, написанное почерком, который был ему так хорошо знаком, но который он меньше всего ожидал увидеть вновь. Взяв письмо, он смотрел на него, как на картину или видение, напоминающие о поступках, когда-то им совершенных; наконец он прочел его как нечто завершающее события, не имевшие большого значения.

Женщина, пославшая письмо, писала, что она наконец поняла, как бессмысленно продолжать их отношения теперь, когда он женился вновь. Она вынуждена признать, что вторичная женитьба была единственно правильным выходом для него. «Итак, — продолжала она, — я, по зрелом размышлении, от души прощаю Вам то, что Вы поставили меня в такое трудное положение, ведь я помню, что, когда завязывалось наше не очень удачное знакомство, Вы ничего от меня не скрыли и со свойственной Вам суровостью указали мне на то, что в близости с Вами есть известный риск, хоть он и казался небольшим после восемнадцатилетнего молчания Вашей жены. Поэтому я считаю, что мне просто не повезло, а Вас не виню ни в чем.

Итак, Майкл, прошу Вас забыть о тех письмах, которыми я докучала Вам изо дня в день в пылу чувств. Они были написаны в то время, когда я считала, что Вы поступили со мной же-

стоко; но теперь я более точно узнала, в каком положении Вы очутились и как неделикатны были мои упреки.

Вы, конечно, поймете, что единственный способ обеспечить мое счастье в будущем — это сохранить в тайне наши прошлые отношения, так чтобы о них ничего не было известно за пределами этого острова. Рассказывать о них Вы, я знаю, не станете и, надеюсь, не будете о них писать. Остается упомянуть еще об одной предосторожности: ничто, написанное мною, и никакие принадлежавшие мне мелочи не должны по небрежности или забывчивости остаться у Вас. Поэтому прошу Вас вернуть мне все мои вещицы и особенно письма, написанные в порыве вспыхнувшего чувства.

Сердечно благодарю Вас за щедрую денежную помощь, которой Вы, так сказать, паложили пластырь на мою рану.

Я еду в Бристоль повидаться со своей единственной родственницей. Она богата и, надеюсь, сделает что-нибудь для меня. На обратном пути я проеду через Кэстербридж и в Бедмуте сяду на пакетбот. Не можете ли Вы встретить меня и принести с собой письма и прочие мелочи? В будущую среду Вы увидите меня в почтовой карете, которая меняет лошадей у гостиницы «Антилопа» в половине шестого вечера; я надену шерстяную шаль с красным полем, и, таким образом, меня легко будет найти. Лучше не посылать писем и прочего, а передать мне все это из рук в руки.

По-прежнему навеки Ваша *Люсетта*».

Хенчард тяжело вздохнул.

«Бедняжка... лучше бы тебе было не звать меня! Клянусь душой и сердцем, если я получу возможность жениться на тебе, я *обязан* буду это сделать... *обязан!*»

Под этой возможностью он разумел, конечно, смерть миссис Хенчард.

Исполняя просьбу Люсетты, он вложил ее письма в пакет, запечатал его и прятал в ожидании назначенного дня; очевидно, придуманный ею способ передачи писем из рук в руки был просто хитроумным предлогом обменяться с Хенчардом двумя-тремя словами о былых временах. Он предпочел бы не видеть Люсетты, но, считая, что не будет большой беды, если он исполнит ее просьбу, вышел в сумерки и направился к почтовой станции.

Вечер был холодный, и почтовая карета запоздала. Хенчард подошел к ней в то время, когда меняли лошадей, но Люсетты не было ни в карете, ни около нее. Предположив, что планы ее почему-то изменились, он решил не ждать дольше и вернулся домой не без чувства облегчения.

Между тем миссис Хенчард заметно слабела. Она уже больше не могла выходить из дому. Однажды она долго взволнованно думала о чем-то, потом сказала, что ей нужно кое-что написать. На ее кровати установили пюпитр с пером и бумагой, и, по

ее просьбе, оставили ее одну. Она писала недолго, аккуратно сложила исписанный лист, позвала Элизабет-Джейн и попросила ее принести свечу и сургуч, а затем, все так же отказываясь от чужой помощи, запечатала письмо, подписала его и заперла в ящике своего письменного стола. Надпись на письме гласила:

*«Мистеру Майклу Хенчарду.
Не вскрывать до дня свадьбы Элизабет-Джейн».*

Девушка сидела у постели матери ночь за ночью, пока хватало сил. Нет более быстрого способа научиться серьезному отношению к миру, чем проводя бессонные ночи у постели больного в роли «бдящей», как говорят деревенские жители. С той минуты, когда мимо дома проходил последний пьяница, до той, когда, проснувшись, встряхивался первый воробей, тишина Кэстербриджа, если не считать окриков ночного сторожа, нарушалась для Элизабет только часами на лестнице, которые отчаянно тикали все резче и резче, пока не начинало казаться, будто они гудят, как гонг; и все это время печатлительная девушка спрашивала себя, зачем она родилась, зачем сидит в комнате и, мигая, смотрит на свечу; почему все вещи вокруг приняли именно ту форму, какую они имеют, а не какую-либо другую из всех возможных форм. Почему они смотрят на нее так беспомощно, словно ожидая прикосновения волшебной палочки, которая освободит их от земного плена; куда влечет ее и как возник тот хаос, называемый сознанием, который сейчас кружится в ней, как волчок. Ее глаза слипались; она не то бодрствовала, не то спала.

Больная произнесла что-то, и Элизабет очнулась. Без всяких предисловий, как бы продолжая сцену, которая разыгрывалась в ее уме, миссис Хенчард сказала:

— Помнишь записки, полученные тобой и мистером Фарфрэ,— записки, в которых вас просили встретиться с кем-то в Дарновер-Бартоне... ты тогда еще подумала, что кто-то хотел подшутить над вами?

— Да.

— Никто не хотел подшутить над вами... Их послали для того, чтобы свести вас вместе. Я послала.

— Зачем? — спросила Элизабет, вздрогнув.

— Я... хотела, чтобы ты вышла замуж за Фарфрэ.

— Мама! — Элизабет-Джейн так низко склонила голову, что едва не касалась ею своих коленей. Но мать молчала, и девушка спросила опять: — Зачем?

— У меня на то была причина. Когда-нибудь все узнаешь. Хотелось мне, чтобы это случилось при моей жизни! Но что делать — чего хочешь, то никогда не сбывается! Хенчард ненавидит его.

— Может быть, они снова станут друзьями,— негромко промолвила девушка.



— Не знаю, не знаю.

Мать умолкла и задремала; больше она на эту тему не говорила.

Через несколько дней, в воскресенье утром, Фарфрэ, проходя мимо дома Хенчарда, увидел, что все занавески на окнах спущены. Он дернул за ручку звонка так осторожно, что колокольчик не задребезжал, но звякнул — один раз громко, потом совсем тихо; и тут Фарфрэ узнал, что миссис Хенчард умерла... только что умерла... в этот самый час.

Проходя мимо городского колодца, он увидел нескольких старожил, которые обычно ходили сюда по воду, если у них, как сегодня, находилось свободное время, потому что вода этого древнего источника была лучше, чем в их собственных колодцах. Миссис Каксом, давно уже стоявшая здесь со своим кувшином, подробно описывала со слов сиделки кончину миссис Хенчард.

— И она побелела как мрамор, — говорила миссис Каксом. — И такая заботливая женщина, — ах, бедняжка! — ведь она о каждой мелочи позаботилась. «Да, говорит, когда меня

не станет и я испущу дух, откройте верхний ящик комода, что у окна, в задней комнате, и найдите там мое смертное платье; кусок фланели подложите под меня, а тот, что поменьше, подложите под голову, а на ноги мне наденьте новые чулки,— они лежат рядом, и там же все мои прочие вещи. И еще там припрятаны четыре пенни, весом в унцию каждый, самые тяжелые, какие мне удалось раздобыть,— они в полотняные лоскуты завернуты. Это грузы: два для моего правого глаза, два для левого, говорит. А когда они полежат сколько надо и глаза мои перестанут открываться, заройте эти пенни, добрые люди, и смотрите, не израсходуйте их, а то мне будет неприятно. И как только меня вынесут, распахните окна и постарайтесь утешить Элизабет-Джейн».

— Ах, бедная!

— Да, и Марта все это сделала и зарыла тяжелые пенни в саду. Но вы не поверите: этот негодяй Кристофер Кони пошел и вырыл их, да и проиil в «Трех морях». «Какого черта! — говорит.— С какой это стати дарить смерти четыре пенса? Смерть вовсе не такая уж важная шишка, чтобы мы настолько ее уважали», — говорит.

— Так только людоеды поступают! — возмутились слушатели.

— Э, нет! Я с этим не совсем согласен,— возразил Соломон Лонгуэйс.— И я скажу хоть сегодня,— а сейчас у нас воскресное утро, и в такое время я не стану болтать зря даже за серебряный шестипенсовик. Я в этом ничего плохого не вижу. Уважать покойников — значит прославлять их, и это правильно, и я лично ни за что не стал бы продавать скелеты,— по крайней мере, почтенные скелеты, чтоб их потом для анатомии полировали,— разве что останусь без работы. Но денег не хватает, а глотки сохнут. Так *смеет ли* смерть обкрадывать жизнь на четыре пенса? Повторяю, ничего худого он не сделал.

— Эх, бедняжка, теперь она уже не может этому помешать, да и ничему другому тоже,— заметила тетка Каксом.— И все ее блестящие ключи у нее отберут, и шкафы ее откроют, и увидят всякие штучки, которые она прятала, чтоб их никто не видел, и все ее желания и привычки,— все будет, как не было!

ГЛАВА XIX

Хенчард и Элизабет сидели, бесеdуя, у огня. Прошло три недели со дня похорон миссис Хенчард; свечи еще не были зажжены, и беспокойное пламя, кувыркаясь на углях, как акробат, отбрасывало на темные стены улыбки всех способных на отблески предметов: старого трюмо с золочеными столбиками и массивным антаблементом, рамок, разнокалиберных дверных ручек и шишек, медных розеток на концах широких лент от звонков, висевших по обеим сторонам камина.

— Элизабет, ты часто думаешь о прошлом? — спросил Хенчард.

— Да, сэр, часто, — ответила она.

— Кого же ты вспоминаешь?

— Мать и отца... больше почти никого.

Всякий раз, как Элизабет-Джейн называла Ричарда Ньюсона отцом, лицо Хенчарда менялось, — он словно старался преодолеть боль.

— Так, так! А я, значит, в стороне? — проговорил он. — ...Ньюсон был добрым отцом?

— Да, сэр, очень.

Лицо у Хенчарда застыло, казалось, он решил стоически переносить свое одиночество; но мало-помалу черты его смягчились.

— Вообрази, что я твой родной отец, — сказал он. — Ты так же любила бы меня, как Ричарда Ньюсона?

— Этого я не могу себе представить, — быстро ответила она. — Я никого другого не могу вообразить своим отцом.

Жена Хенчарда была разлучена с ним смертью; его друг и помощник Фарфрэ — их разрывом; Элизабет-Джейн — ее неведением. Хенчард подумал, что из них троих ему удастся вновь приблизить к себе только эту девушку. Он долго колебался между желанием открыться ей и мыслью, что лучше оставить все, как было; наконец он не смог больше сидеть спокойно. Он прошелся взад и вперед по комнате, потом подошел к креслу, в котором сидела девушка, и стал сзади него, глядя вниз, на ее волосы. Он уже был не в силах бороться с собой.

— Что рассказывала тебе мать обо мне... о моей жизни?

— Что вы с нею в свойстве.

— Ей следовало рассказать больше... и раньше, чем ты познакомилась со мной! Тогда моя задача была бы не такой трудной... Элизабет, это я твой отец, а не Ричард Ньюсон. Только стыд помешал твоим несчастным родителям признаться в этом тебе, когда они были живы оба.

Голова Элизабет была все так же неподвижна, а плечи даже не приподнимались в такт дыханию. Хенчард продолжал:

— Я готов перенести твой гнев, твой страх, только не твое заблуждение — с этим я не могу примириться! Твоя мать и я, мы поженились еще в юности. А свадьба, на которой ты присутствовала, была нашим вторым венчанием. Твоя мать была слишком честна. Мы считали друг друга умершими... и... Ньюсон стал ее мужем.

Подробнее рассказать о прошлом, открыть всю правду Хенчард был не в силах. Если бы дело касалось его одного, он ничего бы не утаил; но он умолчал из уважения к полу и летам молодой девушки, — поступок, достойный и более нравственно человека.

Когда он стал пускаться в подробности, которые странным образом подтверждались рядом мелких и ранее не привлекав-

ших внимания Элизабет случаев из ее жизни, когда, коротко говоря, она поверила ему, ее охватило сильное волнение, и, повернувшись к столу, она уронила на него голову, вся в слезах.

— Не плачь... не плачь! — горячо проговорил Хенчард. — Я не могу вынести этого, не хочу выносить. Я твой отец; почему же ты плачешь? Неужели я так страшен, так ненавистен тебе? Не отталкивай меня, Элизабет-Джейн! — воскликнул он, хватая ее влажную руку. — Не отталкивай меня... Правда, я когда-то был пьяницей и грубо обращался с твоей матерью... но ведь с тобой я буду ласковее, чем был *он*! Я готов на все, лишь бы ты относилась ко мне, как к родному отцу!

Она хотела встать и доверчиво посмотреть ему в глаза, но не смогла, — она была подавлена, как братья Иосифа после его признания.

— Я не требую, чтобы ты привязалась ко мне сразу, — отрывисто говорил Хенчард, раскачиваясь, как большое дерево на ветру. — Нет, Элизабет, не требую. Я уйду и не увижусь с тобой до завтра или пока ты сама этого не захочешь, а тогда я покажу тебе бумаги, в которых ты найдешь доказательство моих слов. Ну, вот, я ушел и больше не буду тебя беспокоить... Ведь это я выбрал тебе имя, дочь моя; твоя мать хотела назвать тебя Сьюзен. Смотри не забывай, что это я дал тебе твое имя!

Он вышел, тихонько затворив за собой дверь, и Элизабет-Джейн услышала его шаги в саду. Но он еще не все сказал. Не успела она сдвинуться с места и очнуться от потрясения после его исповеди, как он появился вновь.

— Еще одно слово, Элизабет, — сказал он. — Ты примешь мою фамилию... примешь, а? Твоя мать была против, а мне этого очень хочется. Ведь по закону она твоя, и ты теперь это знаешь. Но никто другой не должен знать. Ты сделаешь вид, что по собственному желанию хочешь переменить фамилию. Я поговорю со своим поверенным — сам я не знаю, как это делается по закону, — а тебя прошу: позволь мне поместить в газете объявление, что ты принимаешь мою фамилию.

— Если это моя фамилия, значит, я должна ее носить, не правда ли? — спросила она.

— Ну да, конечно, таков уж обычай.

— Странно, почему мама была против этого?

— Да так просто, — должно быть, каприз какой-то был у бедняжки. Теперь возьми листок бумаги и напиши несколько слов под мою диктовку. Но сначала давай зажжем свечи.

— Мне и от камина светло, — возразила она. — Да... так лучше.

— Прекрасно.

Она взяла лист бумаги и, подавшись вперед, ближе к решетке камина, написала под диктовку Хенчарда текст объявления по образцу какого-то объявления о перемене фамилии, которое он, вероятно, вычитал в газете и запомнил: она-де, нижеподписавшаяся, до сего числа носившая имя и фамилию Элизабет-

Джейн Ньюсон, отныне будет называть себя Элизабет-Джейн Хенчард. Кончив, она сложила листок и написала на нем адрес редакции «Хроника Кэстербриджа».

— А теперь,— сказал Хенчард самодовольным тоном, как всякий раз, когда ему удавалось добиться своей цели, хотя сейчас самодовольство его смягчалось нежностью,— теперь я пойду наверх и поищу кое-какие документы, в которых ты найдешь подтверждение моих слов. Но я не стану докучать тебе ими до завтрашнего дня. Спокойной ночи, моя Элизабет-Джейн!

И он ушел, прежде чем ошеломленная девушка успела понять, что все это значит, и приспособить свои дочерние чувства к новому центру тяжести. Она была рада, что Хенчард позволил ей провести вечер одной, и осталась сидеть у камина. Здесь она сидела молча и плакала — теперь уже не о матери, а о добром моряке Ричарде Ньюсоне: ей казалось, что она чем-то оскорбляет его память.

Между тем Хенчард поднялся наверх. Документы личного характера он хранил в своей спальне, в ящике комода, и теперь, отперев этот ящик, отложил на время разбор бумаг, откинулся в кресле и позволил себе спокойно предаться размышлениям. Наконец-то Элизабет ему принадлежит, думал он, а у девочки столько здравого смысла и такое доброе сердце, что она, несомненно, привяжется к нему. Он был из тех людей, которым почти необходимо изливать кому-нибудь свои чувства, будь то в пылу радости или в пылу гнева. Еще при жизни жены сердце его жаждало вновь завязать нежнейшие из человеческих уз, и теперь он поддался этому могучему инстинкту без колебаний и без опасений. Он снова наклонился над ящиком и стал рыться в нем.

Среди других бумаг здесь хранились все те, что когда-то лежали в письменном столике его жены, ключи от которого Хенчард передал по ее просьбе. Здесь же оказалось адресованное ему письмо с надписью:

«Не вскрывать до дня свадьбы Элизабет-Джейн».

Миссис Хенчард была более образованна, чем ее муж, но она ничего не умела делать как следует. Написав письмо, она, по-старинному, обошлась без конверта и просто сложила лист бумаги втрое, потом щедро залила сургучом оба края, но лишь в один слой, а не в два, как полагается. Сургуч треснул, и письмо оказалось открытым. У Хенчарда не было основания думать, что запрещение вскрывать письмо до свадьбы дочери вызвано какой-нибудь важной причиной; к тому же он вообще не очень уважал покойную жену. «Так просто, должно быть, взбрело что-то в голову бедной Сьюзен ни с того ни с сего»,— решил он и без особого любопытства пробежал глазами письмо:

«Мой дорогой Майкл!

Ради нас троих я до сих пор кое-что скрывала от тебя. Надеюсь, ты поймешь почему; я думаю, что поймешь, хотя, мо-

жет быть, и не простишь меня. Но, дорогой Майкл, я хотела сделать лучше. Когда ты прочтешь эти строчки, я буду лежать в могиле, а Элизабет-Джейн войдет в свой новый дом. Не проклинай меня, Майкл, подумай, в каком положении я оказалась. Мне очень трудно заставить себя написать это, но я все-таки напишу. Элизабет-Джейн — это не твоя Элизабет-Джейн, не та девочка, которую я несла на руках, когда ты меня продал. Та умерла спустя три месяца, а эта, живая, — от моего второго мужа. Я окрестила ее именем, которое мы дали первой девочке, и она утешила меня в моем горе, заполнив пустоту после смерти первой. Майкл, я умираю и могла бы придержать язык, но не в силах. Сам реши, говорить тебе обо всем этом ее мужу или нет, и прости, если можешь, женщину, когда-то тяжело оскорбленную тобой, как она прощает тебя.

Сьюзен Хенчард».

Муж покойной Сьюзен смотрел на бумагу, как будто она была оконным стеклом, сквозь которое он видел многомильную даль. Губы его дрожали, и он весь сжался, словно так было легче перенести удар. Обычно он не раздумывал, жестоко с ним поступает судьба или нет; в беде он только хмуро говорил себе: «Очевидно, мне придется помучиться», — или: «Неужели я должен вынести столько страданий?» Но сейчас в его горячей голове бушевала такая мысль: это ошеломляющее признание — удар, полученный им по заслугам.

Теперь он понял, почему его жена так противилась тому, чтобы ее дочь переименовала фамилию Ньюсон на Хенчард. Это было лишним подтверждением той честности в бесчестии, которая отличала покойную и в других случаях.

Часа два он просидел так, — сломленный, поникший, но вдруг проговорил:

— А... а что, если это неправда?!

Не раздумывая больше, он вскочил, сбросил спальные туфли, подошел со свечой в руке к двери в комнату Элизабет-Джейн, приложил ухо к замочной скважине и прислушался. Девушка глубоко дышала, как дышат во сне. Хенчард тихонько повернул ручку двери и, загоразивая рукой пламя свечи, подошел к кровати. Медленно передвигая свечу за пологом, он добился того, чтобы свет, падая на лицо спящей, не бил ей в глаза. Он стал пристально всматриваться в ее черты.

Цвет лица у нее был светлый, а у него, Хенчарда, смуглый. Но это было еще не самое главное. Во время сна у людей нередко проступают глубоко заложенные в них особенности телосложения, унаследованные от предков, черты лица умерших, — словом, все то, что днем скрыто и замаскировано подвижностью. В покойном, застывшем, как у статуи, лице девушки можно было безошибочно узнать черты Ричарда Ньюсона. Хенчард был не в силах смотреть на нее и поспешил уйти.



Горе научило его лишь одному: гордо не поддаваться горю. Его жена умерла, и его первое побуждение — отомстить ей — угасло при мысли, что она вне его власти. Он смотрел в ночь, словно она была полна демонов. Хенчард, как и все люди его склада, был суеверен и невольно думал, что цепь событий этого вечера вызвана какой-то зловещей силой, решившей покарать его. Но ведь эти события развивались естественно. Если бы он не рассказал Элизабет о своей прошлой жизни, он не пошел бы искать бумаги в ящике, и так далее. Надо же было так случиться: едва он убедил девушку искать пристанища в его отцовской любви, как узнал, что эта девушка ему чужая.

Ирония судьбы, проявившаяся в последовательности этих событий, возмущала его, словно злая шутка ближнего. Как у пресвитера Иоанна, стол у него был накрыт, но гарпии преисподней похитили еду. Он вышел из дому и хмуро побрел куда глаза глядят, пока не добрался до моста в конце Главной улицы. Здесь он свернул по тропинке к берегу реки, окаймлявшей северо-восточные окраины города.

Эти кварталы были средоточием всех темных сторон жизни Кэстербриджа, так же как южные улицы — средоточием всех ее светлых сторон. Солнце не проникало сюда даже летом; весной белый иней не таял здесь и в те дни, когда в других местах пар шел от разогретой земли; а зимой это был рассадник всяческих хворей, ревматических болей и мучительных судорог. Если бы не северо-восточная часть города, кэстербриджские врачи зачали бы от недоедания.

Река, медленная, бесшумная, темная — «Черная вода» Кэстербриджа, — текла под невысоким утесом, и они вместе служили городу своего рода барьером; с этой стороны не пришлось возводить степы и сооружать земляные укрепления. Здесь еще стояли развалины францисканского монастыря и принадлежавшей ему мельницы, где вода бежала через затвор с шумом, похожим на вопли отчаяния. На том берегу, высоко над утесом, громоздилось несколько зданий, а перед ними на фоне неба четко выделялось какое-то сооружение кубической формы. Оно походило на пьедестал, с которого сняли статую. Откровенно говоря, этим недостающим элементом, без которого вся композиция казалась незаконченной, был человеческий труп, ибо кубическое сооружение служило помостом для виселицы, а в больших зданиях позади него помещалась тюрьма графства. Всякий раз, как совершалась казнь, на лугу, по которому теперь шел Хенчард, собиралась толпа и стояла, глядя на это зрелище под шум воды на мельнице.

Ночная тьма еще больше усугубляла мрачный характер местности, и на Хенчарда это подействовало сильнее, чем он ожидал. Все здесь зловеще гармонировало с его переживаниями, и так как он ненавидел всякие эффекты, сцены, неясности, эта гармония показалась ему слишком уж полной. Тогда его жгучая боль, потеряв остроту, перешла в грусть, и он воскликнул: — Какого черта я сюда забрел!

Он прошел мимо домика, в котором местный палач жил и умер в те времена, когда в Англии его профессия еще не была монополизирована одним-единственным джентльменом; потом поднялся по крутой улочке в город.

Хенчард поистине был достоин жалости, так тяжело переживал он этой ночью муку горького разочарования. Он походил на человека, который близок к обмороку и не в силах ни прийти в себя, ни окончательно лишиться чувств. Жену он осуждал словами, но не сердцем, и, послушайся он ее мудрого наказа, начертанного на письме, он еще долго, а может быть, и никогда не испытал бы этой боли, ибо Элизабет-Джейн, видимо, не стремилась свернуть со своего безопасного и одинокого девичьего пути на чреватую неожиданностями тропу замужества.

Миновала ночь треволений, настало утро, а с ним возникла необходимость избрать план действий. Хенчард был слишком своеволен, чтобы отступить с занятой позиции, особенно

если это было связано с унижением. Он признал девушку своей дочерью, а раз так — его дочерью она должна была считать себя отныне и навеки, сколько бы ему ни пришлось лицемерить.

Но он плохо подготовился к первому шагу в этом новом направлении. Как только он вошел в комнату, где они всегда завтракали, Элизабет доверчиво подошла к нему и взяла его за руку.

— Я всю ночь думала и думала об этом, — откровенно призналась она. — И я вижу, что все должно быть так, как вы сказали. Вы мой отец, и я буду относиться к вам, как дочь, и перестану называть вас мистером Хенчардом. Теперь для меня все так ясно. В самом деле ясно, отец. Ведь вы, конечно, не сделали бы для меня и половины того, что сделали, и не позволяли бы мне во всем поступать по-своему, и не покупали бы мне подарков, если бы я приходилась вам только падчерицей! Он — мистер Ньюсон, за которого моя бедная мать вышла замуж по какой-то странной ошибке, — Хенчард обрадовался, что не во всем признался ей, — он был очень добрый... ах, такой добрый! — Слезы показались у нее на глазах. — Но все же это не то, что родной отец... Ну, отец, завтрак готов! — добавила она весело.

Хенчард нагнулся, поцеловал ее в щеку. Эту минуту, этот поцелуй он много недель предвкушал с великим восторгом, но теперь, когда его мечта исполнилась, она показалась ему такой жалкой. Он вернул матери ее прежнее положение главным образом в интересах дочери, и вот все его усилия пошли прахом.

ГЛАВА XX

Из всех загадок, с какими когда-либо приходилось сталкиваться любой девушке, едва ли была хоть одна, подобная той, какую пришлось разгадывать Элизабет, когда Хенчард назвал себя ее отцом. Он сказал это с таким пылом и волнением, что почти завоевал ее любовь, и вдруг!.. на другое же утро он стал держаться с нею так натянуто, как никогда раньше.

Холодность скоро сменилась неприкрытой придирчивостью. У Элизабет был один прискорбный недостаток — она иногда употребляла местные народные выражения; и хотя это выходило у нее очень мило и оригинально, но тем, кто стремится к светскости, такие выражения кажутся позорящим клеймом.

Хенчард и Элизабет пообедали, — теперь они виделись только в столовой, — и Хенчард уже собирался встать из-за стола, как вдруг Элизабет, желая показать ему что-то, сказала:

— Вы чутьк обождите, отец, сейчас принесу.

— Чутьк обождите! — резко передразнил он ее. — Боже мой, как ты можешь так выражаться? Или ты годишься только на то, чтобы носить помой свиньям?

Она покраснела от стыда и обиды.

— Я хотела сказать: «подождите немного», отец, — проговорила она тихо и смиренно. — Постараюсь быть разборчивее в словах.

Он не ответил и вышел из комнаты.

Резкое замечание не пропало для нее даром, и со временем вместо «сварганить» она стала говорить «устроить»; шмелей больше не называла «жужжалками»; не говорила, что такие-то юноша и девушка «вместе гуляют», но что они «помолвлены»; «гусиный лук» она теперь называла «диким гиацинтом», а если ей случалось плохо спать, наутро уже не говорила служанкам, что ее «душила ведьма», но что она «мучилась несварением желудка».

Впрочем, рассказывая об этих достигнутых ею успехах, мы забегаем вперед. Хенчард, сам человек неотесанный, проявил себя строжайшим критиком промахов милой девушки, хотя теперь это были уже очень мелкие промахи, так как она жадно читала все, что попадалось под руку. Но как-то раз ей пришлось вынести незаслуженно тяжкую пытку из-за ее почерка. Однажды вечером она зачем-то зашла в столовую. Открыв дверь, она увидела, что в комнате сидят мэр и какой-то человек, пришедший по делу.

— Послушай, Элизабет-Джейн, — сказал Хенчард, оглянувшись на нее, — поди-ка сюда и напиши кое-что под мою диктовку; всего несколько слов — соглашение, которое мы с этим джентльменом должны подписать. Сам я не мастер орудовать пером.

— И я тоже, помереть мне на этом месте, — подхватил джентльмен.

Девушка принесла бювар, бумагу и чернила и уселась.

— Ну, начинай. Прежде всего напиши: «Соглашение, заключенное сего года, октября... шестнадцатого дня...»

Перо Элизабет двинулось слоновой поступью по листу бумаги. У нее был великолепный, круглый, разборчивый, своеобразный почерк, за который в более поздние времена женщину прозвали бы «дочерью Минервы». Но в те годы господствовали другие вкусы. Хенчард считал, что у воспитанных молодых девиц почерк должен быть «бисерный»; мало того, он верил, что умение писать узкие острые буквы так же свойственно женщине тонкого воспитания и неотъемлемо от нее, как и самый ее пол. Итак, когда Элизабет-Джейн, вместо того чтобы, как принцесса Ида, выводить —

...Ряд букв, что словно все колосья нивы
Под сильным ветром клонятся на запад,—

начертала строку, похожую на цепь из кружков и овалов, — Хенчард, сердито покраснев от стыда за нее, повелительно бросил: «Оставь... я сам напишу», — и тут же отослал ее прочь.

Теперь ее заботливость о других превратилась в заботу для нее самой. Надо признать, порой она, как назло, обременяла себя физическим трудом без всякой необходимости. Вместо того чтобы позвонить, она сама шла на кухню, «чтобы не заставлять Фэб лишний раз подниматься по лестнице». Когда кошка опрокидывала ведро с углем, Элизабет ползала на коленях с совком в руке; больше того, она упорно благодарила горничную за малейшую услугу, пока однажды Хенчард не взорвался и, как только горничная вышла за дверь, не выпалил:

— Да перестань ты наконец благодарить эту девчонку, точно она богиня какая-то! Разве я не плачу ей двенадцати фунтов в год, чтобы она работала на тебя?

Элизабет так сжалась от его крика, что Хенчард спустя несколько минут раскаялся и сказал, что сам не знает, как вырвались у него эти резкие слова.

Подобные семейные сцены были словно выходы породы на поверхность земли, по которым можно лишь догадываться о том, что кроется в ее недрах. Впрочем, вспышки Хенчарда были не так страшны для Элизабет, как его холодность. Проявления этой холодности все учащались, и девушка с грустью понимала, что его нелюбовь к ней возрастает. Чем привлекательнее становились ее внешность и манеры под смягчающим влиянием культуры, к которой она теперь могла приобщиться, — и благодарно приобщалась, — тем больше он чуждался ее. Иногда она замечала, что он смотрит на нее с хмурым недоброежелательством, вынести которое было очень трудно. Не зная его тайны, она думала: какая жестокая насмешка, что она впервые возбудила его враждебность как раз в то время, когда приняла его фамилию.

Но самое тяжкое испытание было впереди. С некоторых пор Элизабет-Джейн взяла себе за правило подносить среди дня чашку сидра или эля и ломоть хлеба с сыром поденщице Нэнс Мокридж, которая работала на складе — увязывала сено в тюки. Вначале женщина принимала угощение с благодарностью, потом как нечто само собой разумеющееся. Однажды Хенчард, сидевший дома, увидел, что его падчерица вошла в сенной сарай и, так как в сарае некуда было поставить угощение, сейчас же принялась мастерить стол из двух тюков сена, а Нэнс Мокридж стояла, уперев руки в бока, и лениво поглядывала на эти приготовления.

— Элизабет, поди сюда! — позвал ее Хенчард, и девушка подошла к нему.

— Зачем ты так гадко унижаешь себя? — проговорил он, сдерживая клокотавшее в нем возмущение. — Ведь я тебе пятьдесят раз говорил! Говорил ведь, да? Прислуживать простой работнице, да еще с такой репутацией, как у нее! Ты меня позоришь, с грязью мешаешь!

Эти слова он произнес так громко, что Нэнс, стоявшая в дверях сарая, услышала их и мгновенно вскипела, раздраженная

оскорбительным намеком на ее репутацию. Выйдя из сарая, она закричала, не раздумывая о последствиях:

— Если на то пошло, мистер Майкл Хенчард, могу вам доложить, что она прислуживала кое-кому и похуже меня!

— Значит, она добра, только разума у нее не хватает, — сказал Хенчард.

— Как бы не так! Вовсе не по доброте она прислуживала, а за плату, да еще в трактире — здесь, у нас в городе!

— Ложь! — вскричал Хенчард, возмущенный до глубины души.

— А вы спросите у нее самой, — не сдавалась Нэнс, сложив голые руки и спокойно почесывая локти.

Хенчард взглянул на Элизабет-Джейн, лицо которой, теперь всегда защищенное от ветра и солнца, побелело и порозовело, почти утратив свой прежний землистый оттенок.

— Что это значит? — спросил он. — Есть тут доля правды или нет?

— Есть, — ответила Элизабет-Джейн. — Но это было только...

— Прислуживала ты или нет? Где это было?

— В «Трех моряках», один раз, вечером, недолго, когда мы там останавливались.

Нэнс бросила торжествующий взгляд на Хенчарда и уплыла в сарай: не сомневаясь в том, что ее немедленно выгонят с работы, она решила извлечь все, что можно, из своей победы. Однако Хенчард не сказал, что уволит ее. Болезненно чувствительный из-за своего прошлого к подобным разоблачениям, он был похож на человека, поверженного в прах; когда же Элизабет с виноватым видом вернулась в дом, она нигде не нашла его. И вообще в тот день она его больше не видела.

Хенчард, уверенный, что проступок Элизабет нанес огромный ущерб его репутации и положению в городе, — хотя он до сих пор ничего об этом не слышал, — уже не скрывал своего резкого неудовольствия при виде этой чужой ему девушки, когда бы ни встречал ее. Теперь он большей частью обедал с фермерами в общем зале одной из двух лучших гостиниц города, оставляя Элизабет совсем одну. Если бы он видел, как она проводит эти одинокие часы, он понял бы, что должен изменить свое мнение о ней. Она непрерывно читала и делала выписки, накапливая с мучительным прилежанием, но не отказываясь от взятой на себя задачи. Она начала учиться латинскому языку, побуждаемая к этому остатками древнеримской цивилизации в том городе, где она жила. «Если я не буду образованной, вина не моя», — говорила она себе сквозь слезы, которые порой текли по ее бархатистым, как персик, щекам, когда она становилась в тупик перед напыщенным, туманным слогом иных учебников.

Так она жила — эта большеглазая девушка, одаренная глубокими чувствами, и никто из окружающих не разъяснял ее

недоумений,— жила молча, с терпеливым мужеством подавляя в себе зародившееся влечение к Фарфрэ, так как оно, по ее мнению, было без взаимности, не разумно и не приличествовало девушке. Правда, по причинам, лучше всего известным ей самой, она со времени увольнения Фарфрэ переселилась из выходявшей во двор комнаты (где ей раньше было так приятно жить) в комнату с окнами на улицу, но молодой человек, проходя мимо, лишь изредка бросал взгляд на дом Хенчарда.

Вот-вот должна была наступить зима, погода еще не установилась, и Элизабет-Джейн все больше времени проводила дома. Но ранней зимой бывали в Кэстербридже дни, когда после бешеных юго-западных ветров небеса как бы истощались, и, если сияло солнце, воздух был, как бархат. Элизабет-Джейн пользовалась каждым таким днем, чтобы посетить могилу матери на кладбище древнего римско-британского города, которое, как ни странно, до сих пор служило местом погребения. Прах миссис Хенчард смешивался там с прахом женщин, которые лежали в земле, украшенные янтарными ожерельями и стеклянными шпильками, и с прахом мужчин, державших во рту монеты времен Адриана, Постума и Константинов.

Элизабет-Джейн обычно ходила туда в половине одиннадцатого утра, в тот час, когда кэстербриджские улицы были так же безлюдны, как улицы Карнака. Вот и сейчас Труд давно уже прошел по ним и скрылся в своих дневных кельях, а Праздность еще не показывалась. Элизабет-Джейн шла, читая книгу и лишь изредка отрывая глаза от страницы, чтобы подумать о чем-нибудь; и так она добралась наконец до кладбища.

Подойдя к могиле матери, она увидела на усыпанной гравием дорожке одинокую женщину в темном платье. Женщина тоже читала, но не книгу,— ее внимание привлекла надпись на могильном камне миссис Хенчард. Она носила траур, как и Элизабет-Джейн, была примерно такого же роста и в том же возрасте и вообще могла бы сойти за ее двойника, если бы не была гораздо лучше одета. Элизабет-Джейн обычно почти не обращала внимания на одежду людей, разве что случайно, но элегантная внешность этой дамы задержала на себе ее взгляд. Двигалась дама плавно — и не только потому, что, видимо, старалась избегать угловатых движений, но такова уж была ее природа. Для Элизабет это было настоящим откровением: девушка и не подозревала, что люди могут довести свою внешность до такой степени совершенства. Ей почудилось, будто она сама на мгновение лишилась всей своей свежести и грации только потому, что очутилась рядом с такой женщиной. А ведь Элизабет теперь можно было назвать красивой, тогда как молодую даму только хорошенькой.

Будь Элизабет-Джейн завистливой, она могла бы возненавидеть эту женщину; но этого не случилось: она смотрела на незнакомку с искренним восторгом. Девушка спрашивала себя, откуда приехала эта дама. У большинства местных жительниц



походка была тяжелая, деловитая, свойственная добродетельной обыденности; одевались они или просто, или безвкусно, и уже одно это могло бы служить убедительным доказательством того, что дама не уроженка Кэстербриджа; к тому же у нее в руках была книга, похожая с виду на путеводитель.

Незнакомка вскоре отошла от надгробного камня миссис Хенчард и скрылась за углом ограды. Элизабет подошла к могиле; близ нее на дорожке четко отпечатались два следа, и это означало, что дама простояла здесь долго. Девушка вернулась домой, раздумывая обо всем, что видела, так же, как могла бы думать о радуге или северном сиянии, о редкой бабочке или камее.

Если за пределами дома ей посчастливилось увидеть нечто интересное, то дома ей предстоял тяжелый день. Кончался двухлетний срок службы Хенчарда на посту мэра, и ему дали понять, что его уже не включают в список олдерменов, тогда как Фарфрэ, вероятно, войдет в состав городского совета. Поэтому с тех пор, как Хенчард, к несчастью, узнал, что Элизабет

подавала на стол в том городе, где он был мэром, мысль об этом грызла и отравляла его все больше. Он сам навел справки и теперь уже убедился, что она так унизила себя, прислуживая Дональду Фарфрэ, этому вероломному выскочке. И хотя миссис Стэннидж, видимо, не придавала значения этому случаю, ибо весельчаки в «Трех моряках» давно уже обсудили его со всех сторон, но Хенчард был так высокомерен, что проступок девушки — незначительный и вызванный бережливостью — представлялся ему чуть ли не катастрофой, подорвавшей его общественное положение.

С того вечера, как вернулась его жена со своей дочерью, в воздухе словно повеяло таким ветром, от которого счастье ему изменило. Памятный обед с друзьями в «Королевском гербе» оказался Аустерлицем Хенчарда; правда, у него с тех пор не раз бывали удачи, однако он уже перестал идти в гору. Он знал, что не быть ему в числе олдерменов, этих перов буржуазии, и мысль об этом терзала его сердце.

— Ну, где же ты была? — небрежно спросил он падчерницу.

— Я гуляла по аллеям и на кладбище, отец, и очень умолилась.

Она хлопнула себя по губам, но — поздно.

Этого было достаточно, чтобы взбесить Хенчарда, особенно после неприятностей, пережитых им в тот день.

— *Не смей* так говорить! — загремел он. — «Умолилась!» Хороша, нечего сказать! Можно подумать, что ты батрачка на ферме! То я узнаю, что ты прислуживаешь в харчевнях. То слышу, как ты говоришь, словно неотесанная деревенщина. Если так будет продолжаться, не жить нам с тобой в одном доме!

После этого заснуть с приятными мыслями можно было, только вспоминая о даме на кладбище и надеясь на повую встречу с ней.

Между тем Хенчард долго не ложился спать и думал о том, как глупо и ревниво он поступил, запретив Фарфрэ ухаживать за девушкой, которая оказалась чужой ему, Хенчарду: ведь если бы он позволил им сблизиться, она теперь не была бы для него обузой. Наконец он вскочил и, подойдя к письменному столу, сказал себе с удовлетворением:

«Ну, он, конечно, подумает, что я предлагаю ему мир и приданое, — ему и в голову не придет, что я просто не хочу держать ее у себя в доме и никакого приданого не дам!»

И он написал следующее письмо:

«Мистеру Фарфрэ.

Сэр, по зрелом размышлении я решил не препятствовать Вашему ухаживанию за Элизабет-Джейн, если она Вам нравится. Я поэтому снимаю свой запрет, но требую, чтобы все происходило за пределами моего дома.

Уважающий вас *М. Хенчард*».

На следующий день погода была довольно хорошая, и Элизабет-Джейн снова пошла на кладбище, но пока она искала глазами даму, она вдруг увидела Дональда Фарфрэ, проходившего за воротами, и взволновалась. Он на мгновение оторвал глаза от записной книжки, в которой, видимо, что-то подсчитывал на ходу, но на девушку, казалось, не обратил внимания и скрылся из виду.

Чрезмерно подавленная сознанием своей никчемности, она подумала, что он, вероятно, презирает ее, и окончательно упав духом, присела на скамью. Она предалась мучительным мыслям о своем положении и невольно проговорила:

— Ах, лучше бы мне умереть вместе с милой моей мамой!

За скамьей у ограды была протоптана тропинка, и люди иногда ходили по ней, а не по дорожке, усыпанной гравием. Кто-то задел за скамью; девушка оглянулась и увидела, что над нею склонилось лицо, закрытое вуалью; однако его можно было узнать — это было лицо молодой женщины, которая приходила сюда вчера.

Элизабет-Джейн на минуту смутилась, поняв, что ее слова услышали, но к ее смущению примешивалась радость.

— Да, я слышала ваши слова, — оживленно проговорила дама в ответ на ее взгляд. — Что случилось?

— Я не... я не могу сказать вам, — пролепетала Элизабет, закрыв лицо рукой, чтобы скрыть румянец, вспыхнувший на щеках.

Несколько секунд обе не двигались и не произносили ни слова, но вот девушка почувствовала, что дама села рядом с ней.

— Я угадываю, что с вами, — сказала дама. — Здесь покоится ваша мать. — Она показала рукой на могильный камень.

Элизабет взглянула на нее, спрашивая себя, можно ли говорить с нею откровенно. Дама смотрела на нее с таким сочувствием, с таким волнением, что девушка решила довериться ей.

— Да, моя мать, — подтвердила она. — Мой единственный друг.

— Но ваш отец, мистер Хенчард, он ведь жив?

— Да, он жив, — сказала Элизабет-Джейн.

— Он неласков с вами?

— Я не хочу жаловаться на него.

— У вас испортились отношения?

— Немного.

— Может быть, в этом были виноваты вы сами? — предположила незнакомка.

— Да... во многом виновата я, — вздохнула кроткая Элизабет. — Однажды я сама вымела угли, хотя это дело горничной, в другой раз я сказала, что «уморилась», а он рассердился на меня.

Этот ответ, видимо, возбудил в молодой женщине теплое чувство к Элизабет.

— А знаете, каким он мне представляется, судя по вашим словам? — спросила она сердечным тоном. — Мне кажется, он человек горячий... довольно гордый... может быть, тщеславный, но неплохой.

Странно, что она старалась найти оправдание Хенчарду и в то же время держала сторону Элизабет.

— О нет, конечно, он *неплохой*, — честно согласилась девушка. — И он даже не обижал меня до самого последнего времени, пока не умерла мама. Но теперь выносить его обращение очень трудно. Все это, вероятно, из-за моих недостатков, а мои недостатки объясняются моим прошлым.

— Расскажите о вашей жизни.

Элизабет-Джейн с грустью взглянула на собеседницу. Заметив, что та смотрит на нее, девушка опустила глаза, но тут же невольно подняла их снова.

— Жизнь у меня была невеселая и неинтересная, — сказала она. — Но все-таки я могу рассказать вам о ней, если вы действительно этого хотите.

Дама заверила ее, что хочет, и Элизабет-Джейн рассказала ей все то, что сама знала о своем прошлом, причем рассказ этот в общем соответствовал действительности, только из него выпал эпизод с продажей на ярмарке.

Вопреки ожиданиям Элизабет-Джейн, рассказ не произвел дурного впечатления на ее новую знакомую. Это ободрило девушку, и настроение у нее упало, только когда настала пора вернуться в тот дом, где с нею обращались так грубо.

— Уж и не знаю, как мне возвращаться, — пролепетала она. — Я все подумываю, не уехать ли мне совсем. Но что я буду делать? Куда уехать?

— Может быть, скоро у вас все уладится, — мягко проговорила ее новая подруга. — Поэтому я на вашем месте не стала бы уезжать далеко. Ну, а что вы скажете на такое предложение: я собираюсь взять к себе кого-нибудь — отчасти на роль домоправительницы, отчасти компаньонки. Хотите переехать ко мне? Но, может быть...

— О да! — воскликнула Элизабет со слезами на глазах. — Конечно! — Я на все готова, лишь бы стать независимой: ведь тогда отец, может быть, наконец полюбит меня. Но нет! Ничего из этого не выйдет.

— Почему?

— Я ведь необразованная. А *вам* нужна образованная компаньонка.

— Ну, необязательно.

— Разве? Но ведь я никогда не могу удержаться, и у меня невольно вырываются простонародные выражения.

— Ничего, мне это будет даже интересно.

— И еще одно... О нет, я знаю, что не гожусь! — восклик-

пула Элизабет с грустной улыбкой.— Случайно вышло так, что я научилась писать круглым почерком, а не бисерным. А вам, конечно, нужна девушка, умеющая писать красиво.

— Нет!

— Как, разве необязательно писать бисерным почерком? — радостно воскликнула Элизабет.

— Вовсе нет.

— Но где же вы живете?

— В Кэстербридже; вернее, я буду жить здесь с сегодняшнего дня — с двенадцати часов.

Элизабет не скрыла своего удивления.

— Я на несколько дней остановилась в Бедмуте, пока здесь приводили в порядок мой дом. Я буду жить в «Высоком доме», как у вас называют тот старинный каменный особняк, что примыкает к рынку. Не все комнаты готовы — лишь две-три, но в них уже можно жить, и сегодня я в первый раз буду ночевать там. Так вот, подумайте о моем предложении и давайте встретимся здесь в первый же погожий день на будущей неделе, если только вы не передумаете.

У Элизабет засияли глаза при мысли о том, что ее невыносимое положение, быть может, изменится; она с радостью согласилась, и собеседницы расстались у ворот кладбища.

ГЛАВА XXI

Иную поговорку мы привычно повторяем с детских лет, не задумываясь над ее смыслом, пока в зрелом возрасте справедливость ее не подтвердится опытом,— так, «Высокий дом» сейчас впервые привлек к себе внимание Элизабет-Джейн, хотя она сотни раз слышала это название.

Весь остаток дня она думала только о незнакомке, о ее доме и о том, придется ли ей самой жить в нем. Во второй половине дня она вышла из дому, чтобы заплатить по счетам и сделать кое-какие покупки, и тут узнала, что новость, казавшаяся ей целым открытием, уже сделалась достоянием улицы. В «Высоком доме», говорили люди, идет ремонт; вскоре там поселится некая дама; все торговцы об этом узнали и уже гадают, будет хозяйка дома их покупательницей или нет.

Элизабет-Джейн все-таки смогла дополнить эти в общем столь новые для нее сведения. Она сообщила, что дама приехала сегодня.

Когда зажгли фонари, но дымовые трубы, мансарды и крыши еще не скрылись во тьме, Элизабет, с чувством, близким к влюбленности, решила пойти посмотреть на «Высокий дом». И вот она направилась к нему.

«Высокий дом» с его серым фасадом и парапетом был единственной, можно сказать, виллой, расположенной почти в самом центре города. От соседних домов его отличали некоторые

особенности, свойственные загородным особнякам; птичьи гнезда в дымовых трубах; сырые ниши, поросшие плесенью; негладкие стены, по которым прошлась штукатурной лопаткой Природа. Ночью, когда горели фонари, на эти светлые стены ложились черные тени прохожих.

В тот вечер перед домом валялись охапки соломы, были и другие признаки того, что он находится в том состоянии анархии, которое всегда сопровождает въезд новых жильцов. Дом был целиком выстроен из камня и производил впечатление внушительное, хотя и не был велик. Это был не аристократический особняк в полном смысле этого слова и, уж конечно, не великосветский, однако патриархально настроенный приезжий, глядя на него, невольно думал: «Его воздвигла Благородная кровь, а обитает в нем Богатство», — и думал он так даже в том случае, если имел лишь смутное понятие о богатстве и благородстве.

Впрочем, приезжий ошибался насчет обитателей этого дома, так как вплоть до прибытия новой хозяйки дом пустовал года два, да и раньше в нем жили только время от времени. Причину его непопулярности было нетрудно угадать. Комнаты его выходили на рыночную площадь, а такой вид из окон казался людям нежелательным и даже неприличным.

Взглянув на верхний этаж «Высокого дома», Элизабет увидела в комнатах свет. Очевидно, дама уже приехала. Она так глубоко заинтересовала любознательную девушку своим обращением, обличавшим некоторую умудренность жизненным опытом, что Элизабет, стоя в воротах на противоположной стороне улицы, радовалась, представляя себе эту обаятельную женщину там, напротив, вот за этими стенами, и старалась угадать, чем она сейчас занята. Ее восхищение архитектурой дома было целиком вызвано его обитательницей. Однако архитектура эта сама по себе заслуживала восхищения или, по крайней мере, изучения. Дом был выстроен в стиле Палладио и, как большинство зданий, возведенных после эпохи готики, представлял собой скорее компиляцию архитектурных элементов, чем творческое решение. Но целесообразность его конструкции производила внушительное впечатление. Он казался, хотя и не был, роскошным. Своевременно осознав конечную тщету человеческого зодчества — как и тщету всех прочих творений человека, — создавший его архитектор уклонился от художественных излишеств.

Только что ушли люди, которые сновали с тюками и упаковочными ящиками между домом и улицей, превращая подъезд и вестибюль в проход общего пользования. Когда стемнело, Элизабет вошла в открытый подъезд, но, испугавшись своей дерзости, быстро вышла из дома другим ходом на задний двор, а потом — на улицу через другую открытую дверь, пробитую в его высокой стене. К своему удивлению, она очутилась в одном из глухих тупиков города. Она оглянулась на дверь, через

которую вышла, и увидела при свете одинокого фонаря, стоявшего в этом тупичке, что дверь в стене увенчана аркой, очень старинной — старше даже самого дома. Дверь была обита гвоздями с большими шляпками, а на замковом камне арки была высечена маска. И теперь еще можно было разобрать, что некогда эта маска изображала смех, хотя несколько поколений кэстербриджских мальчишек бросали в нее камнями, целясь в разинутый рот, и камни так выщербили ей щеки и челюсти, что казалось, будто они изъедены болезнью. При тусклом свете фонаря вид у маски был такой зловещий, что Элизабет не могла смотреть на нее, и это было ее первым неприятным впечатлением от дома.

Расположение диковинной старинной двери и странная ухмыляющаяся маска говорили прежде всего о том, что с историей этого дома были некогда связаны какие-то темные дела. К нему можно было незаметно пробраться глухим переулком из любого места в городе: из старого игорного дома, со старого скотного рынка, со старой арены петушиных боев, от пруда, где, бывало, исчезали некрещенные младенцы. Что и говорить, «Высокий дом» мог похвалиться удобством своего местоположения.

Элизабет повернулась, собираясь пойти домой кратчайшим путем, но, слышав чьи-то шаги и не желая, чтобы ее в такой час видели в таком месте, быстро отступила назад. Другого выхода из тупика не было, и она решила постоять за кирпичным столбом, пока прохожий не удалится.

Велико было бы ее удивление, если бы она последила за ним. Она увидела бы, что прохожий, подойдя к дому, направился прямо к двери с аркой, а когда он остановился, взявшись за щеколду, и свет фонаря упал на его лицо, узнала бы в нем Хенчарда.

Но Элизабет-Джейн так сжалась в своем углу, что ничего этого не заметила. Хенчард вошел во двор — так же не подозревая о ее присутствии, как она не знала, кто этот встречный, — и скрылся во мраке. Тогда Элизабет покинула свое убежище и поспешила домой.

Любопытно, что придирки и выговоры Хенчарда, породившие в ней болезненный страх, как бы не сделать чего-нибудь недостойного благовоспитанной девушки, помешали им обоим узнать друг друга в этот критический момент. А ведь если бы они друг друга узнали, последствия были бы немалые, и, уж конечно, у обоих возник бы один и тот же вопрос: зачем понадобилось ему (или ей) приходиться сюда?

Что бы ни делал Хенчард в доме незнакомки, но к себе он пришел лишь на несколько минут позже Элизабет-Джейн. Она собиралась заговорить с ним о своем намерении уйти из его дома в тот же вечер — к этому ее побуждали события дня. Но все зависело от его настроения, и она в тревоге ждала, не зная, как он поведет себя с ней. Она заметила, что он пере-

менился. Ей уже не грозила опасность его прогневить, ей грозило кое-что похуже. Его раздражительность перешла в полнейшее равнодушие, и он был так холоден с девушкой, что эта холодность сильнее его вспыльчивости побуждала ее уйти.

— Отец, вы не против того, чтобы я от вас ушла? — спросила она.

— Чтобы ты от меня ушла? Нет... ничуть. А куда ты собираешься уйти?

Она решила, что сейчас не нужно открывать свои намерения тому, кто столь мало интересуется ею. Он и так скоро услышит об этом.

— У меня появилась возможность пополнить мое образование и жить не так праздно, как я теперь живу, — сказала она нерешительно. — Мне предлагают место в доме, где я смогу учиться и общаться с хорошо воспитанными людьми.

— Так и воспользуйся этой возможностью, ради бога... если не можешь пополнить свое образование здесь.

— Вы не возражаете?

— Возражаю? Я? Нет... нет! Нисколько! — Немного помолчав, он добавил: — Но без моей помощи у тебя, пожалуй, не хватит средств на выполнение этого многообещающего плана. Если хочешь, я готов давать тебе карманные деньги, чтобы ты не оказалась вынужденной жить только на нищенское жалованье, которое тебе, вероятно, будут платить эти хорошо воспитанные люди.

Она поблагодарила его.

— Лучше сделать все как следует, — сказал он, снова помолчав. — Я положу на твое имя небольшую сумму, и ты ежегодно будешь получать с нее ренту; таким образом, ты не будешь зависеть от меня, а я не буду зависеть от тебя. Тебе это по душе?

— Конечно.

— Так я позабочусь об этом сегодня же.

Сбыв ее с рук, он, видимо, почувствовал облегчение, и таким образом вопрос об ее отъезде разрешился. Теперь Элизабет только ждала свидания с дамой.

Наступили назначенный день и час, но шел мелкий дождь. Элизабет-Джейн, свернув теперь со своей прежней орбиты беззаботной обеспеченности на трудовой путь, решила, что для такого померкшего светила, как она, погода достаточно хороша, лишь бы только ее новая приятельница решилась выйти из дому, что было сомнительно. Девушка пошла в чулан, где висели ее деревянные сандалии, сняла их и, начернив ваксой заплесневелые кожаные ремни, надела эту обувь на ноги, как надевала в былые времена. Так, в деревянных сандалиях, в плаще и с зонтом, она пошла к месту свидания, решив, в случае если дама не придет, отправиться к ней домой.

Одна сторона кладбища, подветренная, была ограждена старинной глинобитной стеной, крытой соломенной кровлей

со свесом, выступавшим фута на два. За этой стеной находился склад с зернохранилищем и амбарами — тот самый склад, где Элизабет встретила Фарфрэ много месяцев назад. Кто-то стоял здесь под соломенной кровлей. Значит, молодая дама пришла.

Ее приход так укрепил радужные надежды девушки, что она почти испугалась своего счастья. И в самых трезвых умах находится место для игры воображения. Здесь, на этом кладбище, древнем, как сама цивилизация, под проливным дождем стояла незнакомая женщина, такая необычная и обаятельная, каких Элизабет еще не приходилось видеть, и ее присутствие казалось девушке каким-то волшебством. Тем не менее Элизабет направилась сначала к церковной колокольне, со шпиль которой, хлопая на ветру, свешивалась веревка флагаштока, и уже оттуда подошла к стене.

Несмотря на дождь, у дамы был такой бодрый вид, что Элизабет позабыла о своих фантазиях.

— Ну как, вы решились? — проговорила дама, и ее белые зубы блеснули за черной шерстяной вуалью, защищавшей лицо.

— Да, окончательно, — ответила девушка с жаром.

— Ваш отец согласен?

— Да.

— Так переезжайте.

— Когда?

— Хоть сейчас... как только вам будет удобно. Я хотела было послать за вами и пригласить вас к себе, полагая, что вы не решитесь прийти сюда в такой ветер. Но я люблю гулять и решила сначала пойти посмотреть, нет ли вас здесь.

— Так же и я решила.

— Значит, мы с вами уживемся. Переезжайте сегодня. Можете? У меня в доме так пусто и грустно, что мне хочется иметь около себя живое существо.

— Мне кажется, я смогу переехать сегодня, — сказала девушка, подумав.

В эту минуту сквозь шум ветра и дождя до них допеслись голоса из-за стены. Слышны были слова: «мешки», «четверти», «молотьба», «мякина», «на рынке в будущую субботу», но остальные слова уносил ветер, и все фразы были искажены, как лицо, отраженное в треснувшем зеркале. Женщины прислушались.

— Кто эти люди? — спросила дама.

— Один из них мой отец. Он арендует этот двор и амбар.

Дама, видимо позабыв о деле, по которому пришла сюда, прислушивалась к техническим терминам торговли зерном. Но вдруг проговорила:

— Вы сказали ему, куда переезжаете?

— Нет.

— О... как же так?

— Я думала, что безопаснее будет сначала уехать,— ведь он такой переменчивый.

— Пожалуй, вы правы... К тому же я еще не назвала вам своей фамилии. Я — мисс Темплмэн... Они уже ушли... те... на той стороне?

— Нет. Они только прошли в зернохранилище.

— Ну, здесь становится сыро. Значит, я буду ждать вас сегодня... сегодня вечером, скажем, часов в шесть.

— С какого входа мне войти, сударыня?

— С главного... через подъезд. Другого нет.

Элизабет-Джейн вспомнила про дверь в стене, выходящую в тупик.

— Раз уж вы еще не сказали ему, куда уезжаете, вам, пожалуй, и правда лучше молчать об этом, пока вы не покинете его дома. Кто знает, а вдруг он передумает?

Элизабет-Джейн покачала головой.

— Этого я не боюсь,— проговорила она печально.— Он ко мне совсем охладел.

— Прекрасно. Так, значит, в шесть часов.

Когда они вышли на дорогу и стали прощаться, подул такой сильный ветер, что им с трудом удавалось удерживать гнущиеся зонты. Тем не менее, проходя мимо ворот зернового склада, дама заглянула в них и на мгновение остановилась. Но во дворе пикого не было, только стояли стога, горбатый амбар, покрытый мхом, как подушками, да высокое зернохранилище перед колокольней, на шпилье которой веревка все еще хлопала о флагшток.

Хенчард и не подозревал, что Элизабет-Джейн уедет так скоро. Вернувшись домой около шести часов и увидев перед подъездом карету из «Королевского герба», а в этой карете свою падчерицу со всеми ее корзинками и сумочками, он не скрыл своего удивления.

— Но вы же позволили мне уехать, отец!..— объяснила Элизабет-Джейн, высунувшись в окно кареты.

— Позволил!.. Ну да, конечно. Но я думал, что ты собираешься уехать через месяц или в будущем году. Черт возьми... Оказывается, ты времени зря не теряешь, как говорится, хватаешь его за вихор! Вот как ты отблагодарила меня за все мои заботы о тебе!

— Ах, отец! Можно ли так говорить? Это несправедливо! — возразила она горячо.

— Ну, ладно, ладно, поступай как знаешь,— отозвался он.

Он вошел в дом и, увидев, что еще не все вещи Элизабет снесены вниз, поднялся в ее комнату, чтобы присмотреть за переноской. Он не был в этой комнате с тех пор, как Элизабет-Джейн заняла ее. Здесь еще оставались следы ее тяги к самообразованию, ее стараний украсить свой уголок: книги, рисунки, географические карты, скромные безделушки. Хен-

чард ничего не знал об этих попытках. Он посмотрел на все это, внезапно повернулся и спустился на крыльцо.

— Послушай, не уезжай от меня! — начал он изменившимся голосом (он уже никогда не называл ее по имени). — Может быть, я говорил с тобой грубо... но из-за тебя я пережил много тяжелых дней... была тому причина.

— Из-за меня? — спросила она, очень встревоженная. — Что же я сделала?

— Я сейчас не могу тебе этого сказать. Однако, если ты останешься и будешь по-прежнему жить у меня как моя дочь, я со временем скажу тебе все.

Но его предложение запоздало на десять минут. Элизабет-Джейн сидела в карете, а мысленно уже находилась в доме той женщины, которой была так очарована.

— Отец... — начала она, стараясь говорить как можно мягче, — мне кажется, для нас обоих будет лучше, если я сейчас уеду. Может быть, я не останусь там надолго; я буду жить недалеко отсюда и, если буду вам очень нужна, быстро вернусь.

Он ответил на ее слова еле заметным кивком — и только.

— Ты говоришь, что уезжаешь недалеко. Скажи мне свой адрес на случай, если я вздумаю написать тебе. Или мне нельзя его знать?

— Конечно, можно. Я буду жить здесь, в городе... в «Высоком доме».

— Где? — переспросил Хенчард, и лицо его застыло.

Она повторила свой адрес. Хенчард не шелохнулся и не проронил ни слова, а она самым дружеским образом помахала ему рукой и приказала кучеру ехать вверх по улице.

ГЛАВА XXII

Чтобы объяснить поведение Хенчарда, вернемся на минуту к тому, что происходило накануне вечером.

В тот час, когда Элизабет-Джейн намеревалась втайне совершить разведывательную экскурсию в обитель очаровавшей ее женщины, Хенчард был немало удивлен, получив с посылным письмо, написанное хорошо знакомым ему почерком Люсетты. На этот раз сдержанность и покорность судьбе, звучавшие в ее предыдущем письме, исчезли бесследно; она писала с той свойственной ей легкостью мыслей, которая отмечала порою их знакомства.

«Высокий дом».

Мой дорогой мистер Хенчард, не удивляйтесь. Ради Вашего и, надеюсь, своего блага я переехала в Кэстербридж — надолго ли, не знаю. Это зависит от другого человека, а он —

мужчина, и купец, и мэр, и тот, кто больше других имеет право на мою привязанность.

Серьезно, *mon ami*¹, я не так легкомысленна, как может показаться по этим строчкам. Я приехала сюда, потому что узнала о смерти Вашей жены, которую Вы считали умершей столько лет тому назад! Бедная женщина, она, должно быть, много страдала, не жалуясь, и была хоть и недалекого ума, но в общем неглупа. Я рада, что Вы поступили с ней справедливо. Как только я услышала, что ее не стало, моя совесть очень настойчиво потребовала от меня попытки рассеять тень, которую я своей *étourderie*² набросила на свое имя, и заставила меня просить Вас выполнить данное мне обещание. Надеюсь, Вы того же мнения и предпримете шаги в этом направлении. Но, не зная, как Вы теперь живете и что произошло после нашего расставания, я решила приехать и поселиться здесь, а уже потом обратиться к Вам.

Полагаю, что наши взгляды на этот счет сходятся. Я могу увидеться с Вами через день или два. А пока — до свидания.

Ваша Люсетта.

Р. С. Я не смогла выполнить свое обещание увидеться с Вами на минуту, когда проезжала через Кэстербридж. Мои планы изменились благодаря одному семейному событию, узнав о котором Вы будете удивлены».

Хенчард уже слышал, что «Высокий дом» ремонтируется в ожидании новых жильцов. Не зная, что и думать, он спросил первого встречного:

— Кто это собирается жить в «Высоком доме»?

— Кажется, какая-то леди по фамилии Темплмэн, сэр,— ответил его собеседник.

Хенчард призадумался. «Очевидно, Люсетта — ее родственница,— сказал он себе.— Да, я, безусловно, обязан создать ей прочное общественное положение, тут и говорить не о чем».

Теперь эта нравственная обязанность уже не удручала его, как удручала бы раньше,— напротив, он относился к ней с интересом, если не с жаром. Он испытал горькое разочарование, узнав, что Элизабет-Джейн ему не родная дочь и что детей у него нет; от этого в душе у него появилась пустота, которую он бессознательно стремился заполнить. В таком настроении, но, впрочем, не испытывая прилива сильных чувств, он направился к тупику и вошел во двор «Высокого дома» через ту дверь, у которой Элизабет чуть не столкнулась с ним. Во дворе он спросил какого-то человека, который распаковывал ящик с посудой, живет ли здесь мисс Ле Сюёр. Когда он познакомил-

¹ Друг мой (*фр.*).

² Опрометчивостью (*фр.*).

ся с нею, Люсетта — в те времена она называла себя Люсетт — носила фамилию Ле Сюёр.

Человек ответил отрицательно и сказал, что приехала только мисс Тэмплмэн. Хенчард ушел, решив, что Люсетты еще нет в городе.

К этому сводились те сведения, которыми он располагал, когда на следующий день прощался с уезжавшей Элизабет-Джейн. Когда она сказала ему свой будущий адрес, ему, как ни странно, внезапно пришло в голову, что Люсетта и мисс Тэмплмэн — одно и то же лицо: он вспомнил, что во времена их близости Люсетта говорила, будто у нее есть богатая родственница, миссис Тэмплмэн, которую он почему-то считал личностью мифической. Хенчард не искал большого приданого, но все же мысль о том, что Люсетта, быть может, разбогатела, получив крупное наследство от этой родственницы, придавала ей привлекательность, которой в противном случае ей, быть может, и недоставало бы. Ведь он был уже в средних летах и приближался к тому возрасту, когда человек, устоявшись, придает все больше и больше значения материальным благам.

Но Хенчард недолго пребывал в недоумении. Люсетта очень любила писать, как мы уже знаем по лавине писем, которыми она засыпала его после крушения своих надежд на замужество, и не успела Элизабет уехать, как в доме мэра была получена другая записка из «Высокого дома».

«Я уже вселилась, — писала Люсетта, — и мне здесь удобно, но переезд оказался очень утомительным. Вы, вероятно, знаете то, о чем я хочу рассказать Вам, или еще не знаете? Моя добрая тетушка Тэмплмэн, вдова банкира, — та самая, в чьем существовании, а тем более в чьем богатстве Вы когда-то сомневались, — недавно скончалась, завещав мне часть своего состояния. Не буду вдаваться в подробности — скажу только, что я приняла ее фамилию, дабы избавиться от своей и всего неприятного, что с нею связано.

Теперь я сама себе хозяйка и решила поселиться в Кэстербридже — сняла «Высокий дом», чтобы Вы без особых затруднений могли видаться со мной, если пожелаете. Я сначала не хотела было сообщать Вам о переменах в моей жизни, пока мы случайно не встретимся на улице, но потом передумала.

Вы, вероятно, знаете о моем соглашении с Вашей дочерью и, конечно, посмеялись, сообразив, — как бы это выразиться? — какую шутку я сыграла с Вами (любя), когда пригласила ее жить у меня в доме. Но в первый раз я встретилась с нею совершенно случайно. Вы знаете, Майкл, зачем я все это устроила? Отчасти затем, чтобы у Вас был предлог приходить сюда в гости к ней и таким образом попутно возобновить знакомство со мной. Она милая, хорошая девушка и считает, что Вы обращались с нею чересчур сурово. Возможно, Вы поступали

так сгоряча, но, уж конечно, не умышленно, — в этом я уверена. Впрочем, раз она в результате подружилась со мной, я не склонна Вас укорять.

Пишу наскоро.

Всегда Ваша *Люсетта*.

Волнение, охватившее хмурую душу Хенчарда, когда он получил это письмо, было чрезвычайно приятным. Он долго сидел, задумавшись, за обеденным столом, и чувства его, не находившие точки приложения со времени разрыва с Элизабет-Джейн и Дональдом Фарфрэ, не успев иссякнуть, почти механически переключились на Люсетту и сосредоточились на ней. «Сомнений быть не может — она стремится выйти замуж», — думал он. Но чего же еще ожидать от бедняжки, которая так опрометчиво отдавала ему свое время и сердце, что испортила себе репутацию? Быть может, не только привязанность, но и укоры совести привели ее сюда. В общем, он ее не осуждает.

«Хитрая девчонка!» — подумал он, улыбаясь, при мысли о том, как ловко и мило Люсетта повела себя с Элизабет-Джейн.

Его желание увидеть Люсетту немедленно претворилось в действие. Он надел шляпу и вышел. К ее подъезду он подошел между восемью и девятью часами. Ему сказали, что сегодня вечером мисс Темплмэн занята, но будет рада видеть его завтра.

«Ломается! — подумал он. — А как вспомнишь, что мы...» Впрочем, она, очевидно, не ждала его, и он выслушал отказ спокойно. Тем не менее он решил не ходить к ней на следующий день. «Чертовы бабы!.. нет в них ни капли прямоты!» — сказал он себе.

Последуем за ходом мыслей мистера Хенчарда, как если бы это была путеводная нить, и, заглянув в «Высокий дом», узнаем, что там происходило в тот вечер.

Когда Элизабет-Джейн приехала, какая-то пожилая женщина равнодушным тоном предложила проводить ее наверх и там помочь ей раздеться. Девушка горячо запротестовала, говоря, что ни за что на свете не станет доставлять столько беспокойства, и тут же в коридоре сняла шляпу и плащ. Затем ее подвели к ближайшей двери на площадке и предоставили самой найти дорогу.

Комната за этой дверью была красиво обставлена и служила будуаром или небольшой гостиной, а на диване с двумя валиками полулежала темноволосая, большеглазая хорошенькая женщина, несомненно француженка по отцу или матери. Она, по-видимому, была на несколько лет старше Элизабет, и в глазах у нее поблескивали искорки. Перед диваном стоял столик, и на нем были рассыпаны карты рубашками вниз.

Молодая женщина лежала в такой непринужденной позе, что, слышав, как открывается дверь, подскочила, точно пружина.

Узнав Элизабет и успокоившись, она пошла ей навстречу быстрыми, словно порхающими шагами; если бы не ее природная грациозность, эта порывистая походка казалась бы развинченной.

— Что так поздно? — спросила она, взяв руки Элизабет-Джейн в свои.

— Мне пришлось уложить столько мелочей...

— Вы, наверное, устали до смерти. Давайте-ка я вас развею любопытными фокусами, которым научилась, чтобы убивать время. Садитесь вот тут и сидите смирно.

Она подвинула к себе столик, собрала карты и принялась быстро раскладывать их, предложив Элизабет запомнить несколько карт.

— Ну, запомнили? — спросила она, бросив на стол последнюю карту.

— Нет, — запинаясь, пролепетала Элизабет, которая была погружена в свои мысли и только сейчас очнулась. — Не успела — я думала о вас... и о себе... и о том, как странно, что я здесь.

Мисс Темплмэн с интересом посмотрела на Элизабет-Джейн и положила на стол карты.

— Бог с ними! — сказала она. — Я прилягу, а вы садитесь около меня, и давайте болтать.

Элизабет молча, но с видимым удовольствием села у изголовья дивана. Заметно было, что она моложе хозяйки, но ведет себя и смотрит на жизнь более благоразумно. Мисс Темплмэн расположилась на диване в прежней непринужденной позе, закинув руку за голову, как женская фигура на известной картине Тициана, и заговорила, не глядя на Элизабет-Джейн.

— Я должна сказать вам кое-что, — проговорила она. — Интересно, приходило вам это в голову или нет. Ведь я лишь совсем недавно стала хозяйкой большого дома и владелицей целого состояния.

— Вот как? Совсем недавно? — пробормотала Элизабет-Джейн, и ее лицо немного вытянулось.

— Девочкой я жила с отцом в городах, где стояли воинские части, жила и в других местах; вот почему я такая непостоянная и какая-то неприкаянная. Он был армейским офицером. Мне не следовало бы говорить об этом, но я решила, что лучше вам знать правду.

— Да, конечно.

Элизабет-Джейн задумчиво обвела глазами комнату — маленькое прямоугольное фортепяно с медными инкрустациями, портьеры на окнах, лампа, красные и черные короли и дамы на карточном столике — и наконец устремила взгляд на запро-

кинутую голову Люсетты Темплмэн; ее большие блестящие глаза казались очень странными смотревшей на них сверху Элизабет-Джейн.

Мысль о самообразовании всегда преследовала Элизабет-Джейн с почти болезненной навязчивостью.

— Вы, наверное, свободно говорите по-французски и по-итальянски,— сказала она.— А я пока не пошла дальше самой элементарной латыни.

— Ну, если хотите знать, на острове, где я родилась, умение говорить по-французски невысоко ценится, пожалуй, даже совсем не ценится.

— А как называется остров, где вы родились?

Мисс Темплмэн ответила не очень охотно:

— Джерси. Там на одной стороне улицы говорят по-французски, на другой — по-английски, а посередине — на каком-то смешанном языке. Впрочем, я там давно не была. Мои родители — уроженцы Бата, но предки наши на Джерси принадлежали к самому лучшему обществу, не хуже любого в Англии. Это были Ле Сюёры — древний род, который в свое время совершил немало славных дел. Я вернулась на Джерси и жила там после смерти отца. Но я не дорожу прошлым, и сама я — настоящая англичанка по своим вкусам и убеждениям.

Болтливость Люсетты на минуту взяла верх над ее сдержанностью. В Кэстербридж она приехала, назвавшись уроженкой Бата, и, по понятным причинам, желала, чтобы Джерси навсегда выпал из ее жизни. Но с Элизабет ей захотелось поговорить по душам, и сознательно принятое ею решение не было выполнено.

Впрочем, если она и проговорилась, то человеку верному. Слова Люсетты не пошли дальше, а после этого дня она так следила за собой, что нечего было бояться, как бы кто-нибудь не узнал в ней ту юную жительницу Джерси, которая в трудное для нее время была любящей подругой Хенчарда. И самое забавное: она из предосторожности твердо решила избегать французских слов, которые нередко просились ей на язык раньше, чем английские слова того же значения. От французских выражений она мгновенно отреклась, — совсем как малодушный апостол, когда ему сказали: «Речь твоя обличает тебя!»

На следующее утро ожидание было явно написано на лице Люсетты. Она принарядилась для мистера Хенчарда и, волнуясь, ждала его визита до полудня; но он не пришел, и она напрасно прождала всю вторую половину дня. Однако она не сказала Элизабет, что ожидает ее отчима.

Они сидели в одной из комнат большого каменного дома Люсетты у смежных окон и занимались вязаньем, поглядывая на рынок, представлявший оживленное зрелище. Элизабет видела внизу среди толпы тулью шляпы своего отчима, но и не подозревала, что Люсетта следит за тем же самым предметом

с гораздо более страстным интересом. Хенчард был в самой толчее, в том конце рынка, где люди суетились, как муравьи в муравейнике; в другом конце, там, где стояли ларьки с овощами и фруктами, было гораздо спокойнее. Несмотря на толкотню и опасность попасть под проезжающие экипажи, фермеры, как правило, предпочитали заключать сделки не в отведенном для них сумрачном, закрытом помещении, а на перекрестке, под открытым небом. Здесь они толпились раз в неделю, образуя свой особый мирок из гетр, хлыстов и мешочков с образцами зерна, — детины с огромными животами горой, верзилы, чьи головы качались на ходу, как деревья в ноябрьскую бурю, — и, разговаривая, то и дело меняли позу и приседали, широко расставив ноги и засунув руки в карманы допотопных нижних курток. Их лица источали тропический зной, и если дома цвет кожи у них менялся в зависимости от времени года, то на рынке щеки их круглый год пылали, как костры.

Верхнюю одежду здесь носили, как бы подчиняясь неудобной, стеснительной необходимости. Некоторые мужчины были хорошо одеты, но большинство одевалось небрежно и появлялось в выгоревших на солнце костюмах, по которым можно было воссоздать многолетнюю историю всех деяний и каждодневной борьбы их владельцев. Однако многие из этих людей носили в карманах потрепанные чековые книжки, и сумма их вкладов в ближнем банке достигала по меньшей мере четырехзначного числа. Сказать правду, отличительной чертой этих неуклюжих человеческих существ были наличные деньги — деньги, которые действительно и всегда были налицо, — не ожидалось в будущем году, как у титулованной особы, и зачастую даже не лежали в банке, как у дельца, а были налицо сейчас, здесь, на их широких мясистых ладонях.

В тот день над ними возвышались две-три высокие яблони, и сначала казалось, будто они растут тут же, на месте; потом выяснилось, что их принесли на продажу жители округов, где варят сидр, заодно притащив и почву своего графства, налипшую на сапогах. Элизабет-Джейн, часто наблюдавшая за ними, сказала:

— Интересно знать, неужели они каждую неделю приносят сюда одни и те же деревья?

— Какие деревья? — спросила Люсетта, поглощенная тем, что следила за Хенчардом.

Элизабет-Джейн ответила что-то невразумительное, так как ее внимание отвлеклось. За одной из яблонь стоял Фарфрэ, оживленно разговаривая с каким-то фермером о каких-то образцах зерна. Подошел Хенчард и неожиданно оказался рядом с молодым человеком, на лице которого можно было прочесть вопрос: «Мы будем говорить друг с другом?»

Девушка увидела, как в глазах ее отчима загорелся огонь, означавший: «Нет!» Элизабет-Джейн вздохнула.

— Вас интересует кто-то из этих людей? — спросила Люсетта.

— Ничуть, — ответила ее компаньонка и вспыхнула.

К счастью, Фарфрэ уже скрылся за яблоней.

Люсетта пристально посмотрела на девушку.

— Так ли это? — спросила она.

— Конечно, — ответила Элизабет-Джейн.

Люсетта снова выглянула в окно.

— Все это — фермеры? — спросила она.

— Нет. Вот мистер Балдж — он виноторговец; а это Бенджамин Браунлет — барышник; а там Китсон — свиновод и Йоппер — аукционист; есть среди них и пивовары, и мельники... и другие.

Фарфрэ теперь стоял в стороне и был отчетливо виден, но она не упомянула о нем.

Так — бесплодно — проходил субботний день. На рынке час ознаменения с образцами зерна перешел в тот праздный час перед разездом по домам, когда все просто болтают друг с другом о разных разностях. Хенчард не зашел к Люсетте, хотя стоял совсем близко от ее дома. «Очевидно, он слишком занят, — подумала она. — Он придет в воскресенье или понедельник».

Прошли и эти дни, но гость все не являлся, а Люсетта все так же тщательно одевалась, как и в первый день. Она пала духом. Надо сразу сказать, что Люсетта теперь уже не была так горячо привязана к Хенчарду, как в начале их знакомства, ибо неудачное стечение обстоятельств сильно охладило ее любовь. Но у нее не прошло сознательное стремление соединить с ним свою жизнь, раз теперь этому ничто не мешало, и таким образом определить свое положение, — уже одно это казалось ей счастьем, о котором стоило мечтать. У нее были веские причины желать этого брака, а у Хенчарда не было причин откладывать, раз она получила наследство.

Во вторник открылась большая сретенская ярмарка. За завтраком Люсетта сказала Элизабет-Джейн с самым невозмутимым видом:

— Мне кажется, ваш отец сегодня зайдет повидаться с вами. Он, вероятно, стоит тут поблизости на рыночной площади среди прочих зерноторговцев.

Элизабет-Джейн покачала головой.

— Он не придет.

— Почему?

— Он что-то имеет против меня, — проговорила девушка глухо.

— Выходит, ваш разлад серьезнее, чем я думала?

Элизабет, желая защитить того, кого она считала своим отцом, от обвинения в противоестественной враждебности к дочери, ответила:

— Да.

— Значит, он всегда будет обходить тот дом, где живете вы?

Элизабет с грустью кивнула головой.

Люсетта посмотрела на нее в замешательстве, потом ее красивые брови и рот судорожно дернулись, и она истерически зарыдала. Вот так удар! Ее хитроумный план потерпел колоссальный крах!

— Милая мисс Темплмэн... что это вы? — воскликнула ее компаньонка.

— Мне так приятно с вами! — проговорила Люсетта, как только обрела дар слова.

— Да, да... и мне с вами, — вторила Элизабет-Джейн, стараясь успокоить ее.

— Но... но... — Люсетта не смогла докончить фразу, хотя ей по понятным причинам хотелось сказать, что если Хенчард так враждебно настроен против девушки, как это теперь выяснилось, то с Элизабет-Джейн необходимо расстаться... неприятно, но придется.

Впрочем, временный выход из положения напрашивался сам собой.

— Мисс Хенчард... вы не могли бы пойти кое-куда по моим делам, как только мы позавтракаем?.. Отлично, вы очень любезны. Так вот, не можете ли вы заказать... — И она дала Элизабет несколько поручений в разные магазины, с таким расчетом, чтобы их исполнение заняло не меньше часа, а то и двух.

— А вы когда-нибудь бывали в музее?

Нет, Элизабет-Джейн не была там ни разу.

— Так вам обязательно надо пойти туда сегодня же. Можете закончить утро посещением музея. Это старинный дом на одной из окраинных улиц — я забыла где, но вы сами найдете, — и там хранится множество всяких интересных вещей: скелеты, зубы, старинная посуда, старинные сапоги и туфли, птичьи яйца... и все это очень занимательно и поучительно. Вы не уйдете оттуда, пока не проголодаетесь.

Элизабет торопливо оделась и ушла. «Интересно знать, почему ей так захотелось отделаться от меня сегодня?» — с грустью подумала девушка. Как ни трудно было угадать причину поведения Люсетты, Элизабет-Джейн при всей своей наивности все-таки сообразила, что сейчас нуждаются не столько в ее услугах или знаниях, сколько в ее отсутствии.

Не прошло и десяти минут после ее ухода, как одна из горничных Люсетты уже отправилась к Хенчарду с запиской. Записка была короткая:

«Дорогой Майкл, сегодня Вы по своим делам проведете часа два-три неподалеку от моего дома, поэтому зайдите, пожалуйста, повидаться со мной. Я горько разочарована тем, что Вы не пришли раньше, — да и как мне не тревожиться, если

наши отношения все еще не определились... Особенно теперь, когда состояние моей тетки выдвинуло меня в первые ряды общества! Быть может, Вы пренебрегаете мною оттого, что здесь живет Ваша дочь, поэтому я сегодня уснула на все утро. Скажите, что вы пришли по делу,— я буду совсем одна.

Люсетта.

Когда посланная вернулась, хозяйка сказала ей, что, если придет джентльмен, его надо принять немедленно, а сама принялась ждать.

Сердцем она не очень жаждала видеть Хенчарда — он сам оттягивал их брак, и это расхолодило ее,— но увидеть его было необходимо, и, со вздохом расположившись в кресле, она приняла живописную позу — сначала одну, потом другую, затем села так, чтобы свет падал на нее сверху. Но вдруг она бросилась на диван, легла, изогнувшись, словно лебединая шея,— эта поза ей очень шла,— и, закинув руку за голову, устремила глаза на дверь. Так, решила она, пожалуй, будет лучше всего, и так она лежала, пока не услышала мужских шагов на лестнице. Тогда Люсетта, позабыв о своей «лебединой» позе (ибо Природа в ней пока была сильнее Искусства), вскочила, подбежала к окну и в припадке робости спряталась за портьерой. Правда, страсть ее увяла, но все-таки ей было из-за чего волноваться: ведь она не видела Хенчарда со дня их временного (как она тогда думала) расставания на Джерси.

Она услышала, как горничная проводила гостя в комнату и закрыла за ним дверь, предоставив ему самому искать хозяйку. Люсетта откинула портьеру и взволнованно кивнула... Тот, кто стоял перед нею, был не Хенчард.

ГЛАВА XXIII

В тот миг, когда Люсетта откидывала портьеру, у нее мелькнула мысль, что гость, быть может, вовсе не тот, кого она ожидала, но отступать было поздно.

Незнакомец был гораздо моложе, чем мэр Кэстербриджа,— светловолосый, стройный, юношески красивый. Он был в элегантных суконных гетрах с белыми пуговицами и до блеска начищенных высоких башмаках на шнурках, в бриджах из светлого рубчатого плиса, в черном вельветовом скюртуке и жилете, а в руке держал хлыст с серебряной рукояткой. Люсетта вспыхнула и, то ли надув губки, то ли улыбаясь, проговорила: «Ах, я ошиблась!»

Гость, напротив, и не думал улыбаться.

— Простите, пожалуйста! — проговорил он покаянным тоном.— Я пришел и спросил мисс Хенчард, а меня провели сюда; сам я, конечно, никогда бы не осмелился так невежливо вороваться к вам!

— Это я была невежливой,— отозвалась она.

— Может быть, я ошибся домом, сударыня? — спросил мистер Фарфрэ, мигая от смущения и нервно похлопывая себя хлыстом по гетрам.

— О нет, сэр... садитесь. Раз уж вы здесь, подойдите ближе и присядьте,— любезно проговорила Люсетта, стараясь избавить его от чувства неловкости.— Мисс Хенчард придет сию минуту.

Это, конечно, было не совсем верно, но что-то в этом молодом человеке — какая-то северная четкость и суровая прелесть, приводившие на память хорошо настроенный музыкальный инструмент и сразу возбуждавшие к нему интерес Хенчарда, Элизабет-Джейн и весельчаков в «Трех моряках», — понравились Люсетте, и его неожиданный приход был ей приятен. Гость поколебался, бросил взгляд на кресло, решил, что не будет большой беды, если он останется (тут он ошибся), и сел.

Внезапное появление Фарфрэ объяснялось просто тем, что Хенчард разрешил ему встретиться с Элизабет-Джейн, если он намерен посвататься к ней. Сначала Дональд не обратил внимания на неожиданное письмо Хенчарда, но одна исключительно удачная сделка настроила его благожелательно ко всем на свете, и он решил, что теперь может позволить себе жениться, если захочет. А какая же еще девушка была так мила, бережлива и вообще хороша во всех отношениях, как Элизабет-Джейн? Не говоря уже о ее личных качествах, женитьба на ней, естественно, повлекла бы за собой примирение с его бывшим другом Хенчардом. Поэтому Фарфрэ простил мэру его резкость и сегодня утром, по дороге на ярмарку, зашел в его дом, где узнал, что Элизабет теперь живет у мисс Темплмэн. Слегка раздосадованный тем, что не нашел ее ожидающей и готовой встретить его,— так уж противоречивы мужчины! — он поспешил в «Высокий дом», где увидел не Элизабет, но ее хозяйку.

— Сегодня, кажется, большая ярмарка,— сказала Люсетта, ибо взгляд их, естественно, привлекала к себе сутолока за окнами.— Меня очень интересуют ваши многолюдные ярмарки и рынки. О чем только я не думаю, когда смотрю на них отсюда!

Он, видимо, не знал, что на это ответить, но вот до них донесся гул толпы,— голоса звучали, как шум небольших волн, взметаемых ветром на море, причем иногда чей-нибудь голос выделялся среди других.

— Вы часто смотрите в окно? — спросил Фарфрэ.

— Да... очень часто.

— Вы ищете глазами знакомого?

Почему-то она ответила ему следующими словами:

— Я просто смотрю на это, как на картину. Но теперь,— продолжала она, повернувшись к нему с любезной улыбкой,—

теперь я, быть может, действительно буду искать в толпе знакомого... быть может, я буду искать вас. Ведь вы постоянно бываете здесь, правда? Ах... я шучу! Но разве не забавно искать в толпе знакомого, даже если он тебе не нужен! Это рассеивает гнетущее чувство подавленности, которое испытываешь, когда никого не знаешь в толпе, а потому не можешь слиться с нею.

— Это верно!.. Вы, очевидно, очень одиноки, сударыня?

— Никто и представить себе не может, как одинока.

— Однако говорят, что вы богаты?

— Пусть так, но я не умею пользоваться своим богатством. Я переехала в Кэстербридж, решив, что мне будет приятно жить здесь. Но я не знаю, так это или нет.

— Откуда вы приехали, сударыня?

— Из окрестностей Бата.

— А я из-под Эдинбурга,— проговорил он негромко.— Лучше жить на родине — что правда, то правда, но приходится жить там, где можно заработать деньги. Это очень грустно, но это всегда так! Зато я в нынешнем году много нажил. О да,— продолжал он с непосредственным воодушевлением.— Видите вы того человека в коричневой казимировой куртке? Этой осенью я купил у него большую партию пшеницы, когда цены на нее стояли низкие, а потом, когда они немного поднялись, я продал все, что у меня было! Тогда мне это принесло лишь маленькую прибыль, но оказалось, что фермеры придерживали свою пшеницу в ожидании более высоких цен, да, придерживали, хотя крысы грызли скирды напропалую. И вот, как только я распродал всю партию, цены на рынке упали, и я купил пшеницу тех, кто ее придерживал, купил еще дешевле, чем в первый раз. А потом,— порывисто воскликнул Фарфрэ с сияющим лицом,— несколько недель спустя я продал ее, когда она опять повысилась в цене! Таким образом, я не гнался сразу за большим барышом, а наживал помаленьку и за короткое время нажил пятьсот фунтов... Каково! — И, совершенно забыв, где он находится, Дональд хлопнул рукой по столу.— А те, что придерживали свой товар, не заработали ничего!

Люсетта смотрела на него критически, но с интересом. Для нее он был человеком совершенно нового типа. Наконец он перевел глаза на хозяйку, и их взгляды встретились.

— Но я вам, конечно, наскучил! — воскликнул он.

— Все нет,— сказала она, слегка краснея.

— Неужели нет?

— Напротив. Вы чрезвычайно интересны.

Теперь и Фарфрэ порозовел от смущения.

— Я хочу сказать, вы — шотландцы,— поспешила она поправиться.— Вы свободны от крайностей, свойственных южанам. Все мы, обыкновенные люди,— или страстны или бесстрастны, или пылки или холодны. А у вас две температуры сразу — высокая и низкая.

— Что вы хотите этим сказать? Объясните, пожалуйста, сударыня.

— Вы веселы — и думаете о том, как преуспеть. Через минуту вам взгрустнулось — и вы начинаете вспоминать о Шотландии и своих друзьях.

— Да, я иногда думаю о родном доме, — согласился он протодушно.

— И я тоже... насколько это возможно для меня. Ведь я родилась в старом доме, а его снесли, чтобы построить новый, получше, значит, мне теперь, в сущности, не о чем вспоминать.

Люсетта не сказала, — хотя могла бы сказать, — что этот дом стоял не в Бате, а в Сент-Элье.

— Но горы, и туманы, и скалы, они-то остались! И разве они не все равно что родной дом?

Она покачала головой.

— А для меня это так... для меня это так... — проговорил он негромко, видимо уносясь мыслями на север.

Чем бы это ни объяснялось, — национальностью Фарфрэ или же индивидуальностью, — но Люсетта была права, когда говорила, что нить его жизни сплетена из двух волокон — начала коммерческого и пачала романтического, — и временами их легко отличить друг от друга. Как разноцветные шерстинки в пестром шнуре, эти противоположности переплетались, не сливаясь.

— Вам хотелось бы вернуться на родину? — спросила она.

— О нет, сударыня! — ответил Фарфрэ, быстро очнувшись.

Ярмарка за окнами была теперь в самом разгаре, многолюдная и шумная. Раз в год на ней занимали рабочих, и сегодня толпа резко отличалась от той, что была здесь несколько дней назад. Издали она казалась светло-коричневой, испещренной белыми пятнами, — основную ее массу составляли батраки в светлых блузах, пришедшие искать работу. С холщовыми блузами возчиков перемежались высокие чепцы женщин, напоминавшие верх крытой повозки, их ситцевые платья и клетчатые шали, — здесь занимали также и женщин. В толпе, на углу тротуара, стоял старый пастух, обративший на себя внимание Люсетты и Фарфрэ своей неподвижностью. Это был человек, явно сломленный жизнью. Она далась ему нелегко прежде всего потому, что телосложение у него было слабое. Он так сторбился от тяжелой работы и старости, что человеку, подошедшему к нему сзади, почти не видно было его головы. Пастух воткнул свой посох в канаву и оперся на его крюк, отполированный долготным трением о ладони владельца и блестящий, как серебро. Старик позабыл, где он находится и зачем пришел сюда, и глаза его не отрывались от земли. Неподалеку от него велись переговоры, имевшие к нему непосредственное отношение, но он ничего не слышал, и казалось, будто в голове его мелькают приятные воспоминания об уда-

чах, выпадавших на его долю в молодости, когда он был мастером своего дела и легко находил работу на любой ферме.

Переговоры велись между фермером из отдаленной местности и сыном старика. И переговоры эти зашли в тупик. Фермер не хотел брать корки без мякиша, иными словами, — старика без молодого, а у сына на той ферме, где он теперь работал, была возлюбленная, которая стояла тут же, ожидая результатов с побелевшими губами.

— Тяжко мне с тобой разлучаться, Нелли, — проговорил молодой человек, волнуясь. — Но сама видишь: не могу же я уморить с голоду отца, а он получит расчет на благовещение... Ведь всего только семьдесят миль.

У девушки задрожали губы.

— Семьдесят миль! — пробормотала она. — Не близко! Никогда больше я тебя не увижу!

И правда, семьдесят миль — непреодолимое расстояние для кулидонова магнита: ведь в Кэстербридже, как и в прочих местах, юноши вели себя так, как ведут себя юноши всегда и всюду.

— Ах, нет, нет... не увижу, — повторила она, когда он сжал ее руку в своих, и повернулась лицом к дому Люсетты, чтобы скрыть слезы.

Фермер сказал, что дает молодому человеку полчаса на размышления, и, расставшись с удрученной парочкой, ушел.

Люсетта взглянула на Фарфрэ полными слез глазами. К ее удивлению, его глаза тоже увлажнились.

— Как это жестоко! — проговорила она с чувством. — Нельзя так разлучать влюбленных! Если бы это зависело от меня, я бы всем людям позволила жить и любить, как им хочется!

— Быть может, мне удастся устроить так, чтобы они не разлучались, — сказал Фарфрэ. — Мне нужен молодой возчик; и я, пожалуй, найму и старика в придачу... да, найму — он запросит пемного и на что-нибудь да пригодится.

— О, какой вы добрый! — воскликнула она в восторге. — Пойдите поговорите с ними и дайте мне знать, если все устроится!

Фарфрэ вышел, и она видела, как он заговорил с влюбленными и стариком. У всех троих засияли глаза, и вскоре сделка была заключена. Фарфрэ вернулся к Люсетте, как только переговоры успешно закончились.

— Вы поступили великодушно, — сказала Люсетта. — Что касается меня, я позволю всем моим слугам иметь возлюбленных, если им захочется! И вы последуйте моему примеру!

Фарфрэ сразу стал серьезным и слегка покачал головой.

— Я вынужден быть построже, — сказал он.

— Почему?

— Вы... вы богаты; а я — торговец зерном и сеном, пока еще только пробивающий себе дорогу.

— Но я очень честолобивая женщина.

— Видите ли, я не могу хорошенько объяснить все это. Я не умею говорить с дамами, все равно, честолобивы они или нет; совсем не умею,— проговорил Дональд серьезным тоном, словно сожалая, что не умеет.— Я стараюсь быть вежливым... и только!

— Я вижу, вы такой, каким себя рисуете,— заметила она, явно беря над ним верх в этом обмене излияниями.

Смущенный ее пронизательностью, Фарфрэ слова повернулся к окну и устремил глаза на кишевшую народом ярмарку.

Два фермера, встретившись, пожали друг другу руки и остановились под самым окном; слова их были слышны так же отчетливо, как слова влюбленных.

— Вы не видели мистера Фарфрэ нынче утром? — спросил один фермер.— Он обещал встретиться со мной здесь ровно в двенадцать, и я уже несколько раз прошелся по ярмарке, но его нигде не видно, хотя обычно он — хозяин своего слова.

— А я и позабыл об этом свидании,— пробормотал Фарфрэ.

— Значит, вам придется уйти? — спросила Люсетта.

— Да,— ответил Дональд. Но не двинулся с места.

— Идите, идите,— посоветовала она.— А не то потеряете клиента.

— Слушайте, мисс Темплмэн, вы заставите меня рассердиться,— воскликнул Фарфрэ.

— Ну так не ходите, посидите еще немного.

Фарфрэ, волнуясь, наблюдал за искавшим его фермером,— тот уже направился в ту сторону, где стоял Хенчард, а это не сулило ничего хорошего; он повернулся и посмотрел на Люсетту.

— Мне хочется остаться, но, к сожалению, надо идти! — проговорил он.— Нельзя же бросать дела, ведь правда?

— Ни на минуту.

— Это верно. Я найду в другой раз... вы разрешите, сударыня?

— Конечно,— сказала она.— Как все это странно — то, что сегодня у нас получилось.

— Будет о чем подумать, когда мы останемся одни, не правда ли?

— Ну, не знаю! В сущности, в этом не было ничего особенного.

— Нет, я бы так не сказал. О нет!

— Так или иначе, теперь это уже позади, а рынок зовет вас и требует, чтобы вы ушли.

— Да, да. Рынок... дела! Желал бы я, чтобы на свете не было никаких дел!

Люсетта чуть не рассмеялась, да она и рассмеялась бы, если бы не испытывала легкого волнения.

— Как вы изменчивы! — сказала она.— Нехорошо так быстро меняться.



— Раньше у меня подобных желаний и в мыслях не было,— глядя на нее, проговорил шотландец: казалось, он, простодушно стыдясь своей слабости, извиняется за нее.— Это только с тех пор, как я пришел сюда и увидел вас!

— Если так, не смотрите на меня больше никогда. О господи, я чувствую, что я вас совсем сбила с пути истинного!

— Но смотрю я или не смотрю, все равно я буду вас видеть мысленно. Итак, я ухожу... благодарю вас за приятную беседу.

— А я благодарю вас за то, что вы посидели со мной.

— Может быть, там, на улице, ко мне через несколько минут вернется деловое настроение,— пробормотал он.— Но не знаю... не знаю!

Когда он уже был у двери, Люсетта горячо проговорила:

— Со временем вы, вероятно, услышите, как обо мне будут говорить в Кэстербридже. Если вам скажут, что я кокетка, а это могут сказать, придравшись к некоторым событиям из моего прошлого, не верьте, потому что это неправда.

— Клянусь, что не поверю! — пылко уверил он ее.

Вот как обстояло дело с этими двумя. Она так очаровала молодого человека, что сердце его переполнилось восторгом, а он пробудил в Люсетте глубокую симпатию, потому что дал ей возможность по-новому заполнить ее праздность. Почему так случилось? Сами они не могли бы этого объяснить.

В юности Люсетта и смотреть бы не стала на купца. Но ее взлеты и падения, а в особенности ее неосторожное поведение на Джерси, когда она познакомилась с Хенчардом, так на нее повлияли, что она перестала обращать внимание на общественное положение людей. Когда она была бедна, ее оттолкнуло то общество, к которому она принадлежала по рождению, и теперь ей уже не хотелось сближаться с ним. Она тосковала по какому-то пристанищу, где могла бы укрыться и обрести покой. Ей было все равно, мягкое там будет ложе или жесткое, лишь бы было тепло.

Фарфрэ вышел и не вспомнив о том, что пришел сюда увидеться с Элизабет. Люсетта, сидя у окна, следила за ним глазами, пока он пробивался сквозь толпу фермеров и батраков. Она угадала по его походке, что он чувствует на себе ее взгляд, и сердце ее, тронутое его скромностью, потянулось к нему и склонило на свою сторону разум, твердивший, что не надо позволять этому юноше приходить к ней снова. Фарфрэ вошел в торговые ряды, и Люсетта его больше не видела.

Три минуты спустя, когда она уже отошла от окна, раздались несколько редких, но сильных ударов в парадную дверь, прогремевших по всему дому, и в комнату вошла горничная.

— Пришел мэр,— дoloжила она.

Люсетта, полулежа, мечтательно разглядывала свои пальцы. Она ответила не сразу, и горничная повторила свои слова, добавив:

— И он говорит, что времени у него мало.

— Вот как! Ну, так скажите ему, что у меня болит голова и лучше мне не задерживать его сегодня.

Горничная ушла передать гостю ее слова, и Люсетта услышала, как захлопнулась дверь.

Люсетта приехала в Кэстербридж, чтобы подогреть чувства, которые питал к ней Хенчард. И подогрела их, но уже не радовалась своему успеху.

Теперь она не думала, как утром, что Элизабет-Джейн ей мешает, и не чувствовала острой необходимости отделаться от девушки, чтобы привлечь к себе ее отца. Когда Элизабет-Джейн вернулась, не ведая в простоте души о том, что события приняли иной оборот, Люсетта подошла к ней и проговорила совершенно искренне:

— Как я рада, что вы вернулись. Вы будете жить у меня долго, ведь правда?

Элизабет в роли сторожевой собаки, которая должна отпугивать собственного отца,— вот так новость! И Люсетте это

было даже приятно. Все эти дни Хенчард пренебрегал ею, несмотря на то, что тяжко скомпрометировал ее когда-то. Самое меньшее, что он должен был сделать, когда стал свободным, а она разбогатела, это горячо и быстро откликнуться на ее приглашение.

Волна ее чувств вздымалась, падала, дробилась на мелкие волны, и все это было так неожиданно, что ее обуяли пугающие предчувствия. Вот как прошел для Люсетты этот день.

ГЛАВА XXIV

Бедная Элизабет-Джейн, она и не подозревала о том, что ее несчастливая звезда уже заморозила еще не расцветшее влечение к ней Дональда Фарфрэ, и обрадовалась предложению Люсетты остаться у нее надолго.

Ведь в доме Люсетты она не только нашла приют: отсюда она могла смотреть на рыночную площадь, которая интересовала ее не меньше, чем Люсетту. «Перекресток» — так здесь называли это место — напоминал традиционные «улицы» и «площади» на сцене, где все, что происходит на них, неизменно влияет на жизнь людей, обитающих по соседству. Фермеры, купцы, торговцы молочными продуктами, знахари, разносчики сходились сюда еженедельно по субботам, а к вечеру расходились. Здесь была точка пересечения всех орбит.

Обе приятельницы жили теперь не от одного дня до другого, а от субботы до субботы. Если же говорить о жизни чувств, то в промежутках между субботами они не жили вовсе. Куда бы они ни ходили в другие дни недели, в базарный день они обязательно сидели дома. Обе смотрели в окно, украдкой бросая взгляды на плечи и голову Фарфрэ. Лицо его они видели редко, так как он избегал смотреть в их сторону — то ли от застенчивости, то ли из боязни отвлечься от дел.

Так они жили, пока однажды утром базарный день не принес новой сенсации. Элизабет и ее хозяйка сидели за первым завтраком, когда на имя Люсетты пришла посылка из Лондона с двумя платьями. Люсетта вызвала Элизабет-Джейн из-за стола, и девушка, войдя в спальню подруги, увидела оба платья, разостланные на постели, — одно темно-вишневое, другое — более светлое; на обшлагах рукавов лежало по перчатке, у воротников — по шляпе, поперек перчаток были положены зонтики, а Люсетта стояла возле этого подобия женских фигур в созерцательной позе.

— Не стоит так долго раздумывать, — сказала Элизабет, заметив, как сосредоточилась Люсетта, стараясь ответить себе на вопрос, которое из двух платьев будет ей больше к лицу.

— Но выбирать новые наряды так трудно, — сказала Люсетта. — Или ты будешь *этой* особой, — и она показала пальцем на одно платье, — или ты будешь той, — и она показала на

другое, — ничуть не похожей на первую; и это — в течение всей будущей весны, причем одна из этих особ — какая неизвестно — может оказаться очень непривлекательной.

В конце концов было решено, что мисс Темплмэн делается темно-вишневой особой, а там будь что будет. Платье было признано во всех отношениях превосходным, и, надев его, Люсетта перешла в комнату с окнами на улицу, а Элизабет последовала за ней.

Утро было исключительно ясное для конца зимы. Солнце так ярко освещало мостовую и дома на той стороне улицы, что отраженный ими свет заливал комнаты Люсетты. Внезапно раздался стук колес; на потолке, озаренном этим ровным светом, заплясали фантастические вереницы вращающихся светлых кругов, и обе приятельницы повернулись к окну. Какой-то дикий экипаж остановился прямо против дома, словно его здесь выставили для обозрения.

То было недавно изобретенное сельскохозяйственное орудие — конная рядовая сеялка, которая в этом своем усовершенствованном виде была пока неизвестна на юге Англии, где все еще, как во времена Гептархии, сеяли при помощи древнего лукошка. Ее появление на хлебном рынке произвело такую же сенсацию, какую мог бы произвести летательный аппарат на Чаринг-Кроссе. Фермеры столпились вокруг сеялки, женщины норовили подойти к ней поближе, дети залезали под нее и в нее. Машина была окрашена в яркие — зеленые, желтые и красные — тона и казалась каким-то гигантским гибридом шершня, кузнечика и креветки. Можно было бы также сравнить ее с фортепяно, лишенным передней стенки. Люсетте пришло в голову именно это сравнение.

— Что-то вроде сельскохозяйственного фортепяно, — сказала она.

— Эта машина что-то делает с пшеницей, — проговорила Элизабет.

— Интересно, кому это вздумалось привезти ее сюда?

Обе подумали, что этот новатор, наверное, не кто иной, как Дональд Фарфрэ: хоть он и не фермер, а все-таки тесно связан с сельским хозяйством. Как бы откликаясь на их мысли, он в эту минуту сам появился на сцене, бросил взгляд на машину и принялся ее осматривать с таким видом, словно ее устройство было ему хорошо знакомо. При виде его наши наблюдательницы вздрогнули, а Элизабет отошла от окна в глубь комнаты и стала там, словно поглощенная созерцанием стеной обшивки. Она едва ли сознавала, что делает, пока Люсетта, возбужденная стечением двух обстоятельств — своим новым нарядом и появлением Фарфрэ, не проговорила:

— Пойдемте посмотрим на эту машину, чем бы она там ни была.

Элизабет-Джейн вмиг надела шляпу и шаль и вместе с Люсеттой вышла из дому. Среди столпившихся земледельцев

одна лишь Люсетта казалась постоянной владелицей новой сеялки, потому что она одна соперничала с нею в яркости красок.

Приятельницы с любопытством осматривали сеялку — ряды вложенных одна в другую трубок с широкими раструбами и небольшие совки, похожие на вращающиеся ложечки для соли; совки эти бросают зерно в раструбы, и, ссыпавшись по трубкам, оно падает на землю. Но вот кто-то проговорил:

— Доброе утро, Элизабет-Джейн.

Девушка подняла глаза и увидела отчима.

Он поздоровался с нею довольно сухим и резким тоном, и она так смутилась, что, утратив свое обычное спокойствие, нерешительно пролепетала первые пришедшие ей в голову слова:

— Это та дама, у которой я живу, отец... мисс Темплмэн.

Хенчард снял и широким жестом опустил шляпу, коснувшись ею своих колен. Мисс Темплмэн поклонилась.

— Мне очень приятно познакомиться с вами, мистер Хенчард,— сказала она.— Диковинная машина.

— Да,— отозвался Хенчард и принялся объяснять устройство машины, очень язвительно высмеивая его.

— А кто привез ее сюда? — спросила Люсетта.

— И не спрашивайте, сударыня! — ответил Хенчард.— Эта штука... да что там — нечего и думать, что она будет работать. Ее привез сюда один наш механик по совету некоего выскочки и наглеца, который воображает...

Но тут взгляд его упал на умоляющее лицо Элизабет-Джейн, и он умолк, вероятно предположив, что ухаживание Дональда имеет успех.

Хенчард повернулся, собираясь уходить. И тут произошло событие, которое побудило его падчерицу заподозрить, что у нее галлюцинация. Она услышала шепот, как будто исходивший из уст Хенчарда, и в этом шепоте различила слова: «Вы не пожелали принять меня!» — произнесенные укоризненным тоном и обращенные к Люсетте. Элизабет-Джейн не могла поверить, что они сказаны ее отчимом,— разве только он произнес их, обращаясь к одному из стоявших поблизости фермеров в желтых гетрах. Люсетта молчала, а Элизабет вскоре забыла об этих словах, так как услышала чью-то негромкую песню, казалось исходившую из самой машины. Хенчард уже скрылся в торговых рядах, а приятельницы устремили взгляд на сеялку. За нею они увидели согнутую спину человека, который засунул голову в машину, стараясь раскрыть несложные тайны ее механизма. Он тихоенько папевал:

То было ясным летним днем,
Светило солнце за холмом,
Шла Китти в платье голубом
Тропкою горной в Гаури.

Элизабет мгновенно узнала певца, и лицо у нее стало виноватым, хоть она и не чувствовала за собой вины. Потом певца узнала Люсетта и, лучше владея собой, лукаво проговорила:

— Сеялка поет «Девушку из Гаури»... вот так чудеса!

Закопчив наконец осмотр, молодой человек выпрямился и увидел приятельниц.

— Мы пришли посмотреть на удивительную новую сеялку,— сказала мисс Темплман.— Но с практической точки зрения эта машина бесполезна... ведь правда? — спросила она под влиянием объяснений Хенчарда.

— Бесполезна? Ну нет! — серьезно ответил Фарфрэ.— Здесь она произведет целую революцию! Сеятели уже не будут разбрасывать семена как попало, так что «иное падает при дороге, а иное в терние». Каждое зернышко попадет как раз туда, куда нужно, и только туда!

— Значит, романтика сова кончилась навсегда,— заметила Элизабет-Джейн, радуясь, что у нее с Фарфрэ есть хоть что-то общее: привычка к чтению Библии.— «Кто наблюдает ветер, тому не сеять»,— сказал Екклесиаст, но теперь его слова уже потеряют значение. Как все меняется в жизни!

— Да, да... Так оно и должно быть! — согласился Дональд, устремив глаза куда-то вдаль.— Но такие машины уже появились на востоке и севере Англии,— добавил он, как бы оправдываясь.

Люсетта не принимала участия в их разговоре, ибо ее знакомство со Священным писанием было довольно ограничено.

— Это ваша машина? — спросила она Фарфрэ.

— О нет, сударыня,— ответил он, смущаясь и благоговей при одном лишь звуке ее голоса, в то время как в присутствии Элизабет-Джейн он чувствовал себя совершенно свободно.— Нет, нет... я только дал совет приобрести ее.

Наступило молчание, во время которого Фарфрэ, казалось, не видел никого, кроме Люсетты; очевидно, он уже позабыл об Элизабет, привлеченный иной сферой, более яркой, чем та, в которой обитала она. Люсетта, чутьем угадывая, что его обуревают разноречивые чувства и что сейчас тяга к делам столкнулась в нем с тягой к романтике, проговорила весело:

— Ну, не пренебрегайте своей машиной из-за нас,— и пошла домой вместе со своей компаньонкой.

Элизабет-Джейн чувствовала, что все это время была лишней, но не понимала почему. Люсетта разъяснила ее недоумение, сказав, когда они обе снова уселись в гостиной:

— Я на днях случайно разговорилась с мистером Фарфрэ и потому поздоровалась с ним сегодня.

В этот день Люсетта была очень ласкова с Элизабет-Джейн. Обе они наблюдали, как толпа на рынке сначала густела, а потом мало-помалу стала редеть, по мере того как солнце медленно склонялось к западной окраине города и его косые лучи па-

дали вдоль длинной улицы, освещая ее из конца в конец. Двухколки и повозки отъезжали одна за другой, и наконец на улице не осталось ни одного экипажа. Мир на колесах исчез, его сменил мир пешеходов. Батраки с женами и детьми хлынули из деревень в город за покупками, и вместо стука колес и топота копыт, ранее заглушавших остальные шумы, теперь слышалось только шарканье множества ног. Сошли со сцены все сельскохозяйственные орудия, все фермеры, весь имущий класс. Торговля в городе из оптовой превратилась в розничную, и теперь из рук в руки переходили уже не фунты, как днем, а пенсы.

Люсетта и Элизабет видели все это, потому что не закрывали ставней, хотя уже наступила ночь и на улицах зажгли фонари. При слабом свете камина они разговаривали более непринужденно, чем при дневном.

— Ваш отец, вероятно, никогда не был вам близок, — проговорила Люсетта.

— Да. — И, позабыв о кратком миге, когда она услышала загадочные слова Хенчарда, видимо обращенные к Люсетте, девушка продолжала: — Это объясняется тем, что он считает меня невоспитанной. Я старалась улучшить свои манеры, — вы представить себе не можете, как старалась! — но все напрасно! Разрыв между родителями тяжело отразился на мне. Вы не знаете, каково это, когда на твою жизнь падают такие тени.

Люсетта как-то съежилась.

— Да... то есть я не знаю таких теней, — сказала она, — но можно испытывать чувство стыда... позора... от других причин.

— Разве вы когда-нибудь испытывали эти чувства? — простодушно спросила младшая собеседница.

— О нет! — быстро ответила Люсетта. — Но я думала о... о том, что женщинам иногда случается попасть в двусмысленное, с точки зрения общества, положение, хоть и не по своей вине.

— Вероятно, они чувствуют себя очень несчастными.

— Они теряют покой — ведь другие женщины их презирают, правда?

— Не то чтобы презирают. Но они не очень их уважают и любят.

Люсетта опять съежилась. Даже здесь, в Кэстербридже, ей приходилось опасаться, как бы люди не узнали о ее прошлом. А главное — Хенчард не вернул ей толстой пачки писем, которые она писала и посылала ему в первую пору смятения чувств. Возможно, они были уничтожены; и все-таки лучше бы она их не писала.

Встреча с Фарфрэ и его обращение с Люсеттой побудили вдумчивую Элизабет присмотреться поближе к своей блестящей и ласковой приятельнице. Несколько дней спустя, когда Люсетта собиралась выйти из дому, Элизабет по ее глазам почему-то сразу поняла, что мисс Темплмэн надеется на встречу с красивым шотландцем. Это было отчетливо написано на лице

и в глазах Люсетты и не могло ускользнуть от внимания каждого, кто научился читать в ее мыслях, как теперь начинала учиться Элизабет-Джейн. Люсетта прошла мимо нее и закрыла за собой дверь подъезда.

Дух ясновидения вселился в Элизабет, побудил ее сестру огня и на основе личного опыта воссоздать в своем воображении происходящие события с такой точностью, как если бы она была их очевидцем. Девушка мысленно следовала за Люсеттой... видела, как та встретилась где-то с Дональдом — будто случайно; видела, как лицо его приняло то особенное выражение, которое появлялось на нем, когда он встречался с женщинами, — только теперь оно было еще заметнее, ибо этой женщиной была Люсетта. Элизабет чутьем угадывала, как увлеченно он говорит с Люсеттой; чувствовала, как оба они колеблются между нежеланием расстаться и опасением, что их увидят вместе; видела, как они пожимают друг другу руки, как прощаются, спокойно, с бесстрастными лицами, и только в мельчайших их движениях вспыхивает искра страсти, не замечаемая никем, кроме них самих. Элизабет, наша проницательная, безмолвная ясновидица, долго думала обо всем этом, но вдруг Люсетта подошла к ней сзади, и девушка вздрогнула.

Все было так, как она себе представляла, — в этом она могла бы поклясться. Ярче обычного блестели глаза и пылали щеки Люсетты.

— Вы видели мистера Фарфрэ, — проговорила Элизабет-Джейн сдержанно.

— Да, — призналась Люсетта. — Как вы догадались?

Она опустила руки Элизабет. Но она так и не сказала, где и как она видела Фарфрэ и что он говорил ей.

В тот вечер Люсетта не находила себе места; на другой день ее с утра лихорадило, а за завтраком она призналась своей компаньонке, что кое-чем озабочена... кое-чем, имеющим отношение к одному лицу, в котором она принимает большое участие. Элизабет охотно приготовилась слушать и сочувствовать.

— Это лицо... эта женщина... однажды очень сильно увлеклась одним человеком... очень, — начала Люсетта, нащупывая почву.

— Да? — отозвалась Элизабет-Джейн.

— Они были в близких отношениях... довольно близких... Он был не так глубоко привязан к ней, как она к нему. Но однажды, под влиянием минуты, исключительно из чувства долга, он предложил ей выйти за него замуж. Она согласилась. Тут возникло неожиданное препятствие; а она была так скомпрометирована этим человеком, что совесть никогда бы не позволила ей принадлежать другому, даже если бы она захотела. После этого они расстались, долго ничего не знали друг о друге, и она чувствовала, что жизнь для нее кончена.

— Бедная девушка!

— Она очень страдала из-за него, хотя, надо отдать ему должное, его нельзя было целиком обвинить в том, что произошло. Наконец разлучившее их препятствие было волею providения устранено, и он приехал, чтобы жениться на ней.

— Как хорошо!

— Но за то время, что они не встречались, она — моя бедная подруга — познакомилась с другим человеком, которого полюбила больше первого. Теперь спрашивается: может ли она, не погрешив против чести, отказать первому?

— Она полюбила другого человека... это плохо!

— Да, — отозвалась Люсетта, с грустью глядя на мальчишку, который стоял у колодезного насоса и качал воду, — это плохо! Но не забывайте, что она лишь случайно, вынужденно, оказалась в двусмысленном положении из-за того, первого человека... он был не так хорошо воспитан и образован, как второй, а в первом она обнаружила такие черты характера, которые внушили ей мысль, что он будет для нее менее подходящим мужем, чем она думала.

— Я ничего не могу сказать по этому поводу, — проговорила Элизабет-Джейн задумчиво. — Это такой трудный вопрос. Решить его может только кто-нибудь вроде римского папы!

— Вы, может быть, предпочитаете не решать его вовсе? — спросила Люсетта, и по ее умоляющему тону можно было догадаться, как она дорожит мнением Элизабет.

— Да, мисс Темплмэн, — призналась Элизабет. — Лучше не надо.

Однако Люсетта, видимо, почувствовала облегчение от того, что немного рассказала о себе, и ее головная боль стала постепенно проходить.

— Принесите мне зеркало. Как я выгляжу? — спросила она тоном.

— Пожалуй... немного утомленной, — ответила Элизабет, рассматривая ее критическим оком, словно картину сомнительного достоинства; она принесла зеркало и держала его перед Люсеттой, пока та с тревогой всматривалась в него.

— Интересно, хорошо ли я сохранилась для своих лет, — заметила Люсетта немного погодя.

— Да... довольно хорошо.

— Что самое некрасивое в моем лице?

— Тени под глазами... Тут, мне кажется, кожа немного потемнела.

— Да. Это мое самое уязвимое место, я знаю. А как вы думаете, сколько лет пройдет, прежде чем я сделаюсь безнадежно некрасивой?

Любопытно, что Элизабет, которая была моложе Люсетты, должна была играть роль опытного мудреца в подобных беседах!

— Лет пять, — ответила она, подумав. — А если будете ве-

сти спокойную жизнь, то и все десять. Если никого не полюбите, можете рассчитывать на десять.

Люсетта, видимо, приняла это как окончательный и беспристрастный приговор. Она ничего больше не рассказала Элизабет-Джейн о своей угасшей любви, которую неумело приписала третьему лицу, а Элизабет, которая, несмотря на свою жизненную философию, была очень чувствительна, ночью плакала в постели при мысли о том, что ее хорошенькая богатая Люсетта, как видно, не вполне доверяет ей, если в своей исповеди опустила имена и даты. Ведь Элизабет безошибочно угадала, кто та «она», о которой говорила Люсетта.

ГЛАВА XXV

Новый визит Фарфрэ — опыт, проведенный им с явным трепетом, — почти совсем вытеснил Майкла Хенчарда из сердца Люсетты. Со стороны могло показаться, будто Дональд беседует и с мисс Темплмэн, и с ее компаньонкой, но на самом деле он вел себя так, словно сидящая в комнате Элизабет превратилась в невидимку. Дональд как бы вовсе ее не замечал и на ее разумные суждения отвечал отрывисто, равнодушно и односложно, ибо его внимание и взор не могли оторваться от той женщины, которая, в противоположность Элизабет, напоминала Протея своей многоликостью, изменчивостью своих настроений, мнений, а также принципов. Люсетта всячески старалась втянуть Элизабет в их замкнутый круг, но девушка так и осталась в стороне — третьей точкой, которую этот круг не мог пересечь.

Дочь Сьюзен Хенчард стойко перенесла ледящую боль от раны, нанесенной ей обращением Дональда, как она перенесла более тяжкие муки, и постаралась возможно скорее незаметно уйти из этой неприветливой комнаты. Теперь шотландец был уже не тот Фарфрэ, который танцевал и гулял с ней в состоянии неустойчивого равновесия между любовью и дружбой, когда он переживал тот единственный в истории каждой любви период, в который не вторгается страдание.

Элизабет стояла у окна своей спальни, стоически созерцая свою судьбу, словно она была написана на крыше соседней колокольни.

— Да! — сказала она наконец, хлопнув ладонью по подоконнику. — Второй человек, про которого она мне рассказывала, — это *он!*

А тем временем чувство Хенчарда к Люсетте, которое вначале только теплилось, теперь силою обстоятельств разгоралось во все более яркое пламя. Молодая женщина, к которой он некогда испытывал только нежную жалость, впоследствии почти охлажденную рассудком, теперь стала менее доступной и расцвела более зрелой красотой, а он начал понимать, что

лишь она одна может примирить его с жизнью. Ее молчание доказывало ему день за днем, что бесполезно и думать о том, чтобы подчинить ее себе высокомерным обращением; поэтому он сдался и снова зашел к ней, когда Элизабет-Джейн не было дома.

Он шел к Люсетте через всю комнату тяжелой, темного неуклюжей походкой, устремив на нее упрямый горящий взгляд (который в сравнении со скромным взглядом Фарфрэ казался солнцем в сравнении с луной), и вид у него был слегка фамильярный, да и не мудрено. Но перемена в общественном положении точно перевоплотила Люсетту, и руку она ему протянула с таким дружелюбно-холодным выражением лица, что он сразу сделался почтительным и сел, явно утратив часть уверенности в своих силах. Он плохо разбирался в модах, но все-таки понимал, что недостаточно элегантен для той, которую до сих пор считал чуть ли не своей собственностью. Она очень вежливо поблагодарила его за то, что он оказал ей честь зайти и навестить ее. Это помогло ему вернуть утраченное равновесие. Он как-то странно посмотрел ей в лицо, и робость его мало-помалу испарилась.

— Да как же мне было не зайти, Люсетта? — начал он. — Что за вздор! Вы же знаете, я бы не мог удержаться, даже если бы захотел... то есть даже если б я действительно был добрым человеком. Я пришел сказать, что готов, как только позволит обычай, дать вам свое имя в награду за вашу любовь и за все то, что вы из-за нее потеряли, заботясь слишком мало о себе и слишком много обо мне; я пришел сказать, что вы с моего полного согласия можете назначить день или месяц, когда мы, по-вашему, можем сыграть свадьбу, не погрешив против приличий: вы в этом понимаете лучше, чем я...

— Теперь еще слишком рано, — отозвалась она уклончиво.

— Да, да, вероятно, рано. Но вы знаете, Люсетта, когда моя бедная, обиженная судьбой Сьюзен умерла и я еще не мог и помыслить о новой женитьбе, я все-таки сразу решил, что после всего, что было между нами, мой долг не допускать ненужных проволочек, а поскорее поправить дело. Однако я не спешил прийти к вам, потому что... ну, сами можете догадаться, как я себя чувствовал, зная, что вы унаследовали целое состояние.

Голос его звучал все глуше: Хенчард понимал, что в этой комнате его интонации и манеры кажутся более грубыми, чем на улице. Он огляделся, посмотрел на модные портьеры, на изысканную обстановку, которой окружила себя хозяйка дома.

— Клянусь жизнью, я и не знал, что такую мебель можно купить в Кэстербридже, — повторил он.

— Здесь такую нельзя купить, — отозвалась Люсетта. — И долго еще будет нельзя — пока город не проживет лет пятьдесят цивилизованной жизнью. Эту мебель привезли сюда в фургоне на четверке лошадей.

— Гм... Дело в том, что я как-то стесняюсь вас в такой обстановке.

— Почему?

Ответ был, в сущности, не нужен, и Хенчард ничего не ответил.

— Да,— продолжал он,— никому на свете я так не пожелал бы этого богатства, как вам, Люсетта, и никому оно так не идет, как вам.

Он повернулся к ней, как бы поздравляя ее, с таким пылким восхищением, что она немного смутилась, хотя хорошо его знала.

— Я вам очень благодарна за все, что вы сказали,— проговорила она, точно желая лишь соблюсти некий ритуал.

Хенчард почувствовал, что между ними уже нет былого взаимопонимания, и сейчас же выдал свое огорчение,— никто так быстро не выдавал своих чувств, как он.

— Благодарны вы или нет, это все равно. В моих речах, быть может, нет того лоска, какого вы с недавних пор и первый раз в жизни стали требовать от своих собеседников, но я говорю искренне, миледи Люсетта.

— И довольно грубо,— промолвила Люсетта, надув губки и гневно сверкая глазами.

— Вовсе нет! — горячо возразил Хенчард.— Но успокойся, я не хочу с *тобой* ссориться. Я пришел с искренним предложением заткнуть рот *твоим* врагам из Джерси, и *тебе* не худо бы мне спасибо сказать.

— Да как вы смеее так говорить! — воскликнула она, всплыв.— Вы же знаете, что моим единственным преступлением была безрассудная девичья любовь к вам и пренебрежение приличиями, и, сколько бы меня ни винули, сама я считаю себя ни в чем не повинной, значит, и нечего меня оскорблять! Я немало выстрадала в то тяжелое время, когда вы написали мне о возвращении вашей жены и моей отставке, и если я теперь пользуюсь некоторой независимостью, то я это, безусловно, заслужила!

— Да, это верно,— согласился он.— Но люди судят о нас не по тому, каковы мы в действительности, а по тому, какими мы кажемся; значит, вам нужно дать согласие на мое предложение — ради вашего же доброго имени. То, что известно у вас на Джерси, может стать известным и здесь.

— Что вы все твердите про Джерси? Я англичанка!

— Да, конечно. Так что же вы скажете на мое предложение?

Впервые за все время их знакомства Люсетта получила возможность сделать шаг вперед по своему почину, однако она отступила.

— Пока пусть все останется по-старому,— промолвила она, чувствуя себя немного неловко.— Ведите себя со мной, как

с простой знакомой, и я буду вести себя с вами так же. Со временем...

Она умолкла, и он несколько минут не пытался нарушить молчание,— ведь они не были малознакомыми людьми, которые вынуждены поддерживать разговор, даже если им этого не хочется.

— Так вот куда ветер дует,— мрачно проговорил он наконец и утвердительно кивнул головой, как бы отвечая на свои собственные мысли.

Желтый поток отраженного солнечного света на миг залил комнату. Мимо дома проехал воз свежего, увязанного в тюки сена, закупленного в деревне, и на повозке была написана фамилия Фарфрэ. Сам Фарфрэ ехал верхом рядом с возом. Лицо у Люсетты сделалось таким... каким бывает лицо женщины, когда тот, кого она любит, внезапно появляется перед нею, словно видение.

Если бы Хенчард только скосил глаза, если б он только бросил взгляд в окно, тайна ее недоступности была бы раскрыта. Но Хенчард, раздумывая о тоне, каким были сказаны ее слова, уперся глазами в пол и не заметил, как загорелось лицо Люсетты, когда она увидела Дюпальда.

— Не думал я... не думал, что женщины такие! — с жаром проговорил он наконец и, страхнув с себя оцепенение, поднялся, но Люсетта, испугавшись, как бы он не заподозрил истины, стала уговаривать его не торопиться. Она принесла яблоки и настойчиво предлагала очистить одно из них для гостя.

Но Хенчард отказался от яблока.

— Нет, нет! Не для меня все это! — проговорил он сухо и двинулся к двери. Но прежде чем уйти, он повернулся к Люсетте. — Вы переехали в Кэстербридж только из-за меня, — сказал он. — А теперь, когда вы здесь, вы никак не хотите ответить на мое предложение!

Не успел он сойти с лестницы, как Люсетта бросилась на диван, потом снова вскочила в порыве отчаяния.

— Я буду любить того! — воскликнула она страстно. — А *этот*... он вспыльчивый и суровый, и, зная это, связывать себя с ним — безумие. Не желаю я быть рабой прошлого... буду любить, кого хочу!

Казалось бы, решив порвать с Хенчардом, она будет метить на кого-нибудь повыше Фарфрэ. Но Люсетта не распустилась: она боялась резкого порицания людей, с которыми когда-то была связана; у нее не осталось родных; и со свойственной ей душевной легкостью она охотно принимала то, что предлагала ей судьба.

Элизабет-Джейн, наблюдая из кристально чистой сферы своего прямодушия за Люсеттой, очутившейся между двумя поклонниками, не преминула заметить, что ее отец, как она

называла Хенчарда, и Дональд Фарфрэ с каждым днем все более пылко влюбляются в ее приятельницу. У Фарфрэ это была безыскусственная страсть юноши. У Хенчарда — искусственно подогретое вождение зрелого человека.

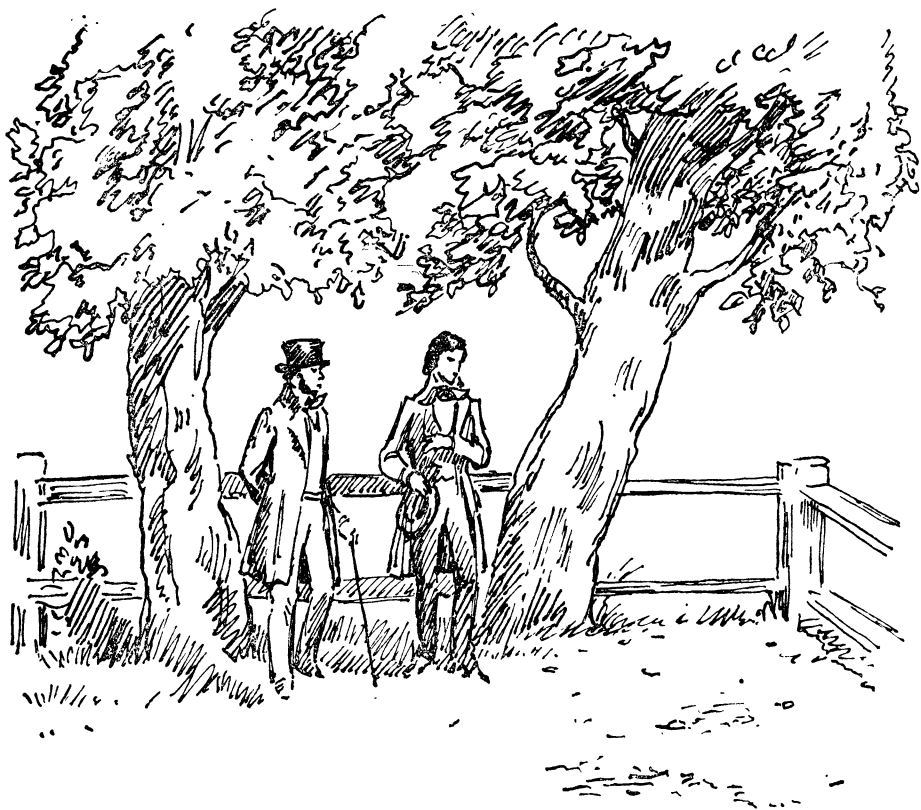
Боль, вызванную их почти полным забвением о ее, Элизабет, существовании, временами немного утоляло чувство юмора. Когда Люсетте случалось уколоть себе палец, оба они так огорчались, как если бы она лежала при смерти; когда же Элизабет-Джейн серьезно заболела или подвергалась опасности, они, услышав об этом, вежливо выражали соболезнование и немедленно забывали о ней. Но отношение Хенчарда, кроме того, оскорбляло в Элизабет дочерние чувства; она невольно спрашивала себя, что же она такое сделала и за что он так пренебрегает ею после всех своих обещаний заботиться о ней. Впрочем, поведение Фарфрэ она, по зрелом размышлении, расценила как вполне естественное. Что она такое в сравнении с Люсеттой? Всего лишь одна из тех «красавиц младших ночи, что померкли, когда луна взойшла на небеса».

Девушка научилась самоотречению, и крушение каждодневных желаний стало для нее таким же привычным, как ежевечерний заход солнца. Жизнь лишь в малой мере дала ей возможность познакомиться с философскими теориями по книгам, но зато близко познакомила ее с ними на практике. Однако опыт ее сложился не столько из разочарований в истинном смысле этого слова, сколько из подмен одного другим. Постоянно случалось так, что она не получала того, что хотела, и получала то, чего не хотела. Поэтому она вспоминала почти спокойно о тех уже невозвратимых днях, когда Дональд был ее тайным вздохателем, и спрашивала себя, какие нежеланные дары пошлет ей небо вместо него.

ГЛАВА XXVI

Случилось так, что в одно ясное весеннее утро Хенчард и Фарфрэ встретились в каштановой аллее на южном городском валу. Оба они только что вышли из дому после раннего завтрака, и поблизости не было ни души. Хенчард читал полученное в ответ на его записку письмо Люсетты, в котором она под каким-то предлогом отказывала ему в просьбе о новом свидании.

У Дональда не было ни малейшего желания заговаривать со своим бывшим другом, раз они теперь были в натянутых отношениях, но ему не хотелось и пройти мимо в хмуром молчании. Он кивнул, и Хенчард тоже кивнул. Они уже отошли друг от друга на несколько шагов, но вот молодой человек услышал: «Эй, Фарфрэ!» Это сказал Хенчард; он стоял и смотрел на Дональда.



— Помните,— начал Хенчард с таким видом, словно его собственные мысли, а вовсе не встреча с Фарфрэ, побудили его начать разговор,— помните, я вам рассказывал о той второй женщине... той, что пострадала за свою безрассудную близость со мной?

— Помню,— ответил Фарфрэ.

— Помните, я вам рассказал, как все это началось и чем кончилось?

— Да.

— Так вот теперь, когда я свободен, я предложил ей выйти за меня замуж; но она не хочет выходить за меня. Ну, что вы о ней думаете?... Хочу знать ваше мнение.

— Если так, теперь вы у нее больше не в долгу,— горячо проговорил Фарфрэ.

— Это верно,— согласился Хенчард и ушел.

Фарфрэ видел, что, прежде чем заговорить с ним, Хенчард читал какое-то письмо, и потому никак не мог заподозрить, что речь идет о Люсетте. Впрочем, ее общественное положение

теперь так сильно отличалось от положения девушки в рассказе Хенчарда, что уже одно это должно было ввести его в заблуждение. Что касается Хенчарда, то его успокоили слова и тон Фарфрэ, рассеяв мелькнувшее было подозрение. Соперник не мог бы так говорить.

Тем не менее Хенчард был твердо убежден, что какой-то соперник у него есть. Он чувл это в воздухе, окружающем Люсетту, видел в росчерке ее пера. С ним боролись какие-то силы, и, когда он пытался приблизиться к Люсетте, казалось, будто он плывет против течения. Он все больше убеждался в том, что дело тут не в простом капризе. Свет в ее окнах, казалось, отталкивал его; шторы на них висели с каким-то вороватым видом, словно хотели скрыть чье-то присутствие, вытесняющее его, Хенчарда. Желая узнать, чье же это присутствие — все-таки Фарфрэ или кого-то другого, — Хенчард всячески старался снова увидеть Люсетту, и наконец это ему удалось.

Во время этого визита, когда Люсетта угощала его чаем, он сделал попытку осторожно осведомиться, знакома ли она с мистером Фарфрэ.

Да, знакома, призналась она; она не может не знать всех и каждого в Кэстербридже, ведь она живет на виду, в самом центре города.

— Приятный молодой человек, — заметил Хенчард.

— Да, — отозвалась Люсетта.

— Мы обе знакомы с ним, — промолвила добрая Элизабет-Джейн, угадав смущение приятельницы и приходя ей на помощь.

Послышался стук в дверь, точнее, три громких стука и под конец один тихий.

«Кто так стучится, тот — ни в тех, ни в сех: от простых отбилс, к знати не пристал, — сказал себе Хенчард. — Не удивлюсь, если это он».

И действительно, спустя несколько секунд вошел Дональд.

Люсетта очень волновалась и суетилась, тем самым подтверждая подозрения Хенчарда, но не давая ему веского доказательства их справедливости. Хенчард выходил из себя при мысли о том, в какое дурацкое положение он попал по милости этой женщины. Она упрекала его в том, что он покинул ее, когда ее оклеветали; на этом основании она требовала его внимания; жила в ожидании его; при первой возможности явилась с просьбой назвать ее своей и этим исправить ложное положение, в котором она очутилась из-за него, — вот как она себя вела! А теперь он сидит за ее чайным столом, жадно стараясь привлечь ее внимание, и в любовном пылу считает другого пришедшего сюда человека злодеем, — точь-в-точь как влюбленный дурак мальчишка.

В сгущающихся сумерках оба поклонника Люсетты сидели друг подле друга за столом в напряженных позах, словно на

какой-нибудь картине Тосканской школы, изображающей двух учеников Христа за ужином в Эммаусе. Люсетта — третья и главная фигура этой картины — сидела против них; Элизабет-Джейн, которая не участвовала в игре и не входила в состав этой троицы, издали наблюдала за нею, отмечая долгие паузы в разговоре, когда слышались только позвякивание чайных ложек о чашки; стук каблучков на мостовой под окном; грохот проезжающей тачки или повозки; свист возчика; плеск воды, лившейся в ведра хозяек у городского колодца напротив; голоса окликающих друг друга соседок да скрип коромысел, на которых они уносили вечерний запас воды.

— Скушайте еще хлеба с маслом,— предложила Люсетта, обращаясь к Хенчарду и Фарфрэ одновременно и протягивая им тарелку с длинными ломтиками хлеба, намазанного маслом.

Хенчард взял ломтик за один конец, а Дональд за другой, ибо каждый был уверен, что хозяйка обратилась именно к нему; оба не захотели выпустить ломтика из рук, и он разломился пополам.

— Ах... простите! — воскликнула Люсетта, с нервным смешком.

Фарфрэ попытался рассмеяться, но он был так влюблен, что это происшествие не могло не показаться ему трагическим.

«Какое они нелепые все трое!» — подумала Элизабет.

Хенчард ушел из этого дома, унося с собой тонну догадок, но ни зерна доказательств того, что его соперник — Фарфрэ, и потому не мог прийти ни к какому выводу. Но для Элизабет-Джейн было ясно как день, что Дональд и Люсетта полюбили друг друга. Не раз Люсетта, как она ни остерегалась, не могла удержаться, и взгляд ее летел в глаза Фарфрэ, словно птичка в свое гнездо. Но Хенчард был слишком невнимателен к мелочам, чтобы при вечернем свете заметить подобные пустяки, которые были для него так же неуловимы, как жужжание иных насекомых для человеческого слуха.

Однако он встревожился. И теперь к явному соперничеству с Дональдом в делах примешалась мысль об их тайном соперничестве в любви. В грубую материю конкуренции вселился воспламеняющий ее дух.

Распаленный таким образом антагонизм претворился в действие: Хенчард послал за Джаппом, которого когда-то отказался нанять в управляющие из-за приезда Фарфрэ. Хенчард часто встречал этого человека в городе, видел по его одежде, что он нуждается, слышал, что он живет на Навозной улице — в глухих трущобах на окраине города, где стояли лачуги, хуже которых не было в Кэстербридже; и уже по одному этому можно было заключить, что он дошел до такого состояния, когда не торгуются.

Джапп явился, когда уже стемнело, прошел через ворота склада во двор и, ощупью пробираясь между соломой и сеном,

добрался до конторы, в которой Хенчард сидел один, поджидая его.

— У меня нет десятичника, — сказал Хенчард. — Вы теперь на месте?

— Место хуже, чем нищенское, сэр.

— Сколько просите?

Джапп назвал сумму, очень умеренную.

— Когда можете приступить к работе?

— Сей же час и сию минуту, сэр, — ответил Джапп.

Он много дней простоял на углах улиц, засунув руки в карманы, — даже плечи его куртки выцвели на солнце и позеленели, как лохмотья огородного пугала, — и, постоянно наблюдая за Хенчардом на рынке, взвесил и досконально изучил его, потому что праздный человек, в силу своей праздности, может узнать занятого человека лучше, чем тот знает самого себя. Было у Джаппа еще одно выгодное для него преимущество: в Кэстербридже он один, кроме самого Хенчарда и неболтливой Элизабет-Джейн, знал, что Люсетта — уроженка Джерси и только временно жила в Бате.

— А я ведь тоже бывал на Джерси, сэр, — сказал Джапп. — Жил там, когда вы туда ездили по делам. Да, да... я вас там частенько встречал.

— Вот как? Прекрасно. Значит, решено. С меня достаточно тех рекомендаций, которые вы показали мне, когда приходили заниматься в первый раз.

Хенчарду, вероятно, не пришло в голову, что в нужде характер портится. Джапп сказал: «Благодарю вас», — и тверже стал на ногах при мысли о том, что теперь он наконец официально связан с этим домом.

— Вот что, — сказал Хенчард, впиваясь властным взглядом в лицо Джаппа, — мне, как крупнейшему в этой округе торговцу зерном и сеном, нужно одно. Необходимо вытеснить с рынка шотландца, который так дерзко забирает в свои руки городскую торговлю. Слышите? Мы с ним не можем ужиться... это ясно как день.

— Я все это уже понял, — сказал Джапп.

— Само собой, я имею в виду честную конкуренцию, — продолжал Хенчард. — Но она должна быть такой же беспощадной, изобретательной и непреклонной, как и честной, если не более. Надо бороться с ним за фермерскую клиентуру самыми крайними ценами — так, чтобы стереть его с лица земли... уморить с голоду. Не забудьте, у меня есть капитал, и это в моих силах.

— Я с вами вполне согласен, — заявил новый десятичник.

Неприятнь Джаппа к Фарфрэ, некогда отнявшему у него место, помогла ему стать послушным орудием хозяина, но в деловом отношении сделала его самым ненадежным помощником, какого только мог себе выбрать Хенчард.

— Я иной раз думаю, — продолжал Джапп, — уж нет ли

у него волшебного зеркала — поглядит туда и увидит, как сложится будущий год. До чего ловко это у него выходит — все на свете приносит ему счастье.

— Он до того хитер, что честному человеку его не раскусить; но мы его перехитрим. Будем продавать дешевле, чем он, а покупать дороже и таким манером выкурим его из норы.

Они перешли к обсуждению подробностей будущей кампании против Фарфрэ и расстались поздно.

Элизабет-Джейн случайно услышала, что Джапп нанялся к ее отчиму. Она была так твердо уверена в непригодности Джаппа, что, рискуя рассердить Хенчарда, высказала ему при встрече свои опасения. Но никакого толку из этого не вышло. Хенчард опроверг ее доводы резкой отповедью.

Погода как будто благоприятствовала их кампании против Фарфрэ. В те годы, то есть до того, как конкуренция с другими странами произвела революцию в хлебной торговле, — так же, как и в древнейшие времена, — колебания цен на пшеницу из месяца в месяц зависели исключительно от урожая в самой Англии. Плохой урожай или хотя бы только его перспектива удваивали цены на пшеницу в течение нескольких недель, а надежда на хороший урожай столь же быстро понижала их. Подобно дорогам той эпохи, цены круто поднимались и опускались, и их колебания определялись местными условиями без всякого постороннего вмешательства, выравнивания или нормирования.

Доходы фермера зависели от урожая пшеницы в пределах того земельного участка, который он обрабатывал, а урожай пшеницы зависел от погоды. Так фермер сделался чем-то вроде барометра из плоти и крови с органами чувств, вечно обращенными к небу и ветру. Атмосфера его окружи поглощала все его внимание; атмосфера иных краев не вызывала в нем интереса. И для других людей — не фермеров, а просто деревенских жителей — в те времена бог погоды был более важной персоной, чем теперь. Сказать правду, погода так сильно волновала обитателей деревни, что их переживания почти невозможно понять в наши уравновешенные дни. Они готовы были, плача, падать ниц перед несвоевременными дождями и бурями, которые, подобно божеству мщения Аластору, угрожали хозяйствам тех, чьим преступлением была бедность.

Во второй половине лета люди следили за флюгерами, как пророки, ожидающие в передних, следят за лакеем. Солнце приводило их в восторг; песьильный дождь отрезвлял; несколько недель бурной и дождливой погоды ошеломляли. Если теперь, взглянув на небо, они только хмурятся, в ту эпоху такое небо привело бы их в ужас.

Наступил июнь, а погода стояла очень неблагоприятная. Кэстербридж, будучи своего рода ксилофоном, на котором жители окрестных деревушек и сел разыгрывали свои мелодии, теперь совсем затих. На витринах лавок вместо новых товаров

раскладывали старые, не проданные в прошлом году: тупые серпы, плохо сколоченные грабли, залежавшиеся на полках гетры; отвердевшие от времени непромокаемые плащи появлялись на свет, подновленные по мере сил и возможностей.

Хенчард, которому поддакивал Джапц, предвидел катастрофический неурожай и на этом решил строить свою стратегию, направленную против Фарфрэ. Но перед тем как дать сигнал к атаке, он, как и многие, хотел знать наверное то, что пока казалось ему лишь весьма вероятным. Он был суеверен, как большинство таких упрямых натур, и долго обдумывал одну пришедшую ему в голову мысль, о которой не хотел говорить даже Джапцу.

В нескольких милях от города, в глухой деревушке — до того глухой, что в сравнении с нею другие так называемые глухие деревушки казались расположенными на бойком месте, — жил человек, о котором ходила странная молва: он слыл вещунном — предсказателем погоды. Путь к его дому был извилист и болотист, даже труднопроходим в плохую погоду, какая стояла в то лето. Однажды вечером, когда лил такой сильный дождь, что шум его падения на листья плюща и лавров казался отдаленной ружейной пальбой и даже закаленному человеку простительно было закутаться до самых глаз, один такой закутанный человек шел по направлению к ореховой рощице, ронявшей дождевые капли на жилище пророка. Большая проезжая дорога сменилась проселочной, проселочная — одноколесной тележкой, тележка — верховой тропой, верховая тропа — пешеходной тропинкой, а пешеходная тропинка пропала в траве. Одинокий путник часто скользил и спотыкался об упругие, как пружина, заросли ежевики, пока наконец не добрался до коттеджа, который вместе с прилегавшим к нему садом был огражден высокой густой живой изгородью. Хозяин собственноручно построил этот глинобитный, довольно большой коттедж и сам покрыл его соломой. Здесь он всегда жил, и здесь ему, вероятно, было суждено умереть.

Он существовал на чьи-то добротные даяния; как ни странно, но хотя окрестные жители смеялись над предсказаниями этого человека, твердя с уверенным видом: «Все это вздор», — однако в глубине души почти все ему верили. Советуясь с ним, они делали вид, что это «просто так, блажь». А когда платили ему, то говорили: «Вот вам кое-что к рождеству» или «к сретенью».

Ему хотелось бы видеть в своих клиентах больше искренности и меньше нелепого притворства, но их непоколебимая вера в его слова вознаграждала его за их поверхностную иронию. Как уже было сказано, ему давали средства к жизни, люди поддерживали его, хотя и поворачивались к нему спиной. Он иногда удивлялся, как могут они исповедовать так мало и верить так много в его доме, если в церкви они исповедуют так много и верят так мало.



За глаза его называли «Всезнайкой» — это прозвище он заслужил своей репутацией, — в лицо величали «мистер Фолл».

Живая изгородь его сада образовала арку над входом, и в ней, словно в стене, была укреплена дверь. За этой дверью высокий путник остановился, повязал себе лицо платком, точно от зубной боли, потом пошел вперед по дорожке. Ставни были не закрыты, и в доме он увидел пророка, занятого приготовлением ужина.

В ответ на стук Фолл подошел к двери со свечой в руке. Посетитель немного отступил, чтобы на него не падал свет, и спросил многозначительным тоном:

— Можно мне поговорить с вами?

Хозяин предложил ему войти, на что тот ответил общепринятой в деревне формулой:

— Ничего, я и здесь постою.

После такого ответа хозяин, хочет он или не хочет, обязан выйти. Пророк поставил свечу на угол комода, снял с гвоздя

шляпу и вышел к незнакомцу на крыльцо, закрыв за собой дверь.

— Я давно уже слышал, что вы умеете... кое-что делать,— начал посетитель, всячески стараясь скрыть, кто он такой.

— Может, и так, мистер Хенчард,— согласился предсказатель погоды.

— А... почему вы меня так называете? — спросил посетитель, вздрогнув.

— Потому, что это ваша фамилия. Предчувствуя, что вы придете, я поджидал вас и, зная, что вы проголодаетесь с дороги, поставил на стол два прибора... вот смотрите.

Он распахнул дверь, и оказалось, что стол действительно накрыт на двоих: два ножа, две вилки, две тарелки, две кружки и перед каждым прибором стул.

Хенчард почувствовал себя совсем как Саул, когда его принимал Самуил; немного помолчав, он сбросил личину холодности, которую надел, идя сюда, и сказал:

— Значит, я пришел не напрасно... Так вот, можете вы, например, заговаривать бородавки?

— Это нетрудно.

— Лечить болезни?

— Случалось и лечить, но с одним условием: если больные соглашались днем и ночью носить на себе жабий мешок.

— Предсказывать погоду?

— Это требует времени и труда.

— Вот возьмите,— сказал Хенчард,— это крона. Скажите, какая погода будет во время уборки урожая? Когда я смогу узнать?

— Да хоть сейчас. Я уже все знаю. (Дело в том, что пятеро фермеров из разных мест успели побывать здесь с той же целью, что и Хенчард.) Клянусь солнцем, луной и звездами, облаками и ветрами, деревьями и травой, пламенем свечи, ласточками и запахами растений, а также кошачьими глазами, воронами, пиявками, пауками и навозной кучей, что вторая половина августа будет дождливой и бурной.

— Вы в этом уверены?

— Если вообще можно быть в чем-то уверенным на этом свете, где все неверно. Осень в Англии будет напоминать Апокалипсис. Хотите, я начерчу вам кривую погоды?

— Нет, нет! — ответил Хенчард.— В общем, если хорошенько подумать, я не очень-то верю предсказаниям. Но я...

— Вы не верите... не верите, ну конечно, разумеется,— сказал Всезнайка, ничуть не обидевшись.— Вы дали мне крону потому, что она у вас лишняя. Но, может, вы поужинаете со мной, раз уж стол накрыт и все готово?

Хенчард с удовольствием согласился бы: аромат готового кушанья, проникнув из коттеджа на крыльцо, дразнил аппетит и был так силен, что Хенчард различал составлявшие его запахи — мяса, лука, перца, кореньев и овощей,— каждый в от-

дельности. Но принять угощение было бы все равно что безоговорочно признать себя поклонником предсказателя погоды, поэтому Хенчард отказался и ушел.

В субботу Хенчард закупил столько зерна, что о его закупках стали говорить соседи, адвокат, виноторговец и доктор; он скупал зерно и в следующую субботу, и всякий раз, как представлялась возможность. Когда же амбары его наполнились до отказа, все флюгера в Кэстербридже заскрипели, словно им наскучило показывать на юго-запад, и повернулись в другую сторону. Погода переменилась: солнечный свет, который вот уже несколько недель казался каким-то оловянным, приобрел оттенок топаза. Темперамент небес из флегматического превратился в сангвинический; появилась почти полная уверенность в том, что урожай будет прекрасный, и в результате цены полетели вниз.

Все эти превращения, пленяющие постороннего наблюдателя, внушали ужас упрямому хлеботорговцу. Они напоминали ему о том, что он отлично знал и раньше: играть на зеленых полях земли так же рискованно, как на зеленом поле карточного стола.

Хенчард поставил карту на плохую погоду и, по-видимому, проиграл. Он ошибся, приняв отлив за прилив. Он заключил столько крупных сделок, что не мог надолго откладывать платежи, а чтобы их внести, пришлось распродать, потеряв немало шиллингов на четверти, пшеницу, купленную всего две-три недели назад. Большую часть этой пшеницы он даже ни разу не видел; она так и осталась в скирдах, сложенных где-то за много миль от города. Таким образом, он понес огромные убытки.

В начале августа, в яркий знойный день он встретил Фарфрэ на рыночной площади. Фарфрэ знал о его сделках (хоть и не догадывался, какое отношение имеют они к нему самому) и выразил ему соболезнование, так как они снова стали разговаривать друг с другом — правда, очень сдержанно — с тех пор, как обменялись несколькими словами в Южной аллее. Сочувствие Дональда, видимо, неприятно задело Хенчарда, но он внезапно решил сделать вид, что все ему нипочем.

— Э, пустяки! Ничего серьезного, милейший! — воскликнул он с наигранной веселостью. — Такие истории случаются постоянно. Я знаю, поговаривают, будто мне приходится туго с деньгами; но разве это редкость? Может быть, дело не так уж плохо, как полагают. И, черт меня побери, надо быть дураком, чтобы огорчаться из-за самых обыкновенных случайностей, без которых в торговом деле не обойдешься!

Но в тот же день ему пришлось пойти в кэстербриджский банк по такого рода делу, какое еще ни разу не приводило его сюда, и он долго сидел в директорском кабинете, чувствуя себя весьма неловко. Вскоре разнесся слух, что часть недвижимости и большие партии товара в самом городе и в его окрестностях,

ранее принадлежавшие Хенчарду, теперь перешли в собственность банка.

Выходя из банка, Хенчард на ступеньках подъезда встретил Джаппа. Неприятные переговоры, которые ему только что пришлось вести, растравили его язву, саднившую с тех пор, как Фарфрэ утром выразил ему соболезнование, в котором Хенчард видел замаскированную издевку, поэтому с Джаппом он поздоровался отнюдь не приветливо. Джапп в эту минуту снял шляпу и, вытирая лоб, сказал какому-то своему знакомцу:

— Прекрасный, жаркий денек выдался нынче!

— Трите, трите лоб! Вам легко говорить «прекрасный, жаркий денек»! — в бешенстве прорычал Хенчард вполголоса, прижимая Джаппа к стене банка. — Если б не ваши дурацкие советы, денек и вправду был бы прекрасным! Почему вы меня не остановили, а?.. Когда одно слово сомнения — ваше или еще чье-нибудь — заставило бы меня подумать дважды! Говорить с уверенностью можно только о вчерашней погоде.

— Я советовал вам, сэ, поступать так, как вы считали нужным.

— Полезный помощник! Чем скорее вы начнете так помогать кому-нибудь другому, тем лучше!

И Хенчард продолжал разносить Джаппа, пока не кончил тем, что уволил его, после чего повернулся на каблуках и зашагал прочь.

— Вы об этом пожалеете, сэ; так пожалеете, как только можно жалеть! — проговорил Джапп, побледнев и глядя вслед Хенчарду, скрывшемуся в толпе рыночных торговцев.

ГЛАВА XXVII

Приближалась уборка урожая. Цены стояли низкие, и Фарфрэ покупал пшеницу. Как это всегда бывает, местные фермеры, которые раньше были убеждены, что погода сулит голод, теперь ударились в противоположную крайность и принялись распродавать свои запасы слишком уж легкомысленно (по мнению Фарфрэ), рассчитывая чуть более уверенно, чем следовало, на обильный урожай. Итак, он продолжал скупать прошлогоднюю пшеницу по сравнительно низкой цене, ибо урожай истекшего года, хоть и не очень большой, был отличного качества.

После того как Хенчард уладил свои дела с убийственным для себя результатом и отделался от всех обременительных закупок, потерпев чудовищный убыток, началась уборка. Три дня стояла прекрасная погода, а потом...

«Что, если этот проклятый колдун все-таки прав?!» — думал Хенчард.

Дело в том, что, как только серпы засверкали в полях, атмосфера внезапно так пропиталась влагой, что казалось, буд-

то кресс-салат может расти в ней, не нуждаясь ни в каком другом питании. Когда люди выходили из дому, воздух прилипал к их щекам, словно сырая фланель. Дул порывистый, сильный, теплый ветер; редкие дождевые капли падали на оконные стекла далеко друг от друга и расплывались звездочками; солнце вырывалось из-за облаков, словно быстро раскрывшийся веер, бросало на пол комнаты молочно-белый, бесцветный узор оконного переплета и скрывалось так же внезапно, как появлялось.

С этого дня и часа стало ясно, что урожай все-таки не будет обильным. Если бы Хенчард подождал подольше, он хоть и не получил бы прибыли, но, по крайней мере, избежал бы убытка. Однако его импульсивной натуре было чуждо терпение. Когда же стрелка весов повернула вспять, он замолк. Теперь он все больше склонялся к мысли, что какая-то неведомая сила действует против него.

«А что, если... — спрашивал он себя с суеверным страхом, — а что, если кто-то растопил мое восковое изображение или вскипятил бесовское зелье, чтобы меня погубить! Я не верю в колдовские силы, но... а что, если все-таки кто-то проделал это?» Однако даже он не допускал мысли, чтобы этим злодеем — если таковой действительно существовал — мог быть Фарфрэ. Суеверие овладевало им в одинокие часы гнетущего уныния, когда ему изменяла практическая сметка.

Между тем Дональд Фарфрэ преуспевал. Он делал закупки, когда на рынке цены катились вниз; когда же они стали немного устойчивее, его небольшой запас золота превратился в целую кучу.

— Этак он скоро в мэры выскочит! — говорил Хенчард.

Кому-кому, а Хенчарду поистине нелегко было плестись за триумфальной колесницей, в которой этот человек направлялся к Капитолию.

Соперничали хозяева, стали соперничать и их работники.

Сентябрьские вечерние тени окутали Кэстербридж; часы пробили половину девятого, и вошла луна. Для такого сравнительно раннего часа улицы города были необычно тихи. Внезапно зазвенели бубенцы на упряжи и раздался грохот тяжелых колес. Сердитые голоса ворвались с улицы в дом Люсетты, и она вместе с Элизабет-Джейн подбежала к окнам и подняла шторы.

Расположенные напротив торговые ряды и городская ратуша примыкали к церкви, но их нижний этаж отделялся от нее крытым проездом, выходящим на просторную площадь, которая носила название «Бычий столб». В середине ее возвышался каменный столб, к которому в старину привязывали волов и, перед тем как отвести их на ближние бойни, травили собаками, чтобы говядина была мягче. Обычно гурты стояли здесь в углу.

Ведущий на эту площадь проезд был сейчас забит двумя запряженными четверней цугом повозками, одна из которых

была нагружена тюками сена: передние лошади не смогли разминуться и, зацепившись друг за друга сбруей, остановились — голова к хвосту. Порожние повозки, пожалуй, смогли бы разъехаться, но на одной сено громоздилось до уровня второго этажа, и разъехаться им было невозможно.

— Ты это нарочно! — орал возчик Фарфрэ. — В такую ночь бубенцы моих коней за полмили слышны!

— А ты бы получше на дорогу смотрел, а не лез напролом, разинув рот, вот бы ты меня и увидел! — возражал разгневанный представитель Хенчарда.

Однако возчик Хенчарда больше погрешил против строгих правил уличного движения, поэтому он попытался осадить назад, на Главную улицу. Но тут правое заднее колесо его повозки, приподнявшись, уперлось в ограду кладбища, гора сена опрокинулась, и в воздух взметнулись два колеса и ноги дышловой лошади.

Вместо того чтобы подумать о том, как поднять опрокинувшийся воз, возчики бросились друг на друга с кулаками. Но не успел окончиться первый раунд, как явился Хенчард, за которым кто-то сбежал.

Хенчард одной рукой схватил за шиворот одного возчика, другой — другого и, отбросив их в противоположные стороны, кинулся к упавшей лошади и не без труда помог ей выпутаться. Затем он расспросил, как было дело, и, разглядев, в каком состоянии его воз, принялся ругать на чем свет стоит возчика Фарфрэ.

К этому времени Люсетта и Элизабет-Джейн уже сбежали вниз и, открыв дверь подъезда, смотрели на поблескивающую при лунном свете гору свежего сена, возле которой сновали тени Хенчарда и возчиков. Приятельницы видели то, чего не видел никто другой, — авария произошла у них на глазах, — и Люсетта решила сказать об этом.

— Я все видела, мистер Хенчард! — воскликнула она. — Виноват ваш возчик!

Хенчард перестал ругаться и обернулся.

— А, мисс Темплмэн, я вас и не заметил, — сказал он. — Виноват мой возчик? Ну, конечно, конечно! Но я все-таки осмелюсь возразить. Другой ехал порожняком, значит, он больше виноват — нечего было лезть вперед.

— Нет, я тоже все видела, — сказала Элизабет-Джейн. — Уверяю вас, он ничего не мог сделать.

— Ну, уж кому-кому, а *ихним* глазам веры давать нельзя! — буркнул возчик Хенчарда.

— А почему бы и нет? — резко спросил Хенчард.

— Что уж там, сами знаете, сэр, все бабы на стороне Фарфрэ... он молодой, щеголеватый, черт бы его взял... малый таковский... такие вползают в девичье сердце не хуже вертячего червяка в овечий мозг... через таких вот девичьим глазам и кривое прямым покажется!

— А ты знаешь, кто эта дама,— та, про кого ты так говоришь? Ты знаешь, что я за ней ухаживаю — и не первый день? Берегись!

— Откуда мне знать? Ничего я не знаю, кроме того, что получаю восемь шиллингов в неделю.

— Зато мистер Фарфрэ это хорошо знает. В делах он продвинутой, но он не станет делать исподтишка того, на что ты намекаешь.

Неизвестно, слышала Люсетта этот негромкий диалог или нет, но ее белое платье скрылось в доме, а дверь захлопнулась раньше, чем Хенчард успел подойти и продолжить разговор. Это было досадно, так как слова возчика встревожили его и ему хотелось поговорить с Люсеттой наедине. Во время наступившей паузы подошел старик квартальный.

— Последи, чтобы никто не наехал на этот воз с сеном, Стабберд,— обратился к нему Хенчард.— Придется ему постоять здесь до утра, потому что рабочие еще не возвратились с поля. А если сюда свернет карета или повозка, прикажи ей объехать кругом по переулку и пусть убирается ко всем чертям... Завтра в ратуше будут разбираться какие-нибудь дела?

— Да, сэр. Числом одно, сэр.

— Так, так. А что за дело?

— Одна старуха скандалистка, сэр, сквернословила и нарушила общественный порядок ужасно кощунственным образом у церковной ограды, сэр, словно это не церковь, а кабак! Вот и все, сэр!

— Так. Мэра, кажется, нет в городе, да?

— Нету, сэр.

— Хорошо, тогда пойду я... И не забудь, присмотри за моим сеном. Спокойной ночи.

Во время этого разговора Хенчард твердо решил добиться свидания с Люсеттой наперекор ее уклончивости и, постучав в дверь, попросил, чтобы его проводили к хозяйке.

Ему ответили, что мисс Темплмэн очень сожалеет, но не может увидаться с ним сегодня вечером, потому что собирается уходить.

Хенчард перешел на другую сторону улицы и, задумавшись, постоял у своего сена в одиночестве — квартальный к тому времени куда-то ушел, а лошадей увели. Хотя луна светила не очень ярко, фонари еще не были зажжены, и Хенчард, отступив в тень одного из выступов, у въезда на площадь Бычьего столба, принялся следить за дверью Люсетты.

В ее окнах мелькало пламя свечей,— то и дело кто-то входил в ее спальню,— и ясно было, что Люсетта переодевается, перед тем как уйти куда-то, хотя куда ей было уходить в такой поздний час? Свет в окнах потух, часы пробили девять, и почти в ту же минуту Фарфрэ вышел из-за угла и постучал в дверь. Люсетта, очевидно, ждала его в передней, так как мгновенно открыла дверь сама. Они вместе пошли на запад, не по Глав-

ной улице, а по параллельной ей, и, догадавшись наконец, куда они идут, Хенчард решил следовать за ними.

Уборка урожая так запоздала из-за неустойчивой погоды, что, как только выдавался ясный день, все напрягали силы, стараясь по мере возможности спасти поврежденные хлеба. Дни быстро укорачивались, и жнецы работали при лунном свете. Так и в тот вечер пшеничные поля, примыкавшие к двум сторонам прямоугольника, образованного чертой города, кишели жнецами. Их смех и возгласы доносились до торговых рядов, у которых Хенчард стоял в ожидании, и, заметив, куда свернули Фарфрэ и Люсетта, он сразу догадался, что они правились в поля.

Здесь собрался чуть ли не весь город. Жители Кэстербриджа все еще придерживались старинного обычая помогать друг другу в нужде, и хотя пшеница принадлежала фермерам — обитателям предместья Дарновер, — остальные горожане также принимали участие в уборке.

Дойдя до конца улицы, Хенчард пересек тенистую аллею на валу, спустился по зеленому откосу и остановился среди жнивья. На желтом поле копны высились, как шатры, и те, что стояли далеко, терялись в пронизанном лунным светом тумане.

Хенчард спустился туда, где работы были уже закончены, а Дональд и Люсетта вышли на поле в другом месте, и Хенчард видел, как они идут между копнами. Они не думали о том, куда идут, они просто шли вперед, и их извилистый путь вскоре стал отклоняться в сторону Хенчарда. Встреча с ними не сулила ничего хорошего, и Хенчард, подойдя к ближайшей копне, сел под нею.

— Я разрешаю, — весело промолвила Люсетта. — Говорите что хотите.

— Хорошо, — отозвался Фарфрэ таким тоном, по которому можно было безошибочно распознать страстно влюбленного человека (при Хенчарде он еще ни разу так не говорил). — Многие будут за вами ухаживать, потому что у вас прекрасное общественное положение, потому что вы богаты, талантливы и красивы. Ну, а сможете ли вы удержаться от соблазна стать одной из тех дам, которые окружены толпой поклонников... да... сможете ли удовольствоваться одним, весьма скромным?

— Это тем, кто говорит со мной? — спросила она со смехом. — Прекрасно, сэр, что же дальше?

— Ах, боюсь, что мое чувство заставит меня позабыть о хороших манерах!

— В таком случае, надеюсь, вы навсегда о них забудете, если у вас не хватает их только по этой причине. — Она произнесла несколько слов, которых Хенчард не расслышал, потом сказала: — А вы уверены, что не будете ревновать?

Фарфрэ сжал ее руку и этим, видимо, убедил ее, что ревновать не будет.

— Вы теперь уверены, Дональд, что я не люблю никого другого,— сказала она.— И все же мне хотелось бы кое в чем поступать по-своему.

— Хоть во всем! Но что именно вы имеете в виду?

— А если я, например, не захочу навсегда остаться в Кэстербридже, поняв, что здесь я не буду счастлива?

Хенчард не услышал ответа; он мог бы услышать и его, и многое другое, но не хотел подслушивать. Фарфрэ и Люсетта пошли в ту сторону, где работали люди и где снопы — по дюжине в минуту — грузили на повозки и фургоны, увозившие их с поля.

Люсетта настояла на том, чтобы расстаться с Фарфрэ, когда они подошли к рабочим. У него к ним было какое-то дело, и он упрашивал ее подождать несколько минут, но она была неумолима и отправилась домой одна.

Тогда Хенчард тоже ушел с поля и последовал за ней. Он был в таком состоянии, что, подойдя к дому Люсетты, даже не постучал в дверь, а открыл ее и прошел прямо в гостиную, ожидая найти там хозяйку. Но в комнате никого не было, и он понял, что, сам того не заметив, второпях опередил Люсетту. Однако ему не пришлось долго ждать; спустя несколько минут он услышал шуршанье ее платья в передней, а потом пегромкий стук закрывающейся двери. И вот Люсетта вошла в гостиную:

Свет здесь был такой тусклый, что Люсетта сначала не заметила Хенчарда. Увидев его, она слабо вскрикнула, и это был почти крик ужаса.

— Как можно так пугать меня? — воскликнула она, покраснев.— Уже одиннадцатый час, и вы не имеете права приходить ко мне без зова в такое время.

— Не знаю, имею я право или нет. Во всяком случае, у меня есть оправдание. Не пора ли мне перестать думать о всяких приличиях и обычаях?

— Приходить так поздно не принято, и мне это может повредить.

— Я приходил час назад, но вы не пожелали принять меня, а теперь я пришел потому, что думал, вы дома. Это вы плохо себя ведете, Люсетта, а не я. Не к лицу тебе так швыряться мной. Может, напомнить вам то, о чем вы, должно быть, позабыли?

Она опустила в кресло и побледнела.

— Я не хочу слышать об этом... не хочу слышать! — пролепетала она, закрыв лицо руками, когда он, подойдя к ней вплотную, начал говорить о былых днях на Джерси.

— А не худо бы послушать,— сказал он.

— Все это кончилось ничем и — по вашей вине. Так почему не предоставить мне свободы, которой я добилась ценой таких страданий! Если бы я знала, что вы хотите жениться на мне, потому что любите меня, я теперь, может быть, и считала бы себя связанной. Но я быстро поняла, что вы решились на это

из жалости... для вас это просто выполнение неприятного долга... я за вами ухаживала во время вашей болезни и скомпрометировала себя, вот вы и решили, что должны вознаградить меня. После этого я уже не могла любить вас так глубоко, как раньше.

— Так почему же вы приехали сюда искать меня?

— Я думала, что, раз вы свободны, я должна выйти за вас замуж, потому что этого требует моя совесть, хотя я... уже не так сильно любила вас.

— А почему же вы теперь думаете иначе?

Она молчала. Ясно, что совесть имела над нею власть только до тех пор, пока в дело не вмешалась новая любовь и не захватила эту власть. Поняв это, Люсетта на минуту забыла о тех доводах, которыми сама отчасти оправдала себя: ведь, обнаружив недостатки Хенчарда, она решила, что в известной мере имеет право не рисковать своим счастьем — не вручать его такому человеку, раз уж она в свое время избежала брака с ним. Она смогла только сказать:

— Тогда я была бедной девушкой, но теперь обстоятельства мои изменились, так что я уже не та, какой была прежде.

— Это верно. И поэтому мое положение не из легких. Но я не притронусь к вашим деньгам. Я охотно пойду на то, чтобы вы тратили каждый свой пенни только на себя. Да и вообще этот ваш довод не к месту. Тот, о ком вы думаете, не лучше меня.

— Если бы вы были таким же хорошим, как он, вы бы оставили меня! — воскликнула она страстно.

Эти слова, к несчастью, взбесили Хенчарда.

— Честь не позволяет вам отказать мне, — проговорил он. — И если вы сегодня же вечером и при свидетеле не дадите мне обещания стать моей женой, я всем расскажу о нашей близости — из чувства долга перед другими мужчинами!

Лицо Люсетты приняло покорное выражение. Хенчард видел, как горька ей эта покорность, и если бы она отдала свое сердце не Фарфрэ, но любому другому человеку, он в эту минуту, вероятно, сжалился бы над ней. Но его преемником оказался тот выскочка (как называл его Хенчард), которого сам же он вывел в люди, и Хенчард заставил себя не давать пощады Люсетте.

Не сказав ему больше ни слова, Люсетта позвонила и приказала вызвать Элизабет-Джейн из ее комнаты. Девушка оторвалась от своих занятий и пришла. Увидев Хенчарда, она подошла к нему и почтительно поздоровалась.

— Элизабет-Джейн, — проговорил он, взяв ее за руку. — Я хочу, чтобы ты слышала наш разговор, — и, обращаясь к Люсетте, спросил: — Согласны вы или нет выйти за меня замуж?

— Если вы... хотите этого, я вынуждена согласиться!

— Вы говорите «да»?

— Да.

Но не успела она произнести это слово, как откинулась назад и потеряла сознание.

— Что это за ужас?.. Что заставляет ее согласиться, отец, если это ей так тяжело? — проговорила Элизабет-Джейн, бросаясь на колени перед Люсеттой. — Не принуждайте ее поступать против воли! Я живу рядом с нею и знаю, что она не в силах вынести так много.

— Не будь душой! — сухо отрезал Хенчард. — Неужели ты не понимаешь, что ее согласие освобождает этого человека и он будет твоим, если ты захочешь?

Тут Люсетта вздрогнула и пришла в себя.

— Какого человека? О ком вы говорите? — спросила она растерянно.

— Ни о ком... меня это вообще не касается, — ответила Элизабет-Джейн решительным тоном.

— А-а... так, так. Значит, я ошибся, — проговорил Хенчард. — Во всяком случае, это касается меня и мисс Темплмэн. Она согласна выйти за меня.

— Только не говорите больше об этом, — попросила его Элизабет, не выпуская руки Люсетты.

— Не буду, если она обещает, — сказал Хенчард.

— Я же обещала, обещала! — простонала Люсетта, и все ее тело обвисло, как молотильный цеп, от горя и слабости. — Майкл, хватит говорить об этом, прошу вас!

— Хорошо, — сказал он. И, взяв шляпу, ушел.

Элизабет-Джейн все еще стояла на коленях перед Люсеттой.

— Что это? — проговорила она. — Вы назвали отца «Майкл», значит, вы хорошо с ним знакомы? И почему у него такая власть над вами, что вы обещали выйти за него замуж против своей воли? Ах... много, много тайн вы скрываете от меня!

— Быть может, и вы от меня, — пробормотала Люсетта, не открывая глаз и не подозревая (так чужда ей была подозрительность), что тайна Элизабет связана с тем самым молодым человеком, который так задел ее собственное сердце.

— Я... никогда не стану вам поперек дороги! — запинаясь, проговорила Элизабет, с величайшим трудом сдерживая волнение. — Не могу понять, как смеет отец так командовать вами! Я не на его стороне во всем этом. Я пойду и попрошу его освободить вас от вашего слова.

— Нет, нет! — промолвила Люсетта. — Пусть все останется так.

ГЛАВА XXVIII

На следующее утро Хенчард пошел в городскую ратушу, расположенную против дома Люсетты, чтобы принять участие в малой сессии суда, так как в этом году он, как бывший мэр,

еще продолжал исполнять обязанности судьи. Проходя мимо дома Люсетты, он взглянул вверх, на ее окна, но ее не было видно нигде.

Хенчард в роли мирового судьи мог на первый взгляд показаться еще более нелепым явлением, чем даже Шеллоу и Сайленс. Но его способность быстро схватывать все обстоятельства дела и его неуклонная прямолинейность нередко помогали ему лучше, чем основательное знание законов, справляться с теми несложными делами, которые разбирались в суде. В этот день доктор Чокфилд, теперешний мэр, был в отъезде, поэтому Хенчард опустился в председательское кресло, рассеянно поглядывая в окно на каменный фасад «Высокого дома».

Сегодня должно было разбираться только одно дело, и вот перед Хенчардом встала обвиняемая. Это была старуха с испещренным пятнами лицом, в шали того неопределенного, не имеющего названия цвета, который нельзя создать искусственно, потому что он получается только сам собой, — это был не коричневый цвет и не рыжеватый, не ореховый и не пепельный, а нечто среднее между ними; на голове у нее красовался черный капор, такой засаленный, точно его носили в стране Псаломпевца, где жир капает из туч; передник же ее сравнительно недавно был белым и потому представлял резкий контраст с одеждой. По развязному поведению старухи можно было догадаться, что она родилась не в деревне и даже не в провинциальном городке.

Она скользнула взглядом по Хенчарду и второму судье, а Хенчард на миг задержал на ней взгляд, словно она смутно напомнила ему кого-то или что-то, но воспоминание исчезло так же быстро, как и возникло.

— Ну, что она там такое натворила? — спросил он, просматривая обвинительное заключение.

— Она обвиняется в том, сэр, что она особа непристойного поведения и нарушила общественный порядок, — прошептал Стабберд.

— Где она это совершила? — спросил другой судья.

— У церкви, сэр. Подумать только — из всех поганых мест надо же было выбрать именно это!.. Я застал ее на месте преступления, ваша милость.

— Ну, станьте там, — сказал Хенчард, — и послушаем, что вы имеете сказать.

Стабберда привели к присяге, судебный писарь окунул перо в чернила, так как Хенчард был не мастер писать протоколы, и квартальный начал:

— Услышав незаконный шум, я пошел по улице в двадцать пять минут двенадцатого вечера, в ночь на пятое число сего месяца текущего года. Когда я...

— Не тараторь, Стабберд! — остановил его писарь.

Квартальный умолк и стал ждать, не отрывая глаз от пера

писаря, пока тот не перестал царапать им по бумаге и не проговорил: «Дальше!» Тогда Стабберд продолжал:

— Когда я проследовал на место, я увидел ответчицу в другом месте, а именно у канавы.

Он умолк и снова воззрился на перо писаря.

— «У канавы»... дальше, Стабберд!

— ...Место это было на расстоянии двенадцати футов девяти дюймов, или около того, от места, где я...

По-прежнему опасаясь, как бы не обогнать писаря, Стабберд опять умолк; он выучил свое показание наизусть, и ему было все равно, когда делать паузы.

— Я возражаю! — заговорила вдруг старуха. — «Место это было на расстоянии двенадцати футов девяти дюймов, или около того, от места, где я...» — такое показание не заслуживает доверия!

Судьи посоветались, и второй судья объявил, что суд считает упоминание о двенадцати футах девяти дюймах приемлемым показанием, поскольку свидетель был приведен к присяге.

Бросив на старуху взгляд, исполненный сдержанного торжества победившей правоты, Стабберд продолжал:

— ...стоял сам. Она шаталась, представляя большую опасность для уличного движения, а когда я подошел поближе, она меня оскорбила.

— «Меня оскорбила...» Ну, так что же она сказала?

— Она сказала: «Убери, говорит, этот фонарь, так его и этак», — говорит.

— Ну...

— «Слышишь, говорит, старый чурбан, балда? Убери фонарь туда-то и туда-то. Я справлялась с мужчинами почище тебя, такой-сякой болван, той-то сын, чтоб меня так-то и этак-то, если не справлялась».

— Я возражаю против такого разговора! — перебила его старуха. — Сама я была не в состоянии слышать, что говорила, а что я говорила не слыхавши, то не показание.

Пришлось опять прервать заседание и посоветаться; потом навели справки в какой-то книге и наконец Стабберду разрешили продолжать. Сказать правду, старуха бывала в суде гораздо чаще, чем сами судьи, поэтому им приходилось строго соблюдать порядок судебной процедуры. Наконец Хенчард, послушав еще некоторое время бессвязные разглагольствования Стабберда, нетерпеливо перебил его:

— Вот что... довольно с нас этих дурацких «такой-сякой, туда-то и туда-то»! Нечего стесняться. Стабберд, будь мужчиной, говори все слова полностью или замолчи! — Затем он обратился к старухе: — Ну, желаете вы задать ему какие-нибудь вопросы или имеете что-нибудь сказать?

— Да, — ответила она, подмигнув, и писарь окунул перо в чернила. — Двадцать лет назад я продавала пшеничную кашу на Уэйдонской ярмарке...

— «Двадцать лет назад...» Ну, уж это... Ты, чего доброго, примешься вспоминать о сотворении мира! — проговорил писарь не без язвительности.

Но Хенчард широко раскрыл глаза, позабыв о необходимости отличать то, что имеет отношение к сути дела, от того, что не имеет.

— В мою палатку вошли мужчина и женщина с ребенком, — продолжала старуха. — Они сели и спросили себе по миске каши. О господи, твоя воля! В ту пору я была более важной шишкой, чем теперь, — неплохо торговала из-под полы и в кашу подливала ром, если кто попросит. И этому мужчине подлила, а потом еще подливала, и еще, и еще, так что он наконец поругался с женой и объявил, что хочет продать ее тому, кто больше даст. Пришел какой-то матрос, и предложил пять гиней, и выложил деньги, и увел ее. А тот мужчина, что продал свою жену таким манером, это вон тот человек, который сидит в большом кресле.

Старуха заключила свою речь кивком головы в сторону Хенчарда и скрестила руки.

Все воззрились на Хенчарда. Лицо у него было странное, посеревшее, точно присыпанное пеплом.

— Нам незачем слушать про вашу жизнь и похождения, — резко заговорил второй судья, нарушая молчание. — Вас спрашивают, можете вы сказать что-нибудь такое, что относится к делу?

— А это и относится к делу. Это доказывает, что он не лучше, чем я, и не имеет права заседать тут и судить меня.

— Врешь ты все! — сказал писарь. — Придержи язык!

— Нет... это правда. — Эти слова произнес Хенчард. — Истинная правда, — проговорил он медленно. — И, клянусь душой, отсюда следует, что я не лучше, чем она! И чтобы избежать малейшего искушения покарать ее слишком строго из мести, судить ее я предоставляю вам.

Сенсация в суде была неописуемая. Хенчард встал с кресла и, выйдя из ратуши, прошел сквозь строй людей, стоявших на ступенях подъезда и на улице; народу собралось гораздо больше, чем обычно, так как старая торговка пшеничной кашей таинственно намекнула обитателям переулка, в котором поселилась после своего приезда в город, что ей известно кое-что любопытное об их именитом согражданине мистере Хенчарде и она могла бы порассказать про него, если бы захотела. Это и привело сюда людей.

— Почему сегодня столько народу шатается около ратуши? — спросила Люсетта свою горничную, когда разбор дела закончился. Она встала поздно и только сейчас выглянула в окно.

— Ах, сударыня, тут у нас целый переполох из-за мистера Хенчарда. Одна женщина доказала, что он когда-то — еще до

того, как стал джентльменом, — продал свою жену за пять гиней в ларьке на ярмарке.

Хенчард некогда говорил Люсетте о своей многолетней разлуке с женой, о том, что считает Сьюзен умершей, и тому подобное, но ни разу не рассказывал подробно, почему они расстались. Теперь Люсетта впервые услышала обо всем.

Отчаяние исказило черты Люсетты, когда она вспомнила, какое обещание ей пришлось дать вчера вечером. Так вот каков Хенчард! Какая ужасная судьба ждет женщину, решившуюся отдать себя под его покровительство!

Днем Люсетта ходила к римскому амфитеатру и в другие места и вернулась только под вечер. Придя домой, она сейчас же сказала Элизабет-Джейн, что решила уехать на несколько дней из дому и пожить на берегу моря — в Порт-Брэди: Кэстербридж такой мрачный.

Элизабет, заметив, что она расстроена и даже осупулась, поддержала ее, полагая, что перемена обстановки принесет ей облегчение. Но девушка невольно заподозрила, что мрак, окутавший Кэстербридж (по мнению Люсетты), отчасти объясняется отъездом Фарфрэ.

Элизабет проводила подругу в Порт-Брэди и взяла на себя управление «Высоким домом» до ее приезда. Дождь лил беспрерывно; два-три дня она провела в одиночестве, потом зашел Хенчард. Он, видимо, был неприятно удивлен, услышав, что Люсетта уехала, и, хотя в ответ только кивнул головой, притворяясь, будто это ему безразлично, ушел, поглаживая бороду с раздосадованным видом.

На следующий день он зашел снова.

— Она приехала? — спросил он.

— Да. Вернулась сегодня утром, — ответила ему падчерица. — Но ее нет дома. Она ушла гулять по дороге в Порт-Брэди. Вернется под вечер.

Хенчард сказал несколько слов, не скрывших его беспокойства и нетерпения, и снова ушел.

ГЛАВА XXIX

Как сказала Элизабет-Джейн, в этот час Люсетта быстро шла по дороге в Порт-Брэди. Странно, что для своей послеобеденной прогулки она выбрала ту самую дорогу, по которой всего три часа назад ехала в карете, возвращаясь в Кэстербридж, — странно, если только можно хоть что-нибудь назвать странным в сцеплении событий, каждое из которых вызвано какой-то причиной. День был базарный, суббота, но Фарфрэ на сей раз не стоял за своей стойкой на хлебной бирже. Впрочем, было известно, что он приедет домой вечером, «к воскресенью», как выражались в Кэстербридже.

Люсетта шла, пока не кончились ряды деревьев, которыми была обсажена эта дорога, так же как и другие большие дороги, ведущие в Кэстербридж. В миле от города ряды деревьев кончились, и здесь она остановилась.

Она стояла в ложбине между двумя отлогими возвышенностями, а дорога, все еще сохранявшая то же направление, что и во времена древнего Рима, тянулась прямо, как цепь землемера, и скрывалась из виду за самой дальней грядой. Нигде не было видно ни изгороди, ни дерева, и дорога выделялась на сжатых пшеничных полях, словно полоска, пришитая к развевающемуся одеянию. Невдалеке стоял сарай — единственное строение на всем этом пространстве вплоть до самого горизонта.

Люсетта напряженно всматривалась в даль, но на дороге ничто не появлялось — ни единой точки. Она вздохнула: «Дональд!» — и, собравшись уходить, повернулась к городу.

Здесь дорога была не совсем безлюдной. По ней шла женщина — Элизабет-Джейн.

Как ни грустно было Люсетте в одиночестве, теперь ей как будто стало немного досадно. Зато Элизабет, когда она издали узнала Люсетту, так и просияла.

— Мне вдруг почему-то захотелось пойти вам навстречу, — сказала она, улыбаясь.

Люсетта собиралась что-то ответить, но неожиданно ее внимание отвлеклось. Справа от нее с большой дорогой соединялась пересекавшая поле проселочная, и по ней брел бык, приближаясь к Элизабет, которая смотрела в другую сторону и потому не видела его.

В последней четверти каждого года рогатый скот становился надеждой и грозой жителей Кэстербриджа и его окрестностей, где скотоводством занимались с успехом, достойным времен Авраама. В эти месяцы через город гнали огромные гурты скота для продажи на местном аукционе, и отдельные животные, бродя по дорогам, обращали в бегство женщин и детей, пугая их так, как ничто другое не могло напугать. Впрочем, животные шли бы довольно спокойно, если бы не традиции кэстербриджцев, считавших, что, сопровождая гурты, необходимо испускать пронзительные крики в сочетании с отвратительными ужимками и жестами, размахивать толстыми длинными палками, сзывать отбившихся собак — словом, всячески стараться разъярить злых и нагнать страху на кротких. Нередко хозяин дома, выйдя из гостиной, обнаруживал, что его передняя или коридор битком набиты детьми, няньками, пожилыми женщинами или воспитанницами женской школы, которые оправдывали свое вторжение тем, что «по улице вели быка на продажу».

Люсетта и Элизабет опасливо смотрели на быка, а тот бесцельно брел в их сторону. Это было очень крупное животное местной породы, красивой бурой масти, но обезображенное пят-

нами грязи, испещрявшими его шершавые бока. Рога у него были толстые, с латунными наконечниками; ноздри напоминали вход в туннель под Темзой, который можно увидеть в старинном игрушечном стереоскопе. Между ноздрями в носовой хрящ было продето прочное медное кольцо, запаянное наглухо, и спять его было так же невозможно, как медный ошейник Герта. К кольцу была привязана ясеневая палка около ярда длиной, и бык, мотая головой, размахивал ею, как щетом.

Заметив болтающуюся палку, приятельницы испугались не на шутку; они поняли, что перед ними вырвавшийся на волю старый бык, такой дикий, что справиться с ним было нелегко, и погонщик, очевидно, вел его, держа в руке эту палку и при ее помощи увертываясь от его рогов.

Путницы огляделись по сторонам в поисках какого-нибудь убежища и решили укрыться в сарае, стоявшем поблизости. Пока они смотрели на быка, он вел себя довольно спокойно, но не успели они повернуться к нему спиной и направиться к сараю, как он тряхнул головой и решил хорошенько напугать их. Беспомощные женщины пустились бежать во весь дух, а бык с решительным видом погнался за ними.

Сарай стоял за тинистым, мутным прудиком, и, как во всех таких сараях, в нем было двое ворот, но одни были заперты, а другие открыты и приперты колом; к этим-то воротам и устремились беглянки. В сарае было пусто — после обмолота из него все вывезли, и только в одном конце лежала куча сухого клевера. Элизабет-Джейн сразу сообразила, что нужно делать.

— Полезем туда, — воскликнула она.

Но еще не успев подбежать к куче клевера, они услышали, что бык быстро перебирается вброд через прудик, и вот спустя секунду он ворвался в сарай, сбив на бегу кол, подпиравший тяжелые ворота; они с грохотом захлопнулись, и все трое оказались взаперти. Женщины бросились в глубину сарая, но бык увидел их и ринулся за ними. Они так ловко увернулись от преследователя, что он налетел на стену как раз в тот миг, когда они были уже на полпути к противоположному концу сарая. Пока он поворачивал свое длинное тело, чтобы снова погнаться за ними, они успели добежать до другого конца, так что погоня продолжалась, и горячее дыхание, вырываясь из ноздрей быка, словно сирокко, обдавало жаром Элизабет и Люсетту, но им никак не удавалось улучшить момент и открыть ворота. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы погоня затянулась, но спустя несколько мгновений за воротами послышался шум, отвлекший внимание быка, и на пороге появился человек. Он подбежал к быку и, схватив палку-повод, резко дернул ее вбок, точно хотел оторвать ему голову. Дернул он с такой силой, что толстая твердая шея быка обмякла, как парализованная, а из носа его закапала кровь. Хитроумное изобретение человека — носовое кольцо — одержало победу над импульсивной грубой силой, и животное дрогнуло.

В полумраке можно было только различить, что спаситель — человек рослый и решительный. Но вот он подвел быка к воротам, дневной свет упал на его лицо, и приятельницы узнали Хенчарда. Он привязал быка снаружи и вернулся в сарай, чтобы помочь Люсетте, — Элизабет-Джейн он не заметил, так как она влезла на кучу клевера. Люсетта истерически всхлипывала, и Хенчард, взяв ее на руки, понес к воротам.

— Вы... спасли меня! — воскликнула она, как только обрела дар слова.

— Я отплатил вам за вашу доброту, — отозвался он с нежностью. — Ведь когда-то меня спасли вы.

— Как... вышло, что это вы... вы? — спросила она, не слушая его.

— Я пошел сюда искать вас. Последние два-три дня я хотел вам кое-что сказать, но вы уехали. Вы не могли бы поговорить со мной сейчас?

— Ох... нет! Где Элизабет?

— Я здесь! — весело крикнула та и, не дожидаясь, пока Хенчард принесет стремянку, соскользнула с кучи клевера на пол.

Все трое медленно пошли по дороге в гору, причем Хенчард одной рукой поддерживал Люсетту, а другой Элизабет-Джейн. Они дошли до перевала и стали спускаться, как вдруг Люсетта, которая уже оправилась от испуга, вспомнила, что уронила в сарае свою муфту.

— Я за ней сбегаю, — сказала Элизабет-Джейн. — Мне это ничего не стоит, ведь я не так устала, как вы.

И она побежала обратно к сараю, а Люсетта и Хенчард пошли дальше.

Элизабет недолго искала муфту, так как в те времена муфты носили немалого размера. Выйдя из сарая, она на минуту остановилась посмотреть на быка; теперь у него был довольно жалкий вид, из носа текла кровь, — быть может, затеяв погоню, он просто хотел пошутить и вовсе не собирался никого забодать, Хенчард приковал его к месту, воткнув привязанную к кольцу палку в дверную петлю и заклинив ее колом. Посмотрев на быка, девушка наконец повернулась, собираясь бежать обратно, как вдруг увидела зеленую с черным двуколку, приближавшуюся с противоположной стороны; двуколкой правил Фарфрэ.

Теперь Элизабет стало ясно, почему Люсетта пошла гулять в эту сторону. Дональд увидел Элизабет, подъехал к ней, и она торопливо рассказала ему обо всем. Ей еще не приходилось видеть, чтобы он волновался так сильно, как во время ее рассказа о том, какой страшной опасности подвергалась Люсетта. Он был настолько поглощен мыслями о происшедшем, что, видимо, плохо соображал и даже не помог девушке, когда она взбиралась к нему в двуколку.

— Она ушла с мистером Хенчардом, так вы сказали? — спросил он наконец.

— Да. Он повел ее домой. Сейчас они, наверно, уже почти дошли.

— А вы уверены, что она в силах добраться до дому?

Элизабет-Джейн была в этом совершенно уверена.

— Значит, это ваш отчим спас ее?

— Конечно.

Фарфрэ пустил лошадь шагом, и девушка поняла почему. Он решил, что сейчас лучше не мешать беседе тех двух. Хенчард спас Люсетту, и дать ей повод при нем выказать предпочтение ему, Фарфрэ, было бы и невеликодушно и неразумно.

Они исчерпали тему разговора, и девушка стала стесняться того, что сидит рядом со своим бывшим поклонником; но вскоре впереди показались Хенчард и Люсетта, подходившие к окраине города. Люсетта часто оглядывалась, но Фарфрэ не подгонял лошади. Когда двуколка подъехала к городскому валу, Хенчард и его спутница скрылись из виду в конце улицы; Фарфрэ высадил Элизабет-Джейн, так как она пожелала сойти с двуколки здесь, а сам направился к конюшне, стоявшей на заднем дворе того дома, где он жил.

Он вошел в дом через сад и, поднявшись к себе, нашел свои комнаты в полном беспорядке: сундуки его были вынесены на площадку лестницы, а книжный шкаф разобран на три части. Однако это, видимо, не вызвало в нем ни малейшего удивления.

— Когда вы все это отправите? — спросил он у хозяйки дома, распорядившейся переноской вещей.

— Пожалуй, не раньше чем в восемь, сэр, — ответила она. — Ведь мы до сегодняшнего утра не знали, что вы собираетесь переехать, а если бы знали, так все было бы уже готово.

— А... ну, ничего, ничего! — весело отозвался Фарфрэ. — Можно и в восемь, только не позже. Ну, довольно вам здесь стоять да разговаривать: чего доброго, и к двенадцати не управитесь.

Он вышел через парадный подъезд и пошел по улице.

В это время Хенчард и Люсетта вели другого рода разговор. После того как Элизабет отправилась за муфтой, Хенчард, решив объясниться начистоту, взял Люсетту под руку, чему она подчинилась неохотно.

— Милая Люсетта, — начал он, — мне очень, очень хотелось видеть вас все эти дни, после нашего последнего свидания! Я думал о том, как я в тот вечер заставил вас дать мне согласие. Вы мне сказали: «Будь я женщиной, я бы не стала настаивать». Это меня глубоко уязвило. Я понял, что в этом есть доля правды. Я не хочу, чтобы вы стали несчастной из-за меня, а если вы выйдете за меня теперь, вы будете несчастны. — это несомненно. Поэтому я согласен отложить свадьбу на неопреде-

ленное время... выбросить из головы всякие мысли о ней на год или на два.

— Но... но... нельзя ли мне сделать для вас что-нибудь другое? — проговорила Люсетта. — Я вам так благодарна... вы спасли мне жизнь. И ваша любовь для меня все равно что раскаленные уголья! Я теперь состоятельная женщина. Не могу ли я чем-нибудь отплатить вам за вашу доброту... помочь вам в деловом отношении?

Хенчард задумался. Этого он, видимо, не ожидал.

— Кое-что вы можете сделать, Люсетта, — отозвался он. — Но — в другом роде.

— В каком же роде? — спросила она, снова предчувствуя что-то неприятное.

— Прежде чем попросить вас об этом, я должен открыть вам один секрет... Вы, может быть, слышали, что мне в этом году не повезло? Я сделал то, чего никогда не делал раньше: начал безрассудно спекулировать и потерпел убыток. Это поставило меня в затруднительное положение.

— И вы хотите, чтобы я дала вам денег в долг?

— Нет, нет! — воскликнул Хенчард почти сердито. — Я не такой человек, чтобы вымогать деньги у женщины, даже если она мне так близка, как вы. Но вот что вы можете сделать, Люсетта, и это меня спасет. Мой главный кредитор — Гроуэр, и я могу очень тяжело пострадать из-за него, но, если бы он согласился подождать две недели, я бы за это время успел оправиться. Добиться от него отсрочки можно только одним путем: вы должны сказать ему, что вы моя невеста... что мы с вами без особой огласки повенчаемся недели через две... Подождите, вы еще не все выслушали! Вы это скажете, а ему, конечно, и в голову не придет, что на самом деле мы поженимся не скоро. Никто другой об этом знать не будет: вы пойдете со мной к мистеру Гроуэру и позволите мне говорить с вами так, как если бы мы были помолвлены. Мы попросим его сохранить это в тайне. В таком случае он охотно подождет. Спустя две недели я с ним расплачусь и тогда скажу ему, как ни в чем не бывало, что наша свадьба отложена на год или на два. В городе ни одна душа не узнает, как вы мне помогли. Вот чем вы могли бы мне помочь, если действительно хотите.

Был тот час, когда, по народному выражению, «день розовеет», иначе говоря, до наступления сумерек оставалось минут пятнадцать, поэтому Хенчард вначале не заметил, как подействовали на Люсетту его слова.

— Будь это что-нибудь другое... — начала она, и голос ее был так же сух, как ее губы.

— Но ведь это такие пустяки! — горько упрекнул он ее. — Меньше, чем вы мне предложили сами, — это только первый шаг на пути к тому, что вы мне на днях обещали! Я бы и сам сказал ему это, но он мне не поверит.

— Я отказываюсь не потому, что не хочу... а потому, что никак не могу,— проговорила она, все больше волнуясь.

— Вы играете с огнем! — вспыхнул он.— Вы доведете меня до того, что я силой заставлю вас исполнить ваше обещание немедленно.

— Я не могу! — твердила она в отчаянии.

— Почему? Ведь всего пять минут назад я освободил вас от обещания выйти за меня замуж в ближайшее время.

— Потому что... он был свидетелем.

— Свидетелем? Чего?

— Я все скажу вам... Но не браните меня, не браньте!

— Хорошо! Так что же вы хотите сказать?

— Он был свидетелем, когда я венчалась... мистер Гроуэр был свидетелем!

— Венчались?

— Да. С мистером Фарфрэ. О Майкл! Я теперь его жена. Мы повенчались на этой неделе в Порт-Брэди. Здесь этого нельзя было сделать по разным причинам. Мистер Гроуэр был нашим свидетелем, потому что он тогда случайно оказался в Порт-Брэди.

Хенчард остановился,— казалось, его ударили обухом по голове. Его молчание так испугало Люсетту, что она бессвязно залепетала, предлагая ему денег взаймы, чтобы он мог продержаться в течение этих критических двух недель.

— Повенчались с ним? — проговорил наконец Хенчард.— О боже, как же это так: повенчались с ним, хотя обещали выйти за меня?

— Вот как все случилось,— объяснила она дрожащим голосом и со слезами на глазах.— Не надо... не надо быть жестоким со мной!.. Я так полюбила его, и я боялась, как бы вы не рассказали ему о прошлом... и это мучило меня! А потом, после того как я обещала выйти за вас, до меня дошел слух, что вы... продали свою жену на ярмарке, словно лошадь или корову! Как могла я, узнав об этом, исполнить свое обещание? Нельзя же было, рискуя собой, отдать свою судьбу в ваши руки — я бы унизила себя, если бы приняла вашу фамилию после такого скандала. И я знала, что потеряю Дональда, если он не станет моим теперь же,— ведь вы исполнили бы свою угрозу рассказать ему о нашем знакомстве в прошлом, останься у вас хоть один шанс удержать меня этим путем. Но теперь вы этого не сделаете, правда, Майкл,— ведь теперь уже поздно нас разлучать.

Пока они разговаривали, на колокольне церкви святого Петра зазвонили во все колокола, а на улице вдруг загредел городской оркестр, который славился тем, что не жалел барабанных палочек.

— Так, значит, вот почему они устроили такой содом? — сказал Хенчард.

— Да... вероятно, он уже рассказал об этом в городе, а мо-

жет быть, и мистер Гроуэр рассказал... Можно мне сейчас проститься с вами? Мой... он сегодня задержался в Порт-Брэди и послал меня вперед; я уехала на несколько часов раньше него.

— Выходит, я сегодня спас жизнь *его* жене!

— Да... и он будет вечно благодарен вам.

— Очень приятно... Эх вы, фальшивая вы женщина! — вспыхнул Хенчард. — Ведь вы дали обещание мне!

— Да, да! Но вы меня принудили, и я тогда не все знала о вашем прошлом...

— Зато я теперь накажу вас по заслугам! Одно лишь слово этому вашему новоиспеченному муженьку о том, как вы за мной ухаживали, — и все ваше драгоценное счастье разлетится вдребезги!

— Майкл... пожалейте меня, будьте великодушны!

— Вы не заслуживаете жалости! Раньше заслуживали, а теперь нет!

— Я помогу вам расплатиться с долгами.

— Получать пособие от жены Фарфрэ... этого только не доставало! Уходите... а не то я скажу еще что-нибудь похуже. Ступайте домой!

Она скрылась за деревьями Южной аллеи в ту минуту, когда оркестр вышел из-за угла, пробуждая в каждом камне отзвуки музыки, гремевшей в ознаменование ее счастья. Не обращая ни на что внимания, Люсетта побежала по переулку и, никем не замеченная, добралась до дома.

ГЛАВА XXX

То, что говорил Фарфрэ своей квартирной хозяйке, относилось к перевозке его сундуков и других вещей из его прежней квартиры в дом Люсетты. Работа была нетрудная, но подвигалась она медленно, потому что хозяйка то и дело громко выражала удивление по поводу события, о котором ее кратко известили письмом всего несколько часов назад.

В последнюю минуту перед отъездом молодоженов из Порт-Брэди Фарфрэ, как Джона Гилпина, задержали выгодные для него клиенты, а он был не такой человек, чтобы пренебрегать ими даже в теперешних исключительных обстоятельствах. Кроме того, было удобнее, чтобы Люсетта первая вернулась домой. Никто еще не знал о том, что произошло, и лучше было ей самой сообщить новость своим домочадцам и распорядиться переселением супруга в ее дом. Поэтому Фарфрэ отправил в наемной карете свою молодую жену, повенчанную с ним всего два дня назад, а сам направился к стоявшим в нескольких милях от города скирдам пшеницы и ячменя, сказав Люсетте, в котором часу его можно ожидать вечером. Вот почему она пошла встречать мужа после четырехчасовой разлуки.

Расставшись с Хенчардом, она с большим трудом заставила себя успокоиться, и, когда Дональд пришел в «Высокий дом» из своей бывшей квартиры, она была готова принять его. Ей помогло в этом одно очень важное обстоятельство: будь что будет, думала она, а все-таки теперь он принадлежит ей. Через полчаса после ее прихода вошел он, и она встретила его с таким радостным облегчением, какого не испытала бы даже после целого месяца разлуки, проведенного им среди опасностей.

— Я еще кое-чего не сделала, хотя это очень важно...— продолжала она серьезным тоном, когда кончила рассказ о происшествии с быком.— Я не сказала моей милой Элизабет-Джейн о том, что мы поженились.

— А, ты еще не говорила ей? — отозвался он задумчиво.— Я подвез ее от сарая до города, но я ей тоже ничего не сказал, полагая, что она, может быть, уже слышала об этом в городе, но не решается поздравить меня из застенчивости.

— Вряд ли она об этом слышала. Впрочем, я сейчас пойду к ней и узнаю. И вот еще что, Дональд, ты не возражаешь против того, чтобы она по-прежнему жила у нас? Она такая спокойная и непритязательная.

— Нет, конечно, не возражаю...— ответил Фарфрэ чуть-чуть нерешительно.— Но я не знаю, захочет ли она сама.

— Конечно, захочет! — горячо проговорила Люсетта.— Я уверена, что захочет. Кроме того, ей, бедняжке, больше негде жить.

Фарфрэ посмотрел на жену и понял, что она и не подозревает о тайне своей более сдержанной приятельницы. И он еще больше полюбил ее за эту слепоту.

— Устраивай все, как тебе хочется, — отозвался он.— Ведь это я вошел к тебе в дом, а не ты ко мне.

— Пойду скорей поговорю с нею, — сказала Люсетта.

Она пошла наверх, в спальню Элизабет-Джейн; девушка уже сняла пальто и шляпу и отдыхала с книгой в руках. Люсетта сразу же догадалась, что она еще ничего не знает.

— Я решила пока не идти к вам вниз, мисс Темплмэп, — простодушно сказала девушка.— Я хотела было пойти спросить вас, оправились ли вы от испуга, но узнала, что у вас гость. Интересно, почему это звонят в колокола? И оркестр играет. Очевидно, празднуют чью-то свадьбу... или это они репетируют, готовясь к рождению?

Люсетта рассеянно ответила: «Да», — и, усевшись рядом с Элизабет-Джейн, посмотрела на нее, как бы обдумывая, с чего начать.

— Какая вы нелюдимая, — проговорила она немного погодя, — никогда не знаете, что делается вокруг, чем живо интересуются и о чем говорят в народе повсюду. Надо бы вам больше выходить на люди и болтать, как другие женщины, тогда вам не пришлось бы задавать мне этот вопрос. Так вот, я хочу сообщить вам кое-что.

Элизабет-Джейн сказала, что она очень рада, и приготовилась слушать.

— Придется мне начать издалека,— проговорила Люсетта, чувствуя, что ей с каждым словом все труднее и труднее рассказывать о себе этой сидящей рядом с нею задумчивой девушке.— Помните, я как-то говорила вам о женщине, которой пришлось решать трудный вопрос нравственного порядка... о ее первом поклоннике и втором поклоннике? — И она в нескольких фразах кратко повторила рассказанную ею историю.

— О да... помню; это история *вашей подруги*,— сухо отозвалась Элизабет-Джейн, всматриваясь в глаза Люсетты, словно затем, чтобы узнать, какого они цвета.— Два поклонника — прежний и новый; она хотела выйти замуж за второго, хотя сознавала, что должна выйти за первого, словом, точь-в-точь как апостол Павел: не сотворила добра, которое хотела сотворить, и причинила зло, которого не хотела причинять.

— Совсе нет! Нельзя сказать, что она причинила зло! — торопливо перебила ее Люсетта.

— Но вы же говорили, что она, или, лучше сказать, *вы сами*,— возразила Элизабет, сбрасывая маску,— были обязаны по долгу чести и совести выйти за первого?

Поняв, что ее видят насквозь, Люсетта покраснела, потом побледнела и в тревоге спросила:

— Вы никому про это не скажете, правда, Элизабет-Джейн?

— Конечно, нет, если вы этого не хотите.

— Так я должна вам объяснить, что дело гораздо сложнее, хуже, чем могло показаться по моему рассказу. С тем первым человеком у меня создались странные отношения, и мы понимали, что нам надо пожениться, потому что о нас начали говорить. Он считал себя вдовцом. Он много лет ничего не знал о своей первой жене. Но жена вернулась, и мы расстались. Теперь она умерла, и вот он снова начинает ухаживать за мной и говорит, что «теперь мы исполним свое желание». Но, Элизабет-Джейн, это уже совсем новые отношения: возвращение той, другой женщины освободило меня от всех обетов.

— А разве вы на этих днях не дали ему обещания снова? — спросила девушка.

Она угадала, кто был «первым поклонником».

— Это обещание меня заставили дать под угрозой.

— Да, верно. Но мне кажется, если женщина однажды связала с кем-то свою жизнь, да еще при столь несчастливых обстоятельствах, как это было у вас, она, при первой возможности, должна стать женой этого человека, хотя бы и не она была виновата в том, что произошло.

Лицо у Люсетты потемнело.

— Он оказался таким человеком, что за него страшно выходить замуж,— попыталась она оправдаться.— Действительно страшно! И я узнала это лишь после того, как снова дала ему согласие.

— В таком случае остается только один честный путь. Вы вовсе не должны выходить замуж.

— Но подумайте хорошенько! Поймите...

— В этом я убеждена,— жестко перебила ее подруга.— Я правильно угадала, кто этот человек. Это мой отец, и, повторяю, вашим мужем должен быть или он, или никто.

Всякое уклонение от общепринятых норм поведения действовало на Элизабет-Джейн, словно красная тряпка на быка. В ее стремлении к добронравию было даже что-то чуть ли не порочное. Она уже познала горе из-за прошлого своей матери, и потому малейшее нарушение обычаев и приличий приводило ее в такой ужас, о каком и понятия не имеют те, чьего имени не коснулось подозрение.

— Вы должны или выйти замуж за мистера Хенчарда, или остаться незамужней, но ни в коем случае не должны выходить за другого человека! — продолжала она, и губы ее задрожали от кипевших в ней двух страстей.

— Я с этим не согласна! — воскликнула Люсетта страстно.

— Согласны или нет, так должно быть!

Люсетта правой рукой прикрыла глаза, словно у нее уже не хватало сил оправдываться, а левую протянула Элизабет-Джейн.

— Как, значит, вы все-таки *вышли* за него! — радостно воскликнула девушка, бросив взгляд на пальцы Люсетты, и вскопчила с места.— Когда же это? Зачем вы меня так дразнили, вместо того чтобы сказать правду? Это замужество делает вам честь! Когда-то, очевидно под пьяную руку, он нехорошо поступил с моей матерью. И, что правда, то правда, он иногда бывает суров. Но вы будете властвовать над ним безраздельно, в этом я уверена, ведь вы такая красивая, богатая, образованная. Он будет вас обожать, и мы все трое будем счастливы вместе!

— О моя Элизабет-Джейн! — горестно вскричала Люсетта.— Я обвенчалась с другим! Я была в таком отчаянии, так боялась, что меня принудят поступить иначе... так боялась, что все обнаружится и это убьет его любовь ко мне... и вот я решила: будь что будет, но я обвенчаюсь с ним немедленно и любой ценой куплю хоть неделю счастья!

— Вы... вышли... замуж за мистера Фарфрэ! — воскликнула Элизабет-Джейн в негодовании.

Люсетта кивнула. Она уже оправилась от смущения.

— Вот почему звонят в колокола,— сказала она.— Мой муж уже тут, внизу. Он будет жить здесь, пока мы не пойдем более удобного дома, и я сказала ему, что хочу, чтобы вы продолжали жить у меня.

— Позвольте мне самой подумать обо всем этом,— быстро ответила девушка, с большим самообладанием подавляя смятение чувств.

— Пожалуйста. Я уверена, что нам будет очень хорошо всем вместе.

Люсетта, сойдя вниз, к Дональду, заметила, что он уже чувствует себя здесь совсем как дома, и какое-то смутное беспокойство примешалось к ее радости. Беспокойство это было вызвано не Элизабет-Джейн — о переживаниях девушки она и не подозревала, — но одним лишь Хенчардом.

А дочь Сьюзен Хенчард мгновенно решила покинуть этот дом. Не говоря уже о том, как она расценивала поведение Люсетты, Фарфрэ когда-то почти объяснился ей в любви, и она чувствовала, что не может остаться здесь.

Было еще не поздно, когда она торопливо оделась и вышла на улицу. Зная, куда обратиться, она через несколько минут нашла подходящее жилье и условилась переехать туда в тот же вечер. Вернувшись, она бесшумно вошла в дом, сняла свое нарядное платье и переделалась в простое, а нарядное уложила, решив надевать его только в торжественных случаях: ведь ей теперь предстояло жить очень экономно. Она оставила записку на имя Люсетты, которая вместе с Фарфрэ сидела, запершись, в гостиной, потом вызвала человека с тачкой и, проследив за укладкой своих вещей, пошла пешком в новое жилище. Оно было на той улице, где жил Хенчард, — почти напротив его дома.

Перебравшись, она села и стала думать о том, на какие средства ей придется жить. Хенчард положил на ее имя небольшую сумму, ренты с которой хватит только на то, чтобы сводить концы с концами. Она отлично умеет плести всякого рода сети — научилась еще ребенком, когда плела неводы в доме Ньюсона, — и это должно помочь ей, а может быть, еще больше помогут ее знания, которые она непрерывно накапливала.

К тому времени весь Кэстербридж узнал о совершившемся браке; о нем громко говорили на тротуарах, доверительно — за прилавками и шутливо — в «Трех моряках». С величайшим интересом обсуждался вопрос: продаст ли Фарфрэ свое дело, чтобы вести жизнь джентльмена на деньги жены, или же захочет остаться независимым и не бросит своей профессии, несмотря на такую блестящую партию.

ГЛАВА XXXI

Речь торговки пшеничной кашей, произнесенная перед судьями, передавалась из уст в уста, и уже через сутки не было в Кэстербридже человека, который не знал бы о том, что натворил Хенчард в припадке безумия на Уэйдонской ярмарке много лет назад. Правда, Хенчард впоследствии искупил свою вину, но об этом забыли, так как драматизм его проступка затмевал искупление. Если бы все давно знали об этом случае, теперь на него, возможно, смотрели бы как на довольно тяжкий, но едва ли не единственный грех молодости, совершенный юношей, с которым у теперешнего зрелого и степенного (хотя и не-

много упрямого) торговца не было почти ничего общего. Но его проступок до сего времени оставался в тайне, поэтому люди забывали о том, сколько лет прошло с тех пор, и черное пятно, омрачившее юность Хенчарда, казалось клеймом преступления, совершенного на днях.

Случай в суде, по существу, был незначителен, но на жизненном пути Хенчарда он отметил поворот или, вернее, начало спуска. С этого дня, чуть ли не с этой минуты, Хенчард, достигнув вершины преуспеяния и почета, начал стремительно катиться под уклон. Странно было видеть, как быстро таяло уважение, которым он некогда пользовался. Его престижу был нанесен сильный удар, а в коммерческих делах он после своих безрассудных сделок перестал идти в гору, поэтому скорость его падения и в том и в другом отношении увеличивалась с каждым часом.

Теперь, проходя по улице, он чаще смотрел на мостовую и реже на фасады домов; чаще на башмаки и гетры и реже в лицо людям, которые когда-то невольно отводили глаза под его горящим взглядом.

Новые события способствовали его крушению. Год выдался несчастливый не только для него, но и для других, и крах одного должника, которому Хенчард великодушно поверил, завершил падение его пошатнувшегося кредита. А тут еще он, в отчаянии, не сумел соблюсти то строгое качественное соответствие между пробой зерна и целой его партией, на котором зиждется вся хлебная торговля. В этом был виноват главным образом один из его служащих; этот болван по глупости взял пробу из огромной партии второсортной пшеницы, принадлежащей Хенчарду, и очистил ее от большинства помятых, больных головней и вообще поврежденных зерен. Если бы, продавая партию зерна, о его недостатках сказали открыто, это не вызвало бы никакого скандала, но в такой момент утайка правды была роковой ошибкой и смешала с грязью имя Хенчарда.

В истории его падения не было ничего необычного. Однажды Элизабет-Джейн, проходя мимо «Королевского герба», увидела, что люди суетятся у входа больше, чем всегда, хотя день был не базарный. Какой-то посторонний наблюдатель, немного удивленный ее неосведомленностью, сообщил ей, что здесь происходит совещание в связи с банкротством мистера Хенчарда. У нее выступили слезы на глазах, и, услышав, что сам Хенчард тоже находится в гостинице, она решила войти и повидать его, но ей посоветовали не мешать ему в такой день.

Комната, в которой сидели должник и кредиторы, выходила на улицу, и Хенчард, посмотрев в окно, затянутое проволочной сеткой, увидел Элизабет-Джейн. Его допрос окончился, и кредиторы собирались уходить. Появление Элизабет повергло Хенчарда в задумчивость, но вот он отвернулся от окна, встал во весь рост и, глядя сверху вниз на окружающих, попросил еще минуту внимания. Его лицо, такое цветущее во времена преус-

нения, теперь как-то поблекло: волосы и бакенбарды были по-прежнему черны, но щеки словно покрылись налетом пепла.

— Джентльмены,— начал он,— кроме того имущества, о котором мы говорили и которое значится в балансе, у меня осталось еще кое-что. Все это принадлежит вам, как и прочее мое добро, и я не такой человек, чтобы утаивать это от вас.

Тут он вынул из кармана золотые часы и положил их на стол; потом вынул кошелек — мешочек из желтой парусины, какой носят все фермеры и торговцы,— и, развязав его, высыпал монеты на стол рядом с часами. Часы он быстро взял на минуту, чтобы снять с них волосяную цепочку, сплетенную и подаренную ему Люсеттой.

— Ну вот, теперь вы получили все, что у меня было,— сказал он.— И я скорблю за вас, что это так мало.

Кредиторы — почти все они были фермеры — посмотрели на часы, потом на деньги, потом на улицу; первым заговорил фермер Джеймс Эвердин.

— Нет, нет, Хенчард, этого нам не надо! — сказал он горючо.— Вы честно поступили, по оставьте это себе. Как скажете, соседи... согласны?

— Да, конечно. Нам этого не надо,— сказал другой кредитор, Гроуэр.

— Пусть оставит себе, разумеется,— пробормотал сидевший сзади третий кредитор, молчаливый, сдержанный молодой человек по фамилии Болдвуд, и все единодушно согласились с ним.

— Так вот,— начал председатель совещания, обращаясь к Хенчарду,— хотя случай безнадежный, но я должен признать, что не видывал более благородного должника. Я убежден, что баланс составлен безукоризненно, честь по чести; никаких затруднений мы не встретили; ничего он не скрыл и не утаил. Что и говорить, он заключал рискованные сделки, которые и довели его до теперешнего плачевного положения, но, насколько я могу судить, он всячески старался не повредить никому.

На Хенчарда его речь произвела большое впечатление, но он не хотел показать этого и снова отвернулся к окну. Слова председателя были встречены гулом одобрения, и совещание закончилось. Когда все разошлись, Хенчард посмотрел на возвращенные ему часы.

«Я не имею права оставить их у себя,— подумал он.— Какого черта они их не берут? Мне чужого не надо!»

Вспомнив об одном неуплаченном долге, он отнес часы к часовщику, лавка которого была напротив, продал их; взял столько, сколько предложил часовщик, потом пошел к одному из мелких своих кредиторов, небогатому дарноверскому фермеру, и отдал ему деньги.

Когда все его имущество было описано и начался аукцион, в городе, где Хенчарда до сих пор осуждали, поднялась волна сочувствия к нему. Теперь картина всей жизни Хенчарда стала

ясна его согражданам: они поняли, как замечательно он употребил свой единственный талант — энергию — на то, чтобы составить себе состояние из ничего (а у него действительно ничего не было, когда он впервые пришел в этот город простым поденным рабочим, вязальщиком сена с заерткой и ножом в корзинке), и люди удивлялись ему, жалея, что он разорился.

Как ни старалась Элизабет, ей никак не удавалось встретиться с ним. Она по-прежнему верила в него, хотя никто уже не верил, и ей хотелось простить его за грубость и помочь ему в беде.

Она написала ему; он не ответил. Тогда она пошла к нему, в огромный дом с фасадом из буроого, местами глазурированного кирпича и с массивными оконными переплетами, — тот дом, где она одно время жила так счастливо, но Хенчарда там уже не было. Бывший мэр ушел из дома, где он преуспевал, и поселился в домишке Джаппа, у монастырской мельницы, в том труппобном пригороде, где он бродил ночью, узнав о том, что Элизабет не его дочь. Туда она и пошла.

Элизабет удивилась, что он решил удалиться сюда, но сказала себе, что в нужде выбирать не приходится. Вокруг по-прежнему стояли деревья, такие старые, что их могли бы посадить обитавшие здесь когда-то монахи, а через затвор бывшей мельницы по-прежнему каскадом переливалась вода, яростно шумевшая в течение многих столетий. Домик был выстроен из старых камней, оставшихся от давно снесенных монастырских зданий, и в его сложенных бутовой кладкой стенах с камнями перемежались обломки ажурных орнаментов, лепные оконные косяки и наличники средневековых арок.

В этом домике Хенчард занимал две комнаты, а Джапп, которого Хенчард когда-то нанял, ругал, ублажал и наконец уволил, был теперь его квартирохозяином. Но даже здесь Элизабет не удалось увидеться с отчимом.

— Неужели он не может принять свою дочь? — спросила Элизабет.

— Он пока никого не припимает. Так он велел говорить, — ответили ей.

Потом ей как-то раз пришлось пройти мимо складов зерна и сенных сараев, которые еще недавно были штаб-квартирой торговой деятельности Хенчарда. Она знала, что он здесь уже не хозяин, и все-таки с удивлением смотрела на знакомые ворота. Фамилию Хенчарда густо замазали краской свинцового цвета, но буквы все еще слабо проступали сквозь эту краску, словно корабли сквозь туман. Выше свежими белилами была начертана фамилия Фарфрэ.

У калитки, прислонившись к ней, стоял тощий, как скелет, Эйбл Уиттл, и Элизабет-Джейн спросила его:

— Теперь тут мистер Фарфрэ хозяин?

— Да-а, мисс Хенчет, — ответил Эйбл. — Мистер Фарфрэ купил дело и всех нас, рабочих, в придачу; и нам теперь луч-

ше, чем раньше, хоть мне и не след говорить это вам, раз вы падчерица. Правда, работать нам потяжелее стало, зато нас больше не пугают. Ведь у меня какие были волосы, а и те чуть не все повылезли от ужаса! Теперь никто не ругается, не хлопает дверью, не лезет тебе в твою бессмертную душу и все такое, и хотя жалованье на шиллинг в неделю меньше, а я стал богаче: ведь что тебе целый свет, когда ты вечно сам не свой от страха, мисс Хенчет!

В общем, Уиттл сказал правду: предприятие Хенчарда не работало, пока улаживались дела, связанные с его банкротством, но все снова пришло в движение, как только во владение вступил новый хозяин. С этого дня набитые зерном мешки, обвязанные блестящими цепями, снова засновали вверх и вниз под стрелой подъемного крана; волосатые руки высовывались из дверей и втаскивали внутрь зерно; тюки сена перебрасывались из сараев во двор или обратно; скрипели завертки, а весы и безмены вступили в строй там, где раньше о весе судили на глазок.

ГЛАВА XXXII

В нижней части города Кэстербриджа было два моста. Первый, из потемневшего кирпича, примыкал непосредственно к концу Главной улицы, от которой ответвлялась другая улица, ведущая в расположенные в низине переулки Дарновера; таким образом, въезд на этот мост служил границей между зажиточностью и бедностью. Второй мост, каменный, стоял на большой дороге, там, где она пролегала уже по лугам, но все еще в черте города.

Вид этих мостов говорил о многом. Ребра каждого их выступа стали совсем тупыми, частью от времени, а главным образом от того, что их терли многие поколения празднующихся, которые год за годом стояли здесь, размышляя о положении своих дел и беспокойно шаркая каблуками и носками сапог по парапетам. Если же под ногу им попадался сравнительно мягкий камень или кирпич, то и на плоских его гранях появлялись ямки, выщербленные тем же сложным способом. Все швы верхнего ряда кладки на парапетах были скреплены железом, ибо отчаянные головы не раз отрывали от них каменные плиты и швыряли в реку, дерзко бросая этим вызов судебным властям.

Надо сказать, что к этим двум мостам тяготели все неудачники города — те, что были неудачливы в делах, в любви, в воздержании или в преступлении. Но почему здешние несчастливцы облюбовали для своих раздумий именно мосты, предпочитая их железным перилам, воротам или ступенькам через ограды, было не совсем ясно.

Завсегдатаи ближнего, кирпичного, моста резко отличались от завсегдатаев дальнего, каменного. Выходцы из низших сло-

ев общества предпочитали первый мост, примыкавший к городу; их не смущал презрительный взгляд пародного ока. Они были не очень важными персонами даже во времена своих успехов и если порой унывали, то не особенно стыдились своего падения. Руки они большей частью держали в карманах, талию перетягивали ремнем, а их башмаки очень пуждались в шнурках, но, кажется, никогда их не имели. Они не вздыхали, думая о превратностях своей судьбы, а плевались, не жаловались, что на душе у них кошки скребут, а говорили, что им не повезло. Джапп частенько стоял здесь в трудные времена; стаивали тут и тетка Каксом, и Кристофер Кони, и бедный Эйбл Уиттл.

Несчастливцы, стоявшие на дальнем мосту, были более благовопитанны. Это были банкроты, ипохондрики, лица, «потерявшие место», по своей вине или по несчастному стечению обстоятельств, имеющие профессию, но бездарные,— словом, «бедные, но благородные люди», не знавшие, как убить скучное время между завтраком и обедом и еще более скучное между обедом и пастушением темноты. Стоя у парапета, они почти всегда смотрели вниз, на быстро текущую воду. Всякий, кто так стоял здесь, пристально глядя на реку, был почти наверное одним из тех, с кем жизнь по той или иной причине обошлась неласково. Неудачник на ближнем мосту не смущался тем, что его видят сограждане, и стоял спиной к парапету, взирая на прохожих; тогда как неудачник на дальнем мосту никогда не стоял лицом к проезду, никогда не поворачивал головы, заслышав шаги, но, остро переживая свое положение, устремлял глаза на воду, как только кто-нибудь приближался, и делал вид, будто глубоко заинтересован какой-то диковинной рыбой, хотя все плавающие твари давным-давно были выловлены из реки.

Так они тут стояли и размышляли; если горем их было угнетение, они воображали себя королями; если горем их была бедность, они воображали себя миллионерами; если грех — они скорбели, почему они не святые или не ангелы; если неразделенная любовь — они в мечтах видели себя окруженными поклонением Адописами, прославленными на все графство. Некоторые так долго стояли и думали, устремив пристальный взгляд вниз, что в конце концов решались позволить своему бедному телу последовать за взглядом, и наутро их находили впису, в заводи, там, где уже никакие горести не могли их настичь.

На этот мост однажды вступил Хенчард, как до него вступали другие несчастливцы, и пришел он сюда по прибрежной тропинке, окаймлявшей эту неприветливую окраину города. Здесь он стоял в один ветренный день, когда часы на дарновской церкви пробили пять. Их звон, подхваченный ветром, еще плыл над сырой низиной, доносясь до Хенчарда, когда сзади него по мосту прошел человек и окликнул его по имени. Хен-

чард повернулся и узнал в прохожем своего бывшего десятичника Джаппа, который теперь служил у кого-то другого; Хенчард его терпеть не мог и все же поселился у него, потому что Джапп был единственным в городе человеком, взгляды и суждения которого вызывали в разоренном зерноторговце презрение, близкое к полному равнодушию.

Хенчард ответил едва заметным кивком, и Джапп остановился.

— Сегодня он с пею переехал в свой новый дом,— сказал Джапп.

— Вот как,— отозвался Хенчард рассеянно.— Что же это за дом?

— Бывший ваш дом.

— Он переехал в мой дом? — Хенчард вздрогнул.— Надо было ему из всех домов города выбрать именно *мой!*

— Должен же кто-нибудь там жить, а раз вы сами не можете, хуже вам будет, что ли, от того, что он приобрел этот дом?

Правильно — Хенчард сознавал, что ему от этого хуже не будет. Фарфрэ, купив дворы и склады, решил купить и жилой дом просто потому, что он примыкал к ним, а это было удобно. Тем не менее поступок Фарфрэ — его переезд в те просторные покои, бывший хозяин которых теперь ютился в лачужке,— невыразимо уязвил Хенчарда.

Джапп продолжал:

— А вы слыхали про того субъекта, что скупил всю лучшую мебель на распродаже вашего имущества? Оказывается, за его спиной стоял не кто иной, как Фарфрэ! Мебель даже не увозили из дома, потому что Фарфрэ к тому времени уже купил его.

— И мебель мою тоже! Чего доброго, он купит и мою душу с телом!

— Отчего не купить, если вы согласны продать.

И, вонзив нож в сердце своего некогда самовластного бывшего хозяина, Джапп пошел своей дорогой, а Хенчард все смотрел и смотрел на быстро текущую реку, пока ему не начало казаться, будто мост движется против течения вместе с ним,

Низины потемнели, и небо сделалось густо-серым. Когда вся местность вокруг стала напоминать картину, залитую чернилами, к огромному каменному мосту приблизился другой человек. Он ехал в двуколке и тоже направлялся в город. Двухколка остановилась на середине моста.

— Мистер Хенчард? — послышался голос Фарфрэ.

Хенчард повернул голову.

Фарфрэ увидел, что не ошибся, и приказал сидевшему рядом с ним человеку ехать домой, а сам слез и подошел к своему бывшему другу.

— Я слышал, вы собираетесь эмигрировать, мистер Хенчард,— начал он.— Это правда? Я спрашиваю не из простого любопытства.

Хенчард, немного помедлив с ответом, сказал:

— Да, это правда. Я еду туда, куда вы хотели уехать несколько лет назад, когда я не пустил вас и уговорил остаться. Все идет по кругу! Помните, как мы с вами вот так же стояли в Меловой аллее и я убеждал вас не уезжать? У вас тогда не было ни гроша, а я был хозяином дома на Зерновой улице. Теперь же у меня нет ни кола ни двора, а хозяином этого дома стали вы.

— Да, да, все это верно! Таков закон жизни,— отозвался Фарфрэ.

— Ха-ха, правильно! — вскричал Хенчард, настраиваясь на веселый лад.— То вверх, то вниз! Я к этому привык. Не все ли равно, в конце концов!

— Теперь послушайте меня, если у вас есть время, как я выслушал вас,— сказал Фарфрэ.— Не уезжайте. Оставайтесь здесь.

— Но как же мне остаться? — досадливо возразил Хенчард.— Денег у меня хватит лишь на то, чтобы перебиться несколько недель, не больше. У меня пока нет охоты снова браться за подневную работу, но не могу же я сидеть сложа руки; так что лучше уж мне попытаться счастья где-нибудь в другом месте.

— Да, но вот что я вам предложу, если вы согласитесь меня выслушать. Переходите жить в свой прежний дом. Мы охотно предоставим вам две-три комнаты — жена моя, конечно, ничего не будет иметь против,— и вы поживете у нас, пока не найдете себе места.

Хенчард вздрогнул: очевидно, картина его жизни под одним кровом с Люсеттой, нарисованная ничего не ведавшим Дональдом, произвела на него столь сильное впечатление, что он не мог взирать на нее равнодушно.

— Нет, нет... — проговорил он хрипло,— мы обязательно поругаемся.

— Вы будете хозяином на своей половине,— продолжал Фарфрэ,— и никто не станет вмешиваться в ваши дела. В нашем доме жить гораздо здоровее, чем внизу, у реки, где вы живете теперь.

И все-таки Хенчард отказался.

— Вы сами не знаете, что предлагаете,— сказал он.— Тем не менее благодарю.

Они вместе направились в город, шагая рядом, как в тот день, когда Хенчард уговаривал молодого шотландца остаться.

— Зайдите к нам поужинать,— пригласил его Фарфрэ, когда они дошли до центра города, где их дороги расходились: одна направо, другая налево.

— Нет, нет.

— Кстати, чуть было не забыл. Я купил большую часть вашей мебели.

— Я слышал.

— Так вот, мне самому она не очень нужна, и я хочу, чтобы вы взяли из нее все то, что вы не прочь были бы иметь,— например, вещи, которые вам, быть может, дороги по воспоминаниям или в которых вы особенно нуждаетесь. Перевезите их к себе, меня это не обездолит; мы прекрасно можем обойтись без них, и мне не раз представится возможность прикупить, что понадобится.

— Как! Вы хотите отдать мне эту мебель даром? — проговорил Хенчард.— Но вы же заплатили за нее кредиторам!

— Да, конечно, но, может быть, вам она нужнее, чем мне. Хенчард даже растрогался.

— Я... иногда думаю, что поступил с вами несправедливо! — сказал он, и в голосе его прозвучало беспокойство, отразившееся и на его лице, но незаметное в вечернем сумраке.

Он резко тряхнул руку Фарфрэ и поспешно зашагал прочь, словно не желая выдать себя еще больше. Фарфрэ увидел, как он свернул в проезд, ведущий на площадь Бычьего столба, и, направившись в сторону монастырской мельницы, скрылся из виду.

Тем временем Элизабет-Джейн жила на верхнем этаже одного дома, в каморке, не более просторной, чем келья пророка, и ее шелковые платья, сшитые в пору благополучия, лежали в сундуке; она плела сети, а часы отдыха посвящала чтению тех книг, какие ей удавалось достать.

Ее комната была почти напротив того дома, где раньше жил ее отчим, а теперь жил Фарфрэ, и она нередко видела, как Дональд и Люсетта с жизнерадостностью, свойственной молодоженам, вместе спешат куда-то или возвращаются домой. Девушка, по мере возможности, избегала смотреть в ту сторону, но как удержаться и не посмотреть, когда хлопает дверь?

Так она тихо жила, но вот однажды услышала, что Хенчард заболел и не выходит из дому, — очевидно, он простудился, стоя где-нибудь на лугу в сырую погоду. Она сейчас же пошла к нему. На этот раз она твердо решила не обращать внимания на отказы и поднялась наверх. Хенчард сидел на кровати, закутавшись в пальто, и в первую минуту выразил недовольство ее вторжением.

— Уходи... уходи! — проговорил он.— Не хочу тебя видеть!

— Но, отец...

— Не хочу тебя видеть,— твердил он.

Но все-таки лед был сломан, и она осталась. Она устроила его поудобнее, отдала распоряжения людям, жившим внизу, и, когда собралась уходить, ее отчим уже примирился с мыслью о том, что она будет его навещать.

То ли от хорошего ухода, то ли просто от ее присутствия, но он быстро поправился. Скоро он так окреп, что мог выходить из дому, и теперь все приобрело в его глазах другую окраску. Он уже больше не думал об отъезде и чаще думал об Элизабет. Ничто так не угнетало его, как безделье; кроме того, он был

более высокого мнения о Фарфрэ, чем раньше, и, поняв, что честного труда не надо стыдиться, он как-то раз стойчески пошел на склад к Фарфрэ наниматься в поденные вязальщики сена. Его приняли немедленно. Переговоры с ним вел десятник, так как Фарфрэ считал, что самому ему лучше поменьше общаться с бывшим хлеботорговцем. Фарфрэ искренне желал помочь Хенчарду, но теперь уже доподлинно знал, какой у него неровный характер, и решил держаться от него подальше. По этой же причине он всегда через третье лицо отдавал приказания Хенчарду, когда тому надо было отправиться в деревню вязать сено где-нибудь на ферме.

Некоторое время все шло хорошо, так как сено, купленное на разных окрестных фермах, обычно вязали прямо на месте, там, где стояли стога, а потом уже увозили; поэтому Хенчард нередко уезжал в деревню на целую неделю. Когда же вязка сена закончилась, Хенчард, уже втянувшийся в работу, стал, как и все, кто служил у Фарфрэ, каждый день приходить на его склад в городе. Таким образом, некогда преуспевавший купец и бывший мэр теперь работал поденно в сараях и амбарах, которые раньше принадлежали ему самому.

— Я и раньше работал поденщиком... Работал ведь? — говорил он вызывающим тоном. — Так почему же мне опять не работать?

Но он был уже не тот поденщик, что в молодости. Тогда он носил опрятную, удобную одежду светлых, веселых тонов: гетры, желтые, как золотоцвет; вельветовые штаны без единого пятнышка, чистые, как молодой лен, и шейный платок, напоминавший цветник. Теперь же он ходил в отрепьях: старый синий суконный костюм, спитый в те времена, когда он был джентльменом; порыжевший цилиндр и некогда черный атласный галстук, засаленный и поношенный. В этом костюме он расхаживал по двору, все еще довольно деятельный — ведь ему было лишь немногим больше сорока, — и вместе с другими рабочими видел, как Дональд Фарфрэ открывает зеленую калитку в сад, видел большой дом и Люсетту.

В начале зимы по Кэстербриджу разнесся слух, что мистера Фарфрэ, который уже был членом городского совета, через год-два выберут мэром.

«Она поступила неглупо, неглупо!» — сказал себе Хенчард, услышав об этом как-то раз по дороге к сенному сараю Фарфрэ. Он обдумывал это известие, скручивая веревки на тюках сена, и оно возродило к жизни его прежний взгляд на Дональда Фарфрэ как на торжествующего соперника, который взял над ним верх.

— Этакое молокососа выбирать в мэры... хорошо, нечего сказать! — бормотал он с кривой усмешкой. — Ну, да ведь это он на ее деньгах всплывает на поверхность. Ха-ха... чертовски чудно все это! Вот я, его бывший хозяин, служу у него в работниках, а он, работник, стал теперь хозяином, и мой дом, и

моя мебель, и моя, можно сказать, жена — все принадлежит ему.

Он повторял это по сто раз на день. За все время своего знакомства с Люсеттой, он никогда так страстно не желал назвать ее своей, как страстно жалел теперь об ее утрате. Не корыстная жажда ее богатства обуревала его, хотя Люсетта стала казаться ему такой желанной именно благодаря богатству, которое сделало ее независимой и пикантной, что обычно так привлекает мужчин его склада. Богатство дало ей слуг, дом и красивые наряды — словом, ту атмосферу, в которой Люсетта казалась какой-то поразительно новой тому, кто видел ее в дни бедности.

Не удивительно, что он опять помрачнел, и при малейшем упоминании о том, что Фарфрэ могут избрать маром, прежняя ненависть к шотландцу вспыхивала в нем снова. Тогда же в его душе произошел перелом. Он часто стал поговаривать многозначительно-вызывающим тоном: «Еще только две недели... Еще только двенадцать дней!» — и так далее, с каждым днем уменьшая срок.

— Про какие это двенадцать дней вы говорите? — спросил его однажды Соломон Лонгуэйс, работавший рядом с ним в амбаре на взвешивании овса.

— Через двенадцать дней кончится мой зарок.

— Какой зарок?

— Не пить спиртного. Через двенадцать дней исполнится двадцать лет с тех пор, как я дал этот зарок, и тогда уж я себя потешу, с божьей помощью!

Как-то раз, в воскресенье, Элизабет-Джейн, сидя у окна, услышала чей-то разговор внизу, на улице, и уловила имя Хенчарда. Она не понимала в чем дело, пока кто-то, проходя мимо, не задал собеседникам вопроса, который она задавала себе.

— Майкл Хенчард запил, а ведь целых двадцать лет ни капли в рот не брал! — ответили ему.

Элизабет-Джейн вскочила с места, оделась и вышла из дому.

ГЛАВА XXXIII

В те годы в Кэстербридже был один компанейский обычай; правда, его не называли обычаем, но соблюдали свято. Каждое воскресенье, после полудня, большая толпа кэстербриджских попенщиков — набожных прихожан и степенных людей, — прослушав обедню, выходила из церкви и гуськом направлялась через дорогу в гостиницу «Три моряка». В арьергарде обычно шествовал хор с виолончелями, скрипками и флейтами под мышкой.

Основным законом, законом чести, на этих освященных традицией сборищах было строгое самоограничение: каждый собутельник пил не больше полупинты спиртного. Хозяин гостини-

цы точно соблюдал этот обычай и подавал компании кружки, вмещающие ровно полпипты. Все они были совершенно одинаковы, с прямыми стенками и нарисованными темно-коричневой краской двумя безлистными липами, причем одно дерево обычно было обращено к губам пьющего, другое — к его sobутыльнику, сидящему напротив. Местные ребятишки, когда им приходила охота пофантазировать, любили гадать, сколько таких кружек имеется у хозяина. По воскресеньям в большом зале гостиницы не менее сорока кружек было расставлено по краю огромного, на шестнадцать ножек, дубового стола, напоминавшего Стоунхендж — памятник глубокой древности. Над ними в воздухе стоял круг из сорока дымок, поднимавшихся от сорока глиняных трубок, а за трубками виднелись лица сорока набожных прихожан, которые сидели, откинувшись на спинки сорока стульев, поставленных вокруг стола.

Беседа велась не такая, как в будни, а гораздо более деликатная и возвышенная. Сотрапезники неизменно обсуждали сегодняшнюю проповедь — анализировали ее, взвешивали, расценивали, решая, выше она среднего уровня или ниже, причем обычно рассматривали ее как своего рода научный доклад или спектакль, — словом, нечто, никак не связанное с их собственной жизнью, если не считать той связи, какую имеют критики с критикуемым явлением. Виолончелист и церковный клерк, как лица, состоящие в официальных отношениях с проповедником, говорили авторитетнее других.

Гостиница «Три моряка» и была тем заведением, которое избрал Хенчард, чтобы отметить конец своего долголетнего воздержания. Он так рассчитал время своего прихода, чтобы все сорок набожных прихожан, зайдя сюда, по обычаю, распить по кружке, застали его уже обосновавшимся в большом зале. По его багровому лицу можно было сразу же догадаться, что двадцатилетний зарок окончился и снова началась эра безрассудства. Он сидел за столиком, придвинутым к массивному дубовому столу прихожан, и некоторые из них, запиная свои места, кивали ему и говорили:

— Как поживаете, мистер Хенчард? Давненько вас тут не было.

Минуты две-три Хенчард не трудился отвечать и не отрывал глаз от своих вытянутых ног в сапогах.

— Да, — проговорил он наконец, — что правда, то правда. Я долго был не в своей тарелке — кое-кто из вас знает почему. Теперь мне лучше, но все-таки на душе у меня не очень-то весело. Эй вы, хористы, затыните-ка песню, и тогда с ее помощью да вот с этим пойлом Стэпниджа я, глядишь, и совсем выскочу из своего минора.

— С удовольствием, — отозвался первый скрипач. — Правда, мы ослабили струны, но можем быстро натянуть их опять. Распев «А», соседи; споемте ему стих из псалма.

— Мне плевать, какие слова будут, — сказал Хенчард. —

Гимны ли, баллады ли, какая-нибудь залихватская дрянь, марш негодяев или пение херувимов — мне все едино, лишь бы красиво звучало да складно пели.

— Ну... хе-хе... может, нам это и удастся — ведь любой из нас просидел на хорах не меньше двух десятков лет, — заметил регент. — По случаю воскресенья, соседи, давайте споем четвертый псалом на распев Самюэла Уэйкли, улучшенный мной.

— К черту распев Самюэла Уэйкли, улучшенный тобой! — оборвал его Хенчард. — Бросьте-ка мне сюда псалтырь... только старый Уилтширский распев стоит того, чтоб на него петь, — ведь когда я был степенным человеком, у меня от этого распева кровь прилиwała и отлиwała, как море. А слова к нему я подбираю сам.

Он взял псалтырь и начал перелистывать его.

Случайно посмотрев в окно, он увидел проходившую мимо толпу и догадался, что это прихожане верхней церкви, где служба только что кончилась, так как проповедь там, очевидно, была длиннее, чем та, которой удостоился нижний приход. Среди прочих именитых горожан шествовал член городского совета мистер Фарфрэ под руку с Люсеттой, на которую поглядывали и которой подражали жены и дочери всех мелких торговцев. У Хенчарда немного искривились губы, и он снова принялся перелистывать псалтырь.

— Так вот, — заговорил он. — Псалом сто восьмой на Уилтширский распев, стихи от восьмого до тринадцатого включительно. Вот слова:

Да будет краток век его,
Жена его — вдовой,
Сироты-дети да идут
Скитаться в хлад и зной.

Займодавец да возьмет
Его поля и дом
И все, что он себе добыл
Неправедным трудом.

И да не скалятся никто
Над ним в его беде,
И люди да не приютят
Его сирот нигде.

Да будет он и весь их род
На гибель обречен,
И да не вспомнит мир вовек
Проклятых их имен.

— Я знаю этот псалом... знаю, знаю! — подхватил регент. — Но петь его мне не хотелось бы. Он сочинен не для пения. Мы как-то раз исполняли его, когда цыгане украли кобылу у пастора, — хотели ему угодить, а он совсем расстроился. Уж и не знаю, о чем только думал царь Давид, когда сочинял этот псалом, который нельзя петь, не позоря себя самого! Затянем-ка

лучше четвертый псалом на распев Самюэла Уэйкли, улучшенный мной.

— Вы что, очумели? Я вам сказал: пойте сто восьмой на Уилтширский распев, и вы у меня споете! — взревел Хенчард. — Ни один из всей вашей компании горлодеров не выйдет отсюда, пока этот псалом не будет спет! — Он выскочил из-за стола, схватил кочергу и, шагнув к двери, загородил ее спиной. — Ну, а теперь валийте, не то я вам всем ваши дурьи головы проломлю!..

— Перестань... зачем так сердиться?.. Ну что ж, нынче день воскресный, и слова эти не наши, а царя Давида; может, мы, так и быть, споем их, а? — проговорил один из перепуганных хористов, оглядывая остальных.

Итак, инструменты были настроены и обличительные стихи спеты.

— Спасибо вам, спасибо, — проговорил Хенчард, смягчившись, и опустил глаза, видимо чрезвычайно взволнованный музыкой. — Не осуждайте Давида, — продолжал он вполголоса, покачивая головой и не поднимая глаз. — Он знал, что делал, когда написал это!.. Пусть меня повесят, но, будь у меня деньги, я бы на свои средства содержал церковный хор, чтобы он играл и пел мне в эту тяжелую, темную пору моей жизни. Горько одно: когда я был богат, я не нуждался в том, что мог бы иметь, а когда обеднел, не могу иметь то, в чем нуждаюсь!

Все молчали; а в это время Люсетта и Фарфрэ снова прошли мимо «Трех моряков»: на этот раз они возвращались домой после недолгой прогулки по большой дороге, ибо они, как и многие другие, обычно гуляли по воскресеньям в промежутке между церковной службой и чаепитием.

— Вот тот, про кого мы пели, — сказал Хенчард.

Певцы и музыканты обернулись и поняли, о ком он говорит.

— Упаси боже, конечно, нет! — сказал виолончелист.

— Он и есть, — упрямо повторил Хенчард.

— Да если бы я знал, — торжественно заявил кларнетист, — что это пели про живого человека, никто бы не вытянул из моего горла ни звука для пения этого псалма, убей меня бог, — не вытянул бы!

— Из моего тоже, — поддержал его хорист, певший первым голосом. — Но я подумал: эти стихи сочинены так давно и так далеко отсюда, что, может, и не будет большой беды, если я услужу соседу, — ведь против распева ничего не скажешь.

— Ладно, чего уж там, ребята, псалом-то вы все-таки спели! — торжествующе закричал Хенчард. — Что до этого человека, так ведь он отчасти своими песнями обворожил меня, а потом выжил... Я мог бы его в бараний рог согнуть... вот так... да только не хочу.

Хенчард положил кочергу на колено, согнул ее, словно это был гибкий прут, бросил на пол и отошел к двери.

В эту минуту Элизабет-Джейн, узнав, где находится ее от-

чим, вошла в зал, бледная и встревоженная. Хористы и музыканты расходились, соблюдая обычай не пить больше полпинты. Элизабет-Джейн подошла к Хенчарду и стала уговаривать его пойти вместе с пею домой.

К тому времени вулканическое пламя в груди Хенчарда уже угасло, и он был подаглив, так как еще не успел напиться вдребезги. Девушка взяла его под руку, и они пошли вместе. Хенчард брел нетвердыми шагами, как слепой, повторяя про себя последние строки псалма:

И да не вспомнит мир вовек
Проклятых их имен.

Наконец он сказал Элизабет-Джейн:

— Я хозяин своего слова! Я двадцать лет не нарушал обе-та и теперь могу пить с чистой совестью... Уж я ему покажу... кто-кто, а я мастер подшутить, когда придет охота! Он у меня все отнял, и, клянусь небом, попадись он мне только на доро-ге, я за себя не поручусь!

Эти бессвязные слова напугали Элизабет, особенно потому, что выражение лица у Хенчарда было спокойное, решитель-ное.

— Что вы собираетесь делать? — спросила она осторожно, хотя уже догадалась, на что намекает Хенчард, и дрожала от волнения и тревоги.

Хенчард не ответил, и они молча дошли до того домишка, где он жил.

— Можно мне войти? — попросила девушка.

— Нет, нет; не сегодня, — сказал Хенчард, и она ушла, страстно желая предостеречь Фарфрэ и чувствуя, что почти обязана это сделать.

Не только по воскресеньям, но и в будни Фарфрэ и Люсетта носились по городу, как две бабочки, или, скорее, как пчела и бабочка, заключившие союз на всю жизнь. Люсетте, видимо, не хотелось никуда ходить без мужа, и, когда дела не позволя-ли ему провести весь день с пею, она сидела дома, ожидая его возвращения, и Элизабет-Джейн видела ее из своего окна под крышей. Однако девушка не говорила себе, что Фарфрэ дол-жен радоваться такой преданности, но, начитавшись книг, вспомнила восклицание Розалинды: «Госпожа, познайте сами себя; падите на колени, постом и молитвой возблагодарите небо за любовь достойного человека».

Она не забывала и о Хенчарде. Как-то раз, отвечая на ее вопрос о здоровье, Хенчард сказал, что не выносит Эйбла Уиттла, который, работая с ним вместе на складе, смотрит на него жалостливым взглядом.

— Такой болван! — говорил Хенчард. — Не может выбро-сить из головы, что когда-то хозяином там был я.

— Если позволите, я буду ходить на склад и затыгивать вам веревки на тюках вместо Уиттла, — сказала Элизабет-Джейн.

Она решила поработать на складе, чтобы разузнать, как обстоят дела во владениях Фарфрэ теперь, когда у него служит ее отчим. Угрозы Хенчарда так сильно встревожили ее, что ей хотелось видеть, как он будет себя вести, когда встретится с Фарфрэ.

Элизабет работала там уже два или три дня, однако Дональд не появлялся. Но вот однажды, во второй половине дня, открылась зеленая калитка и во двор вошел Фарфрэ, а следом за ним — Люсетта. Дональд привел сюда жену, очевидно и не подозревая о том, что она когда-то была связана с теперешним поденщиком, вязальщиком сена.

Хенчард и не взглянул в их сторону — он не отрывал глаз от веревки, которую скручивал, словно она одна поглощала все его внимание. Из чувства деликатности Фарфрэ всегда старался избегать таких положений, когда могло показаться, будто он злорадствует при виде павшего конкурента; поэтому он и теперь решил держаться подальше от сенного сарая, где работали Хенчард и его дочь, и направился к амбару с пшеницей. Между тем Люсетта, не зная о том, что Хенчард нанялся к ее мужу, пошла прямо к сараю и неожиданно столкнулась лицом к лицу с Хенчардом; у нее вырвалось негромкое «о!», но счастливый и занятый делами Дональд был слишком далеко, чтобы это услышать. Увидев ее, Хенчард, по примеру Уиттла и всех остальных, с язвительным смирением коснулся полей своего цилиндра, а Люсетта, полумертвая от страха, пролепетала:

— Добрый день...

— Прошу прощения, сударыня?! — проговорил Хенчард, сделав вид, что не расслышал ее слов.

— Я сказала: добрый день, — повторила она срывающимся голосом.

— Ах да, добрый день, сударыня, — отозвался он, снова дотрагиваясь до цилиндра. — Рад вас видеть, сударыня. — Люсетта, видимо, чувствовала себя очень неловко, но Хенчард продолжал: — Мы, простые рабочие, почитаем за великую честь, когда леди соизволит прийти поглядеть на нашу работу и заинтересоваться нами.

Она бросила на него умоляющий взгляд: ей было так горько, так невыносимо больно от его сарказма.

— Не можете ли вы сказать, который час, сударыня? — спросил он.

— Да, — поспешила она ответить, — половина пятого.

— Благодарю вас. Еще полтора часа пройдет, прежде чем мы кончим работать. Ах, сударыня, мы, простые люди из низших классов, и понятия не имеем о приятном досуге, которым располагают такие, как вы!

Стараясь как можно скорее отделаться от него, Люсетта кивнула и улыbnулась Элизабет-Джейн, потом пошла к мужу на другой конец двора и увела его через ворота на улицу, чтобы избежать новой встречи с Хенчардом. Очевидно, она была

застигнута врасплох. Последствием этой случайной встречи явилась записка, переданная почтальоном Хенчарду на следующее утро.

«Прошу Вас,— писала Люсетта, стараясь втиснуть как можно больше упреков в эту коротенькую записку,— прошу Вас, будьте добры, не говорите со мной таким язвительным тоном, как сегодня, если я когда-нибудь буду проходить по двору. Я ничего не имею против Вас и очень рада, что Вы получили работу у моего дорогого мужа, но будьте справедливы, обращайтесь со мной, как с его женой, и не старайтесь уколоть меня замаскированным глумлением. Я не совершила никакого преступления и ничем не повредила Вам».

«Бедная дурочка! — сказал себе Хенчард с гневом и нежностью, держа перед собой записку.— Не соображает, что таким письмом сама выдает себя с головой! А что, если бы я показал эту писульку ее «дорогому мужу»... Фу!»

И он бросил письмо в огонь.

Люсетта теперь остерегалась появляться в царстве сена и пшеницы. Она скорей умерла бы, чем подверглась риску новой встречи с Хенчардом. Пропасть между ними ширилась с каждым днем. Фарфрэ всегда относился внимательно к своему павшему приятелю, но мало-помалу перестал считать его более важной персоной, чем остальных своих рабочих, да иначе и быть не могло. Хенчард это видел, но прятал обиду под личной невозмутимости и, взбадривая себя, с каждым вечером все больше выпивал в «Трех морях».

Стараясь помешать ему пить, Элизабет-Джейн нередко приходила к нему на работу в пять часов и приносила для него чай в корзинке. Придя однажды на склад в это время и узнав, что Хенчард занят развесом семян клевера и сурепицы на верхнем этаже зернохранилища, она поднялась туда. На каждом этаже этого здания была дверь, открывавшаяся наружу, в пространство, и расположенная под стрелой крана, с которого свешивалась цепь для подъема мешков.

Просунув голову в люк, Элизабет увидела, что верхняя дверь открыта и Хенчард с Фарфрэ, беседуя, стоят на ее пороге, причем Фарфрэ стоит на самом краю бездны, а Хенчард чуть поодаль. Она не захотела мешать им, не стала подниматься выше, а остановилась на лестнице. Дожидаясь конца их разговора, она вдруг увидела, или ей показалось (страшно было подумать, что она действительно это увидела), как отчим ее медленно поднял руку за спиной Фарфрэ до уровня плеч, и лицо его стало каким-то странным. Молодой человек этого не заметил; впрочем, жест этот казался таким бессмысленным, что если бы Фарфрэ и заметил его, то, вероятно, подумал бы, что Хенчард просто расправляет руку. Но даже от слабого толчка Фарфрэ потерял бы равновесие и полетел бы головой вниз.

У Элизабет замерло сердце при мысли о том, что все это *могло* означать. Как только собеседники обернулись, она машинально отнесла Хенчарду корзинку с чаем, поставила ее и ушла. Раздумывая обо всем этом, она старалась убедить себя, что жест Хенчарда был просто бесцельным чудачеством, и только. Но, с другой стороны, Хенчард занимал подчиненное положение в предприятии, которым некогда владел, а это могло действовать на него как возбуждающий яд; так что в конце концов Элизабет решила предостеречь Дональда.

ГЛАВА XXXIV

На следующее утро она встала в пять часов и вышла на улицу. Еще не рассвело; над землей стлался густой туман, и в городе было темно и тихо, только с аллеей, окаймлявших его с четырех сторон, доносились еле уловимые шумы: это падали водяные капли, сгустившиеся на сучьях, и их шорох долетал то с Западной аллеи, то с Южной, то с обеих вместе. Элизабет-Джейн дошла до конца Зерновой улицы и остановилась; она хорошо знала, в котором часу обычно выходит Фарфрэ, и, прождав всего несколько минут, услышала знакомый стук хлопающей двери, потом быстрые шаги. Они встретились у того места, где последнее дерево окаймлявшей город аллеи росло у последнего на этой улице дома.

Фарфрэ не сразу узнал девушку, но, взглядевшись в нее, воскликнул:

— Как... это вы, мисс Хенчард?.. Что это вы так рано встали?

Она извинилась, что подстерегла его в столь неурочный час.

— Но мне очень нужно поговорить с вами,— продолжала она.— А к вам заходить не хотелось, чтобы не напугать миссис Фарфрэ.

— Да? — весело отозвался он тоном человека, сознающего свое превосходство.— Что же вы хотите мне сказать? Буду рад вас выслушать.

Девушка поняла, как трудно будет заставить его признать, что ее опасения не лишены основания. Но все-таки ей каким-то образом удалось начать разговор и упомянуть имя Хенчарда.

— Я иногда боюсь,— сказала она, сделав над собой усилие,— как бы он не сорвался и не попытался... оскорбить вас, сэр...

— Но мы с ним в прекрасных отношениях.

— ...или как-нибудь не подшутил над вами, сэр. Не забудьте, что ему пришлось перенести много горя.

— Но мы с ним очень дружны.

— Боюсь, как бы он не сделал чего-нибудь... что повредит вам... обидит вас... огорчит.

Каждое ее слово отзывалось в ней болью, вдвое более длительной, чем само слово. Но она видела, что Фарфрэ все еще ей не верит. Хенчард — бедняк, служащий у него в рабочих, по его мнению, был уже далеко не тем человеком, которому он, Фарфрэ, когда-то подчинялся. А в действительности Хенчард был все тем же человеком, больше того — темные страсти, некогда дремавшие в нем, теперь проснулись к жизни от полученных им ударов.

Однако Фарфрэ, счастливый и далекий от всяких подозрений, только посмеивался над ее страхами. Так они расстались, и она отправилась домой, в то время как поденщики уже появились на улицах, возчики шли к шорникам за упряжью, отданной в починку, лошадей вели из ферм в кузницы, и вообще весь трудовой люд спешил по своим делам. Элизабет вошла в свою комнату расстроенная, сознавая, что не принесла никакой пользы, а только поставила себя в глупое положение своими неубедительными намеками.

Но Дональд Фарфрэ был одним из тех, для кого ничто не проходит бесследно. Он обычно пересматривал свои взгляды с разных точек зрения, и выводы, сделанные им под первым впечатлением, не всегда оставались без поправок. В этот день он несколько раз вспоминал серьезное лицо Элизабет-Джейн в сумраке холодного рассвета. Зная, как она расудительна, он не мог считать ее предостережения пустой болтовней.

Но он все-таки решил не бросать доброго дела, которое задумал на днях с целью помочь Хенчарду, и, встретив под вечер адвоката Джойса, секретаря городского управления, заговорил с ним на эту тему, как будто у него не было никаких причин охладеть к своему начинанию.

— Хочу поговорить с вами насчет семепной лавочки, — сказал он, — той, что против кладбища и теперь продается. Я не для себя хочу купить ее, а для нашего неудачливого согражданина Хенчарда. С этого дела, пусть маленького, он мог бы начать сызнава, и я уже говорил членам совета, что надо устроить подписку, чтобы помочь ему приобрести эту лавку, причем я первый подпишусь... подпишусь на пятьдесят фунтов, если все члены совета вместе наберут еще пятьдесят.

— Да, да, я слышал, и против этого ничего не скажешь, — согласился городской секретарь просто и искренне. — Но, Фарфрэ, другие замечают то, чего не замечаете вы. Хенчард вас ненавидит... да, ненавидит вас, и вы должны это знать. Насколько мне известно, он был вчера вечером в «Трех моряках» и при всех говорил о вас так, как говорить не следует.

— Вот как... вот как? — отозвался Фарфрэ, опустив глаза. — Но почему он так ведет себя? — с горечью продолжал молодой человек. — Чем я его обидел и за что он пытается мне навредить?

— Один бог знает,— ответил Джойс, подняв брови.— Вы проявляете великое долготерпение, стараясь ладить с ним и держа его у себя на службе.

— Но нельзя же уволить человека, который когда-то был мне добрым другом! Могу ли я забыть, что это он помог мне стать на ноги? Нет, нет. Покуда у меня есть хоть малейшая возможность давать работу людям, он будет у меня работать, если захочет. Не мне отказывать ему в таких пустяках. Но я подожду устраивать его в этой лавке, я еще подумаю хорошенько...

Дональдсу было очень неприятно отказываться от своего проекта. Но все то, что он слышал в этот день, а также другие дошедшие до него слухи расхолодили его, поэтому он решил не делать никаких распоряжений насчет семенной лавки. Зайдя в лавку, Фарфрэ застал там хозяина и, считая нужным как-то объяснить прекращение переговоров, сказал, что совет отказался от своего намерения.

Хозяин, обманутый в своих ожиданиях, очень огорчился и, встретив затем Хенчарда, сразу же сообщил ему, что совет хотел купить для него лавку, но этому воспротивился Фарфрэ. Это недоразумение усилило вражду Хенчарда к шотландцу.

Когда Фарфрэ в тот вечер вернулся домой, чайник шумел на высоком выступе в полуовальном камине. Люсетта, легкая, как сильфида, побежала навстречу мужу и схватила его за руки, а Фарфрэ поцеловал ее.

— Ой! — шутливо воскликнула она, обернувшись к окну.— Смотри: шторы еще не опущены, и пас могут увидеть... какой стыд!

Когда зажгли свечи, опустили шторы и молодожены усадились за чайный стол, Люсетта заметила, что ее муж чем-то озабочен. Не спрашивая прямо, чем именно, она сочувственно всматривалась в его лицо.

— Кто сегодня заходил к нам? — спросил он рассеянно.— Кто-нибудь спрашивал меня?

— Нет,— ответила Люсетта.— А что случилось, Дональд?

— Да так... ничего особенного,— ответил он уныло.

— Ну и не обращай внимания. Ты это преодолеешь. Шотландцам всегда везет.

— Нет... не всегда! — хмуро возразил он, покачивая головой и не отрывая глаз от хлебной крошки на столе.— Я знаю многих, кому не повезло! Сэнди Макферлейн поехал в Америку искать счастья и утонул; Арчибальд Лейт был убит! А несчастные Уилли Данблиз и Мэйтланд Макфриз... те пошли по плохой дорожке и кончили так, как всегда кончают люди в подобных случаях!

— Но... глупенький... я же говорила вообще! Ты всегда понимаешь все буквально. А теперь, после чая, спой-ка мне ту смешную песенку про туфельки на высоких каблучках с се-

ребрыными висюльками на шнурках... и про сорок одного поклонника.

— Нет, нет! Сегодня мне не до пения! Все дело в Хенчарде — он меня ненавидит, и я при всем желании не могу быть ему другом. Я бы понял, если бы он мне немножко завидовал, но не вижу никаких оснований для такой сильной неприязни. Ну, а ты, Люсетта, понимаешь, в чем тут дело? Все это больше похоже на старомодное соперничество в любви, чем на торговую конкуренцию.

Люсетта слегка побледнела.

— Я тоже не понимаю,— сказала она.

— Я даю ему работу... не могу отказать ему в этом. Но нельзя же закрывать глаза на то, что от человека с такими страстями можно всего ожидать!

— А что ты слышал... Дональд, милый? — спросила Люсетта в испуге. Она чуть было не сказала: «Что-нибудь про меня?» — но удержалась. Однако она не могла скрыть своего волнения, и глаза ее наполнились слезами.

— Нет, нет... это не так важно, как тебе кажется,— проговорил Фарфрэ, стараясь ее успокоить, хоть и не знал, как знала она, что это действительно важно.

— Хотелось бы мне, чтобы ты решился на то, о чем мы в свое время говорили,— печально промолвила Люсетта.— Бросил бы ты дела, и мы бы уехали отсюда. Денег у нас достаточно, так зачем нам здесь оставаться?

Фарфрэ, видимо, был склонен серьезно обсуждать эту тему, и они говорили об этом, пока им не доложили, что пришел гость. Вошел их сосед, член городского совета Ватт.

— Вы слышали: бедный доктор Чокфилд скончался! Да... сегодня, в пять часов дня,— сказал мистер Ватт.

Чокфилд был тем членом городского совета, который вступил на пост мэра в прошлом ноябре.

Фарфрэ выразил сожаление, а мистер Ватт продолжал:

— Ну, что поделаешь... ведь он уже несколько дней был при смерти, а его семья хорошо обеспечена, значит, нам остается только принять это к сведению. А зашел я к вам, чтобы задать вам один вопрос, совершенно частным образом. Если я назову вашу кандидатуру в его преемники и не встречу сильной оппозиции, вы согласитесь занять этот пост?

— Но другие лица ближе на очереди, нежели я; к тому же я слишком молод, и люди могут сказать, что я карьерист! — проговорил Фарфрэ, помолчав.

— Все нет. Я говорю не только от своего имени — вашу кандидатуру называло несколько человек. Вы не откажетесь?

— Мы собирались уехать отсюда,— вмешалась в разговор Люсетта, бросив тревожный взгляд на Фарфрэ.

— Это только так, фантазии,— негромко проговорил Фарфрэ.— Я не откажусь, если этого хочет значительное большинство совета.

— Прекрасно, в таком случае считайте себя избранным. У нас и так уже было слишком много мэров-стариков.

Когда он ушел, Фарфрэ промолвил задумчиво:

— Вот видишь, как нами распоряжаются высшие силы! Мы собираемся делать одно, а делаем другое. Если меня хотят выбрать в мэры, я останусь, а Хенчард пусть бесится, сколько его душе угодно.

С этого вечера Люсетта потеряла спокойствие духа. Не будь она такой опрометчивой, она не поступила бы так, как поступила, случайно встретив Хенчарда дня два-три спустя. Правда, они встретились в рыночной толчее, а в такой обстановке вряд ли кто стал бы обращать внимание на их разговор.

— Майкл,— начала она,— я снова прошу вас, как просила несколько месяцев назад, вернуть мне все мои письма и бумаги, которые у вас остались... если только вы их не уничтожили! Вы должны понять, как важно предать забвению весь тот период на Джерси в интересах всех нас.

— Вот это мне нравится! Я запаковал каждый клочок бумаги, исписанный вами, чтобы отдать вам все у почтовой кареты... но не пришли-то вы!

Она объяснила, что смерть тетки помешала ей выехать в тот день.

— А куда вы девали пакет? — спросила она.

Этого он не может сказать... постарается припомнить. Когда она ушла, он вспомнил, что оставил целую кучу ненужных бумаг в своем сейфе, вделанном в стену его прежнего дома, теперь принадлежавшего Фарфрэ. Возможно, что ее письма остались там вместе с другими бумагами.

Лицо Хенчарда исказилось кривой усмешкой. Интересно, открывали уже этот сейф или нет?

В тот самый вечер в Кэстербридже громко зазвонили в колокола, и город наполнился звуками волынок и медных, деревянных и струнных ансамблей, причем ударные инструменты гремели с отчаянной щедростью. Фарфрэ стал мэром — двести которым-то по счету в длинной веренице мэров, составляющих выборную династию, что восходит к временам Карла I, и за прекрасной Люсеттой ухаживал весь город... Да вот только этот червь в бутоне — этот Хенчард... что он мог бы сказать?

А Хенчарду, уже разъяренному ложными слухами о том, что Фарфрэ противился приобретению для него семенной лавочки, теперь преподнесли новость о результатах муниципальных выборов, результатов беспрецедентных (ибо Фарфрэ был человеком еще молодой и к тому же шотландец), а потому возбуждавших исключительный интерес. Колокольный звон и музыка, громкая, как труба Тамерлана, невыразимо уязвляли поверженного Хенчарда, и ему казалось, что теперь он вытеснен окончательно.

На следующее утро он, как всегда, отправился на зерновой склад, а около одиннадцати часов Дональд вошел во двор через

зеленую калитку, ничем не напоминая человека, отмеченного почетным избранием. Выборы подчеркнули, что он и Хенчард переменились местами теперь уже во всех отношениях, и скромный молодой человек, видимо, чувствовал себя немного неловко; но Хенчард сделал вид, будто все это ничуть его не задело, и Фарфрэ сразу же оценил по достоинству его поведение.

— Позвольте спросить вас,— начал Хенчард,— насчет одного пакета, который я, должно быть, оставил в бывшем своем сейфе в столовой.

Он подробно описал пакет.

— Если оставили, значит, он и теперь там,— сказал Фарфрэ.— Я еще ни разу не открывал сейфа, потому что сам храню свои бумаги в банке — так спокойнее спится.

— Пакет не особенно нужен... мне,— продолжал Хенчард,— но я все-таки найду за ним сегодня вечером, если вы ничего не имеете против.

Было уже очень поздно, когда он отправился к Дональду. Он подкрепился грогом — что теперь вошло у него в привычку — и, подходя к дому, сардонически усмехнулся, словно предвкушая некое жестокое удовольствие. Что бы он ни чувствовал, но чувства его еще больше обострились, когда он вошел в этот дом, где еще ни разу не был с тех пор, как перестал владеть им. Дребезжание дверного колокольчика показалось ему голосом знакомого слуги, которого подкупили, чтобы он не впускал в дом бывшего хозяина, а движение открывавшихся дверей возрождало к жизни умершие дни.

Фарфрэ пригласил его в столовую и там сейчас же открыл в стене железный сейф — его, Хенчарда, сейф, сделанный искусным слесарем по его указанию. Вынув из сейфа пакет и еще какие-то бумаги, Фарфрэ извинился, что не отдал их владельцу раньше.

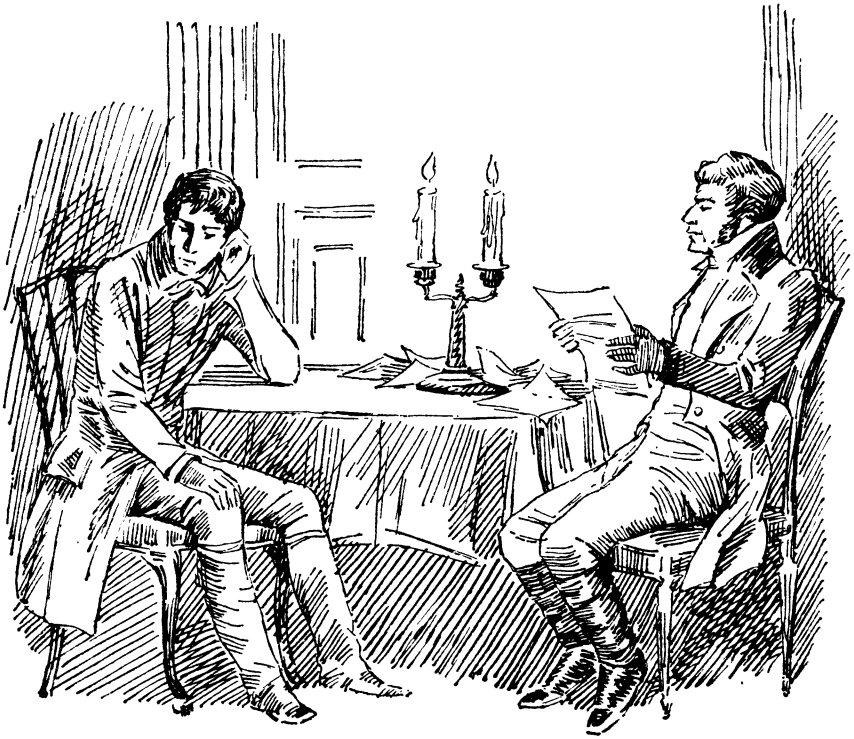
— Не важно,— сухо отозвался Хенчард.— Тут главным образом письма... Да,— продолжал он, усаживаясь и развертывая пачку страстных писем Люсетты,— это они. Вот уж не ожидал, что снова их увижу! Надеюсь, миссис Фарфрэ чувствует себя хорошо после утомительного вчерашнего дня?

— Она немного устала и рано легла спать.

Хенчард снова занялся письмами и с видимым интересом начал их сортировать, а Фарфрэ сел против него, в конце обеденного стола.

— Вы, наверное, не забыли,— продолжал Хенчард,— ту любопытную главу из моей жизни, которую я вам рассказал; вы еще тогда, помните, немного помогли мне? Дело в том, что эти письма связаны с той прискорбной историей. Впрочем, теперь все это, слава богу, в прошлом.

— А что случилось с той бедной женщиной? — спросил Фарфрэ.



— К счастью, она вышла замуж за другого и — удачно, — ответил Хенчард. — Так что упреки, которыми она мне досаждала, теперь уже не терзают моей совести, как могли бы терзать, будь все иначе... Вот послушайте, как пишет разгневанная женщина!

Фарфрэ, желая сделать удовольствие Хенчарду, вежливо приготовился слушать, хотя не испытывал ни малейшего интереса к письмам и с трудом удерживал зевоту.

— «Для меня, — начал читать Хенчард, — в сущности, уже нет будущего. Женщина, которая предалась Вам наперекор всем общепринятым условностям и которая не мыслит себя женой другого, но которая тем не менее Вам не ближе, чем первая встречная, — вот кто я. Я не обвиняю Вас в сознательном намерении причинить мне горе, но Вы — та дверь, через которую горе вошло ко мне. Утешительно думать, что в случае смерти Вашей жены Вы поставите меня на ее место, но... когда это будет? Итак, я осталась ни при чем, отвергнутая своими немногими знакомыми и отвергнутая вами!..»

— Вот как она взялась за меня, — заключил Хенчард. — Исписала целые акры подобными словами, а разве я мог поправить дело?

— Да,— отозвался Фарфрэ рассеянно,— женщины всегда так.

Сказать правду, он очень плохо знал женщин, но, усмотрев некоторое сходство в стиле между излияниями избранной им женщины и письмами той, которую считал чужою, сделал вывод, что Афродита всегда выражает свои мысли подобным образом, в какую бы женщину она ни воплотилась.

Хенчард развернул другое письмо и тоже прочел его от начала до конца, так же опустив подпись.

— Я не называю ее имени,— сказал он мягко.— Раз я на ней не женился, а женился другой, негоже мне называть ее имя.

— Пр-равильно, пр-равильно,— согласился Фарфрэ.— Но почему вы не женились на ней, когда умерла ваша жена Сьюзен?

Фарфрэ задал этот вопрос, как, впрочем, и другие, спокойным и равнодушным тоном человека, к которому все это имеет весьма отдаленное отношение.

— А... это действительно вопрос! — отозвался Хенчард, и мрачная усмешка снова искривила его рот, придав ему очертания полумесяца.— Когда я, из чувства долга, великодушно предложил ей руку и сердце, оказалось, что она, вопреки всем своим уверениям, не для меня.

— К тому времени она, может быть, уже вышла замуж?

Хенчард подумал, что вдаваться в подробности, пожалуй, опасно, и ответил:

— Да.

— Очевидно, сердце у этой молодой особы очень легко выносит пересадку!

— Именно, именно! — подтвердил Хенчард с жаром.

Он развернул и прочел третье, потом четвертое письмо. Теперь он дочитывал письма до самого конца, так что казалось, будто он обязательно прочтет и подпись. Но он все-таки опустил ее. Сказать правду, он, как, вероятно, уже догадался читатель, хотел заключить эту драматическую историю грандиозной катастрофой, прочитав вслух подпись; с этой мыслью он сюда и пришел. Но хладнокровно выполнить свое намерение здесь, в этом доме, он не смог. Так разбить человеческие сердца не осмелился даже он. В пылу гнева он мог бы уничтожить этих людей, но, при всей его враждебности к ним обоим, у него не хватило духу отравить их ядом доноса.

ГЛАВА XXXV

Как уже говорил Дональд, Люсетта утомилась и рано ушла в свою комнату. Однако она не легла спать, а села в кресло у кровати и, взяв книгу, то читала ее, то перебирала в уме события дня. Когда Хенчард позвонил, она удивилась и стала га-

дать, кто бы это мог зайти в такой поздний час. Столовая была расположена почти под спальней, и Люсетта слышала, как туда провели кого-то, а потом до нее донеслось неясное бормотание, — казалось, кто-то читал вслух.

Настало и прошло время, когда Дональд обычно поднимался наверх, а чтение и разговор все не прекращались. Это было очень странно. Люсетта никак не могла себе этого объяснить, и ей пришло в голову, что, очевидно, кто-то совершил из ряда вон выходящее преступление и гость, кто бы он ни был, читает заметку об этом в экстренном выпуске газеты «Кэстербридж кроникл». Наконец Люсетта вышла из спальни и спустилась по лестнице. Дверь в столовую была открыта, и в тишине спящего дома молодая женщина, еще не дойдя до нижнего марша лестницы, без труда узнала голос чтеца и свои собственные слова. Она остановилась как вкопанная. Слова, написанные ею и произносимые голосом Хенчарда, летели ей навстречу, как духи, вырвавшиеся из могилы.

Люсетта прислонилась к перилам и, словно ища у них утешения в горе, прижалась щекой к их гладкой поверхности. Она замерла в этой позе, а слова стучались ей в уши одно за другим. Но что удивило ее больше всего, так это тон ее мужа. Он говорил, как человек, снисходительно внимающий кому-то, и только.

— Позвольте, — заговорил он, когда, судя по шуршанию бумаги, Хенчард принялся разворачивать новое письмо, — хорошо ли вы поступаете по отношению к этой девушке, читая постороннему человеку то, что она писала для вас одного?

— Нет, конечно, — ответил Хенчард. — Но я не назвал ее имени и тем самым только показал, каковы все женщины, не опозорив ни одной из них.

— Будь я на вашем месте, я бы уничтожил все это, — сказал Фарфрэ, начиная проявлять некоторый интерес к письмам. — Она жена другого, и, если секрет раскроется, это может ей повредить.

— Нет, я их не уничтожу, — пробормотал Хенчард и спрятал письма.

Он поднялся, и Люсетта больше не стала слушать.

Она вернулась в спальню в полуобморочном состоянии. Ей было так страшно, что у нее не хватило сил раздеться, и, присев на край кровати, она стала ждать. А что, если Хенчард откроет тайну, когда будет прощаться? Тревога ее дошла до крайних пределов. Признайся она во всем Дональду в начале их знакомства, он, может быть, посмотрел бы сквозь пальцы на ее прошлое и все-таки женился бы на ней, хотя тогда это и казалось ей маловероятным; но если он теперь услышит об этом от нее или от кого-нибудь другого, последствия будут роковые.

Хлопнула дверь; Люсетта услышала, как ее муж задвигает засов. Обойдя, по своему обыкновению, комнаты, Дональд не спеша поднялся наверх. Блеск в глазах Люсетты почти угас,

когда ее муж появился в дверях спальни. Несколько секунд она испытующе смотрела на него, но вот, к своей радости и удивлению, поняла, что муж глядит на нее с чуть иронической улыбкой человека, который только что с облегчением закончил скучный разговор. Тут она не выдержала и истерически разрыдалась.

Успокоив ее, Фарфрэ, естественно, заговорил о Хенчарде.

— Кто-кто, а этот человек — поистине нежеланный гость, — сказал Фарфрэ, — впрочем, мне кажется, что он немного свихнулся. Он прочел мне целую кучу писем, связанных с его прошлым, и мне волей-неволей пришлось уважить его и выслушать.

Этого было довольно. Значит, Хенчард ничего не выдал. Прощаясь с Фарфрэ и уже стоя на пороге, Хенчард сказал лишь:

— Ну... Очень благодарен за внимание. Может, когда-нибудь расскажу о ней поподробнее.

Догадавшись, что Хенчард не раскрыл ее тайны, Люсетта стала недоумевать, к чему он вообще затеял всю эту историю, — ведь в таких случаях мы склонны приписывать своему врагу последовательность, которой никогда не находим ни в себе самих, ни в своих друзьях, забывая, что у мстительных людей, так же как у великодушных, порой не хватает духу осуществить задуманное.

Все следующее утро Люсетта провела в постели, размышляя о том, как отразить грозящее нападение. Она уже подумывала, не решиться ли на смелый шаг, не сказать ли Дональду правду; но этот шаг все-таки казался ей слишком смелым — она боялась, как бы муж ее не подумал, как думали другие люди, что в прошлом своем была виновата она сама, а не ее злая судьба. Она решила действовать убеждением — не на Дональда, но на своего врага. Ей казалось, что у нее, как у женщины, нет другого оружия. Обдумав все это, она встала и принялась писать тому, кто держал ее в таком напряжении.

«Вчера вечером я случайно услышала Ваш разговор с моим мужем, — писала она, — и поняла, куда направлена Ваша мстительность. Мысль об этом убивает меня. Пожалейте несчастную женщину! Если бы Вы меня видели, Вы бы сжалились надо мной. Вы не представляете себе, как повлияла на меня тревога. Я буду на Кругу, когда Вы кончите работать, — перед самым закатом солнца. Пожалуйста, придите туда. Я не успокоюсь, пока не встречу с Вами и не услышу из Ваших уст, что Вы прекращаете эту жестокую игру».

Закончив письмо, она сказала себе: «Если слезы и мольбы могут помочь слабому бороться с сильным, то пусть они помогут мне теперь!»

И она оделась так, как никогда не одевалась. С тех пор, как

Люсетта стала взрослой, и до этого дня она всегда старалась подчеркнуть свои природные прелести и не была новичком в этом искусстве. Но на сей раз она этим пренебрегла и даже попыталась обезобразить себя. Она не спала всю ночь, и ее хорошенькое, хоть и немного увядшее личико казалось преждевременно постаревшим от глубокого горя. Из всех своих нарядов она выбрала — отчасти под влиянием душевной усталости, отчасти умышленно — свое самое недорогое, простенькое, давно заброшенное платье.

Не желая, чтобы ее узнали, она закрыла лицо вуалью и быстро вышла из дому. Солнце покоилось на холме, словно капля крови на веке, когда Люсетта, свернув на дорогу, ведущую к амфитеатру, торопливо вошла в него. Внутри царил сумрак и не было ни души.

Но робкие надежды, с которыми она ждала Хенчарда, не были обмануты. Хенчард показался наверху, потом стал спускаться, а Люсетта ждала его приближения, едва дыша. Но, сойдя на арену, он повел себя как-то странно: остановился в нескольких шагах от Люсетты и стоял, не двигаясь, — она не понимала почему.

Да и никто бы не понял. Дело в том, что, назначив свидание в этом месте и в этот час, Люсетта, сама того не ведая, подкрепила свою просьбу таким доводом, который сильнее всяких слов подействовал на этого человека, склонного поддаваться настроениям, унынию и суеверию. Ее одинокая фигура в центре огромного амфитеатра, необычная для нее простота наряда, выражение надежды и мольбы на ее лице — все это настолько оживило в его душе память о другой, обиженной им женщине, которая вот так же стояла здесь в давно минувшие дни, а теперь обрела вечный покой, что он дрогнул и устыдился того, что хотел покарать существо столь слабого пола. Когда он подошел к ней, ее игра была уже наполовину выиграна, прежде чем она успела вымолвить хоть слово.

Он шел сюда, настроившись на цинично-небрежный лад, но теперь его мрачная усмешка угасла, и он сказал ласково и мягко:

— Добрый вечер. Я пришел охотно, раз я вам нужен.

— Ах, благодарю вас, — промолвила она робко.

— Мне очень жаль, что у вас такой нездоровый вид, — нерешительно проговорил он, не скрывая своего сострадания.

Она покачала головой.

— Разве можете вы меня жалеть, — сказала она, — если вы сами сознательно довели меня до этого?

— Как! — оторопел Хенчард. — Неужели это я виноват в том, что вы чувствуете себя так плохо?

— Да, вы всему виной, — ответила Люсетта. — У меня нет других горестей. Если бы не ваши угрозы, счастье мое было бы прочным. О Майкл! Не губите меня! Неужели вам все еще

мало? Когда я приехала сюда, я была молодой женщиной; теперь я быстро превращаюсь в старуху. Ни мой муж, ни другие мужчины не будут больше интересоваться мною.

Хенчард был обезоружен. Он давно уже испытывал чувство презрительной жалости ко всем женщинам вообще, и теперь оно усилилось при виде этой второй умоляющей женщины, казавшейся двойником первой. Кроме того, бедная Люсетта была все так же беспечна и недалеконвидна, как и в те времена, когда эти ее недостатки послужили причиной всех ее тревожений; она назначила ему свидание в очень компрометирующей обстановке, не понимая, как это рискованно. Охотиться за такой мелкой дичью не стоило; Хенчарду стало стыдно, и, потеряв всякое желание унижить Люсетту, он перестал завидовать удаче Фарфрэ. Шотландец женился на деньгах, и только. Хенчарду уже не терпелось умыть руки и прекратить игру.

— Ну, чего же вы хотите от меня? — спросил он мягко. — Я исполню все очень охотно. Если я читал вслух письма, так это просто шутки ради, а сказать я ничего не сказал.

— Отдайте мне все мои письма и другие бумаги, в которых есть хоть намек на замужество или что-нибудь компрометирующее меня.

— Хорошо. Вы получите все до последнего клочка... Но скажу вам прямо, Люсетта, рано или поздно он неизбежно что-нибудь да узнает.

— Ах! — воскликнула она страстно. — Если и узнает, то к тому времени я уже сумею доказать ему, какая я верная и хорошая жена, и тогда он, быть может, простит мне все!

Хенчард молча смотрел на нее: даже теперь он почти завидовал Фарфрэ, завоевавшему такую любовь.

— Хм... будем надеяться, — проговорил он. — Во всяком случае, вы обязательно получите все письма. И тайна ваша будет сохранена. Клянусь!

— Как вы добры!.. Когда же я получу письма?

Подумав, он сказал, что пришлет их завтра утром.

— Не сомневайтесь во мне, — добавил он в заключение. — Я умею держать слово.

ГЛАВА XXXVI

Вернувшись со свидания, Люсетта увидела, что у ее подъезда под фонарем стоит человек. Когда она остановилась, перед тем как войти, человек подошел и заговорил с нею. Это был Джапп.

Он просит прощения за то, что осмелился обратиться к ней. Дело в том, что он слышал, как один сосед, торговец зерном, просил мистера Фарфрэ порекомендовать ему помощника; если так, он осмеливается предложить себя на эту должность. Он может представить солидные гарантии, о чем пишет в своем пись-

ме к мистеру Фарфрэ, но будет очень благодарен Люсетте, если она замолвит за него словечко мужу.

— Я об этом ничего не знаю,— холодно отозвалась Люсетта.

— Но вы лучше других, сударыня, можете подтвердить, что я заслуживаю доверия,— сказал Джапп.— Я несколько лет жил на Джерси и знал вас, правда, только в лицо.

— Возможно,— промолвила она.— Но я вас не знала.

— Я уверен, сударыня, что, если вы за меня попросите, я достигну того, к чему так стремлюсь,— настаивал Джапп.

Она решительно отказалась вмешиваться в это дело и, резко оборвав разговор, ушла — ей хотелось попасть домой, прежде чем муж хватится ее,— а Джапп остался стоять на тротуаре.

Он смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью, потом отправился к себе. Дома он сел у нетопленного камина и устремил глаза на чугунный таган и дрова, сложенные к завтрашнему утру, чтобы вскипятить воду в чайнике. Наверху кто-то двигался, и это привлекло его внимание; вскоре со второго этажа спустился Хенчард, который, видимо, что-то искал в сундуках у себя в спальне.

— Хочу попросить вас, Джапп,— начал Хенчард,— оказать мне одну услугу сейчас же... то есть сегодня вечером, если можно. Отнесите это к миссис Фарфрэ и попросите передать ей. Я бы сам отнес, да не хочу, чтобы меня там видели.

Он подал Джаппу запечатанный пакет в оберточной бумаге. Хенчард сдержал слово. Вернувшись домой, он, не медля ни минуты, перерыл свои немногочисленные вещи, и в пакете теперь лежало все, что ему когда-либо писала Люсетта,— до последнего клочка бумаги. Джапп равнодушно согласился отнести пакет.

— Ну, как у вас нынче дела? — спросил его Хенчард.— Есть надежда устроиться?

— К сожалению, нет,— ответил Джапп, но ни словом не обмолвился Хенчарду о своем письме к Фарфрэ.

— В Кэстербридже ничего не выйдет,— категорическим тоном проговорил Хенчард.— Надо вам попытать счастья где-нибудь подальше.

Он пожелал Джаппу спокойной ночи и вернулся на свою половину.

Джапп сидел, не двигаясь, пока внимание его не привлекла тень свечного нагара на стене; он перевел глаза на свечу и увидел, что на конце фитиля образовалась головка, похожая на горящий кочан цветной капусты. Потом взгляд его остановился на пакете Хенчарда. Он знал, что Хенчард, кажется, когда-то ухаживал за теперешней миссис Фарфрэ, и его смутные представления об этом привели его к следующему выводу: у Хенчарда хранился пакет, принадлежащий миссис Фарфрэ, и у него есть причины не возвращать пакет лично. Что в нем мо-

жет быть, в этом пакете? Джапп все думал и думал об этом и наконец, обиженный высокомерным, по его мнению, обращением Люсетты и желая узнать, нет ли какого уязвимого места в ее отношениях с Хенчардом, взял пакет и принялся его рассматривать. Хенчард был очень неискусен в обращении с пером и прочими письменными принадлежностями; он скрепил пакет сургучом, но не наложил на сургуч печати, так как ему и в голову не пришло, что от одного сургуча без печати пользы мало. Джапп был не так наивен: он приподнял перочинным ножом сургучную нащелку, заглянул в щелку и увидел, что под оберточной бумагой лежат письма; убедившись в этом, он снова соединил края обертки, размягчив сургуч на пламени свечи, и пошел вручать пакет Люсетте.

Путь его пролегал по берегу реки на окраине города. Подойдя к освещенному мосту, в конце Главной улицы, он увидел на нем тетку Каксом и Нэнс Мокридж.

— А мы собираемся на Навозную улицу: хотим заглянуть в «Питеров палец», прежде чем залезть в постель, — сказала миссис Каксом. — Там сейчас на скрипке играют и на тамбурине. О господи, что нам до людских пересудов?! Пойдем с нами, Джапп, — потеряешь всего минут пять.

Джапп почти всегда старался держаться подальше от этой компании, но сегодняшние впечатления настроили его на несколько более легкомысленный лад, и, не тратя лишних слов, он решил зайти на Навозную улицу.

Возвышенная часть Дарновера представляла собой своеобразное скопление сараев и ферм, но в этом приходе были и менее живописные уголки. К ним относилась Навозная улица, которая теперь почти целиком снесена.

Навозная улица была своего рода Адолламом для окрестных деревень. Здесь находили убежище все те, кто разорился, залез в долги или вообще попал в беду. Батраки и другие деревенские жители, которые не чуждались браконьерства, совмещая его с земледельческим трудом, и не чуждались разгула и пьянства, совмещая их с браконьерством, рано или поздно попадали на Навозную улицу. Деревенские механики, слишком ленивые, чтобы возиться с машинами, деревенские слуги, слишком бунтарски настроенные, чтобы служить, стекались на Навозную улицу добровольно или поневоле.

Улица с ее скученными, крытыми соломой домишками тянулась, прямая, как вертел, по сырой и туманной низине. Много горя, много подлости и немало страшного можно было увидеть здесь. Порок свободно входил в иные двери этого околотка, беспечность обитала здесь под крышей с покрывившейся трубой; позор — в некоторых окнах-фонарях; воровство (когда наступала нужда) — в крытых соломой глинобитных лачужках под ивами. Случались здесь даже убийства. В конце одного пе-

реулка стояли дома, перед которыми в старину можно было бы воздвигнуть алтарь всяким болезням. Вот как жилось на Навозной улице в те времена, когда Хенчард и Фарфрэ были мэрами.

А ведь этот пораженный плесенью лист на крепком, цветущем древе Кэстербриджа рос среди деревенских просторов, всего в ста ярдах от ряда благородных вязов, и отсюда открывался вид на вздымавшиеся за торфяным болотом, овечьи ветром возвышенности, на пшеничные нивы и чертоги великих мира сего. Ручей отделял болото от жилых домов, и, на первый взгляд, перейти через него было невозможно: казалось, будто к домам нет другого пути, кроме кружного — по большой дороге. Но под крыльцом у каждого домохозяина хранилась таинственная доска в девять дюймов шириной, и эта доска служила потайным мостиком.

Если вы были одним из таких укрывшихся здесь домохозяев и возвращались с работы ночью (тут рабочим временем была ночь), вы украдкой перебирались через болото, подходили к берегу ручья против того дома, куда направлялись, и начинали свистеть. Тогда на другом берегу появлялась чья-то тень с выделявшимся на фоне неба мостиком на плече; мостик опускали; вы переходили по нему, и чья-то рука помогала вам выбраться на берег вместе с фазанами и зайцами, добытыми в соседних поместьях. На следующее утро вы продавали добычу из-под полы, а еще через день вы стояли перед судьями, и взоры всех ваших соседей были сочувственно устремлены на вашу спину. Вы ненадолго исчезали; потом обнаруживалось, что вы опять тихо и мирно проживаете на Навозной улице.

Приезжего, решившего прогуляться по этой улице в сумерках, поражали две-три ее особенности. Во-первых, прерывистый грохот, раздававшийся на задворках харчевни, которая стояла на полпути к городу, в верхнем конце улицы: там был кегельбан. Второй особенностью был громкий свист, то и дело доносившийся из домов, — пронзительные звуки эти исходили почти из каждой открытой двери. Третьей особенностью были белые передники на грязных платьях женщин, стоящих у дверей. Белый передник — одеяние подозрительное в такой обстановке, где трудно поддерживать безукоризненную чистоту; к тому же с трудолюбием и чистоплотностью, олицетворением которых является белый передник, никак не вязались позы и походка носивших его женщин: эти особы обычно стояли, уперев руки в бока (что придавало им вид кувшина с двумя ручками), прислонившись плечом к дверному косяку, и голова каждой из этих честных женщин удивительно быстро поворачивалась, а ее честные глаза столь же быстро скашивались в ту сторону, откуда слышался хоть малейший шум, похожий на мужские шаги.

Однако среди такого обилия зла изредка встречалась и немущая добродетель, тоже нашедшая здесь приют. Под кровом

некоторых домов обитали чистые и непорочные души, чье присутствие тут было делом железных рук нужды, и только нужды. Семьи из разоренных деревень — представители некогда большой, а теперь почти исчезнувшей прослойки деревенского общества, так называемые «пожизненники», то есть пожизненные арендаторы земли, наследственные арендаторы, а также другие лица, чьи опорные столбы подломились по той или иной причине, вынудив их покинуть ту сельскую местность, где жили многие поколения их рода, — все эти люди стекались сюда, если только они не предпочитали валяться где-нибудь под живой изгородью у дороги.

На Навозной улице харчевня «Питеров палец» заменяла церковь.

Как и подобает таким заведениям, она стояла в центре квартала и примерно в такой же мере отличалась от «Трех моряков», как «Три моряка» от «Королевского герба». На первый взгляд харчевня казалась удивительно приличной. Вход в нее был всегда заперт, а крыльцо так чисто, как если бы почти никто не поднимался по его посыпанным песком ступеням. Но за углом тут была улочка, попросту говоря, щель, отделявшая «Питеров палец» от соседнего дома. И здесь в середине боковой стены была узкая дверь, засаленная и потерявшая всякие следы краски от трения бесчисленных рук и плеч. Она-то всегда и служила входом в харчевню.

Нередко можно было наблюдать, как прохожий, только что шагавший с рассеянным видом по Навозной улице, внезапно исчезал, так что наблюдателю оставалось только моргать глазами, подобно Эштону при исчезновении Ревенсвуда. Оказывалось, что этот рассеянный прохожий, ловко повернувшись, боком шмыгнул в щель, а из щели так же ловко проник в харчевню.

Посетители «Трех моряков» были важными персонами в сравнении с той компанией, которая собиралась здесь, хотя надо признать, что низший слой завсегдатаев «Моряков» кое-где соприкасался с верхушкой завсегдатаев «Питера». Сюда стекались бездомные, бедняки и вообще подонки общества. Хозяйка харчевни была добродетельная женщина, которую однажды несправедливо посадили в тюрьму за укрывательство. Она отбыла годичный срок и с тех пор всегда ходила с лицом мученицы, кроме тех случаев, когда встречала арестовавшего ее квартального, — ему она неизменно подмигивала.

В это-то заведение и пришел Джапп со своими знакомыми. Скамьи, на которые они уселись, были узкие и высокие, а спинки их привязаны шпагатом к крюкам на потолке, потому что здешние посетители иной раз вели себя буйно и без такой предосторожности скамьи легко могли бы опрокинуться. С заднего двора сюда доносился грохот шаров, сбивающих кегли; за подувалом камина висели трепалы для льна; а на скамьях сидели бок о бок бывшие браконьеры и бывшие лесники, иными

словами, люди, к которым некогда беспричинно придирались помещики и которые тогда дрались друг с другом при лунном свете, а теперь сходились здесь, потому что одни были свободны в промежутке между двумя сроками заключения, а другие, потеряв расположение хозяев, уволены со службы и, очутившись тут на одной и той же ступени, сидели, спокойно беседуя о минувших днях.

— А помнишь, Чарл, как ловко ты умел поймать форель сачком и выкинуть ее на берег, даже не замутив воды в речке? — говорил отставной лесник. — За этим делом я как-то раз тебя застукал, помнишь?

— Как не помнить! Но я в жизни не попадал в такую скверную историю, какая вышла из-за фазана в Йелберийском лесу. В тот день твоя жена соврала, когда присягала, — клянусь богом, соврала, — и спорить нечего.

— Как же это все получилось? — спросил Джапп.

— А вот как... Джо схватился со мной, и мы повалились на землю и подкатились к живой изгороди его садика. Заслышав шум, его хозяйка выбежала с деревянной лопаткой, а под деревьями было темно, так что она не могла рассмотреть, кто из нас наверху, а кто внизу. «Ты где, Джо? На нем или под ним?» — визжит. «Ох, клянусь богом, под ним!» — говорит он. Тут она принялась колотить меня лопаткой по башке, по спине, по ребрам, так что мы с Джо опять покатались. «Ты где теперь, милый Джо, внизу или наверху?» — визжит она опять... Черт побери, через нее-то меня и зацапали! А потом, когда мы пошли на суд, она присягнула, что фазана этого она сама выкормила, а ведь птица-то была вовсе не твоя, Джо; это была птица сквайра Брауна — вот чья она была, — и мы подцепили ее за час до того, когда шли по его лесу. Меня прямо зло взяло — такая несправедливость!.. Ну, ладно — что было, то прошло.

— Я мог бы тебя застукать гораздо раньше, — сказал лесник. — Я раз десять был всего в нескольких шагах от тебя, когда ты нес не одну несчастную птицу, вроде этой, а куда больше.

— Да... если люди и знают о наших делах, так не о самых важных, — заметила торговка пшеничной кашей, которая с недавних пор перебралась в этот околоток и сидела в харчевне вместе с прочими завсегдатаями.

В свое время она немало побродила по свету и в своих рассуждениях отличалась космополитической широтой взглядов. Это она спросила Джаппа, что за пакет у него под мышкой.

— А-а... это большой секрет, — ответил Джапп. — Любовная страсть. Подумать только, что женщина может так любить одного и так беспощадно ненавидеть другого.

— О ком вы говорите, сэр?

— Об одной важной особе в нашем городе. Я бы не прочь ее осрамить! Клянусь жизнью, занятно было бы почитать лю-

бовные письма этой гордячки, этой восковой куклы в шелках! Ведь это ее любовные письма лежат у меня в пакете.

— Любовные письма? Так почитай их нам, милый человек,— попросила тетка Каксом.— О господи, помнишь, Ричард, какие мы были дуры в молодости? Нанимали школьника, чтоб он писал за нас наши любовные письма, и, помнишь, совали ему пенни, чтобы он не разбалтывал, что он там написал, помнишь?

Между тем Джап уже просунул палец под сургучную наплежку, развернул пакет и, высыпав письма на стол, стал брать из кучки первые попавшиеся и читать их вслух одно за другим. И вот мало-помалу раскрылась тайна, которую Люсетта так страстно надеялась похоронить, хотя в письмах все было выражено только намеками и многое оставалось неясным.

— И это писала миссис Фарфрэ!— воскликнула Нэнс Мокридж.— Позор для нас, уважаемых женщин, что так пишет наша сестра. А теперь она связала себя с другим человеком!

— Тем лучше для нее,— сказала престарелая торговка пшеничной кашей.— Коли на то пошло, это я спасла ее от несчастного замужества, а она мне даже спасибо не сказала.

— А знаете, ведь это хороший повод для потехи с чучелами,— проговорила Нэнс.

— Правильно,— согласилась миссис Каксом, подумав.— Лучшего повода я не припомню, и жалко упускать такой случай. У нас в Кэстербридже этой потехи не устраивали уже лет десять, не меньше.

Тут послышался пронзительный свист, и хозяйка сказала человеку, которого звали Чарл:

— Это Джим идет. Сделай одолжение, пойди наведи для него мост.

Ничего не ответив, Чарл и его товарищ Джо встали и, взяв у хозяйки фонарь, вышли через заднюю дверь в сад; там они спустились по тропинке, круто обрывавшейся у берега ручья, о котором говорилось выше. Холодный, липкий ветер дул им в лицо с торфяного болота, простирившегося за ручьем. Взяв доску, лежавшую наготове, один из приятелей перекинул ее через ручей, и, как только дальний ее конец лег на противоположный берег, по ней застучали каблуки, и вот из мрака выступил рослый человек в ременных наколенниках, с двустволкой под мышкой и дичью на спине. Его спросили, повезло ли ему.

— Не особенно,— ответил он равнодушно.— У нас все спокойно?

Получив утвердительный ответ, он направился в харчевню, а приятели сняли доску и пошли вслед за ним. Но не успели они дойти до дому, как с болота послышался крик: «Э-эй!» — и они остановились.

Крик послышался снова. Они поставили фонарь в сарайчик и вернулись на берег.

— Э-эй... здесь можно пройти в Кэстербридж? — спросил кто-то с того берега.

— Можно, да не легко, — ответил Чарл. — Перед вами речка.

— Все равно... как-нибудь переправлюсь!.. — сказал человек, стоявший на болоте. — Я нынче столько прошел пешком, что с меня хватит.

— Так подождите минутку, — отозвался Чарл, решив, что этот человек не враг. — Джо, тащи доску и фонарь: кто-то заблудился. Надо бы вам держаться большой дороги, приятель, а не лезть напролом.

— Что говорить... я теперь и сам понимаю. Но я завидел огонек в этой стороне и говорю себе: «Ну, значит, тут прямая дорога, это уж как пить дать».

Доску опустили, и снова из мрака выступил человек, на этот раз незнакомый. Это был мужчина средних лет, с преждевременно поседевшими волосами и бакенбардами, с широким и добрым лицом. Он уверенно перешел по доске, видимо не найдя ничего странного в такой переправе. Поблагодарив Чарла и Джо, он пошел вслед за ними по саду.

— Что это за дом? — спросил он, когда они подошли к двери.

— Харчевня.

— Так, так... Может, я здесь устроюсь переночевать. Идемте-ка со мной — промочите себе горло на мой счет за то, что помогли мне переправиться.

Они пошли вместе с ним в харчевню и там, при свете, обнаружили, что он более важная персона, чем это могло показаться по его манере говорить. Он был одет богато, но как-то нелепо — пальто, подбитое мехом, котиковая шапка, в которой ему, вероятно, было жарко днем, так как весна уже наступила, хотя ночи были еще холодные. В руке он нес небольшой сундучок из красного дерева, обитый медными полосами и перевязанный ремнем.

Заглянув в комнату через кухонную дверь и увидев, какая там сидит компания, он, по-видимому, удивился и тут же отказался от мысли о ночевке в таком доме, но, не придав всему этому большого значения, спросил несколько стаканов самого лучшего спиртного, уплатил за них, не выходя из коридора, и направился к двери, ведущей на улицу. На двери был засов, и пока хозяйка отодвигала его, незнакомец услышал разговор о потехе с чучелами, продолжавшийся в общей комнате.

— Что это за потеха с чучелами? — спросил он.

— Ах, сэръ! — ответила хозяйка, покачивая длинными серьгами, с неодобрительным и скромным видом. — Это так просто, глупый старинный обычай... в наших местах это затевают, если жена у мужа... ну, скажем, не только ему женой была. Но я, как почтенная домохозяйка, этого не поощряю.

— Значит, они собираются устроить это на днях? А зрелище, должно быть, любопытное, а?

— Видите ли, сэр...— начала хозяйка с жеманной улыбкой и вдруг, отбросив всякое притворство, проговорила, поглядывая на него искоса:— До того смешно—ничего смешнее на свете нет! Но это стоит денег.

— Ага! Помнится, я где-то слышал про что-то в этом роде. Я собираюсь приехать в Кэстербридж через две-три недели и не прочь полюбоваться на это представление. Подождите минутку.— Он повернулся, вошел в общую комнату и сказал:— Слушайте, добрые люди, мне хочется посмотреть, как вы соблюдаете старинный обычай, о котором здесь говорилось, и я не против участия в расходах... вот, возьмите.

Он бросил на стол соверен, вернулся к стоявшей у двери хозяйке и, расспросив у нее о дороге в город, ушел.

— Это у него не последние деньги,— сказал Чарл, когда соверен подобрали и передали его на хранение хозяйке.— Черт побери! Надо нам было выудить у него побольше, пока он еще был здесь.

— Нет, нет!— возразила хозяйка.— У меня, слава богу, приличное заведение! И я не допущу никаких нечестных поступков.

— Итак, можно считать, что почин сделан и мы в скором времени устроим потеху,— сказал Джапш.

— Обязательно!— подхватила Нэнс.— Как посмеешься от души, так и на сердце теплей становится—точно хлебнул горячительного, правда истинная!

Джапш собрал письма, и так как время было уже довольно позднее, решил не относить их миссис Фарфрэ до завтрашнего дня. Он вернулся домой, запечатал пакет и наутро отнес его по адресу. Час спустя содержимое пакета было обращено в пепел Люсеттой, и бедняжка чуть не упала на колени, так она была благодарна судьбе за то, что не осталось никаких доказательств ее давнего неудачного романа с Хенчардом. Хотя она в те времена остушилась скорее по неосторожности, чем умышленно, но все-таки, если бы об этом романе стало известно, он мог бы сыграть роковую роль в ее отношениях с мужем.

ГЛАВА XXXVII

Так обстояли дела, когда течение обыденной жизни Кэстербриджа было прервано одним событием, и столь важным, что оно оказало влияние даже на самые низшие слои городского населения, одновременно побудив подонки местного общества усердно заняться подготовкой к предстоящей потешной процессии. Это было одно из тех волнующих событий, которые будоражат провинциальный город, оставляя неизгладимый след в его летописях, подобно тому, как жаркое лето оставляет в

древесном стволе неизгладимое кольцо, по которому можно узнать, в каком году было это лето.

Один из членов королевского дома намеревался быть в городе проездом на запад, куда он следовал, чтобы присутствовать при освящении какого-то гигантского сооружения. Он изъявил согласие остановиться в городе на полчаса и принять адрес от кэстербриджского городского совета, который, в качестве представительного органа местного земледельческого населения, хотел этим путем выразить благодарность августейшей особе за важные услуги, оказанные ею науке и экономике сельского хозяйства деятельным внедрением научных методов в земледелие.

Кэстербриджцы не видели в своем городе членов королевского дома со времен короля Георга III, да и в этот последний раз они видели короля лишь при свечах, в течение тех нескольких минут, когда он остановился ночью в «Королевском гербе» менять лошадей. Поэтому горожане решили отметить это столь необычное событие церемонией с колокольным звоном. Правда, остановка на полчаса не давала возможности развернуться, но все же, тщательно продумав порядок церемонии, можно было сделать многое, особенно в случае хорошей погоды.

Один художник, мастер орнаментальной каллиграфии, написал на пергаменте адрес и разрисовал его золотом и разными красками, самыми лучшими, какие только нашлись у живописца вывесок. Во вторник, накануне знаменательного дня, собрался городской совет и приступил к обсуждению всех деталей церемонии. Дверь в зал заседаний была открыта, и во время совещания за нею раздались тяжелые шаги человека, поднимающегося по лестнице. Затем шаги послышались в коридоре, и в зал вошел Хенчард; он был все в том же изношенном, потертом костюме, том самом, который носил в былые дни, когда он сам заседал здесь среди прочих членов совета.

— Мне думается,— начал он, подойдя к столу и положив руку на зеленое сукно,— что я должен вместе с вами участвовать в приеме нашего августейшего гостя. Надеюсь, мне можно будет пойти со всеми вами?

Члены совета смущенно переглянулись, а Гроуэр чуть не откусил кончик гусиного пера, так усердно он грыз его во время наступившего молчания. Фарфрэ, молодой мэр, по должности занимавший председательское кресло, интуитивно угадал настроение собрания и, в качестве его официального выразителя, почувствовал себя обязанным высказать общее мнение, хотя охотно передоверил бы эту обязанность кому-нибудь другому.

— Вряд ли это возможно, мистер Хенчард,— сказал он.— Ведь совет есть совет, а вы уже не входите в его состав, следовательно, ваше присутствие на встрече было бы неправомерным. Если включить вас, почему не включить других?

— У меня есть особое основание требовать, чтобы меня допустили к участию в церемонии.

Фарфрэ оглядел собравшихся.

— Мне кажется, я выразил мнение совета, — сказал он.

— Правильно! — поддержали его доктор Бат, адвокат Лонг, олдермен Таббер и другие.

— Значит, официально мне не разрешается принимать в ней участие?

— К сожалению, нет; в сущности, об этом даже не может быть и речи. Но вы, конечно, получите полную возможность увидеть все, что будет происходить, — так же, как и все прочие зрители.

Хенчард ничего не ответил на это здравое рассуждение и, повернувшись на каблуках, ушел.

Его желание участвовать во встрече было просто мимолетной блажью, но под влиянием противодействия оно превратилось в твердое решение.

— Кто-кто, а уж я буду приветствовать его королевское высочество! — говорил он всем и каждому. — Я не позволю ни Фарфрэ, ни любому другому из этого жалкого сброда отпихнуть меня на задний план! Вот увидите.

Знаменательное утро выдалось погожим; солнце било в глаза тем, кто, встав рано, смотрел в окно на восток, и все были уверены (так как все умели предсказывать погоду), что дождя не будет. Вскоре в город начали стекаться толпы людей из загородных усадеб, деревень, далеких лесов и малонаселенных горных округов; причем мужчины из этих округов пришли в смазанных салом сапогах, а женщины — в капорах, — и все они стремились увидеть церемонию, а если не удастся, то хотя бы постоять где-нибудь поблизости. В городе не было рабочего, который не надел бы чистой рубашки. Соломон Лонгуэйс, Кристофер Кони и другие члены этого братства выразили свое отношение к событию тем, что перенесли время ежедневного распития пинты с одиннадцати на половину одиннадцатого, после чего им несколько дней было трудно вернуться к своему привычному часу.

В этот день Хенчард решил не работать. Он с утра подкрепился стаканчиком рома и, проходя по улице, встретил Элизабет-Джейн, которой не видел целую неделю.

— Хорошо, что мой двадцатилетний зарок окончился до сегодняшнего дня, — сказал он ей, — а то бы у меня не хватило духу проделать то, что я задумал.

— А что вы задумали? — спросила она, встревожившись.

— Я собираюсь приветствовать нашего царственного гостя. Она ничего не поняла.

— Пойдемте, вместе посмотрим на церемонию, — предложила она.

— Стану я смотреть! У меня есть дела поважнее. Поди сама посмотри. На это стоит посмотреть!

Так и не разгадав загадки, девушка ушла с тяжелым сердцем. Незадолго до начала церемонии она снова увидела отчи-

ма. Она думала, что он пошел в «Три моряка», но нет,— он проталкивался сквозь веселую толпу, направляясь к магазину торговца мануфактурой Вулфри. Элизабет решила ждать его снаружи в толпе.

Через несколько минут Хенчард вышел; к изумлению Элизабет-Джейн, он нацепил себе на грудь яркую розетку и, к еще большему ее изумлению, держал в руке британский национальный флаг, изготовленный довольно примитивным способом: небольшой флажок, из тех, которыми сегодня изобилует город, был прикреплен к сосновой палке, вероятно когда-то служившей роликом для штуки коленкора. Остановившись на пороге, Хенчард свернул свой флаг, сунул его подмышку и пошел по улице.

Но вот все рослые люди в толпе повернули головы, а все малорослые встали на цыпочки. Разнесся слух, что королевский кортеж приближается. В те годы железная дорога уже протянула свою руку к Кэстербриджу, но еще не дошла до него — от города ее отделяло несколько миль, и это расстояние, так же как и весь остальной путь, гостям надо было проехать по старинке, на лошадях. Люди ждали,— местная аристократия в своих каретах, народ — на ногах,— и, не отрывая глаз, смотрели, под звон колоколов и гул голосов, на уходившую вдаль большую Лондонскую дорогу.

Элизабет-Джейн глядела на все это издали. Для дам были устроены трибуны, на которых они сидя могли любоваться церемонией, и Люсетта, как и подобало супруге мэра, только что заняла переднее место. На дороге перед ней стоял Хенчард. Люсетта была такая веселая и хорошенькая, что он, видимо поддавшись минутной слабости, пожелал обратить на себя ее внимание. Но он был мало привлекателен для женщин, особенно для такой, которая придавала столь большое значение всему внешнему. Правда, теперь он был только поденщик и не имел возможности одеваться так, как одевался раньше, но он даже не потрудился одеться получше. Все горожане, от мэра до прачки, принарядились в обновки — каждый в соответствии с своими средствами,— но упрямый Хенчард не сменил своего истрепанного, поношенного костюма, сшитого много лет назад.

И вот что, к сожалению, произошло: поглядывая по сторонам, Люсетта скользнула глазами по Хенчарду, но взгляд их не задержался на нем, как это часто бывает в подобных случаях с глазами нарядно одетых женщин. Весь ее вид ясно говорил, что она не намерена больше узнавать Хенчарда при посторонних.

Зато она не уставала смотреть на Дональда, а он стоял в нескольких ярдах от нее, оживленно разговаривая с друзьями, и на шее у него висела положенная ему по должности золотая цепь из крупных прямоугольных звеньев, такая же, как цепь единорога на королевском гербе. Малейшее чувство,

отражавшееся на его лице во время разговора, отражалось и на ее лице и губах, которые двигались в лад с движениями его губ. В этот день она в душе играла скорее его роль, чем свою собственную, и не интересовалась никем, кроме Фарфрэ.

Но вот дозорный, стоявший на дальнем повороте большой дороги, а именно на втором из двух мостов, о которых говорилось выше, подал знак, и члены совета, облаченные в мантии, проследовали от городской ратуши к арке, воздвигнутой у черты города. Экипажи с августейшим гостем и его свитой подъехали в облаке пыли, затем составила процессия и медленно двинулась к городской ратуше.

К этому месту обратились все взоры. Перед королевским экипажем образовалось пустое пространство в несколько квадратных ярдов, и сюда шагнул человек, которого не успели остановить. Это был Хенчард. Он развернул свой флаг, снял цилиндр и направился к замедлявшему ход экипажу, размахивая флагом, который был у него в левой руке, и приветливо протянув правую августейшей особе.

У всех дам перехватило дыхание, и они хором зашебетали: «Ах, смотрите, смотрите-ка!» — а Люсетта чуть не лишилась чувств. Элизабет-Джейн, вытянув шею, из-за плеч передних зрителей увидела, что происходит, и пришла в ужас, но интерес, возбужденный в ней необычайным зрелищем, взял верх над страхом.

Фарфрэ, с авторитетностью главы города, немедленно принял меры. Он схватил Хенчарда за плечи, оттащил его назад и резко приказал ему убираться прочь. Хенчард впился в него глазами, и Фарфрэ, несмотря на охватившее его волнение и раздражение, заметил в этих глазах огонь ярости. Несколько секунд Хенчард упирался, но вдруг, под влиянием какого-то непонятого побуждения, сдался и отошел. Фарфрэ бросил взгляд на дамские трибуны и увидел, что его Кальпурния побледнела.

— Смотрите... да ведь это бывший хозяин вашего мужа! — сказала миссис Блоубоди, дама, приехавшая из окрестностей города и сидевшая рядом с Люсеттой.

— Какой там хозяин! — возразила жена Дональда, сразу вспыхнув.

— Разве этот человек — знакомый мистера Фарфрэ? — спросила миссис Бат, жена доктора, которая лишь недавно, после своего замужества, переехала в Кэстербридж.

— Он работает у моего мужа, — ответила Люсетта.

— Вот как... и только? А мне говорили, будто ваш муж устроился в Кэстербридже благодаря ему. Чего только не выдумывают люди!

— Именно выдумывают. Все было совсем не так. У Дональда такие способности, что он мог бы устроиться где угодно, не нуждаясь ни в чьей помощи! Ему было бы ничуть не хуже, если бы никакого Хенчарда и на свете не было.

Она говорила это, не зная всех обстоятельств, связанных с приездом Дональда в Кэстербридж, кроме того, ей казалось, что в этот час ее торжества все обращаются с ней как-то пренебрежительно. Инцидент занял всего несколько секунд, но августейший гость все-таки не мог не обратить на него внимания, хотя с привычным тактом сделал вид, будто не заметил ничего особенного. Он вышел из экипажа, мэр выступил вперед, адрес прочли; гость ответил на него, потом сказал несколько слов Дональду Фарфрэ и пожал руку Люсетте как жене мэра. Церемония продолжалась лишь несколько минут, и экипажи, громыхая, подобно колесницам фараона, снова тронулись в путь по Зерновой улице и направились к набережью по Бедмутской дороге.

В толпе стояли Кони, Базфорд и Лонгуэйс.

— Он теперь уже не тот, что прежде, когда пел песни в «Трех моряках», — сказал Кони. — Удивительно, как это он сумел столь быстро окрутить такую шикарную дамочку.

— Что правда, то правда. Но смотрите, до чего люди привыкли судить по одежке! Вон там стоит девушка куда красивее этой, однако на нее никто и внимания-то не обращает, потому что она родня этому гордецу Хенчарду.

— Я готова тебе в ножки поклониться, Баз, за эти твои слова, — подхватила Нэнс Мокридж. — Люблю поглядеть, как с этаких елочных свечек соскребают позолоту. Сама я никак не гожусь в злодейки, а то бы не прочь пожертвовать малую толику серебра, чтобы хоть одним глазком посмотреть, как с этой особы будут сбивать спесь... Да, может, и доведется, — заметила она многозначительно.

— Женщине такие неблагоприятные страсти вовсе не к лицу, — изрек Лонгуэйс.

Нэнс промолчала, но все поняли, о чем она говорила. Чтение писем Люсетты в харчевне «Питеров палец» уже породило сплетню, которая ползла, как насыщенный миазмами туман, по Навозной улице и дальше, по окраинным улочкам Кэстербриджа.

Кучка бездельников, знакомых друг с другом, вскоре распалась на две путем процесса естественного отбора, и завсегдатаи «Питерова пальца» направились в сторону Навозной улицы, где многие из них жили, а Кони, Базфорд, Лонгуэйс и их приятели остались.

— Вы, конечно, знаете, какая тут каша заваривается? — проговорил Базфорд с таинственным видом.

Кони посмотрел на него.

— Не потеха ли с чучелами?

Базфорд кивнул.

— Сомневаюсь, чтоб они отважились на такое дело, — сказал Лонгуэйс. — Но если они это и вправду затеяли, значит, умеют держать язык за зубами.

— Во всяком случае, я слышал, что две недели назад они об этом подумывали.

— Будь я в этом уверен, я бы на них донес,— сказал Лонгуэйс с жаром.— Очень уж это грубая шутка, и она может вызвать беспорядки в городе. Мы знаем, что шотландец — неплохой человек, да и хозяйка его ведет себя неплохо с тех пор, как приехала сюда, а если раньше у нее и было не все ладно, так это их дело, а не наше.

Кони задумался. Фарфрэ все еще любили в городе, но надо признать, что, разбогатев и сделавшись мэром, поглощенным делами и честолюбивыми замыслами, он потерял в глазах бедняков долю того чудесного обаяния, которым, по их мнению, был одарен беспечный, неимуций юноша, певший песни, как поет птица на дереве. Поэтому если они и стремились оградить его от неприятностей, то уже не так горячо, как стремились бы раньше.

— Слушай, Кристофер, давай-ка мы с тобой вместе расследуем эту штуку,— предложил Лонгуэйс,— и, если узнаем, что тут и впрямь дело неладно, пошлем кому следует письмо и посоветуем ему держаться подальше.

На том и порешили; приятели стали расходиться, и Базфорд сказал Кони:

— Пойдем, старый мой друг, двинемся дальше. Больше тут смотреть нечего.

Велико было бы изумление этих благожелательных людей, знай они, как близок был к осуществлению грандиозный шутковской заговор.

— Да, нынче вечером,— сказал Джапп завсегдатаям «Питера» на углу Навозной улицы.— Вот как славно закончится встреча члена королевского дома, и щелчок покажется им тем более, что уж слишком высоко они вознеслись сегодня.

Для него это была не просто шутка, но возмездие.

ГЛАВА XXXVIII

Церемония была короткая, слишком короткая, по мнению Лусетты, которой почти целиком овладело опьяняющее желание вращаться в высшем свете; и все же она торжествовала. Ее пальцы еще ощущали пожатие августейшей руки, и хотя подслушанный ею разговор о том, что ее мужа, быть может, возведут в пэры, был почти праздною болтовней, но мысль об этом не казалась ей несбыточной мечтою: и не такие еще чудеса случались со столь прекрасными и обаятельными людьми, как ее шотландец.

После своей стычки с мэром Хенчард отошел и стал за дамской трибуной; здесь он стоял, рассеянно уставившись на отворот своего сюртука, который сжимала рука Фарфрэ. Хенчард прижал свою руку к этому месту, словно силясь понять, как

мог он вынести столь тяжкое оскорбление от человека, к которому некогда относился с таким страстным великодушием. Так он стоял в каком-то оцепенении, но вот до него донесся разговор Люсетты с другими дамами, и он ясно услышал, как она отрекалась от него, как отрицала, что он помог Дональду и что он не всегда был простым поденщиком.

Он пошел домой и в крытом проезде, ведущем на площадь Бычьего столба, встретил Джаппа.

— Выходит, вы получили щелчок по носу, — сказал Джапп.

— Ну так что же, что получил? — резко отозвался Хенчард.

— И я тоже получил в свое время, значит, мы с вами теперь на одной доске. — И он коротко рассказал о своей попытке добиться посредничества Люсетты.

Хенчард выслушал рассказ, но не очень внимательно. Его собственные отношения с Фарфрэ и Люсеттой занимали его гораздо больше, чем их отношения с другими людьми.

Он снова пустился в путь, и мысли одна за другой теснились в его голове: «Когда-то она умоляла меня, а теперь язык ее не хочет признавать меня, а глаза не хотят меня видеть!.. А он... какой у него был злой вид. Он оттащил меня назад, словно быка, который навалился на изгородь... Я уступил, как ягненок, поняв, что там нашего спора решить нельзя. Хорошо ему сыпать соль на свежую рану!.. Но он за это заплатится, а она об этом пожалеет. Дело надо решать дракой — один на один, — и тогда увидим, хватит ли дерзости у щенка сразиться с мужчиной!»

И разоренный торговец, видимо решившись на какое-то отчаянное дело, наскоро пообедал и без дальнейших размышлений пошел искать Фарфрэ. Его оскорбляли как соперника, его третировали как поденщика, а сегодня — верх унижения — его схватили за шиворот, как бродягу, на глазах у всего рода.

Толпы разошлись. Если бы не арки из зелени, все еще стоявшие там, где их воздвигли, казалось бы, что Кэстербридж снова зажил обыденной жизнью. Хенчард дошел по Зерновой улице до дома Фарфрэ, постучал в дверь и попросил передать, что хотел бы поговорить с хозяином в зернохранилище, как только тому будет удобно прийти. После этого он завернул за угол и прошел на задний двор.

Здесь никого не было, на что Хенчард и рассчитывал; рабочим и возчикам дали полдня отдыха по случаю утреннего события, но возчики должны были прийти сюда позже, на короткое время, чтобы задать корму лошадям и настлать свежей соломы в стойла. Хенчард подошел к крыльцу зернохранилища и хотел было уже подняться на него, как вдруг проговорил громким голосом:

— Я сильнее его.

Он повернулся и пошел к сараю, где выбрал из нескольких

валявшихся веревок самую короткую, привязал один конец ее к гвоздю, другой взял в правую руку и, прижав левую руку к боку, повернулся и сделал полный оборот,— так ему удалось крепко притянуть левую руку к телу. Затем он поднялся по лестнице на верхний этаж зернохранилища.

Здесь было пусто, лежало только несколько мешков; в дальнем конце помещения была дверь, и, как мы уже говорили, она открывалась в пространство под стрелой крана, с которой свешивалась цепь для подъема мешков. Хенчард открыл эту дверь и, став на пороге, выглянул наружу. Отсюда до земли было футов тридцать — сорок; здесь он стоял с Фарфрэ, когда Элизабет-Джейн видела, как он поднял руку, и с такой тревогой спрашивала себя, что означало это движение.

Он отошел на несколько шагов в глубь помещения и стал ждать. С этой высоты он видел крыши соседних домов, пышные кроны каштанов, уже покрытых нежной молодой листвою, поникшие ветви лип, сад Фарфрэ и ведущую в него зеленую калитку. Немного погодя,— Хенчард не мог бы сказать точно, сколько прошло времени,— зеленая калитка отворилась, и появился Фарфрэ. Он был в дорожном костюме. Косые лучи закатного солнца упали на его голову и лицо, когда он вышел на свет из тени, отброшенной стеною, и залили их алым пламенем. Хенчард смотрел на Фарфрэ, стиснув зубы, и его прямой нос и квадратный подбородок казались сейчас как-то особенно резко очерченными.

Фарфрэ шел, засунув руку в карман, и напевал песню, слова которой, видимо, были для него важнее мелодии. Это были слова той песни, какую он пел несколько лет назад в «Трех моряках», когда был бедным молодым человеком, который пустился по свету искать счастья и сам не знает, в какую сторону ему идти. Он пел:

Возьми мою руку, верный друг,
И дай мне руку твою.

Ничто так не волновало Хенчарда, как старинная песня. Он отпрянул назад.

— Нет, не могу! — вырвалось у него.— И зачем только этот чертов болван сейчас запел!

Наконец Фарфрэ умолк, и Хенчард выглянул из двери.

— Поднимитесь сюда! — крикнул он.

— А, это вы! — откликнулся Фарфрэ.— Я вас не заметил. Что случилось?

Минуту спустя Хенчард услышал его шаги на нижнем марше лестницы. Он услышал, как Фарфрэ взойшел на второй этаж, поднялся по лестнице и, взойдя на третий, начал подниматься на четвертый. Наконец голова его высунулась из люка позади Хенчарда.

— Что вы тут делаете в такой час? — спросил он, подойдя к Хенчарду.— Почему не отдыхаете, как остальные рабочие?

Он говорил строгим тоном, желая показать, что не забыл неприятного инцидента, происшедшего утром.

Хенчард промолчал; отойдя от двери, он опустил крышку люка и прихлопнул ее ногой, чтобы она плотно вошла в раму, потом повернулся к молодому человеку, который с удивлением заметил, что левая рука Хенчарда притянута веревкой к боку.

— Ну,— сказал Хенчард спокойно,— теперь мы стоим лицом к лицу, мужчина с мужчиной. Твои деньги и твоя прекрасная супруга уже не поднимают тебя надо мной, как раньше, а моя бедность не давит меня.

— Что все это значит? — спросил Фарфрэ просто.

— Подожди минутку, сынок. Не худо бы тебе подумать дважды, прежде чем доводить до крайности того, кому нечего терять. Я терпел твою конкуренцию, которая меня разорила, и твою надменность, которая меня унижала, но твоей грубости, которая меня опозорила, я не стерплю!

Фарфрэ немного рассердился.

— Не к чему вам было соваться туда,— сказал он.

— Вам можно, а мне нельзя! Как ты смеешь, молокосос, выскочка, говорить человеку моих лет, что ему не к чему было соваться туда! — Он так рассвирепел, что на лбу его вздулась жила.

— Вы оскорбили члена королевского дома, Хенчард, и я, как главное должностное лицо, обязан был вас остановить.

— К черту члена королевского дома! — крикнул Хенчард.— И коли на то пошло, я такой же верноподданный, как и ты, не хуже!

— Я сюда пришел не для того, чтобы спорить. Подождите, пока остынете, и вы будете смотреть на все это так, как смотрю я.

— Может, тебе первому придется остынуть,— сказал Хенчард мрачно.— Теперь слушай. Мы оба сейчас стоим на этом чердаке, в четырех стенах, и здесь мы закончим стычку, которую ты затеял утром. Вот дверь — сорок футов над землей. Один из нас вышвырнет другого в эту дверь, а победитель останется внутри. Потом он, если захочет, спустится вниз, начнет бить тревогу и скажет, что другой свалился нечаянно, или же скажет правду,— это уж его дело. Как более сильный, я привязал себе одну руку, чтобы не иметь преимущества перед тобой. Понял? Ну, держись!

У Фарфрэ не было выбора, оставалось только схватиться с Хенчардом, потому что тот сразу же бросился на него. В этой борьбе каждый из них старался повалить другого на спину, а Хенчард, кроме того, старался вытолкнуть противника в дверь.

Вначале Хенчард схватил свободной правой рукой Фарфрэ за ворот — слева — и крепко вцепился в него, а Фарфрэ схватил за ворот Хенчарда левой рукой. Правой же он старался достать левую руку Хенчарда, но не мог — так ловко уверты-

вался Хенчард, глядя в лицо своему белокурому стройному противнику, опустившему глаза.

Хенчард выставил вперед ногу, Фарфрэ обвинил ее своей ногой, и, таким образом, борьба пока что мало чем отличалась от обычной в этих местах борьбы. Несколько минут они стояли в этой позе, изгибаясь и раскачиваясь, как деревья в бурю, и сохраняя полное молчание. Слышно было только, как они дышат. Наконец Фарфрэ попытался схватить Хенчарда за шиворот с другой стороны, но тот упираясь, вывертываясь изо всех сил, и этот этап борьбы окончился тем, что Хенчард, надавив на Фарфрэ мускулистой рукой, заставил его упасть на колени. Однако движения его были стеснены, и ему не удалось помешать Фарфрэ снова подняться на ноги, после чего борьба началась сызнова.

Быстро повернувшись, Хенчард толкнул Дональда, и тот очутился в опасной близости к пропасти; осознав свое положение, шотландец впервые крепко уцепился за противника, а рассвирепевший «князь тьмы» (Хенчард сейчас был так страшен, что ему подошло бы такое прозвище) никакими силами не мог поднять Фарфрэ или оторвать его от себя. Наконец это ему удалось, но они уже далеко отодвинулись от роковой двери. Отрывая от себя Фарфрэ, Хенчард перевернул его вниз головой. Если бы левая рука у Хенчарда была свободна, Дональду тогда же пришел бы конец. Но шотландец снова встал на ноги и так скрутил руку Хенчарда, что у того лицо исказилось от боли. Хенчард, не выпуская Фарфрэ, немедленно нанес ему сокрушительный удар левым коленом и, пользуясь своим преимуществом, толкнул его к двери, так что светловолосая голова Фарфрэ перекинулась через порог, а рука повисла снаружи вдоль стены.

— Ну, вот! — проговорил Хенчард, задыхаясь. — Вот чем кончилось то, что ты начал утром. Твоя жизнь в моих руках.

— Так берите ее, берите! — пробормотал Фарфрэ. — Вы давно уже хотели этого!

Хенчард молча посмотрел на него сверху вниз, и глаза их встретились.

— Ах, Фарфрэ!.. Неправда! — проговорил Хенчард с горечью. — Бог свидетель, ни один человек так не любил другого, как я любил тебя когда-то... А теперь... хотя я пришел сюда, чтобы убить тебя, но духу у меня не хватает тебе повредить! Иди доноси на меня... поступай как хочешь... мне все равно.

Он отошел в дальний конец помещения и в порыве раскаяния бросился на мешки в углу. Фарфрэ молча посмотрел на него, потом подошел к люку и спустился во двор. Хенчард хотел было окликнуть его, но голос отказался ему служить; и вскоре шаги Дональда замерли.

Хенчард испил до дна чашу стыда и раскаяния. На него нахлынули воспоминания о первом знакомстве с Фарфрэ, о том

времени, когда своеобразное сочетание романтизма и практичности в характере молодого человека так покорило его сердце, что Фарфрэ мог играть на нем, как на музыкальном инструменте. Хенчард был до того подавлен, что не мог встать, и лежал на мешках, свернувшись клубком, в позе, необычной для мужчины, особенно такого, как он. В этой позе было что-то по-женски слабое, и то, что принял ее такой мужественный и суровый человек, производило трагическое впечатление. Он слышал, как внизу говорят люди, как открывается дверь каретного сарая и запрягают лошадь, но не обратил на это внимания.

Здесь он лежал, пока прозрачный полумрак, сгустившись, не перешел в непроницаемую тьму, а проем двери, открывавшейся в пространство, не превратился в продолговатый четырехугольник серого света — единственное из всего окружающего, что можно было видеть. Наконец Хенчард поднялся, устало стряхнул пыль с одежды, ощупью добрался до люка, ощупью спустился по лестнице и очутился во дворе.

— Когда-то он ставил меня высоко, — пробормотал он. — Теперь он вечно будет ненавидеть меня и презирать!

Его охватило непреодолимое желание снова увидеть Фарфрэ, сейчас же, и отчаянной мольбой попытаться достичь почти невозможного — добиться того, чтобы Фарфрэ простил ему это безумное нападение. Но, направившись к подъезду его дома, он вспомнил о том, что происходило во дворе и на что он не обращал внимания, пока лежал наверху в каком-то оцепенении. Он вспомнил, что Фарфрэ пошел в конюшню и стал запрягать лошадь в двуколку, а в это время Уиттл принес ему письмо, и тогда Фарфрэ сказал, что не поедет в Бедмут, как собирался, а поедет в Уэзерберн, куда его неожиданно вызвали, причем по дороге туда заедет в Меллсток, так как это всего лишь одна-две мили крюку.

Очевидно, он вышел из дому во двор, уже готовый тронуться в путь, и, конечно, не предполагая, что на него могут напасть, а теперь уехал (но не туда, куда собирался), не сказав никому ни слова о том, что произошло между ними.

Итак, сейчас не имело смысла искать Фарфрэ в доме; следовало пойти туда гораздо позже.

Оставалось только ждать его возвращения, хотя ожидание было почти пыткой для беспокойной и кающейся души Хенчарда. Он бродил по улицам и окраинам города, останавливаясь то здесь, то там, пока не дошел до каменного моста, о котором мы уже говорили и где он теперь привык стоять. Здесь Хенчард пробыл довольно долго, слушая журчанье воды, стекающей с плотины, и глядя на огни Кэстербриджа, мерцающие невдалеке.

Так он стоял, прислонившись к парапету, пока его не вывел из рассеянности страшный шум, доносившийся со стороны го-

рода. То была какофония ритмических звуков, которые отдавались от стен домов и усугубляли ее какофонией отзвуков. Не испытывая ни малейшего любопытства, Хенчард сначала подумал, что это гремит городской оркестр, решивший закончить знаменательный день импровизированным вечерним концертом, но такое предположение опровергалось некоторыми странными особенностями реверберации. Хенчард не мог себе это объяснить, да особенно и не старался — он так остро чувствовал свое нравственное падение, что был неспособен думать ни о чем другом, и снова прислонился к парапету.

ГЛАВА XXXIX

Спустившись во двор и еле переводя дух после своей стычки с Хенчардом, Фарфрэ остановился внизу, чтобы прийти в себя. Выходя из дому, он намеревался собственноручно запрячь лошадь в двуколку (так как все рабочие были отпущены) и съездить в одну деревню, расположенную по дороге в Бедмут. Теперь, несмотря на жестокую схватку с Хенчардом, он все-таки решил ехать, чтобы сначала успокоиться и уже потом вернуться домой и встретиться с Люсеттой. Он хотел обдумать, как ему вести себя дальше, — дело было серьезное.

Фарфрэ уже собирался тронуться в путь, как вдруг явился Уиттл с запиской, адрес на которой был написан с ошибками и помечен «Срочно». Развернув записку, Фарфрэ с удивлением увидел, что она без подписи. В записке его в нескольких словах просили приехать вечером в Уэзербери, чтобы переговорить об одной сделке, которую Фарфрэ собирался там заключить. Фарфрэ не понял, почему его присутствие требуется так срочно, но сегодня он все равно хотел уехать из дому и потому решил, что надо исполнить анонимную просьбу; к тому же у него было дело в Меллстоке, и он мог заехать туда по дороге. Поэтому он сказал Уиттлу — и Хенчард услышал это, — что поедет не туда, куда собирался, после чего тронулся в путь. Фарфрэ не приказал рабочему доложить кому-либо в доме, куда именно он уехал, а тому, конечно, не пришлось в голову сделать это по своему почину.

Надо сказать, что анонимное письмо было плодом благожелательных, но неуклюжих стараний Лонгуэйса и других рабочих Фарфрэ удалить его на этот вечер из города, чтобы шутовская процессия, если только ее действительно затеют, не достигла цели. Сообщив обо всем открыто, они навлекли бы на себя месть тех из своих товарищей, которые любили старинные шумные потехи такого рода, и поэтому решили, что лучше послать письмо.

Бедную Люсетту они не пожелали оградить, полагая вместе с большинством, что в сплетне есть доля правды, а значит — пусть перетерпит.

Было около восьми часов, и Люсетта сидела в гостиной одна. Прошло уже с полчаса после наступления вечерних сумерек, но она не зажигала свечей: когда Фарфрэ не было дома, она обычно ждала его при свете камина, а если было не очень холодно, слегка приоткрывала окно, чтобы как можно раньше услышать стук колес его экипажа. Она сидела, откинувшись на спинку кресла, в таком жизнерадостном настроении, какого у нее еще ни разу не было со дня свадьбы. Сегодня все прошло необыкновенно удачно, а беспокойство, вызванное наглою выходкой Хенчарда, исчезло так же, как исчез сам Хенчард после резкого отпора, полученного от ее мужа. Документальные доказательства ее нелепой страсти к Хенчарду и последствий этой страсти были уничтожены, и Люсетта решила, что теперь ей действительно больше нечего бояться.

Ее размышления на эти и другие темы были прерваны отдаленным шумом, нараставшим с каждой минутой. Шум не очень удивил ее, так как всю вторую половину дня, с того времени как проехал королевский кортеж, большинство горожан развлекалось. Но вскоре ее внимание привлек голос служанки из соседнего дома: девушка высунулась из окна второго этажа и переговаривалась через улицу с другой служанкой, расположившейся еще выше.

— Куда они сейчас пошли? — с любопытством спросила первая.

— Пока не могу сказать точно, — ответила вторая. — Ничего не видно... труба пивоварни загорается. Ага... теперь вижу... Ну и дела, ну и дела!

— А что такое, что? — спросила первая, снова загораясь любопытством.

— Все-таки пошли по Зерновой улице! Сидят спиной друг к другу!

— Как?.. Их двое?.. Две фигуры?

— Да. Две куклы на осле, спина к спине и друг с другом за локти связаны. Она лицом к голове сидит, а он лицом к хвосту.

— Это что ж, какого-нибудь известного человека изобразили?

— Не знаю... возможно. На мужчине синий сюртук и казимировые гетры; у него черные бакенбарды и красное лицо. Чучело набито чем-то и в маске.

Шум стал усиливаться, потом немного затих.

— Эх... а мне так и не удастся посмотреть! — с досадой воскликнула первая служанка.

— Свернули в переулок... вот и все, — сказала та, что занимала выгодную позицию на чердаке. — Ага, теперь мне их хорошо видно сзади!

— А женщина на кого похожа? Опиши, какая она из себя, и я тебе сейчас же скажу, не та ли это, про кого я думаю.



— Да... как сказать... одета она точь-в-точь, как *наша* была одета в тот вечер, помнишь, когда актеры давали представление в городской ратуше и она сидела в первом ряду.

Люсетта вскочила, и почти в тот же миг дверь в гостиную быстро и бесшумно открылась. Свет камина упал на Элизабет-Джейн.

— Вот зашла навестить вас,— проговорила она, еле переводя дух.— Простите... не постучалась! Я заметила, что ставни и окно у вас не закрыты...

Не дожидаясь ответа, Элизабет-Джейн быстро подошла к окну и прикрыла одну створку ставней. Люсетта подбежала к ней.

— Оставьте... тсс! — властно проговорила она глухим голосом и, схватив Элизабет-Джейн за руку, подняла палец.

Они говорили так тихо, что не упустили ни одного слова из разговора служанок.

— Шея у нее открыта,— продолжала вторая,— волосы причесаны с напуском на виски и уши, а на затылке гребень... платье шелковое, коричневатокрасное, и туфли в тон, а чулки белые.

Элизабет-Джейн опять попыталась закрыть окно, но Люсетта силой удержала ее руку.

— Это я! — прошептала она, бледная как смерть.— Процессия... скандал... чучела изображают меня и его!

По лицу Элизабет-Джейн было ясно, что она уже все знает.

— Не надо смотреть, закроем ставни! — уговаривала Элизабет-Джейн подругу, заметив, что по мере приближения шума и хохота лицо Люсетты, и так уже застывшее и обезумевшее, становится все более неподвижным и безумным.— Не надо смотреть!

— Все равно! — пронзительно крикнула Люсетта.— Он-то ведь увидит это, правда? Дональд увидит! Он сейчас вернется домой... и это разобьет ему сердце... он разлюбит меня... и, ох, это меня убьет... убьет!

Элизабет-Джейн теряла голову.

— Ах, неужели нельзя это прекратить! — крикнула она.— Неужели никто не остановит... никто?!

Она выпустила руки Люсетты и побежала к двери. А Люсетта, отчаянно повторяя: «Хочу видеть!» — бросилась к застекленной двери на балкон, распахнула ее и вышла наружу. Элизабет кинулась за ней и обняла ее за талию, стараясь увести в комнату. Люсетта впиалась глазами в шестиве бесноватых, которое теперь быстро приближалось. Оба чучела были так ярко освещены зловещим светом многочисленных фонарей, что нельзя было не узнать в них жертв шумной потехи.

— Уйдем, уйдем,— умоляла Элизабет-Джейн,— и дайте мне закрыть окно!

— Это я... это я... вылитая... даже зонтик мой... зеленый зонтик! — выкрикнула Люсетта и, хохоча, как безумная, шагнула в комнату. Секунду она стояла недвижно, потом тяжело рухнула на пол.

Чуть ли не в это же мгновение дикая музыка шутовской процессии оборвалась. Раскаты издевательского хохота постепенно замерли, и топот заглох, как шум внезапно утихшего ветра. Элизабет лишь смутно сознавала все это; позвонив в колокольчик, она склонилась над Люсеттой, которая билась на ковре в припадке эпилепсии. Элизабет позвонила еще и еще раз, но тщетно,— очевидно, все слуги выбежали из дому, чтобы лучше видеть дьявольский шабаш на улице.

Наконец вернулся слуга Фарфрэ, который все это время стоял, разинув рот, на крыльце, а за ним пришла кухарка. Ставни, наскоро прикрытые Элизабет, теперь закрыли наглухо, свет зажгли, Люсетту унесли в ее комнату, а слугу послали за доктором. Элизабет принялась раздевать Люсетту, и та пришла в себя, но, вспомнив все, опять потеряла сознание.

Доктор явился раньше, чем можно было ожидать, потому что он, как и прочие, стоял у своего подъезда, недоумевая, что значит этот гомон. Осмотрев бедняжку, он сказал в ответ на немую мольбу Элизабет:

— Случай серьезный.

— Она в обмороке, — промолвила Элизабет.

— Да. Но в ее положении обморок опасен. Немедленно пошлите за мистером Фарфрэ. Где он?

— Он уехал за город, сэр, — ответила горничная, — куда-то в деревню по Бедмутской дороге. Он должен скоро вернуться.

— Все равно, за ним надо послать. Он, может быть, не спешит домой.

Доктор снова подошел к постели больной. За Фарфрэ послали слугу, и вскоре со двора донесся затихающий топот лошадиных копыт.

Тем временем мистер Бенджамин Гроуэр, видный горожанин, о котором мы уже говорили, сидя у себя дома на Главной улице, услышал звон и стук ножей-дровоколов, каминных щипцов, тамбуринов, скрипок, серпентов, бараньих рогов и других старинных музыкальных инструментов и, надев шляпу, вышел узнать, чем все это вызвано. Он подошел к углу улицы, недалеко от дома Фарфрэ, и вскоре догадался, в чем дело: родившись в Кэстербридже, он не раз был свидетелем грубых проделок такого рода. Прежде всего он отправился на поиски квартальных; в городе их было всего два, и это были дряхлые старички, которых он наконец нашел спрятавшимися где-то в переулке и, казалось, еще больше подряхлевшими от небеспричинного страха, как бы с ними не обошлись круто, если их заметят.

— Ну что мы, два старых гриба, можем сделать против этой оравы? Куда уж нам! — оправдывался Стабберд в ответ на строгий выговор мистера Гроуэра. — Это все равно что подстрекать их к расправе над нами, что приведет виновников к смерти, а мы никак не согласны послужить причиной смерти своего ближнего, ни в коем случае не согласны!

— Так позовите себе кого-нибудь на помощь! Идемте, я сам пойду с вами. Посмотрим, как подействуют несколько слов лица, облеченного властью. Ну, живо! Дубинки при вас?

— От нас все равно толку мало, сэр, и нам не хотелось, чтобы народ увидел в нас стражей закона, вот мы и сунули свои полицейские дубинки в водосточную трубу.

— Достаньте их поскорей, и пойдемте, бога ради!.. А вот и мистер Блоубоди — нам повезло.

Из трех городских судей Блоубоди был третьим.

— Это что за беспорядки? — проговорил Блоубоди. — Имела их знаете, а?

— Нет, они не знают. А теперь, — приказал Гроуэр одному из квартальных, — ты иди с мистером Блоубоди вокруг, по Старой аллее, потом обратно по улице, а я пойду со Стаббердом

прямо вперед. Таким образом мы возьмем их в клещи. Только запомните их имена, не падайте на них и не пытайтесь им помешать.

Так они разошлись в разные стороны. Но когда Стабберд и мистер Гроуэр вышли на Зерновую улицу, они с удивлением обнаружили, что процессии и след простыл. Миновав дом Фарфрэ, они дошли до конца улицы. Мигало пламя фонарей, шелестели деревья в аллее, два-три бездельника слонялись по улице, засунув руки в карманы. Все было, как всегда.

— Вы не видели, куда делась толпа, которая тут безобразничала? — спросил повелительным тоном Гроуэр, обращаясь к какому-то субъекту в бумазейной куртке и ременных наколенниках, курившему коротенькую трубочку.

— Простите, сэр... как вы сказали? — вежливо переспросил субъект, который был не кем иным, как Чарлом из «Питерова пальца».

Мистер Гроуэр повторил вопрос.

Чарл мотнул головой, изобразив на своем лице младенческое неведение.

— Нет. Мы ничего не видели, правда, Джо? А ведь ты пришел сюда раньше меня.

Джозеф отговорился столь же полным незнанием.

— Хм... странно, — заметил мистер Гроуэр. — А... вот идет уважаемый человек, я его знаю в лицо. Вы не видели, — обратился он к шедшему им навстречу Джаппу, — вы не видели шайку буянов, производивших дьявольский шум?.. Они тут устроили потеху с чучелами или что-то в этом роде.

— Нет... я ничего подобного не заметил, сэр, — ответил Джапп с таким видом, словно он услышал чрезвычайно странную новость. — Впрочем, я сегодня не ходил далеко, так что, может быть...

— Но это происходило здесь, на этом самом месте, — сказал судья.

— А знаете что, сэр, теперь я припоминаю, что сегодня вечером деревья в аллее как-то особенно поэтично шелестели, сэр, громче обычного, так, может, это вы их шелест приняли за шум? — предположил Джапп, шевельнув рукой в кармане пальто (он ловко поддерживал кухонные щипцы и коровий рог, засунутые под жилет).

— Да нет же, нет... что, вы меня дураком считаете, что ли? Квартальный, пойдем в ту сторону. Они, наверное, свернули на параллельную улицу.

Однако ни на параллельной улице, ни на главной нарушителей порядка не было, да и Блоубоди со вторым квартальным, подошедшие к этому времени, сообщили, что они тоже никого не видели. Чучела, осел, фонари, оркестр — все исчезло, как свита Кома.

— Ну, попытаемся сделать еще кое-что,— сказал мистер Гроуэр.— Сзовите человек шесть на помощь, и пойдете все вместе на Навозную улицу, в «Питеров палец». Скорее всего там мы нападём на след этих безобразников.

Престарелая пара блюстителей порядка поспешила подыскать себе помощников, и весь отряд зашагал в сторону прославленной улицы. Не так-то просто было добраться туда ночью: ни фонари, ни какие-либо другие источники света не озаряли пути, если не считать тусклых полосок света, что кое-где просачивались наружу сквозь оконную занавеску или щель двери, которую нельзя было закрыть, потому что в доме дымил камин. Наконец отряд смело вошел в харчевню через парадную дверь,— хоть она и была заперта, но открылась после того, как блюстители порядка долго стучали в нее с силой, пропорциональной значению их миссии.

В большой комнате, на скамьях, как всегда привязанных к потолку для устойчивости, сидели завсегда, попивая и покуривая, со спокойствием монументов. Хозяйка приветливо встретила незваных гостей и с невинным видом проговорила:

— Добрый вечер, джентльмены; места много. Надеюсь, ничего худого не случилось?

Вошедшие оглянулись кругом.

— Слушай,— обратился Стабберд к одному из сидящих,— не тебя ли я видел на Зерновой улице?.. Ведь это с тобой говорил мистер Гроуэр?

Человек — это был Чарл — рассеянно покачал головой.

— Я сижу тут уже целый час. Правда, Нэнс? — обратился он к своей соседке, которая задумчиво потягивала эль.

— Истинная правда, сидел. Я пришла сюда спокойненько распить свою полпинту перед ужином, а ты уже сидел здесь, и все прочие тоже.

Другой квартальный, стоявший перед часами, заметил, как на их стекле отразилось быстрое движение, сделанное хозяйкой. Мгновенно обернувшись, он увидел, что она закрывает дверцу железной печки.

— С этой печкой, кажется, что-то неладно, сударыня! — заметил он, подойдя к печке, и, открыв дверцу, вынул тамбурин.

— А, это... — объяснила хозяйка. — Это мы храним тут на случай, если гости вздумают скромненько потанцевать. Видите ли, тамбурин от сырости портится, вот я и кладу его туда, в сухое место.

Квартальный кивнул с понимающим видом, хотя ничего не понял. Ничего нельзя было выпытать у этого немого и безобидного сборища. Через несколько минут следователи вышли и вместе со своими оставшимися за дверью помощниками направились дальше.

ГЛАВА XL

Задолго до этого Хенчард, устав от своих размышлений на мосту, отправился в город. Когда он подошел к концу улицы, перед его глазами внезапно предстала процессия, свернувшая сюда из ближайшего переулка. Фонари, звуки рожков, толпы народа ошеломили его; он увидел чучела верхом на осле и понял, что все это значит.

Процессия перешла через улицу, свернула на другую и скрылась из виду. Хенчард отошел в сторону и глубоко задумался; потом отправился домой по темной прибрежной тропинке. Но дома он сидеть не мог и пошел на квартиру к падчерице, где ему сказали, что Элизабет-Джейн ушла к миссис Фарфрэ. Смутно предчувствия недоброе, он, как зачарованный, направился туда, надеясь встретить Элизабет-Джейн, так как гуляки к тому времени уже исчезли. Но он не встретил ее и как можно осторожней дернул за ручку звонка у подъезда Фарфрэ; и тут ему во всех подробностях рассказали, что случилось, добавив, что доктор категорически потребовал вернуть домой Фарфрэ и навстречу ему уже послали человека по дороге в Бедмут.

— Да ведь он поехал в Меллсток и Уэзербери! — воскликнул Хенчард, невыразимо огорченный. — Совсе не в Бедмут.

Но Хенчард, на свою беду, уже потерял доброе имя. Ему не поверили, приняв его слова за пустую болтовню. Он знал, что жизнь Люсетты зависит от возвращения ее мужа (она приходила в ужас при мысли о том, что он не успеет узнать истинную правду о ее прежних отношениях с Хенчардом), между тем в Уэзербери не послали никого. Хенчард, очень встревоженный и кающийся, решил сам отправиться на поиски Фарфрэ.

Быстро дойдя до окраины города, он побежал по восточной дороге через Дарноверское болото, поднялся на пригорок, затем на другой, да так и бежал в сумраке весенней ночи, пока не добрался до третьего холма, расположенного милях в трех от города, и не спустился с него. Здесь, в долине Иелбери, у подножия холма, он остановился и прислушался. Вначале он слышал только биение своего сердца да шум ветерка в еловых и лиственных чащах Иелберийского леса, покрывавшего возвышенности справа и слева; но вскоре послышался стук легких колес, обтачивающих свои ободы о камни кое-где вымощенной заново дороги, и вдали показались два огонька.

Хенчард понял, что с холма спускается двуколка Фарфрэ, узнал ее по характерному дребезжанию, так как раньше она принадлежала ему и шотландец купил ее на распродаже его имущества. Хенчард пошел ей навстречу, и она поравнялась с ним у конца спуска, где Фарфрэ придержал лошадь.

В этом месте от большой дороги ответвлялась дорога на Меллсток. Хенчард сообразил, что, если Фарфрэ не передумает

и заедет в эту деревню, он вернется домой часа на два позже. Очевидно, он не передумал: огоньки качнулись в сторону Кукушкиной тропы, проселочной дороги на Меллсток. Передний фонарь двуколки Фарфрэ внезапно осветил лицо Хенчарда. Фарфрэ узнал своего давешнего противника.

— Фарфрэ... мистер Фарфрэ! — еле переводя дух, крикнул Хенчард, подняв руку.

Фарфрэ остановил лошадь только после того, как она уже сделала несколько шагов по проселку. Он натянул вожжи и через плечо проговорил: «Что вам нужно?» — таким тоном, каким говорят с явным врагом.

— Сейчас же вернитесь в Кэстербридж! — сказал Хенчард. — Дома у вас неблагополучно... вам необходимо вернуться. Я всю дорогу бежал сюда, чтобы предупредить вас.

Фарфрэ молчал, и от его молчания у Хенчарда упало сердце. Как он раньше не подумал о том, что неизбежно должно было произойти? Четыре часа назад он заставил Фарфрэ сразиться с ним не на жизнь, а на смерть и вот теперь стоит во мраке ночи, в поздний час, на безлюдной дороге и уговаривает его ехать в ту сторону, где у него, Хенчарда, могут быть сообщники, а не в ту, куда хочет ехать сам Дональд и где ему будет легче защититься от нападения. Хенчард почти ощущал, как эти мысли мелькают в голове Фарфрэ.

— Я должен ехать в Меллсток, — холодно проговорил Фарфрэ, отпустив вожжи.

— Но это важнее, чем ваши дела в Меллстоке, — умолял его Хенчард. — Это... вашей жене плохо! Она заболела. Я расскажу вам все подробно по дороге.

Болнение Хенчарда и его сбивчивая речь усилили подозрение Фарфрэ, решившего, что все это хитрость и Хенчард пытается заманить его в ближний лес, где можно будет проще довершить то, чего он не сделал давеча по каким-то особым соображениям или просто потому, что не хватило решимости. Он хлестнул лошадь.

— Я знаю, что вы думаете, — крикнул Хенчард и побежал за ним в полном отчаянии от того, что бывший друг считает его ответым негодяем. — Но я не такой, как вы полагаете! — крикнул он хрипло. — Верьте мне, Фарфрэ, я примчался сюда только ради вас и вашей жены. Она в опасности. Больше я ничего не знаю, но вас вызывают домой. Ваш слуга поехал другой дорогой по недоразумению. О Фарфрэ! Не подозревайте меня... Я погибший человек, но я все еще предан вам!

Однако Фарфрэ уже не доверял ему. Он знал, что его жена беременна, но несколько часов назад он оставил ее совершенно здоровой, и ему легче было поверить в преступные замыслы Хенчарда, чем его словам. В свое время он слышал из уст Хенчарда жестокие насмешки; может быть, он насмехается и теперь. Фарфрэ погнал лошадь и вскоре поднялся на плато, лежавшее между Меллстоком и местом его встречи с Хенчар-

дом, уверенный, что, если Хенчард так упорно гонится за ним, значит, он и вправду замыслил недоброе.

Двуколка и седок уменьшались на глазах у Хенчарда, отчетливо выделяясь на фоне неба; его старания предостеречь Фарфрэ оказались тщетными. На этот раз в небесах не радовались раскаянию грешника. Хенчард проклинал себя, как проклинал бы не слишком щепетильный Иов, как проклинали себя страстный человек, когда теряет самоуважение — свою последнюю душевую опору в гнетущей бедности. К этому он пришел, пройдя через полосу такого душевного мрака, с каким не мог сравниться мрак ближнего леса. Вскоре он зашагал обратно, по той же дороге, по какой прибежал сюда. Он боялся, как бы Фарфрэ, увидев его на обратном пути, не задержался еще дольше.

Придя в Кэстербридж, Хенчард снова направился к дому Фарфрэ разузнать, что там происходит. Как только открылась дверь, люди с встревоженными лицами появились в передней, на лестнице и на площадке, и все они, обманутые в своих ожиданиях, горестно говорили: «Ах, это не он!» Посланный за Фарфрэ человек давно вернулся, поняв, что поехал не туда, куда нужно, и все надеялись только на Хенчарда.

— Но разве вы не встретили его? — спросил доктор.

— Встретил... да толку от этого мало! — ответил Хенчард, рухнув на стул у входа. — Он приедет домой не раньше, чем часа через два.

— Хм, — проговорил доктор и снова поднялся наверх.

— Как она? — спросил Хенчард у Элизабет, стоявшей среди других.

— В большой опасности, отец. Она так жаждет увидеться с мужем, что все время мечется в ужасном волнении. Бедная женщина... Боюсь, что они убили ее!

Хенчард несколько секунд смотрел на девушку, охваченную глубоким состраданием, точно вдруг увидел ее в новом свете, потом, не говоря ни слова, вышел и отправился в свой уединенный домик. Вот к чему приводит соперничество мужчин, думал он. Смерть заберет себе устрицу, а Фарфрэ и ему достанется только раковина. Но Элизабет-Джейн... В окутавшем его мраке она казалась ему сейчас светлой точкой. Его поразило выражение ее лица, когда она отвечала ему с лестницы. В нем было так много любви, а он теперь всем сердцем желал, чтобы его любило доброе и чистое существо. Она была ему не родная, однако он впервые стал смутно мечтать о том, чтобы полюбить ее, как родную... если только она сама не перестанет любить его.

Джапп собирался лечь спать, когда Хенчард вернулся домой. Увидев входящего Хенчарда, Джапп сказал:

— Неладно это вышло с болезнью миссис Фарфрэ.

— Да, — коротко отрезал Хенчард, не подозревавший о со-

участии Джаппа в ночной арлекинаде; подняв глаза, он заметил только, что Джапп встревожен.

— Кто-то заходил к вам,— продолжал Джапп, когда Хенчард уже поднимался наверх, решив запереться у себя в комнате.— Должно быть, путешественник, капитан дальнего плавания или кто-то в этом роде.

— Вот как! Кто бы это мог быть?

— Вероятно, богатый человек... седой, с довольно широким лицом; он не назвал себя и не просил ничего передать.

— Ну и бог с ним,— отозвался Хенчард и запер дверь.

Как и предвидел Хенчард, поездка в Меллсток задержала возвращение Фарфрэ почти на два часа. Не считая других веских причин, его присутствие было необходимо и потому, что он один был вправе вызвать из Бедмута второго врача, и, когда Фарфрэ наконец вернулся, он чуть не сошел с ума, узнав, что превратно понял намерения Хенчарда.

Несмотря на позднее время, в Бедмут послали человека; ночь прошла, и перед рассветом приехал второй врач. Люсетта стала гораздо спокойнее после приезда Дональда; он почти не отходил от ее постели, и, когда, сразу после его приезда, она невнятным шепотом попыталась открыть ему тайну, которая ее так тяготила, он остановил ее лепет, потому что говорить ей было вредно, и уверил ее, что она успеет рассказать ему все потом.

Он еще ничего не знал о процессии с чучелами. Вскоре по городу распространился слух о том, что у миссис Фарфрэ был выкидыш и что она в опасности, но зачинщики издевательства, с тревогой догадываясь, чем все это было вызвано, хранили полное молчание насчет своей разнузданной забавы, а окружающие Люсетты не решались усугубить отчаяние ее мужа, рассказав ему обо всем.

Что именно и как много поведала наконец Дональду его жена о своих прежних сложных отношениях с Хенчардом, когда супруги остались с глазу на глаз в уединении этой печальной ночи, сказать нельзя. Она открыла ему правду о своей близости с Хенчардом — это было ясно из слов самого Фарфрэ. Но говорила ли она о своем поведении в дальнейшем; о том, как она переехала в Кэстербридж с целью выйти замуж за Хенчарда; о том, как отказала ему под предлогом, что имеет основания его бояться (хотя на самом деле главной причиной отказа послужило ее непостоянство — любовь с первого взгляда к другому мужчине); о том, как она пыталась примирить свою совесть с выходом замуж за второго возлюбленного, хотя была до некоторой степени связана с первым,— говорила ли она обо всем этом, осталось тайной одного Фарфрэ.

В эту ночь, кроме ночного сторожа, который каждый час оповещал Кэстербридж о времени и погоде, по Зерновой улице

столь же часто проходил другой человек. То был Хенчард, который, попытавшись заснуть, сразу понял, что это ему не удастся, и принялся бродить взад и вперед по улице, время от времени заходя к Фарфрэ справиться о здоровье больной. Он заходил не только ради Люсетты, но и ради Фарфрэ, а главным образом ради Элизабет-Джейн. Все, что его привязывало к жизни, отпало одно за другим, и теперь все его интересы сосредоточились на падчерице, чье присутствие еще недавно было ему ненавистно. Всякий раз, как он приходил справляться о здоровье Люсетты, видеть Элизабет было для него утешением.

В последний раз он пришел около четырех часов, когда свет был уже стальной, предутренный. Над болотом Дарновера утренняя звезда таяла в сиянии зарождающегося дня, на улице слетались воробьи, куры начали кудахтать в птичниках. Не дойдя нескольких ярдов до дома Фарфрэ, Хенчард увидел, как дверь тихонько отворилась и служанка, подняв руку, сняла с дверного молотка тряпку, которой он был обмотан, чтобы приглушать стук. Хенчард перешел на другую сторону, вспугнув с соломы на мостовой двух-трех воробьев, — в этот ранний час они почти не опасались людей.

— Зачем это вы? — спросил Хенчард служанку.

Она обернулась, немного удивленная его появлением, и помедлила с ответом. Узнав Хенчарда, она сказала:

— Теперь можно стучать сколько угодно, — она уже больше ничего не услышит.

ГЛАВА ХЛІ

Хенчард вернулся домой. Утро уже наступило; он зажег огонь в камине и с каким-то отсутствующим выражением лица сел подле него. Вскоре послышались приближающиеся к дому легкие шаги; кто-то вошел в коридор и тихонько постучал в дверь. Лицо у Хенчарда посветлело, когда он догадался, что это Элизабет. Она вошла в комнату бледная и печальная.

— Вы слышали? — спросила она. — Миссис Фарфрэ!.. Она... умерла. Да, да... около часа назад!

— Я знаю, — отозвался Хенчард. — Я только что оттуда. Какая ты добрая, Элизабет, что пришла мне сказать. Ты, наверное, совсем выбилась из сил после бессонной ночи. Побудь у меня здесь сегодня. Пойди полежи в той комнате: когда завтрак будет готов, я тебя позову.

Девушка согласилась, чтобы сделать ему удовольствие, да ей и самой это было приятно — ведь она была так одинока, что его неожиданная ласковость вызвала в ней удивление и благодарность; она легла в соседней комнате, — там Хенчард постлал для нее постель на скамье. Она слышала, как он ходит, приго-

товляя завтрак, но думала все время о Люсетте, которая умерла, когда жизнь ее была так полна, так согрета радостной надеждой на материнство, и эта смерть ужасала девушку своей неожиданностью. Вскоре она уснула.

Тем временем в соседней комнате ее отчим уже приготовил завтрак, но, увидев, что она спит, не стал ее будить; он ждал, глядя на огонь, и с такой хозяйственной заботливостью не давал чайнику остыть, как если бы Элизабет-Джейн сделала ему честь, оставшись у него. Сказать правду, он очень изменился по отношению к ней; он уже начал мечтать о будущем, озаренном ее дочерней любовью, как будто в ней одной было его счастье.

От этих размышлений его оторвал новый стук в дверь; Хенчард встал и открыл ее, недовольный тем, что кто-то пришел к нему сейчас, когда ему никого не хотелось видеть. На пороге стоял дородный мужчина, во внешности которого и манере держать себя было что-то чуждое, непривычное для кэстербриджца; человек, побывавший в заморских странах, сказал бы про него, что он приехал из какой-нибудь колонии. Это был тот самый незнакомец, который расспрашивал о дороге в харчевне «Питеров палец». Хенчард поздоровался с ним кивком головы и устремил на него вопросительный взгляд.

— Доброе утро, доброе утро,— сказал незнакомец с жизнерадостной приветливостью.— Вы мистер Хенчард?

— Он самый.

— Так, значит, я застал вас дома... прекрасно. Дела надо делать утром — вот мое мнение. Можно мне сказать вам несколько слов?

— Пожалуйста,— ответил Хенчард, приглашая его войти.

— Вы меня не помните? — спросил гость, усаживаясь.

Хенчард равнодушно посмотрел на него и покачал головой.

— Да... может быть, и не помните. Моя фамилия Ньюсон.

Лицо у Хенчарда помертвело, глаза погасли. Пришелец не заметил этого.

— Эту фамилию я хорошо знаю,— проговорил наконец Хенчард, глядя в пол.

— Не сомневаюсь. Дело в том, что я вас разыскивал целых две недели. Я высадился в Хевенпуле и проезжал через Кэстербридж по пути в Фалмут, но, когда я прибыл туда, мне сказали, что вы уже несколько лет живете в Кэстербридже. Я повернул вспять и, долго ли, коротко ли, приехал сюда на почтовых всего десять минут назад. Мне сказали: «Он живет около мельницы». Вот я и пришел сюда. Теперь... насчет той сделки, что мы с вами заключили лет двадцать назад,— я по этому поводу и зашел. Странная это вышла история. Я тогда был моложе, чем теперь, и, пожалуй, чем меньше об этом говорить, тем лучше.

— Странная, говорите? Хуже, чем странная. Я даже не могу сказать, что я тот самый человек, с которым вы тогда

столкнулись. Я был не в своем уме, а ум человека — это он сам.

— Мы были молоды и легкомысленны, — сказал Ньюсон. — Однако я пришел не затем, чтобы спорить, а чтобы поправить дело. Бедная Сьюзен... необычная судьба ей выпала на долю.

— Да.

— Она была добрая, простая женщина. Не было у нее, как говорится, ни острого ума, ни особой сметки... а жаль.

— Это верно.

— Как вам, вероятно, известно, она была так наивна, что считала себя в какой-то мере связанной этой продажей. И если ей пришлось жить во грехе, то сама она в этом была так же не виновата, как святой в облаках.

— Знаю, знаю. Я в этом тогда же убедился, — сказал Хенчард, по-прежнему глядя в сторону. — Это-то меня и терзает. Если бы она правильно понимала жизнь, она никогда бы не рассталась со мной. Никогда! Но можно ли было ожидать, что она поймет? Разве она получила образование? Никакого. Умела подписать свое имя — вот и все.

— Да, а когда дело было уже сделано, у меня не хватило духу разъяснить ей все это, — сказал бывший матрос. — Я думал — и, пожалуй, не без оснований, — что со мной она будет счастливее. Она действительно была довольно счастлива, и я решил не выводить ее из заблуждения до самой ее смерти. Ваша девочка умерла; Сьюзен родила другую, и все шло хорошо... Но вот настал час, — помните мои слова, такой час обязательно когда-нибудь да настает, — настал час (это было вскоре после того, как мы все трое вернулись из Америки), когда кто-то, кому она рассказала свою историю, объяснил ей, что мои притязания на нее недействительны, и посмеялся над нею за то, что она признает мои права. После этого она уже не могла чувствовать себя счастливой со мной. Она все чахла и сохла, вздыхала и тосковала. Она сказала, что мы должны расстаться, и тут встал вопрос о нашей дочери. Один человек посоветовал мне, как поступить, и я послушался его совета, поняв, что так будет лучше. Я расстался с нею в Фалмуте и ушел в море. Когда мы были уже далеко, в Атлантическом океане, разразился шторм, и впоследствии разнесся слух, что почти вся наша команда, я в том числе, была снесена волной в море и погибла. Однако я добрался до Ньюфаундленда и там стал думать, что мне делать. «Раз уж я здесь, надо мне тут и остаться, — решил я, — она теперь настроена против меня, и, значит, я сделаю ей добро, если заставлю ее поверить, что я погиб. — И еще думал: — Пока она считает меня живым, она будет несчастна, а если убедится, что я умер, вернется к мужу, и у ребенка будет родной дом». В Англию я возвратился только месяц назад и здесь узнал, что Сьюзен, как я и предполагал действительно ушла к вам с моей дочерью. В Фалмуте мне сказали, что Сьюзен умерла. А моя Элизабет-Джейн, где она?



— Тоже умерла, — проговорил Хенчард твердо. — Неужели вы об этом не слышали?

Моряк вскочил и в волнении зашагал взад и вперед по комнате.

— Умерла! — проговорил он негромко. — Так на что мне теперь мои деньги?

Хенчард не ответил и покачал головой, как будто ответа на этот вопрос следовало ожидать не от него, а от самого Ньюсона.

— Где ее похоронили? — спросил Ньюсон.

— Рядом с матерью, — ответил Хенчард таким же спокойным тоном.

— Когда она умерла?

— Больше года назад, — ответил Хенчард без запинки.

Моряк стоял молча. Хенчард не отрывал глаз от пола. Наконец Ньюсон сказал:

— Выходит, я зря сюда приехал! Самое лучшее мне отправиться обратно! И поделом мне. Больше я не буду вас беспокоить.

Хенчард слышал удаляющиеся шаги Ньюсона на посыпанном песком полу, слышал, как он машинально поднимает щелкунду, медленно открывает и закрывает дверь: так действует человек, обманутый в своих ожиданиях и удрученный горем; но Хенчард не повернул головы. Тень Ньюсона мелькнула за окном. Он скрылся из виду.

Тогда Хенчард, с трудом веря, что все это был не сон, поднялся, ошеломленный своим поступком. Он совершил его произвольно, поддавшись первому побуждению. Зародившееся в нем уважение к Элизабет-Джейн, новые надежды на то, что в его одиночестве она станет для него приемной дочерью, которой можно гордиться, как родной, — а ведь сама она по-прежнему считала себя его дочерью, — все это, стимулированное неожиданным появлением Ньюсона, вылилось в жадное желание сохранить ее для себя одного; таким образом, внезапно возникшая опасность потерять ее побудила его глупо, по-детски, солгать, не думая о последствиях. Он ждал, что его начнут расспрашивать и, прижав к стене, через пять минут сорвут с него маску; но вопросов не последовало. Однако их, конечно, не миновать; Ньюсон ушел ненадолго, — он наведет справки в городе и все узнает, а потом вернется, проклянет его, Хенчарда, и увезет с собой его последнее сокровище!

Хенчард торопливо надел шляпу и пошел вслед за Ньюсоном. Вскоре Ньюсон показался на дороге. Стараясь его догнать, Хенчард издали увидел, как тот остановился у «Королевского герба», где доставившая его утренняя почтовая карета полчаса дождалась другой кареты, проезжавшей через Кэстербридж. Карета, в которой приехал Ньюсон, уже готовилась тронуться в путь. Ньюсон сел в нее, его багаж уложили, и вот она скрылась из виду.

А Ньюсон даже не обернулся. Он простодушно поверил Хенчарду, и в его доверии было что-то почти возвышенное. Молодой матрос, который двадцать с лишком лет назад под влиянием момента взял в жены Сюзен Хенчард, лишь мимолетно взглянув на ее лицо, все еще жил и действовал в этом поседевшем путешественнике, который на слово поверил Хенчарду — поверил так слепо, что Хенчарду стало стыдно самого себя.

Неужели эта внезапно пришедшая ему в голову дерзкая выдумка поведет к тому, что Элизабет-Джейн останется у него? «Вероятно, ненадолго», — сказал себе Хенчард. Ньюсон, конечно, разговорится со спутниками, а среди них, наверное, окажутся кэстербриджцы, и обман раскроется.

Опасаясь, что это может случиться, Хенчард занял оборонительную позицию, и вместо того, чтобы поразмыслить о том,

как лучше исправить содеянное и поскорее сказать правду отцу Элизабет, он стал обдумывать, как ему сохранить случайно полученное преимущество. Любовь его к девушке становилась все сильнее и все ревнивее с каждой новой опасностью, которая грозила этой любви.

Он смотрел на уходящую вдаль большую дорогу, ожидая, что Ньусон, узнав правду, вот-вот вернется пешком, негодуя и требуя свою дочь. Но никто не появлялся. Возможно, он ни с кем и не разговаривал в почтовой карете, а похоронил свое горе в глубине сердца.

Его горе!.. В сущности, чего оно стоит в сравнении с тем, что почувствует он, Хенчард, если потеряет ее! Разве можно сравнить охлажденную годами любовь Ньусона с любовью того, кто постоянно общался с Элизабет? Такими сомнительными доводами пыталась ревность оправдать его в том, что он разлучил отца с дочерью.

Он вернулся домой, почти уверенный, что Элизабет уже ушла. Нет, она была здесь и только что вышла из соседней комнаты, посвежевшая, но с еще припухшими от сна веками.

— А, это вы, отец! — проговорила она, улыбаясь. — Не успела я лечь, как уснула, хоть и не собиралась спать. Удивляюсь, почему я не видела во сне бедной миссис Фарфрэ, — я так много о ней думала, но все-таки она мне не приснилась. Как странно, что мы лишь редко видим во сне недавние события, как бы они нас ни занимали.

— Я рад, что тебе удалось поспать, — сказал он и, словно стремясь утвердить свои права на нее, взял ее руку в свои, что ее приятно удивило.

Они сели завтракать, и Элизабет-Джейн снова стала думать о Люсетте. Печальные мысли придавали особое очарование ее лицу, которое всегда хорошело в минуты спокойной задумчивости.

— Отец, — сказала она, оторвавшись от своих мыслей и вспомнив о стоящей перед нею еде, — как это мило, что вы своими руками приготовили такой вкусный завтрак, пока я, лентяйка, спала.

— Я каждый день сам себе стряпаю, — отозвался он. — Ты меня покинула; все меня покинули; вот и приходится все делать самому.

— Вам очень тоскливо, да?

— Да, дитя... так тоскливо, как ты и представить себе не можешь! В этом я сам виноват. Вот уже много недель, как у меня никто не был, кроме тебя. Да и ты больше не придешь.

— Зачем так говорить? Конечно, приду, если вы захотите меня видеть.

Хенчард усомнился в этом. Еще так недавно он надеялся, что Элизабет-Джейн, быть может, снова будет жить у него как дочь, но сейчас уже не хотел просить ее об этом. Ньусон может вернуться в любую минуту, и что будет думать Элиза-

бет об отчине, когда узнает про его обман? Лучше пережить это вдаль от нее.

После завтрака его падчерица все еще медлила уходить; но вот настал час, когда Хенчард обычно отправлялся на работу. Тогда она встала и, заверив его, что придет опять, ушла; он видел, как она поднимается в гору, освещенная утренним солнцем.

«Сейчас сердце ее тянется ко мне, как и мое к ней,— стоило сказать ей слово, и она согласилась бы жить у меня в этой лачужке! Но вечером он, наверное, вернется, и она меня возненавидит!»

Весь день Хенчард твердил себе эти слова, и мысли об этом не покидали его, куда бы он ни пошел. Он уже не чувствовал себя мятежным, язвительным, беспечным неудачником, он был придавлен свинцовым гнетом, как человек, потерявший все то, что делает жизнь интересной или хотя бы терпимой. Никого у него не останется, кем он мог бы гордиться, кто мог бы поддержать его дух,— ведь Элизабет-Джейн скоро станет ему чужой, хуже, чем чужой. Сьюзен, Фарфрэ, Люсетта, Элизабет — все они, друг за другом, покинули его, и в этом был повинен он сам или его злой рок.

У него нет ни интересов, ни любимых занятий, ни желаний, способных заменить этих людей. Если бы он мог призвать к себе на помощь музыку, у него еще хватило бы сил жить даже теперь, ибо музыка действовала на него как непреодолимая сила. Одного звука трубы или органа было достаточно, чтобы его взволновать, а прекрасные гармонии переносили его в другой мир. Но волею судьбы он в минуту бед оказался бессильным прибегнуть к этому божественному утешению.

Впереди сплошная тьма; будущее ничего не сулит; ждать нечего. А ведь ему, может быть, придется прозябать на земле еще лет тридцать или сорок, и все будут насмехаться над ним, в лучшем случае жалеть.

Так он думал, и мысли эти были невыносимо мучительны.

К востоку от Кэстербриджа простирались болота и луга, изобилующие текучими водами. Путник, остановившийся здесь в тихую ночь, порою слышал своеобразную симфонию, казалось исполняемую каким-то скрытым во мраке оркестром,— симфонию вод, играющих разные партии в ближних и дальних концах болота. В яме у подгнившей запруды звучал речитатив; там, где ручей переливался через каменный парапет, весело звенели трели; под аркой слышалось металлическое бряцание, а в дарноверской заводи — шипение. Самая громкая музыка доносилась с того места, которое носило название «Десять затворов» и где в разгар весеннего половодья бушевала многоголосая буря звуков.

Здесь река была глубока и во все времена года текла быстро, поэтому затворы на плотине поднимали и опускали при помощи зубчатых колес и ворота. От второго моста на боль-

шой дороге (о котором так часто говорилось выше) к плотине вела тропинка, и близ нее через реку был переброшен узкий дощатый мостик. Ночью люди ходили здесь редко, так как тропинка обрывалась у реки, а переходить по мостику было опасно.

Но Хенчард, выйдя из города по восточной дороге, перешел через второй, каменный мост, потом свернул на эту безлюдную прибрежную тропинку и шел по ней, пока темные тени «Десяти затворов» не поглотили отраженный в реке слабый свет вечерней зари, еще не погасшей на западе. Спустился две секунды Хенчард стоял у заводи — самого глубокого места в реке. Он посмотрел вперед и назад, но никого не было видно. Тогда он снял пальто и цилиндр и стал на самом краю берега, скрестив руки.

Устремив глаза вниз, на воду, он вскоре заметил какой-то предмет, плывущий в округлой заводи, постепенно образовавшейся за многие столетия, — в той заводи, которую он избрал своим ложем смерти. Он не сразу рассмотрел, что это такое, так как берег отбрасывал тень, но вот предмет выплыл за пределы тени, его очертания стали отчетливей, и оказалось, что это человеческий труп, окостеневший и недвижно лежащий на воде.

Здесь течение шло по кругу; труп вынесло вперед, он проплыл мимо Хенчарда, и тот с ужасом увидел, что это *он сам*. Не просто кто-то другой, немного похожий на него, но он сам, вылитый Хенчард, его двойник, плывущий, как мертвец, в заводи «Десяти затворов».

В этом несчастном человеке жила вера в сверхъестественное, и он отвернулся, словно увидел грозное чудо. Он прикрыл рукой глаза и склонил голову. Не глядя на реку, он надел пальто и цилиндр и медленно побрел прочь.

Вскоре он очутился у двери своего дома. К его удивлению, здесь стояла Элизабет-Джейн. Она, как ни в чем не бывало, заговорила с ним и назвала его «отцом». Значит, Ньюсон еще не вернулся.

— Сегодня утром вы показались мне очень грустным, — промолвила она, — и вот я опять пришла навестить вас. Мне, конечно, тоже очень грустно. Но все и каждый настроены против вас, и я знаю, что вы страдаете.

Как умела эта девушка чутьем угадывать его переживания! И все же она не угадала, до какой крайности он дошел.

Он сказал ей:

— Как ты думаешь, Элизабет, в наши дни все еще случаются чудеса? Я не начитанный человек. Я всю жизнь старался читать и учиться, но чем больше я пытаюсь узнать, тем меньше знаю.

— По-моему, теперь чудес не бывает, — сказала она.

— А разве не бывает, что человек, скажем, решится на отчаянное дело и вдруг натолкнется на препятствие? Может, и не на препятствие в прямом смысле слова. Может, и нет...

Впрочем, пойдем со мной, я покажу тебе кое-что и объясню, что хотел сказать.

Она охотно согласилась, и он повел ее по большой дороге, потом по безлюдной тропинке к «Десяти затворам». Он шел неуверенно, словно чья-то невидимая ей, но преследующая его тень мелькала перед ним и тревожила его. Девушке хотелось поговорить о Люсетте, но она боялась помешать его размышлениям. Когда они подошли к плотине, он остановился и попросил Элизабет-Джейн пройти вперед и заглянуть в заводь, а потом сказать, что она там увидит.

Она ушла, но скоро вернулась.

— Я ничего не видела,— сказала она.

— Поди опять,— проговорил Хенчард,— и всмотришься по-лучше.

Она снова пошла к берегу. Вернувшись немного погодя, она сказала, что видела, как по воде что-то плывет, но что именно, различить не смогла. Ей показалось, будто это какое-то тряпье.

— Оно похоже на мою одежду? — спросил Хенчард.

— Да... похоже. Господи... неужели это? Отец, уйдемте отсюда!

— Иди и посмотри еще раз; а потом пойдем домой.

Она опять ушла, и он видел, как она наклонилась так низко, что голова ее чуть не коснулась воды. Она мгновенно выпрямилась и торопливо вернулась.

— Ну, что скажешь теперь? — спросил Хенчард.

— Пойдемте домой.

— Но скажи же мне... скажи... что там плывет?

— Чучело,— быстро ответила она.— Очевидно, его бросили в реку выше по течению, там, где ивняк,— хотели отделаться от него, когда узнали обо всем и перепугались, и вот оно приплыло сюда.

— А... так, так... мое изображение! А где другое? Почему только одно это?.. Их шутовство убило ее, но мне сохранило жизнь!

Элизабет-Джейн все думала и думала об этих словах: «мне сохранило жизнь», пока они оба медленно шли в город, и наконец поняла их значение.

— Отец!.. Я не хочу оставлять вас одного в таком состоянии! — воскликнула она.— Можно мне жить у вас и заботиться о вас, как прежде? Мне все равно, что вы бедны. Я готова была переехать к вам еще сегодня утром, но вы не попросили меня.

— И ты спрашиваешь, можно ли тебе жить у меня! — воскликнул он с горечью.— Элизабет, не смейся надо мной. Если бы ты только вернулась ко мне!

— Я вернусь,— сказала она.

— Но разве ты можешь простить меня за то, что я раньше был так груб с тобой? Не можешь!

— Я все уже позабыла. Не будем говорить об этом.

Она успокоила его и стала строить планы их совместной жизни; наконец они оба разошлись по домам. Вернувшись, Хенчард побрился — в первый раз за много дней, — надел чистое белье, причесал волосы и с тех пор стал казаться человеком, воскресшим из мертвых.

На следующее утро все объяснилось так, как объясняла Элизабет-Джейн: чучело нашел один пастух, а второе, изображающее Люсетту, было обнаружено немного выше по течению. Но об этом избегали говорить, и чучело уничтожили втихомолку.

Итак, загадочное происшествие получило естественное объяснение; тем не менее Хенчард был убежден, что чучело появилось в заводи неспроста, а в результате чьего-то невидимого вмешательства. Элизабет-Джейн слышала, как он говорил:

«Нет на свете подлеца хуже меня! Но, оказывается, даже я в руке божьей!»

ГЛАВА XLII

Однако внутреннее убеждение Хенчарда в том, что и он «в руке божьей», все больше и больше слабело, по мере того как время медленно отодвигало вдаль событие, внушившее ему это убеждение. Угроза возвращения Ньюсона не давала ему покоя. «Ньюсон обязательно должен вернуться», — думал он.

Но Ньюсон не появлялся. Люсетту унесли на кладбище; Кэстербридж в последний раз уделил ей внимание, а затем вновь занялся своими делами, как будто она и не жила на свете. Но Элизабет по-прежнему верила в свое кровное родство с Хенчардом и поселилась у него. Быть может, все-таки Ньюсон ушел навсегда.

Убитый горем Фарфрэ в свое время узнал, что именно послужило причиной, по крайней мере ближайшей причиной, болезни и смерти Люсетты, и его первым побуждением было отомстить именем закона тем, кто совершил это злое дело. Он не хотел ничего предпринимать до похорон. А после них он призадумался. Легкомысленная толпа, затеявшая шутовскую процессию, конечно, не предвидела и не хотела такой катастрофы, какая случилась. Просто слишком велик был соблазн осрамить местных воротил для людей малых и обойденных судьбой, и другого намерения у них не было, как полагал Фарфрэ, не подозревавший о подстрекательстве Джаппа. Были у Фарфрэ и другие соображения. Люсетта перед смертью призналась ему во всем, и поднимать шум вокруг ее прошлого не следовало, как ради ее доброго имени, так и в интересах Хенчарда и его собственных. Фарфрэ решил смотреть на приискорбное событие как на несчастный случай, полагая, что это

лучший способ проявить уважение к памяти покойной и самый мудрый выход из положения.

Он и Хенчард сознательно избегали встреч. Ради Элизабет Хенчард смирил свою гордыню и согласился принять семенную лавочку, которую члены городского совета во главе с Фарфрэ купили для него, чтобы помочь ему снова встать на ноги. Будь он один, Хенчард, несомненно, отказался бы от помощи, если бы она даже косвенно исходила от человека, на которого он когда-то так яростно напал. Но сочувствие Элизабет и общение с нею были необходимы для самого его существования, и ради этого его гордость облачилась в одежды смирения.

При этой лавочке они и поселились, и Хенчард настороженно предупреждал каждое желание Элизабет с отеческим вниманием, обостренным жгучей, ревнивой боязнью соперничества. Впрочем, сомнительно было, чтобы Ньюсон когда-либо вернулся в Кэстербридж заявить о своих отцовских правах на нее. Бродяга, чужак, почти иностранец, он несколько лет не видел своей дочери; его любовь к ней, естественно, не могла быть сильной; другие интересы должны были вскоре затмить память о ней, помешав ему вновь начать копать в прошлом и узнать, что она все еще принадлежит настоящему. Стараясь как-нибудь заглушить укору совести, Хенчард твердил себе, что он ненамеренно произнес лживые слова, с помощью которых ему удалось сохранить свое вожделенное сокровище, но что они вырвались у него непроизвольно, как последняя вызывающая выходка язвительности, пренебрегающей последствиями. И еще он убеждал себя в том, что Ньюсон не может любить Элизабет так, как любит он, Хенчард, и не положит за нее душу, как с радостью готов был положить он.

Так они жили при лавочке против кладбища, и в течение всего этого года в их жизни не произошло ничего примечательного. Из дому они выходили нечасто, а в базарные дни не выходили вовсе, поэтому видели Дональда Фарфрэ очень редко, да и то обычно лишь издали, когда он проходил по улице. А он по-прежнему занимался делами, машинально улыбался своим собратям-торговцам и спорил, заключая сделки,— словом, вел себя так, как обычно ведут себя люди, когда пройдет некоторый срок после понесенной ими утраты.

«Время в свойственном ему одному невеселом стиле» научило Фарфрэ, как следует расценивать его отношения с Люсеттой, и показало все, что в них было и чего в них не было. Есть люди, чье сердце заставляет их упорно хранить верность случайно порученному им судьбой человеку или делу, хранить долго, даже после того, как они поняли, что объект их верности отнюдь не редкостное явление, скорее даже наоборот; и без него их жизнь не полна. Но Фарфрэ был не из таких. Дальновидность, жизнерадостность и стремительность, присущие его натуре, неизбежно должны были извлечь его из той мертвой пустоты, в которую его ввергла утрата. Он не мог

не понять, что смерть жены избавила его от угрозы тяжелых осложнений в будущем, заменив их обыденным горем. После того как обнаружилось прошлое Люсетты — а оно рано или поздно не могло не обнаружиться, — трудно было поверить, что дальнейшая жизнь с нею могла сулить счастье.

Однако, наперекор всему этому, образ Люсетты все еще жил в его памяти, ее слабости он осуждал очень снисходительно, а ее страдания смягчали гнев, вызванный ее скрытностью, да и гнев этот вспыхивал лишь изредка, угасая с быстротой искры.

К концу года принадлежащая Хенчарду лавка розничной продажи семян и зерна — а она была чуть побольше посудного шкафа — уже стала приносить доход, так что отчим с падчерицей беспечно жили в своем уютном солнечном уголке. В этот период Элизабет-Джейн держалась с внешним спокойствием человека, который живет напряженной внутренней жизнью. Два-три раза в неделю она надолго уходила гулять за город, чаще всего — по дороге в Бедмут. Иногда Хенчарду казалось, что, сидя подле него вечером, после одной из таких длительных прогулок, она скорее вежлива, чем ласкова с ним; это его беспокоило; и ко многим уже испытанным им горьким сожалениям прибавилось раскаяние в том, что своей суровой придирчивостью он охладил ее драгоценную нежность еще в то время, когда она впервые была ему дарована.

Теперь Элизабет всегда поступала по-своему. Шла ли речь о том, чтобы выйти из дому или вернуться домой, о покупке или продаже, ее слово было законом.

— У тебя новая муфта, Элизабет, — застенчиво сказал ей как-то раз Хенчард.

— Да, я ее купила, — отозвалась она.

Он снова взглянул на муфту, лежащую на соседнем столе. мех на ней был коричневый, блестящий, и Хенчард, хоть он и не знал толку в мехах, подумал, что девушке такая муфта не по средствам.

— Она, вероятно, довольно дорого стоит, милая? — осмелился он спросить.

— Пожалуй, она немножко велика для меня, — вместо ответа спокойно сказала девушка. — Но она не бросается в глаза.

— Конечно, нет, — согласился усмирленный лев, опасаясь, как бы не вызвать в ней хоть малейшее раздражение.

Вскоре после этого разговора, когда уже пришла новая весна, Хенчард как-то раз, проходя мимо спальни Элизабет-Джейн, остановился и заглянул в дверь. Он вспомнил тот день, когда девушка выехала из его большого красивого дома на Зерновой улице, не вытерпев его резкости и неприязни, и как он тогда вот так же заглянул к ней в комнату. Теперешняя ее спальня была гораздо скромнее, но его поразило обилие книг, лежавших повсюду. Их было так много, и все это были такие дорогие книги, что убогая мебель, на которой они лежа-

ли, никак не вязалась с ними. Некоторые книги, пожалуй даже многие, видимо, были куплены недавно, и, хотя Хенчард всегда позволял девушке делать разумные покупки, он и не подозревал, что она так безудержно потакает своей врожденной страсти, несмотря на скудость их бюджета. Впервые он почувствовал себя немного задетым ее расточительностью и решил поговорить с нею об этом. Но прежде чем он собрался с духом начать этот разговор, произошло событие, отвлекшее его мысли в другую сторону.

Сезон бойкой семенной торговли окончился, наступили спокойные недели перед сенокосом, и эта пора наложила свой особый отпечаток на Кэстербридж: рынок наводнили деревянные грабли, новые повозки — желтые, зеленые и красные, громадные косы, вилы с такими длинными зубьями, что на них можно было бы поднять целое небольшое семейство. Как-то раз, в субботу, Хенчард против обыкновения пошел на рынок, движимый странным желанием провести несколько минут на арене своих прежних побед. Фарфрэ, которого он по-прежнему чуждался, стоял в нескольких шагах от него, у подъезда хлебной биржи, где он всегда стоял в это время, но сейчас он, казалось, был поглощен мыслями о ком-то, находившемся неподалеку.

Посмотрев в ту сторону, Хенчард заметил, что взгляд Фарфрэ устремлен не на какого-нибудь фермера с образцами зерна, а на его, Хенчарда, падчерицу, которая только что вышла из лавки напротив. А она, видимо, и не подозревала, какой возбудила интерес, — в этом отношении она была менее одарена, чем те молодые женщины, чьи перышки, словно перья птицы Юноны, покрываются глазами Аргуса, как только вблизи появляются мужчины, от которых можно ожидать поклонения.

Хенчард ушел, говоря себе, что, в сущности, взгляд Фарфрэ, устремленный на Элизабет-Джейн, пока не означает ничего особенного. Однако он не мог забыть о том, что шотландец когда-то был увлечен ею, хоть и мимолетно. И тут сразу же появилась врожденная противоречивость Хенчарда, управлявшая им с детства и сделавшая его таким, каким он стал. Вместо того чтобы приветствовать союз своей обожаемой падчерицы с энергичным, преуспевающим Дональдом не только ради нее, но и в собственных интересах, он не мог вынести мысли о такой возможности.

Было время, когда его инстинктивная враждебность неизменно воплощалась в действие. Но теперь это был уже не прежний Хенчард. Он заставлял себя подчиняться воле Элизабет и в этом отношении и в других, как чему-то абсолютному и неоспоримому. Он боялся, что, перечая ей, утратит уважение, которое она снова почувствовала к нему, оценив его преданность, и считал, что лучше сохранить это уважение даже в разлуке, чем возбудить ее неприязнь, удерживая ее насильно.

Но одна лишь мысль об этой разлуке приводила его в смятение, и вечером он сказал девушке с деланным спокойствием, скрывающим тревогу:

— Ты сегодня видела мистера Фарфрэ, Элизабет?

От этого вопроса Элизабет-Джейн вздрогнула и, немного смутившись, ответила:

— Нет.

— А... так, так... Впрочем, это неважно. Дело в том, что я видел его на той улице, по которой проходила и ты.

Заметив ее смущение, он спросил себя, не подтверждает ли оно зародившееся у него подозрение, что долгие прогулки, которыми она увлекалась последнее время, и новые книги, которые так поразили его, имеют какое-то отношение к Фарфрэ. Она не разъяснила его недоумений, и, опасаясь, как бы молчание не навело ее на мысли, пагубные для их теперешних дружеских отношений, он заговорил на другую тему.

Делал ли Хенчард добро или зло, он по своей природе был совершенно неспособен действовать тайком. Но тревога и страх, обуявшие его любовь, та зависимость от внимания падчерницы, до которой он опустился (или, с другой точки зрения, поднялся), изменили его природу. Нередко он в течение многих часов недоумевал и раздумывал, что значат те или иные ее фразы или поступки, тогда как раньше он сразу задал бы ей вопрос напрямик и все объяснилось бы. И теперь, встревоженный подозрением, что она любит Фарфрэ любовью, которая вытеснит ее уже не слишком сильную дочернюю привязанность к нему, Хенчарду, он стал более внимательно следить за тем, как она проводит время.

Элизабет-Джейн ничего не делала тайно, если ее не побуждала к этому привычная сдержанность, и надо сразу признать, что она иногда разговаривала с Дональдом, если им случалось увидаться. С какой бы целью она ни гуляла по дороге в Бедмут, возвращаясь с прогулки, она нередко встречала Фарфрэ, который минут на двадцать покидал Зерновую улицу, чтобы проветриться на этой довольно ветреной дороге и, как он сам говорил, «свеять с себя семена и мякину», перед тем как сесть за чайный стол. Хенчард узнал об этом, отправившись как-то раз на Круг, откуда он, под прикрытием стен амфитеатра, следил за дорогой, пока Элизабет и Дональд не встретились. Его лицо отразило величайшую тревогу.

— И ее тоже он хочет отнять у меня! — прошептал он хрипло.— Ну, что ж, он имеет на это право. Не стану вмешиваться.

Сказать правду, встреча молодых людей носила весьма невинный характер, и пока что их отношения зашли не так далеко, как предполагал ревнивый и страдающий Хенчард. Если бы он мог услышать их разговор, он узнал бы следующее:

Он. Вы любите здесь гулять, мисс Хенчард, да?

Это было сказано каким-то воркующим голосом и сопро-

вождалось одобрительным и задумчивым взглядом, устремленным на нее.

Она. О да! С недавних пор я выбрала эту дорогу для своих прогулок. Особых причин у меня для этого нет.

Он. Но по этой причине ее могут избрать и другие люди.

Она (*краснея*). Не знаю. Я хожу сюда просто потому, что мне хочется каждый день видеть море.

Он. Почему? Или это тайна?

Она (*нехотя*). Да.

Он (*с нафосом, характерным для его родных баллад*). Ах, мне кажется, что тайны не ведут ни к чему хорошему! Одна тайна набросила темную тень на мою жизнь. И вам хорошо известно, что это было.

Элизабет признала, что ей это известно, но не сказала, почему ее влечет море. Она и сама не могла дать себе в этом отчет, не зная еще одной тайны: с морем ее связывало не только детство — в ее жилах текла кровь моряка.

— Благодарю вас за новые книги, мистер Фарфрэ,— сказала она застенчиво.— Не знаю, хорошо ли я поступаю, принимая от вас столько книг!

— Почему же нет? Мне приятнее дарить их вам, чем вам их получать!

— Ну что вы!

Они продолжали идти по дороге вместе, пока не дошли до города, где их пути разошлись.

Хенчард поклялся разрешить им поступать как угодно и не чинить никаких препятствий на их пути, что бы они ни замыслили. Если он обречен потерять ее, ну что ж! Он не видит для себя места в их будущей супружеской жизни. Фарфрэ никогда не признает его своим тестем, разве только сделает вид, что признает,— порокой тому и его бедность, и поведение в прошлом. И тогда Элизабет станет ему чужой, и жизнь его закончится в одиночестве, без друзей.

Зная об этой грозящей ему опасности, он не мог не держаться настороже. Правда, он в известных пределах имел право присматривать за девушкой, которую взял на свое попечение. А Элизабет и Дональд, видимо, уже привыкли встречаться в определенные дни недели.

Наконец Хенчард получил исчерпывающие доказательства. Он стоял за стеной неподалеку от того места, где Фарфрэ однажды встретился с Элизабет. И вот он услышал, как молодой человек сказал ей: «Милая, милая Элизабет-Джейн»,— а потом поцеловал ее, и девушка быстро оглянулась кругом, желая убедиться, что никого нет поблизости.

Они пошли своей дорогой, а Хенчард вышел из-за стены и, удрученный, последовал за ними в Кэстербридж. Самая страшная опасность, грозившая ему в связи с этой помолвкой, ничуть не уменьшилась. И Фарфрэ и Элизабет-Джейн, в противоположность всем прочим, думают, что Элизабет — родная

дочь Хенчарда, поскольку он сам утверждал это, когда был в этом уверен, и хотя Фарфрэ, вероятно, уже простил его, раз соглашается принять в качестве тестя, но они никогда не сблизятся. Значит, эта девушка, его единственный друг, постепенно отдалится от него под влиянием мужа и научится презирать его.

Если бы она отдала свое сердце любому другому человеку, а не тому, с кем Хенчард некогда соперничал, ссорился, боролся не на жизнь, а на смерть в те дни, когда дух его еще не был сломлен, он сказал бы: «Я доволен». Но с таким будущим, какое рисовалось ему теперь, примириться было трудно.

Есть в мозгу такая ячейка, где мыслям непризнанным, непрощеным и пагубным люди иногда позволяют ненадолго задержаться, перед тем как прогнать их. И вот одна такая мысль сейчас проникла в мозг Хенчарда.

А что, если он скажет Фарфрэ, что его невеста вовсе не дочь Майкла Хенчарда, что по закону она — ничья дочь? Как отнесется к такому сообщению этот почтенный, видный горожанин? Возможно, он откажется от Элизабет-Джейн, и тогда она снова будет принадлежать только своему отчиму.

Но тут Хенчард, содрогнувшись, воскликнул:

— Сохрани меня бог от этого! И за что только меня все еще посещает дьявол, ведь я так стараюсь отогнать его подальше!

ГЛАВА XLIII

Все то, что Хенчард узнал так скоро, естественно, стало известно всем, только немного позже. В городе начали поговаривать, что мистер Фарфрэ «гуляет с падчерицей этого банкрота Хенчарда, подумать только!» (в этих местах слово «гулять» означало также «ухаживать»), и вот девятнадцать молодых девиц из высшего кэстербриджского общества, каждая из которых считала себя единственной девушкой, способной осчастливить этого купца и члена городского совета, возмущившись, перестали ходить в ту церковь, куда ходил Фарфрэ, перестали жеманничать, перестали поминать его на вечерней молитве в числе своих кровных родственников, — словом, вернулись к прежнему образу жизни.

Из всех жителей города выбор шотландца доставил истинное удовольствие, пожалуй, только членам той группы философов, в состав которой входили Лонгуэйс, Кристофер Кони, Билли Уилс, мистер Базфорд и им подобные. Несколько лет назад они в «Трех моряках» были свидетелями первого скромного выхода этого юноши и девушки на сцену Кэстербриджа и потому благожелательно интересовались их судьбой, а, быть может, также и потому, что у них мелькала надежда когда-нибудь попить на счет влюбленных. Как-то раз вечером мис-

сис Стэннидж вкатилась в большой общий зал и принялась удивляться, что такой человек, как мистер Фарфрэ, можно сказать «столп города», имеющий полную возможность породниться с деловыми людьми или почтенными собственниками и выбрать любую из их дочек, опустил так низко; но Кони осмелелся не согласиться с нею.

— Нет, сударыня, нечему тут удивляться. Это она опустилась до него — вот мое мнение. Вдовед, который никак не мог гордиться своей первой женой, да разве такой жених стоит начитанной молодой девицы, которая сама себе хозяйка и пользуется всеобщим расположением! Но этот брак, так сказать, уладит кое-какие раздоры, потому я его и одобряю. Коли человек поставил памятник из лучшего мрамора на могиле той, другой, — а он это сделал, — заплакался, подумал хорошенько обо всем, а потом сказал себе: «Та, другая, меня завлекла; эту я знал раньше; она будет разумной спутницей жизни, а по нынешним временам в богатых семьях верной жены не найдешь!» — так пусть уж он и женится на ней, если только она не против.

Так говорили в «Моряках». Но мы поостережемся решительно утверждать, как это обычно делается в таких случаях, что предстоящее событие вызвало огромную сенсацию, что о нем болтали языки всех сплетниц и тому подобное, поостережемся, хотя это и придало бы некоторый блеск истории нашей бедной единственной героини. Если не считать суетливых любителей распускать слухи, люди обычно проявляют лишь временный и поверхностный интерес ко всему тому, что не имеет к ним прямого отношения. Правильнее будет сказать, что Кэстербридж (за исключением упомянутых девятнадцати молодых девиц), услышав эту новость, на минуту оторвался от своих дел, а потом внимание его отвлеклось, и он продолжал работать и питаться, растить своих детей и хоронить своих покойников, ничуть не интересуясь брачными планами Фарфрэ.

Ни сама Элизабет, ни Фарфрэ ни словом не обмолвились ее отчиму о своих отношениях. Поразмыслив о причине их молчания, Хенчард решил, что, оценивая его по прошлому, робкая парочка боится заговорить с ним на такую тему и видит в нем лишь досадное препятствие, которое она с радостью устранила бы со своего пути. Ожесточившийся, настроенный против всего мира, Хенчард все мрачнее и мрачнее смотрел на себя, и наконец необходимость ежедневно общаться с людьми и особенно с Элизабет-Джейн сделалась для него почти невыносимой. Здоровье его слабело; он стал болезненно обидчивым. Ему хотелось убежать от тех, кому он был не нужен, и где-нибудь спрятаться навсегда.

Но что, если он ошибается и ему вовсе нет необходимости разлучаться с нею, даже когда она выйдет замуж?

Он попытался нарисовать себе картину своей семейной жизни с будущими супругами: вот он, беззубый лев, живет в

задних комнатах того дома, где хозяйничает его падчерица; он стал безобидным стариком, и Элизабет нежно улыбается ему, а ее муж добродушно терпит его присутствие. Гордость его жестоко страдала при мысли о таком падении, и все же он ради Элизабет готов был вынести все, даже от Фарфрэ, даже пренебрежение и повелительный тон. Счастье жить в том доме, где живет она, наверное, перевесило бы горечь подобного унижения.

Впрочем, это был вопрос будущего, а пока что ухаживание Фарфрэ, в котором теперь сомневаться не приходилось, поглощало все внимание Хенчарда.

Как уже было сказано, Элизабет-Джейн часто гуляла по дороге в Бедмут, а Фарфрэ столь же часто встречался там с нею как бы случайно. В четверти мили от большой дороги находилась доисторическая крепость Мэй-Дун, громадное сооружение, огражденное несколькими валами, так что человек, стоящий на одном из этих валов или за ним, казался с дороги чуть заметным пятнышком. Сюда частенько приходил Хенчард с подзорной трубой и, наставив ее на неогороженную Via — древнюю дорогу, проложенную легионами Римской империи, — обозревал ее на протяжении двух-трех миль, стараясь узнать, как идут дела у Фарфрэ и очаровавшей его девушки.

Как-то раз, когда Хенчард стоял здесь, на дороге, со стороны Бедмута показался человек; вскоре он остановился. Хенчард приложил глаз к подзорной трубе, ожидая, как всегда, увидеть Фарфрэ. Но на сей раз линзы обнаружили, что это не возлюбленный Элизабет-Джейн, а кто-то другой.

Он был в костюме капитана торгового флота и, всматриваясь в дорогу, повернулся лицом к Хенчарду. Бросив на него взгляд, Хенчард за одно мгновение пережил целую жизнь. Это было лицо Ньюсона.

Хенчард уронил подзорную трубу и несколько секунд стоял как вкопанный. Ньюсон чего-то ждал, и Хенчард ждал, если только оцепенение можно назвать ожиданием. Но Элизабет-Джейн не пришла. По той или иной причине она сегодня не вышла на свою обычную прогулку. Быть может, они с Фарфрэ выбрали для разнообразия другую дорогу. Но не все ли равно? Она придет сюда завтра, и, во всяком случае, Ньюсон, если он решил увидаться с дочерью наедине и сказать ей правду, скоро добьется свидания с ней.

И тогда он не только откроет ей, что ее отец он, но и скажет, с помощью какой хитрости его когда-то отстранили. Требовательная к себе и другим, Элизабет впервые начнет презирать своего отчима, вырвет его из сердца, как подлого обманщика, а вместо него в ее сердце воцарится Ньюсон.

Но в то утро Ньюсон ее не встретил. Постояв немного, он повернул обратно, и Хенчард почувствовал себя смертником, получившим отсрочку на несколько часов. Придя домой, он увидел Элизабет-Джейн.

— Ах, отец! — сказала она простодушно. — Я получила письмо... очень странное... без подписи. Какой-то человек просит меня встретиться с ним сегодня в полдень на дороге в Бедмут или вечером у мистера Фарфрэ. Он пишет, что уже приезжал однажды, чтобы встретиться со мной, но с ним сыграли шутку, и ему не удалось увидеть меня. Я ничего не понимаю; но, между нами, мне кажется, что ключ к этой тайне в руках у Дональда: возможно, это приехал какой-то его родственник, который хочет познакомиться со мной, чтобы высказать свое мнение о его выборе. Мне не хотелось встречаться с ним, не повидав вас. Пойти мне?

Хенчард ответил глухим голосом:

— Да. Иди.

Появление Ньюсона окончательно решило вопрос, оставаться ему в Кэстербридже или нет. Хенчард был не такой человек, чтобы дожидаться неизбежного приговора, когда речь шла о том, что он принимал так близко к сердцу. Давно привыкнув переносить страдания молча, в гордом одиночестве, он решил сделать вид, что все это ему ни о чем, но немедленно принять меры.

Он поразил девушку, в которой была вся его жизнь, сказав ей таким тоном, словно уже разлюбил ее:

— Я собираюсь расстаться с Кэстербриджем, Элизабет-Джейн.

— Расстаться с Кэстербриджем! — воскликнула она. — Значит, расстаться... со мной?

— Да. Ведь с лавкой ты одна справишься не хуже, чем мы справлялись вдвоем; а мне не нужны ни лавки, ни улицы, ни люди... лучше мне уехать в деревню одному, скрыться от людей и идти своим путем, а тебе предоставить идти своим.

Она опустила глаза и тихо заплакала. Разумеется, она подумала, что к этому решению он пришел из-за ее любви к Дональду, предвидя, во что, вероятно, выльется эта любовь. Однако она доказала свою преданность Фарфрэ, овладев собой и высказавшись откровенно.

— Мне грустно, что вы так решили, — проговорила она с трудом. — Я, вероятно... возможно... скоро выйду замуж за мистера Фарфрэ, но я не знала, что вы этого не одобряете!

— Я одобряю все, чего тебе хочется, Иззи, — сказал Хенчард хрипло. — Да если б и не одобрял, не все ли равно? Я хочу уйти. Мое присутствие может осложнить твое положение в будущем; словом, лучше всего мне уйти.

Как она ни старалась, движимая привязанностью к Хенчарду, убедить его отказаться от принятого решения, это ей не удалось, — не могла же она убедить его в том, чего сама еще не знала: что она сможет заставить себя не презирать его, обнаружив, что он ей всего только отчим, и заставить себя не возненавидеть его, узнав, каким путем он сумел скрыть от нее правду. А он был уверен, что она и не станет себя застав-

лять, и не было пока таких слов или фактов, которыми можно было разуверить его.

— В таком случае,— сказала она наконец,— вы не сможете быть на моей свадьбе, а это нехорошо.

— Я не хочу на ней быть... не хочу! — воскликнул он и добавил уже мягче: — А ты все-таки иногда вспомянай обо мне, когда будешь жить новой жизнью... вспомнишь, Иззи?.. Вспомянай обо мне, когда будешь женой самого богатого, самого видного человека в городе, и пусть мои грехи, *когда ты узнаешь их все*, не заставят тебя забыть, что, хотя я полюбил поздно, зато полюбил сильно.

— Все это из-за Дональда! — промолвила она, всхлипывая.

— Я не запрещаю тебе выходить за него замуж,— сказал Хенчард.— Обещай только не забыть меня совсем, когда...

Он хотел сказать: когда придет Ньюсон.

Волнуясь, она машинально обещала это, и в тот же вечер, в сумерки, Хенчард ушел из города, процветанию которого он содействовал столько лет. Днем он купил новую корзинку для инструментов, вычистил свой старый нож для обрезки сена и завертку для стягивания веревок, надел новые гетры, наколенники и вельветовые штаны,— словом, опять облачился в рабочее платье своей юности, навсегда отказавшись от дорогого, но поношенного костюма и порыжевшего цилиндра, которые со времени его падения отличали его на кэстербриджских улицах как человека, выдавшего лучшие дни.

Он ушел незаметно, один, и никто из многих его знакомых не подозревал об его уходе. Элизабет-Джейн проводила его до второго моста на большой дороге,— еще не настал час ее свидания с неизвестным гостем у Фарфрэ,— простилась с ним, непритворно горюя и недоумевая, и задержала его на несколько минут, перед тем как отпустить. Но вот они расстались, и она стояла и смотрела ему вслед, в то время как он, постепенно уменьшаясь у нее на глазах, уходил в даль, по болоту, и желтая соломенная корзинка у него на спине поднималась и опускалась при каждом его шаге, а складки на штанах под коленями то разглаживались, то снова набегали,—смотрела, пока он не скрылся из виду. Элизабет-Джейн не знала, что в эту минуту Хенчард выглядел почти так же, как в тот день, когда он впервые пришел в Кэстербридж около четверти века назад, если не считать того, что многие пережитые им годы ослабили упругость его походки, а безнадежность сторбила его плечи, отягощенные ношей.

Так он дошел до первого каменного верстового столба, врытого в придорожную насыпь на полпути вверх по крутому холму. Поставив корзинку на камень, он оперся о нее локтями и судорожно дернулся: эта конвульсия была страшнее, чем рыдание,— жестокая, без слез.

— Если бы только она была со мной... со мной! — проговорил он.— Я бы не побоялся никакой, даже самой тяжелой,

работы. Но — не судьба. Я, Каин, ухожу один, и поделом мне — отщепенцу, бродяге. Но кара моя *не больше* того, что я в силах вынести!

Он сурово подавил в себе скорбь, вскинул на плечи корзину и пошел дальше. Между тем Элизабет, вздохнув о нем, снова обрела утраченное было душевное равновесие и пошла обратно в Кэстербридж. Не успела она дойти до первого дома на краю города, как встретила Дональда Фарфрэ. Очевидно, они сегодня встретились не в первый раз — они просто взялись за руки, и Фарфрэ спросил с тревогой:

— Значит, он ушел... а ты сказала ему?.. Не о нас, а... о том, другом?

— Он ушел, и я сообщила ему все, что знала о твоём знакомом. Дональд, кто он такой?

— Ну, ну, милочка, скоро узнаешь. И мистер Хенчард услышит о нем, если не уйдет далеко.

— Он уйдет далеко... он решил скрыться совсем, чтобы никто ничего не знал о нем!

Она шла рядом со своим возлюбленным и, дойдя до городского колодца, не пошла домой, а вместе с Фарфрэ свернула на Зерновую улицу. У дома Фарфрэ они остановились и вошли.

Фарфрэ распахнул дверь гостиной на первом этаже и сказал:

— Вот он; ждет тебя.

Элизабет вошла. В кресле сидел широколицый жизнерадостный человек, который приходил к Хенчарду в одно памятное утро больше года назад, а потом на глазах у него сел в почтовую карету и уехал спустя полчаса после приезда. Это был Ричард Ньюсон. Вряд ли стоит описывать встречу Элизабет-Джейн с ее легкомысленным отцом, которого она уже несколько лет считала умершим. Это была волнующая встреча, и не только потому, что Элизабет узнала теперь, кто ее отец. Уход Хенчарда быстро получил объяснение. Когда девушка узнала правду, ей было не так трудно снова поверить в свое кровное родство с Ньюсоном, как и следовало ожидать, ибо поведение Хенчарда подтверждало эту правду. Кроме того, Элизабет выросла, окруженная отцовской заботой Ньюсона, и, если бы даже Хенчард был ее родным отцом, этот, воспитавший ее отец, пожалуй, затмил бы Хенчарда в ее сердце, когда немного сгладились бы впечатление от прощания с ним.

Ньюсон просто не мог выразить, до чего он гордится такой дочерью. Он то и дело целовал ее.

— Я не стал утруждать тебя встречей со мной на дороге, ха-ха! — проговорил он. — Дело в том, что мистер Фарфрэ сказал: «Поживите у меня денек-другой, капитан Ньюсон, и я приведу ее сюда». — «Прекрасно, — ответил я, — поживу». И вот я здесь.

— Итак, Хенчард ушел, — начал Фарфрэ, закрыв дверь. — Он ушел по своему почину, и, насколько я знаю со слов

Элизабет, он очень хорошо относился к ней. Я уже начал слегка беспокоиться, но все вышло как нельзя лучше, и больше у нас не будет никаких затруднений.

— И я так полагаю,— согласился Ньюсон, переводя глаза с одного на другую.— Я говорил себе, раз сто говорил, когда ухитрился взглянуть на нее украдкой, так, чтобы она меня не заметила: «Слушай, надо тебе на несколько деньков притаиться и ничего не предпринимать, пока что-нибудь не произойдет и дело не обернется к лучшему». Теперь я знаю, что вы человек хороший, так чего же мне еще больше желать?

— Ну, капитан Ньюсон, я буду рад видеть вас здесь хоть каждый день, раз это уже никого не может задеть,— сказал Фарфрэ.— И я подумал, не сыграть ли нам свадьбу у меня в доме: ведь дом просторный, а вы живете на квартире один... значит, если мы устроим свадьбу здесь, это вас избавит от лишних хлопот и расходов, не так ли? Да и молодоженам удобнее, когда не приходится ехать слишком далеко, чтобы попасть домой!

— Всею душой согласен с вами,— отозвался капитан Ньюсон.— Как вы сами сказали, теперь это никого не заденет, раз бедный Хенчард ушел, хотя, останься он здесь, я бы поступил иначе и не стал бы ему поперек дороги: ведь я и так уже однажды ворвался в его семью, и дело зашло столь далеко, что и самый вежливый человек этого не стерпел бы. Но что скажет сама молодая девица? Элизабет, дитя мое, подойди, послушай, о чем мы говорим; нечего смотреть в окошко и притворяться, будто ничего не слышишь.

— Это вы с Дональдом решайте,— негромко отозвалась Элизабет, не отрывая пристального взгляда от какого-то небольшого предмета на улице.

— Прекрасно,— продолжал Ньюсон, снова обращаясь к Фарфрэ и всем своим видом показывая, что он решил обсудить вопрос всесторонне,— так мы и сделаем. И вот еще что, мистер Фарфрэ: раз уж вы берете на себя так много — предоставляете и помещение и прочее,— я внесу свою долю в виде напитков: поставлю ром и джин... пожалуй, дюжины кувшинов хватит, ведь в числе гостей будет много дам, а они, вероятно, небольшие охотницы до выпивки, так что вряд ли стоит особенно увеличивать смету. Впрочем, вам лучше знать. Своих товарищей-моряков и вообще мужчин я угощал не раз, но я не лучше ребенка знаю, сколько стаканов грога может выпить на таких церемониях женщина, если она не пьянчужка.

— Ни одного не выпьет... спиртного нам понадобится немного... очень немного! — сказал Фарфрэ, покачивая головой с несколько удивленным и в то же время серьезным видом.— Предоставьте все это мне.

Поговорив еще немного на эту тему, Ньюсон откинулся в кресле и, глядя в потолок, сказал с задумчивой улыбкой:

— Я вам не рассказывал, мистер Фарфрэ, как Хенчард сбил меня со следа в тот раз?

Фарфрэ ответил, что ему не ясно, на что намекает капитан.

— Ага, я так и думал, что не рассказывал. Помнится, я решил пощадить его доброе имя. Но раз уж он теперь ушел, я могу сказать вам все. Так вот, я приезжал в Кэстербридж месяцев за девять — десять до того, как приехал сюда на прошлой неделе и познакомился с вами. Я был тут дважды. В первый раз я был в городе проездом на запад и не знал, что Элизабет живет здесь. Затем, услышав где-то — забыл, где именно, — что некий Хенчард был здесь мэром, я снова приехал сюда и утром зашел к нему. Вот шутник! Он сказал, что Элизабет-Джейн умерла много лет назад.

Элизабет теперь стала внимательно прислушиваться к его рассказу.

— Но мне и в голову не пришло, что этот субъект меня морочит, — продолжал Ньюсон. — И вы не поверите, я так расстроился, что пошел обратно, сел в ту самую почтовую карету, в которой приехал, и отправился дальше, не пробив в городе и полчаса. Ха-ха!.. Неплохая была шутка, и он хорошо ее разыграл, надо отдать ему должное!

Элизабет-Джейн была поражена.

— Шутка?! О нет! — воскликнула она. — Значит, он все эти месяцы держал меня вдали от тебя, тогда как ты мог бы жить здесь, отец!

Ньюсон подтвердил, что так оно и было.

— Нехорошо он поступил! — сказал Фарфрэ.

Элизабет вздохнула.

— Я сказала, что никогда не забуду его. Но нет! Мне кажется, я теперь обязана его забыть!

Ньюсон, как и многие скитальцы, жившие в чужих краях, среди людей с иными нравами и иными представлениями о жизни, не мог понять, почему преступление Хенчарда так велико, хотя сам же пострадал от него больше всех. Заметив, что на отсутствующего преступника нападают всерьез, он стал на сторону Хенчарда.

— Ну, в сущности, он ведь не сказал и десяти слов, — пытался оправдать его Ньюсон. — И мог ли он знать, что я такой простак и поверю ему на слово? Он был виноват не больше меня, бедняга!

— Нет! — твердо проговорила Элизабет-Джейн, уже пережившая внутренний переворот. — Он угадал, какой ты... ты всегда был чересчур доверчив, отец, — мама это сто раз повторяла, — и он так поступил, желая сделать тебе зло. После того как он целых пять лет держал меня вдали от тебя, утверждая, что он мой отец, он не должен был так поступать.

Вот так они беседовали, и некому было разубедить Элизабет и хоть в какой-то мере умалить вину отсутствующего.

Впрочем, будь Хенчард здесь, он и сам вряд ли стал бы оправдываться,— так мало он ценил себя и свое доброе имя.

— Ну, ну... ничего... все это прошло и кончено,— сказал Ньюсон добродушно.— Поговорим лучше насчет свадьбы.

ГЛАВА XLIV

Между тем человек, о котором они говорили, продолжал свой одинокий путь на восток, пока его не одолела усталость, и тогда он стал искать, где бы отдохнуть. Сердце его было так истерзано расставанием с Элизабет, что он и думать не мог о ночлеге в деревенской гостинице или даже в самом бедном доме, а потому свернул на поле и лег под скирдой пшеницы. Голода он не испытывал, а тяжесть, навалившаяся на его душу, помогла ему заснуть глубоким сном.

Наутро лучи яркого осеннего солнца, проникавшие сквозь жнивье, разбудили его рано. Он открыл корзинку и позавтракал взятыми из дому на ужин припасами, потом снова уложил остальные свои пожитки. Он вынужден был нести на собственной спине все, что взял с собой, и тем не менее запрятал среди своих инструментов кое-что из принадлежащих Элизабет-Джейн, но уже ненужных ей вещей: перчатки, туфли, исписанный ею листок бумаги и другие мелочи, а в кармане у него лежал локон ее волос. Он осмотрел все это, уложил на прежнее место и пошел дальше.

Пять дней подряд соломенная корзинка Хенчарда путешествовала на его плечах по большой дороге между живыми изгородями, причем яркий желтый цвет ее иногда привлекал внимание какого-нибудь пахаря, и тот, выглянув из-за кустарника, смотрел на шляпу и голову путника и на его опущенное лицо, по которому теши сучьев двигались бесконечной вереницей. Вскоре стало ясно, что путник направляется в Уэйдон-Прайорс, куда он и пришел под вечер на шестой день.

Прославленный холм, на котором столько поколений ежегодно устраивало ярмарки, теперь опустел: на нем не видно было ни людей, ни вообще чего-либо примечательного. Несколько овец паслось поблизости, но они разбежались, как только Хенчард остановился на вершине. Он опустил корзинку на траву и оглянулся кругом со скорбным любопытством; вскоре он узнал дорогу, по которой двадцать с лишним лет назад поднимался с женой на эту возвышенность, столь памятную для них обоих.

«Да, мы поднялись с этой стороны,— решил он, осмотревшись.— Она несла ребенка, а я читал листок с балладой. Мы перешли по лугу где-то здесь... она была такая грустная и усталая, а я почти совсем не говорил с нею из-за своей проклятой гордости и досады на свою бедность. И вот мы увидели палатку, кажется, она стояла в этой стороне...— Он перешел на дру-

гое место; на самом деле палатка стояла не здесь, но ему казалось, что здесь.— Вот тут мы вошли внутрь, тут уселись. Я сидел лицом туда. Потом я напился и совершил свое преступление. Кажется, она стояла вот на этом самом «кольце фей», когда в последний раз обратилась ко мне перед тем, как уйти с ним; ее слова и сейчас звенят у меня в ушах и ее рыдания тоже. «О Майк! Столько времени я с тобой жила и ничего от тебя не видела, кроме попреков. Теперь я больше не твою... попытаю счастья с другим».

Он испытывал не только горечь того, кто, оглядываясь на свое честолобивое прошлое, видит, что приписанные им в жертву чувства стоили не меньше приобретенных им материальных благ; он испытывал еще большую горечь при мысли о том, что его отречение ничего ему не дало. Во всем этом он раскаялся уже давно, но его попытки заменить честолобие любовью потерпели такой же крах, как и его честолобивые замыслы. Его оскорбленная жена свела на нет эти попытки, обманув его с такой великолепной наивностью, что ее обман казался чем-то почти добродетельным. Как странно, что все эти нарушения законов общества породили такой цветок Природы, как Элизабет. Желание Хенчарда умыть руки — отказаться от жизни — отчасти объяснялось тем, что он понял всю ее противоречивую непоследовательность, — бездумную готовность Природы поддерживать еретические социальные принципы.

Приход его сюда был актом покаяния, и отсюда он решил уйти далеко, в другую часть страны. Но он не мог не думать об Элизабет и о тех краях, где она живет. Поэтому центробежной силе его утомления жизнью противодействовала центростремительная сила его любви к падчерице. В результате он не пошел прямо — все дальше и дальше от Кэстербриджа, — но постепенно, почти бессознательно уклонялся от избранного направления, и путь его, как путь канадского лесного жителя, мало-помалу пошел по окружности, центром которой был Кэстербридж. Поднимаясь на какой-нибудь холм, Хенчард ориентировался, как мог, по солнцу, луне и звездам, пытаясь уяснить себе, в какой стороне находятся Кэстербридж и Элизабет-Джейн. Насмехаясь над собой за свою слабость, он тем не менее каждый час, пожалуй, даже каждые несколько минут, старался представить себе, что она сейчас делает, как она сидит и встает, как она уходит из дому и возвращается, пока мысль о враждебном ему влиянии Ньюсона и Фарфрэ не уничтожала в нем образа девушки, подобно тому, как порыв холодного ветра уничтожает отражение в воде. И он тогда говорил себе:

«Дурак ты, дурак! И все это из-за дочери, которая тебе вовсе не дочь!»

Наконец он нашел работу по себе, так как осенью на вязальщиков сена был спрос. Он поступил на скотоводческую ферму близ старой западной большой дороги, которая соеди-

няла новые деловые центры с глухими поселками Уэссекса. Он решил поселиться по соседству с большой дорогой, полагая, что здесь, хоть и в целых пятидесяти милях от той, которая была ему так дорога, он будет ближе к ней, чем в месте, наполовину менее отдаленном от Кэстербриджа, но расположенном не у дороги.

Таким образом, Хенчард вернулся в прежнее состояние — то самое, в каком он пребывал двадцать пять лет назад. Казалось бы, ничто не мешало ему вновь начать подъем и, пользуясь приобретенным опытом, достичь теперь большего, чем могла в свое время достичь его едва проснувшаяся душа. Но этому препятствовал тот хитроумный механизм, который создан богами для сведения к минимуму человеческих возможностей улучшения жизни, — механизм, который устраивает все так, что умение действовать приходит тогда, когда уходит воля к действию. У него не было ни малейшего желания вторично превращать в арену мир, который стал для него просто размазанными подмостками, и только.

Обрезая ножом душистые стебли сухой травы, он часто раздумывал над судьбами человечества и говорил себе: «И здесь и всюду люди умирают раньше времени, как листья, побитые морозом, хотя эти люди нужны своим семьям, и родине, и всему миру, а я, отщепенец, обрекающий землю, не нужный никому и презираемый всеми, живу против своей воли!»

Нередко он внимательно прислушивался к разговорам на большой дороге, и, конечно, не из простого любопытства, но в надежде, что кто-нибудь из путников, идущих в Кэстербридж или возвращающихся оттуда, рано или поздно заговорит о том, что делается в этом городе. Правда, город был так далеко, что желание Хенчарда вряд ли могло исполниться, и все-таки его внимание было наконец вознаграждено. Как-то раз до него донеслось с дороги слово «Кэстербридж», произнесенное возчиком, который правил фургоном. Хенчард побежал по полю, на котором работал, к калитке в изгороди и окликнул возчика, человека ему незнакомого.

— Да... я еду оттуда, хозяин, — сказал возчик в ответ на вопрос Хенчарда. — Я, знаете ли, занимаюсь извозом, хотя в нынешние времена, когда люди обходятся без лошадей, моей работе скоро конец придет.

— А как там дела в городе, а?

— Да все так же, как всегда.

— Я слышал, что мистер Фарфрэ, бывший мэр, собирается жениться. Правда это?

— Вот уж, право, не могу сказать. Да нет, как будто нет.

— Что ты, Джон... ты позабыл, — вмешалась какая-то женщина, выглянув из фургона. — А посылки-то, что мы привезли ему на той неделе? Да и люди говорили, что скоро свадьба... на Мартинов день.

Возчик сказал, что ничего такого не помнит, и фургон, дребезжа, стал подниматься на холм.

Хенчард был уверен, что этой женщине память не изменила. Очень возможно, что свадьбу назначили на Мартинов день, — ведь ни у жениха, ни у невесты не было причин откладывать ее. Хенчард мог бы, конечно, написать Элизабет и спросить, но ему мешала инстинктивная боязнь нарушить свое уединение. А ведь Элизабет, расставаясь с ним, сказала, что ей будет неприятно, если он не придет к ней на свадьбу.

Теперь он постоянно вспоминал, что прогнали его не Элизабет и Фарфрз, а собственное уязвленное самолюбие, твердившее, что его присутствие уже не желательно. Он поверил в возвращение Ньюсона, не имея убедительных доказательств того, что капитан действительно намерен вернуться, еще того менее — что Элизабет-Джейн встретит его радостно, и не имея уж вовсе никаких доказательств того, что если он и вернется, то останется. А что, если он, Хенчард, ошибся, если все эти неблагоприятные обстоятельства вовсе не требуют его вечной разлуки с той, которую он любит? Сделать еще попытку пожить возле нее, вернуться, увидеть ее, оправдаться перед нею, просить прощения за обман, всеми силами постараться сохранить ее любовь — ради этого стоит пойти к ней, даже рискуя получить отпор, да, пожалуй, рискуя и самой жизнью.

Но как отказаться от своих решений, не дав супругам повода презирать его за непоследовательность, — этот вопрос казался Хенчарду страшным и лишил его покоя.

Еще два дня он все обрезал и обрезал тюки сена, потом колебания его внезапно закончились отчаянным решением отправиться на свадебный пир. От него не ждут поздравлений, ни письменных, ни устных. Элизабет была огорчена его отказом быть на свадьбе, значит, его неожиданное появление заполнит ту маленькую пустоту, которая, вероятно, образуется в ее справедливой душе, если он не придет.

Стремясь как можно меньше навязывать свою особу другим в день радостного события, с которым эта особа никак не гармонировала, он решил прийти на свадьбу не раньше вечера, когда общество уже развеселится и во всех сердцах возникнет кроткое желание забыть прошлые счеты.

Он вышел пешком за два дня до праздника святого Мартина, рассчитав, что будет проходить по шестнадцати миль в каждый из оставшихся трех дней, включая день свадьбы. На его пути лежал только один довольно большой город — Шоттсфорд, и здесь он остановился на вторую ночь не только для отдыха, но и для того, чтобы подготовиться к завтрашнему вечеру.

У него не было другой одежды, кроме того рабочего платья, которое он носил, грязного, обтрепанного после двух месяцев непрерывной носки, и, опасаясь испортить праздник своим внешним видом, он зашел в магазин, чтобы сделать кое-какие

покупки. Он купил куртку и шляпу — простые, но приличные, — новую рубашку и шейный платок и, решив, что теперь наружность его уже не может оскорбить Элизабет, занялся более интересным делом — покупкой подарка для нее.

Что ему подарить ей? Он бродил взад и вперед по улице, поглядывая с сомнением на витрины, удрученный сознанием, что те вещи, которые ему хотелось бы подарить Элизабет, не по его нищенскому карману. Наконец взгляд его упал на клетку со щеглом. Клетка была простая, маленькая, лавка — скромная, и, спросив цену, Хенчард решил, что может позволить себе такой небольшой расход. Проволочную тюрьму птички обернули газетной бумагой, и, взяв с собой клетку, Хенчард отправился на поиски ночлега.

На следующий день он начал последний этап своего пути и вскоре подошел к той местности, которая некогда была прищем его торговой деятельностью. Он попросил одного возчика подвезти его и часть пути ехал, сидя в глубине повозки, в самом темном углу; другие пассажиры, главным образом женщины, проезжавшие короткие расстояния, садились в повозку и слезали с нее на глазах у Хенчарда, оживленно болтая о местных новостях, особенно о свадьбе в том городе, к которому приближались. По их словам, на свадебный вечер пригласили городской оркестр, но, опасаясь, как бы компанейские устремления этого содружества не взяли верх над его мастерством, решили, кроме того, вызвать струнный оркестр из Бедмута, чтобы обеспечить себе музыкальные резервы на случай пужды.

Однако Хенчард не узнал почти ничего такого, что не было бы ему известно раньше, и самым сильным его впечатлением за всю дорогу был негромкий звон кэстербриджских колоколов, донесшийся до путников, когда возчик остановил повозку на вершине холма Йелбери, чтобы опустить тормоза. Это было сразу после полудня.

Звон означал, что все идет хорошо, что никакой задержки не произошло, что Элизабет-Джейн и Дональд Фарфрэ стали мужем и женой.

Когда Хенчард услышал звон, ему не захотелось ехать дальше со своими болтливыми спутницами. Сказать правду, звон лишил его мужества, и, выполняя свое решение не показываться на улицах Кэстербриджа до вечера, чтобы не смутить Фарфрэ и его молодую жену, он тут же на холме слез с повозки, прихватив свой узелок и клетку со щеглом, и вскоре остался один на широкой белой дороге.

Он стоял на том самом холме, у подножия которого почти два года назад ждал Фарфрэ, чтобы сообщить ему об опасной болезни его жены Люсетты. Ничто здесь не изменилось: те же лиственницы все так же шелестели, словно вздыхая, но у Фарфрэ была другая жена, и, как хорошо знал Хенчард, эта жена была лучше первой. Хенчард надеялся только, что у Элизабет-

Джейн теперь будет более уютный дом, чем тот, в котором она жила тогда.

Остаток дня он провел в странном, напряженном состоянии, непрестанно думая о встрече с нею и, как лишенный силы Самсон, горько высмеивая себя за свое волнение. Трудно было ожидать, чтобы новобрачные нарушили обычаи Кэстербриджа таким новшеством, как отъезд в свадебное путешествие тотчас после венчания; но, если бы они уехали, Хенчард подождал бы их возвращения. Все же он хотел знать наверное, дома ли новобрачные, и, подходя к городу, спросил какого-то рыночного торговца, уехали они или нет; ему ответили, что они не уехали и, как говорят, у них на Зерновой улице сейчас полон дом гостей.

Хенчард смахнул пыль с сапог, ополоснул руки в реке и зашагал по городу при тусклом свете фонарей. Ему незачем было заранее наводить справки, ибо, подойдя к дому Фарфрэ, даже неаблюдательный человек понял бы, что в этом доме идет пир горой и сам Дональд участвует в нем: на улице было хорошо слышно, как он с большим чувством поет народную песню своей милой родины — той родины, которую он так горячо любил, что ни разу не удосужился навестить ее. Перед домом на мостовой стояли зеваки, и Хенчард, не желая обращать на себя внимания, быстро подошел к двери.

Она была широко открыта; в ярко освещенном вестибюле люди поднимались и спускались по лестнице. Хенчард упал духом: если он в своих пыльных сапогах, с поклажей, в бедной одежде явится в такие роскошные чертоги, он без пужды оскорбит самолюбие той, которую любит, а быть может, и нарвется на отказ от дома со стороны ее супруга. Поэтому он вышел, завернул за угол на улицу, столь хорошо ему знакомую, и, пройдя по саду, бесшумно вошел в кухню, на время поставив клетку с птичкой под куст, чтобы не произвести слишком нелепого впечатления, явившись с таким подарком в руках.

Одиночество и горе так подорвали душевные силы Хенчарда, что он теперь боялся всего, чем пренебрег бы раньше, и уже начал жалеть, что осмелился явиться в такой день. Но ему неожиданно пришла на помощь пожилая женщина, одиноко сидевшая на кухне, — она временно исполняла обязанности экономки в период великой суматохи, воцарившейся в домашнем хозяйстве Фарфрэ. Она была из тех женщин, которых ничто не удивляет, и хотя ей, чужой в этом доме, просьба пришельца могла показаться странной, охотно согласилась подняться наверх и доложить хозяину с хозяйкой, что пришел «один их скромный старый знакомый».

Впрочем, подумав пемного, она сказала, что лучше ему не оставаться на кухне, а пройти в маленькую заднюю гостиную, в которой сейчас никого не было. Женщина проводила

его туда и ушла. Но как только она, перейдя лестничную площадку, подошла к двери парадной гостиной, заиграли танец, и она вернулась сказать, что подождет докладывать, пока танец не кончится, так как сейчас пошли танцевать мистер и миссис Фарфрэ.

Дверь гостиной для большего простора сняли с петель, а дверь той комнаты, где сидел Хенчард, была открыта, и всякий раз, как танцующие, кружась, приближались к ней, перед ним мелькали юбки и развевающиеся локоны, а вдали был виден почти весь оркестр, мечущаяся тень от локтя скрипача и кончик смычка виолончелиста.

Это веселье раздражало Хенчарда,— правда, Фарфрэ был молод и быстро загорался от плясок и песен, но все же Хенчард не понимал, как мог вполне остепенившийся человек, вдовец, переживший тяжелые испытания, затеять такое. Еще больше он удивлялся тому, что тихая Элизабет, которая ценила жизнь весьма невысоко и, несмотря на свое девичество, знала, что брак, как правило, отнюдь не возбуждает охоты пускаться в пляс, все-таки пожелала устроить столь шумное празднество. Впрочем, заключил он, молодые люди не могут во всем походить на старых, а власть обычая непреодолима.

Танец продолжался, и, когда танцующие рассеялись по всей комнате, Хенчард впервые за тот вечер увидел свою некогда не любимую, а потом смилившую его дочь, по которой так тосковало его сердце. Она была в платье из белого шелка или атласа — Хенчард сидел так далеко, что не мог сказать точно, из какой она ткани, — не кремовом и не молочного оттенка, но белом как снег, и лицо ее отражало скорее приятное нервное возбуждение, чем веселость. Вскоре показался и Фарфрэ, которого сразу можно было узнать по его шотландской лихости в плясках. Новобрачные не танцевали друг с другом, но Хенчард видел, что всякий раз, как при перемене фигуры им на минуту приходилось танцевать в одной паре, их лица озарялись каким-то особенным светом.

Мало-помалу Хенчард заметил плясуна, который отплясывал с таким пылом, что сам Фарфрэ ему в подметки не годился. Это показалось ему странным, а еще более странным было то, что всех затмивший танцор — кавалер Элизабет-Джейн. Впервые Хенчард увидел его, когда он горделиво плыл вокруг комнаты, спиной к двери, откинув назад подрагивающую голову и забрасывая одну ногу за другую так, что они напоминали букву «Х». Но вот он появился с другой стороны: поски сапог мелькают впереди, грудь колесом, белый жилет, лицо запрокинуто. Это счастливое лицо... оно предвещало крушение последних надежд Хенчарда. Это было лицо Ньюсона. Значит, он все-таки пришел и вытеснил его, Хенчарда.

Хенчард подвинул стул к двери и несколько секунд сидел неподвижно. Потом он встал во весь рост и стоял, по-

добно одинокой руине, омраченной «тенью своей низвергнутой души».

Но он уже не мог стойко переносить удары судьбы. Волнение его было столь велико, что он хотел было уйти, но не успел; так как танец окончился, экономка доложила хозяйке об ожидающем ее незнакомце, и Элизабет сейчас же вошла в комнату.

— Ах... это... это вы, мистер Хенчард! — проговорила она, отшатнувшись.

— Как? Элизабет! — воскликнул он, сжимая ее руку. — Как ты сказала? «Мистер Хенчард»? Не надо, не надо так оскорблять меня! Называй меня негодным старым Хенчардом... как угодно... только не будь такой холодной! О милая моя девочка... я вижу, у тебя вместо меня другой... настоящий отец. Значит, ты знаешь все; но не отдавай ему всего своего сердца! Оставь хоть маленькое местечко мне!

Она покраснела и осторожно высвободила свою руку.

— Я могла бы любить вас всегда... я с радостью любила бы вас, — промолвила она. — Но возможно ли это, если я знаю, что вы меня так обманули... так жестоко обманули меня! Вы уверили меня, что мой отец не отец мне... вы многие годы скрывали от меня правду, а потом, когда он, мой любящий родной отец, пришел искать меня, вы беспощадно оттолкнули его коварной выдумкой, — сказали, что я умерла, — и это чуть не разбило ему сердце. Как же мне любить или хотя бы поддерживать того, кто так с нами поступил!

Хенчард открыл было рот, чтобы объясниться. Но снова стиснул зубы и не проронил ни звука. Мог ли он так, сразу, разубедить ее, найти смягчающие обстоятельства для своих тяжких прегрешений; мог ли сказать, что сначала сам был обманут и не подозревал, что она ему чужая, пока не узнал из письма ее матери, что его родная дочь умерла; мог ли в ответ на второе ее обвинение объяснить, что ложь его была последним отчаянным ходом игрока, которому ее любовь была дороже чести? Многое мешало ему оправдаться, и особенно то, что он не настолько ценил себя, чтобы пытаться облегчить свои страдания страстной мольбой или убедительными доводами.

Поэтому он отказался от своего права на самозащиту, и его беспокоило только то, что Элизабет расстроена.

— Не огорчайся из-за меня, — сказал он с горделивым достоинством. — Я вовсе этого не хочу... особенно в такой день. Напрасно я пришел к тебе... вижу, что ошибся. Но это в последний раз, и ты уж меня прости. Я больше не буду беспокоить тебя, Элизабет-Джейн... нет, — до самой моей смерти! Спокойной ночи! Прощай!

И не успела она собраться с мыслями, как Хенчард шагнул за порог, вышел из дома через черный ход — тем же путем, каким вошел, и скрылся из виду.

ГЛАВА XLV

Прошло около месяца с того дня, которым закончилась предыдущая глава. Элизабет-Джейн уже привыкла к своему новому положению, а поведение Дональда отличалось от его поведения до женитьбы только тем, что после делового дня он больше прежнего торопился вернутся домой.

Ньюсон, который, как и следовало ожидать, способствовал веселью на свадьбе больше, чем сами новобрачные, после свадьбы прожил в Кэстербридже три дня, причем все на него глазели и ухаживали за ним, как и подобает, когда на родину возвращается очередной Робинзон. Но трудно было взбудоражить Кэстербридж драматическими возвращениями и исчезновениями: в этом городе вот уже несколько столетий происходили выездные сессии суда, так что сенсационные уходы из нашего мира, отъезды на край света и тому подобное случалось здесь каждые полгода; поэтому, а может быть, еще почему-нибудь, горожане не потеряли своего душевного равновесия из-за Ньюсона. На четвертое утро люди видели, как он с безутешным видом поднимается на холм в жажде хоть одним глазком взглянуть на море. Близость к соленой воде оказалась столь необходимой для его существования, что он решил поселиться в Бедмуте, несмотря на то, что дочь его жила в другом городе. В Бедмут он и уехал и там снял квартиру в коттедже с зелеными ставнями и с окном-фонарем, которое так далеко выступало вперед, что стоило только распахнуть боковую оконную раму и высунуться наружу — и можно было сколько угодно любоваться вертикальной полоской синего моря, виднеющейся между высокими домами узкой улочки.

Элизабет-Джейн стояла в гостиной на верхнем этаже, склонив голову набок и критически разглядывая переставленную ею мебель, как вдруг вошла горничная и сказала:

— Позвольте вам доложить, сударыня, мы теперь знаем, откуда взялась птичья клетка.

Осматривая свои новые владения в течение первой недели, проведенной в этом доме, обозревая с критическим удовлетворением то ту, то другую уютную комнату, осторожно проникая в темные подвалы, неторопливо гуляя по саду, который теперь был усыпан листьями, сорванными осенним ветром, — словом, оценивая, подобно мудрому фельдмаршалу, достоинства и недостатки поля, на котором предстояло начать кампанию домоводства, миссис Дональд Фарфрэ обнаружила в одном укромном уголке новую птичью клетку, обернутую газетной бумагой, а на дне клетки увидела пушистый шарик — мертвое тельце щегла. Никто не мог объяснить ей, как попала сюда клетка с птичкой, но было ясно, что бедный маленький певец умер голодной смертью. Этот случай произвел тяжелое впечатление на Элизабет. Она не могла забыть о нем несколько дней, несмотря на нежное и добродушное подшучивание Фарфрэ;

и теперь, когда она уже почти не вспоминала о находке, ей опять напомнили о ней.

— Позвольте вам доложить, сударыня, мы узнали, как попала сюда птичья клетка. Ее принес тот работник с фермы, что приходил на свадьбу вечером... люди видели, как он с клеткой в руках шел по улице, и он, должно быть, поставил ее под куст, когда ходил передать вам чье-то поздравление, а потом позабыл, куда ее девал, и ушел.

Этого было достаточно, чтобы заставить Элизабет призадуматься, а думая, она внезапно, как это бывает с женщинами, догадалась, что птичку в клетке ей принес Хенчард в качестве свадебного подарка и в знак раскаяния. Он не покаялся в содеянном, не стал просить прощения, но ведь он от природы не любил ничего затушевывать и сам был одним из беспощаднейших своих обвинителей. Элизабет-Джейн вышла посмотреть на клетку, похоронила умершего с голоду маленького певца, и с этого часа сердце ее смягчилось по отношению к добровольному изгнаннику.

Когда ее муж вернулся, она рассказала ему, как удалось разгадать загадку птичьей клетки, и попросила Дональда помочь ей поскорее узнать, куда сослал себя Хенчард, чтобы она могла помириться с ним, попытаться облегчить его положение и сделать так, чтобы он уже не чувствовал себя отщепенцем и жизнь стала для него более терпимой. Фарфрэ никогда не любил Хенчарда так горячо, как некогда любил его Хенчард, но зато он и не мог ненавидеть Хенчарда с таким пылом, с каким ненавидел его тот, поэтому он охотно согласился помочь жене осуществить ее похвальное намерение.

Но не легко было обнаружить местопребывание Хенчарда. Уйдя из дома мистера и миссис Фарфрэ, он как сквозь землю провалился. Элизабет-Джейн вспомнила, на что он однажды покушался, и содрогнулась.

Ведь она не знала, что Хенчард теперь другой человек — если только можно употребить столь сильное выражение, когда речь идет о смене чувств, — а следовательно, не знала, что бояться ей нечего. Фарфрэ навел справки и через несколько дней узнал, что один его знакомый видел, как Хенчард в день свадьбы, около двенадцати часов ночи, шагал на восток по дороге в Мелчестер, — другими словами, возвращался туда, откуда пришел.

Этого было довольно, и на следующее же утро Фарфрэ выехал на своей двуколке из Кэстербриджа по Мелчестерской дороге; Элизабет-Джейн сидела рядом с ним, закутавшись в палантин (который в те годы называли «викториной») из меха с густым невысоким ворсом, и румянец ее теперь был немного ярче, чем раньше, а лицо, как и подобает замужней даме, уже стало степенным, что очень гармонировало с ясными, как у Минервы, глазами этой женщины, «чьи движенья излучали ум». Сама она достигла земли обетованной, оставив позади если не

все, то, во всяком случае, самые низменные свои заботы, и теперь хотела, чтобы Хенчард жил так же спокойно, пока он еще не опустился на самое дно,— ведь сейчас ему угрожала эта опасность.

Проехав несколько миль по большой дороге, они снова начали наводить справки, и один рабочий, уже несколько недель чинивший дорогу, сообщил им, что видел человека, о котором они спрашивают: близ Уэзербери он свернул с Мелчестерской большой дороги на другую большую дорогу, которая, отвялясь, огибала Эгдонскую пустошь с севера. На эту дорогу они свернули тоже, и вскоре их двуколка покатила по той древней земле, которую никто, если не считать царапавших ее кроликов, никогда не разрывал и на палец глубиной с тех пор, как по ней ступали первобытные племена. Могильные холмы, оставшиеся от этих племен, бурые и поросшие вереском, округло вздымались к небу на высоких плато, словно пышные персы Дианы Многогрудой.

Супруги обыскали весь Эгдон, но Хенчарда не нашли. Фарфрэ направился дальше, и после полудня они доехали до того выступа пустоши к северу от Энглбери, который был примечателен тем, что на вершине холма, у подножия которого они вскоре проехали, росла жидкая еловая рощица. До сих пор они были уверены, что едут по той дороге, по которой шел Хенчард; но теперь от нее стали отвяляться другие, и оставалось только догадываться, в какую сторону ехать; поэтому Фарфрэ настоятельно посоветовал жене прекратить поиски и попытаться разузнать об ее отчине другим путем. Сейчас они находятся не менее чем в двадцати милях от своего дома, но, покормив лошадь в деревне, которую они только что проехали, и дав ей отдохнуть часа два, можно будет вернуться в Кэстербридж в тот же день; если же они поедут дальше, им придется где-нибудь заочевать, «а это провернет дырку в соврене»,— как выразился Фарфрэ. Элизабет-Джейн подумала и согласилась с мужем.

Дональд натянул вожжи, но прежде чем повернуть обратно, помедлил и рассеянно оглядел равнину, вид на которую открывался с этой возвышенности. Тут из рощицы вышел человек и пересек дорогу впереди них. Очевидно, это был рабочий с фермы; он брел, волоча ноги и глядя прямо перед собой, словно на глазах у него были шоры; в руках он нес несколько палок. Перейдя дорогу, он спустился в лощину и вошел в стоявшую там хижину.

— Если бы мы не так далеко отъехали от Кэстербриджа, я сказала бы, что это бедняга Уиттл. Очень уж этот человек похож на него,— проговорила Элизабет-Джейн.

— А может, это и вправду Уиттл. Ведь он уже три недели не ходит на склад — скрылся, не сказав никому ни слова; я даже остался ему должен за два дня работы и не знаю, кому платить.

Они решили остановиться и навести здесь справки. Фарфрэ привязал вожжи к столбу калитки, и супруги подошли к хижине, которая показалась им самым убогим из жилищ. Ее глинобитные стены, некогда разглаженные штукатурной лопаткой, долгие годы размывало дождем, и теперь комковатая, изрытая бороздами штукатурка крошилась и отваливалась кусками, а серые трещины были кое-где затянуты густолиственным плющом, который, конечно, не мог укрепить расшатавшиеся стены. Листья, сорванные ветром с живой изгороди, лежали кучкой в углу у двери. Дверь была открыта настежь; Фарфрэ постучал, и оказалось, что супруги не ошиблись: перед ними предстал Уиттл.

Лицо его выражало глубокую печаль, рассеянный взгляд был устремлен на посетителей, а в руках он все еще держал палки, за которыми ходил в рощу. Узнав старых знакомых, он вздрогнул.

— Эйбл Уиттл, ты ли это? — воскликнул Фарфрэ.

— Ну да, сэр! Видите ли, он помогал моей матери, когда она жила здесь внизу, хотя со мной обращался грубо.

— О ком ты говоришь?

— Ах, сэр... мистер Хенчет! Неужто вы не знаете? Его уже нет... прошло с полчаса, судя по солнцу, — ведь часов у меня не водится.

— Неужели он... умер? — проговорила Элизабет-Джейн срывающимся голосом.

— Да, сударыня, помер! Он помогал моей матери, когда она жила здесь внизу, посылал ей лучший корабельный уголь — золы от него почти не остается, — и картошку, и прочее, в чем она очень нуждалась. Я видел, он шел по улице в ту ночь, когда вы, ваша милость, венчались с дамой, что теперь стоит рядом с вами, и мне показалось, будто он не в себе и покачивается. И вот я пошел за ним следом по дороге, а он повернулся, увидел меня и говорит: «Эй вы, уйдите!» Но я пошел за ним, а он опять обернулся и говорит: «Уиттл, зачем ты идешь за мной? Сколько раз тебе говорить?» А я говорю: «Я иду, сэр, потому, что вижу, что дело ваше плохо, а вы моей матери помогали, хотя со мной обращались грубо, вот я и хочу вам помочь». Тогда он пошел дальше, а я за ним, и он уже больше не гнал меня. Так мы шли всю ночь, а на рассвете, чуть заря занялась, я поглядел вперед — вижу: он шатается и тащится из последних сил. Мы тогда уже прошли это место, а я, когда проходил мимо дома, видел, что он пустой, вот я и заставил его вернуться, содрал доски с окон и помог ему войти. «Эй, ты, Уиттл, — говорит он, — и к чему ты, бедный жалостливый дурак, заботишься обо мне, окаянном?» Тогда я пошел дальше, и тут одни дровосеки по-соседски одолжили мне койку, и стул, и кое-какую утварь, и все это мы притащили сюда и устроили его как можно удобнее. Но силы к нему не вернулись, потому что, видите ли, сударыня, он не мог есть — да, да,

никакого аппетита у него не было,— и он все слабел и слабел, а нынче помер. Один сосед пошел сейчас за человеком, который с него мерку снимет.

— О господи... вот как все получилось,— проговорил Фарфрэ.

Элизабет не проронила ни слова.

— Над изголовьем койки он приколот клочок бумаги, и на нем что-то написано,— продолжал Эйбл Уиттл.— Сам я малограмотный и не умею читать по написанному, так что не знаю, что там такое. Могу принести показать вам.

Супруги стояли молча, а Эйбл Уиттл сбежал в хижину и вернулся со смятым листком бумаги. На листке карандашом было написано следующее:

ЗАВЕЩАНИЕ МАЙКЛА ХЕНЧАРДА

Элизабет-Джейн Фарфрэ не сообщать о моей смерти, чтоб она не горевала обо мне.

И не хоронить меня в освященной земле.

И не нанимать церковного сторожа звонить в колокол.

И никого не звать проститься с моим мертвым телом.

И провожающим не идти за мной на моих похоронах.

И не сажать цветов на моей могиле.

И не вспоминать меня.

К сему ставлю свою подпись

Майкл Хенчард».

— Что же нам делать? — проговорил Дональд, передавая листок Элизабет-Джейн.

Она пробормотала что-то невнятное.

— О, Дональд! — проговорила она наконец сквозь слезы.— Сколько в этом горечи! Ах, мне было бы не так тяжело, если бы не наше последнее прощание!.. Но этого изменить нельзя... ничего не поделаешь.

Все, о чем просил Хенчард в предсмертной агонии, Элизабет-Джейн исполнила, насколько это было возможно, даже не потому, что считала последние слова священными, а оттого, что знала: тот, кто написал их, писал искренне. Она понимала, что это завещание кусок той ткани, из которой была скроена вся его жизнь, а значит, нельзя пренебречь им, чтобы доставить грустное удовольствие себе или обеспечить своему мужу репутацию великодушного человека.

И вот все ушло в прошлое, даже ее сожаления о том, что она превратно поняла его, когда он в последний раз пришел к ней, и не начала искать его раньше, хотя она глубоко и остро сожалела об этом довольно долго. Отныне и всю жизнь Элизабет-Джейн пребывала в широтах тихой погоды, что само по себе благоприятно для человека, а для нее вдвойне благоприятно после того Капернаума, в котором она провела пред-

шестью годами. Когда живые и яркие чувства первого периода замужества стали ровными и безмятежными, все то лучшее, что было в натуре Элизабет, побудило ее, общаясь с окружающими неимущими людьми, открывать им (некогда открывшуюся ей самой) тайну умения мириться с ограниченными возможностями, чего, по ее мнению, можно было достичь, искусственно увеличивая, как бы при помощи микроскопа, те минимальные радости, которые может иметь каждый, кто не испытывает тяжкого страдания, ибо подобные радости так же вдохновляюще влияют на жизнь, как и более широкие, но не захватывающие глубоко интересы.

Ее проповеди отраженно повлияли и на нее самое, и она поняла, что заслужить уважение на дне Кэстербриджа — это почти то же самое, что завоевать славу в высших слоях общества. И в самом деле, положение у нее во многих отношениях было завидное; как говорится, за него надо было благодарить судьбу. Не ее вина, что она не проявляла благодарности открыто. Правильно или нет, но жизнь показала ей, что сомнительная честь совершить кратковременный переход по нашему скорбному миру вряд ли требует экспансивных излишеств, даже если дорога внезапно озарилась на полпути такими яркими солнечными лучами, какие осветили ее путь. Однако, несмотря на твердое убеждение в том, что и она, и любой другой человек заслуживает меньше, чем получает, она не закрывала глаз на то, что некоторые получают гораздо меньше, чем заслуживают. И, вынужденная признать, что ей посчастливилось, она не переставала удивляться, почему в жизни столь часто происходит непредвиденное: ведь нерушимое спокойствие в зрелости было даровано ей той, чья юность, казалось бы, научила ее, что счастье — только случайный эпизод в драме всеобщего горя.

КОММЕНТАРИИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Над романом «Возвращение на родину» Гарди работал около трех лет — с января 1876 г. по сентябрь 1878 г. В целом этот роман занял больше времени, чем любое другое произведение писателя. На то было немало причин; не последняя, вероятно, заключалась в том, что этим романом Гарди открывал новый для себя тип романа. Роман «Возвращение на родину» не только укоренен в Уэссексе (в этом отношении у него были «предшественники» — «Под деревом зеленым» и «Вдали от безумствующей толпы»), он вводит новую для писателя тему трагического столкновения героя и окружающей его среды. Это первое в ряду трагических произведений Гарди, кардинально отличающееся от всего, что было им написано до того.

В соответствии с существовавшей в те годы традицией Гарди сначала опубликовал свой новый роман в журнале. Это способствовало созданию прочной литературной репутации, а также и материальному успеху, что было совсем безразлично для молодого автора, недавно вступившего в брак.

Поначалу Гарди предполагал издать роман в ежемесячнике «Корнхилл», однако редактор, которому он послал первые главы, отказался взять на себя какие бы то ни было обязательства до тех пор, пока не прочтает всю рукопись в целом. Его пугали взаимоотношения между Юстасией и Уайлдивом, которые, как он думал, могут стать слишком «опасными» для семейного журнала. Те же опасения, как стало известно недавно, высказал и редактор «Блэквудз Мэгепп», солидного журнала с широким кругом «респектабельных» читателей. В конце концов роман вышел в ежемесячном журнале «Белгравия», где печатался из номера в номер. Для того чтобы увидеть свой роман напечатанным в журнале, Гарди пришлось пойти на ряд текстуальных изменений, продиктованных страхом издателей перед моральными установками викторианского общества, которое зорко следило за их соблюдением. Дж. Гибсон, изу-

чавший текстуальную правку Гарди, называет эти исправления «уступками «миссис Гранди» (т. е. общественному мнению).

Больше всего пострадала от этих изменений Юстасия. Героини, которых с удовольствием выводили на страницах «семейных» журналов издатели, были бесконечно далеки от этой страстной мятущейся женщины. Вспомним, что в викторианском обществе женщине отводились строго определенные роли — невинное дитя, чистая девушка, гений домашнего очага, гибнущая жертва и проч., ни одна из которых не подходила Юстасии. Более того, слово «страсть», даже в его применении к мужскому полу, находилось в «семейных» журналах под запретом. Что уж и говорить о героине, обладательнице волевого и страстного темперамента!

Гарди пришлось пойти на уступки издателю. Он значительно смягчил описание самой Юстасии и характера ее отношений с Уайлдивом. Лишь в издании, вышедшем в 1895 г., Гарди восстановил те изменения, которые он сделал ранее под давлением «миссис Гранди». Заметим, однако, что и эти изменения не были окончательными. В так называемом «Уэссекском издании» романов, предпринятом в 1912 г., Гарди снова идет на уступки «миссис Гранди». Приведем лишь один пример. Во всех изданиях, кроме 1895 г., Юстасия говорит об Эгдоне: «Это мой крест, моя мука и будет моей погibelью!» В издании 1895 г. она называет Эгдон своим «крестом, позором и погibelью» (конец IX главы). Гарди пришлось также изменить концовку романа (см. с. 339).

«Возвращение на родину» писалось в самое счастливое для Гарди время. В 1874 г. Гарди женился; весной 1876 г. совершил вместе с женой поездку по Европе, а по возвращении в Англию обосновался в Дорсете, в небольшом городке Стэрминстер-Ньютон на самом берегу реки Стэр, в живописной и плодородной местности. Здесь в небольшом доме, носившем название «Риверсайд-Вилла», супруги прожили около двух лет. Здесь была создана большая часть романа. Впоследствии Гарди вспоминал об этом периоде как о «самом счастливом времени своей жизни». Критикам, пытающимся объяснить трагическое звучание романов Гарди, исходя из биографии самого писателя, следовало бы иметь это в виду.

Эгдонская пустошь, столь поэтично описанная Гарди в этом романе, находилась совсем недалеко от Стэрминстер-Ньютона, в каких-нибудь двадцати — тридцати милях от него. Это была родина Гарди, те места, где он родился и провел свою юность до отъезда в Лондон. В картинах Эгдона, который значит очень много для всего замысла романа, немало собственных, и очень личных, воспоминаний самого писателя. Немало здесь и деталей, перенесенных в ткань романа прямо из жизни. Юстасия при первом своем появлении держит в руках подзорную трубу и песочные часы — то и другое хранилось как реликвия в доме Гарди. По семейной легенде эти предметы принадлежали одному из предков, морскому капитану. Юный Гарди, случалось, также пользовался ими. «Высокая белая мачта с рангоутными перекладинами и прочим морским такелажем», стоящая рядом с домом капитана Вэй, деда Юстасии, заставляет вспомнить о подобных же мачтах, возвышавшихся неподалеку от родного дома Гарди, — поблизости жили старые моряки. Наконец, гадука, укусившая миссис Ибрайт, также связана с семейным преданием

о том, как, вернувшись как-то домой, мать Гарди увидела в колыбели гадюку, мирно спавшую на груди сына. Впрочем, как ни живописны эти детали, они имеют, конечно, лишь вспомогательное значение в истории Клайма Ибрайта, решившего покинуть жизнь среди «безумствующей толпы» и посвятить себя служению своим землякам.

Н. Демурова

Стр. 27. *Книга Страшного суда* — большая перепись всех английских земель, проведенная по приказанию Вильгельма Завоевателя в 1086 г. В переписи указывался владелец, площадь, доходность земли, число арендаторов, количество скота и т. п.

Леланд Джон (1506—1552) — первый исследователь и собиратель английских древностей; был библиотекарем у короля Генриха VIII, а позже королевским антикваром. В 1534—1543 гг. совершил свою знаменитую поездку по Англии, собирая материал для задуманного им грандиозного труда «История и древности Англии», но не успел обработать накопленный богатейший материал, и «Путеводитель Леланда» в девяти томах был издан почти два века спустя после его смерти. Леланд ставил себе в заслугу, что он «сохранил многих хороших авторов, чьи труды иначе скорей всего были бы потеряны» во время закрытия монастырей Генрихом VIII.

Стр. 35. *Пороховой заговор*.— В начале царствования в Англии Якова I Стюарта (1603—1625) в обстановке обострившейся борьбы между католиками и протестантами группа дворян-католиков, недовольных недостаточно определенной позицией короля в этом вопросе и уже отчетливо враждебной позицией парламента, задумала одним ударом покончить и с парламентом и с королем, а именно: 5 ноября 1605 г., в день открытия парламента, когда на его заседании должен был присутствовать также и король, взорвать здание парламента. Пороховые бочки уже были заложены в парламентахских подвалах, но по неосторожности одного из участников заговор раскрылся, и его исполнители, в частности солдат Гай Фокс, были схвачены в тот момент, когда уже собирались осуществить свое намерение. Впоследствии в деревнях и городках Англии этот день знаменовался народным праздником с публичным сожжением чучела Гая Фокса.

Стр. 36. *Жига* — старинный английский очень быстрый танец, основанный на трехдольном движении. Танец парный, у матросов сольный.

Стр. 39. *Рил* — разновидность жиги. *Хорнпайп* — английский народный танец, получивший название от хорнпайпа — народного язычкового духового инструмента, под аккомпанемент которого исполнялся.

Стр. 47. *Гора Нево*.— Согласно библейскому сказанию, гора, на которую Моисей взшел перед смертью и с которой он видел землю обетованную.

Стр. 77. *Лотофаги* — поедатели лотоса (греч.). В «Одиссее» рассказан миф о том, что люди, отведавшие лотоса, забывают прошлое.

Марш из «Аталии».— Аталия (в Библии — Гофолия) — жена Иорамы, царя Иудейского, и мать Охозии, его сына и преемника. Охозия был в родстве с домом нечестивого царя Ахава и, как и тот, склонялся к культу Ваала, за что и был убит двадцати трех лет от роду и на втором

году царствования по наущению пророка Елисея. Узнав о смерти сына, Гофолия из мести умертвила всех сыновей из рода Давида (которому было предсказано, что потомство его будет царствовать в Израиле) и воцарилась сама. Но самого младшего, малолетнего Иоаса, спасли и скрыли в храме. Через шесть лет он был провозглашен царем, а Гофолия убита (IV Книга Царств, гл. 11). На эту тему написана трагедия Ж. Расином, а музыка к ней — Мендельсоном.

Стр. 78. *Алкиной*.— Согласно греческому мифу — царь феаков на острове Схерии, внук Посейдона, мудрый, великодушный правитель.

Фиц-Алан и де Вер — фамилии двух старинных английских аристократических родов.

Стр. 79. *Страффорд* Томас Вентворт, граф — советник Карла I, был назначен наместником Ирландии, где действовал жестоко как усмиритель, подавил беспорядки и создал боеспособную армию, что сильно обеспокоило парламент, так как могло служить к укреплению позиции короля в его расприх с парламентом. Поэтому в 1641 г. парламент выдвинул против него обвинение в государственной измене, и 12 мая 1641 г. Страффорд был казнен.

Сисара — по библейскому преданию, хананеянин, который выступил со своей армией против израильтян (Книга Судей, гл. 4); *Саул* — первый царь Иудейский, сражался с филистимлянами, был в несогласии с пророком Самуилом, преследовал Давида и бросился на меч, когда был разбит филистимлянами. *Иаков* и *Давид* — правоверные герои библейских сказаний, послушные исполнители божественных предначертаний, способствовавшие возвышению Израиля.

Стр. 93. *Франклин* — район в северной Канаде, за Полярным кругом, простирающийся от моря Бофорта на западе до Баффинова пролива на востоке и включающий острова Банкс, Виктория, Сомерсет, Дево и др.

Стр. 94. *Фридрих Великий, воюя с очаровательной эрцгерцогиней, или Наполеон, угнетая прекрасную королеву Пруссии...*— Подразумевается Мария-Терезия (1717—1780), эрцгерцогиня австрийская, старшая дочь императора Карла V, после его смерти оказавшаяся во главе Габсбургской монархии. С Фридрихом II, королем Пруссии, вела так называемую Семилетнюю войну (1756—1763 гг.), стремясь отвоевать недавно потерянную Австрией Силезию, но потерпела неудачу и Силезия осталась во владении Фридриха. Луиза, прусская королева (1776—1810), жена Фридриха Вильгельма III, была очень популярна в своей стране, примкнула к партии реформ. После битвы при Иене, где пруссаки были наголову разбиты Наполеоном, король с семьей укрылся в Мемеле. Наполеон ставил королю крайне тяжелые условия мира, а королеву, лично просившую его о более мягких условиях, преследовал в особенности, приказывая печатать во французских газетах статьи, в которых ее называли зачинщицей войны и главной виновницей бедствий, постигших ее страну.

Стр. 96. *Жена Кандава*.— Согласно греческому мифу, царь Лидии Кандавл показал своему любимому телохранителю, пастуху Гигу, свою жену обнаженной. Оскорбленная царица предложила Гигу или заплатить жизнью за дерзость, или убить Кандавла и жениться на ней. Гиг избрал последнее.

Стр. 99. *Зеновия* — Зеновия Септимия, вдова и преемница Одената, правителя города-государства Пальмиры в Сирии, находившегося под протекторатом Рима. Обладая не меньше мужа военными талантами, продолжала его завоевания, значительно расширила пределы своего государства и мечтала подчинить себе самый Рим. Разбитая наголову войсками императора Аврелиана, была взята в плен и украсила собой триумф Аврелиана при его возвращении в Рим. Император подарил ей имение в Тибуре, где она вскоре и умерла.

Стр. 110. *«Замок праздности»* — поэма Томсона (1748), где описывается страна забвения, куда могут удалиться все усталые души и где предметы и пейзажи постоянно меняют очертания.

Стр. 134. *...у его тезки в наши дни.* — Подразумевается Турция, которая в то время была в очень тяжелом положении. Неудачная война, потеря значительных территорий, восстания, постоянно возникавшие то в одном, то в другом районе, государственное банкротство, официально объявленное в 1875 г. и приведшее к тому, что была даже создана комиссия кредиторов, которая фактически вмешивалась в распределение государственных доходов, — все это постепенно привело страну в такое состояние упадка, что слова «больной человек» стали тогда в Европе ходячим обозначением Оттоманской империи.

Стр. 145. *Копье Итуриэль.* — Итуриэль в «Потерянном рае» Мильтона (Песнь IV) — херувим, которому архангел Гавриил поручил найти в раю Сатану, укрывшегося среди ангелов. Когда Итуриэль коснулся Сатаны своим копьем, коего «не выносит никакой обман», Сатана подскочил и предстал в истинном своем виде.

Стр. 156. *Мой ум есть царство для меня* — заголовок и первая строка поэмы Эдварда Дайера (1540—1607), в которой говорится о радостях ума, превышающих все удовольствия, какие может предоставить земля.

Стр. 157. *Клайв* Роберт (1728—1774) — один из видных английских колонизаторов в период завоевания Индии. Участвовал в войнах между английской и голландской Ост-Индскими компаниями, был губернатором Бенгалии, причем награл огромное состояние. Вернувшись в Англию, получил титул лорда. *Гэй Джон* (1685—1732) — английский поэт и драматург, автор знаменитой «Оперы нищих». *Китс Джон* (1796—1821) — один из крупнейших английских поэтов.

Стр. 161. *Роджерс* Сэмюел (1763—1855) — второстепенный английский поэт; первый свой сборник, «Удовольствия памяти», выпустил в 1792 г., затем издал еще много сборников. Занял видное место в литературных кругах в период, когда поэтический стандарт был невысок. *Уэст* Бенджамин (1738—1820) — американский художник, живший в Англии. *Норт* Фредерик, лорд (1732—1792) — английский государственный деятель, был премьер-министром в 1770—1782 гг.

Стр. 174. *Блеклок* Томас (1721—1791) — родился в бедной семье, шести месяцев от роду заболел оспой и потерял зрение, двенадцати лет начал писать стихи, готовился стать священником и был назначен в один из шотландских приходов, но прихожане возражали из-за его слепоты, и он, получив ежегодное вспомоществование,

вернулся в Эдинбург, давал уроки, написал несколько поэм, ныне забытых.

Стр. 193. *Пиковые гиней* — гиней эпохи Георга III (конец XVIII в.), имевшие на реверсе изображение щита, похожего на пики в картах.

Стр. 244. *...так же как поступь Ахимааса... выдала его царской страже.*— Согласно библейскому преданию, на сороковом году царствования Давида в Израиле сын его Авессалом поднял против отца, восстание, намереваясь занять его место. Давиду даже пришлось покинуть Иерусалим и удалиться в город Менахем. В Иерусалиме он, впрочем, оставил лазутчиками двух священников, из коих один, Садок, имел при себе связным своего сына Ахимааса. Когда высланное Давидом войско разбило восставших и военачальник Иоав послал к царю вестника, Ахимаас решил тоже побежать, чтобы самому возвестить царю о победе. Царь сидел между двух городских ворот, озирая простирающуюся перед ним равнину; в это время воин из городской стражи крикнул, что видит двух человек, бегущих вдаль, и добавил: «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова». И сказал царь: «Это человек хороший и идет с хорошей вестью».

Но Ахимаас, кроме вести о победе, приносит еще и трагическую весть о гибели Авессалома, которого, несмотря на его бунтарство, Давид любил больше всех других своих детей и потом горько оплакивал. Таким образом, упоминание в этом месте романа об Ахимаасе, которого узнали по походке, для читателя, хорошо знакомого с библейским преданием, становится своего рода сигналом, предвестием трагедии, надвигающейся на миссис Ибрайт, которая тоже издала узнала своего сына по походке.

Стр. 245. *Замок Угомон* — в битве при Ватерлоо важный стратегический пункт. Утром 18 июня 1815 г. войска Наполеона предприняли атаку на правый фланг английской армии у замка Угомон, но нападение встретило здесь энергичный отпор и натолкнулось на укрепленную позицию.

Стр. 267. *«На что дан страдальцу свет»* — сокращенная цитата из Библии (Книга Иова, гл. 3), в целом виде такова: «На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою».

Стр. 269. *Черная яма.*— В 1756 г., во время борьбы индийских правителей против Ост-Индской компании, бенгальский набоб Сирадж уд-Доула, захватив Калькутту, заключил в военную тюрьму в форте Уильям сто сорок шесть англичан, из которых сто двадцать три в первую же ночь погибли от духоты. Эта тюрьма получила название «Калькуттской черной ямы».

Стр. 302. *Фантасмагория* — световые картины и изображения, получаемые с помощью оптических приспособлений.

Стр. 335. *Одиннадцатая заповедь.*— Как известно, основных заповедей в христианской религии всего десять. Но в Евангелии от Иоанна в уста Иисуса Христа вложены следующие слова (гл. 13, 34): «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Это и есть одиннадцатая заповедь, проповедником которой собирался стать Клайм.

О. Холмская

МЭР КЭСТЕРБРИДЖА

17 апреля 1885 г. Гарди делает в своем дневнике запись о завершении романа «Мэр Кэстербриджа», «начатого по меньшей мере год назад». Он прибавляет: «Работа над каждой частью нередко прерывалась». А 2 января 1886 г. он записывает: «Сегодня газеты «Грэфик» и «Харпер Уикли» начинают печатать «Мэра Кэстербриджа». Боюсь, он не будет столь хорош, как мне бы хотелось, впрочем, в конечном счете следует опасаться не столько невероятности события, сколько невероятности характера». А днем позже он делает еще одну запись: «Цель моего искусства — усилить выразительность явлений, как это делали Кривелли, Беллини и другие, с тем чтобы суть и внутренний смысл изображаемого были отчетливо видны». За этими словами — глубокие раздумья Гарди не только над событиями, изображенными в романе, но и над собственным методом.

Мы уже говорили о том, что для начального эпизода романа Гарди использовал действительные факты: случаи продажи жен, имевшие место в начале века. «Невероятность» этого события он пытается объяснить «вероятностью» характера, стоявшего в центре этого и всех последующих событий. Недаром подзаголовок романа гласит: «История человека с характером». Впервые Гарди создает глубоко разработанные психологические портреты — это, конечно, центральный персонаж, Майкл Хенчард, а также некоторые персонажи второго плана, и в первую очередь — Дональд Фарфр.

Установка на то, чтобы печатать роман серийно, в газете и еженедельнике, потребовала известного приспособления текста к требованиям изданий этого рода. Это и необходимость завершенности, законченности каждого появляющегося на страницах периодического издания эпизода, что не так-то легко давалось Гарди. Это и необходимость известной «само-цензуры», касающейся прежде всего отношений между Хенчардом и Люсеттой.

Гарди менял не только отдельные слова и выражения, как в романе «Возвращение на родину», но и целые сюжетные линии (например, в журнальном варианте Гарди заставляет Хенчарда жениться на Люсетте, зная, что иначе издатели не примут их близость). Готовя впоследствии роман к отдельному изданию, Гарди пришлось его во многом фактически переписать.

Кэстербридж в этом романе, так же как и в других произведениях Гарди уэссекского цикла, — это Дорчестер, где Гарди учился и начинал свою карьеру архитектора и строителя. Он описал со вкусом и любовью. Развалины римского амфитеатра, одного из лучших, по словам Гарди, из сохранившихся в Британии с давних времен, старые здания, тенистые улочки, рынок, амбары, окрестности — все это органично вписывается в текст романа, пополняя собой «топографию Уэссекса», создаваемую Гарди.

Действие романа начинается во второй половине 20-х гг. XIX в., но продолжается в 40-х гг. В предисловии к роману автор указывает на то, что в основу сюжета им положены реальные события, среди которых он отмечает «плохие урожаи, которые непосредственно предшествовали от-

мене хлебных законов». Речь идет об отмене хлебных законов в 1846 г., регулировавших высокие цены на хлеб на внутреннем рынке. Битва между Хенчардом и Фарфрэ разворачивается перед самой отменой законов, что придает ей особую ожесточенность.

В этих вполне реальных исторических обстоятельствах и разворачивается трагическая история Хенчарда, которую Гарди осознает прежде всего как трагедию характера. Именно особенностями характера Хенчарда объясняется и продажа им жены вместе с ребенком в начале романа, поведшая впоследствии к целому ряду драматических событий, и его возвышение до мэра города и богатого торговца зерном, и его конечное падение. Однако, как ни педалирует Гарди один аспект — характер, мы не можем не заметить важность и другого аспекта — обстоятельств, которые Гарди, несмотря на свои субъективные установки, понимает достаточно глубоко. Если на поверхность действия выступают столкновения характеров (Хенчард и Фарфрэ) и трагическая цепь причинно-следственных совпадений, то социальный художник, каким всегда был Гарди, не мог не показать нам и глубинных сил, во многом определяющих их. Трагедия Хенчарда заключается прежде всего в том, что он человек старого типа, который принадлежит той полупатриархальной старине, которая в середине XIX в. уже осуждена на исчезновение. Фарфрэ, предприниматель нового типа, идет на смену Хенчарду, и каковы бы ни были его личные свойства, логика социально-исторического развития делает его победителем. Хенчард обречен — не только на силу своих личных особенностей, но прежде всего в силу того, что время его прошло.

То, что Гарди сумел чрезвычайно живо и убедительно показать трагедию этого характера не только как трагедию личности, пожинающей плоды своих поступков, но и как глубоко социологизированную трагедию, делает роман «Мэр Кэстербриджа» одним из самых значительных достижений писателя.

Н. Демурова

Стр. 354. *Игра в наперсток* — азартная игра в наперсток, популярная на ярмарках; заключалась в следующем: владелец трех наперстков накрывал одним из них горошину и предлагал окружающим угадать, где она. Ставки подчас были крупные, и нередко предприниматели, благодаря ловкости рук, обманывали простаков.

Стр. 363. *Семеро спящих*. — Имеется в виду предание о том, что семеро христиан, преследуемых за свои убеждения, нашли убежище в пещере, где спаслись от гибели, погрузившись в сон, который длился двести лет.

Стр. 373. *Вечерний звон* — колокольный звон, которым городские власти сигнализировали горожанам необходимость немедленно тушить огонь в печах и каминах и ложиться спать. Этот обычай был известен в Европе еще тысячу лет назад; в Англии он сохранялся в некоторых городах вплоть до конца прошлого века; его цель — предотвратить ночные пожары. Зимой колокол звонил в восемь-девять часов вечера, летом — с заходом солнца.

Стр. 382. *Члены корпорации*. — До реформы органов местного самоуправления в 1835 г. городские учреждения функционировали на основе

королевских хартий, признававших за узким кругом лиц, входящих в «корпорацию», право вершить общественные дела в пределах города. Защищенные хартией члены таких корпораций избирали на городские должности друг друга и были почти совсем безответственны; коррупция английских городских самоуправлений была очевидна; передко должности передавались по наследству, интересы корпорации, как правило, шли вразрез с интересами жителей города, привыкших к системе подкупов, на которых строилось все управление городским хозяйством. Только в 1835 г. был издан закон о реформе городского самоуправления, этим законом прежние замкнутые корпорации заменены были городскими советами, избираемыми квартирохозяевами города.

Действие «Мэра Кэстербриджа», как видно из первых строк романа, начинается в эпоху, предшествующую этой реформе.

Стр. 391. *Аннап* — река в Шотландии, впадающая в Сольвей Ферт — залив Ирландского моря.

Стр. 393. *Ботани-Бэй* — бухта в Австралии, в Новом Южном Уэльсе, открытая Куком в 1770 г.; с 1787 г. — место ссылки преступников, приговоренных в Англии к каторжным работам. Несмотря на то что вскоре был избран другой пункт Австралии для ссылки преступников, Ботани-Бэй осталось именем нарицательным для обозначения каторги.

Стр. 394. *Трон Артура* — холм к востоку от Эдинбурга в Шотландии; название холма связывается с именем Артура, легендарного короля бриттов, центральной фигуры цикла героических легенд.

Стр. 402. *Вифезда* — купель в Иерусалиме, в которой исцелялись больные (Евангелие от Иоанна, V, 2—4).

Стр. 414. *Лаокооны*. — Гарди уподобляет искривленные кусты фигуре Лаокоона — античной скульптуре I в. до н. э., который пытается вырваться из колец обвивающих его змей.

Стр. 427. *Ларошфуко* — французский герцог Франсуа де Ларошфуко (1613—1680) — автор популярной книги изречений «*Maximes*».

Стр. 442. «...подобно *Накову в Падан-Араме...*» — Гарди уподобляет удачливому Фарфрэ библейскому Иакову, чей скот, полученный им у Лавана, хорошо плодился и принес ему богатство.

Стр. 443. *Беллерофон* — герой древнегреческого мифа, победивший на своем коне Пегасе чудовище Химеру и амазонок; Хенчард, отошедший от толпы с «язвой в душе», напоминает Гарди Беллерофона, который, по Гомеру, ушел в одиночестве в Элейскую долину, когда навлек на себя гнев богов.

Стр. 458. «...безлюдны, как улицы *Карнака*». — В окрестностях деревни Карнак (на северо-западе Франции) находятся руины, представляющие большой интерес. Из земли торчат рядами гигантские камни-молиты, образуя как бы улицы.

Стр. 487. «...как во времена *Гептархии...*» — то есть во времена «семи королевств». В период от V до IX в. н. э. на территории Англии находилось несколько «королевств» древних саксов. Наиболее значительными из них были семь королевств: Уэссекс, Сассекс, Кент, Эссекс, Восточная Англия, Мерсия и Нортумбрия.

Стр. 493. *Протей* — морской бог в древнегреческой мифологии, обладавший способностью менять свой внешний вид; это имя стало нарица-

тельным для обозначения человека, меняющего свои нравственные воззрения, мнения и вкусы.

Стр. 515. *Шеллоу и Сайленс* — классические гротескные фигуры мировых судей у Шекспира в «Короле Генрихе IV» (вторая часть), а Шеллоу также в «Виндзорских кумушках».

Стр. 520. *Герт* — раб-свинопас из романа Вальтера Скотта «Айвенго».

Стр. 525. *Джон Гилпин* — герой комической поэмы Уильяма Коупера «История Джона Гилпина».

Стр. 540. *Стоунхендж*.— На Солсберийской равнине, в Южной Англии, находится памятник бронзового века: группа гигантских монолитов, торчащих из земли. В отличие от руин Карнака (см. примеч. к с. 458), эти камни поставлены по кругу, и на некоторых из них лежат горизонтально такие же монолиты. Возможно, что это остатки храма друидов — жрецов древних кельтов.

Стр. 543. *Восклицание Розалинды* — восклицание героини комедии Шекспира «Как вам это понравится» (акт III, сцена 5).

Стр. 559. *Адоллам* — то есть убежище, так как, по библейскому преданию, в пещере Адоллам, в Палестине, скрывался Давид от преследований Саула.

Стр. 564. *Эштон и Ревенсвуд* — персонажи из романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста».

Стр. 569. *...его Кальпурния*.— Люсетта уподобляется Кальпурнии, жене Юлия Цезаря, олицетворяющей супружескую любовь и преданность.

Стр. 582. *Ком* — в античной мифологии бог веселья, празднеств, ночных плясок, пирушек.

• Стр. 612. *«Кольцо фей»*.— В народных поверьях так называется круг на полянах, более темный, чем окружающая его трава. Такие круги, или «кольца», приобрели в народных суевериях волшебные свойства: каждый, кто пересечет «кольцо», должен заболеть или ослепнуть. Появление «колец» объясняется очень просто: в траве прорастают определенного вида грибы, благодаря чему она в этом месте темнеет.

Евг. Ланн

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Демурова. Томас Гарди, прозаик и поэт 5

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Роман

Перевод О. Холмской

Вступление 23

Книга первая

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Глава I. Лицо, на котором время оставляет мало следов	25
Глава II. На сцене появляется человек и с ним тревоги	28
Глава III. Местный обычай	33
Глава IV. Остановка на большой дороге	49
Глава V. Сложное положение	54
Глава VI. Фигура на фоне неба	64
Глава VII. Царица ночи	75
Глава VIII. Кого находишь там, где, говорят, никого нет	82
Глава IX. Любовь учит стратегии	86
Глава X. Безнадежная попытка	93
Глава XI. Бесчестность честной женщины	100

Книга вторая

ПРИБЫТИЕ

Глава I. Первые вести о приезжающем	107
Глава II. В Блумс-Энде готовятся	111
Глава III. Как малый звук породил большую мечту	114

Глава IV. Юстасия пускается на авантюру	118
Глава V. В лунном свете	126
Глава VI. Они встречаются лицом к лицу	131
Глава VII. Союз между красавицей и пугалом	140
Глава VIII. В нежном сердце обретается твердость	147

Книга третья

ОКОЛДОВАН

Глава I. Мой ум есть царство для меня	156
Глава II. Его решение вызывает споры	160
Глава III. Первый акт вековой драмы	167
Глава IV. Один час блаженства и сто печали	179
Глава V. Они обмениваются резкими словами, и дело доходит до разрыва	185
Глава VI. Ибрайт уходит, и это уже полный его разрыв с матерью	190
Глава VII. Утро и вечер одного дня	196
Глава VIII. Новая сила меняет ход событий	207

Книга четвертая

ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ

Глава I. Встреча у пруда	213
Глава II. Беды осаждают его, но он поет песенку	218
Глава III. Она решает бороться с унынием	226
Глава IV. Применяется насилие	237
Глава V. Она идет через пустошь	242
Глава VI. Стечение обстоятельств и его последствия	246
Глава VII. Трагическая встреча двух старых друзей	254
Глава VIII. Юстасия слышит о чужой удаче и предвидит для себя беду	260

Книга пятая

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Глава I. «На что дан страдальцу свет...»	267
Глава II. Зловещий свет пронзает темное сознание	273
Глава III. Юстасия одевается в недоброе утро	281
Глава IV. Попечения того, кто был пополовину забыт	287
Глава V. Старый прием, нечаянно повторенный	291
Глава VI. Томазин спорит со своим двоюродным братом, и он пишет письмо	296
Глава VII. Ночь шестого ноября	301
Глава VIII. Дождь, тьма и встревоженные путники	307
Глава IX. Свет и звуки сводят путников вместе	315

Книга шестая

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Глава I. Неизбежное движение вперед	325
Глава II. Томазин гуляет в зеленой ложбинке возле римской дороги	332
Глава III. Клайм ведет серьезный разговор со своей двоюрод- ной сестрой	335
Глава IV. Веселье снова утверждается в Блумс-Энде, а Клайм находит свое призвание	339

МЭР КЭСТЕРБРИДЖА

Роман

Перевод

А. Кривцовой (главы I—VII)

и М. Клягиной-Кондратьевой (главы VIII—XLV)

Вступление. <i>Перевод И. Гуровой</i>	349
Глава I	351
Глава II	362
Глава III	365
Глава IV	369
Глава V	375
Глава VI	380
Глава VII	384
Глава VIII	389
Глава IX	396
Глава X	402
Глава XI	405
Глава XII	410
Глава XIII	415
Глава XIV	419
Глава XV	427
Глава XVI	432
Глава XVII	437
Глава XVIII	443
Глава XIX	447
Глава XX	454
Глава XXI	463
Глава XXII	469
Глава XXIII	478
Глава XXIV	486
Глава XXV	493
Глава XXVI	497
Глава XXVII	507
Глава XXVIII	514

Глава XXIX	518
Глава XXX	525
Глава XXXI	529
Глава XXXII	533
Глава XXXIII	539
Глава XXXIV	546
Глава XXXV	553
Глава XXXVI	557
Глава XXXVII	565
Глава XXXVIII	571
Глава XXXIX	577
Глава XL	584
Глава XLI	588
Глава XLII	597
Глава XLIII	603
Глава XLIV	611
Глава XLV	619
Комментарии	625

Г20 **Гарди Томас**
Избранные произведения. В 3-х т. Т. 1. Возвращение на родину; Мэр Кэстербриджа; История человека с характером: Романы: Пер. с англ./Сост. и вступ. статья Н. Демуровой; Коммент. Н. Демуровой, О. Холмской, Евг. Ланна; Ил. худож. Ю. Игнатьева.—М.: Худож. лит., 1988.— 638 с.

ISBN 5-280-00743-9 (Т. 1)

ISBN 5-280-00742-0

В первый том избранных произведений английского писателя Томаса Гарди (1840—1928) вошли два романа из так называемого уэссекского цикла: «Возвращение на родину» (1878) и «Мэр Кэстербриджа» (1886).

Г $\frac{4703010100-411}{028(01)-88}$ 986-89

ББК 84.4Вл

Томас Гарди
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор *М. Тюнькина*
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
В. Нефедова
Корректоры
Н. Пехтерева, О. Левина

ИБ № 5503

Сдано в набор 31.05.88. Подписано к печати 02.11.88. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 40+1 вкл.=40,06. Усл. кр.-отт. 40,12. Уч.-изд. л. 43,97+1 вкл.=44,06. Тираж 200000 экз. Изд. № VI-3159. Заказ № 3209. Цена 4 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Новобасманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

